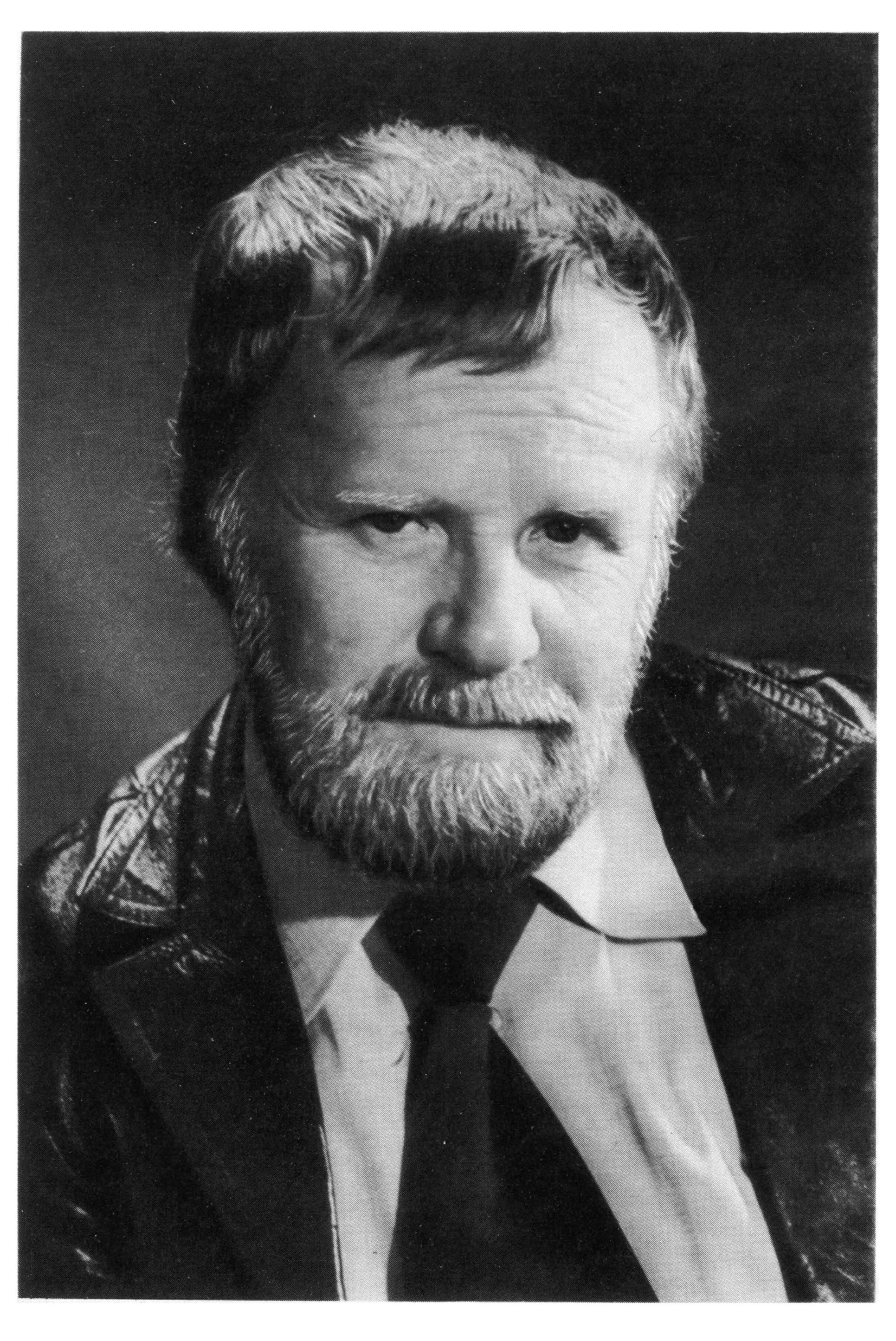


ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Москва
«Художественная литература»
1984

Р2
Б43

Предисловие
В. Меньшикова

Оформление художника
Ю. Боярского

Б $\frac{4702010200\text{-}341}{028(01)\text{-}84}$ 44-84

ПОЭТ ЖИЗНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

Каждому из нас дорого то место на земле, где мы родились, сделали первые робкие шаги, где началось наше узнавание мира. Куда бы ни занесла нас судьба, этот уголок земли всегда присутствует в нашей памяти, сладко тревожит сердце. Но есть люди, которых природа наделила чудодейственным даром делать других сопричастными своим думам и ощущениям. Благодаря их воздействию становятся близкими и навсегда дорогими те места, где некоторые из нас и не бывали вовсе.

Так благодаря великим творениям Пушкина и Достоевского нам делаются родными многие улицы и переулки «северной столицы». Орловщина мила нашему сердцу потому, что каждый еще в школьные годы прочитал и полюбил произведения Тургенева и Бунина. Тульская земля овеяна именем Льва Николаевича Толстого. С Украиной породнил нас великий Гоголь. Мы влюблены в леса и долины Рязанщины благодаря звонкой силе поэтического гения Есенина.

После чтения книг Василия Белова невольно становятся дорогими неброские, но удивительно милые места, называемые Вологодской землей. Да и невозможно не вслушаться вместе с автором в «сдержанный шепот ольшаника», в то, как «торжественно и мудро шумит... старинный хвойный бор», не залюбоваться «синими зубчатыми лесами», не восхититься тем, как «щедро, стремительно и бесшумно сыплет в лохматую прохладу мхов свои червонцы» знойное летнее солнце. С каждой новой картиной нам ближе и понятнее эти манящие края, все более поддаемся мы очарованию исконно русской природы. И кажется, что вместе с автором мы слышим, как «растет на полях трава», а затем, в приливе охватившего нас ликующего чувства, выбегаем босиком на «рыжий песчаный берег» и, стоя над рекой, бросаем «лесные шишки в синюю тугую воду, в эту прохладную русалочью постель», и смотрим «как расходятся и умирают водяные круги».

Среди русских писателей есть такие, кого формально нельзя отнести к цеху стихотворцев, но они всем строем образной ткани своих произведений, глубочайшим их лиризмом, эмоциональной наполненностью фразы заслуживают того, чтобы именоваться поэтами. При этом немаловажное значение имеет то, что эти авторы владеют ценнейшим качеством — умением правдиво передать жизнь народа, а как говорил Белинский, «где жизнь, там и поэзия». Таких прозаиков великий критик называл «поэтами жизни действительной». То же мы вправе сказать о Василии Белове, ибо все, что он написал, сверено им с жизнью.

Уже в первых своих произведениях писатель заявил о себе, как глубокий знаток быта, характеров, говора северной русской деревни, умеющий не только ярко, художнически убедительно передать ее колорит, но и сделать нас сопричастными описываемым событиям, заставить проникнуться заботами героев, их интересами, в равной с ними мере ощутить непреходящую, повседневную связь с миром природы.

Приветствуя выход в свет повести «Привычное дело», Александр Твардовский писал Белову в июне 1966 года: «С большим удовольствием прочел «Привычное дело» в «Севере». Очень хорошо, густо и без обиняков в отношении жизненной правды». «Удивительной, простой и мудрой, глубоко правдивой» называл прозу Белова Александр Яшин.

Василий Белов не только досконально знает описываемую им среду, интересы и проблемы, которые волнуют его героев, но и сам живет этими проблемами и интересами. О нем не скажешь, как это порой принято говорить,— вышел из гущи народной. Да, Василий Белов вырос и сформировался как личность в обстановке

крестьянского труда, но не вышел, а по-прежнему всем своим существом, всеми помыслами остается в народной среде. Не случайно он подолгу живет и работает в родной Тимонихе, отдаленной северной деревне, куда и сегодня еще непросто добраться, особенно в распутицу.

Тема «малой» родины, места, где родились и выросли его герои,— центральная в творчестве писателя. Все, чем живет человек, утверждает он своими произведениями, неразрывными нитями связано с его родиной. «Нам нечего стыдиться писать это слово с маленькой буквы,— говорит писатель устами героя рассказа «Бобришный угор»,— ведь здесь и начинается для нас большая Родина. Да, человек счастлив, пока у него есть Родина. Как бы ни сурова, ни неласкова была она со своим сыном, нам никогда от нее не отречься».

Однако иногда его герой готов отказаться от той жизни, которой живет. Кажется, что впереди его ожидает что-то заманчиво-необыкновенное. Он с радостью покидает родную деревню, решив для себя, что больше не вернется в нее. Но спустя годы, приехав сюда вновь, неожиданно для себя обнаруживает, что радость свидания с отчим домом — несравнима ни с чем, ибо «только здесь такие светлые речки, такие прозрачные озера, такие ясные и всегда разные зори».

И сколько радостного, волнующего чувства испытывают люди, преодолев в себе разлад с юношеским, наивным отношением к местам, где они родились и выросли. И какой неизбывной печалью переполняются их сердца, когда они застают некогда полный жизни родимый дом заколоченным или того хуже — на его месте находят лишь «горушку, оставшуюся от родного опечка». Так случилось с майором — героем повести «За тремя волоками», вернувшимся после долгого отсутствия в родную Каравайку и обнаружившим на месте деревни лишь остатки домов, заросшие высоким кипреем. «Никто не услышал, как на гулкий широкий лист лопуха, теряя свинцовую свою тяжесть, бухнулись две холодные слезы».

«Наверное, отчуждение родины всегда начинается с холодного очага»,— размышляет герой рассказа «Бобришный угор». Бывшие сельские жители становятся горожанами. Укрупняются села, и, соответственно, сокращается число малых деревень. «Исчезают деревни, а взамен рождаются веселые, шумные города». И чудится герою в шелесте одиноких берез — этих «белых сказок» его земли — «укор вечных свидетельниц человеческого горя и радости».

Вслед за ним и сам автор как бы чувствует себя в постоянном долгу перед теми, кто сегодня живет и работает на селе. Отсюда кажущееся порой нарочитым, а на самом деле глубоко искреннее стремление Белова придать облику своих героев, занимающихся нелегким крестьянским трудом, живущих в тесном союзе с природой, особую привлекательность.

Потому они, как правило, духовно богаты, одарены щедрым сердцем, необычайным жизнелюбием, наделены способностью видеть в окружающем прежде всего светлую сторону. Им присуще влюбленное, поэтическое отношение к природе, к миру животных. Они умеют прощать причиненные им обиды, с открытым сердцем идут на мировую с обидчиками, стараясь душевной теплотой растопить холод их сердец. И в этом нет проявления малодушия. Просто героям Белова противоестественно состояние длительной вражды, обедняющей их жизнь. Это несовместимо ни с их убеждениями, ни с их душевным настроем.

Одно качество характера особенно выделяет их среди других персонажей: это — совестливость. Они мучительно переживают каждый свой неверный шаг, будучи убеждены, что нет большего наказания, чем суд собственной совести.

Например, герой повести «Плотницкие рассказы» Олеша Смолин «на исповедь не ходил». «Уж ежели каяться,— говорил он,— так перед самим собой надо каяться. Противу своей совести не устоять никакому попу». И совестливость его не просто плод досужих размышлений, а убеждение, имеющее под собой социальную основу: «Кто работает, тому скрывать нечего»— таков его жизненный принцип.

Герои Василия Белова могут ошибаться, оступаться, но в главном — в чутком, добром отношении к жизни — они остаются верными себе. Как бы тяжело ни сложились обстоятельства, они не сетуют на жизнь, не отравляют жалобами себя, близких, умея извлекать душевную отраду даже из малых, на первый взгляд нехитрых, радостей жизни. Эти качества присущи Ивану и Кате («За тремя волоками»), Ивану Афанасьевичу и Анне Константиновне («Прежние годы»), Ивану («Речные излуки»), Гоголеву («Гоголев») и многим другим.

Особенно много душевного тепла и писательской щедрости в образах Ивана Африкановича и Катерины (повесть «Привычное дело»). Иван Африканович несет в себе радостное ощущение жизни, кровной связи с людьми, с природой. Обремененный большой семьей (одних ребятишек девять, и почти все погодки!), занятый с раннего утра до позднего вечера физической работой (в колхозе либо дома), он мог бы духовно увянуть. Но этого не происходит. Иван Африканович в суете повседневных дел успевает и полюбоваться восходом солнца («Восходит — каждый день восходит, так все время. Никому не остановить, не осилить...»), и прочувствовать бескрайнюю глубину неяркого северного неба («Небушко-то, небушко-то! Как провеянное, чистое, нет на нем ничего лишнего, один голубой сквозной простор!»), и прислушаться к «игольчатому писку синички», и заметить, как «у речки, нестарый, глубоко по-ребячьи спит осинник» и как, «словно румянец на детских щеках, проступает сквозь сон прозрачная, еле заметная зелень коры».

Мучительно переживает Иван Африканович каждый свой поступок, не согласующийся с совестью. А совесть его как тот родничок, в котором «вода была так прозрачна, что казалось, что ее нет вовсе, этой воды».

Но с наибольшей силой раскрывается богатство души Дрынова в отношении к жене. Его любовь к Катерине поистине безгранична. «Уйдет она в поле, на ферму ли, ему будто душу вынет». Двое суток просидел он без сна и еды в коридорчике сельской больницы, с тревогой ожидая, когда жена родит девятого ребенка. Внешне же Иван Африканович скуп на чувства. Когда увезли Катерину с сердечным приступом, для него «в доме сразу как нетоплено стало», а самого «будто стреножили», «белый свет стал низким да нешироким, ходишь, как в тесной, худым мужиком срубленной бане». А вернулась: взволнованный, прибежал с поля домой, подсел рядом, да только и спросил: «Ты это... на машине или как?» И, счастливый, занялся повседневными делами.

И вот не стало Катерины... И горе Ивана Африкановича столь же искренне и безбрежно, как и любовь. И опять ничего внешнего, показного. «Никто не видел, как горе пластало его на похолодевшей, еще не обросшей травой земле». Только мысль о детях помогла выстоять Дрынову.

Не менее значителен образ и самой Катерины. Добрая душа ее готова откликнуться на любую боль. С какой нежной, самоотверженной любовью относится она к своим детям, к мужу. Сколько искреннего тепла проявляет она во взаимоотношениях с близкими, окружающими ее людьми. Сколько одухотворенности, осмысленности и неподдельной заинтересованности во всем, чем приходится ей заниматься: будь то работа на ферме либо домашние заботы. В своей героине

Белову удалось по-некрасовски глубоко передать то сокровенное и великое, что есть в русской женщине-труженице.

Надо сказать, что писатель разносторонне прорисовывает не только характеры героев. Он точен в передаче сложной духовной жизни человека, тончайших оттенков его настроения и тогда, когда выписывает эпизодические образы. Таковы, например, в повести две старухи: Степановна и Евстолья. Сколько тепла и сердечности в незатейливом их диалоге! Сколько света в их словах, даже когда они грустят или жалуются на что-то! Сколько душевной щедрости и огромного жизнелюбия в их повседневных заботах!

Показывая нам то доброе и светлое, что заложено в простых людях, живущих на селе, Белов нередко рядом с персонажами, вызывающими нашу симпатию, дает типажи, наделенные иными качествами характера и мироощущения.

Пожалуй, наиболее отчетливо это разграничение представлено в «Плотницких рассказах». В лице Олеши Смолина и Авинера Козонкова перед нами два типа людей, две жизненные позиции. С одной стороны — человек-труженик, открыто, доброжелательно относящийся к людям, осознающий свою ответственность перед обществом, сопричастный всему, что его окружает, с другой — приспособленец, изворотливый, активный в своем стремлении удобнее устроиться в жизни, равнодушный к чужой боли. Разумеется, подобные персонажи не новы в литературе. В известной мере они традиционны. Тем не менее, Белову удалось придать своим героям то своеобразие, которое отличает их от персонажей того же плана, созданных другими писателями. Казалось бы, Олеша и Авинер с малолетства тесно связаны друг с другом, выросли в одной деревне, рано приобщились к работе. И все же, несмотря даже на внешнюю дружбу, они — явные антиподы.

Изначальную причину такой несхожести характеров Белов видит прежде всего в различном отношении их к труду, а соответственно и к тем, кто трудится. И проявилось это у них в раннем возрасте, а с годами — окрепло. Если Смолин все, за что брался, делал так, что краснеть ему никогда не приходилось, то Козонков придерживался иного правила: как бы половчее уклониться от работы (не случайно он до старости сохранил «не по-крестьянски белые пальцы»), уйти от ответственности, свалив свою вину на другого, исподтишка сделать подлость тому, кто прилюдно не побоялся дать ему отпор.

«Плотницкие рассказы» открывают цикл произведений, получивший общее название «Воспитание по доктору Споку». В последующих повестях и рассказах Белов продолжает развивать тему противоборства людей совестливых, чутких ко всему живому, с теми, кто оценивает происходящее исключительно с позиций собственной выгоды, кто в эгоистически рациональном подходе к окружающему не щадит даже своих близких.

Константин Зорин, центральный персонаж, объединяющий эти произведения, человек честный, стремящийся проводить и отстаивать доброе и светлое в жизни, остро реагирующий на несправедливость. Он старается быть внимательным к людям, терпимым к их слабостям. Однако в силу складывающихся обстоятельств Зорин вынужден нередко изменять своим жизненным правилам. Он мог бы быть хорошим семьянином, любящим мужем и отцом, но фальшь и вульгарность жены, ее рассудочно-жесткое отношение к мужу и ребенку часто лишают его самообладания, приводят к надлому и, в конечном итоге, к разрыву с женой и разлуке с любимой дочерью.

Он с интересом относится к своей работе, готов отдать ей максимум сил, но и тут — по не зависящим от него причинам — не все складывается благополучно.

Личные и производственные перипетии, постоянно влияя на Зорина, болезненно сказываются на его сознании и поведении. Приводят даже к встречам с наркологом («Дневник нарколога»). Крайняя степень душевной депрессии Зорина описана в рассказе «Чок-получок». Желая доказать себе и жене, что он не трус и тем восстановить уважение к себе, Константин решает испытать судьбу. Он идет на смертельный риск: подставив к виску охотничье ружье, нажимает на спуск, не зная точно — холостой или же единственный из шести заряженных патронов введен им в ствол. На его счастье, патрон оказался незаряженным.

Нравственной опорой для Зорина является мысль о том, что где-то есть деревня, в которой он родился и вырос, которая приобщила его к труду, научила уважать человека, дорожить традициями отцов и дедов, пробудила любовь к природе. Там когда-то он был искренне влюблен и любим. Порой деревня видится ему во сне — «веселая, большая», озаренная солнцем. «Босая девчоночка в летнем платье стоит на громадном речном камне. Она зовет Зорина, и у него сжимается сердце от всесветной тревожной любви».

И попав наконец во время отпуска в родные места, Константин переживает душевный подъем: в нем оживает все лучшее, что было заложено с детства. Он чутко реагирует на то, что видит вокруг: все настоящее его восхищает, все фальшивое вызывает резкую неприязнь. Показательно и по-своему символично его восприятие старого дома. Он слышит, как «по древним бокам сосновой хоромины бьют полотнища влажного мартовского ветра», как «дом будто тихо сопит от тяжелых котовых шагов» на чердаке, как «изредка, вдоль по слоям, лопаются кремневые пересохшие матицы, скрипят усталые связи», как с каждой упавшей с крыши глыбой снега «в напряженных от многотонной тяжести стропилах рождается облегчение». И Зорин «почти физически» испытывает это облегчение. Он радуется возможности «пойти в лес по узкому зимнику» и там «поглядеть на заячьи следы» либо «послушать синиц, жуя холодную льдинку наста». Многие радостные, памятные с детства ощущения оказываются доступными Зорину.

Но главное — это общение со старым искусным мастером — Олешей Смолиным, влюбленным в жизнь, не утратившим способности (несмотря на пережитые трудности и невзгоды) восхищаться прекрасным, сохранившим вкус к шутке и острому слову. Ежедневно работая бок о бок со Смолиным, испытывая воздействие его мудрого и доброго слова, Зорин чувствует, как из души уходит мелкое, наносное, как вместе с ощущением «сладкой усталости» в «обновленных мускулах» им овладевает «жажда добра». Однако отпуск проходит, и Зорин, очень скоро утратив пробудившийся в нем на время душевный настрой, опять оказывается в плену городской будничности, всякого рода неурядиц и сложностей.

Так тема «малой» отчизны получает новое преломление. Теперь это не только место, которое греет душу и постоянно манит к себе героя, но и опора для его духовного возрождения. Степень привязанности к родной деревне является своего рода критерием нравственной ценности образа. Не случайно отрицательные персонажи — Анфея и Тоня тяготятся происхождением, стараются не вспоминать о деревнях, в которых выросли. Тоня «стесняется своего деревенского детства», а Анфея от собственного имени отреклась, предложив всем называть себя Нелли.

Зато как тепло выписан образ матери Тони, простой русской женщины, вынужденной, как и дочь, жить в городе, но всем своим нутром кровно связанной с родиной («Свидания по утрам»). И не случайно появление здесь, хотя и эпизодическое, одного из самых обаятельных героев Белова — Олеши Смолина. Он как бы на-

поминает о существовании того мира, который выпестовал всех персонажей произведения. Своим радушно-уважительным отношением к собеседнику он одновременно подчеркивает противоестественность той надрывно-напряженной обстановки, в которой пребывает Зорин и семья его бывшей жены.

И в то же время появление Смолина, приехавшего навестить Константина, как бы говорит: Зорин не забыт на родине, нити, связывающие его с ней, не порваны, и есть в мире тот живительный источник, который способен укрепить его силы.

Критика неоднократно отмечала публицистический настрой автора повестей и рассказов, включенных в цикл «Воспитание по доктору Споку». Сосредоточивая внимание на теневых сторонах жизни персонажей, Белов всем ходом авторской мысли, особенностями образной ткани произведений подводит нас к выводу о необходимости установления между людьми более гармоничных, более гуманных отношений, в том числе семейных. При этом большое значение писатель придает преемственности того лучшего, что было выработано поколениями отцов и дедов.

О социально-нравственной роли традиций хорошо сказал известный советский критик и литературовед А. Овчаренко в книге «Новые герои — новые пути» (М., «Современник», 1977): «Чтобы душа хлебороба оттаяла, недостаточно лишь справедливого вознаграждения за труд и даже общего повышения материального и культурного уровня деревенской жизни... Человеку еще нужен целый мир живых традиций, привязанностей, нравов и обычаев... Помочь созданию такого мира, кажется мне, и стремятся наши писатели, поэтизируя привязанности сельского труженика...» И среди этих писателей Василий Белов занимает одно из ведущих мест. Всем своим творчеством он отстаивает высокие гуманистические нормы, без которых невозможно представить облик советского человека. Тем самым писатель вносит весомый вклад в Программу, которую осуществляет партия на селе.

Особую прелесть прозе Белова придает язык: живой, сочный, необычайно образный, не засоренный штампами. Его языку, как верно заметил С. Залыгин, «чужды литературные новации, «необкатанная» лексика, не говоря уже обо всем том, что мы называем изыском, модерном и модой, а иногда и поветрием».

В своих произведениях, порой вызывающих среди читателей и критиков споры, дискуссии и даже упреки, писатель стремится как можно полнее передать стихию народной жизни, хотя, по его собственному признанию, «постичь ее до конца никому не удавалось». Тем не менее многое оказалось Белову по силам. Этому способствует жанровое разнообразие его творчества: от многопланового повествования о жизни и быте доколхозной северной деревни до «Бухтин вологодских» — сборника юмористических миниатюр. Однако главное все же — это умение писателя, проникнув в самую суть народного характера, выразить посредством образных средств языка то сокровенное, что принято называть душой народа. Это удается немногим — разве только большим, подлинно национальным художникам.

Настоящий сборник вместил лишь часть того, что создал лауреат Государственной премии СССР Василий Белов. За пределами этой книги: роман «Кануны», серия очерков о народной эстетике под названием «Лад», пьесы, ряд рассказов, очерков, публицистика. Но и в данном составе сборник дает возможность ощутить дыхание жизни, которая питает творчество Белова, оценить его наблюдательность и точность изображения, прочувствовать раскрывшуюся нам стихию народного бытия, проникнуться очарованием образного, поистине поэтического восприятия мира, возбуждающего любовь к жизни и прекрасному в ней.

В. Меньшиков

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. ПРЯМЫМ ХОДОМ

Парме-ен? Это где у меня Парменко-то? А вот он, Парменко. Замерз? Замерз, парень, замерз. Дурачок ты, Парменко. Молчит у меня Парменко. Вот, ну-ко мы домой поедем. Хошь домой-то? Пармен ты Пармен...

Иван Африканович еле развязал замерзшие вожжи.

— Ты вот стоял? Стоял. Ждал Ивана Африкановича? Ждал, скажи. А Иван Африканович чего делал? А я, Пармеша, маленько выпил, выпил, друг мой ты, уж меня не осуди. Да, не осуди, значит. А что, разве русскому человеку и выпить нельзя? Нет, ты скажи, можно выпить русскому человеку? Особенно ежели он сперва весь до кишков на ветру промерз, после проголодался до самых костей? Ну, мы, значит, и выпили по мерзавчику. Да. А Мишка мне говорит: «Чего уж, Иван Африканович, от одной только в ноздре разъело, давай, говорит, вторительную». Все мы, Парменушко, под сельпом ходим, ты уж меня не ругай. Да, милой, не ругай. А ведь с какого места все дело пошло? А пошло, Пармеша, с сегодняшнего утра, когда мы с тобой посуду пустую сдавать повезли. Нагрузили да и повезли. Мне продавщица грит: свези, Иван Африканович, посуду, а обратно товару привезешь. Только, грит, накладную-то не потеряй. А когда это Дрынов накладную терял? Не терял Иван Африканович накладную. Вон, говорю, Пармен не даст мне соврать, не терял накладную. Свезли мы с тобой посуду? Свезли! Сдали мы ее, курву? Сдали! Сдали и весь товар в наличности получили! Так это почему нам с тобой выпить нельзя? Можно нам выпить, ей-богу, можно. Ты, значит, у сельпа стоишь, у высокого-то крылечка, а мы с Мишкой. Мишка. Этот Мишка всем Мишкам Мишка. Я те говорю. Дело привычное. Давай, говорит, Иван Африканович, на спор, не я буду, грит, ежели с хлебом все вино из блюда не выхлебаю. Я говорю, какой ты, Миша, шельма. Ты ведь, говорю, шельма, ну кто вино с хлебом ложкой хлебает? Ведь это, говорю, не шти какие-либо, не суп с курой, чтобы его, вино-то, ложкой, как тюрю, хлебать. А вот, говорит, давай на спор. Давай. Меня, Пармеша, этот секрет разобрал. На что, Мишка меня спрашивает, на что, спрашивает, на

спор идешь? Я и говорю, что ежели выхлебаешь не торопясь, так ставлю еще одну белоглазую-то, а ежели проиграешь, дак с тебя. Ну, взял он у сторожихи блюдо. Хлеба накрошил полблюда, лей, говорит. Большое блюдо-то, малированное. Ну я и ухнул всю бутылку белого в это блюдо. Начальство какое тут изладилось, заготовители эти и сам председатель сельпа Василей Трифонович глядят, затихли, значит. И что бы ты, Парменушко, сказал, ежели этот пес, этот Мишка, всю эту крошенину ложкой выхлебал? Хлебает да крякает, хлебает да крякает. Выхлебал, дьявол, да еще и ложку досуха облизал. Ну, правда, только хотел он закурить, газетку у меня оторвал, рожу-то и повело у него; видно, его и прижало тутотка. Выскочил из-за стола да на улицу. Вышибло его, шельму, из избы-то. Крылечко-то у сельпа высокое, как он рыгнет с крылечка-то! Ну да ты тут у крылечка и стоял, ты его видел, мазурика. Заходит он обратно, в лице-то кровинушки нет, а хохотнул! У нас, значит, с ним канфликт. Все мненья пополам разделились, кто говорит, что я проспорил, а кто говорит, что Мишка слово не выдержал. А Василей-то Трифонович, председатель сельпа-то, встал на мою сторону, да и говорит: твоя взяла, Иван Африканович. Потому как выхлебать-то он, конешно, выхлебал, а в нутре-то не удержал. Я Мишке говорю: ладно, шут с тобой, давай пополам купим. Чтобы никому не обидно было. Чего? Ты что, Пармен? Чего встал-то? А-а, ну давай, давай. Я тоже с тобой побрызгаю за компанию. За компанию-то оно. Пармеша, всегда... Тпрры! Пармен? Кому говорят? Тпрры! Ты что, такая мать, сам свою нужду справил, да и пошел? Тпрры! Ты, значит, меня не подождал, пошел? Я тебя сейчас вожжами-то. Тпрры! Будешь ты знать Ивана Африкановича! Ишь ты! Ну вот и стой по-людски, где у меня, эти... пуговицы-то... Да, кх, хм.

Нам не долго погулять,
А только до девятого.
Оставайся, дорогая,
Наживай богатого.

Вот теперь поехали, поехали с орехами, поскакали с колпаками...

Иван Африканович высморкался, надел рукавицы и опять уселся на груженные сельповским товаром дровни. Мерин без понукания, в бок, сдернул прикипающие к снегу полозья и споро поволок тяжелый воз, изредка фыркал и прядал ушами, слушая хозяина.

— Да, брат Парменко. Вон оно как дело-то у нас с Мишкой обернулось. Ведь налелькались. Налелькались. Пошел он в клуб к девкам, девок-то тут у сельпа побольше, какая в пекарне, какая на почте, вот он и пошел к девкам-то. И девки все экие толстопятые, хорошие, не то что у нас в деревне, у нас-то все разъехались. Весь первый сорт по замужьям разобрали, остался один второй да третий. Дело привычное. Я говорю, поехали, Миша, домой,— нет, к девкам пошел. Ну, дело понятное, мы тоже, Пармеша, были

молоденькие, это уж теперь-то нам все сроки вышли и соки вытекли, дело привычное, да... А как думаешь, Парменко, попадет нам от бабы-то? Попадет, ей-богу, попадет, это уж точно. Ну, ее бабье дело такое, ей тоже надо скидку делать, бабе-то, скидку, Парменко. Ведь у ее робетешек-то сколько? А у ее их, этих клиентов-то, чур будь, ей тоже не мед, бабе-то, ведь их восемь... Али девять? Нет, Пармен, вроде восемь... А с этим, которой... Ну, этот, что... которой в брюхе-то... Девять? Аль восемь? Хм... Значит, так: Анатошка у меня второй, Танька первая. Васька за Анатошкой был, первого мая родила, как сейчас помню, за Васькой Катюшка, после Катюшки Мишка. После, значит, Мишка. П-п-погоди, а Гришку куда? Гришку-то я и забыл, он-то за кем? Васька за Анатошкой, первого мая родился, за Васькой Гришка, после Гришки... Вот ведь, унеси леший, сколько накопил. Мишка, значит, за Катюшкой, за Мишкой Володя еще, да и Маруся, эта меньшуха, родилась в межумолоки... А перед Катюшкой-то кто был? Значит, так, Анатошка у меня второй, Танька первая, Васька первого мая родился, Гришка... А, шут с ним, все вырастут!

Нам не долго погулять...
А только до девятого...

Тпрры, стой, Парменко, тут нам потихоньку надо, как бы не окувырнуться.

Иван Африканович слез на дорогу. Он с такой серьезностью поддерживал воз и дергал за вожжи, что мерин как-то даже снисходительно, нарочно для Ивана Африкановича замедлил ход. Уж кому-кому, а Пармену-то была хорошо известна вся эта дорога...

— Ну, вот так, так, давай, вроде проехали мостик-то,— приговаривал ездовой.— Нам бы только с тобой накладную-то не ухайдакать, накладную-то... А ведь я тебя, Парменко, еще вот каким помню. Ведь ты тогда еще у матки титьку сосал, вот я тебя каким помню. И матку твою помню, звали Пуговкой, до того мала была да кругла, сгонили покойную головушку на колбасу, матку-то. Я, бывало, на ней за сеном ездил в масленицу, на старые стожья, дорога-то была вся через пень-колоду, дак она, матка-то твоя, как ящерка с возом-то, где ползком, где скоком, до того послушна была в оглоблях. Не то что ты теперешной. Ведь ты, дурак, и не пахивал, и в извозе дальше сельпа не езживал, ты ведь одно вино да начальство возишь, у тебя жизнь-то как у Христа за пазухой. Я ведь тебя еще каким помню? Ну, конешно дело, тебе тоже досталось. Помнишь, как семенной горох возили, а ты из оглобель-то вывернулся! Да как мы тебя, прохвоста, всем миром из канавы на ноги ставили? А ведь я тебя еще вот эконьким помню-то,— бывало, бежишь по мосту весь празднишной, дак копытка-ти у тебя так и брякают, так и брякают, и никакой-то заботушки у тебя тогда не было. А теперь что? Ну, возишь ты вина вдоволь, ну там кормят тебя, поят, а дальше что? Вот сдадут тебя тоже на колбасу, в любой момент могут, а ты что? Да ничего, пойдешь как милень-

кой. Вот ты говоришь, баба. Баба, она, конешно, баба и есть. Только у меня баба не такая, она и отряховку даст кому хошь. А мне ни-ни с пьяным. Пьяного она меня пальцем не тронет, потому знает Ивана Африкановича, век прожили. Тут уж, ежели я выпил, мне встречь слова не говори и под руку не попадай, у меня рука кому хошь копоти нагонит. Верно я говорю, Пармен? То-то, это уж точно я говорю, это уж как в аптеке, нагоню копоти. Чево?

Нам не долго погулять,
А только до де...

Я говорю, что Дрынова хто зажмет? Нихто Дрынова не зажмет, Дрынов сам кого хошь зажмет. Куда? Это ты куда, дурак старый, воротишь-то? Ведь ты не на ту дорогу воротишь! Ведь мы с тобой век прожили, а ты, понимаешь, куда воротишь? Это тебе домой дорога-то, что ли? Это тебе дорога не домой, а на вырубку. Я тут сто раз ездил, я тебе... Что? Я тебе полягаюсь, я вот тебе полягаюсь! Ты дорогу лучше меня знаешь? Ты, прохвост, вожжей захотел? Нна! Нна, вот тебе, ежели так! Ступай куда велят, свой прынцып не отстаивай! Чего заоглядывался? Ну? То-то, дурак, иди куда велено!

Нам не долго погулять,
Ых, только до...

Иван Африканович отхлестал мерина и примирительно зевнул:

— Ишь ты, Парменко, как меня разморило-то. Мы с тобой сейчас домой прикатим, товар сдадим, самовар поставим. Распрягу я тебя либо бабе скажу, и пойдешь ты, дурачок, домой, в конюшную. Ведь ты дурак, Парменко? Вот и я говорю, что ты дурачок, хоть ты и умный мерин, а дурачок. Ничего-то в жизни не смыслишь. Ты вон свернуть хотел на другую дорогу, а я тебя восстановил. Восстановил я тебя на верную путь али не восстановил? То-то. А нам не долго погулять... Ты, дурак, чего опять остановился? Который раз останавливаешься. Ты домой не хошь? Отведаешь у меня еще вожжей, ежели! Вот и деревню видно, сдадим мы товар, самовар поставим, нам теперь что, нам теперь всё вчера до обеда. Дурак ты, Парменко, дурак, тебе домой неохота. Вон и деревня рядом, вон и трактор Мишкин. Что? Какая это деревня-то? Вроде не наша деревня. Ну. Ей-богу, не та деревня. Вот и сельпо есть, а в нашей сельпа нет, нет в нашей сельпа, это уж точно, а тут сельпо. Вон и крылечко высокое. Ведь мы, Парменко, вроде бы тут и товар грузили? Хм. Право слово, тут. Пармен ты Пармен. Нет ведь у тебя толку-то, ишь куда ты меня завез. Вот ведь куда нас повело. Парме-ен? Ну, теперь мы с тобой домой поедем. Вот, вот, заворачивай-ко, батюшко! Ведь я тебе еще каким помню-то? Ведь ты еще маткину титьку губами дергал... Мы с тобой ходко... К утру дома будем, как в аптеке... Теперь мы, Пармеша, прямым ходом. Да, это... Прямым. Дело привычное.

2. СВАТЫ

Иван Африканович закурил, а мерин, не останавливаясь у сельповского крыльца, завернул обратно. Он трудолюбиво и податливо тащил груженые дровни с Иваном Африкановичем в придачу, поющим одну и ту же рекрутскую частушку.

Красная большая луна встала над лесом. Она катилась по еловым верхам, сопровождая одинокую, скрипящую завертками подводу.

Апрельский снег затвердел к ночи. В тишине ядрено и широко тянуло запахом натаявшей за день и ночью вымерзающей влаги.

Иван Африканович теперь молчал. Он трезвел и, будто засыпающий петух, клонил голову. Сперва ему было немножко стыдно перед Парменом за свою оплошность, но вскоре он как бы не нарочно забыл про эту вину, и все опять установилось на своих местах...

Мерин, чувствуя за спиной человека, топал и топал по затвердевшей дороге. Кончилось небольшое поле. До Сосновки, где была половина дороги, оставался еще небольшой лесок, встретивший подводу колдовской тишиной, но Иван Африканович даже не шевельнулся. Приступ словоохотливости как по команде сменился глубоким и молчаливым равнодушием. Сейчас Иван Африканович даже не думал, только дышал да слушал. Но и скрип завертки и фырканье мерина не задевали его сознание.

Из этого небытия его вывели чьи-то совсем близкие шаги. Кто-то его догонял, и он поежился, очнулся.

— Эй! — окликнул Иван Африканович.— Мишка, что ли?

— Ну!

— А то чую, бежит кто-то. Что, видать, ночевать-то не оставили?

Мишка, сердитый, шмякнулся на дровни, мерин даже не остановился. Иван Африканович, ощущая собственную хитрость, оглядел парня. Мишка, нахлобучив ворот телогрейки, закуривал.

— Кого сегодня отхватил? — спросил Иван Африканович.— Не ту, что в сапожках-то ходит?

— А ну их всех на...

— Что эдак?

— Зоотэхник в истэрике! — передразнил Мишка кого-то.— Чик-брик, пык-мык! Дуры шпаклеванные. Видал я такую интеллигенцию!

— Не скажи,— трезво сказал Иван Африканович,— девки ядреные.

Оба долго молчали. Пожелтела и стала меньше высокая к полуночи луна, тихо дремали кустики и скрипела завертка, топал и топал неустанный Пармен, а Иван Африканович, казалось, что-то сосредоточенно прикидывал. До Сосновки, небольшой деревеньки, что стояла на средине пути, оставалось полчаса езды. Иван Африканович спросил:

— Ты Нюшку-то сосновскую знаешь?

— Какую Нюшку?
— Да Нюшку-то...
— Нюшка, Нюшка...— Парень сплюнул и перевернулся на другой бок.
— Экой ты, право...— Иван Африканович покачал головой.— А ты забудь про этих ученых! Раз наш брат малограмотный, дак и нечего. Наплюнь, да и все. Дело привычное.
— Иван Африканович, а Иван Африканович? — вдруг обернулся Мишка.— А ведь у меня эта бутылка-то не распечатана.
— Да ну! Какая «эта»?
— Ну, та, что ты мне проспорил-то.— Мишка вытащил бутылку из кармана штанов.— Вот мы сейчас обогреемся.
— Вроде бы из горлышка-то... неудобно перед народом, да и так. Может, не будем, Миша?
— Чего там неудобно! — Мишка уже распечатал посудину.— Ты вроде бы пряники грузил?
— Есть.
— Давай откроем ящик да возьмем двух на закуску.
— Нехорошо, парень.
— Да скажу завтра продавщице, чего боишься? — Мишка топором отодрал фанеру ящика, достал два пряника.
Выпили. Уже затихший было, но подновленный хмель сделал светлее апрельскую нехолодную ночь, вдруг и скрипящая завертка и шаги мерина — все приобрело смысл и заявило о себе, и уже луна не казалась Ивану Африкановичу ехидной и равнодушной.
— Я тебе, Миша, так скажу.— Иван Африканович наскоро дожевывал пряник.— Ежели человек сердцем не злой, да люб, да работник, дак не хуже никакого и зоотехника либо там госстраха. Вот Нюшку возьми...
Мишка слушал. Иван Африканович, не зная, угодил ли парню своими словами, крякнул.
— Конешно дело, грамота тоже, это... не лишнее в девке. А и ты-то парень у нас не худой, чего говорить... Да. Это, значит... чего говорить...
Допили, и Мишка далеко в кусты бросил пустую посудину, спросил:
— Ты про какую Нюшку говорил? Про сосновскую?
— Ну! — обрадовался Иван Африканович.— Вот уж девка, и красивая и работница. А ноги возьми, что вырублены. Она с моей бабой недавно на слете была, дак оне там по отрезу по самолучшему отхватили. А этих грамот у нее — дак все стены завешаны.
— С бельмом.
— Чего?
— С бельмом, говорю, эта Нюшка.
— Ну и что? Тебе-то что это бельмо? Это бельмо и видно-то, только ежели глядеть спереди, а сбоку да ежели с левого, дак никакого и бельма не видно. Грудина, а ноги-то, девка что баржа. Куда супротив Нюшки этим зоотехникам. Вон зоотехница-то при-

шла один раз на двор, а Куров поглядел, да и говорит: «Добра девка, только ноги дома оставила». Нету, значит, ног-то почти. Как палочки. А Нюшка вон идет, дак глядеть-то любо-дорого. Все простенки в грамотах да в гербовых листах, и в дому одна с маткой. А вот хошь, сейчас привернем? Хоть сейчас и сосватаю!

— А что, думаешь, сгузаю? — сказал Мишка.

— Всурьез тебе говорю.

— И я всурьез!

— Мишк! да я... да мы... мы с тобой, знаешь? Ты Ивана Африкановича знаешь! Да мы, мы... Пармен?!

Иван Африканович ударил по мерину вожжами, раз, другой. Пармен нехотя обернулся, но дело было уже под горку, дровни покатились. Мерину поневоле пришлось перейти на рысь, и через минуту возбужденные дружки по-молодецки, с частушкой, вкатили в Сосновку:

Дорогая, не гадай,
Полюбила — не кидай.
Держись старого ума —
Люби мазурика меня.

Сосновка спала запредельным сном. Ни одна собака не взлаяла при появлении подводы: дома, редкие словно хуторки, мерцали лунными окошками. Иван Африканович наскоро поставил мерина у поленницы, бросил с воза последнее сенцо.

— Ты, Миша, вот что, уж ты положись на меня, сам-то больше помалкивай. Мне это дело не в первый раз, я Степановну, матку-то, давно знаю, как-никак тетка двоюродная. Не больно мы пьяные-то?

— Надо бы еще разжиться...

— Чч! Молчок покаместь!.. Степановна? — Иван Африканович осторожно постукал по воротам.— А Степановна?

В избе вскоре вздули огонь. Потом кто-то вышел в сени, отпер ворота.

— Кто это полуночник? Только на печь легла.— Старуха в фуфайке и в валенках открыла ворота.— Вроде Иван Африканович.

— Здорово, Степановна! — Иван Африканович бодрился, стукал нога об ногу.

— Проходи-ко, Африканович, куда ездил-то? А это кто с тобой, не Михайло?

— Он, он.

В избе и в самом деле было красно от почетных грамот и дипломов, горела лампа, большая беленая печь и заборка, оклеенная обоями, разделяли избу на две части. Колено самоварной трубы висело у шестка на гвоздике, рядом два ухвата, совок и тушилка для угольков, сам самовар стоял, видно, в шкапу.

— Ночевать будете али как? — спросила Степановна и выставила самовар.

— Нет уж, мы прямым ходом... Обогреемся, да и домой.—

Иван Африканович снял шапку и сложил в нее свои мохнатые рукавицы.— Нюшка-то где, спит, что ли?

— Какое спит. Две коровы должны вот-вот отелиться, дак убежала еще с вечера. Каково живешь-то?

— А добро! — сказал Иван Африканович.

— Ну и ладно, коли добро. Не родила еще хозяйка-то?

— Да должна вот-вот.

— А я только на печь забралась, думаю, Нюшка стукает, ворота-то мы запираем редко.

Зашумел самовар. Старуха выставила из шкапа бутылку. Принесла пирога, и Иван Африканович кашлянул, скрывая удовлетворение, поскреб штаны на колене.

— А ты-то, Михайло, все в холостяках? Женился бы, дак и меньше вина-то пил,— сказала Степановна.

— Это уж точно! — Мишка, смеясь, хлопнул ее по плечу.— Вина-то я, Степановна, много пью. Ведь вот и сегодня до чего допил, что прямо беда! Беда!

Мишка с горестным весельем качал головой:

— Бери зятем, пока...

Иван Африканович пнул Мишку валенком под столом, но Мишка не унимался:

— Отдашь за меня дочку-то, что ли?

— Да со Христом! — засмеялась бабка.— Берите, ежели пойдет, хоть сейчас и вези.

Ивану Африкановичу ничего не оставалось делать, как тоже включиться в дело, он уже громко, на всю избу, кричал Степановне и Мишке:

— Ну вот и я говорю, точно! У девки, у Нюшки, руки-то... Грамот однех... Миш? Я те говорю, точно! Степановна? Ты меня знаешь! Иван Африканович кому худо сделал? А? По-сурьезному!.. Я ему говорю, сейчас в Сосновку приедем, так? Он мне говорит... Нюшка! А ну-ко выходи сюда, Нюшка! Вот я сейчас на ферму пойду, Нюшку приведу. Степановна? Чч!

Однако Ивану Африкановичу не пришлось идти за Нюшкой. Стукнули ворота, и Нюшка сама объявилась на пороге.

— Аннушка! — Иван Африканович с полной стопкой встал ей навстречу.— Анютка! Троюродная! Да мы тебя... да мы... мы... Да экой девки на всю округу нету! Ведь нету такой девки? Однех грамот... Чч! Миш? Всем наливай. Я говорю, что нет лучше девки! А Мишка? Да разве Мишка худ парень? Ведь мы, Анюта, за тобой... значит, это самое, сватаем.

— Чево? — Нюшка, в навозных сапогах и в пропахшей силосом фуфайке, встала посреди избы и, прищурившись, поглядела на сватов. Потом бросилась за перегородку, проворно выскочила оттуда с ухватом: — Неси леший! Чтобы духу вашего не было, пьянчужки несчастные! Неси леший, пока глаза-то не выколола! Неси вас леший, откуда пришли!

Иван Африканович недоуменно попятился к двери, не забыв,

однако, прихватить шапку с рукавицами, а старуха попыталась остановить дочку:

— Анна, да ты что, сдурела?

Нюшка заревела, схватила Ивана Африкановича за ворот:

— Иди, пустая рожа! Иди, откуда пришел, сотона! Сват выискался! Да я тебе...

Не успел Иван Африканович очнуться, как Нюшка сильно толкнула его, и он очутился на полу, за дверями; таким же путем оказался в сенях и Мишка.

Потом она выскочила в коридор, уже без ухвата. Еще более бесцеремонно и окончательно вытолкала сватов на улицу и захлопнула ворота...

В доме стоял рев. Нюшка с плачем кидала на пол что попало, вся в слезах кричала и металась по избе и материла весь белый свет.

— Ну и ну! — сказал Мишка, щупая локоть. А Иван Африканович растерянно хмыкал.

Он еле поднялся, сперва на четвереньки, потом, опираясь на руки, долго разгибал колени, с трудом выпрямился:

— Хм. Вот ведь... Бес, не девка. В ухо плюнуть да заморозить. Пармен? А где у меня Пармен?

Пармена у поленницы не было. Иван Африканович забыл привязать мерина, и он давно уже топал домой, топал один, под белой апрельской луной по тихой дороге, и завертка одиноко скрипела в ночных полях.

3. СОЮЗ ЗЕМЛИ И ВОДЫ

Под утро погода сменилась, пошел снег, поднялся ветер. Во всех подробностях и с красочными прибавками про сватовство Мишки Петрова знала вся округа: сарафанная почта сработала безотказно, даже в такую вьюгу.

Магазин открылся в десять часов, бабы ждали выпечки хлеба и со смаком обсуждали новость:

— Говорят, сперва-то ухватом, а потом ножик сгребла со стола-то да с ножиком на мужиков-то!

— Ой, ой, а старуха-то что?

— А что старуха? Она, говорят, и старуху кажин день колотит.

— Ой, бабы, полноте, чего здря говорить. Нюшка матку пальцем не трагивала. Нет, дружно у их с маткой, экую бухтину про Нюшку разнесли.

— Чего говорить, смирёнее не было девки.

— Дак лошадь-то пришла?

— Пришла одна, ни мужиков, ни накладной нету.

— Говорят, в бане в сосновской ночевали.

— Дорвались до вина-то!

— Готовы в оба конца лить.

— Товар-то целой, однако?

— Преников-то привезли, а говорят, у двух самоваров кранты отломило, мерин-то сам забрел на конюшню, дровни-то перекувыркнулись.

— Ой, ой, ведь не рассчитаться Иван-то Африкановичу!

— А все вино, вино, девушки, не было молодца побороть винца!

— Да как не вино, знамо, вино!

— Сколь беды всякой от его, белоглазого, сколь беды!

Заходили все новые и новые покупательницы. Завернул бригадир, ничего не купил, потолкался и ушел, зашли трактористы за куревом. И весь разговор крутился опять же вокруг Мишки да Ивана Африкановича.

Ивана Африкановича видели рано утром, как бежал откуда-то, как зашел в дом и будто бы закидался по избе, потому что еще вчера, пока ездил в сельпо, жену его, Катерину, увезли в больницу родить, жены не оказалось, и будто бы он сказал теще, старухе Евстолье, что, мол, все равно он, Иван Африканович, задавится, что он без Катерины хуже всякой сироты. Теща же Евстолья, по словам баб, сказала Ивану Африкановичу, что она, хватит, намаялась, что уедет к сыну Митьке в Северодвинск, мол, нажилась вдоволь, покачала люльку по ночам, что вам бы, мол, с Катериной только обниматься и что она, Евстолья, дня больше не останется и уедет к Митьке.

Конца-краю нет бабьим пересудам... Продавщица ушла на конюшню, писать акт, наказав бабам приглядывать за прилавком, и в магазине стоял шум, бабы говорили все сразу, жалели Ивана Африкановича и ругали Мишку. В ту самую минуту и ввалился в магазин сам Мишка, со вчерашнего пьяный, без шапки.

У кого какой милой,
У меня дак Мишка,
Никогда не принесет
Лампасею [1] лишка! —

спел он и замотал головой.— Здорово, бабы!

— Здравствуй, здравствуй, Михайло.

— Чего веселой-то?

— А-а...

— Не привез невесту-то?

— Нет, бабы, не вышло дело.

— Голова-то, поди, болит?

— Болит, бабы,— признался парень и сел на приступок.— Не ремесло это, вино эдак глушить. Нет, не ремесло...— Мишка мотал головой.

— А куда друга-то девал, свата-то? — как бы всерьез допытывались бабы.

---

[1] Лампасей (просторечие) — конфеты, от слова «монпансье». (Здесь и далее примечания автора.)

— Ох, и не говори! Сват-от дак...— Мишка долго хохотал на приступке и от этого закашлялся.— Ой, бабы! Ведь нас, как этих... как диверсантов...

— Не приняла?

— Выставила! Ухватом этим... У меня и сейчас локоть болит, как она шуганет, мы с лесенки-то... ракетой. Как ветром нас сдунуло! Ой, бабы. Лучше не говорите...

Мишка опять зашелся в смехе и кашле, а бабы не отступались:

— Дак вдругорядь-то не стукались?

— Что ты! Нам и того сраженья — за глаза. Очнулись, что делать? Мерин домой ушел, стоим на морозе, я говорю, пойдем, Иван Африканович, баню найдем да до утра как-нибудь прокантуемся. Думал, на перине буду ночевать с Нюшкой, а все повернулось на сто градусов. Пошли, баню нашли.

— Чья баня-то? Ихняя?

— Ну! Теплая еще, и воды полторы шайки. Я говорю, давай, Иван Африканович, раз дело со сватовством не вышло, дак хоть в тещиной бане вымоемся.

— Ой, сотона! Ой, гли-ко ты, бес-то! — бабы, смеясь, завсплескивали руками.

— ...Снимай, говорю, Иван Африканович, рубаху, будем грехи смывать. А он упрямится, форс показывает, мочалки нет, того нет. Меня, говорит, в Москве в трех домах знают. Я, говорит, чаю без сахару не пивал, не буду, как дезертир, в чужой бане мыться. Да и жару, говорит, нет. А я, бабы, взял ковшик, плеснул на каменку. Оно верно, никакого от каменки толку, все равно, думаю, не я буду, ежели в тещиной бане не вымоюсь! Вот Ивану Африкановичу тоже деваться некуда, гляжу, раздевается.

— Вымылись?

— Ну! Без мыла, правда, а хорошо. Оболоклись, легли на верхнем полке — валетом. А худо ли? Свищи душа через нос. Я, бывало, в Доме колхозника ночевал, дак там меня клопы до крови оглодали, а тут бесплатная койка. Только, слышу, Иван Африканович у меня не спит. Чего, спрашиваю. А, говорит, ты эту... как ее... Верку-то заозерскую знаешь? Больно, говорит, добра девка-то. Я говорю, иди ты, Иван Африканович, знаешь куда, что я тебе, богадельня какая? Одну с бельмом нашел, другую хромую. Эта Верка и под гору с батогом ходит. Он мне говорит: ну и что? Подумаешь, говорит, хромая, зато хозяйство и братанов много по городам. Я говорю, не надо мне этих братанов...

— Нет уж, Миша, Верка тебе тоже не невеста.

— Ну! Я и говорю Ивану Африкановичу...

В это время в магазин затащили ящики с товаром и два новых изуродованных самовара, завернутых в бумагу. Бабы переключились на товар, что да как, и Мишка, оставшись не у дел, замолчал.

— Преники-то будешь торговать?

— Ой, бабы, кабы кренделей-то, кренделей-то хоть бы разок привезли...

Продавщица без накладной торговать новым товаром отказалась наотрез, свидетели подписали акт о сломанных самоварах и о наличии ящиков, а Мишка продолжал рассказывать:

— Будешь ты, говорю, спать сегодня аль не будешь? Слышу — захрапело. Я утром пробудился, гляжу, нет Ивана Африкановича. Один на полке лежу. Видать, будил он меня, будил да так и убежал по холодку, отступился. Я спать-то горазд с похмелья. Сел я, бабы, закурить хотел. Гляжу, штаны-то у меня не свои,— видать, мылись да штаны перепутали. Ладно, думаю, хоть эти есть, выкурнул из предбанника, вроде никого не видать, да по задам, по задворкам, думаю, хоть бы живым из деревни уйти.

— Дак ты бы поглядел: может, накладная-то в штанах у Ивана Африкановича.

Мишка начал шарить по карманам:

— Нет, это не ремесло... Газетка, кисет, спички тут. А вот еще грамотка. Ну! Точно, накладная.

Мишка начал читать накладную, а продавщица сверять товар.

— «Пряники мятные, по рупь сорок кило, самовары тульские, белые, тридцать три восемьдесят штука, шоколад «Отёлло», есть?

— Есть, есть!

— «Гусь озерный, лиса-патрикеевна...» Стой, это еще что за лиса? А, игрушки... «Репр... репродукция союз земли и воды», есть?

— Тут.

— Ну-ко, хоть бы поглядеть, что это за союз.— Мишка ободрал с картины обертку и щелкнул от радости языком: — Мать честная! Бабы, вы только поглядите, чего мы привезли-то! Не здря съездили. Два пятьдесят всего!

Бабы как взглянули, так и заплевались, заругались: картина изображала обнаженную женщину.

— Ой, ой, унеси лешой, чего и не нарисуют. Уж голых баб возить начали! Что дальше-то будет?

— Михайло, а ведь она на Нюшку смахивает.

— Ну! Точно!

— Возьми да над кроватью повешай, не надо и жениться.

— Да я лучше тридцать копеек добавлю...

— Ой, ой, титьки-то!

— И робетёшка вон нарисованы.

— А это-то чего, пьет из рога-то?

— Дудит!

— Больно рамка-то добра. На стену бы для патрета.

— Я дак из-за рамки бы купила, ей-богу, купила.

Картину купили «для патрета». По просьбе хозяйки картины Мишка выдрал Рубенса из рамки, свернул его в трубочку.

А Иван Африканович так и не появился.

Принесли с пекарни выпечку хлеба, пошли в ход и мятные пряники. Бабы заразвязывали узелки, зарасстегивали булавки. Мальчишка, посланный за Иваном Африкановичем, вскоре прибежал и сказал, что Ивана Африкановича дома нет, а куда девался,

никто не знает, и что бабка Евстолья качает люльку, кропает Гришкины штаны и ругает Ивана Африкановича пьяницей и путаником. И что будто бы Гришка, дожидаясь штанов, сидит на печи и плачет.

4. ГОРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ

За деревней ничего не было видно, только дымился белый буран.

Клубы колючего снега сшибались по-петушиному и гасили друг друга, нарождались новые клубы, крутились, блудили в своей толпе, путая небо и землю. Видно, в последний раз бесилась зима. Ветер не свистел и не плакал, он шумел ровным, до бесконечности широким шумом. Со всех сторон, и снизу и сверху, хлопали и разрывались на плети плотные ветряные полотнища.

Иван Африканович был не очень тепло одет и только приговаривал: «Ох ты, беда какая, ох и беда!» Он и сам не знал, вслух ли это говорилось или только мысленно, потому что если бы вслух, то все равно голос был не слышен. Щупая ольховой палкой дорогу, избочась и разрезая плечом налетающий рывками воздух, он с трудом шел к лесу. Иногда ветер заливал дыхание. Тогда Иван Африканович, как утопающий, крутил головой, искал удобного положения, чтобы вдохнуть воздух, и чувствовал, как ослабевают коленки во время задержки дыхания. Он знал, что в лесу дорога лучше и ветер тише. Шел очень медленно и с закрытыми глазами. Когда палка уходила глубоко в снег, он брал два шага влево, потом четыре вправо, если дороги левее не было.

Ветряным холодом давно выдуло остатки вчерашнего похмелья. «Ох, Катерина, Катерина...— мысленно говорил Иван Африканович.— Да что же это... Уехала, увезли. Как ты одна, без меня-то?..»

Тосковал он взаправду. После того как прибежал из сосновской бани и не застал жену дома, он, не слушая тещу, кинулся вослед Катерине. «Бес с ним, с мерином, и с товаром, разберутся. А какое ты дураково поле, Иван Африканович! Напился вчера, ночевал в бане. А в это время Катерину увезли родить, увезли чужие люди, а он, дураково поле, ночевал в бане. Некому бить, некому хлестать». Так размышлял Иван Африканович и понемногу успокаивался. Суетливое и бестолковое буйство в душе сменилось тревогой и жалостью к Катерине. Он пробежал через Сосновку и даже не вспомнил про ночное происшествие. Скорее, скорее. «Катерина. Увезли родить, девятый по счету, все мал мала меньше. Баба шесть годов ломит на ферме. Можно сказать, всю орду поит-кормит. Каждый месяц то сорок, то пятьдесят рублей, а он, Иван Африканович, что? Да ничего, с гулькин нос, десять да пятнадцать рублей. Ну, правда, рыбу ловит да за пушнину кой-чего перепадает. Так ведь это все ненадежно...»

Иван Африканович вспомнил, как еще холостым провожал

Катерину с гулянок. «Пришел с войны — живого места нет, нога хромала, так и плясал с хромой ногой. Научился. Может, из-за этого и нога на поправку пошла, что плясал, давал развитие... Катерина была толстая, мягкая. Она и сейчас еще ничего, а ежели принарядится да стопочку выпьет... Только когда ей наряжаться-то? Восемь ребятишек, на подходе девятый. Потрешь сопель на кулак, пока вырастут. Теща, конечно, выручает, качает люльку, около печи гоношится, без тещи бы тоже хана. Теща Евстолья тоже старуха ничего. Хоть и собирается кажин день к Митьке в Северодвинск, а ничего. Пятый год говорит, что уедет к Митьке...»

Иван Африканович не мог забыть ей только одну обиду. Не то что не мог, просто, будто заноза в пальце, сказывается тот случай, особенно когда выпьешь. Правда, теща-то, пожалуй, и не виновата, виновата больше мать-покойница, да обе были добры, чего говорить.

Дело приключилось в пивной праздник, успеньев день. Иван Африканович, а по-тогдашнему Ванька Дрынов, гостил у Нюшкиной матери,— Степановна как-никак по отцу двоюродная тетка. Нюшка была самолучшей подружкой Катерины. Вместе плясали и провожались, вместе рвали черемуху. И вот теперь у Катерины на подходе девятый, а Нюшке около сорока — и все еще в девках. «Завяла троюродная,— видать, не выхаживать,— думал Иван Африканович.— А все из-за того, что изъян, глаз один совсем белый, уже в войну молотила рожь и уткнула на гумне соломиной».

В то успенье Иван Африканович пришел в Сосновку с твердым решением увести Катерину замуж самоходкой. Нюшка пособляла ему, как могла. Катерина через нее передала жениху, что пойдет в любую ночь, на матку не поглядит и разговоров не побоится. Дом у Евстольи с Катериной стоял как раз напротив Нюшкина; это теперь-то поредела Сосновка и дома этого давно нет, а тогда стоял большой дом — любо-дорого. Иван Африканович сидел в гостях, пил терпкое сусло и поглядывал на Евстольин дом, и на душе было молодо и тревожно. Золотым колечком укатилась молодость — куда все девалось? Играло сразу три гармоньи, пели в темноте веселые девки. Ребята заводили на улице драки, и девки и бабы растаскивали их, и они вырывались из женских рук, но вырывались ровно настолько, чтобы не вырваться и взаправду...

Иван Африканович с Нюшкой вышел тогда на улицу. Новые хромовые сапоги и сержантские галифе сидели на нем ладно и туго, звякали на пиджаке и тянули за полу ордена. Нюшка, гордая за троюродного брата, шла с ним под ручку. В августовской темноте и веселой сутолоке они долго искали Катерину и не нашли бы, если б она не пошла плясать и не запела: голос этот у Ивана Африкановича звенит и сейчас в ушах. Иван Африканович сплясал раза два, походил с девками по деревне, а под утро увел их из Сосновки. Нюшка пошла с ними для веселья. Он помнит, как она, словно бы в шутку, спела частушку, выходя в темное, но еще теплое поле, пахнущее ржаной соломой и сухой земляной пылью:

Не ходи, подруга, замуж,
Как моя головушка,
Лучше деверя четыре,
Чем одна золовушка.

Но ни братьев, ни сестер не было у Ивана Африкановича, Катерине нечего было бояться золовок и деверей. Получилось другое: тогда еще живая мать прочила Ивану Африкановичу не ту невесту, Катерина была ей нелюба. Пришли в деревню уже под утро, мать, сердитая, отворила ворота. В избе девки сели на лавку, а Иван Африканович уже разувался, для него, фронтовика, все было ясно и четко. Мать то заслонкой забрякает, то выбежит в сени, стонет и охает. Вышла на поветь, там воротца как раз на сосновскую сторону, на невестину деревню. Прибежала в избу, всплеснула руками: «Ой, девки-матушки, Сосновка горит!» Нюшка и Катерина кинулись из избы опрометью, ворота за ними сами захлопнулись на защелку. Пока Иван Африканович надевал сапог, мать закрыла ворота еще и на крючок: «Неправда, Ванька, не бегай, ушли, дак и слава богу»,— спокойно сказала она.

Он чуть не вышиб воротницу, долго путался с защелкой. Выскочил на улицу: в августовской ночи громоздилась темень, не горела никакая Сосновка, и девок уже не было...

После этого Иван Африканович не мог жениться два года, а на третий женился. На молчаливой девке из дальних заозерных мест. Она засыпала на его руке тотчас же, бездушная, как нетопленная печь... У них была холодная любовь: дети не рождались. Мать говорила, что их испортили, подшутили, и через год жена сама ушла в свои заозерные места, вышла замуж и, как слышал Иван Африканович, с другим народила четверых ребятишек.

«Да, у них с ней была холодная любовь, это уж точно. Вот с Катериной — любовь горячая...»

Иван Африканович посватался к ней вновь, тут-то и заупрямилась Евстолья, теща нынешняя. Поставила дочке запрет: не пойдешь — и все, нечего, мол, им измываться, мы не хуже их, в нашем роду все были работники. Дело затянулось. На свадьбе теща не пила, не ела, сидела на лавке, будто аршин проглочен, и вот Иван Африканович все еще помнит эту обиду. Да нет, какая уж там обида, столько годов прошло. С Катериной у него горячая любовь: уйдет она в поле, на ферму ли, ему будто душу вынет.

«Ох, Катерина, Катерина...— Иван Африканович почти бежал, волнение опять нарастало где-то в самом нутре, около сердца.— Увезу, голубушку, домой, унесу на руках. Нечего ей там и маяться. Дома родит не хуже... Солому на ферме буду трясти, воду носить... Выпивку решу, в рот не возьму вина, только бы все ладно, только бы...»

Вьюга в поле запела вновь, ветер сек снегом горячие щеки. Иван Африканович выбежал на угор, до больницы и конторы сельпо было подать рукой.

Он не помнил, как добежал до больничного крылечка...

— Иван Африканович? А Иван Африканович? — Фельдшерица приоткрыла двери в коридорчик, заглянула за печку. Ивана Африкановича нигде не было.— Товарищ Дрынов!

«Куда он девался? — подумала она.— Два дня в прихожей крутился, домой не могли прогнать. А тут как провалился».

Она решила, что Дрынов ушел, так и не дождавшись жениных родов. На всякий случай открыла кладовку, куда уборщица складывала дрова, и рассмеялась. Иван Африканович спал на поленьях. От постеснялся даже подложить под голову старый больничный тулуп. Иван Африканович не спал уже две ночи и ничего почти не ел, а на третий день его сморило, и он уснул на поленьях.

— Товарищ Дрынов,— фельдшерица тронула его за рукав,— у вас ночью сын родился, вставайте.

Иван Африканович вскочил в ту же секунду. Он даже не успел постесняться, что залез в кладовку и уснул, фельдшерица стояла и ругала его:

— Вы бы хоть тулуп-то подстелили!

— Милая, да я... я тебе рыбы наловлю. Голубушка, я... я... Все ладно-то хоть?

— Все, все.

— Я рыбы тебе наловлю.

— Хм...

— Отпустила бы ты их домой-то?

— Нельзя. Денька два пусть полежит.— Фельдшерица подала ему халат.— Сына-то как назовете?

— Да хоть как! Отпусти ты их. Как скажешь, так и назову, отпусти, милая. Я их на чуночках, на санках то есть... Мы... это, доберемся потихоньку.

Из палаты вышла Катерина и только слегка взглянула на Ивана Африкановича. Тоже начала упрашивать, чтобы отпустили:

— Чего мне тут делать? А ты дак сиди! — обернулась она к мужу.— Непошто и пришел. Дом оставил, ребята одне со старухой.

— Катерина, ты это... все ладно-то?

— Когда с дому-то пришел, севодни? — не отвечая, сурово спросила Катерина.

— Ну! — Иван Африканович мигнул фельдшерице, чтобы не выдавала, не проговорилась...

— А непошто и пришел.

— Да ведь как, это самое... Где парень-то? Опять, наверное, весь в вашу породу.

Катерина, словно стыдясь своей же улыбки, застенчиво сказала:

— Опять.

Фельдшерица глядела, глядела и пошла, а Иван Африканович за ней, жена тоже, и оба опять начали уговаривать, чтобы отпустила. Фельдшерица сначала не хотела и слушать, потом отмахнулась:

— Ладно уж, идите. Только на работу неделю — полторы не ходить. Ни в коем случае.

...Вскоре Иван Африканович вышел с женой и с ребенком на улицу. Младенца, завернутого в одеяло и в тот же больничный тулуп, он положил на санки, взятые у знакомой тетки.

Дорогу после недавней пурги успели уже накатать. Погода потеплела, ветра не было, по-вешнему припекало солнце.

— Как парня-то назовем? — спросил Иван Африканович, когда подошли к сельсовету.— Может, Иваном? Хоть и не в мою породу, а я бы Иваном.

— Давай и Иваном,— вздохнула Катерина.

— Давай. Дело привычное.

— Поди в сельсовет, да парня запиши, да пособие попроси, и без меня выдадут, а я пойду. В Сосновке тебя подожду, у Нюшки чаю попьем. Да деньги-ти не пропей.

— Ну! Ты что? Я вас догоню, не торопись, помаленьку иди-то!

Иван Африканович осторожно поправил тулуп с ребенком и торопливо пошел в сельсовет.

Катерина на санках повезла сына домой. Она зашла в Сосновке к Нюшке, Степановна согрела самовар, они долго говорили обо всех делах, а Ивана Африкановича не было. Он прибежал расстроенный, когда Катерина уже выходила с ребенком на крыльцо. Степановна с Нюшкой вышли тоже на улицу.

— Здорово, Степановна, здорово, Анюта.

— Зашли бы, да и ночевали,— сказала Степановна, пока Нюшка и Катерина укладывали тулуп с ребенком.

— Нет уж, какой ночлег... Пятьдесят четыре рубля... с копейками... высчитали из пособия.

— Может, самовары-то взять да починить? — спросила Степановна.— Ей-богу, возьми самовары-ти! Саша Пятак в кузнице кранты-ти припаяет. Нам вон тоже надо бы самовар-то, а другой себе возьмешь.

— А и верно! Возьму да и починю. Ты как, Катерина?

— Ой, тебя лешой,— Катерина покачала головой,— это пошто было лошадь-то одну опускать?

Иван Африканович сник, замолчал, Степановна с Нюшкой постояли у ворот и ушли, а они двинулись по дороге.

Припекало взаправду, первый раз по-весеннему голубело небо, и золоченные солнышком сосны тихо грелись на горушке, над родничком. В этом месте, недалеко от Сосновки, Катерина, да и сам Иван Африканович всегда приворачивали, пили родничковую воду даже зимой. Отдыхали и просто останавливались посидеть с минуту.

Новорожденный спокойно и глубоко спал в своих санках. Сосны, прохваченные насквозь солнцем, спали тоже, спали глубоко и отрадно, невыносимо ярко белели везде снежные поля.

Катерина и Иван Африканович, не сговариваясь, остановились у родника, присели на санки. Помолчали. Вдруг Катерина улыбчиво обернулась на мужа:

— Ты, Иванушка, чего? Расстроился, вижу, наплюнь, ладно. Эк, подумаешь, самовары, и не думай ничего.

— Да ведь как, девка, пятьдесят рублей, шутка ли...

Родничок был не велик и не боек, он пробивался из нутра сосновой горушки совсем не нахально. Летом он весь обрастал травой, песчаный, тихо струил воду на большую дорогу. Зимой здесь ветром сметало в сторону снег, лишь слегка прикрывало, будто для тепла, и он не замерзал. Вода была так прозрачна, что казалось, что ее нет вовсе, этой воды.

Иван Африканович хотел закурить и вместе с кисетом вытащил из кармана бумажку, что вручили ему в сельсовете. Написана она была карандашом под копирку.

«АКТ.

Мы нижеподписавшиеся составили настоящий акт. В том, что с одной стороны контора сельпо в лице продавца с другой возчик Дрынов Иван Африканович, при трех свидетелях. Акт составлен на предмет показанья и для выясненья товара. Сего числа текущего года возчик Дрынов Иван Африканович вез товар со склада сельпо и лошадь пришла без него, а где был вышеозначенный т. Дрынов И. Аф. это не известно, а по накладной весь товар оказался вналичности. Только лошадь с товаром по причине ночного время зашла в конюшню и дровни перевернула, а т. Дрынов спал в сосновской бане и два самовара из дровней упали вниз. Данные самовары на сумму 54 рб. 84 коп. получили дефект, а именно. Отломились ихние краны и на одном сильно измятый бок. Другой самовар повреждений кроме крана не получил. Весь остальной товар принят по накладной в сохранности, только т. Дрынов на сдачу не явился, в чем и составлен настоящий акт».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. ДЕТКИ

Ему было хорошо, этому шестинедельному человеку. Да, он жил на свете всего еще только шесть недель. Конечно, если не считать те девять месяцев. Ему не было дела ни до чего. Девять месяцев и шесть недель тому назад его не существовало.

Шесть недель прошло с той минуты, как оборвалась пуповина и материнская кровь перестала питать его маленькое тельце. А теперь у него было свое сердечко, все свое. При рождении он криком провозгласил сам себя. Уже тогда он ощущал твердое и мягкое, потом теплое и холодное, светлое и темное. Вскоре он

стал различать цвета. Звуки понемногу тоже начали приобретать для него свои различия. Но самое сильное ощущение было ощущение голода. Оно не прекращалось даже тогда, когда он, насытившись материнским молоком, улыбался белому свету. Даже во сне потребность в насыщении не исчезала.

И вот он лежал в люльке, и ему было хорошо, хотя он сознавал это только одним телом. Не было и тени отвлеченного, нефизического сознания этого «хорошо». Ноги почему-то сами двигались, туда-сюда, пальчики на руках, тоже сами, то сжимались в кулачок, то растопыривались. У него еще не было разницы между сном и несном. Во сне он жил так же, как и до этого. И переход от сна к несну для него не существовал.

Люлька слегка покачивалась. Если б он был чуть побольше, то он услышал бы, что бабкины руки пахнут дымом. Он бы увидел громадный потрескавшийся потолок, и рев старшего, полуторагодовалого Володи вывел бы его из созерцательно-счастливого равнодушия.

— Бес ты, Володька, чистый бес,— ласково говорила бабка Евстолья.— И не стыдно тебе?

Володька ревел у нее на руках.

У него, у этого полуторагодовалого Володи, шла борьба с младшим шестинедельным братом. Борьба за люльку. Он, Володя, еще качался в колыбели, когда место в ней занял младший, только что родившийся его брат.

Володя уже ходил на своих ногах, говорил много слов, бабку называл мамой и отца папой — и все еще качался в люльке. Когда его выселили в первый раз, он сначала как бы снисходительно уступил люльку. Но уже через минуту изумился этой явной несправедливости, заревел благим матом и залягался.

Ему и сейчас хотелось в люльку. Еще ему хотелось, чтобы рядом была мать, и эта тоска, боль оттого, что матери нет рядом, сама собой выливалась в жажду завладеть люлькой.

Бабка подоткнула одеяло, передвинула маленького в один конец, а в другой уложила Володьку.

Люлька была большая. Володька сразу успокоился, а маленькому было все равно, с кем лежать. Володька потянулся за соской. Ему давно было положено отстать от соски, но он все еще не мог отвыкнуть от нее. Бабка мазала соску горчицей, говорила, что соску утащила собака, но все было напрасно: Володька не расставался с резиновой пустышкой.

Володька лежал в люльке довольный и успокоившийся. Новое существо шевелилось где-то в ногах, но он уже привыкал к этому беспокойству. Но Володьке хотелось, чтобы люлька качалась, чтобы очеп скрипел как обычно. Он задумался, глядя на солнечный зайчик, отраженный на стене стеклом комода.

Он уже знал все звуки родимой избы. Особенно звук двери. У него замирало сердце от тоски, когда бабка с ведром или подойником выходила из избы и исчезала. Тогда ему становилось

невыносимо тоскливо. Слезы готовы были брызнуть, и губы сами складывались горькой подковкой.

Долгие, жуткие, длились секунды. Он уже не мог сдерживать слезного крика. Из сжатого горлышка вот-вот бы вырвался этот крик, но вдруг дверь открывалась и бабка Евстолья, живая, настоящая, появлялась в избе и, не глядя на ребят, торопилась к печи. Радость и облегчение разом гасили Володькино одиночество, накопившийся крик и слезы проглатывались. Так повторялось много раз, пока бабка не кончала обряжаться. Он не мог привыкнуть к этому. Тоска по всегда отсутствующей матери точила его сердечко, а когда уходила бабка, ему было и вовсе невмоготу. Даже не помогало укачивание колыбели.

Маруся, старшая сестренка двух лежащих в колыбели братьев, подошла к люльке, загремела им погремушкой. Ей было четыре года, каждый сучок в люльке она знала лучше Володьки, и ей иногда тоже очень хотелось в люльку...

— Покачай ты их, Маруся,— сказала бабка,— покачай, хорошая девушка. Вот, вот, за веревочку-то. Умница! Вот оне вырастут, тебя на машине покатают.

Маруся тихонько качнула люльку. За окошком белел снег и светило солнышко. Мама ушла по этому снегу. Маруся еще спала, а мама ушла. И папы нет. Маруся все время молчала, и никто не знал, что она думает. Она родилась как раз в то время, когда нынешняя корова Рогуля была еще телочкой и молока не было, и от этого Маруся росла тихо и все чего-то думала, думала, но никто не знал, что она думала.

Бабка Евстолья поставила самовар:

— Вот мама сейчас придет, чай станем пить. Гришку с Васькой разбудим, да и Катюшке с Мишкой, наверно, уж напостыло спать.

Упоминание о матери отразилось на Марусином личике долгой изумленно-тревожной улыбкой. Она словно бы вспомнила, что у нее есть мама, и вся засветилась от радости, восхищенно выдохнула:

— Мамушка?

— Мамушка и придет,— подтвердила бабка Евстолья.— Вот как коровушек подоит, так и придет.

Девочка снова задумчиво и отрешенно поглядела на улицу.

Мишка с Васькой — близнецы, обоим по шесть годов,— пробудились оба сразу и устроили возню. Потом долго надевали тоже одинаковые свои штаны: каждый раз который-нибудь надевал штаны задом наперед да так и ходил весь день. Четыре валенка у них были не парные, перемешанные: ребята долго и шумно выбирали их из кучи других валенок, сушившихся на печи. Наконец валенки были извлечены и обуты. На сарае, куда отправились выспавшиеся братики, было холодно и пахло промерзшим сеном. Дрожа от стужи, ребята поднатужились, каждый хотел брызнуть дальше другого.

— Я вот вам покажу, я вот вам уши-то надеру! — услышали они голос бабки Евстольи.— Ишь, всю стену облили, прохвосты, намерзло, как на мельнице!

Бабка выходила с ведром к корове, Мишка с Васькой побежали в избу. Утренний необъяснимый восторг насквозь пронизывал их обоих и замирал где-то у самых копчиков. Им хотелось то ли завизжать, то ли полететь, однако холод заставил быстро убраться в избу. Интересно, встала или еще спит Катюшка? Она каждый раз велит им умываться, такая начальница. Спит. Они, не сговариваясь, молча, легко убедили сами себя в том, что забыли умыться.

Хотелось есть. Из-за перегородки пахло жареной картошкой, шумел у шестка самовар. Васька дотронулся пальцем до самовара, и Мишка дотронулся, Мишка подул на палец, и Васька подул.

Чего это опять Володька ревет? Он и Катюшку с Гришкой разбудил, ревет.

Глядя на Володьку, замигала глазенками и Маруся. Мишка и Васька подошли к люльке. Володька ревет. А этот, новый-то, не ревет. Ваське и Мишке торчать у люльки не было никакого интереса; не дожидаясь еды, надели шапки, пальтишки сняли с гвоздиков — и на улицу...

Катюшка вскочила с постели и сразу взяла Володьку на руки. Володька успокоился. Гришка, ленивый соня, вставать не хотел. Катюшка еще вчера уроки выучила, а Гришка отложил на сегодня, и вот он лежал, не мог преодолеть лень, и у него болела душа из-за невыученных уроков. Конечно, письменное-то делать все равно придется, и упражнение писать, и примеры решать. А вот устное... Хорошо Ваське с Мишкой, они в школу не ходят. Все-таки Гришке пришлось вставать, он ходил уже в третий. А Катюшка училась в четвертом, она все видела — как Гришка жил и что он делал, видела, и Гришке не было от нее покоя. Вот и сейчас успокоила Володьку — и на него, как учительница, бери то, делай это, усадила за стол и велит примеры решать, а когда решать-то? Вон бабка уже и самовар несет, на стол ставит.

...Так началось утро в семье Ивана Африкановича. Обычное апрельское утро. Постепенно все были накормлены, все одеты. Катюшка с Гришкой ушли в школу, Васька с Мишкой убежали опять гулять по деревне, Марусю в больших не по росту валенках тоже увели гулять в другую избу. Дома остались лишь Володька с маленьким. Они спали в люльке, и очеп легонько поскрипывал, и бабка Евстолья сбивала мутовкой сметану в горшке. В избе тикали часы, скреблась под половицей мышка. Но не успела бабка Евстолья опомниться от утренней канители, как в дом опять заявились сперва Маруся, потом и Мишка с Васькой. И еще человек шесть сотоварищей.

Успели уже и перемерзнуть, снегу натащили, не много и погуляли.

— Ой, беда, однако! — Евстолья по очереди вытирала им холодные мокрые носы.— Хоть бы один умер, дак ведь нет, не

умрет ни которой. Где погостили-то? Как пошехонцы, как пошехонцы. Вот пошехонцы-ти раньше тоже были растрепы. Кушать кушали, а жить-то не умели.

— Баба, сказку, баба, сказку! — Васька запрыгал на одной ноге, задергал бабкин подол.

— Дак вам какую севодни, пошехонскую аль про кота с петухом?

Все дружно остановились на пошехонской.

2. БАБКИНЫ СКАЗКИ

— Давно было дело — еще баба девкой была,— не торопясь, тихонько начала бабка Евстолья.— Васька, не вертись! А ты, Мишка, опять пуговицу отмолол. Ужо я тебе. В большой-то деревне, в болотном краю жили невеселые мужики, одно слово — пошехонцы, и все-то у тех мужиков неладно шло. А деревня-то завелась большая, а печи-то бабы топили всё в разное времечко. Одна утром затопит, другая днем, а иная и темной ночкой. Запалит, посидит у окошка, да и давай блины творить. Пока блины-то ходят, печка протопится, баба вдругорядь растоплять. Пока вдругорядь растопит, блины-то возьмут да и закиснут. Так и маялись, сердешные.

Бабка Евстолья рассказывала все это еще походя. Но вот наконец она обтерла стол, взяла в кухне рыльник со сметаной и села на лавку. Кое-кто из ребятишек уже забыл было закрыть рот, а теперь завозился. Но стоило ей начать рассказывать, и все тут же угомонились.

— Робетешечка без штанов бегали, девки да робята плясать не умели. А старики да старухи любили табак нюхать. До того любили, что все пронюхали, до последней копеечки. Да они и молоденьких научили. А табак-то надо возить издалека, за много верст. Срядили, благословясь, обоз. А как срядили? Все дело выручил умный Павел. Надо, говорит, нам всем вместе ехать. Потому как всем вместе лучше. Сказал, да и велел всем мужикам к завтрему готовыми быть, чтобы лошади были накормлены, чтобы завертки новые были. А вожжи связаны, которые лопнули. Вот легли пошехонцы спать. Небо-то к ночи выяснило, избы мороз выстудил все. Пошехонцы на полати забилися. Утром Павел идет с обходом: «Запрягай, робятушки!» Самый хозяйственный да толковый был этот Павел. Зашевелились пошехонцы, започесывались. В одной избе брат говорит другому брату: «Рано еще вставать, вон и на улице тёмно». Другой брат говорит: «Нет, надо вставать, вон и Павел велит вставать». Что делать? Порешили к суседским братьям сходить, узнать: время вставать аль не время еще. Разбудили суседских, стало их четверо. Суседские братцы и говорят: «Пожалуй, робята, рано еще вставать-то, вон и на улице тёмно». Встали все посередь улицы да и спорят. Одне говорят:

надо вставать, другие — что вставать рано. А вот один говорит: «Вот мы давайте еще вон в этом дому спросим». Разбудили еще один дом, стало их шестеро, и опять не могут прийти к согласью: кто говорит — рано, кто кричит: надо вставать. Сгрудились все в одном краю, весь край и разбудили, шум подняли, крику этого хоть отбавляй. И не знают, чего делать. А умный Павел в том конце мужиков будит: «Запрягай, робятушки, надо за табаком ехать!» Ну, делать нечего, в том краю почали мужики вставать. Один мужик, Мартыном звали, и говорит: «Матка, матка, а где портки-то?» Забыл, куда портки оклал. Нашли ему портки, одевать надо. Мартын и говорит брату, все братья жили вместе, никогда не делились пошехонцы. Мартын и говорит: «Ты, Петруха, держи портки-то, а я буду с полатей в них прыгать». Взял Петруха портки, держит внизу, а Мартын прыгнул да попал только одной ногой. Полез опять на полати, вдругорядь прыгнул. Долго ли, коротко ли, а попали в портки обе ноги. А в том конце все еще крик стоит, как на ярмарке. Разделились у мужиков мненья-то, одне говорят, вставать надо, другие кричат, что рано. Пока спорили, звездочки все до единой потухли, хорошо, что хоть драки не было. Павел запряг первый свою кобылу, на дорогу выехал, срядились и другие по-за нему. Стал запрягать Лукьян с Федулой. Федула говорит Лукьяну: «Ты, брат Лукьян, держи крепче хомут-то, а я кобылу буду в его пехать». Держит Лукьян хомут, а Федула кобылу в хомут вот пехает, вот пехает. Весь Федула вспотел, а кобыла все мимо да мимо. Напостыло кобыле, взяла да как лягнет Федулу, все зубья в роте Федуле вышибла.

Евстолья остановилась, потому что ребятишки недружно засмеялись. Только Маруся, едва улыбнувшись, тихо сидела на лавке. Бабка погладила ее по темени, продолжала:

— Поехали. А выехали-то уж поздно, прособиралися долго. Едут оне, кругом чистое поле, а велик ли и день зимой? Проехали один волок, вздумали ночевать пошехонцы. Ночевать в этой деревне пускали. А дело в святки было, здешние робята по ночам баловали. У кого поленницу раскатят, у кого трубу шапкой заткнут, а то и ворота водой приморозят. Углядели они пошехонский обоз. Лошадей-то распрягли, а все оглобли через изгороди и просунули да опять запрягли. Утром пошехонцы поехали дальше, а возы-то ни туды ни сюды, никак с места не могут сдвинуться. Огороды да калитки трещат, хозяева выскочили. Почали молотить пошехонцев: разве это дело? Все прясла переломаны, все калитки пошехонцы на оглоблях уволокли. Еле живыми пошехонцы выехали из деревни, даже толковому Павлу тюма по голове досталася. Ну, кое-как да кое-как проехали еще день, начало темнять вдругорядь, попросились опять ночевать. Мартын и говорит Павлу: «Теперече надо нам лошадей распрягчи, чтобы такого побоища, как вчера, не было». Напоили лошадок, сенца дали, сами попили кипяточку, да и легли спать. А местные мужики шли вечером с беседы, да и перевернули дровни-то оглоблями в обратную сторону. Утром

Павел поднял обоз еще затемно. Как стояли дровни-то оглоблями не в ту сторону, так пошехонцы их и запрягли, да так и поехали со Христом. Едут день, ночь, одну деревню проехали, волок минули, довольные,— скоро и к месту приедут, табаку купят да обратно к бабам на теплые печки. Дорога была хорошая. Подъехали пошехонцы к большой деревне. Мартын и говорит: «Лукьян, а Лукьян, баня-то на твою похожа, тоже нет крыши-то».— «Нет, Мартын,— Лукьян говорит,— моя баня воротами вправо, а у этой ворота влево глядят. Непохожа эта баня на мою».— «А вон вроде Павлова баба за водой пошла,— Федула шумит,— и сарафан точь-в-точь!» — «Не ври!» — «А вон и крыша похожа! Ей-богу».— «Робята,— говорит Павел,— а вить деревня-то наша! Ей-богу, наша, только перевернулася! Дак ведь, кажись, и я-то Павел?» Это Павел-то эк говорит да за уши себя и щупает. Павел он али не Павел. Забыл, вишь, что он это и есть. Как из дому выехал, так и забыл. Вот какой был Павел толковый, а уж чего про тех говорить. И говорить про тех нечего.

Бабка Евстолья энергично взбивала мутовкой густую сметану. Ребята, раскрыв глазенки, слушали про мужиков-пошехонцев. Они еще не всё понимали, но бабку слушали с интересом.

— Вот и ты, Васька, как тот пошехонец, вишь, опять штаныти не так одел. Сказывать дальше-то?

— Сказывать, сказывать! — зашевелились, заулыбались, запеременивались местами. Бабка добавила в горшок сметаны, очеп опять монотонно заскрипел в избе.

— Ничего у них не росло. Ржи не сеяли, одну только репу. А крапиву, чтобы у домов не росла, поливали постным маслом — кто их так научил, бог знает. Кто что скажет, то и делали, совсем были безответные эти пошехонцы. Никому-то слова поперек не скажут, из себя выходили редко, да и то только когда пьяные. Один раз наварили овсяного киселя. Хороший вышел кисель, густой, вот его хлебать время пришло. Раньше кисель овсяной с молоком хлебали. Мужиков шесть, а то и семь было в семье-то, уселись за стол кисель с молоком хлебать. Кисель на стол поставили, а молоко как стояло на окне, так там его и оставили. Первый хлебнул, побежал к молоку, молока прихлебнул. Так все семеро и бегают от стола да к окошку, молоко прихлебывать. Через скамейку с ложками-то перелезают. Облились-то! Ой господи!

Евстолья и сама засмеялась.

— Вот дожили пошехонцы до тюки. Ничего нет, ни хлеба, ни табаку. Да и народу-то мало стало, кое примерли, кое медведки в лесу задрали. Видят, совсем дело-то худо. «Робята, ведь умрем»,— говорят. «Умрем, ей-богу, умрем, ежели так и дальше дело пойдет» — это другие на ответ. Первый раз все мненья в одну точку сошлись. Стали думать, чего дальше делать, как жить. Одне говорят: «Надо нам начальство хорошее, непьющее. Без хорошего начальства погибнем». Другие говорят: «Надо, мужики, нам репу-то не садить, а садить брюкву. Брюква, она, матушка, нас

выручит, она!» Тут Павел говорит: «Нет, мужики, все не дело это, а надо нам по свету идти, свою долю искать. Есть где-то она, наша доля-то». Сказал, да и сел. «Должна быть!» — это Мартын говорит, а Федула, тот уснул на собранье. Судили-рядили, постановили пошехонцы идти по белому свету свою пошехонскую долю искать. Сухариков насушили, котомочки справили. А уж и всех к тому времю нешто осталось. Пошли, сердешные, богу не помолились, уж все одно худо. Шли, шли, поись прибажилось. Толокна было на всех мешок кулевой, а посудишки-то нет, как толокна развести? «Давай, робята, сыпь в озеро да размешивай». Высыпали толокно в озеро, да и ну размешивать. «Ну, теперь хлебай». А чего хлебать-то? Хлебать-то и нечего, одна пустая водица. Видно, говорят, надо было больше толокна-то из дому прихватить. Нечего делать, пошли дальше голодные. Шли, шли, надо и про ночлег подумать. Летом кажин кустик ночевать пустит, пристроились пошехонцы на устороньице у леска, котомочки развязали. Пришло время спать ложиться. Вот оне и улеглись все рядышком, один к одному, человек двадцать к тому сроку в живых осталося. Улеглись. А те, которые с краю-то, все времечко соскочат да и бегут в середку. Никто с краю не хочет,— видать, волков боятся. Так и перебегают; только бы уснуть,— гляди, опять крайние в середку лезут, а новые крайние уже засыпать начали, вставай да в середку бежи. Странник прохожий с ихней артелью ночевал, вот он и говорит: «Давайте-ко, робятушки, я вас научу, как из положенья выйти, как ночевать, чтобы всем в середке».— «Научи, говорят, мы тебе по алтыну дадим».— «А вот, говорит, что, робятушки, идите-ка со мной». Подошел странник ближе к лесу, большой муравейник нашел. «Ложитесь, говорит, все головами на эту кучу, никово и не будет крайних-то». Довольны мужики, собрали страннику по алтыну, улеглись головами в муравейник. Не стало с краю ни одного, а странник поглядел на их, да и лег под сосенкой. Чего дальше было, как пошехонцы ночь ночевали, уж и не знаю, дело давно случилось. Видно, дальше пошли на другой день все искусанные. Идут, идут долю искать, дошли до широкой реки. «Робята, река»,— Мартын говорит. «Река» — это Лукьян ему на ответ. Весь на этом и разговор кончился. Опять странник выручил: «Давайте, говорит, по гривеннику, научу, как на тот берег попасть». Делать нечего, дали пошехонцы по гривеннику. «Вот берите, говорит, бревно. Да садитесь все на его верхом. А чтобы не утонуть-то, дак вы ноги внизу покрепче свяжите. Есть веревочки-то?» — «Есть, есть!» Рады пошехонцы. Уселись на бревно, ноги внизу связали. Поехали. Только отшатнулись от берега-то, все и перевернулись туточка, да и пошли от их пузыри. Больше половины захлебнулося, вылезли, которые остались-то, да и говорят: надо нам этого странника наколотить, это он нас не делу научил. Поглядели, а странника и следок простыл. Ему что, с гривенниками-то. Пошли пошехонцы дальше, совсем их мало осталось, и всего человек шесть. Павел да Мартын, да Лукьян с

Федулой, да Гаврило с Осипом — вот и вся пошехонская артель. «Робята,— это Осип говорит,— а ежели война? Кто на фрон пойдет, ежели нас шесть осталось?» — «Наше дело маленькое,— Федула говорит,— да и войны-то еще, может, не будет». Поговорили да опять пошли, опять солнышко к земле пригнелось, опять комарочки запели-запокусывали. Надо ночлег смекать. Еле добрались до подворья-то, устали, родименькие. Стоит постоялый двор у трех дорог, калачами с вином хозяин торгует, сапоги новые, рожа, как самовар, красная. «Это вы, говорит, и есть эти пошехонцы-то?» — «Мы, батюшко, мы и есть, долю ищем».— «Ну, ну,— говорит.— Вон ложитесь-ко в дровяник, в чистые залы вас не пущу». Улеглись пошехонцы в дровянике, до того добро, на щепочках, захрапели в охотку. Утром вставать надо. Стали вставать, Федула говорит: «У меня ноги не эти, мои ноги вон те».— «Нет, эти мои,— Мартын шумит,— а твои вон те, у меня ноги в новых чеботах были». Лукьян пробудился, заспорил тоже, Осип с Гаврилой шумят, спорят, где чьи ноги, не могут установить. Вышел хозяин: что за шум? Почему брань с утра? Зашумели пошехонцы, друг на дружку начали жаловаться. «Платите по гривне, разберу, где чьи ноги». Это хозяин-то им. Кушаки развязали, заплатили по гривеннику, сидя кошельки распечатали, последний гривенник каждый отдал. Хозяин взял оглоблю да как поведет оглоблей-то, не по головам сперва. Второй раз размахнулся, по головам хотел, спрыгнули пошехонцы со щепочек, как ветром сдуло, все ноги сразу нашлись.

Как раз на этом месте скрипнули ворота, и в избу вошла Степановна, Нюшкина мать и двоюродная тетка Ивана Африкановича. Она мельком перекрестилась.

— Здравствуй, Евстольюшка.

— Ой, ой, Степановна, проходи, девка, проходи.

Старухи поцеловались. Гостья развязала шаль, сняла фуфайку.

Евстолья радостно завыставляла пироги, начала ставить самовар, сопровождая все это непрекращающейся речью. Говорила и гостья, они говорили одновременно, словно бы не слушая, но прекрасно понимая друг дружку.

— Вот каково добро, что ты хоть пришла-то, а у меня сегодня уголь из печи выскочил, экой большой уголь, да и кот весь день умывался, да и сорока-то у ворот стрекотала, ну, думаю, к верным гостям, сразику три приметы.

Степановна слушала и тоже успевала говорить:

— А я, матушка, уж давно к вам собиралась-то, а тут, думаю, дай-ко схожу попроведаю.

— Дак какова здоровьем-то?

— И не говори, Евстольюшка, две неделюшки вылежала, и печь не могла топить, вот как руки тосковали. Нюшка-то говорит — ехала бы в больницу в районную-то, а я говорю — полно, девка, чего ехать, никакие порошки не помогут, ежели годы вышли.

Вот на печь-то лягу, да на кирпичи, на самые-то жаркие, руки-то окладу, вроде и полегче станет. Худая стала, худая, Евстольюшка.

— Чего говорить. Вон у нас Катерина тоже все времечко жалуется, все времечко. Парня-то когда принесла, дак велено было на работу-то пока не ходить, а она на другой день и побежала к коровам, позавчера хоть бы родила, а сегодня и побежала.

— Ой, ой, хоть бы нидильку, нидильку...

— Вся-то изломалась, вся,— Евстолья заутирала глаза,— нету у её живого места, каждое место болит, я и говорю: плюнь ты, девка, на этих коров-то, а какое плюнь, ежели орава экая, поить-кормить надо. Гли-ко, Степановна, какая опять беда-то, ведь пятьдесят рублей с лишним заплатили, пятьдесят с лишним, ведь из-за этого она и побежала на ферму-то сразу после родов, уж и Иван-то ей говорил: не ходи, поотдохни,— нет, побежала...

— Дак самовары-ти взял?

— Как не взял, взял. И краны Пятак припаял, дак ведь куда нам с самоварами-то? Три самовара теперече, я уж хохочу, давай, говорю, открывай чайную в деревне, станови каммерцию.

Евстолья открыла дверку шкапа: в двух отделениях стояли два запаянные Пятаком самовара.

— Добры самовары-ти,— сказала гостья.— А я бы, Евстольюшка, один дак взяла бы, ей-богу.

— Со Христом бери.

— Все и сбиралась к вам-то, думаю, и попроведаю и самовар унесу.

— Бери, матушка, бери, и разговаривать нечего.

Старухи уселись чаевничать. Ребенок проснулся в люльке, Евстолья взяла его на руки вместе с одеяльцем.

— Ванюшко, ты мой Ванюшко, выспался у меня, Ванюшко? Выспался, золотой парень, ну-ко, сухо ли у тебя тут? Сухо-то пресухо у Иванушка, ой ты дитятко, светлая свичушка, вон, ну-ка этой-то баушке покажись. Вон, скажи, баушка, я какой!

— Весь-то в дедушка Семена, весь,— сказала Степановна.— А те-то где бегают? В школу-то сколько ходит?

— Ой, и не говори, тут и нагрянут. Анатошка-то уж в шестых, всю неделю в школе и живет, а как придет на выходной, так и заплачет: «Не посылай, говорит, бабушка, меня в школу-то, лучше, говорит, буду солому возить». Жалко мне, уж так его жалко, с этих годов да в чужих людях, а говорю: «Батюшко, ведь учиться не будешь, дак всю жизнь так зря и проживешь». В понедельник-то рано надо вставать, встанет, пойдет, да и заплачет, а я говорю: ты уж потерпи, Анатоша, не обижай матку-то, учись.

— От старшей, от Таньки-то, ходят письма?

— Как не ходят, вон и вчера письмо пришло, пишет, что, мама, мне напостыло, тоже велика ли, а в чужих людях, ведь уж год скоро, как в няньки отправили, а домой-то охота. Пишет, что прописали, что скоро и паспорт дадут, а потом-то ладит в училище

поступать, в строительное, а я-то и говорю Ивану-то, что ехала бы домой, чего по чужой стороне шастать, дак нет, оба с Катериной в голос, пусть, говорят, паспорт получает, чего в колхозе молодым людям?

— А и правда, Евстольюшка.

— Как не правда, только больно девку-то жаль, красное солнышко, поехала-то, дак мне говорит: бабушка, я тебе кренделей пошлю...

— Да с кем уехала-то, с Митькой?

— С Митькой. В отпуск-то приезжал, да и увез, а там место ей нашел, хорошее, люди-то богатые, нарядили ее сразу, два платья ей купили, башмаки, и учиться-то по вечерам велят, а она, красное солнышко, и говорит, что когда уйду, дак и пойду учиться-то, а пока не буду. А ведь как, Стапановна, хоть и невелика должность в няньках жить, а все-таки забота, и в магазин ходит, и стирает, и посуду моет, больно уж она у нас совестливая, а люди-то попались ученые, с роялями, да и дома-то мало бывают, он-то все по командировкам, в начальниках, а она эта, как всё представленья-то делают?

— Да, поди, в артестах, вроде ряженых, что в святки ходили.

— Вот, вот, это.

— Дак Митька-то не сулится нонче?

— Как, девушка, не сулится, сулится, беда мне тоже с Митькой-то. Весь измотался, работает по разным местам, да и бабы всё переменные...

Старухам хватило бы разговоров еще на неделю, но тут начали по одному, по два появляться «клиенты» Ивана Африкановича. Первыми объявились Мишка с Васькой, и сразу они запросили есть. И Степановна вскоре распрощалась с Евстольей, перевязала самовар полотенцем и пошла домой.

— Приди, Евстольюшка, к нам-то, хоть на ночку приди! — обернулась она еще из сеней. Но она и сама знала, что Евстолья не придет, некуда ей было идти от такой оравы внучат.

3. УТРО ИВАНА АФРИКАНОВИЧА

Он с детства был раноставом. Бывало, еще покойник дед говаривал голоштанному внуку: встанешь раньше, шагнешь дальше. «И правда вся, что толку спать после вторых петухов? Лежать, ухо давить? — так думал Иван Африканович.— Еще належусь. Там лежать времечка хватит, никто уж не разбудит...»

Он еще затемно испилил порядочный штабель еловых дров. Когда обозначилась заря, взял топор, сумку рыбную и пошел к реке, к озеру. Был сильный, крепкий наст. Хоть на танке шпарь по волнистым белым полям, только бы звон пошел. Тетерева впервые, несмело гугоргали во многих местах. «Как допризывники,— подумал Иван Африканович,— глядишь, через недельку

разойдутся, разгуляются, все им будет трын-трава, что смерть, что свадьба. Вот ведь как природа устроила».

Солнцем залило всю речную впадину лесной опояски. Иван Африканович постоял с минуту у гумна, полюбовался восходом: «Восходит — каждый день восходит, так все время. Никому не остановить, не осилить...»

Морозный, ничем не пахнущий воздух проникал глубоко в грудь, отчего и дышать было можно редко-редко, а может, можно и совсем не дышать. До того легко, до того просто.

У гуменной стены на снегу Иван Африканович увидел неподвижного воробья. Птичка лежала, подвернув серую головку, и не двигалась. «Жив ли ты, парень? — вслух произнес Иван Африканович.— Вроде замерз начисто». Он взял воробья на теплую ладонь и дыхнул. Воробей сонливо мигнул. «Жив, прохиндей. Только замерз. Замерз, брат, ничего не сделаешь. А может, тебе ворона трепку дала? Аль у кота в лапах побывал? Ну-ко покажи ноги-то». Одна лапка у воробья была крепко втянута в перья, другая была исправна. Иван Африканович положил воробья под фуфайку и надел рукавицы. «Сиди, енвалид. Отогревайся в даровом тепле, а там видно будет. Тоже жить-то охота, никуда не деваешься. Дело привычное. Жись. Везде жись. Под перьями жись, под фуфайкой жись. Женки вон печи затопили, канителятся у шестков — жись. И все добро, все ладно. Ладно, что и родился, ладно, что детей народил. Жись, она и есть жись».

Иван Африканович не замечал, что шел по насту все скорее. Он всегда когда размышлял, то незаметно для себя ускорял ходьбу. Опомнится — бежит чуть ли не бегом.

Снег на солнце сверкал и белел всё яростнее, и эта ярость звенела в поющем под ногами насте. Белого, чуть подсиненного неба не было, какое же небо, никакого нет неба. Есть только бескрайняя глубина, нет ей конца-краю, лучше не думать...

Иван Африканович всегда останавливал сам себя, когда думал об этой глубине; остановил и сейчас, взглянул на понятную землю. В километре-полутора стоял неподвижно лесок, просвеченный солнцем. Синий наст, синие тени. А лучше сказать, и нету теней, ни в кустиках, ни на снегу. Игольчатый писк синички сквознячком в уши,— где сидит, попрыгунья, не видно. А, вон охорашивается, на ветке. Тоже тепло чует. У речки, нестарый, глубоко по-ребячьи спит осинник. И, словно румянец на детских щеках, проступает сквозь сон прозрачная, еле заметная зелень коры. Несмелая еще зелень, зыбкая, будто дымок. Крупные, чистые заячьи горошины на чистом же белом снегу, и захочешь побрезговать, да не выйдет. Ничего нечистого нет в заячьих катышках, как и в коричневых стручках ночевавших под снегом тетеревов.

Ворона каркнула на высоком стожаре. Иван Африканович поглядел наверх: «Чего, дура, орешь? Орать нечего зря».

Невдалеке, не стесняясь человека, мышковала спозаранку лисица. Она ошивалась около скирд ржаной прошлогодней соломы.

Резво подпрыгивала, озорно изгибалась в воздухе и падала на хитрые лапки. Иван Африканович видел, как взметывался коричневый хвост, и хвост казался больше самой лисы. «Ну, бесстыдница, подожди, ты у меня допрыгаешься. Вон ты где блудишь». Иван Африканович долго любовался лисой.

Солнце оторвалось от лесных верхушек. Иван Африканович нашел заезок, где стояла верша, распечатал став. Пахнуло зимней студеной водой и хвоей, но в верше оказалось всего две небольших сорожинки. Не было рыбы и в других вершах, но это нисколько не опечалило рыбака. «Небушко-то, небушко-то! Как провеянное, чистое, нет на нем ничего лишнего, один голубой сквозной простор».

Иван Африканович долго ходил по студеным от наста полям. Ноги сами несли его, и он перестал ощущать сам себя, слился со снегом и солнцем, с голубым, безнадежно далеким небом, со всеми запахами и звуками предвечной весны.

Все было студено, солнечно, широко. Деревни вдали тихо дымили трубами, пели петухи, урчали тетерева, мерцали белые, скованные морозцем снега. Иван Африканович шел и шел по певучему насту, и время остановилось для него. Он ничего не думал, точь-в-точь как тот, кто лежал в люльке и улыбался, для которого еще не существовало разницы между явью и сном.

И для обоих сейчас не было ни конца, ни начала.

4. ЖЕНА КАТЕРИНА

В три часа ночи она была уже на ногах. С ведрами бегала между ребячьими головенками, носила с колодца воду.

Ребятишки спали на полу, кто как, под лоскутным одеялом да под шубным. Все по-разному спят. Вон Гришку возьми, этот все время во сне встанет на коленки да так на карачках и спит. А вот Васька рядком с Гришкой, этот посапывает сладко, и слюнка вытекла изо рта; с другой стороны беленькой мышкой приткнулась Катюшка. Мишка, совсем еще воробышек, перевернулся во сне ногами в изголовье; вон Маруся, Володя, а в люльке самый меньшой, Ванюшка, спит. Нет, не спит. Всех раньше пробудился, уже сучит ножонками, и глазенки блестят от зажженной матерью лучины. Не ревун, спокойный.

Мать Евстолья растопляла печь. Иван Африканович, с фонарем, давно пилил у крылечка дрова. Надо уж и на ферму бежать. Катерина, в резиновых сапогах, еще без фуфайки, скорехонько покормила меньшого — он сосал не жадно, не торопясь, и она соском чувствовала, как мальчонка изредка улыбается в темноте. «Ешь, милый, ешь,— мысленно торопила она,— видишь, матке у тебя все время-то нет, вон и бежать надо».

Звезды синели в холодном небе. Катерина на ходу шлепнула рукавицей своего мужика и не остановилась, побежала к

скотному двору. Пилит. Раньше ее поднялся, фонарь зажег, да и пилит. Она ухмыльнулась, вспоминая, как вчера ночью по привычке хотел он ее пообнимать, а она отодвинулась, и он обиделся, начал искать курево, и ей было так радостно, что он обижался. С этой вчерашней радостью и прибежала она на двор. Сторож Куров уже уто́пал домой, в водогрейке краснели угли. Два котла кипятку стояли, готовые.

Доярки пришли вместе с Катериной.

Она принесла тридцать ведер холодной воды из речки, разбавила ее горячей, наносила соломы в кормушки и вымыла руки перед дойкой. Двенадцать ее коров доились не все, многие еще были на запуске, и Катерина подоила быстро. Сливая молоко, она опять ласково ухмылялась, вспоминая мужика, и голоса доярок доходили до сознания как сквозь неясный и приятный сон: «Обиделся, Иван Африканович. А чего, дурачок, обижаться, и обижаться-то тебе нечего. Чья я и есть, как не твоя, сколько годов об ручку идем, ребят накопили. Все родились крепкие, как гудочки. Растут. Девять вот, а десятый сам Иван Африканович, сам иной раз как дитя малое, чего говорить».

Катерина вспомнила, как на первом году пришли они в Сосновку, Евстолья тогда жила еще там, и сосновский дом стоял ядреный, и Евстолья, теща Иванова, попросила зятя отрубить петуху голову. А муж молодой заоглядывался, растерялся, только теща даже и не думала, что у нее такой зять, пошли ловить петуха. Ему было нечего делать, Ивану Африкановичу,— взял топор, боком, бодрясь, пошел на поветь. Евстолья поймала шустрого петуха и ушла творить блины, а зять, как мальчишка, осторожно прижимал петуха к пиджаку. В глазах у фронтовика стояла жалость, и Катерина видела, как он растерянно глядел то на топор с еловой чуркой, то на трепыхавшегося под полой петуха. Ой, Ваня ты Ваня, всю войну прошел, а петуха заколоть боишься. Катерина тогда сама взяла топор и ловко нарушила петуха. Пока безголовая птица подскакивала на повети, Катерина мертвой петушиной головой вымазала ладони Ивана Африкановича: «Уж чего-то и не верится, что ты в Берлин захаживал, и за что только людям орденов навыдавали?» Спустя минуту довольная теща ловко ощипывала петуха, а Иван Африканович деловито мылся у рукомойника. Намыливал руки, и медали звякали на гимнастерке, а Катерина, еле удерживая смех, стояла и ждала с полотенцем на плече, а на том полотенце тоже был красный петух, и теперь, когда она стирала или катала это полотенце, то всегда вспоминала медовый месяц, и того петуха, и то время, когда они с мужем обнимались днем за шкапом и самовар шумел у шестка, а мать Евстолья ходила недовольная. Уже потом, без зятя, Евстолья жаловалась соседке, что всю девку, дескать, он, проклятущий, измаял, экую-то ручищу навалит на нее, так у нее, у Евстольи, сердце за дочку и обомрет. Ой нет, матушка, не тяжела была, не груба эта рука... Только один разок обошла она Катерину,

наткнулась на чужую обманную душу, и вдруг стали чужими, неродными тугие Ивановы жилы, зажгли как крапивой жесткие мозольные ладони. В тот год перед сенокосом Катерина ходила на восьмом месяце, по лицу — бурые пятна, брюхо горой дыбилось, лежала в избе да сидела в загороде на солнышке. В самый петров день ушел мужик в гости, она сама подала ему новую сатиновую рубаху, без обиды осталась дома. А он пошел в другой дом, и, будто сердце чуяло, Катерине стало горько, когда он ушел в гости. Чужие ребятишки воровали там первые горькие яблоки, в загороде у бойкой бабенки Дашки Путанки. Они и наткнулись на Дашку с Иваном, в высокой траве далеко было видно красную сатиновую рубаху. Ой Путанка лешева, не зря трясла подолом в поскотине, когда ходили городить лесной огород! Катерина зашлась, забылась в обмороке — ей обо всем сказали бабы на другой день. А после Катерининых родов пришел мужик с праздника, глаза косят в сторону, как у вора; похмельный дух за версту, и рубаха разорвана до самого пупа. Наблудил, пришел, ничего не сказала, в пустую рожу не плюнула. Только уж после сказала: иди куда хошь. Не ушел. «Хочешь, говорит, в ноги, только прости, Катерина»,— все и простила... А он с радости с этой побежал в избу. Схватил с полицы толстую книгу библию — давнишняя книга, еще после деда Дрынова осталась. Берегли Дрыновы эту книгу пуще коровы, пуще лошади, так и лежала на полице после деда. Тогда еще со свекровушкой жили, она и спрашивает: куда книгу поволок, не дам. Какое там «не дам»! Унес и променял библию на гармонью мужику — Пятаку. Пятак и сейчас читает эту библию и всем говорит, что вот придет время, жить будет добро, а жить будет некому. А тогда Катеринин мужик променял ему библию на гармонью, принес домой гармонью, сказал: «Буду, Катюха, тебя веселить, играть выучусь для тебя, только не вспоминай больше этот петров день!» Не вспомнила, не сказала. Но один раз подошла к Дашке Путанке да при всех бабах сдернула с поганой шеи баские, в два ряда, янтари. Так и посыпались...

Катерина лопатой сгребла и вывезла накопившийся за ночь навоз. Бабы тоже заканчивали утреннюю работу. Уже светало, дни под весну стали длинные.

— Бабы, а что это сегодня Путанки-то не видать, Дашки-то? — спросила одна.— Телята вон в телятнике ревмя ревят.

Телятница Дашка Путанка на работу не пришла. Рассказывали, что шумела вчера на всю деревню,— мол, к лешему этих и телят, ноги моей не будет в этом навознике, что, мол, у меня не семеро по лавкам, не стану ломить круглый год за двадцать рублей. «Знамо, не семеро. Дура ты дура, Путанка, да ведь у тебя бы уж было два раза по семеро и все в разную масть, кабы не аборты. Кажин год бежишь в больницу, мало ли из тебя выковыряно? Полдела так-то, трех мужиков извела, не прижился около ни один, все убежали от тебя, а ты все хвостом вертишь, вся измоталася,

как пустая мочалка. А разве бы тебе на телятнике не работать? Где ты больше-то заработаешь».

Тут Катерина вспомнила, что сегодня бригадир должен принести деньги за тот месяц, и сколько дыр надо заткнуть, вспомнила. На хлеб-сахар только мало ли надо, одиннадцать человек застолье. Одна пока откололась, Танюшка, старшая, да и то бы охота послать ей хоть десяточку. Одна, без родных людей живет.

Катерина воровски, чтобы не увидели доярки, смахнула слезу. «Пошлю Танюшке-то хоть в письме пятерочку. За самовар сосновская крестная сулила принести двадцать рублей, да бригадир сорок принесет, надо послать. Анатошке, тому тоже трешник на неделю вынь да положь,— хоть и кормят там в интернате, а подавай. Да и валенки вон уж все измолол, ведь в худой обутке в школу не пошлешь, надо ему новые валенки, а Гришке с Васькой по рубахе, уж давно сулила, надо купить, больно рубашки-то добры в лавку привезли, да Марусе сапожки резиновые, весна скоро, а дома вон тоже уже не сидит, бегает. Ой, много всего надо!»

Как ни прикидывала, как ни раскладывала Катерина теперешние деньги, все получалось, что на питание всей оравушке остается то десятка, то полторы. Может, еще Иван рыбы скоро изловит да в сельпо сдаст? Только вот пойдет ли еще рыба-то в речку, нынче, может, и не пойдет, снегу и льду мало, а воды в озере много...

Бригадир, что пришел просить обрядить беспризорных телят, долго и складно матюгал Путанку, но Катерина словно бы не слушала этих мужичьих матюгов, они пролетали как-то мимо нее, не задевали и не резали ухо. И все-таки, когда бригадир завернул уж что-то слишком поганое и еще совсем новое, Катерина не утерпела, сказала:

— Да ты это, парень, что? Сколько добра-то из тебя сегодня ползет, хоть бы остановился.

— Остановлюсь! Я вам остановлюсь! Телята-то не поены остались! Мне что, самому их поить, что ли?

— А и попоишь, не велик барин! — закричали доярки, заражаемые бригадирской же руганью.

— Раз Дашка не слушает!

— Это тебе не наряды писать!

— Химическим-то карандашом.

Бригадир остановил матюги:

— Ну, вот что, бабы, сегодня уж обрядите телят-то. Хоть ты, Катерина, что ли. Да и завтра, а я пока председателю доложу, пусть что знает, то и творит.

— Давай уж я возьмусь, пообряжаю. У меня коровы еще не все отелились,— может, и справлюсь.

Бригадир в радостях убежал тотчас же, потому что боялся, что Катерина раздумает, а бабы, уходя завтракать, только головами качали. Двенадцать коров на руках у Катерины, да еще и телятник взяла. С ума надо сойти!

Бабы ушли, а Катерина пошла в телятник. Телятишки,

как ребятишки, тыкались мокрыми рылами в ее ладони. Ревели, трубили, и Катерина начала делить оставленное для сосунков молоко. Чуть не до дневной дойки бегала, чистила стайки, солому стелила.

Только что это? Она присела на приступок: вдруг не стало хватать воздуха, тошнота подступила к горлу. Не бывало еще так никогда. Задрожали руки до самых плеч, пот выступил на лбу. Она посидела на приступке, улыбнулась. Вроде прошло. Может, угорела в водогрейке? Наверно, угорела, уж больно рано закрывает Куров-старик печь в водогрейке. А может, после родов... С телятами-то ей больше будет канители, и вставать раньше, и днем домой не бывать. Нет, не бывать. Ежели бы мужик... вот ежели бы и мужика... Только чего! Разве пойдет мужик на двор? Вся деревня захохочет, скажут, Иван Африканович скотником заделался. Нет, нечего этого и думать, не пойдет. Ему лес да рыба с озером, да плотничать любит, а ко скотине его и на аркане не затащить.

И вдруг опять будто кто зажал Катерине рот и начал душить, ослабела враз и ничком опустилась на сухую теплую соломенную подстилку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НА БРЕВНАХ

Давно отбулькало шумное водополье. Стояли белые ночи. Последние весенние дни, будто завороженные, недоуменно затихали над деревнями. Все гасила и сжигала зеленая тишина.

Вчера было впервые тепло по-летнему, ночь не смогла охладить молодую траву, и пыль на дороге, и бревна, и только у реки чуялась ровная свежесть да из тумана в низинах упала небольшая роса.

В деревне быстро исчезали голубоватые ночные сумерки. Они исчезли покорно, без борьбы, словно зная о справедливости: всему свой черед и свое место.

Черед же пришел широкому благодатному утру. Сначала стало тихо, так тихо, что даже петухи крепились и сдерживали свой пыл. Белая ночь ушла вместе с голубыми сумерками, багряная заря подпалила треть горизонта, и вся деревня замерла, будто готовясь к пробуждению.

В это самое время за палисадом мелькнуло девичье платье. Почти одновременно в сторону метнулся черный пиджак. Парень оглянулся, далеко в траву стрекнул папироску, стараясь не озираться, пошел к своему дому.

И тотчас же из-за леса выпросталось громадное солнце. Казалось, что оно, не скрывая своей щедрости, озорно щурилось и подмигивало разбуженному белому свету. Немного погодя оно стало круглее и меньше, а красный угольный жар его сменился ровным, нестерпимо золотым.

На бревна, где только что сидели парень и девушка, слетела щекастенькая синичка. Дрыгая не подчинявшимся ей хвостиком, тюкнула раза два и, тонко свистнув, запрыгала по бревну. Она вспорхнула с бревна, метнулась над ушастой головой кравшегося за ней кота. Тот прыгнул, лапой ударил по воздуху и шмякнулся на траву. Секунду разочарованно глядел вослед синице. Потом встал и, жмурясь, лениво пошел дальше.

Затопилась первая печь, по-лесному остро запахло горящей берестой. Раздвинулась и посинела куполообразная пропасть неба, первый дневной зной уже чуялся в растущей траве и в запахе бревен.

Дашка Путанка в рыжем переднике вышла за первой водой. Она походя зевнула на восход, почесала розовое коленко и начала лениво крутить ворот колодца. Ворот скрипел и свистел на всю деревню, как немазаная телега.

Была сизая от росы трава, домá еще спали, но хлопотливые галки уже канителились в колокольне да ранний молоток Ивана Африкановича отбивал косу.

Женщина вытащила ведро наверх и нечаянно облилась водой-холодянкой. Заругалась, заойкала. Когда отцепляла ведро, то непослушная с утра посудина вдруг взыграла, звякнула дужкой и полетела обратно.

— Лешой, лешой, унеси лешой, водяной! — заругалась Дашка и долго глядела, как ведро летело вниз, в темную холодную прорву сруба.

К тому времени вышел из лаза давешний кот и, не зная куда идти, удивленно понюхал воздух. Баба сгоряча плюнула в колодец. Хлопнула себя по круглым бедрам:

— Лешой, так лешой и есть!

Она заругалась еще шибче, однако ругайся не ругайся, а ведра не было, лишь далеко внизу хрустально звенели капли падающей с веревки воды.

— Ты это чего, Дарья? — спросил выглянувший из задних ворот старичонко Куров.— Приснилось, что ли, чего неладно?

— Ой, отстань, дедко, к водяному! — она поглядела в колодец еще.— Экое ведро ухайдакала.

— Дак ты делаешь-то все неладно, вот и выходит у тебя не по библии.

— Это чего не по библии? — удивилась баба.

— А вот так, не по библии.

— А чего, дедушко?

— А вот чего. Я тебе сколько раз говаривал, пошто воду ведром черпаешь. На самовар вода-то?

— На самовар.

— Дак вот взяла бы прямо самовар да им и доставала. На кой бес тебе ведро тратить, ежели прямо самоваром зачерпнуть можно. И канители меньше.

— Ой, к лешему, к водяному!

Баба постояла немного в раздумчивости. Взяла второе ведро, не зная, доставать воду оставшимся ведром или не доставать. Решила не связываться и удрученно пошла домой.

«Ой ты, сухорукая,— подумал Куров, поливая ковшом рассаду,— не тебе бы, сухорукой, ходить по воду; ежели замуж выйдешь, дак одно от тебя мужику раззореньё».

Дашка, словно почуяв дедковы рассуждения, остановилась:

— Ты, дедушко, не знаешь, кошка-то жива у Африкановича?

— Кошка-то? Насчет кошки не знаю, а кот живехонек. Вон по мышей пошел. По капусте.

— К лешему! Я ему всурьез, а он только бухтины гнуть. Только и знаешь языком плести!

— Да я что, я пожалуйста. Есть у Африкановича кошка, только веревку-то надо бы подольше.

— Дак ты бы подоставал ведра-ти? — оживилась баба.— Третьего дня твоя невестка тоже ведро опустила.

Эта новость для Курова оказалась решающей. «Вот косоротая наша-то,— подумал он.— Тоже опустила ведро, а не говорит, молчит». Он дал согласие сходить за кошкой и подоставать ведра, а Дашка Путанка успокоилась и пошла щепать лучину, чтобы затопить печь.

От избы, в одной рубахе, в полосатых магазинных штанах, босиком шел Иван Африканович. В одной руке коса и оселок, в другой — сапоги. Вынул изо рта цигарку, положил ее на бревно и начал старательно обуваться. Когда обулся, то встал, потоптался для верности: не трет, не жмет ли где. Сел, оглядел улицу.

В солнечной, будто пыльной мгле по деревне ехал на кобыле бригадир. Иван Африканович подождал, пока он слезал на лужок и привязывал к огороду кобылу.

— Ивану Африкановичу,— сказал бригадир, подавая руку, и тоже сел на бревна.— Как думаешь, не будет дожжа-то?

— Нет, не похоже на дож. Касатки, вишь, под самое небо ударились.

Бригадир спросил про Катерину, не пришла ли; Иван Африканович только скорбно махнул рукой:

— Лучше не говори...

Затянулись, откашлялись и сплюнули оба, и кобыла обернулась на эти звуки.

— Сходил бы, Иван Африканович, за Мишкой, пусть трактор заводит,— сказал бригадир.

Он придушил окурок и подошел к пожарной колотушке. Колотушка — старый плужный отвал, висевший тут же у бревен, радостно загудел от ударов железкой, словно ждал этого всю ночь.

Тут же, успевший под утро остыть, стоял и Мишкин «ДТ-54». Со стекла дверки, с внутренней стороны глядела на деревню обнаженная женщина из «Союза земли и воды». Бронзовое туловище атлета, что в нижней части картины, наполовину закрыто темным пятном, Рубенс был безнадежно испорчен соляркой.

Иван Африканович направился за Мишкой. Из разных ворот завыходили работальницы в ситцевых летних кофтах. Звонкие с утра и еще не загорелые бабы на ходу дожевывали что-то, одна по одной подходили к бревнам:

— Ой, милые, а ведь грабли-то и забыла!

— Здорово, Ивановна!

— День-то, день-то, краснехонек!

— Косить-то куда нонь, бабицы, за реку?

— Тпруко-тпруко-тпруко, тпруконюшки!

Одновременно выгоняли коров. Бабы усаживались на бревнах около бригадира. Вскоре подошел Иван Африканович и доложил, что Мишка только лягается и вставать не встает:

— Я его и за пятку подергал, и за ухо. Вставай, грю, бабы собрались, тебя ждут с трактором.

— Прогулял ночь, теперь его пушками не разбудишь.

— Знамо, прогулял.

— Всю-то ноченьку, всю-то ноченьку с Надежкой на бревнах высидел, сама видела, сколько раз пробуждалась.

— Да вон и окурки евонные накиданы.

— Дело молодое, в такие годы и порадоваться.

— И не говори. Иду это я...

Бригадир двинулся будить Мишку сам.

Солнышко поднялось еще выше, далеко в синем просторе выплыло первое кудлатое облако — предвестник ясного дня. Бабы, еще посудачив, во главе с Иваном Африкановичем пошли в поле, а через полчаса испуганно, как спросонья, треснул пускач, потом сказался солидным чихом большой двигатель, трактор взревел, заглох, но вскоре заработал опять, уже ровно и сильно.

Видимо, не проспавшись, Мишка слишком резко включил сцепление.

Бревна Ивана Африкановича опустели на время. В деревне опять стало тихо.

День долго не мог догореть, все вздыхал и ширился в поле и над деревней. Солнце дробилось в реке на ветряной голубой зыби, трава за день заметно выросла, и везде слышалось зеленое движение, словно сама весна в последний раз мела по земле зеленым подолом.

К вечеру старинные окорённые бревна нагрелись, солнце выдавило из сучков последние слезинки многолетней смолы. После баб, что ушли на силос, прибежали сюда ребятишки. Пооколачивались, поиграли в прятки и подались к реке. После них пришла на бревна бабка Евстолья со внуком. Она долго и мудро глядела на синее небо, на зеленое поле, покачивала ребеночка и напевала:

Ваня, миленький дружок,
Ты не бегай на лужок,
Потеряешь сапожок
Либо катаничок.
Тебя мышка съест...

Не допела, зевнула: ох-хо-хонюшки.

— Здорово, бабка! — вдруг услыхала она наигранно панибратский голос.

— Поди-тко, здравствуй.

— Бригадира не видела?

— Я, батюшко, за бригадиром не бегаю. Не приставлена.

— Как... не приставлена?

— А так.

— Я, бабка, из газеты,— сбавил тон пришелец, усаживаясь на бревнах.

— Писатель?

— Ну, вроде этого.— Мужчина закуривал.— Как силосование двигается?

— Про силосованьё не знаю. Только у меня вот зимой был, тоже газетник, дак тот был пообходительнее, не то что ты. И про здоровье спросил, и про все, до чего не хитрой. Он и Катерину-то в больницу устроил. А силосованьё что, батюшко, силосованьё, я старуха, не знаю ничего. Ушли вроде бы на стожья косить.

Корреспондент не стыдясь начал записывать бабкины слова в книжку.

— Сколько человек?

— Да все. Ты, батюшко, обери поминальник-то, обери от греха.

Корреспондент так и ушел ни с чем, и внучек уснул под разговоры. Евстолья унесла ребенка домой, и бревна опустели. Нарубленные еще пять лет тому назад, они так и лежали у большой дороги напротив дома: Иван Африканович все собирался делать дому большой ремонт. И вот давно уже каждое лето бревна служили пристанищем для всех, приходили ребятишки, мужики курили, тут же собирались на работу бабы.

Если б сейчас сидел кто-нибудь на бревнах, то увидел бы, что под угором к мосту идет с узелком Катерина. Она шла тихо, еще слабая после болезни; сокращала дорогу узкими тропками, глядела на деревню и, улыбаясь, плакала от радости. Она больше двух недель не была дома. Сегодня ее выписали из больницы, она купила гостинцев в лавке и не торопясь, радостная и притихшая, пошла домой. В Сосновке долго отдыхала у Нюшки. Потом у родничка размочила глазированный пряник, пожевала без особой охоты.

И вот теперь Катерина, не утирая слез, перешла мостик, перелезла огород у бани и все глядела на свой дом, и волнение, скопленное за две недели, делало ее еще слабее. Все ли ладно, здоровы ли ребятишки? Скотина как без нее, огород посажен ли? Грядки сделаны высокие, хорошие, картошку посадили. И лук вон уже зазеленел, капустки посадили, не забыли. На крыше крутится и барабанит самодельная мельница — Анатошкина работа. Школу закончил, может, и без двоек... Бельишко сушится на изгороди. Катерина узнала бы это бельишко где хочешь, вон Гриш-

кины трусишки, застиранное, линялое платьице — это Марусино, а вот мужнина гимнастерка, пуговицы нет на рукаве, пришить бы не забыть. Всё матка перестирала, и как управлялась тут старуха?

Катерина вышла в заулок. До чего же хорошо дома, до чего зелено стало. Увезли по голой земле — трава только проклевывалась и лист на березах был по медной копейке, а сейчас трава до бедер. Тропка обросла, вся в широких листах панацеи — чем больше топчут, тем упрямее растет подорожник. В деревне тихо, слышно, как пищат над лугами чибисы, и в перерывах между журчанием жаворонка слышен дальний голос кукушки. Тихо, у всех ворот батоги,— видно, уж и на силос косят. Батог и в скобе у своих ворот.

Она подошла к бревнам, прислушалась: от реки долетали по ветру голоса ребятишек. Без труда разобрала самый звонкий — Гришкин. Купаются, дьяволята, еще простудятся. Рано бы купаться-то. Катерина присела на бревна. Куда же матка-то с маленьким ушла? К Петровым? Все время туда бродят, опять, видно, там сидят. И вдруг Катерина почуяла, как у нее чего-то тоскливо и больно сжалось в груди, оглянулась сама не своя, кинулась к тому концу бревен:

— Марусенька, милая...

Девочка не двигаясь стояла за бревнами и глядела на мать. Голубыми немигающими глазами. И столько детской тоски по ласке, столько одиночества было в этих глазенках, что Катерина сама заплакала, бросилась к ней, прижала девочку к себе.

— Марусенька, Марусенька, ну что ты, вот мама пришла к тебе, ну, милая ты моя... О господи...

Маруся вздрагивала крохотными плечиками. Большая тряпичная кукла лежала на траве, девочка играла, когда вдруг увидела на бревнах мать.

Катерина все прижимала ребенка. Поправила волосенки, ладонью осушила Марусины слезы и говорила, говорила ласковые тихие слова:

— Вот, Маруся, я тебе и пряничков принесла, и домой-то мы сейчас с тобой пойдем, доченька, есть кто дома-то? Нету?

Сквозь пелену давнишней недетской тоски в глазах девочки блеснуло что-то мимолетное, радостное, она уже не плакала и не вздрагивала плечами.

Катерина взяла ее на руки, прихватила узелок с пряниками и пошла в дом. Остановилась: от реки с визгом бежал Гришка, за ним, не поспевая, размахивая ручонками, торопились двойники Васька с Мишкой, а из поля, с другого конца, бежала голенастая Катя, все радостные, родимые... Визжат, кричат, вон один запнулся за что-то, шлепнулся на траву — не велика беда,— вспрыгнул на ноги, побежал опять, ближе, ближе, с обеих сторон. Прибежали, уткнулись в подол, охватили ручонками ослабевшие ноги...

А с Петрова крылечка сурово и ласково глядела на эту ватагу бабка Евстолья, держа на руках самого младшего, не-

известно как прожившего без материнского молока целых две недели.

Полуторагодовалого Володьки не было видно,— наверно, он спал в люльке, пользуясь независимостью и тем, что никто ему не мешал. Старший же, Анатошка, с утра возил траву на силос.

У Ивана Африкановича еще с ночи на душе было какое-то странное беспокойство. Он словно чуял сердцем, что сегодня придет Катерина. И все опять будет по-прежнему, опять, как и раньше, будут спать по ночам ребятишки, и он, проснувшись, укроет одеялом похолодевшее плечо жены, и часы станут так же спокойно, без тревоги тикать на заборке. Ох, Катерина, Катерина... С того дня, как ее увезли в больницу, он похудел и оброс, брился всего один раз, на заговенье. В руках ничего не держится, глаза ни на что не глядят. Катерину увезли на машине еле живую. Врачи говорят: гипертония какая-то, первый удар был. Четыре дня лежала еще дома — колесом пошла вся жизнь. В доме сразу как нетоплено стало. Ребятишки что. Они ничего еще не понимают. Бегают, есть просят. Только Катя да Анатошка — эти постарше — сразу стали невеселыми: иной раз несет девка ложку ко рту да так и не донесет, задумается... Да и самого будто стреножили, белый свет стал низким да нешироким, ходишь как в тесной, худым мужиком срубленной бане.

Иван Африканович заметно осутулился за две эти недели. Глубже стала тройная морщина на лысеющем крутобоком лбу, пальцы на руках все время чуть подрагивали.

И вот сегодня, будто чуяло сердце, приснился ночью добрый, как осенний ледок, ясный сон. Приснились Ивану Африкановичу зимние сонливые сосны у дороги над тем родником, белые толстые сосны. Они роняли хлопья почему-то совсем не холодного снега. И будто бы он сидел у родника и еще военной фуражкой поил Катерину чистой серебряной водой. Он поил ее этой водой из фуражки, а Катерина была почему-то в летнем сарафане, в туфлях и с черной плетеной косынкой на плечах, как тогда, в день свадьбы. Она пила воду и все смеялась, и снег с сосен все летел, а внизу почему-то на виду, быстро, вырастала трава, и розовый иван-чай касался плеч, а Иван Африканович зачерпнул фуражкой еще воды и опять поднес к губам Катерины, и она опять пила, смеялась и грозила ему указательным пальцем. Она что-то говорила ему, чего-то спрашивала, но Иван Африканович не смог запомнить, что говорила, он помнил только ясное острое ощущение близости Катерины, ощущение ее и его жалости и любви друг к другу, и еще белые хлопья явственно, медленно ложились на черную кружевную косынку, а Катерина все разводила руками с зажатыми в них концами косынки...

Ему сказали, что Катерина еще до обеда пришла домой. Он не докосил прокос. Не выходя на дорогу, побежал через кусты, к

полю. Бабы кричали ему что-то насчет расстегнувшейся ширинки, смеялись, а он, даже не отмахиваясь от комаров, торопился к деревне. Прыгнул на крыльцо не хуже Анатошки. Дернул скобу дверей.

Катерина сидела на лавке и кормила грудью младшего. Она ухмыльнулась, лукаво глядя на Ивана Африкановича, а он подошел, сел рядом, но не зная, что делать, пошел к ведрам, с маху дернул ковшик воды.

— Спотел... Ты это... на машине али как? Наверно, это... худо кормили-то...

— Пешком.— Катерина опять ухмыльнулась.— Ой ты, Иван Африканович, садовая голова. Вон курева принесла тебе.

— Заказала бы с кем, встретил бы, лошадь долго ли запрягчи.

...И опять все успокоилось в душе — много ли человеку надо?

Крупная изумрудная звезда еще при солнышке взошла над гумном, отблеяли в проулке чернозубые овцы, сумерки не спеша наплывали от окрестных ельников. Тихо, тихо. Только настырно куют кузнечики да изредка прогудит вечерний жук, даже молоток, отбивавший косу, и тот перестал тюкать.

Катерина уже бегала по дому как ни в чем не бывало. Счастливый Иван Африканович из окна увидел: чернеет на бревнах Мишкин пиджак. Не утерпел, вышел на улицу. Мишка сидел на бревнах с гармошкой. Его трактор, с картиной в окошке, тоже стоял неподалеку. Мишка угостил Ивана Африкановича папиросой, спросил:

— Что, Африканович, яму-то засилосовали?

— А я, друг мой, и не знаю, до обеда только косил. Баба пришла домой, я и не пошел с обеда-то.

— Тебе теперь что,— упрекнул Мишка.— Тебе теперь полдела, не то что нам, холостякам.

Иван Африканович не поддержал тему.

— Ну-ко растяни, растяни. Сколько дал-то за нее? — Иван Африканович ногтем поскреб Мишкину гармонь. Ему вспомнилось, как давно-давно выменял он на библию гармонь, как не успел даже на басах научиться трынкать — описали за недоимки по налогам и продали, а Пятак, что выменял библию, подсмеивался над Иваном Африкановичем, у Пятака недоимок-то было больше, а библия не заинтересовала сухорукого финагента Петьку, которого поставили на должность за хороший почерк.

Тихо в деревне. Но вот по прогону из леса баржами выплыли коровы. Важные, с набухшими выменами, они не трубят, как поутру, а лишь тихонько и устало мычат в ноздри, сами останавливаются у домов и ждут, махая хвостами. Над каждой из них клубится туча еще с полдня в лесу увязавшегося за ней комарья. Дневная жара давно смякла, звуки колокольцев по проулкам стали яснее и тише. Обещая ведреную погоду, высоко в последней синеве дня плавают касатки, стригут воздух все еще пронзительные стрижи и стайка деревенской мошки толкется перед каждым крылечком.

Васька загоняет корову во двор.

— Иди, Логуля, иди,— сопит он и еле достает ручонками до громадного Рогулина брюха. Корова почти не обращает на Ваську внимания. Короткие Васькины штаны лямками крест-накрест глядят назад портошинками, и от этого Васька похож на зайца. Полосатая замазанная рубашонка выехала спереди, и на ней, на самом Васькином пузе, болтается орден Славы. Вышла бабка Евстолья, села доить корову. Катюшка ветками черемухи смахивала с Рогули комаров, и Ваське стало нечего делать. Он схватил сухую ольховую рогатину и вприскок, как на велосипеде, побежал по пыльной дороге. Орден Славы вместе с лямками крест-накрест занимал все место на Васькином пузе, и Васька, повизгивая от неизвестной даже ему самому радости, самозабвенно потащил по деревне рогатину.

Как раз в это время на соседнее крыльцо вылез хромой после первой германской Куров, долго, минут десять, шел до бревен. Он выставил ногу, обутую в изъеденный молью валенок. Увидел Ваську, поскреб сивую бороденку, не улыбаясь, тоскливо мигая, остановил мальчика:

— Это ты, Гришка? Али Васька? Который, не могу толку дать.

Васька остановился, засмущался, а Куров сказал про рогатину:

— Вроде Васька. Брось, батюшко, патачину-то, долго ли глаз выткнуть.

— Не-е-е! — заулыбался мальчонка.— Я иссо и завтла буду бегать, и вчела буду бегать, и...

— Ну, ну, бегай ежели. Медаль-то за какие тебе пазиции выдали? Больно хорошая медаль-то, носи, носи, батюшко, не теряй.

Васька продолжал свой поход с рогатиной, а старик повернулся к мужикам:

— Пришла хозяйка-то?

— Пришла,— сказал Иван Африканович.

— Ну и слава богу. А ты, Петров, стогов семьдесят сегодня, поди-ко, наставил, куды и проценты будешь девать? Придется ишшо двух коров заводить,— сказал Куров серьезно.

— Заливай, заливай! И косим-то еще на силос.

— Да чево, заливай. Мне заливать нечего, ежели правду говорю. Заливай... Какова трава-то ноне?

— А ничего, брат Куров, не наросло, вся пожня как твоя лысина.

Мишка снял картузишко с головы Курова, тюкнул по ней пальцем:

— Ну вот, гляди, много ли у тебя тут добра? А все оттого, что ты до чужих баб охоч больно.

— Вот прохвост,— не обиделся Куров,— у кого ты эк и молоть выучился. Отец, бывало, тележного скрипу боялся, а тебе пальца в рот не клади. Когда жениться-то будешь? Хоть бы скорее обротала тебя какая-нибудь жандарма.

— А чего мне жениться?

— Да как чего?

— Ну, а чего?

— Да нечего, конешно, дело твое, только без бабы какое дело? Я, бывало, отцу забастовку делал, в работу не пошел из-за этого. До колхозов еще было дело. Поставил я, понимаешь, тогда себе задачу — в лепешку разобьюсь, а плясать научусь к покрову, на игрища стыдно было ходить, плясать спервоначалу не умел. Каждый день на гумно ходил вокруг пестеря плясать. Сперва-то так топал, без толку, а однова нога за ногу зацепилась и эк ловко выстукалось, что и самому приятно. Только развернулся, пошел эким козырем, а отец как схватит за ухо, он в овине был, подошел сзади да как схватит, ухо у меня так и треснуло. «Чево, говорит, дьяволенок, обутку рвешь?» Вот тут вскорости он меня и женил.

Солнце совсем закатилось за соседнюю деревню. Коров загнали по дворам, только один черно-пестрый Еремихин теленок встал под черемухами, расставив ножки, и замычал на всю деревню.

— Ну чево ревишь, дурак? — Куров погрозил теленку.— Реветь нечево, ежели сыт.

— Пте-пте-пте! Пте-пте-пте, иди сюда, милушко!

Еремиха хочет добром увлечь теленка к дому, теленок взбрыкнул и побежал в другую сторону, а старуха заругалась:

— Прохвост, дьяволенок, шпана, ох уж я тебе и нахлещу, ох и нахлещу, я ведь уже не молоденькая бегать-то за тобой. Пте-пте-пте!..

Мужики с истинной заинтересованностью слушали, как Еремиха ругает теленка, пока из проулка не появился другой старик, Федор,— ровесник Курова по годам, но здоровьем намного хуже. Он держал на плече уду, в руке ведерко из консервной банки и спичечный коробок с червяками.

— Опеть, Федор, всю мою рыбу выудил. От прохвост! Ходит кажин день, как на принудиловку,— сказал Куров,— и все под моей загородой удит.

— Какое под твоей.— Федор положил уду и тоже присел на бревна.— В Подозерках нынче удил, да не клюет.

Мишка взял ведерко и заглянул в него. Один-единственный окунь сантиметров на десять длиной, скрючившись, лежал на дне. Куров тоже заглянул:

— Добро, добро, Федор, поудил. Ишь какой окунище. Наверное, без очереди клюнул. А что, Федор, там не ревит моя-то рыба, не слыхал в Подозерках-то?

— Как, чудак, не ревит, голосом ревит.

С минуту все четверо молчали.

— На блесну не пробовал? — спросил Мишка.

— Что ты, чудак, какая блесна, ежели я и через канаву по-пластунски перебираюсь. Вот у меня когда ноги были хорошие, так я все с блесной ходил. А рыба и в мирное время в ходу, понимаешь, была. Раз иду по реке, веду блесну, шагов десять прой-

дешь — и щука, иду и выкидываю, как поленья; штук пять за полчаса навыкидывал. А Палашка Верхушина за водой идет. «Откуда, говорит, у тебя, Федор, щуки-то берутся?» А ведь, говорю, которые знакомые, дак. Выкидывай да выкидывай. До войны ишшо дело было. Вот только эк сказал, она, щука-то, как схватит опеть да рикошетом от берега, я тащу, а она от меня...

Мужики истово слушают Федора. Между тем речь с рыбы переходит на другие дела, и разговор тянется бесконечно, цепляясь за самые маленькие подробности и вновь разрастаясь.

— Что, Федор, не бывал этим летом за тетерами-то? — спрашивает Мишка.

— Полно, какие тетеры от меня. Дошел раз до ближней речки, хотел перейти, а нога подвернулась, и я, понимаешь, хлесть на мостик. Рикошетом от мостика-то, думаю, хоть бы живым из лесу выбраться. Нет, Петров, не бывал я за тетерами. А тетера, она, конешно, и в мирное время скусна бывает.

Федор в последнюю войну служил в артиллерии. Сворачивая цигарку, он долго лижет газету сизым, сухим от старости языком, потом кое-как склеивает цигарку и прикуривает у Петрова.

— Читал, Петров, сегодня газету-то? — спрашивает Куров Мишку.— Опеть, чуешь, буржуазники-те шалят с бонбой. А наши прохамкают опеть. Вся земная система в таком напряженье стоит, а наши хамкают.

— Ничего не хамкают,— отмахивается Мишка.

— Как жо не хамкают и не зевают, ежели оне, буржуазники-те, с бонбой, а нам и оборониться нечем будет?

— Что ты, Куров,— вмешивается Федор.— Да у наших бонбы-то почище тамошних, только, наверно, не знает нихто.

— Прозевают — прохамкают,— не унимается скептический Куров.— С соплюнами да малолетками только перегащиваются. А какая польза от малолетков? Ну правда, этот, как ево, боек, говорят, на Кубе-то. Кастров, что ли, тоже Федор, кажись.

— Фидель Кастро,— поправляет более грамотный Мишка.

— Всю землю, в газетах пишут, мужикам тамошним благословил и бумаги охранные выдал, каждому сам вручил.

— Вот видишь, а говоришь, малолетки.

— А ты, Петров, слова не даешь сказать, всякий раз поперек меня. Я и говорю, хоть бы тебя какая-нибудь прищучила поскорее, да чтобы ты остепенился.

— Чего ты, Куров, пристал: женись да женись! Женись сам, коли надо.

— Я не приневаливаю, только не дело так болтаться, как ты.

— В мирное время,— включился Федор,— в мирное время, конешно, жениться надо в сроки.

— В сроки, в сроки! — передразнил Петров.— Вон Иван Африканович в сроки женился, наклепал ребятишек, пальцей не хватает считать.

Иван Африканович уходил в это время из проулка загонять

своих овец во двор и как раз возвращался. Он увидал мужиков, поздоровался со стариками. Присел на бревна.

— На помин, как сноп на овин,— сказал Куров.— Ивану Африкановичу наше почтенье. Вон про тебя чего Петров-то говорит.

— Чего это он говорит? — Иван Африканович тоже начал закуривать.

— А говорит, худо по ночам работаешь, робетешок мало.

— Оно конешно,— Иван Африканович даже не улыбнулся.— Маловато, дело привычное.

— У тебя Васька-то которой, шестой по счету?

— Васька-то? Васька-то семой вроде, а можно и шестым, оне с Мишкой двойники.

— Гляжу сейчас, бежит, в руках патачина осемьсветная, на грудине медаль. Да вон он с крапилой кулиганит.

— Васька! — прикрикнул Иван Африканович.— А ну положь батог. Кому говорят, положь!

И тут же забыл про Ваську.

Куров опять потыкал клюшкой в землю, заговорил:

— Вот мы с Федором вчера насчет союзников... Ты ведь вроде до Берлина дошел, шанпанское с ними глушил, чего оне тепериче-то на нас прут? Я так думаю, что Франция все это, она, мокрохвостка, дело меж нас портит.

— Нет, Куров, не скажи,— вмешался Федор.— Франция, она все время за наших стояла, не скажи. А насчет союзников я вот что расскажу. Перед самым концом войны, значит, дело было, в Ялте вожди собрались: наш Сталин, Черчилль, англиец, да американец Рузвельт.

В конце деревни залаяла собака. Ребятишки кидались на дороге репейниками, теплый, пахнущий молоком, дымом и навозом наплыв воздуха докатился до бревен.

— ...Значит, оне в те поры собраньё — комитет проводили, что да как решали, как войну завершить и как дальше делу быть. Ну, это дело такое, все время за столом не высидишь, пошли отдохнуть, в палисаде и скамеечки крашеные для их приготовлены. Сидят оне, отдыхают, перекур вроде. И разговорились, друг мой, насчет Гитлера. А что, робята, говорят, ежели бы нам сейчас этого Гитлера сюда залучить, чего мы с ним, сукой, сделали? Какую ему, подлюге, казню постановили?

Федор переставил ведерко с окунем, покашлял.

— Да. Англиец — Черчилль, значит, говорит, что надо бы его, вражину, поставить перед всем народом да на перекладине и повесить, как в старину вешали, чтобы неповадно другим было. «А вы,— спрашивает,— вы, господин американский Рузвельт, как думаете?» Рузвельт это подумал и отвечает, что нечего с Гитлером и канитель разводить. Пулю в лоб, да и дело с концом, чем скорее, тем лучше. Да. Доходит, значит, очередь нашему русскому Сталину говорить. Так и так, а вы как, Иосиф Виссарьёнович? Сталин трубку, значит, набил и говорит: «А вот что, товарищи, я сам это

дело не буду решать, а давайте мы у часового вон спросим. Позвать, говорит, сюда советского часового». А часовой на посту стоял в кустиках. Значит, охранял начальство. Прибежал, доложил по уставу. Так и так, товарищ Сталин, прибыл боец такой-то. По стойке «смирно» встал, ждет, чего дальше будет. Чего бы, братец, спрашивают, чего бы с Гитлером сделал, ежели бы он сейчас в наших руках был? Солдатик говорит, что надо сперва этого Гитлера изловить, а потом бы уж говорить. Ну, а все ж таки, ежели бы он пойман был, спрашивают. «А я бы, говорит, вот что сделал. Я бы, говорит, первым делом взял кочергу от печки». Ну? — спрашивают. «Вторым делом, говорит, я бы эту кочергу на огне докрасна накалил». Ну? «Ну а потом бы и сунул эту кочергу прямо Гитлеру в задницу. Только холодным концом сунул бы». Это почему, вожди-то спрашивают, холодным? «А это, говорит, чтобы союзники не вытащили».

Федор смеется вместе со всеми, и смех его тут же переходит в долгий кашель, а Куров восхищенно качает сивой головой:

— Так и сказал? Вот ведь пес какой этот русский солдат.

— Так прямо и сказал,— сквозь кашель говорит Федор, а Мишка спросил:

— Это не ты, Иван Африканович, на посту-то тогда стоял?

— Нет, брат, не я, я тогда лежкой лежал в госпитале.

Куров все еще не может успокоиться, говорит:

— Ну и солдатик. Холодным концом?

— Ну...

— Вот вражина!

— Армянское радио,— сплюнул Мишка.— А ежели и правда, так ерунда все. Я бы на месте этого часового взял эту самую кочергу да всех подряд, вместе с Гитлером.

— Боек ты, Петров, больно. Подряд,— сказал Куров, а Федор добавил:

— В мирное время говорить легче.

— Подожди, Петров, может, дойдет и твоя очередь...— Иван Африканович вздохнул, загасил цигарку, вдавил ее в дерн.— Дело привычное. Только я дак, робята, думаю, отчего эти самые войны? Ну, главари, кому охота, сошлись бы один на один, да и били рыло друг дружке. Сквозь меня вот шесть пуль прошло, век не забыть, сколько страху пережил хоть бы и на Мурманском направлении. Я так сужу, что еще Александр Невской говаривал, что которые люди в шинели одеты, так это уж и не люди, а солдаты. Пригонили нас, помню,— по эту сторону горы мы, по ту он стоит, немец. Пошто это? Шарахает нас из стороны в сторону, минами садит, некуда плюнуть. То спереди, то сзади, то сбоку земля на дыбы встает. У его, вишь, настроеньё такоё было, чтобы мне прямо в пуп попасть, да худо, видать, целился.

— Ты вроде, Иван Африканович, на другом фронте-то был? — сказал Федор.

— Ты, Федор, лучше скажи, на каком я не был, везде был. Де-

ло привычное. Вот девятого февраля в сорок втором высадили нас на Хвойной станции, Северо-Западный фронт. Пошли мы пешком на Волхов, оборону заняли у Чудова, голодные как волки и холодные, кусать было нечего, окромя червивой конины. Кажинной мине в ножки поклонишься. Лежим, к смерти привыкаем. Сроду не воевывал, сердце в пятки ушло. Значит, вызывает меня командир, поставил во фрунт да как гаркнет: «Как настроенье у бойцов?» Я говорю: «Плохо!» — «Как фамилия?» — «Так и так, боец Дрынов, личное оружие номер такой-то».— «Почему плохо?» — «Три дня ничего не ели».— «Нет других колебаний?» У нас, конешно, других колебаний не было. А только я с ноги на ногу переступил, и такое колебанье случилось, что от командира ничего не осталось, а сам я уж в Малой Вишере очухался. Повезло мне в том колебанье. Очнулся, гляжу, вохи по мне так и ползут, так и ползут, и по-пластунски и рассыпным строем. Три месяца перекатывали меня санитары с боку на бок, а потом уж только я воевать поднаучился, после госпиталя. Помню, под Смоленском пошли мы в тыл к немцу, Мишуха рязанской, да татарин Охмет, да наших вологодских двое, устькубинский Сапогов Олешка и еще один, не помню чей по фамилии. Меня, значит, старшим поставили, а надо было, кровь из носу, мостик один заминировать да еще и немца, который повиднее, для штаба приволокчи. Ну, мы все за ночь сделали, сграбастали одного, потолще который, связали, поволокли. А он, немец-то, орет, я ему пилоткой заткнул хайло, да и поволокли. А уж совсем стало светло, как днем, и по нам с дороги палят. Еле мы до кустиков доволоклись, отпышкались да к своим поползли, пока еще совсем-то не рассвело. До леску доплюхтались, с брюха на ноги поднялись и немцу-то тоже ноги развязали, чтобы сам шел. Значит, Олешка Сапогов матерится, дай, говорит, Мишуха, ему тюму погуще, чтобы он, паскуда, не лягался. Я говорю, стой, робята, не трогайте его, надо в целости начальству представить. Волокли, волокли, уж до нашей первой линии рукой подать, а лесок-то кончился, немцы минами лоптят, да и окопы ихние рядом, а он пилотку-то мою выплюнул да как заорет, ну, думаем, всем каюк, глотка-то у его луженая. Только заткнули ему рот, а по нам как секанет пулемет, не взад нам и не вперед. Обозлились робята да на него, еле я их рознял, не дал им немца исколотить. Попробуйте, говорю, хоть пальцем троньте, сказано, чтобы ни одного синяка не было. Доползли, значит, немца начальству сдали. Ну, к вечеру уж пошел я к старшине в каптерку, махорка кончилась. Захожу, а в каптерке все мои дружки, и Олешка Сапогов, и татарин Охмет, ну и Мишуха рязанской там был. Раз, ни слова не говоря, меня плащ-палаткой накрыли. И давай меня молотить. «Робята,— кричу,— за что?» А оне передышку сделали да вдругорядь меня, лупят и лупят. Остановились да и говорят: «Будешь матушке письма писать?» Да опять темную мне, я уж скочурился, только бы, думаю, не по голове. «Будешь матушке письма писать?» Да и опять и опять меня, и так и эдак. Измолотили до полусмерти,

хуже раненья. Вылез я. «Робята, говорю, за что это вы против меня второй фронт открыли?» Только заикнулся, оне опять меня плащ-палаткой накрыли, ну спасибо Мишухе рязанскому,— хватит, говорит, хорошего понемножку. «Будешь теперь матушке письма писать?» А я и слова не выговорю, суставы болят, разломило меня, всего расхрястали. «Попробуй, говорят, лейтенанту пожалуйся, мы тебе ишшо навешаем».

...Беззубый Федор долго кашляет, топорщит рыжую от курева седину на усах. Мишка Петров смеется над Иваном Африкановичем, говорит:

— Это орден-то Славы тебе не за эту битву дали, Иван Африканович?

— Нет, не за эту, парень, а и эта битва мне тоже на всю жизнь запомнилась. С того дня, конешно, я начал письма матке писать, каждую неделю писал, а приезжаю после войны, ей не рассказываю. Ну а Славу мне за переправу благословили, а Красную-то Звезду еще до этого на Мурманском направленье. Васька! Ну-ко беги сюда!

Прибежал запыхавшийся Васька с той же рогатиной. Иван Африканович вытер ему нос.

— Я вот тебе покидаюсь, покидаюсь вот. Гляди у меня, разбей раму-то! Ну беги к матке, скажи, чтобы самовар ставила.

Васька, опять блеснув пузом с орденом Славы, побежал домой, разговор продолжался своим чередом.

— А вот, мужики,— говорит Федор,— вот, мужики, в этой войне было, значит, сперва только два героя, это Матросов Олександр да Теркин, ну а уж после их дело скорее пошло.

Мишка не стал доказывать Федору, кто такой был Теркин, и только хитро кривил губу, Иван Африканович тоже промолчал.

— Да, робята, кабы войны-то не было...— сказал Куров и завставал, засобирался домой.

— Три, Куров, к носу, все пройдет! — сказал Мишка.

— Пте-пте-пте! — вновь послышался голос Еремихи. Она все еще не может совладать с теленком, все еще то с угрозами нахлестать, то с добрыми уговорами ходит за ним по деревне. Наконец теленок уступил ей и остановился.

— Еремиха, а Еремиха! — зовет Куров.

— Чего, дедушко,— отзывается та, придерживая теленка за шею.

— Как чего, я с тобой сколь раз уже собираюсь поговорить.

— Да насчет чего, парень?

— Да дело у меня к тебе и претензия.

— Какая это еще, милой, претензия? — испугалась Еремиха.

— А такая, что придется тебе алименты платить. Я насчет твоего петуха. Он, сотона, как только утром встанет да рот-то отворит, как ерихонская труба, да кряду и бежит к моему двору, а наша курица здоровьем худая, дралы от его, а он, дьявол, все равно догонит. Вот как настойчив, что всю курицу измолол. Кажин-

ное утро прибежит, отшатает, да и опеть к себе в заук. Давай, матушка, плати алименты, я от тебя так не отступлюсь.

Еремиха заплевалась, а Куров, не оборачиваясь, покостылял домой. Кряхтя встал и Федор, взял уду и ведерко с пересохшим окунем:

— Заходите погулять, ежели. А ты, Миша, опять до утра наладился?

Но Мишка не слышал. Он взял гармонь и, отвернувшись от нее, заиграл, да так, что Иван Африканович только головой закачал. Мишка особенно нажимал на басы, играл он не ахти как, но очень громко, и звуки заполняли в деревне все закоулки, гармонь наверняка была слышна километров на шесть вокруг.

— Ой лешой, ну и лешой! — снова закачал головой Иван Африканович.— Откуда духу-то в ней столько? Как у хорошей лошади, право слово!

Три девичьи фигуры мелькнули белыми кофточками у соседнего дома. Девушки воспользовались громкой, заполнившей всю деревню игрой, подошли к бревнам. Их было трое, и все приезжие: черненькая круглолицая Надежка, белокурая и тоненькая, будто камышинка, Тоня, третью, едва оформившуюся, еще с застенчивыми полудетскими движеньями, звали Лилей. Теперь Мишке была лафа, он целыми ночами прогуливал: ведь девчушки были здешние, знакомые, хоть и молодые. В отпуск наехали.

— Что, модницы, не уломались за день-то? Поди, ведь и плясать охота? — спросил Иван Африканович.

— А тебе-то что, Иван Африканович? — Надежка была постарше и побойчей других.— Шел бы спать-то...

— Ой ты, куроносая шельма, да я разве мешаю тебе? — Иван Африканович озорно вскинулся к девушкам, те замахались на него, заувертывались, а он крякнул и, не останавливаясь, потопал к дому.

Мишка заиграл, а Надежка, тут же забыв про Ивана Африкановича, тихо, словно бы не нарочно, спела частушку:

Ты играй, гармонь моя,
Сегодня тихая заря,
Тихая зориночка,
Послушай, ягодиночка.

Заря и вправду была тихая. Стоило замолчать теплому Надежкиному голосу, а Мишке погасить гармонь, как все на свете топила в себе тишина, лишь комары еле-еле звенели в сумерках. Они касались этим звоном щеки и опять замирали и сгорали в бесшумной, быстро угасающей заре. Наверное, на этой тихой заре еще чище и непорочней становился Надежкин голос:

Ой, Миша, поиграй,
Миша, поиграешь ли.
У меня болит сердечко,
Миша, понимаешь ли.

Ничего Мишка не понимал. Принимая частушку в свой адрес, как должное, он бесстрастно нажимал на басы, а Надежка продолжала все смелее:

На реку ходила по воду
Дорожкой каменной...

Догадливая Тоня чуть не прыснула и сразу же грустно прижалась щекой к Лилиному плечу. Мишка уже неделю провожал Тоню домой, и вдруг позавчера, когда уходили с бревен, он подхватил под руку Надежку. Он всю ночь просидел с Надежкой и вчера,— и вот сегодня в деревне говорили об этом. А Надежка третий год ждала из армии своего суженого, это знали все, и сейчас, обидевшись за Тоню, она вздумала, видно, проучить нового кавалера.

Дроля в армию поехал,
Ничего не наказал.
Я спросила, с кем знакомиться,
На камень показал,—

снова спела она и подмигнула Тоне. Только Лиля ничего в этом не понимала. Она приехала после школы погостить в деревню (тоже совсем недавно была нянькой) и теперь, у бревен, слушала вспомнившиеся частушки.

Тоня, откликаясь на голос Надежки, тоже запела частушку:

Мне миленок изменил,
Мою подругу полюбил.
Я-то не ревнивая,
Гуляй, подруга милая.

Они, смеясь, уселись на бревнах. Надежка, отмахиваясь от Мишкиного дыма, заругалась:

— Хватит палить-то! Весь уж прокоптел, кочегар, садит и садит.

Ничего городского не пристало к этим девчушкам, так и остались певуньями.

— Тебе-то что, жалко? — Мишка обнял Надежку, а она захлестала его по гулкой спине:

— Ой, отстань, к водяному!

...Опять пришла теплая светлая ночь. Редкими криками кричал у реки дергач. Тоня и Надежка только что расплясались, когда Лилю крикнули домой. Она посидела еще немножко и ушла, а Мишка оставил гармонь и будто бы в шутку спрыгнул с бревен и пошел ее провожать. Тоня и Надежка видели, как они остановились у изгороди. Тоня притворилась, что ничего не видит, а Надежка взяла Мишкину гармонь.

— Путаник, дак путаник и есть!

Она заиграла на шести басах. Она всегда играла под свои частушки на этих шести басах, когда не было настоящих гармонистов.

Буду я косить траву,
Которая с осокою,—

запела Надежка, Тоня подхватила, и они допели частушку уже вдвоем:

Показалася мала,
Пошел искать высокую.

Им было смешно, что не поделили дома единственного кавалера, в городе у каждой было не по одному знакомому.

Запевали они по очереди:

Ты носи, товарищ, кепочку,
А я кубаночку,
Ты люби интеллигенточку,
А я крестьяночку.

Были, были ухажеры,
Были, да уехали.
Приглашали нас с тобой,
Дуры, не поехали.

Частушки у них так и сыпались. Они, смеясь, пели и на ребячий лад, на девичий, шесть басов Мишкиной гармонии еле успевали откликаться. Наконец дело дошло до самых смешных, чуть ли не с картинками:

Мне миленок изменил,
Я сказала: ох-ты!
У тебя одна рубаха,
Да и та из кофты.

— Ой,— Тоня вздрогнула от ночной свежести.— Что это мы распелись-то!

Надежка сразу умолкла, застегнула и положила гармонь:

— Не проспать бы завтра... Хотя Катерина сама дома теперь.

— Ты в избе спишь? Я дак на поветь перебралась.— Тоня начала закалывать на затылке волосы, держа шпильку в губах.

Они обе скрылись в проулке: дома их стояли рядом, сразу за палисадом Ивана Африкановича. На бревнах лежала и остывала нагретая Надежкиным теплом гармонь.

...Иван Африканович, лежа с Катериной под пологом на повети, шлепнул залетевшего комара, сказал шепотом:

— Эта Надежка-то хорошая девка, она твоих коров обряжала, бригадир попросил — не отказалась. А Тонька с телятами.

— Выросли девчоночки...— вздохнула Катерина.— Давно ли в школу бегали? Вот и наша Танюшка скоро невеста будет. Ну спи, отец, спи, завтра и тебе рано, и мне на ферму бежать.

Катерина провела ладонью по жесткой щеке Ивана Африкановича, но он уже спал, а она слышала, как сильно и ровно билось мужнино успокоившееся сердце.

Пришедшая ночь была светла и спокойна. Реку заволокло белое молоко тумана, а поле и деревни виднелись далеко-далеко. Дергач замолк, опять стало совсем тихо. Только иногда в каком-нибудь хлеве звучал колокол жующей жвачку коровы да чей-нибудь сонный петух-недотепа трепыхал крыльями и гоготал спросонья, не зная о том, время или не время петь.

Часа через полтора опять посветлело над лесом, опять голубоватые сумерки начали таять в не успевшем охладиться воздухе и снова на бревна слетела вчерашняя синичка.

Гармошка на бревнах лежала по-прежнему. Птаха поскакала по бревнам, спорхнула на землю и поклевала оброненное девушками подсолнечное семечко.

Какой-то листок в палисаде Ивана Африкановича чуть шелохнулся, словно бы просыпаясь, и заря опять широким полотнищем охватила лилово-золотой окоем, добела раскаляя синие бока вчерашних облаков, всю ночь недвижно дремавших на краю неба. Как раз в это время Мишка Петров воровски выскочил на дорогу из калитки Дашки Путанки... Он оглянулся и, стараясь не спешить, подошел к бревнам, взял гармонию. Сытой, независимой походкой отправился домой.

Снова в деревне протопятся печи, бабы выгонят на траву скотину и, посудачив о Мишкиных и своих делах, уйдут в поле косить на силос, вновь придет на бревна бабка Евстолья с маленьким внучком, напевая, будет греться на солнышке.

Может быть, проезжие шоферы посидят на бревнах, а вчерашний корреспондент, ночевавший у бригадира, уедет с ними обратно в свою редакцию. Либо опять придет заливало Куров и будет рассуждать с Мишкой насчет союзников.

Все может быть завтра на смоляных бревнах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. И ПРИШЕЛ СЕНОКОС

В лесу на Левоновых стожьях Иван Африканович косил по ночам для своей коровы. Днем он вместе с Анатошкой и Гришкой косил колхозное сено, помогала иной раз и Катерина: за два дня ставили стог. А по ночам Иван Африканович ходил косить для себя. Стыдно, конечно, было, бродишь как вор, от людей по кустам прячешься. Да устанешь за день на колхозном покосе, а тут опять всю ночь шарашиться.

Корова — это что прорва, всю жизнь жилы вытягивает. С другой стороны, как без коровы? Без коровы Ивану Африкановичу тоже не жизнь с такой кучей, это она, корова, поит-кормит.

И вот он косил по ночам. Потому что десять процентов сена от того сена, что накосишь в колхозе, эти десять процентов для Ивана Африкановича как мертвому припарка. Самое большое на месяц корму, скотина стоит в хлеву в году по восемь месяцев.

И вот Иван Африканович косил по ночам, как вор либо какой разбойник. Ворона на ветке лапами переменится или сучок треснет — оглядывайся, того и жди, выйдет бригадир, либо председатель, либо уполномоченный. «А что вы,— скажут,— товарищ Дрынов, в лесу делаете? А где, товарищ Дрынов, ваша колхозная совесть, с которой мы вперед идем?» Возьмут субчика под белы руки и поведут в сельсовет. Дело привычное. Ну, правда, не он один по ночам косит, все бегают.

Для коровы на зиму надо три стога минимум. С процентами да с приусадебным участком три стога, не меньше, без этих трех стогов крышка.

Иван Африканович шел вчера мимо гумна. В гумне мат грозовой и крик, навалился председатель на бригадира. Из-за косилки, что второй день простаивала. «Пустил механизм?» — спрашивает. «Где же я его пустил, ежели ножи точить не на чем»,— бригадир отвечает. «А я тебе говорю, через два часа если не пустишь косилку, пеняй на себя, сниму с должности».— «А иди ты к е... матери с твоей должностью!» — это бригадир. А председатель как даст ему. Чем кончилось, Иван Африканович не узнал, поскорее прошел мимо, потому что, когда начальство бригадира колотит, лучше не ввязываться, от обоих и попадет.

И вот Иван Африканович косил по ночам. Обшаркал косой все кустики на небольшой пустовине, на добрый стожок уже скопилось травы на Левоновых стожьях. В лесу, километрах в семи от деревни. Конечно, бригадир знал, что Иван Африканович косил по ночам. Знал и Иван Африканович, что бригадир знал, только оба притворялись малыми ребятами и в глаза друг дружке старались не глядеть. Нынче днем встретил Иван Африканович бригадира в поле на колхозном покосе. Сметали только что стожище. Большой, ядреный стожище, что твоя колокольня. «Что, Иван Африканович, центнеров десять будет, пожалуй?» — сказал бригадир. «Центнеров десять, пожалуй, будет»,— сказал Иван Африканович. «Ну, а ежели будет, дак и давай шпарь, Иван Африканович».— «Ладно, буду шпарить,— сказал Иван Африканович,— только пошто это шерсть-то у единоличных коров не в ту сторону растет?»

Захохотал бригадир и говорит, что это еще ничего, когда в другую сторону шерсть у коров, а вот когда у людей не в ту...

И пошел, а Иван Африканович обтеребил стог и начал новый закладывать, еще шире, еще матерее.

А потом, ночью, отмахал семь верст в лес, тихонько, чтобы не услышал кто, наставил косу, обкосил кустиков с полдесятка и опять семь верст обратно, еле успел к бригадирову звону позавтракать. Хорошо! Третью ночь спал Иван Африканович всего часа по два, дело привычное. Зато после каждой ночи на душе легче,— как-никак, а корову прокормит зиму. На четвертую ночь сметал первый, хоть и небольшой, но все же стожок; на шестую еще один добавил, тоже небольшой, и утром опять ушел на колхозный покос.

Вечером взял с собой в лес Гришку. Хоть и не велик еще парень, а все же подмога. Гришка нес грабли, отец косу, да топор, да оселок. Пришли в лес. Гришка ртом хамкает, от комаров отмахивается, ему очень захотелось спать.

— Пап, мы тут будем ночевать?

— Не ночевать, а косить будем,— сказал Иван Африканович.

— Пошто в лесу-то? — спросил Гришка.— Ты ведь с мамой в поле косил, а теперь в лесу. Что, разве там травы больше нету?

— Нету.

— Ну, папка, ты и врун!

— Поговори у меня! — Иван Африканович взял косу.— Бери грабли да зацапывай! А я тут рядом буду...

Отец ушел косить, а Гришка оглянулся, взял грабли. Тихо было и темновато, небо за березами краснело еле-еле. Мошка с комарами ела Гришку почем зря, а ему надо было зацапывать сено, и он не понимал, почему ночью надо переться в лес да еще в такую даль. Гришка нагреб две маленьких, под свой рост, копешки, устал и сел на одну копешку. Комары и мошка совсем его закусали, лезли прямо в штаны и под рубаху. Холодно стало, пала уже роса, и Гришка сидя задремал. Потом незаметно заснул, склонился на копешку. Иван Африканович пришел, не стал его будить, накрыл фуфайкой:

— Спит работник...

Вставало солнышко, они шли домой коровьими тропами. Иван Африканович послал Гришку вперед одного:

— Беги, да ежели встретишь кого, скажи, что в поскотину теленка гонял.

— Какого теленка, пап?

— Ну, своего теленка...

— Никакого я теленка не гонял,— сказал Гришка.

— Поговори у меня!

Иван Африканович крадучись вышел прямо в поле на покос и косил весь день, до вечера колхозное сено.

Гришка спал на повети до обеда, а в обед пришел с председателем районный начальник и сел на бревнах. Они позвали Гришку:

— Мальчик, а ну принеси ковшик воды!

Гришка сбегал за водой.

— Что, нет отца дома? — спросил начальник.

— Не-е! — сказал Гришка.— Мы с папой из лесу вместе шли, а потом я убежал. Мы ночью косить ходили.

— Что-что? Ну-ка иди, мальчик, поближе. Куда, говоришь, ходили?

— Косить.

— В лес?

— Ыгы.

— Так, так. А ты нам покажешь, где это место? Мы тебя на лошади прокатим.

Гришка с великим удовольствием залез на лошадь, уселся поудобнее, держась за вельветовую толстовку незнакомого начальника. Председатель хмуро ехал рядом.

— Это по Левоновской дороге, что ли? — спросил он.

Гришка чистосердечно рассказал дорогу, они отпустили его и поехали в лес, а он, ободренный и радостный, побежал домой.

Вечером Ивана Африкановича через Мишку Петрова, который ходил выписывать запчасти, вызвали в контору. В кабинет председателя Иван Африканович вошел, будто кот-блудня, спокойно, но с внутренним сознанием своей вины.

— Дрынов? — спросил районный начальник.

— Так точно, он самый.— У Ивана Африкановича екнуло сердце.

— Вы косите в лесу по ночам для личных нужд. Вы понимаете, товарищ Дрынов, что это прокурором пахнет? Вы же депутат сельсовета!

Иван Африканович покраснел как маков цвет, он был и правда депутат.

Он чуть не плакал от стыда, мигал на табуретке и чуял, как розовели горячие уши:

— Чего уж... виноват, значит, дело привычное. Баба смутила, думаю, корова... Виноват, в общем, замарался, не будет больше такого.

Уполномоченный ударил кулаком по заляпанной чернильными пятнами столешнице:

— На правленье яснее поговорим. А сейчас марш! Чтоб духу твоего не было. «Виноват»!

Иван Африканович понуро, боком вылез из кабинета. Забыл надеть шапку и с великим стыдом, качая головой, вышел на крыльцо. Ему было до того неловко, совестно, что уши долго еще горели. Словно ошпаренные самоварным кипятком. И все-таки после этого разговора ему стало не то чтобы легче, а так как-то приятнее, будто кончилась тайная опасность, которая все это время стояла за плечами.

Вот только что с коровой делать? Без сена коровы не будет у Ивана Африкановича, а без коровы и молока не будет, а без молока не будет и денег на хлеб-сахар, уж не говоря о том, что с такой семьей без молока никакой приварок не поможет. Не напасешься никаких щей. А шут с ней, утро вечера мудренее.

Иван Африканович пошел в огород, сел отбивать косу. И вот уж чего никак он не ожидал, так это одного дела. Он отбивал косу, плевал на кончик молотка и тюкал по бабке, плющил тонкое лезвие, стараясь не делать на нем трещин. Тюкал долго, размеренно, и уже совсем все встало на свое место, он успокоился от этого тюканья, как вдруг опять появился тот уполномоченный. Он по-свойски открыл отводок загороды и зашумел макинтошем.

— Так, так товарищ Дрынов. Как вас, Иван?

— Африканович,— не сразу добавил Иван Африканович.

— Я к вам, Иван Африканович, на одну минуту. Закуривайте,— он протянул только что початую пачку «Беломора».

— У меня есть, только этот мелкослой, «Байкал»,— отказался Иван Африканович.

— Держите, держите!

И хотя Ивану Африкановичу не хотелось «Беломору» (у него всегда поднимался кашель от переменного курева), хотя он и привык к «Байкалу», но, чтобы не обидеть человека, взял беломорину.

— Так, так,— сказал уполномоченный.— Погодка-то, а?

— Погода хорошая,— сказал Иван Африканович. А уполномоченный взял косу, потрогал, каково она насажена на косьевище. Будто и в самом деле умел насаживать косы и будто ему на самом деле было важно, хорошо ли насажена коса у Ивана Африкановича.

— Так, так.

«Неужто опять? — подумал Иван Африканович.— Вот ведь беда какая, провались это и сено».

А уполномоченный перестал такать и говорит:

— Вы, товарищ Дрынов, наш актив и опора. На кого же нам в руководстве и опереться, как не на вас? Правильно я говорю?

— Оно конешно...

— Вот и я говорю, что вы депутат. Партия и правительство все силы бросили на решение Пленума. А у вас в колхозе люди, видать, этого недопонимают, им свои частнособственнические интересы дороже общественных. Я не про вас говорю, вы свою ошибку поняли. Кто у вас еще по ночам сено в лесу косит? Вы как депутат должны нам подсказать. Вы мне перепишите всех на бумажку к завтрему. Где кто сколько накосил. А бумажку в контору занесите для принятия мер. Договорились?

— Оно конешно...

— Вот и хорошо, что договорились. А ваши стога мы не будем обобществлять, я скажу председателю. Все ясно? Ну, будьте здоровы, а бумажку завтра занесете.

Иван Африканович нехотя подал ему свою тяжелую лапищу, и уполномоченный зашуршал плащом, вышел из огорода.

Никакой бумажки о том, где кто косит по ночам, Иван Африканович не написал. Он и не подумал ее писать. И вот теперь его склоняли по всем падежам, на всех собраниях, до того дело дошло, что он даже опять похудел. Провались все в тартарары...

— Не знаю, что и делать, Катерина...— сказал он как-то вечером.— Записали мои стожонки... Стыд. На всю округу ославили.

Катерина, как могла, начала его утешать:

— А ты, Иван, сходил бы к соседскому-то председателю. Может, тот даст покосить, в лесу-то.

Это была хорошая мысль. Иван Африканович еще тем летом перекладывал печи в конторе того, соседнего председателя, мужик он был хороший, заплатил тогда по два рубля на день.

Иван Африканович выкроил время, сходил в чужую контору, и ему разрешили косить на той, соседней территории, только

чтобы потише, без шума. Они опять по четыре ночи ходили в лес вместе с Катериной. Правда, косили не подолгу. Катерине к пяти утра надо уже на дойку, да и ему к шести-семи на общий покос. Четыре ночных упряжки косили старательно, надо было уже стоговать сено, как вдруг и приехал Митька. Шурин Митька из Мурманска, брат Катерины, не больно надежная опора Евстольиной старости.

2. ФИГУРЫ

Он приехал ночью, уже под утро, на запоздалой леспромхозовской машине, что везла на лесоучасток горючее. Слез у бревен Ивана Африкановича, поглядел вослед машине: шины все еще выписывали в дорожной пыли громадные восьмерки. Митька махнул рукой: доедет,— видать, не первый раз... Митька покурил на бревнах, деревня спала. «Дрыхнут,— подумал он.— Вот жизнь».

Денег у него не было ни копеечки. Все деньги просадил, пока ехал из Заполярья, не было и чемодана с гостинцами и шерстяного свитера.

Митька без большого труда открыл запертые изнутри ворота. В избу заходить не стал, а поднялся на поветь. Постель под пологом оказалась пустая. Он разделся до одних трусов, снял даже тельняшку и завалился спать, проспал чуть не до обеда, а днем, чтобы не слушать маткиных нотаций, подался на улицу. Евстолья — мать: хоть и ругала его, однако накормила на славу, и он вышел на солнечную улицу, сходил в огород, сорвал и пожевал горькое перышко лука, зашел в баню, посидел на приступке. Ни зятя Ивана, ни сестры дома не было, и Митька пошел по деревне, увидел Курова, который у крыльца насаживал чьи-то грабли.

— Здорово, дедко! — Митька остановился.

— Здорово, брат, здорово. Вроде Митрей.

— Ну.

— Вот и хорошо, что родину не забываешь. Каково, брат, живешь? Не завел сберегательную-то?

Митька безнадежно махнул рукой и пошел дальше, такие разговоры были сейчас совсем ни к чему.

Пусто в деревне. Вон только у скотного двора какие-то звуки. Митька направился туда и встретил еще одного старика — Федора, он ехал от фермы на телеге с бочкой.

— Привет, дед!

— Тпррры! Стой, хромоногая. Доброго здоровьица. Не Митрей? Вроде Митрей, Катеринин брат.— Федор остановил кобылу, сидя козырнул Митьке.— То-то Евстолья-то уж давно говорила, что сулишься. Надолго ли к нам?

— Да недельки две поживу, а там видно будет.— Митька угостил старика куревом, спросил: — Чего возишь-то?

— Да вот за водой езжу по четвертый день. Ноне я, Митрей, воду вожу. Всю зиму солому возил, а теперь по другому маршруту.

— Что так? — Митька пришлепнул кучу оводов на кобыльем боку. Равнодушно поглядел на окровавленную ладонь, вытер о траву.

— Вишь оно как получилось,— сказал Федор.— Старый-то хозяин вздумал в прошлом году водопровод провести коровам. Ну, установили всё, эти трубы, поилки, колодец выкопали, а Мишка Петров насос и движок поставил. До этого-то доярки воду на себе таскали, по колодам. Ну, а как учредили водопровод, мы колоды-то эти все и выкидали да истопили,— куда, начальство говорит, эти колоды, ежели автопоилки есть. Механизация, значит. Да. Тпрры, дура старая! Не стоит никак, оводы вишь.

Федор был рад поговорить с новым человеком.

— Значит, спервоначалу-то хорошо качали, Мишка вон качал, вода в колодце была, а потом хлесть, вода кончилась, одна жидкая каша в колодце-то. Пырк-мырк, нет воды. А третьего дня председатель ко мне нагрянул. Бери, говорит, срочно лошадь, марш воду возить. Я говорю, куда возить-то, и бочка рассохлась, и колоды истоплены. Не твое, говорит, дело, вози в колодец. Я, конешно, поехал, мое дело маленькое, только что, думаю, за причина? Слышу, доярки судачат, что начальство едет из области. Пока начальство по тем бригадам шастало, я раз пятнадцать на реку-то огрел, полколодца воды набухал. Распряг свою хромоногую, гляжу, начальство приехало, с блакнотами по двору ходит, а Мишка движок запустил и давай мою воду из колодца качать. Ходят, нахваливают. Я, конешно дело, молчу, а про себя-то думаю да по кобыле по репице лодонью хлопаю: «Вот вы где все у меня, вот где».

Митька хохотал, сидя на траве у телеги, а довольный Федор попросил еще папироску.

— Только вот, Митрей, что антересно. Моя кобыла-то еще зимой до того привыкла солому возить, что с закрытыми глазами по тому маршруту ходила. Идет да спит, дорогу от фермы ко скирдам как свои пять пальцев на ощупь знала. За вожжи дергать уже не надо было. Ну а теперь-то я с ёй и мучаюсь и грешу. Надо к реке ехать, а она воротит в открытое поле. Но, хромоногая, поехали! Куда опять норовишь? Опять на старый маршрут, чистое мне с тобой наказанье. Что значит привычка для животного.

Разговор с Федором сильно развеселил Митьку. Он поглядел на запястье: золотые ленинградские часы, купленные с последнего рейса в Норвегию и как-то уцелевшие, показывали четверть второго. Если идти сейчас же в центр, на почту, то можно еще успеть послать телеграмму. Закадычному и верному дружку судовому электрику Гошке Вавилину.

Тот не подведет, в лепешку разобьется, а сотню достанет и пошлет телеграфом. «Ладно, успею и завтра,— решил Митька.— А пока займу у сестры или у Мишки Петрова». Надо же было отметить приезд?

Митька так и сделал.

Он весело, в каждой избе, выкидывал трешники и козырем ходил по деревне, а бабы с восхищением ругали его: «Принес леший в самый-то сенокос, ишь харю-то отъел. Только мужиков смущает, сотона полосатой».

Впрочем, в последнем намеке на Митькину тельняшку справедливости было уже мало, тельняшка в первый же день перестала быть полосатой. Евстолья дала Митьке рубаху Ивана Африкановича. Но Митьке в общем-то было уже все равно, какая рубаха висит на его кособоких плечах. Он то и дело посылал племянников за «горючим» в лавку, и ребятишки бегали охотно, поскольку деньги за пустые бутылки шли для них, на конфеты и пряники.

На третий день Митькиного загула пировали в избе у Мишки Петрова. Митька клонил голову на Мишкину гармонь. Он пел, осыпая пеплом папиросы гармонные мехи. И в перерывах между куплетами с горьким отчаянием растягивал губы, обнажая зубной оскал:

Течет речка, течет речка,
Серый камень точит...

Мишка, не зная слов, восторженно вскидывался, хотел подпеть и тут же затихал, а Пятак тоже добросовестно пытался понять Митькину песню. А Митька, с выдохом, со слезой и ни на кого не глядя грустно пел свою песню:

Их, маладой жулик, маладой жулик
Начальника просит:

— Ты, начальничек, ты, начальничек,
Атпусти да дому...
И эх, саскучилась дорогая,
Что живу в неволе.

— Атпустил бы тебя да дому,
Да боюсь, не придешь.
Эх, ты напейся вады халодной,
Пра любовь забудешь.

— Пил я воду, пил я белую,
Пил не напивался,
Всю-то ноченьку, ночку целую
С милой целовался...

Течет речка, течет речка,
Серый камень точит...

Митька вдруг резко прикрыл гармонь:

— Ладно... Не унывай, мальчики. А ты, дед, чего, а? Пей! А мне до лампочки...

— Так он чего,— спросил Куров,— отпустил его начальник-то?

— А мне до лампочки... Кого?

— Да этого, что пел-то...

— А-а... Отпустил.— Митька, не чокаясь, сглотнул стопку.— Оне отпустят... Держи карман.

— А?

— Отпустил, говорю.

— А вот когда я в Сибире был, дак...

Никто почти Курова не слушал, все говорили каждый о своем, и Куров вежливо прислушался. Мишка начал рассказывать, как Иван Африканович сватал его на Нюшке и как они ночевали в Нюшкиной бане.

— Постой, а где же Африканович? — оглянулся Митька и послал какого-то племянника за Иваном Африкановичем. Сам же отложил гармошку, распечатал очередную посудину. Мишка взял гармонь, яростно спел частушку:

Я мальчишко хулиган,
Меня не любят девушки,
Только бабы небаские,
Да и то за денежки.

Кроме Мишки и Митьки за столом сидели Куров да Мишкин дядя, по прозвищу Пятак, тот самый, кому когда-то Иван Африканович променял библию и который запаял самовары.

Старик Федор, как выразился Митька, уже давно скопытился и попал не на тот маршрут: одетый храпел на Мишкиной лежанке.

— А вот что я тебе, Митрей, скажу,— рассуждал Пятак,— ежели тема не сменится, дак годов через пять никого не будет в деревне, все разъедутся.

— Да вас давно надо бы всех разогнать,— сказал Митька и, как бы стреляя, указательным пальцем затыкал то в сторону Пятака, то в сторону Мишки.— Кхы-кхы! Чих!

— Это как так разогнать?

— А так. Я бы на месте начальства все деревни бензином облил, а потом спичку чиркнул.

— Антересно! Антересно ты, Митрей, рассуждаешь! — Пятак покачал головой.— А чтобы ты, милой, жевать-то стал? Вместе с начальством твоим?

— Дак ведь от вас все равно что от душного козла, ни шерсти, ни молока.

— Так-то оно, конешно, так,— раздумчиво согласился Пятак.— Только вишь дело-то какое.

Он показал на репродуктор, передавали последние известия.

— С Москвой-то у нас связь хорошая. Москва-то в нашу сторону хорошо говорит. А вот бы еще такую машину придумать, чтобы в обе стороны, чтобы и нас-то в Москве тоже слышно было. Вот сам знаешь, в колхозе без коровенки нечего и думать прожить. Есть коровенка — живешь, нету коровенки, хоть матушку-репку пой. А ей, вишь, коровенке-то, сено подай кажинную зиму. Да. Я, значит, о прошлом лете поставил стожок в лесу, да и то на

другой территорие по договоренности с тем председателем. А наши приехали да и увезли. Я, значит, в контору, я в сельсовет. Я, брат, в кулак шептать никогда не буду. До райисполкома дошел, а свой прынцып отстоял.

— Вернули сено? — спросил Митька.

— Оно, конешно, сено-то не воротили...

— Ну, а нынче как?

— Теперече я хитрей буду. Мне тот суседский председатель опять косить разрешил. Вон Иван Африканович ноне тоже в лесу покосил, тоже ему тот хозяин разрешил, только, говорю, пустая у тебя голова, Африканович.

— Почему? — спросил Митька.

— А потому, что фигуры у него не те. Надо фигуры ставить такие, как у тех стогов, которые в суседском колхозе. Оне, наши-то, и не разберутся, которые чьи фигуры, сено-то увезти и побоятся. А пошто бы так-то? Ведь один бес, каждое лето покос в лесу остается, трава под снег уходит. Нет, не моги покосить для своей коровы — и весь протокол. Пусть трава пропадает, а не тыкайся. Я-то ладно, я накошу по суседским фигурам. А ведь у другого своя голова не сварит, вот ему-то что? Либо шестой палец вырастет, либо нож в горло своей коровенке. Нет, Митрей, толку тут не дощупаться. Иной раз баба облает, а то здоровье споткнется, ну, думаю, не много и жить осталось, леший с ней, и с жизнью-то. Может, и не доживу до коммуны. А только охота узнать, а чего варить будут?

Митька захохотал изо всей правды, по-настоящему захохотал, а в это время и зашел в избу Иван Африканович. Только не надо было ему заходить. Это уж точно, зря, на свою беду зашел. Сначала он не пил, отказывался, отставлял стопку, но Митька зорко следил за всеми, чтобы пили и от дела не увиливали, и Иван Африканович постепенно заговорил по-другому. Уже потом, после дела, он думал, что не надо было ему терять контроль и так напиваться, но русский человек умен задним умом. И вот назаметно для себя Иван Африканович поднакачался, хоть на ногах и крепко стоял, но все же не то что трезвый.

Вскоре всей компанией, с гармонией вывалились плясать на улицу, к бревнам Ивана Африкановича. Даже хромой Куров прикостылял, хотя и с большим запозданием, когда Митька уже играл на гармони, а двоюродный Мишкин дядя, по прозвищу Пятак, плясал с Мишкой на перепляс.

— А ну-к! — Иван Африканович то и дело порывался встать и тоже идти плясать.— Ну-к я сейчас, дайте, робята, я пойду!

— Сиди, Иван Африканович, ты и плясать-то не умеешь,— сказал Мишка Петров.

— Это я-то не умею? Это Дрынов плясать не умеет?

— Конешно, где тебе супротив молоденьких,— сказал Куров, глядя, как вытопывает Мишка.

И вот тут-то Иван Африканович и заскрипел зубами:

— Это я-то плясать не умею?

— Сиди, сиди, Африканович,— остановил Мишка.

— А ну, мать-перемать, дай круг!

Иван Африканович, покачиваясь, встал с бревен. Митька наяривал на гармошке, помогал губами. Мишка Петров даже не взглянул на Ивана Африкановича, плясал и плясал.

Мне товарищ поиграет,
Веселиться буду я,
Супостаты, со сторонки
Поглядите на меня.

Только спел Мишка эту частушку, а Иван Африканович схватил новый еловый кол и на Мишку:

— Это я плясать не умею? Это я со сторонки? — и как хрястнет об землю. «Сдурел, что ли?» — сказал Мишка и попятился, а Иван Африканович замахнулся, а Мишка побежал от него, а Иван Африканович за ним, а в это время Митька на бревнах засмеялся, и Иван Африканович с колом на Митьку, а Митька побежал, в избе скрылся, а Иван Африканович на Пятака. Пятак от него в загороду.

— Рррых! — скрипел Иван Африканович зубами. Он дважды пробежал с колом по всей деревне, всех разогнал, вбежал с колом в избу к Мишке Петрову, сунул ему кулаком в зубы, Мишка на него, навалились вместе с Пятаком, связали у Ивана Африкановича полотенцем руки и ноги, но Иван Африканович еще долго головой норовил стукнуть Мишку и скрипел зубами.

— Не те у тебя фигуры, Африканович, не те,— говорил Пятак, и голова у него клонилась все ниже, ниже, пока он не захрапел, навалившись на стол.

3. ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Далеко за полдень, после вылазки Ивана Африкановича, деревня понемногу начала успокаиваться. Только иные бабы, прежде чем идти куда, оглядывались и, уже убедившись, что все спокойно, шли.

В избе Мишки Петрова на полу спал связанный, пьяный и потому безопасный Иван Африканович, спал и пьяный Пятак, спал и старик Федор. Только Куров не спал, он не напился, поскольку был всех похитрее, в придачу он числился сторожем на ферме. Хотя летом ему почти нечего было делать на дворе, он все же отправился туда. Пришел, хромой, по батогу в каждой руке, сел на бревно.

— Это чего там мой-то наделал? — спросила Курова Катерина.— Напьются до вострия да и смешат людей-то.

— Да чего, ничего вроде. Поплясать не дали, вот и вышел из всех рамок. А так ничего. За телятами-то все ты ходишь аль сдала кому?

— А кому я их сдам-то? Ладно вон Надежка еще пособляет. Спасибо девке.

— Не ушло начальство-то?

— Вон в водогрейке сидят, пишут чего-то.

Начальство, о котором спросил Куров, как раз выходило из водогрейки. Это был председатель колхоза вместе с тем самым приезжим из района, что предлагал Ивану Африкановичу написать список людей, которые косят в лесу по ночам.

— Ну, теперь, Леонид Павлович, в телятник,— сказал председателю приезжий. Телятник стоял рядом. Красивая, крепконогая Надежка сверкнула на них яблоками своих глазищ, убежала в коровник.

— Надежка! — Куров погрозил одним из батогов.— Опять ворота открыты оставила!

Однако Надежка не слышала, и Куров, как конвой, с батогами пошел следом за начальством, слушая разговор. Приезжий важно стукал ногой в перегородки, принюхивался и заглядывал в стайки.

— Что, Леонид Павлович, не сделали еще наглядную-то? — спросил он председателя.

— Наглядная, Павел Семенович, будет.

— Когда?

— Заказали в городе, будет наглядная.

— Успеет к совещанию животноводов?

— Нет, Павел Семенович, к совещанию не вывернуть,— сказал председатель.

— А ведь дорога ложка к обеду, Леонид Павлович.

— Будет, будет наглядная.

Куров не успевал ходить за ними и опять сел на бревно, блаженно потыкал батогом в землю. И вдруг он услыхал Мишкин пьяный голос:

Сами, сами бригадиры,
Сами председатели,
Никого мы не боимся,
Ни отца, ни матери.

Мишка шел с Митькой к ферме, оба слегка покачивались, и Куров начал делать им предупреждающие знаки, чтобы не ходили. Но где там! Оба дружка правились прямиком к ферме. «Ну и бес с ними,— подумал Куров,— сами на глаза уполномоченному лезут. Ну и прохвосты!»

Между тем прохвосты увидели начальство, а начальство увидело прохвостов.

Митька козырнул:

— Здравия желаю!

— Кто такой? — спросил приезжий председателя.

— А-а, гость, дачник,— отмахнулся председатель.

— Покажите ваши документы! — уполномоченный подошел к Митьке.— Где работаете? В отпуске?

— Так точно! В отпуске! — Митька опять козырнул.— А теперь вот третий день... поднимаю сельское хозяйство.

— Я тебе говорю, документы есть? В какой организации?

Митька с серьезным видом порылся в заднем кармане брюк, вынул какую-то бумажку.

— Так...— Уполномоченный начал читать.

Вдруг он побагровел, разорвал Митькин мандат, повернулся и пошел.

— Мы еще разделаемся с тобой! — обернулся он напоследок.— Ты у меня еще попляшешь. Отпускник!

Митька хохотал на глазах у перепуганных доярок и хлопал себя по ягодицам.

— Ой! Начальничек. Ой! Перекурим, что ли?

Однако начальство уходило все дальше и ничего не слышало. Пока Митька перекуривал и рассуждал с Куровым, Мишка ни с того ни с сего запустил движок в будке, потом незаметно присоединился к Надежке, свалил ее на солому и начал мять, а Надежка весело визжала и отталкивалась ногами и руками.

— Надежка! — позвал Куров, когда ребята ушли в будку.— Ступай сюда, чего я тебе скажу-то.

— Чего, дедушко? — Надежка все еще рдела щеками и не могла отдышаться.

— А вот что. Ведь этот Мишка-то все время из-за тебя на ферму ходит, вроде бы и сторож-то я, а он тут все дни проживает. Только ты придешь, а он тут и есть, прикатил. Самая ты для него наглядная-ненаглядная. Пра!

Надежка сказала: «А ну тебя!» — и убежала в телятник.

Старик поднял разорванную надвое Митькину бумажку, расправил, сложил и, откинувшись, шевеля усами, начал старательно читать по складам:

— «Про... проти... тиво... зачат... Противозачаточн... очное сред... средство. Противозачаточное средство. Спо... способ упо... употребления». Ишь, мать-перемать! — Куров бросил бумажку и растер ее каблуком.— Митрей? Я думал, ты ему бланку на гербовой бумаге вручил, а у тебя тут воно какая деректива. Это чтобы алиментов помене платить?

— Ну! — Митька расхохотался.— А тебе, дедко, не надо такого лекарства? У меня есть.

— Нет, парень, не требуется. Меня уж на том свете с фонарями ищут. Не боишься, что в сельсовет-от вызовут?

— Мне ваше начальство, знаешь... Я его в гробу видел. В белых тапочках.

— Чево?

— До лампочки.

Куров не понял, что значит «до лампочки», переспрашивать постеснялся, сказал:

— А вот я в Сибире был, так там уполномоченных-то уважают, не то что у нас. Туда на мягкой машине, обратно на машине, а как

привезут, кряду барана режут. В другой раз оне уж и знают, в какой дом идти. У меня в дому тоже, помню, после войны уполномоченные стояли. Иной все лето живет, а осенью ему, значит, замена приходит. Один раз приехал новый, ушел вечером собраньё проводить. А ко мне мужики пришли покурить. Олеха-сусед говорит: «А что, робята, давно думаю об одной загвоздке».— «О какой загвоздке?» — «А о такой, что охота мне узнать, чего оне в портфелях носят. Такие портфели толстые, как пузыри, и застежки светлые».— «Как, говорю, чево, бумаги всякие, деректива. Ну, квитанции там... Списки какие». Я, значит, только до ветру вышел, а мужики в это времё спорить, кто одно говорит, кто другое. Взяли да и открыли портфель-то, он за шкапом стоял. Давай, говорят, поглядим, да и дело с концом, чтобы не было у нас разногласия и сумненья. Открыли, да и хохочут, в портфеле-то пол-литра белой. Ну и бумаги, конешно, списки...

— Да ну? — Митька словно бы обрадовался.

— Вот тебе крест, проверили. А вот которые еще до колхозов ходили, те ни-ни. Строгие были, ни себе, ни людям спуску не давали. Все ходили в одной форме, голос подавали, только когда собраньё.

Куров помолчал, глубокомысленно и неспешно потыкал батогом в землю, поглядел на небо:

— Прежде, робята, не так. Прежде уполномоченный придет, и глядеть не на что — кожа да кости. Ходили больше сухие, тонконогие, жидель на жиделе. А теперече уполномоченный пошел сплошь густомясый. Поглядишь, что клубочки катятся. Так у вас что, Иван-от Африканович как? Все еще в африканских веревках? Спит?

— А чего ему сделается! Пробудится, дак развяжем.

И Митька с Мишкой будто по команде повернули головы: из водогрейки как раз выходила Надежка.

4. МИТЬКА ДЕЙСТВУЕТ

Ну Митька! Иван Африканович не мог надивиться на шурина. Пес, не парень, откуда что и берется? Приехал гол как сокол, даже и чемодан в дороге упек. Недели не прошло — напоил всю деревню, начальство облаял, Мишку сосватал, корову сеном обеспечил. И все будто походя. Так уж ловко у него все выходило, что Иван Африканович только моргал да качал головой и боялся близко к нему подходить, такой он разворот взял, лучше не подступаться.

В тот раз, когда загуляли, забурились, в тот раз Иван Африканович очнулся на полу в Мишкиной избе. У самого носа лежала и воняла недокуренная цигарка — больше ничего не видно было, потому что Иван Африканович лежал ничком. Хотел повернуться — не может повернуться. Голова гудела колоколом, в брюхе пусто и тошно, будто притянуло весь желудок к одному ребру.

Нет, это не ремесло, так пить... Вся беда, все горе от этой водки, чтоб она провалилась вся, чтобы сгорела огнем. Здоровье людям губит, в семьях от ее, проклятущей, идут перекосы. Вся земля вином захлебнулась. Уж сколько раз Иван Африканович закаивался выпивать, нет, очухаешься, приоперишься маленько, глядишь, опять повело, опять где-нибудь просочилась. А все дружки-приятели. Одному Ивану Африкановичу давай за так — не надо, а ежели люди да попало немножко — и пойдет шире-дале, не остановишься. Сперва вроде хорошо, все люди кажутся добрыми, родными, всех бы, кажись, озолотил, всех приголубил, и на душе ласково, радостно. А потом... Очнешься, душа болит, как будто кого обокрал, не рад сам себе, белому свету не рад. Нет, это не ремесло. В тот раз Иван Африканович очухался на полу, ни встать не может, ни шевельнуться: «Робята, однако, все ладно-то?» А они гудят за столом, решают, развязывать Дрынова или погодить. Митька говорит: «Пусть полежит в таком виде».— «Нет, надо развязать,— это Мишка Петров доказывает,— я Ивана Африкановича, как родного брата, уважаю, я...» А Иван Африканович спросил: «Дак я чево, связанной разве?» — «Ну!» — это Митька говорит. «Дак чево, неладно, что ли, чего наделал?» — «Все,— Митька говорит,— все ладно, только Пятака прикокнул, вон Пятак мертвый лежит, а так все ладно».

У Ивана Африкановича обмерло сердце, когда Митька развязал полотенце: Пятак и правда лежал на лавке и не шевелился. А Митька говорит: «Вон за милицией подвода ушла». Ивана Африкановича прошибло цыганским потом, руки-ноги затряслись, подошел к Пятаку. Слушает, а Пятак храпит в две ноты, сразу отлегло. Нет, это не ремесло. Митька налил Ивану Африкановичу чайный стакан, с горушкой налил, давай, говорит, на помин Пятаковой души, а Иван Африканович не взял, пошел домой, а Митька остался, и дома теща с Катериной в четыре руки целые сутки пилили Ивана Африкановича. Дело привычное. От Митьки-то они еще раньше отступились. Беда! Он и домой-то редко показывался. Ночевать приходил не вечером, а утром. «Привет, архаровцы!» — с порога кричит. Спутались они с Мишкой Петровым не на шутку, пьют вместе, на тракторе ездят, а недавно вздумал Митька Мишку женить...

Вышло так, что вся деревня два дня только и говорила об одном деле.

Дашка Путанка напоила Мишку каким-то хитрым зельем. Мишку рвало весь вечер, а может, и не от этого, но то, что Дашка навела приворотного зелья, это уж точно, а то, что Мишка нечаянно выпил это зелье,— тоже точно. Он выпил приворотное зелье, потому что уже не разбирал, что в стакан налито, и его начало корежить, потом он уснул, а Дашка пошла ругаться с Надежкой. Она подкараулила Надежку у изгороди и накинулась на бедную девку: ты, дескать, и такая, ты и сякая, ехала бы туда, откуда приехала, у тебя, мол, и подол короток, и зубы железные, а Надежка

и не думала с ней из-за Мишки ругаться, взяла да пошла от Путанки, а Дашка в нее щепкой кинула и кричит на всю деревню и руками машет. Вот дура толстопятая!

Иван Африканович сам слышал, как Дашка ругалась, полезло из нее невесть что, под конец разошлась так, что начала сыпать с картинками. Стыд. На что только не способны эти бабы, особо когда в раж войдут, а ежели из-за мужика, так они и совсем ничего не замечают. Нет, конешно, не всякая. Вон у него Катерина не такая. она бы не стала ни кричать, ни позориться...

Надежка с Путанкой связываться не стала. Она и взаправду на другой день уехала,— может, у нее отпуск весь вышел, а может, и просто так, взяла и уехала от греха. Мишка пробудился, Надежки-то уже не было. Махнул рукой: хы, подумаешь! И опять к Дашке, уже через парадный ход, раньше-то ходил через задние ворота, проводит Надежку и шмыгнет к Путанке ночевать, только через задние ворота. Теперь пошел в полный рост и прямо в парадные ворота, а Дашка, видать, подумала, что наговорное зелье действует, навела для надежности еще, да и развела его водкой. Только поставила это пойло Мишке на стол, вдруг Митька в избу, без Мишки ему ни жить, ни быть, прямо к Дашке и заперся. Садится Митька за стол, наливает без спросу и пьет, и сразу аж веко у него задергалось. «Это чего у тебя, хозяйка, зубровка, что ли?» — спрашивает. А Дашка сердится, не любо, что Митька цельный стакан зелья зря извел, сама не своя побежала к шестку, потом к залавку, несет бутылку новую, нераспечатанную. И все подставляет Митьке бутылку-то да приговаривает: «Вот, Митрей, ты пей из этой, это-то свежая, это-то свежая!» Митька говорит: «Подожди, хозяйка, и свежая от нас не уйдет, а вот из этой еще... Где, говорит, покупала, вроде на туземский ром смахивает. Аж глаз выворачивает». Раз по разу, выдул Митька всю бутылку Мишкина приворотного зелья, а что там было наведено, это известно одной Дашке Путанке. То ли куриный помет с сушеными пауками, то ли без пауков. Неизвестно. Только Мишке мало досталось из первой бутылки, и Дашка готова была Митьку разорвать. Митьку же надо было ей не ругать, а озолотить, потому что на другой же день по Митькиному наущению все трое поехали на Мишкином тракторе в сельсовет, и Дашка с Мишкой расписались, и вся деревня только об этом и судачила. Вот какой пес.

Женил Мишку на Дашке, приходит домой. «Привет, архаровцы!» Конечно, архаровцев у Ивана Африкановича много, окружили его, а он одному конфет горсть, другому горсть, по избе ходит как по палубе. Ивана Африкановича дома не было, косил с Катериной на другой территории. Евстолья и рассказала Митьке все приключения насчет сена. Митька слушал, слушал и говорит: «Эх, вы!» Взметнулся и чай не допил. Уже после Иван Африканович узнал, что Митька с Мишкой прицепили сани и махнули прямо на Левоновые стожья, где Иван Африканович косил по ночам. Люди все были на работе, никто не видел, куда трактор

с санями ушел, часа за три все дело было обтяпано. Оба стога навалили на сани, привезли к повети, перекидали в одну секунду, все шито-крыто. И все бы, может, и обошлось, быть бы Ивану Африкановичу с сеном, кабы не эта Дашка Путанка...

В тот день Иван Африканович пришел с покоса пораньше, была суббота, и давно собирались топить баню. Митька с Мишкой ездили на машинах за обменными семенами для озимового сева, приезжают опять навеселе. Мишка уж и жить перебрался к Дашке в дом, успел и крылечко поставить новое. Сидят Митька с Мишкой на новом крылечке, а Дашка тоже баню топила. Истопила честь честью. В баню молодым надо идти вместе, а Мишка уж совсем веселый, с собой, видать, вина привезли. Дашка подождала, видит, не дождаться мужика в баню идти, взяла веник и пошла мыться одна. Мишка с Митькой насчет компрессии спорят, а трактор у дома стоит, а Мишка с Митькой опьянели совсем и спорят. Взяли и завели трактор, поехали по деревне, чего-то друг дружке доказывают. То остановятся, то опять нечередом вперед ринутся. Вдруг Мишка остановился и кричит: «Стой, а где моя баба?» — «Как где,— Митька говорит,— в бане моется».— «Да нет,— Мишка говорит,— не та баба, что в бане, а та баба, что голая».— «Конешно, голая,— говорит Митька,— что ей в одежде мыться-то, что ли?» — «Да не та,— Мишка тыкал пальцем в стекло,— а эта, что на картине-то». Тут и Митька понял, про какую голую бабу Мишка спрашивает. Картины на стекле и правда не было. Разъерепенился Мишка, начал за ребятишками бегать: «Вы картину из кабины уперли! Я вам все ноги переломаю, ежели не представите. Вы взяли?» Ребятишки перепугались, кричат: «Не мы, дядя Миша, не мы!» — «А кто?»

И тут Мишке рассказали, что картину еще утром Дашка из кабины вытащила и сожгла в печи и что все видели, как она эту картину со стекла сдирала и в кабину сама лазала, а Митька говорит, это она от ревности сделала, а Мишка раз в кабину и на тракторе к Дашкиной бане. Подъехал к самому предбаннику, кричит: «Где картина?» И газует, чтобы Дашка выглянула, а Дашка не выглядывает, тогда Мишка развернулся и на баню трактором, хотел спихнуть баню прямо в речку. Митька хохочет, а Мишка баню с молодой женой в реку трактором спихивает. Дашка выскочила из бани голая, веником закрывается, ревет на всю деревню и Мишку ругает, а Мишка, видать, увидел ее голую и одумался, но баня была на метр с места сдвинута и каменка развалилась.

Иван Африканович увел Митьку домой и, чем дело кончилось, не знал, только на другой день — бах! — приезжает тот уполномоченный и с участковым милиционером, и в деревне пошел разговор, что Мишке с Митькой дадут теперь по десять суток за мелкое хулиганство, а Дашка уполномоченного уговаривает, чтобы не делал ничего, а уполномоченный зря, что ли, милицию вызывал? В придачу Мишка своротил у трактора обе фары, радиатор испортил, а уполномоченный и Митьку еще с того раза запомнил.

Ну, беда, у Ивана Африкановича заболела душа. Совсем стало не по себе, когда взяли двух понятых и пошли начальники к этой проклятой бане. Они обошли ее кругом — баня была сдвинута не на метр, а на восемьдесят сантиметров, всё вымерили, заходят вовнутрь... Дашка ни жива ни мертва рядом стоит, руки дрожат, вот-вот завоет. «А это что такое? — спрашивают.— Откуда у вас это сено?» Весь чердачок бани был забит сеном, и уполномоченный поглядел на Дашку: «Я вас спрашиваю!» — «Из загороды... Свое загородное...» — «Какое же загородное, если у вас еще и загорода не кошена!» А Дашка как заревет. Уполномоченный послал кого-то, чтобы сбегали в контору за председателем, председатель приехал, нашли бригадира. Дело привычное. И вот проклятая баня навела начальство на мысль проверить у всех. До вечера ходили по баням, по дворам, описывали сено, дошла очередь и до Ивана Африкановича...

И загремел Митька вместе с Мишкой в районную милицию. Уж не за баню, а за сено. Иван Африканович только успел свозить сено со своей повети на колхозную ферму, слышит, теща Евстолья причитает, ребятишки в избе ревут, корова стоит у крыльца не доена и тоже трубит, просит доиться, а Катерины нет и Митьку вызвала милиция.

5. НА ВСЮ КАТУШКУ

Два дня Иван Африканович ходил как в тумане — от Митьки ни слуху ни духу. Мишки тоже не было, боком вышло ребятам лесное сено. «Посадят, дадут по году обоим»,— думал Иван Африканович, и душа болела у него больше и больше, не мог найти себе места. На третий день Иван Африканович не утерпел, поехал в район. Взял передачу для Митьки (Евстолья положила в сумку пирог с рыбой и полдесятка яиц) и поехал.

Машина грузотакси хлопала на ветру брезентовым верхом. Ездока летом хоть отбавляй, кузов набит битком. Иван Африканович проголосовал. Шофер был обязан остановиться, поскольку возил людей специально, а в кузове зашумели как в улье:

— Некуда, некуда!

— Одного-то можно.

— Ежели не из всего лесу, дак войдет, а то некуда!

Иван Африканович еле втиснулся. Поехали. И сразу все успокоились, доверительные разговоры огоньками зашаялись в трех местах. Машину сильно тряхнуло, и места сразу стало больше.

— Пузо-тряси, а не грузотакси.

— Ой, ой, варенье-то потекло!

— Ты бы, бабушка, шла сюда, тут лучше тебе будет.

— Ну и ну, пьяный, что ли, он?

— А я так скажу, что ежели у шофера дорога в глазах

двоится, так это хуже всего, обязательно перекувырнемся. А лучше, ежели у него три дороги в глазах, чтобы по середней ехать.

— Отсохни у тебя язык.

— Право, лучше.

Проехали две деревни, в третьей опять остановка. Две девушки-отпускницы торопливо целовались с плачущими матерями. Из машины глядели, как они прощаются.

— Хватит вроде бы целоваться-то,— сказал тот же дядька, который рассудил насчет тройной дороги.— Вот меня так давно уж никто не целовывал.

— Поди слезь, да и тоже...

— Зубы, брат, худые. Да и баба у меня... Такая стала злая, не знаю, кто ее, такую сотону, и родил.

— Теща же и родила,— заметил кто-то.

— Одна была-то?

— Баба-то? Одна. Да и с этой греха не оберешься, вся моя комиссия, видать, кончилась, устарел. А теперь поди возьми ее в руки, ежели все законы на бабской стороне, все точки-запятые. Нет, брат, я и с одной маюсь теперече.

— А вот, говорят, у иранского прынца двести штук, дак тут-то как?

— Да ну?

— Точно.

— Его, наверно, и кормят зато. Не выпивает?

...Иван Африканович в обычное время обязательно бы включился в разговор, но сегодня ему было не до иранского «прынца». Митька не выходил у него из головы. Посадят парня, из-за этого сена посадят, а шут бы с ним, с сеном, как-нибудь бы... Нет, поехали, наворотили оба стога. Те, что Иван Африканович накосил по ночам и которые обобществило начальство. Мало было самому расстройства, еще и Митьку втянул. Стравил парня, да и Мишке тоже несдобровать.

Высадившись, Иван Африканович сразу же направился в милицию. И вдруг услышал оклик:

— Дрынов? Ты чего здесь?

Иван Африканович обернулся, его верхом на жеребчике догонял председатель.

— Да вот, насчет Митьки... Узнать, как чего.

— Я бы этого Митьку... знаешь. Близко к деревне бы не пустил.— Председатель слез с жеребца.— Вон из-за него озимой сев сорвем.

— Это почему из-за Митьки?

— А потому! Трактор-то стоит? А Мишка-то сидит? Вот и почему. Деятели! Натворили делов, мать вашу...

Председатель привязал коня к милицейскому забору, спросил у вышедшего из ворот сержанта:

— Сам-то на месте?

— На месте, на месте, заходи.

Председатель кивнул Ивану Африкановичу, чтобы тот шел за ним. Стукнул дважды в двери кабинета. Иван Африканович вошел, встал у дверей. В кабинете было накурено, хоть шапку вешай, не помогала и открытая форточка. Начальник, капитан милиции, не кладя трубку, поздоровался с председателем:

— Здравствуй, аграрник. Садись. Алё, девушка, что там у вас? Алёу. Черт знает что! с чем пожаловал?

— Николай Иванович!

— Не могу.

— В последний раз, Николай Иванович.

— Сказал, не могу.

— Но ведь...

— Они у тебя скоро весь колхоз разворуют. Два стога. Шутка, что ли? Нет, нет. Про этого, что ли, жеребца-то хвастал? — Капитан поглядел в окошко, закурил.— Ничего вроде бы. Только ведь он у тебя на щетках. Как лапти копыта-то!

— Лапти? Ты, Николай Иванович, зря не заливай. У меня его кирпичники с руками оторвут. Только черта с два. Я его и за золотую валюту никому не отдам. Дак как, Николай Иванович, насчет Петрова-то? А? Без ножа режешь. У меня трактор стоит, сев на носу.

— Зачем его кирпичникам? Глину, что ли, такими ногами месить?

— Три уже раза звонили. Просят, Николай Иванович, Христом-богом. Давай по мелкому хулиганству, черт бы его побрал, дурака!

— Ничего себе дурак, два стога прибрал к рукам. Нет, нет, ни в коем случае. Судить. Пусть на даровых хлебах поживет.

— Николай Иванович!

— Сорок лет Николай Иванович! — Капитан яростно раздавил папиросу.— Сказал — нет, и дело с концом. Я тебя, когда можно было, выручал? Скажи, выручал я тебя, когда можно было?

— Ну, выручал...

— То-то что «ну». Мне за такие дела... Иди, скажут, Мария Магдалина... Мешалкой. Хватит уже миндальничать... Какой ты, к черту, председатель? Распустил, скоро печать сбонтят. Алё?

— Эх, Николай Иванович... Тебя бы на мое место.— Председатель надел пропотелую фуражку.— Ну и черт с ним. Пусть... Триста гектаров ржи сеять... Дожди пойдут... Где у тебя тут... этот... сортир, что ли?

— Налево, вниз,— сказал капитан.

Председатель хлопнул дверью, забыв про Ивана Африкановича.

— Давай, счастливо. А жеребца я у тебя куплю. Слышишь? — крикнул капитан вдогонку.

Но председатель уже не слышал. Вскоре через мостки простучали копыта жеребчика. Иван Африканович терпеливо стоял у двери. Начальник милиции немного посидел молча, потом выта-

щил папку с документами, устало шевеля губами, полистал. Нажал кнопку на столе.

— Смирнов!

— Я, товарищ капитан! — Коротконогий сержант вырос как из-под земли, козырнул.

— Эти двое из «Радуги»...

— Сидят, товарищ капитан. В предварительной.

— Оформить по декабрьскому.

— Слушаюсь.

— На всю катушку чтобы. По пятнадцать суток. Поедешь с ними... в «Радугу». Пусть там отрабатывают, а по ночам будешь в баню сажать. Алёу, девушка? Что там у вас с телефоном? Уснули, что ли? На всю катушку!

— Ясно, товарищ капитан. Разрешите идти?

— Да. Постой, постой, этот отпускник из Мурманска акт не подписал? Пусть здесь в поселке сортиры полмесяца чистит. Все ясно?

Коротконогий сержант козырнул и вышел, а капитан выдрал из папки несколько бумаг, медленно разорвал, бросил в корзину и только тут взглянул на Ивана Африкановича:

— Ну, что там у вас?

Иван Африканович замялся:

— Тут у вас Митька. Поляков фамилия. Значит, это самое сидит...

— Есть такой. Ну так что?

— Митька. Поляков.

— Ну Поляков, ну Митька, дальше-то что!

— Я, значит, узнать... передачу и как что.

— Скажи спасибо своему председателю. Легко отделался твой Митька. Кто он тебе?

— Шурин.

— Можешь отнести передачу своему шурину, вон Смирнов туда пошел.

Капитан начал опять звонить, и Ивану Африкановичу ничего не оставалось делать, как выйти.

КПЗ была тут же, во дворе милиции. Иван Африканович с почтением поглядел на ворота, на окованные маленькие окошки, на собачью конуру. Дежурный взял пирог с рыбой и полдесятка яиц, сказал, что передаст, а сам опять равнодушно начал листать замусолённый журнал. Иван Африканович не уходил.

— Ну что? — спросил дежурный.

— Да это... поглядеть бы его.

— Не положено.

— Мне бы только на пару слов... это, значит... как он.

— Вот на работу их сейчас поведем, гляди сколько хочешь.

— Всех поведут?

— Всех, всех.

Иван Африканович сел на чурбашек, стал ждать, когда по-

ведут Митьку на работу. Вскоре «декабристов» и правда вывели. Их вышло человек с десяток, все молодые ребята, а Митьки среди них не было, и Мишку, видимо, уже отправили, пока Иван Африканович перекладывался. Был один знакомый парень из Сосновки. Иван Африканович долго шел следом за ними. Куда же девался Митька? Он еще раз сходил к дежурному, тот сказал, что в камерах нет ни одного человека и что все ушли, а камеры сейчас проветриваются, и что разговорчиков хватит, и что ему, Ивану Африкановичу, давно пора от него отвязаться. Ворота в КПЗ были распахнуты, дежурный ушел, пришлось уходить и Ивану Африкановичу.

В недоумении он приблизился к остановке грузотакси. Где же Митька? Ну ладно, Мишку в колхоз отправят, а Митька? Иван Африканович затужил еще больше. Когда думал, что Митька в определенном месте и под охраной, что никуда не девается, ну отсидит пятнадцать суток — не беда, пока оставались эти твердые мысли, было вроде бы спокойнее. Теперь же Иван Африканович расстроился по-настоящему. Что же он, Иван Африканович, бабам-то скажет?

Домой приехал в полной растерянности, без аппетита попил чаю, Евстолье ничего про Митьку не сказал.

Почти в одно время с Иваном Африкановичем домой приехал Мишка с коротконогим сержантом. Сержант хотел запереть Мишку на ночь в Дашкину баню и уже наладил большой амбарный замок, Мишка и сам не отказывался. Но за чаем они выпили бутылку, потом еще, и, когда пришли коровы, Мишка уже обнимался с этим сержантом. Они хлопали друг дружку по плечам. Сержанта повалили спать на поветь... Дашка устроила ему полог от комаров, и он уснул как убитый. А Мишка и рассказал Ивану Африкановичу, что получилось с Митькой.

В милицию они приехали вместе. Митька еще в деревне отказался подписать акт об увезенном сене, но, когда ему вручили повестку явиться в милицию, задумался. В милиции они часа два ждали в коридоре. Был там и сосновский парень Колька Поляков, которого Мишка хорошо знал. Митькин однофамилец, в Сосновке почти вся деревня одни Поляковы. Этот Колька накануне подрался с кем-то, а в тот день зашел в милицию вместе с Мишкой. Просто так зашел, ради интереса, вместе с Мишкой. Пришел дежурный — коротконогий сержант со списком — начал выкрикивать фамилии. Выкрикнул Мишку Петрова: «Становись в этот угол!» Мишка встал. Выкрикнул еще одного, и тот встал, потом дежурный выкрикивает: «Поляков!» И вот вместо Митьки тот сосновский парень сдуру кричит: «Я!» — «Становись к этим двум!» — это дежурный говорит. Парень встал к тем двум, а Митька сидит на полу да покуривает. Дежурный подошел к тем троим: «Шагом марш!» Ну те и пошли, в том числе и Мишка, а Митька посидел, видать, еще, никто его не вызывает, пошел в чайную. Больше Мишка про Митьку ничего не знал.

Сержант, что по ошибке увел в КПЗ не того Полякова, видать, попозднее смикитил, но было уже поздно, а Митькин и след уже простыл. Всем троим, в том числе и сосновскому парню, оптом дали по пятнадцать суток ареста. Даже и в суд не водили, и все трое, четвертый — сержант, остались довольнехоньки, что так дело кончилось. Мишку в сопровождении сержанта послали отрабатывать пятнадцать суток в свой же колхоз, а сосновский парень долго гадал, кто ему принес передачу, пирог с рыбой и пять яиц,— рыбу в Сосновке не ловили, там и озера нету, куриц у парня в хозяйстве тоже не было. Думал, думал, гадал, гадал, но голод не тетка, передачу Ивана Африкановича съели одним махом. Сосновский парень сидел в КПЗ первый раз, и гордился, и всё рассказывал, как он подрался на днях. И драка-то была плевая, а он гордился, что попал в КПЗ...

Коротконогий сержант уехал из деревни через два дня, и Мишка оказался на свободе.

Митька между тем дождался, когда уехал из деревни Мишкин конвой — этот коротконогий сержант, и объявился дома цел и невредим, веселый и быстрый, будто заводной:

— Привет, архаровцы!

Уже потом «архаровцы» узнали, что он все эти дни жил в Сосновке у Степановны, пережидал, пока все успокоится. Вот только врозь Митька спал с Нюшкой или вместе — этого никто не знал, и бабы гадали и на все лады обсуждали этот вопрос.

Сам же Митька ничего не рассказывал.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. ВОЛЬНЫЙ КАЗАК

Тебе соха и борона,
А мне чужая сторона.

(Из частушек)

У Митьки еще были деньги. Много денег, рублей шестьдесят, а то все восемьдесят, но он перестал пить, когда узнал, чем кончилась история с сеном.

Иван Африканович отвез сено на общественное гумно и вскоре забыл об этом, дело привычное. Митька же вернулся из Сосновки, забрел на поветь по нужде и увидел пустой перевал. Митька даже ремень не застегнул, забыл, зачем пришел на поветь. Вбежал в избу:

— Сено где?

Мать Евстолья, укачивая последнего «клиента» Ивана Африкановича, даже не повернулась, она тихо, по-колыбельному пела коротушки для засыпающего младенца. Митькин вопрос вызвал в ее памяти еще одну песенку:

Ты не блей-ко, баран,
Сена волоти не дам.
Летом жарко косить,
Зимой холодно возить.

— Сено где, спрашиваю? — Митька весь побелел и остановил зыбку.

Старуха спокойно встала, поглядела загнетку, ухватом выставила чугунок.

— Чего ты, Митька, кричишь? Парень-то усыпать начал, а ты как с цепи сорвался. А сено свозили. Все свезли, у кого не из своей загороды, вся деревня.

— Как свезли?

— Так и свезли, на телегах.

Митька вскочил как с горячей сковороды. Даже заикаться начал:

— В-в-вві это чего, дд-дураки, что ли?

— А ты у нас умник,— улыбнулась бабка.— В Нюшкином-то сеннике кто три дни отсиживался?

Митька выскочил из избы, забежал опять:

— Он где сегодня? Пашут, что ли?

— Пашут...

Дверь хлопнула так, что зазвенела в шкафу пустая посуда.

...Иван Африканович действительно пахал с Мишкой на тракторе под озимовой сев на том самом дрыновском отрубе, где когда-то стояла отцова ветрянка: жернова еще и сейчас валялись на горушке.

Пахать выехали поздно, дело чего-то не клеилось, а раскиданный бабами навоз еще вчера весь пересох. Сухая серая земля туго поддавалась плугам, лемеха тупились быстро. У Ивана Африкановича болела душа при виде пыльного, поросшего молочником поля, вспаханные места были не намного черней невспаханных.

Когда объезжали телеграфный столб, то передний плуг скользнул и за ним весь прицеп выскочил на поверхность, потащился, царапая землю.

— Стой! стой! — закричал Иван Африканович, но Мишка тарахтел дальше, словно бы и не слышал.— Стой, говорят! — Иван Африканович вне себя спрыгнул с прицепа, схватил комок земли и бросил в кабину.— Оглох, что ли?

Мишка нехотя остановился:

— А-а, подумаешь! Все равно ничего не вырастет.

— Это... это... это как не вырастет?

— И чего ты, Африканович... Везде тебе больше всех надо.

— Да ты погляди! Ты погляди, что мы с тобой творим-то?

— Ну и что? — Мишка скорчил шутовскую рожу.— Три к носу...

В бешенстве Иван Африканович уже замахнулся на эту шутовскую рожу, но в этот момент увидел идущего от деревни шурина. Повезло Мишке.

Митька шел по полю сутулой, какой-то дергающейся поход-

кой, и Мишка с хитрым прищуром следил за ним. Митька не поздоровался, сел на плуг.

Иван Африканович покосился:

— Ты это что? Вроде не с той ноги встал.

Митька сплюнул и презрительно, долго глядел на зятя.

Ивану Африкановичу стало не по себе, он растерялся.

— Сено где? — резко обернулся шурин.

— Да где... в гумне вроде.

— А чего ж оно в гумне-то?

— Дак ведь...

— Дак, дак! — Митька вскочил на косолапые, сильные ножищи.— Лопухи чертовы! В гумне, да? Свез, да? А чего ж ты свез-то? Расстреляли бы тебя, если б не свез? Пентюхи вы все, пыль на ушах... и...— Митька горько выругался, ехидно потрепал пальцем свое же ухо, словно бы стряхивая с него пыль.

Он ушел сутулой, какой-то скорбной походкой (до этого ходил по-другому), не напился, а пришел к реке и сел под свежим, еще не осевшим стогом. Иван Африканович не видел его до завтрашнего вечера.

...Однажды раным-рано Иван Африканович зашел в огород, чтобы перед работой обрыть грядку картофеля. Он только хотел воткнуть в землю лопату, как увидел Митьку. Тот сидел на камне и глядел на еще сонную, но уже без тумана реку, в зубах у него торчала травинка. Сидел босиком и глядел на реку. Что-то не замечал Иван Африканович, чтобы Митька вставал с восходом,— всегда парень спал до обеда.

Митька услышал кашель и, ополоснув лицо, поднялся к Ивану Африкановичу:

— Ну, Африканович, хватит.

— Чего хватит?

— А маячить хватит.

— Поедешь, что ли?

— Ну! И ты тоже поедешь.

— Я-то поеду,— улыбнулся Иван Африканович.— С печки на полати.

— А я говорю, поедешь!

— Это куда я поеду?

— Со мной! — Митька решительно пнул ботинком ком земли.— На Север поедешь, я всерьез говорю. Ты сколько отхватил вчера? В получку-то? У вас ведь вчера получка была?

— Была.

— Ну и сколько тебе шарахнули?

— Восемнадцать рублей дали.

— За месяц?

— За месяц.

— Отхватил... Ну а зимой ты и того не заработаешь. А если корову не прокормишь? У тебя этих... архаровцев-то сколько, девять?

— Оно конешно...— Иван Африканович подзамялся, но вдруг обозлился: — Ты с кем думал? Я с тобой поеду? Нет, брат, мое дело дома сиди, не ерепенься. А кто меня отпустит? Ты об этом, видать, и забыл, что у меня вся документация — одна молошная книжка. Где бабам молоко записывают, сколько сдадено. Нет, Митя, друг мой... Ты это перемудрил. Некуда мне ехать, надо было раньше думать, после армии. Дело привычное.

Иван Африканович отмахнулся и взялся за лопату, а Митька отнял у него эту лопату и опять:

— Ты меня послушай. Сена у тебя пшик, с одной загороды, так? Так! Рыба да охота тоже не доход, так? Так! А в Заполярье ты полтораста рублей левой ногой заработаешь. Ну, а с документами на меня положись. В тех местах законы не писаны. Теперь за деньги все можно сделать. Вон живых баб на ночь покупают, купим и паспорт.

— Иди ты... покупщик! — огрызнулся Иван Африканович.— Привыкли все покупать, все у тебя стало продажное. А ежели мне не надо продажного? Ежели я непокупного хочу?

Иван Африканович даже сам удивился, откуда взялась какая-то злость в душе. Никогда он с Митькой не ругался. А Митька не обращал внимания на эту злость и все говорил, и получалось так, что прав он, а не Иван Африканович, и от этого Ивану Африкановичу было еще обидней.

— Непокупного он захотел! — Митька вдавил окурок в чистую влажную землю.— Ну и давай! Вот сена ты накосил непокупного. Тебе хоть за косьбу заплатили? Гы! Смех на палочке. У тебя и сейчас одни ребятишки непокупные, хрен моржовый.

— Оно верно. Все покупное стало. Дошло... Только я, Митя, никуда с тобой не поеду. Жила не та стала.

— Да почему не та? Ты же и плотник, и печник, и ведра вон гнешь.

— Гну. А на чужой стороне меня самого это... в дугу.

— А-а, ну тебя!

Митька плюнул и ушел. Но не отступился, мазурик, и вечером опять пристал как банный лист к заднице, и у Ивана Африкановича что-то надломилось, треснуло в сердце, не стал спать по ночам.

Куда ни кинь, везде клин, все выходило по-митькиному. Задумал, затужил, будто задолжал кому, а долг не отдал. Будто потерялось в жизни что-то самое нужное, без чего жить нельзя и что теперь вроде бы и не нужным стало, а глупым и пустым, даже обманным оказалось.

По вечерам они скрывались от баб у реки за кустами и курили. Иван Африканович весь прокоптел даже и больше молчал, а Митька агитировал его и тоже все дымил в горячке.

— Вот ты, Африканович, говоришь — город как нетопленная печь, не греет, не тешит. А тут у тебя греет? Тешит?

— Тут, Митя, тоже не греет. Дело привычное.

— Ну вот.

— Только ведь я уже не молоденький вроде, по баракам-то ошиваться.

— Первое время, может, и по баракам. Так ведь ты живой человек, мы ж не будем сложа руки сидеть, а будем дела делать.

— Это какие дела? Вроде таких, когда баб-то на ночь покупают? — съязвил Иван Африканович, а Митька рассердился взаправду:

— Вот прицепился к слову! Да что я тебе, худа хочу, что ли?

— Какое худа, знаю, что не худа. Только ты и сам, может, не знаешь, где мое худо, где добро.

— У всех людей и худо и добро одни и те же!

— Разные, паря.

— Хм...

И вот однажды Митька закусил губу,— видать, лопнуло у него терпенье.

— Ну и х... с тобой! Вкалывай тут! За так. Добрё-худё!

Митька вытянул губы, передразнил Ивана Африкановича.

— Ты хоть бы о ребятах подумал, деятель! Ты думаешь, они тебя добром помянут, ежели ты их в колхозе оставишь, когда это... в Могилевскую-то?

Иван Африканович побледнел, засуетился, этот Митькин довод подействовал сильнее всех других. А Митька, видя, что зять уступает и сейчас вовсе сдается, старался закрепить победу:

— Бабам скажем, что временно, недели на три. Слышь?.. А сейчас пойдем, пиши заявление на правление колхоза. Дадут справку, так дадут, а не дадут, так в рыло не поддадут. Уедем и так.

Иван Африканович почувствовал, как где-то под ложечкой сладко, как в юности перед дракой, защемилась тревога. А вечером, после очередного разговора вдруг сразу отчаянная решимость преобразила Ивана Африкановича, он подошел к шкапу, вынул трешник и подал Митьке:

— Беги!

Митька отмахнулся, говоря:

— Что у меня, нет, что ли? Спрячь, не показывай.

— А я говорю, беги! — Иван Африканович так страшно, так небывало взглянул, что Митька заткнулся, взял деньги и пошел за водкой.

А Иван Африканович сел писать заявление на справку.

Правление в колхозе собиралось чуть ли не каждую неделю, и ждать пришлось недолго. В новой еловой конторе, в председательской половине, собрались правленцы; приглашенные и просители ждали кто на крыльце, кто у счетоводов. Подходили еще.

— Мужиков-то, мужиков-то, как у конторы!

— Сидим, ждем у моря погоды.

— Возьми да походи.

— Мне ходить нечего, я не начальство.

— Оно конешно.
— Ночевали здорово! — сказал Иван Африканович.
— Ивану Африкановичу наше с кисточкой.
— Нынче палку брось наугад, как раз в начальника попадаешь.
— Иначе-то, вишь, нельзя.
— Почему?
— А потому, что борьба с вином.
— Здря.
— Чего здря?
— Да эта... борьба-та.
— С вином-то?
— Ну.
— Оно конешно, не углядишь. Вон я вчера иду, а Юрко сосновский пьяный идет и вот хохочет, вот заливается. Чего, говорю, тебе весело стало? А он хохочет. «Я, говорит, выпил, вот и хохочу. А что, говорит, ты мне хохотать запретишь? Не запретишь». Я говорю: ты трезвый-то больше в землю быком глядишь, слова от тебя не учуешь. «А мы, говорит, и в коммунизм пьяненькие зайдем». Я говорю: куда тебя в коммунизм, такого теплого. «А что, не гож?» Это он кричит, а сам на меня. Ну, я от его задом да боком, думаю, отряховку даст ни за что ни про что.
— Здря.
— Чего?
— Да задом-то.
— Ну?
— Отряховка каждому дело пользительное, и мозгам просветленье и шевелишься быстрей.
— Оно конешно... Только сгубит, ребята, нас это вино.
Иван Африканович, слушая, присел на приступок, закурил,— стал ждать, когда его вызовут.
Вызова же пришлось ждать до самого вечера. Сперва слушали отчеты бригадиров «О ходе и продвижении заготовки кормов и выполнении озимового сева», потом был вопрос о готовности техники к уборке. И лишь после этого начался разбор заявлений.
Заявлений же было шесть. Иван Африканович вошел, оглянулся: правленцы сидели уже потные, иные перемогали сон. Все знали друг дружку, все перебывали в гостях друг у дружки, а тут были словно чужие друг дружке. Председатель взял первое заявление, оно было написано от имени одной одинокой бабки, которая просила выделить пенсию. Выделили четыре рубля в месяц. Второе заявление написал Пятак, просил разрешения пустить в зиму нетель в дополнение к корове, это ему единогласно не разрешили. В третьем заявлении говорилось о продаже старого колхозного амбара для единоличной бани, в четвертом была просьба послать на какие-то курсы, в пятом просили отпустить с должности доярки. Последнее...
Иван Африканович сидел на скамье с виду спокойно. Только

никто не знал, что творилось у него внутри. Он сам дивился, откуда взялось у него такое упрямство, чувствовал, что эту справку он зубами сейчас выгрызет, а пустым из конторы не выйдет. Митька ждал его на крыльце.

Председатель зачитал заявление и пришлепнул его волосатым кулаком:

— Товарищ Дрынов?

— Дрынов. Он самый, вся фамилия верная,— сказал Иван Африканович.

Сонливость у дремунов как рукой сняло, скамьи заскрипели, кто-то высморкался.

— Объясните по существу,— сказал председатель.

— Там написано. Все и по существу.

Председатель крикнул:

— Ничего тут не по существу! Тут все не по существу! Ты просишь дать справку, чтобы тебе дали справку по десятой форме. Правильно?

— Точно.

— А десятая форма нужна для получения паспорта, верно? А паспорт тебе нужен для чего?

— Ясное дело, для чего, уехать хочу.

— Вы же, товарищ Дрынов, депутат! Что это такое? Куда вы собрались уезжать?

— Вам-то что за дело, куда я вздумал уезжать? Я не привязанный вам.

— Никуда вы не поедете. Все! Возьмите заявление.

Иван Африканович встал. У него вдруг, как тогда на фронте, когда прижимался перед атакой к глинистой бровке, как тогда, застыли, онемели глаза и какая-то радостная удаль сковала готовые к безумной работе мускулы, когда враз исчезал и страх и все мысли исчезали, кроме одной: «Вот сейчас, сейчас!» Что это такое «сейчас», он не знал и тогда, но теперь вернулось то самое ощущение спокойного веселого безрассудства, и он, дивясь самому себе, ступил на середину конторы и закричал:

— Справку давай! На моих глазах пиши справку!!

Иван Африканович почти завизжал на последнем слове. Бешено обвел глазами всех правленцев. И вдруг волчком подскочил к печке, обеими руками сгреб длинную согнутую из железного прута кочергу:

— Ну?

В конторе стало тихо-тихо. Председатель тоже побелел, у него тоже, как тогда, на фронте, остекленели зрачки, и, сжимая кулаки, он уставился на Ивана Африкановича. Они глядели друг на друга... Потом председатель с усилием погасил злобу и сник. Устало зажал ладонью лысеющий лоб.

— Ладно... Я бы тебе показал кузькину мать... ладно. Пусть катится к е... матери. Хоть все разбегитесь...

Он со злом и страдальческой гримасой вынул печать, стукнул

ею по чистому листу в школьной тетради, выдрал этот листок и швырнул бухгалтеру:

— Пиши!

Рука бухгалтера тряслась. Иван Африканович поставил кочергу на обычное место, взял справку и прежним, смирным, как облегченный бык-трехлеток, тяжело и понуро направился к двери.

Ему было жалко председателя.

За три дня Иван Африканович затащил на чердак лодку, насадил новые черенки к ухватам, связал помело, наточил пилу-поперешку, поправил крыльцо и вместе с Митькой испилил на дрова бревна.

Так и не подвел три новых ряда под избу, так и не срубил новый хлев. А, пропадай все... У него словно что-то запеклось внутри, ходил молча, не брился. Катерине же некогда было плакать, домой приходила редко. Бабка Евстолья все время только и знала, что костила Митьку. Митька же только зубы скалил да торопил Ивана Африкановича.

И вот на пятый день собрались.

По колхозной справке Ивану Африкановичу выписали в сельсовете справку на получение паспорта. Иван Африканович вышел от секретаря, долго читал и крутил эту бумажку, даже не верилось, что в сереньком этом листочке скопилась такая сила: поезжай теперь куда хочешь, хоть на все четыре стороны поезжай, вольный теперь казак. Только, странное дело, никакого облегчения от этой вольности Иван Африканович не почувствовал...

Паспорт надо было получать в своем районе, а Митька сказал, что наплевать, получишь прямо на месте, в Мурманской области, у него, мол, у Митьки, там все кругом знакомые, дружки-приятели, они для Митьки все сделают.

И вот Иван Африканович с Митькой совсем собрался уезжать. Утром пошел прощаться с деревней, за ручку со всеми бабами, которые дома были. Зашел он и к Мишке Петрову: Мишка жил теперь у Дашки в дому. Он сидел за столом и пил чай со свежими пирогами, Дашка только что истопила печь.

Иван Африканович посидел с минуту, неловко заговорил:

— Ну так, Миша, пока, значит... это самое, уезжаю. Выходит, пока...

Мишка важно потискал поданную руку:

— А что, я вот тоже возьму да уеду. У меня в Воркуте божат [1] управдом.

— Седе! — Дашка замахала на Мишку полотенцем.— Седе! Ездок выискался, так тебя и ждут в этой Воркуте!

После Мишки Иван Африканович зашел в избу Курова. Старик сидел на лавке, старуха на стуле, они спорили, у кого из них урчит в животе. С приходом Ивана Африкановича старики при-

[1] Божат, божатка — крестный, крестная; вообще родственники.

крыли этот интересный спор, к тому же зашел Федор, и Иван Африканович заодно попрощался с ним:

— Ежели что, худом не поминайте... Это... пока, значит.

— Счастливо, Африканович,— Федор встал с лавки,— может, и не увижу тебя больше, умру, здоровье-то стало не то.

А Куров поглядел в окошко и сказал:

— Нет, Федор, я скорее тебя умру, вон уж давно повестка пришла, туда требуют.

— Да ты, Куров, всех переживешь,— не уступал Федор,— вон у тебя загривок-то как у борова.

— Ну, счастливо, Африканович, с богом.

— До свиданьица, ежели...

— Пока...

— Письмо-то напиши, как что.

— С квартерой, работа какая будет.

— В час добрый...

Поклажу и два мешка луку послали до сельсовета на изладившейся подводе, сами отправились пешком, и Катерина пошла хоть немного проводить мужиков.

До этого Иван Африканович подержал на руках самого младшего, кому-то утер нос, по голове погладил Марусю. Сели на лавку. Катерина заплакала, так и пошла провожать, с голосом. Евстолья промолчала и, лишь когда спустились с крыльца, сказала:

— Ну, со Христом, со великим...

По ржаному полю гулял волнами серебряный ветер. Облака копились над лесом, далекий гром урчал там, вдалеке, и исчезнувшие за последние сутки оводы опять яростно налетали из травы.

Катерина успокоилась у сосновского родничка. Уже розовел у родничка набирающий силу кипрей, желтели поздние лютики. Сосны, просвеченные солнцем, бросали зыбкую пятнистую тень и еле слышно нашептывали что-то, синело небо, верещала в кустах дроздиха.

Сидели у родничка, ни слова не говоря. Иван Африканович взглянул на жену и вдруг весь сжался от боли, жалости и любви к ней: он только теперь заметил, как она похудела, как изменилась за это лето. Хотел сказать Митьке: иди на машину один, никуда не поеду. Хотел сказать Катерине: пойдем обратно, будем жить как жили. Но ничего не сказал, обнял, оттолкнул, будто с берега в омут оттолкнул, пошел от родничка: Митька уже кричал издалека, чтобы Иван Африканович поторапливался...

Катерина глядела на них, пока оба не исчезли за кустиками. Ей стало трудно дышать, слабость и тошнота опять усадили ее у родничка. Хватаясь руками за траву, она еле дотянулась до холодной, обжигающей родничковой воды, глотнула, откинулась на спину и долго лежала не двигаясь, приходила в себя. Приступ понемногу проходил, она прояснила, осмыслила взгляд и первый раз в жизни удивилась: такое глубокое, бездонное открывалось небо за клубящимся облаком.

«Куда поехал? Пошто? Господи, царица небесная, будто в тумане катится солнышко. За одну неделю мужик переменился, как подменили, глаза стеклянные стали, говорил мало, ночами только вздыхал да палил табак. Когда сказал, не поверила, еще засмеялась: куда тебе из дому, сроду, кроме войны, нигде не бывал. А через день — суши, говорит, матка, сухари. Обмерло сердце,— видать, задумал всерьез. Сказала добром: «Иван, отступись, нету моего согласия,— он и не слушает, как воды в рот набрал, ходит по дому топором стукает, к ребятишкам начал приглядываться, задумчивый стал. Тогда уж всерьез заругала, со слезами: не отпущу! А он зубом скыркнул, замахнулся. Не было еще такого, чтобы замахивался, ни разу пальцем не трагивал, а тут замахнулся...»

У Катерины опять слезы подкатились комом к самому горлу. Она шла домой напрямки от родника. Высокой травой заслоненная тропа была влажна и холодила ноги. Сосущая боль в боку отходила медленно.

«...А все Митька, братец пустоголовый,— он сманил, из-за него попала Ивану вожжа под хвост. Кабы не приехал, жили бы да жили. Что теперь, чего заводить? Говорит, устроюсь, денег посылать буду, ребят одеть-обуть, а где, что? Как жить один будет? Оборвется, обносится. Да еще, гляди, и стрясется чего. Либо в тюрьму попадет, либо зарежут где, выпивать-то любит... А и тут — чего я одна? Сена не накосить на корову, а без коровы что с экой оравушкой? Как зародилась бессчастной, так и живи бессчастной, господи, унеси лешой и жизнь!»

Она не помнила, как поднялась от речки в гору, как вошла в осиротевший дом, как присела на повети. Надо было уже идти на ферму, а сил у нее не хватало, чтобы встать с порога да переодеть одежду. Призрачные, слышались на улице голоса ребятишек: им что, ничего не смыслят, сыты, и все ладно. Катерина очнулась от забытья, над ней стояла мать — Евстолья.

— И наплюнь,— спокойно заговорила старуха,— наплюнь и не реви, никуда он не девается. Нараз домой прикатит, скоро наездится!

В избе заплакал маленький, Катерина встала с порожка. Слабость в ногах и боль в левом боку словно бы приутихли, Катерина осушила лицо клетчатым головным платком и подошла к сыну. Она знала, что он теперь слышит ее уже по шагам. Она, чувствуя, как он успокаивается при ее приближении, тоже чуть успокоилась. Мальчик улыбался ей во весь розовый ротик. Два молочных зуба уже белели в десенках. Он весело колотил по одеяльцу узловатыми кулачками. Катерина взяла его на руки и, ощущая пеленочное, одинаковое у всех ребятишек тепло, тихонько заприговаривала: «А вот мы с Ванюшком и пробудилися, вот мы с миленьким проголодалися, а где-то сейчас папка-то наш? Оставил нас наш папка, на машине уехал, куда уехал, и сам не знает...»

2. ПОСЛЕДНИЙ ПРОКОС

Матушка родимая,
Свеча неугасимая.
Горела да растаяла,
Любила да оставила.

(Из частушек)

Делать нечего, надо было жить.

Иван Африканович с Митькой уехали утром в субботу, а вечером того же дня бригадиры объявили, что завтра, в воскресенье, разрешено покосить для своих коров. Один день, заместо выходного... Как только эта радость облетела подворья, бабы еще с вечера бросились топить печи, а ночью с фонарями кинулись на лесные покосы.

Катерина убежала в лес еще с вечера. Она выкосила за ночь с фонарем пригожую пустовинку. Утром обрядила на скорую руку телят с коровами и опять в лес, уже втроем: бабка разбудила Гришку и Катюшку. Анатошку оставили дома, чтобы сходил в обед на двор, помог обрядить бабке колхозную скотину.

Только что поднималось солнышко. В поле слезяная роса и глубокое небо сулили ведренный день. А в лесу еще пахло вчерашним зноем. Катерина босиком бежала с косами по лесной дорожке и все оглядывалась, Катюшка с Гришкой еле за ней успевали. Катюшка несла корзину с едой, Гришка волок чайник с водой.

— Гриша, Гриша, ты водицу-то не пролей.— Катерина сорвала ему земляничный кустик.— А ты, Катя, гляди за ним.

Катюшка по-взрослому затолкала выехавшую из Гришкиных штанов рубаху, сказала:

— Ой, ты.

Гришка сопел, недовольный, видно было, что ему давно надоела эта бабья опека. Так и хотелось стукнуть по этой Катьке, да надо бежать, торопиться. Ему все казалось, что вон за этой горушкой и будет покос, а за горушкой опять был лес и никакого просвета.

Дорожка то и дело виляла промеж сосен, то опускалась в болотце, то взбегала на брусничные холмики. Гришкины кожаные сапоги иногда скользили на иголках. Слышались голоски лесных синичек, а лес еще не шумел, потому что было очень рано и ветер еще только-только нарождался вдали.

Устал Гришка, но терпел. Ему и реветь хотелось, и не реветь хотелось, и было отчего-то обидно и горько. Втайне от самого себя Гришка хотел, чтобы его сейчас пожалели, но, если б его пожалели, Гришка бы разревелся от злости, и вот он не знал, кто и что виноват во всем этом.

Дорожка вдруг вынырнула из леса на полянку. Катерина взяла у Гришки чайник с водой, подвесила на еловый сучок.

— Вот ты, Гришенька, огонь разводи да посиди, а то пойди ягодок пощипли.

От материнских слов Гришкины слезы рассосались где-то в носу.

Катерина наставила косу себе и Катюшке:

— Не торопись, маши-то не широко и ногами переступай по капельке.

Катюшка слушала, сдвинув бровки.

— Носок-то у косы поднимай, а жми на пятку, вот и пойдет дело.

Катюшка взяла косу. Коса была ей велика. Выбрала поровнее лужайку, тюкнула раз, другой... Мать уже не смотрела на дочку, и Катюшка, слушая, как хрустит срезанная трава и как вжикала мамина коса, тюкнула еще, потом еще.

Гришка, с закушенным в зубах языком, стоял рядом и смотрел, как учится Катюшка косить.

— Не гляди!— сказала Катюшка, но Гришка не уходил и, наслаждаясь Катюшкиным неумением косить, закричал:

— Вот и не умеещь, вот и не умеешь!

— А вот и умею, вот и умею!

Катюшка собрала все силенки, взмахнула косой. Неожиданно для нее самой получилось очень хорошо, трава с белыми ромашками, с розовым клевером легла ровным полукругом. А Катюшка, обрадованная, повторила движение, и опять легла таким же полукругом новая трава, а ту, что была свалена предыдущим взмахом, сгрудило косой в один бок. И вот Катюшка, чтобы не забыть рисунок движения, заторопилась и взмахнула в третий раз. Носок косы воткнулся глубоко в землю. Еле-еле вытащила косу, растерянно обернулась к матери. Гришка не видел этого позора, он давно убежал в смородник. Катерина тут же, одним затылком, почувствовала взгляд дочери, остановилась:

— Ты разве не запомнила, чего я тебе говорила-то? Жми, доченька, на пятку, носок-то должен поверху ходить. Да не торопись, да захватывай-то понемножку.

...И Катюшка прошла свой первый в жизни прокос. Оглянулась радостная, усталая и, не веря глазам, пошла обратно, разбила косьевищем нетолстый валок. Стерня была неровная, кое-где торчали бороды непрокошенной травы, но Катюшкино сердечко прыгало, как воробей. Она сильно устала, но тут же начала новый прокос. Катерина, остановившись, чтобы наставить косу, улыбаясь, радостно и беззвучно плача, долго глядела на дочку...

Они косили до полдня, потом пили заваренный смородиновым листом кипяток. Катерине почему-то не хотелось есть, ее слегка тошнило. Она пожевала показавшийся безвкусным кусочек пирога, голова опять закружилась, как тогда. Отмахнулась, тяжело встала на ноги, видно, сказывалась бессонная ночь. «Вот еще бы эту полянку, как раз бы тут на стожок было. Надо ведь. Вот солнышко еще высоко, все люди косят, напаило крещеным, разрешили покосить для своих коров. Вот Ивана-то нет, с ним-то полдела бы...» Так думала Катерина.

Жара не могла погасить озноба, что затаился где-то на спине. Катерина повесила на кустик клетчатый свой платок и начала от этого кустика новый прокос. Катюшка тюкала неподалеку. Гришка залез на лесную черемуху и раскачивался на ней. «Не упал бы хоть»,— мельком подумала Катерина, махая косой. Коса ритмично мелькала в глазах. Сочно хрустела лесная трава, Катерина будто не чувствовала ни усталости, ни тошноты, косила и косила. До лесных кустов, до конца прокоса оставалось взмахов десяток, а она нечаянно, непроизвольно остановилась и выронила косу. Ослабевшие колени сами согнулись, и Катерина, недоумевая и ругая себя, что остановилась, присела, пошарила рукой по траве. И бессильная опустилась на пахучий травяной валок. «Гриша, Катюшенька!» — хотела крикнуть она, но губы только чуть пошевелились. Розовые круги пошли перед глазами, тошнотворная слабость охватила всю Катерину. Схватилась за левый бок, судорожно, царапая лицо о колючую стерню, дважды перевернулась на скошенной луговине...

Гришка сверху первый заметил, что мать перевернулась на траве и затихла. Он чуть не упал с черемухи, заплакал, ободрал до крови живот, слез на землю. Подбежала Катюшка, и они с Гришкой заревели в голос, заревели на весь лес.

Мишка с Дашкой Путанкой косили неподалеку. Они услышали этот двойной плач ребятишек и прибежали на полянку. Катерина лежала на земле ничком и, только слабо шевеля головой, шептала: «Ой, матушки, ой, не могу, ой, матушки...»

Мишка бросился в деревню, отнял у кого-то подводу, приехал в лес. Катерину еле живую привезли домой, уклали на кровать, а наутро пришла из больницы врачиха и сказала, что у Катерины опять был удар и что в больницу везти в таком состоянии нельзя, растрясут и живую до больницы не довезут.

3. ТРИ ЧАСА СРОКУ

Долгий был сенокос.

На бабьих плечах сгорела не одна кожа, пока потемнели последние июльские ночи. Но еще и после этого с неделю вспыхивали жаркие, словно пороховые дни и красноватые, с медным отливом, облака подолгу громоздились в дымчатой мгле. Иногда громыхали тяжкие, никого не облегчающие грозы. Найдет, навалится густого замесу надменная туча, ошпарит землю дымящимся ливнем, вымечет свои красные клинья, и снова гудут всесветные оводы.

Жара, духотища.

Дома и строения потрескивали своими насквозь просохшими скелетами, коробилась дранка на крышах. В белой пыли большой дороги захлебывались, пышкали машинные скаты: отпускники валили гужом. С богатыми чемоданами, с похожими друг на друж-

ку, по-сиротски отрешенными ребятишками. Приедут, отоспятся, пропьют отложенные от дорожных денег пятерки и бродят с прямыми, как дверные косяки, спинами.

К трезвому не подступишься, с пьяного мигом осыплется вся городская укрепа...

Те, что поспокойнее, часами высиживают на омутах, с фальшивым азартом дергают сонливых малявок. Считают, сколько осталось дней отпуска. Все больше с Севера: из Мурманска, из Воркуты, вроде Митьки.

Колесная жизнь давно вошла в моду.

Об этой непонятной, невесть откуда объявившейся жизни и думал Иван Африканович, возвращаясь домой со станции. Потому что по дороге от Сосновки действительно шел Иван Африканович. Не долго он наездил по белому свету, права оказалась теща Евстолья...

У родничка, где еще зимой сидели они с Катериной, Иван Африканович решил переобуться. Пока шел от сельсовета, успел-таки натоптать две водянистые мозоли, ноги в яловых сапогах взмокли, рубаха хоть выжми. Да и грязная вся, рубаха-то. Стыд, ежели кто знакомый встретится. И правда, стыд: Иван Африканович почувствовал, как у него краснеют и наливаются жаром и без того жаркие от солнышка уши. Впору головой в омут, такие случились дела за последнюю неделю...

Иван Африканович поглядел вокруг, на эту родную землю, и у него заныло сердце. Самолучшее сосновское поле, засеянное кукурузой, было сплошь затянуто желтым молочником. Чахоточные, на три-четыре вершка кукурузные стебли надо было долго искать глазами, пока не наткнешься на один-другой бескровный кустик. «Вот тебе и королева,— горько подумалось Ивану Африкановичу.— Привезли ее не спросясь колхозников и увезут не спросясь, дело привычное».

Дорогу без него всю искорежили какой-то дорожной машиной, то ли грейдером, то ли грязнухой, как называют бабы канавокопатель. Строят, скоблят каждое лето, правда и не без пользы, вон уже до Сосновки на «козле» ездят.

Иван Африканович решил, как всегда, отдохнуть у родничка, попить воды. И не нашел родничка. Там, где был пригорочек с чистым песчаным колодчиком, громоздилась черная искореженная земля, вывороченные корни, каменья. Даже сесть было некуда. Уселся на свой пустой мешок,— не пустой, в мешке был еще такой же мешок — оба из-под лука. «Бурлак,— опять с горечью и стыдом подумал Иван Африканович,— ни пуговицы, ни кренделька, одну грязную рубаху несу из заработка. Стыд, срам, дело привычное...»

Хотелось пить, а родничка не было.

Иван Африканович поглядел, поискал. Метрах в трех от заваленного колодчика, где теперь громоздилась земля и камни, он разглядел мокрые комья. Шагнул еще, поднагнулся: далеко

от прежнего места под глыбами глины светилась на солнце прозрачная холодная вода. Жив, значит, родничок, не умер. Попробуй-ка завали его. Хоть гору земли нагреби, все равно, видно, наверх пробьется...

Вот так и душа: чем ни заманивай, куда ни завлекай, а она один бес домой просачивается. В родные места, к ольховому полю. Дело привычное.

Иван Африканович только хотел попить, как на дороге к сельсовету появился прохожий с чемоданом. Это был один из отпускников, чуть знакомый Ивану Африкановичу парень из дальней заозерной деревни. Хотя парень плохо знал Дрынова, они поздоровались. Иван Африканович закурил у парня (свое курево кончилось еще позавчера), весело спросил:

— Что, друг мой, опять к нам приезжал? Значит, влекет родимая-то сторонушка, ежели в году не по одному разу ездишь.

— Влекет, брат,— горестно согласился парень.

— Влекет. Да ты притулись, покури. Что, все учишься? На кого эдак долго тебя и учат? Шесть годов, кроме десятилетки. Всю молодость проучишься, а жить-то когда? Небось, наверно, уже четвертый десяток разменял?

— Разменял.

— И в холостяках все аль обзавелся?

Парень с сожалением и улыбкой развел руками: мол, что поделаешь, женился. А Иван Африканович удовлетворенно закивал:

— Успел, значит. Ну, это ладно. Только врозь не живи с бабой, пустое это дело, врозь молодым людям. Я вот постарше тебя, да и то, когда на лесозаготовках был в сорок пятом году, так вот настрадался без женки. А нынче я, друг мой, тоже тряхнул костями, съездил в одно место.

— В какое место?

— И не говори, друг мой, такая была фильма. Нонче меня Митька и смутил. Знаешь, наверно, Митьку-то? Должен знать, вы с ним одного сроку.

Однако Митьку собеседник не знал. Ивану Африкановичу хотелось поговорить, излить душу, он рассказывал парню про свою поездку:

— Вот, значит, Митька приехал да и говорит: поедем, дескать, плотничать, хватит из кулька в рогожку перекладывать. Деньжонок, говорит, подзаработаешь, а то и насовсем в город из колхоза переберешься. Ну, я, друг мой, и вбил это мечтанье в свою голову. Думаю, ребятишек полный комплект, и все в школу ходят, кормить-поить надо, а дома какой заработок? Спать по ночам перестал, все думаю: ехать или не ехать? Бабе не говорю, а сам планты строю. А Митька отпетый парень, и голова работает, как хороший сельсовет,— все ему нипочем. Поджимает меня. Ежели, говорит, так, дак так, а не так, дак и робенка об пол.

Уговаривать, говорит, не буду, уеду и один. Ну, я один раз плюнул и говорю: давай по рукам, будь что будет.

— На Север, что ли?

— В Мурманск.

— От меня сто двадцать километров этот Мурманск.— Парень слушал с интересом.

— Ну вот, плюнул, да и говорю — будь что будет. Баба моя в слезы, рев подняла. Теперь, значит, ехать на что. Митька говорит: «У меня на дорогу есть, я тебе, говорит, на билет дам, а ты воротишь после!» Ладно. Взял я в сельсовете справку, струмент наточил. А Митька говорит: «На кой шут тебе струмент, струменту казенного хватит, а возьми ты, говорит, луку. В Мурманске лук дорог, весь путь окупится». А луку еще прошлогоднего у меня было с двух грядок, полати от него прогибались. Нагребли мы два мешка. Да. А бабу мою Митька успокоил, насулил всего, она и смякла, баба-то, поревела, да и смякла, а мы и качнулись бурлачить. Машины на станцию часто ходят, корье возят. Митька в кабине сидит, я на самом верху мотаюсь, того и гляди в канаву спикирую. А шофер такая шельма попался, газует напропалую, ни страху, ни совести. Уступи, кричу, на дырочку, вся машина ходуном ходит. Нет, прохиндей, жмет и жмет. Ну, все ж таки проехали эдаким манером половину. Остановились у чайной, гляжу, Митька в магазин с ходу, воротился с бутылкой. «Слезай, говорит, вся слобода теперь наша, на простор выехали». Я и говорю: «Не дело, робята, в дороге выпивать, не доехать нам живыми», а шофер уж стакан достал из ящичка, что бардачком-то прозывается. И вот, друг мой, чего я тут натерпелся — про то век не забуду. Сижу на корье, за веревку держусь, а у самого сердце в пятку ушло, чует моя душа, что неладно дело кончится. Так оно и вышло, как по-писаному. Выскочили мы на угор из поскотины, как на ракете, а впереди старушонка бредет с котомкой, глухая вся, не чует, как шофер дудит. Ну, думаю, капут сейчас этой старухе, машина прямо на ее. Только так подумал, как мотанет меня, ничего больше не помню, очухался на земле, гляжу, машина вверх колесами, никого нету. Одна старушонка сзади топает.

— Перевернулись?

— С ходу! Я, значит, встал на ноги, гляжу — вылезают. Один, другой. У Митьки вся харя красная, крови как из барана, а шофер ничего, вылез, обошел вокруг машины. Ширинку расстегивает по малой нужде. Обмыли мы Митьку, вроде ничего, только зуб шатается да губа нижняя пополам лопнула. Шофер говорит: «Уходите, робята, а начальство будет спрашивать, не говорите, что со мной ехали». Сгребли мы свои манатки, мешки с луком, чемоданишко да пешедралом до станции. Митька, тот хоть бы что, идет да губу облизывает, а я затужил. Пошто, думаю, с тобой связался, с мазуриком, доведешь ты меня до казенного дома с даровыми харчами. Ну, а сам все ж таки иду, была, думаю, не была, а повидалася, все одно нехорошо. Пришли на

станцию. Темнотища, как в овине,— у вокзала два фонаря горят, еле живые, да у магазина один. Зашли на вокзал, сижу я на мешках с луком, до того мне стало на сердце неловко, что прямо беда. Куда, думаю, на склоне годов ударился, где, какого лешева забыл? А Митька чемоданишко поставил. «Сиди, говорит, я сейчас». Побежал. Воротился, гляжу, опять карман оттопырен. «Вот, говорит, антигрустину принес, распечатывай, Африканович». Отвинтил казенную кружку от бачка, пирог вынул, наливает мне первому. Я было заотказывался, а потом думаю — один хрен, так с маху полкружки и дерябнул. Митька ржет, сукин кот. «Поглядел бы я, говорит, как ты, Африканович, с возу касманавтом летел». Я говорю: «Тебе, парень, больше досталось: вишь, губа-то как морковина стала».

Иван Африканович взял еще папироску, прижег, затянулся.

— Допили, значит, и эту, дело привычное. Пошел он про поезд узнавать. Захорошило у меня, вроде все и ладно, и небо теперь с овчинку, готов ехать везде, в самую что ни на есть Алма-Ату. Взял Митька билеты. А ты, друг мой, сам понимаешь, что первая колом, вторая соколом, а потом уж летят мелкими пташками. Я говорю, что надо бы еще. «Да вот, Африканович,— это Митька мне на ответ,— вот, Африканович, у нас, говорит, финансы кончились, давай мешок с луком, обменю ежели».— «Бери, говорю, шут с ним и с луком, все легче с одним мешком по вагонам валандаться». Взял он мешок и убежал, а поезд вот-вот, гляжу — люди, какие были, зашевелились. А Митьки нет и нет, как в воду канул. Гляжу, бежит. «Давай,— кричит,— остатний мешок, а ты бери чемодан да полезай». Только успел я закарабкаться, поезд взял да и пошел, проводница подножкой хлоп, а Митька орет мать-перемать, бежит за вагоном без всякого результату. Ну, думаю, крышка. Отстал Митька от поезда. И билеты у него, и вино, и лук, у меня в кармане пусто, как весной на гумне. Весь хмель будто рукой сняло. Как делу быть? Сижу на Митькином чемодане, а потом, значит, к проводнице: так и так, товарищ с билетами остался, а я, мол, еду. Спасибо, девка хорошая попалась. «Ты, говорит, дяденька, спи пока, а утром я тебя, как только остановка будет, высажу». Залез я на самый верх, к трубе притулился, да и уснул. Пробудился я утром, слез. Гляжу, проводница-то новая. Ходит, а на меня ноль внимания. Я и так, я и эдак. Хожу за ей, головой о железяки стукаюсь. Только заикнусь, значит, насчет моей высадки, а она уже в другом конце; вроде мне и совестно ей надоедать, а сам думаю: должны они меня высадить, раз посулили, до́лжны — и вся недолга. Не высаживают.

— Тебе надо было до Обозерской ехать.— Парень еле сдерживал улыбку.

— Да. Вдруг, значит, идет контроль. А поезд жмет, только столбы мелькают. «Ваш билет?» Я говорю: так и так, Митька, то есть и лук и билеты у Митьки. «Какой Митька? Билет ваш покажите!» Я говорю, нету билета, лук и билет при Митьке, а Митька...

«Какой лук? Где садились?» Сгребли меня, ясна сокола, да вдоль всего поезда как на позор, только я успел фуфайку с Митькиным чемоданом прихватить. На остановке сдали меня в милицию, ну, думаю, каюк, сроду в тюрьме не бывал, а под старость лет достукался. Да. «Ваши документы!» Вынул я справку. «Куда едете?» Так и так, в Мурманск ехал. «Почему без билета?» Объяснил я все дело: и как билет покупали, и как Митька остался. «Вот, говорят, сроку тебе три часа, чтобы ехал домой, а штраф, дескать, через колхоз вытребуем». Я говорю, ехать-то мне не на что. А это, говорят, наше дело пятое, три часа тебе сроку. Да. Вышел я из милиции, сперва-то обрадовался, хоть отпустили, думаю, хорошие робята попались. А время уже к вечеру клонит, и в зобу у меня маковой росинки не было со вчерашнего. Митькин чемодан раскрыть посовестился, попил водицы на вокзале. Сижу, Митьку ругаю да на часы гляжу, а милиционер ходит, на меня поглядывает. Пуговицы светлые, штаны новые, как делу быть? Поезд обратный прошел, а кто мне билет даст? Пословица говорит: без денег везде худенек,— а у меня три часа сроку.

— Какая была остановка-то? — спросил парень, улыбаясь.— Наверно, Обозерская и была.

— А и не знаю, друг мой, ничего я в тот момент не видел, до того перепугался. Да. А рядом со мной дамочка сидит, не то чтобы больно молодая, экая востроносенькая; что это, говорит, вы, дяденька, невеселый такой, аль заболели? Да нет, говорю, не заболел, а попал, говорю, в непромокаемую. Так и так, рассказал ей все, а она говорит: один тебе выход, иди в город к самому главному начальству, должны они тебе помощь оказать. Адрес на бумажке написала. Я бумажку эту спрятал, спасибо, говорю, а сам думаю: куда я пойду, некуда идти; пока до бога доберешься, апостолы голову оторвут. Дело привычное. Вышел из вокзала, гляжу — поезд подошел. Мать честная, Митька! Кинулся я к нему, обрадел как ребенок маленький, а он хохочет, бери, говорит, лук да пойдем на квартиру, у меня тут знакомые. А я говорю: не надо мне ничего, отпусти ты меня только домой. Продали мы лук, купили обратный билет, посадил Митька меня на поезд, обматюкал да сунул на дорогу буфетных пирожонков. И не помню я, как на свою станцию примахал, гляжу на два фонаря, гляжу на них, и до того мне от ихнего свету тепло стало, что лучше не говори, друг мой! С лесозаготовки так не бегал, за одну ночь вот домой припер, как сто пудов с плеч скинул! Вот, друг мой, какие дела. Обсыпь теперь золотом — никуда больше не поеду.

Парень ухмыльнулся и закурил снова.

— Вот, брат, как на чужой-то стороне нашего брата принимают.— Иван Африканович высморкался.— Не больно-то рады.

— Да-а.

— А ты-то долго ли жил дома?

— Недели две.

— При мне еще приехал. А я три дня и ездил-то всего, а

показалось, что года два дома не бывал. Чего тут у нас нового-то есть?

— Да ничего вроде.— Парень взял чемодан, чтобы идти дальше.— Только вон, говорят, баба чья-то умерла в вашей деревне. Ребятишек много осталось...

Парень перекинул чемодан и пошел. Вскоре он исчез за кустами. Иван Африканович тоже встал, прошел метров двести, остановился. И вдруг затрясся, замотал головой, побежал, остановился опять. Потом ноги у него подкосились, он хряснулся на дорогу, зажал руками голову, перекатился в придорожную траву. Кулаком бухал в луговину, грыз землю... И пустой мешок долго белел на пыльной дороге.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

РОГУЛИНА ЖИЗНЬ

Она спала с открытыми глазами. Вдыхала травяные запахи леса, по ее мягкому длинному горлу прокатывался утробный катыш, и опять лениво двигались ее широкие косицы: хруп-хруп.

По-родному, уютно, пахло дымом близкого пожога. Шевеля во сне большими добрыми ушами, Рогуля чуяла звуки дальней деревни и спала спокойно, и ей снились отрывочные легкие сны. Она не знала, когда это было, время не двигалось для нее.

Может быть, это было, а может, все это уже есть или будет — ей все равно. Потому что она не знала, что такое время.

Наверно, это была весна.

Кукушка куковала в ближнем березняке. Еще не народились оводы, а комаров относило свежим дыханием ветра, листва на березах только что вылезала из почек. Лес еще не обсох, и кое-где в чапыжниках с трудом исходили на нет грязные островки устаревшего снега. Но здесь, на широкой прогалине, на только что обросшей травою горушке, было тепло, отрадно и сонно.

Рогуля чуяла, как нагревалась земля под обширным, заполнившим луговые неровности брюхом. Прилетевшая из деревни неопрятная галка смятенно и суматошно скакала на коровьем хребте. То и дело оглядываясь и суетясь, она тыкала в шерсть бесцветным клювом, дергала хвостом и вертела головенкой.

Струилось вверху бесформенное, без очертаний солнце. Везде угадывался нетерпеливый рост первозданной листвы. Возились в ивах дрозды-свистуны, пищали синички, и недальняя сосна наращивала к полудню свой шум.

Рогулины товарки лениво бродили в ольховых кустах, звенели колокольцами. Иная, с травиной в мягких губах, вдруг надолго задумывалась. Забыв даже поудобнее переставить ногу, глядела куда-то сама в себя. Другие трудолюбиво и нежадно поглощали молодую траву.

Рогуле не хотелось вставать и идти с коровами. Сквозь дрему накатывались к ней видения прошедших весен, лет, осеней и зим, но она тут же забывала эти видения.

Рогулина трава вырастала на земле в четвертый раз. Каждый раз Рогуля как будто бы удивлялась этой траве, косматому солнцу, теплу, и удивление до половины лета хранилось в сизой глубине недоуменных коровьих глаз.

Рогуля видела траву, белый березняк за травой, и ей снились отрывочные сны. То коричневое ноябрьское небо с полосами сухого, косо несущегося снега, то темнота хлева с заиндевелыми бревнами и скользкими воротами, то деревенская знойная улица с прилетевшими из леса оводами, то родная поскотина в пору последнего, тихо умирающего сентябрьского тепла.

Но она не знала, что спит и что все это, кроме теперешней травы, солнышка и березняка, только сон. Ей казалось, что все, что ей снится, вовсе не сон, и прошлое было для нее настоящим, потому что она никогда не ощущала времени.

Над ней вздыхала ветром голубая ласковая весна, и в снах к ней возвращалось только то, что повторялось не однажды и что запоминалось, а то, что было однажды, ей почти никогда не снилось. Она не помнила краткую, словно августовская зарница, пору начала, когда в глухую предвесеннюю ночь, в темном хлеву, ее облизала мать и руки человека очистили ноздри новорожденной, вызывая первое дыхание. Те же руки бережно обтерли соломой ее плоское тельце и подхватили, легкую, долгоногую, чтобы унести в избу.

Человеческое жилье просто и нехитро отдало ей все, что у него было хорошего. За печью, на длинной соломе, было очень тепло, сухо. Скамейка загораживала проход между печью и стеной. Утром, только проснувшись, Рогулю обступали ребятишки, и старая женщина, ее хозяйка, светила им лампой. Они восторженно гладили Рогулю по скользкой сухой спине и повизгивали от радости, а она долго не могла встать на разъезжавшиеся копытца и тыкалась мокрыми губами в ладони.

Почему-то ей тотчас же навязали на шею красную тесемку.

Потом хозяйка принесла широкое блюдо с молозивом, просунула палец в беспомощные губы телочки и вместе с ними опустила кисть руки в молоко. Так Рогулю научили есть, и она впервые, суетливо теряя пищу, утолила голод, который начался еще в материнской утробе.

— Мам! Бабуска! — закричал один из ребят.— Гляди, она ус ластет, ластет!

Но Рогуля еще не росла. Просто это наполнялись молозивом брюшные провалы у крестцов, и от этого ее плоское тело слегка округлялось прямо на глазах ребятишек. Их было много, этих маленьких человечков, они каждое утро просыпались еще затемно и неодетые бежали к Рогуле, и каждый из них первый хотел погладить ее по шерстке. А она, тоже радостная, заражалась их детским

восторгом, взбрыкивала, то совала мокрые губы прямо в голые пупки и ладошки.

За печкой ее держали до самой весны. Скамейка уже не могла удержать Рогулю, хозяин сделал барьерчик из трех еловых поперечин. Пока он примеривал поперечины, Рогуля стучала копытцами по избе, бочилась и прыгала, не слушая дружного визга. Она уже не была такой беспомощной, когда падала от своих же движений; теперь у нее подсохла и отвалилась от живота ниточка пуповины, копытца и круглые коленца окрепли, уши научились шевелиться. Ей очень хотелось бегать, она бросилась вперед, потом вбок, наскочила на шкаф и упала, и от этого заплакал один, почти самый маленький из ребят. Ему показалось, что она ушиблась и сейчас умрет, ему было еще горше оттого, что никто не понимал этого и все смеялись. Тогда почти самого маленького взяли на руки и поднесли к Рогуле, говоря, чтобы он подул на ее ушибленное место. Он долго, старательно дул, и телочка ожила и вскочила, и почти самый маленький счастливо смеялся на материнских руках.

Рогуля была черненькая, с белыми заливами на боках, белыми получились и передние бабки, и еще на лбу, где завивалась воронкою шерсть, белая же светилась звезда. К этой самой звездке уже к весне тянулся ручонкой самый маленький, а тот, что был почти самый маленький, уже не ревел от обиды за Рогулю и часто носил ей хлебного мякиша.

И вот сейчас Рогуле снилась такая же весна, какая была тогда, с сизой росой на траве, с запахом дымов и отрешенными криками бесшабашных петухов. Ее выпустили на улицу утром, и она растерялась от непонятного восторга, задние ноги сами взметнулись и быстро распрямились во взлете, она подпрыгнула и, изогнувшись в воздухе, упала на копытца. Так она прыгала на дымной от росы траве, мелькая своей красной тесемкой, а старуха хозяйка стояла на крыльце с пойлом и приговаривала:

— Ну Рогуля и разбойница, ну и охальница.

Корова — Рогулина мать — тихо и ревниво мычала, шла за нею, воскрешая в памяти материнскую тревогу за свое почти забытое родимое существо. Но Рогуля забыла свою мать, вернее, она никогда и не знала матери. Мелькая красной тесемкой, она ускакала от нее. Копытца побелели, промытые росой, мякоть земли ласкала их, а каждую шерстинку в избытке поило светлым теплом громадное в своей щедрости и оттого никем не замечаемое солнце.

В ту же весну она вышла со стадом в поскотину. Легкая приятная боль в темени, боль от начинающих прорезаться рогов, томила ее в тот день. Стадо разбредалось по кустам, в лесу сухая дробь барабанки сливалась с собственным эхом и замирала, погашенная ветром.

И дни для Рогули словно стояли на одном месте. По утрам ее первую выпускали со двора, она нежилась, ленилась, пока

хозяйка не выносила ей пойла из простокваши и раздавленного картофеля. И вновь она шла со стадом в поскотину, шла, не слушая пастуха, который самоуверенно думал, что это по его приказу стадо идет в поскотину. На самом же деле стадо шло в поскотину потому, что ему было все равно куда идти, и получалось так, что оно шло туда по приказу пастуха. Коровы, равнодушные к шлепкам погонялки, тут же забывали об этих ударах и, добродушные, безразличные к боли, шли дальше.

Однажды под осень, когда Рогуля уже не прыгала напрасно и не дурачила пастуха, к ней почему-то весь день ласкалась рыжая, с неприятно звучащим колокольцем корова. Она то лизала Рогулю, то терлась головой, и Рогуле было неприятно от этого назойливого внимания. Рыжая до полдня с непонятной нежностью преследовала Рогулю и вдруг, когда Рогуля щипала траву, ни с того ни с сего прыгнула на нее сзади. Рогуля от обиды бросилась прочь, и пастух видел все это. Он сбегал в деревню, пришли люди и рыжую на веревке увели из поскотины.

После этого что-то изменилось в Рогуле, она словно ждала чего-то и иногда без причины глядела на кусты своими сизыми глазищами.

Прошла осень и зима, выросла другая трава, в поскотине вновь обсохли брусничные горушки. Перед самым выгоном на подножный корм Рогулю три дня сжигала какая-то новая тревога, хотелось мычать, но хозяйка ничего не заметила, и все прошло через три дня. По утрам Рогуля спокойно выпивала ведро теплой воды, заправленной брюквенной ботвой, зарывала морду в последнее, пыльное от старости сено.

Но вскоре, уже на лугу, Рогулю вновь охватило неясное беспокойство. Она весь день не ела траву, не лежала на горушке и даже не замечала злой ругани пастуха, который до ручки изломал об нее толстую ольховую палку. Рогуля металась в кустах и помыркивала от какой-то страшной, никогда еще не испытанной ею жажды, наполнившей все ее существо от задних копыт и до кончиков великолепных, словно бы отшлифованных ветром рогов.

Она упиралась и раздвигала копыта, когда пришедшая в лес хозяйка намотала на ее рога веревку и повела из поскотины. Рогулю привели в большое колхозное стадо. Чужие тощие коровы, недовольные ею и все-таки равнодушные, бродили кругом, но она не замечала этого недовольства. Люди отпустили ее и ушли, и вдруг Рогуля услышала призывный утробный рев. Этот рев проникал в нее всю, властно завладевал ее движениями, она пошла на него, отрешенная от всего окружающего. Большое, во многом не похожее ни на кого из коров, но все же понятное Рогуле существо тоже шло к ней, они сблизились, и бык, напрягая мускулы, осторожно коснулся кольцом Рогулиной шеи. Потом он ласково положил ей на спину толсторогую голову. Рогуля же зачем-то увернулась и в ту же минуту ощутила радостную облегчающую тяжесть. Солнце на голубом небе стремительно выросло, ослепило и заполнило весь

зеленый широкий мир, тот мир, в котором, будто снежинка в глазу, тотчас же растаяла вся Рогуля.

Так и кончилась ранняя безбедная пора. К обновленной Рогуле сразу же после того дня пришло ровное спокойствие. В то лето она еще не раз слышала жалобный сиротливый рев, доносившийся из чужого стада. Но этот рев уже не трогал ее, она была равнодушна. Теперь она стала осторожна в движениях. Сонная глубина ее глаз таила в себе отрешенность никому не заметного достоинства, и Рогуля вся жила в своем, образовавшемся в ней самой мире. Даже обжигающий удар пастушьего бича не мог ни разу вывести ее из состояния отрешенности. К этому времени пришла изнуряющая летняя жара. Смешанная с гулом оводов, слепней, мух, комаров, жара эта давила на весь белый свет, на всю бесконечно терпеливую землю. Пожухли и очерствели изросшие к исходу лета молчаливые травы. Пересохли и умерли когда-то ясные лесные ручьи, даже пастушье эхо еле звучало в лесах. Рогуля была по-прежнему равнодушна. Иногда, повернув голову на шорох в кустах, она забывала выпрямить шею, так и стояла с повернутой головой. Только однажды в полдень, когда оводы и слепни облепили ее всю и предельная боль стала невыносимой, Рогуля взбесилась, обезумела и со стоном кинулась из лесу в деревню, к людям. За ней, закинув хвосты на спину, бросилось все стадо. Лишь в прохладной темноте двора Рогуля пришла в себя.

После этого пастух пас коров по ночам. Серая невидимая мошка забиралась глубоко в шерсть и пила кровь. Кожа у Рогули зудела и ныла. Однако ничто не могло разбудить Рогулю. Она была равнодушна к своим страданиям и жила своей жизнью, внутренней, сонной и сосредоточенной на чем-то даже ей самой неизвестном. Тихие дожди августа отрадной завесой заслонили пастбища и поля от многомиллионной летучей твари: остались только одни комары и лесные клещи — кукушкины вошки. Сама кукушка замолкла еще в середине лета, видно подавилась ячменным колосом...

В ту пору Рогулю часто встречали у дома дети. Они кормили ее пучками зеленой, нарванной в поле травы и выдирали из Рогулиной кожи разбухших клещей. Хозяйка выносила Рогуле ведро пойла, щупала у Рогули начинающиеся соски, и Рогуля снисходительно жевала у крылечка траву. Для нее не было большой разницы между страданием и лаской, и то и другое она воспринимала только лишь внешне, и ничто не могло нарушить ее равнодушия к окружающему.

Это длилось до самой вьюжной зимы. Темный сырой хлев заиндевел изнутри, Рогуля согревала свое жилье собственным теплом. За бревенчатой стеной шуршали снежные ветры, они еще больше оттеняли глубокую зимнюю тишину. Однажды ночью Рогуля учуяла за хлевом волка. Но он ушел до того, как она разбудила в себе тревогу, и опять темная тишина охватила и хлев, и Рогулю, и всю безбрежную зиму. Вскоре у нее сперва означилось, потом набухло вымя, и она еще сильнее ощутила приближение того

события, для которого она и жила. Правда, она не знала, что жила только для этого. Но, ощущая толчки в животе, Рогуля все чаще начала беспокоиться. Теперь она боялась хозяйки и не доверяла ее рукам. Рогулю тревожил даже запах снега, исходивший от этих рук, она долгим предупреждающим мычанием встречала человека.

В ту ночь, уже под утро, когда хозяйка спала, Рогуля после недолгой муки облизала теленка. Она будто раздвоилась, словно стало в ту ночь две Рогули: она сама и это теплое существо. Но его унесли от нее утром. Полная тревоги и тоски, она мычала, будто плакала всем своим опустевшим нутром. Но люди унесли его, вернее, половину ее самой, отчаяние и боль заполнили весь хлев и ее самое. Но это отчаяние вскоре высохло, как детская пуповина, перешло в еще большее равнодушие к себе.

...Ветер не спеша обласкал пригорок, захолонул в широких ноздрях коровы. Рогуля дремала, но в ее сон закралась давнишняя-давнишняя боль, боль потери. Рогуля остановила жвачку и, не вспомнив причину этой боли, дремала и плакала от этой давнишней неясной боли, и горошины слез одна за другой выкатывались из ее безучастных ко всему глаз.

Но она всю жизнь была равнодушна к себе, и ей плохо помнились те редкие случаи, когда нарушалась ее вневременная необъятная созерцательность. Ей плохо помнилась и та весна, больше, чем другие весны, сдобренная страхом. Она лежала тогда тут же, на этой горушке, в первые зеленые дни, и однажды ее мохнатое ухо вздрогнуло, изловив незнакомое движение в чапыжнике. Ветер в то утро тянул к чапыжнику, и Рогуля, ничего не почуяв, опять успокоилась. Там, в зарослях, зеленела хилая, выросшая на несчастливом месте береза. У этой березы лежала большая тощая медведица. Припав к еще не прогретой земле, медведица сонливо шевелила узко поставленными ноздрями, но была вся напряжена и готовилась к прыжку. Ее тощие бока нервно вздрагивали. Голодная еще после зимней спячки, она тоже была матерью и потому смела и сильна. Медведица лежала в чапыжнике и знала, что ей не удастся в одно усилие допрыгнуть до жертвы, для этого нужна осенняя крепкая сытость. Надо было подкрасться еще на добрую половину прыжка, в то же время она чувствовала, что корова сейчас встанет, и тогда будет еще труднее запрыгнуть ей на спину. И медведица, не дождавшись очередного ветряного вздоха, забыв осторожность, продвинулась вперед. Тотчас же, ощутив беду, часто забилось от страха Рогулино сердце, она вскочила и с жалобным ревом метнулась в сторону. В то же время медведица двумя тяжкими, но быстрыми прыжками настигла Рогулю и бросилась на нее, слепая и яростная от страха нападения. Потому что нападающий всегда ощущает страх, ощущает раньше своей жертвы.

Рогуля метнулась в сторону, и медведица, метившая разорвать сонную артерию, лишь скользнула лапой по шее коровы.

Рогуле надо было бежать, а она металась по лесной полянке, все другие коровы тоже бестолково метались и трубили. Медве-

дица в отчаянии бросилась на Рогулю еще раз, но тут прибежал пастух, закричал, заколотил в барабанку, и медведица, плача, ломая сучья, исчезла в чапыжнике.

После этого Рогулю три дня держали во дворе, дети носили ей самую лучшую траву, а хозяйка делала ей примочки. Три глубокие раны на шее быстро затянуло коростой.

Прошла еще одна осень и долгая зима, еще одна весна отшумела, но Рогуле было все равно, она жила в своем, созданном ею самой и никому не известном мире.

Опять быстро шло на закат короткое лето. Темные низкие тучи уже летели над пустыми гулкими поскотинами, потом они стали желто-серыми, сплошными и однажды обсыпали стадо белой снежной крупой.

Рогуля дремала, в большой ее голове чередовались дремы-сны.

Однажды утром ее не выпустили из двора, старуха хозяйка пришла доить корову в необычное, более позднее время.

Рогуля дремала.

Старуха села на скамеечку, струи молока звякнули об цинковую бадью. Бадья наполнилась на две трети молоком. Рогуля спокойно жевала жвачку, она дремала и думала что-то свое, чего никогда никому не узнать.

А старуха подоила Рогулю, прислонилась головой к большому коровьему брюху и с причетом, тонко, тихо завыла:

— Рогулюшка ты моя-а-а! Ой, да ты моя ведерница-а-а! Ой, да что это будет-то-о-о!

Хозяйка затихла как-то враз. Встала, суровая и деловитая, крикнула в сени:

— Гришка! Дьяволенок, беги зови Марусю-то. Да Ваське скажи с Катюшкой, пусть обуваются. И Мишка пусть идет, да Анатошку с Володей ведите. Гришка!

Гришка убежал, топая сапожонками. Старуха унесла молоко, а вскоре вернулась в стойло вместе с кучей ребятишек. Она за рукав подвела к Рогулиной морде старшего, Анатошку:

— Иди, Анатоша, ты первой. Да погладь, обними Рогулю-то! Потом ты, Катюшка, а после Ваське с Гришкой дайте!

Дети по очереди подходили к Рогуле и гладили ее большую звездчатую голову. В самую последнюю очередь к ней поднесли маленькую Марусю, девочка ладошкой испуганно коснулась Рогулиной звездочки и сморщила бровки, и все тихо постояли с минуту.

— Ну, бегите в избу теперече,— сказала бабка Евстолья. Зажимая рот концом платка, она вместе с ребятишками ушла со двора.

В это время появился чуть прихрамывающий Иван Африканович, открыл дворные ворота.

Во дворе стало светло от первого холодного снега, и сквозняк

начал сочиться в щели. Хозяин привязал Рогулю веревкой за рога к столбу. Подошел другой, знакомый Рогуле мужик, пахнущий трактором и табачным дымом, сел на стелюгу.

— Так ты что, Африканович,— заговорил он,— сам-то не попробуешь?

— Нет, брат Миша, уйду в избу. Давай уж ты, ежели...

Иван Африканович подал Мишке большой острый нож.

— Топор-то вон тут, ежели,— добавил он, махнул рукой и, сгорбившись, ушел.

Рогуля не знала, зачем привязали ее к столбу. Она в ноздри, не открывая рта, тихо мыркнула, доверчиво поглядела на улыбающегося Мишку. Сильный глухой удар в лоб, прямо в белую звездочку, оглушил ее. Она качнулась и упала на колени, в глазах завертелся белый от снега проем ворот. Второй, еще более сильный удар свалил ее на солому, и Рогуля выдавила из себя стон. Мишка взял из паза нож и не спеша полоснул по мягкому Рогулиному горлу. Она захрапела, задергалась и навсегда замерла на соломе.

Через полчаса Рогулю было уже не узнать. Ее черно-пестрая шкура висела на коромысле внутрь шерстью, Мишка и Иван Африканович раскладывали теплые потроха. Иван Африканович держал в ладонях и разглядывал еще горячий Рогулин плод.

— Двойнички были... заметно уж,— сказал Иван Африканович и выбросил плод в снег за ворота, а куровский кобель Серко, облизываясь, побежал к тому месту.

А на четырехногой деревянной стелюге, на которой пилят дрова, лежала и остывала большая Рогулина голова. Светилась на лбу белоснежная звездочка, и в круглых, все еще сизых глазах так и осталось недоумение. Глаза отражали холодное, рябое от первого снега, уходящее к поскотине поле, баню, косую изгородь и копошащегося в снегу куровского кобеля. Только все это было маленьким, крохотным и перевернутым с ног на голову...

— Чего с мясом-то будешь делать? — спросил Мишка.

— Свезу в райсоюз, сулили принять в столовую,— сказал Иван Африканович.

Было слышно, как в избе взахлеб, горько плакал кто-то из сыновей; глядя на него, заплакал еще один, потом третий...

— Поди ведь жениться придется, Африканович,— сказал Мишка.

Иван Африканович вяло и скорбно махнул узловатой рукой:

— Не знаю, брат Миша, что теперь и заводить... Хоть в петлю... Глаза ни на что не глядят...

Мишка промолчал. Он видел, как на кровяные пальцы, перебиравшие Рогулины потроха, одна за другой капали соседские слезы. И Мишка промолчал, ничего больше не сказал.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. ВЕТРЕНО, ТАК ВЕТРЕНО...

Первый снег, как и всегда почти бывает, растаял.

Степановна — Нюшкина мать — шла из Сосновки навестить Евстолью. Ступала по одорожной тропе да хлопала по бедру: охти мнешеньки, охти мнешеньки! Благодать-то... погодушка-то... Другая рука не свободна — в большущей корзине два пирога с гостинцами для Катерининых ребятишек, да шаль на случай дорожной стужи, да топор без топорища,— может, насадит Африканович.

Степановне стало жарко в еще девичьем с борами казачке. А все везде было тихо и отрадно, ровная отава в лугах как расчесанная, застыли, не шевельнутся на бровках сухие былиночки. Воздух остановился. Темные елки берегли зеленую свою глубину: глядишь, как в омут. У сосен зелень сизая, негустая, тоже не двинут ни одной иглой, а такие высокие. И сквозь них голубенькое, почти белое небо без облаков. Тишина. Если остановиться, то за сотню саженей слышно, как попискивает в ржаной стерне одинокая мышка. Там, дальше, еще ясней каждый ольховый куст. Составленные в бабки бурые льняные снопы словно братание устроили на широком отлогом поле. Обнялись, склонили кудрявые головы друг к дружке да так и остались...

На крутолобом взгорке, над речкой, Степановна остановилась, чтобы перевязать платок. Послушала, как свистит щекастая синица, поглядела на кустики. Ягоды давно облетевшего шиповника горели в ольшанике красными огоньками. Внизу за кустами почуялось какое-то бульканье.

— Там это кто в воде-то булькается?

Бульканье остановилось, никто не отозвался. Степановна терпеливо подождала. Наконец послышался нерешительный детский голос:

— Это я, Гришка...

— Дак ты чей парень-то, не Ивана Африкановича?

Гришка вылез наполовину из своего укрытия. По тому, как он молчал, было ясно, что он Ивана Африкановича.

— Дак ты, Григорей, чево тамотко делаешь-то?

— Да рыбу сушу.

— А где рыба-то, ну-ко покажи!

— Так ведь нету еще.

Степановна засмеялась:

— Гляди не простудись. Баушка-то дома?

Но Гришка уже не слушал Степановну, буровил батогом речную воду.

Степановна промокнула глаза концом платка: «Сирота. С эдаких-то годков да без матки...»

У самой деревни в безветрии пахло печеным тестом. Топились субботние бани, кто-то рубил на грядке скрипучую, как бы резиновую капусту, и валек очень звучно шлепал у портомоя. Стайка сейгодных телят стабунилась у изгороди на придорожном пригорке, телятам лень щипать траву, одни лежали на траве, другие дурачились вокруг Катерининой Катюшки.

Девочка, выросшая за лето из пальтишка, в красных шароварах и резиновых сапожках, сделала на лужке «избу» из досок и четырех кирпичей, раскладывала фарфоровые черепки и напевала. Обернулась, начала стыдить провинившегося теленка:

— Бессовестный! Вчера лепешку съел, сегодня фартук жуешь. Бессовестный, пустые глаза!

И замахнулась на теленка изжеванным фартуком. Теленок, не чувствуя вины, глядел на Катюшку дымчато-фиолетовыми глазами, белобрысые его ресницы моргали потешно и удивленно.

— Не стыдно?.. Называют меня некрасивою, так зачем же... я вот тебе!.. он ходит за мной.

Катюшка увидела Степановну, застеснялась, затихла.

— В школу-то нонче ходила? — спросила Степановна.

— Ходила,— Катюшка стыдливо заулыбалась,— сегодня только два урока было.

— Ну и ладно, коли два.

Степановна, глубоко вздохнув, направилась в деревню. Ворота Ивана Африкановича были не заперты. Степановна взялась за скобу. Евстолья сидела и качала зыбку, старухи, как увидели друг дружку, так обе сразу и заплакали. Они говорили обе сразу и сквозь слезы, и Вовка, сидевший за столом с картофелиной в руке, озадаченно глядел на них, тоже готовый вот-вот зареветь. Он и заревел. Тогда Евстолья сразу перестала плакать, вытерла ему нос и прикрикнула:

— Я вот тебе! Это еще что за моду взял!.. Все-то, матушка Степановна, горе, горе одно, ведь где тонко, там и рвется. Сколько раз я ей говорила: уходи, девка, со двора, вытянет он из тебя все жилушки, этот двор. Дак нет, все за рублями, бедная, гонилась, а ведь и как, Степановна, сама посуди, семеро ребят и барина съедят, их поить-кормить надо.

— Да... да... как жо, милая, как не кормить... да...

— ...Встанет-то в третьем часу, да и придет уж вечером в одиннадцатом, каждой-то божий день эдак, ни выходного, ни отпуску много годов подряд, а робетешка-ти? Ведь их тоже — надо родить, погодки, все погодки, ведь это тоже на организм отраженье давало, а она как родит, так сразу и бежит на работу, никогда-то не отдохнет ни денька, а когда заболела первой-от раз, так и врачиха ей говорила, что не надо больше ребят рожать; скажу, бывало, остановитесь, и так много, дак она только захохочет, помню; ну вот, опять, глядишь, родить надотко, один по-за одному...

— Дак в приют-от взяли ково?

— Красные солнышки, поехали, дак ручками-то и машут и

машут, а я стою на крылечке-то, не могу и слова выговорить, взяли в приют двойников-то, мясо возил в район да Мишку с Васькой увез на разу, да Анатошку в училище сдал, а Катюшку-то, Митька пишет, чтобы посылали, ежели кто в Мурманское-то поедет, дак вот и жалко, матушка, до того жалко робят-то, что я уж и ночами-то не сплю, не сплю, Степановна, хоть и глаза зашивай.

— Как, милая, не жалко, как не жалко...

— Танюшка-то там, с Митькой, теперече живет, паспорт, пишет, выдали и на работу на хорошую устроил Митька-то, а ежели и Катюшку опять туда, дак на еёное на старое-то место, говорит, и возьмут, только ведь мала-то еще, больно мала-то, вот ежели Катюшку-то отправим, дак и останутся только Гришка да Маруся да в зыбке два санапала. А и с этим, Степановна, разве мало заботушки, руки-то у меня стали худые, худые, матушка. У тебя теперь каково со здоровьем-то?

— А лучше теперече, Евстольюшка, лучше.

— Дак покосила-то каково, добро?

— И покосили дородно. Нюшка, когда день-то давали, на два стога нахрястала, и управили вовремя; ежели прикупим пудов с десяток, дак и прокормим корову-то.

— Вот и наша-то, как дали день-то, так и убежала в ночь косить-то, да всю ночку и прокосила, да и надсадилась, утром и не поела, опеть убежала, а в обед вдруг Мишка Петров и бежит: «Евстолья, давай скорей за фершалом посылай!» У меня, матушка, так сердце и обмерло. Привезли ее на телеге, Катерину-то, да подрастрясли, видать, дорогой-то, повалили мы ее на кровать, а она, сердешная, только глотает горлом, только глотает да все руками у постели шарит, зовет робетешок, а уж сама и говорит еле-елешеньки и белая вся как полотенышко...

Евстолья опять заплакала, потом заткнула за ухо морозную прядь, утерла глаза.

— Вот фершалица-то пришла да уколов поделала, говорит, пусть лежит, чтобы не шевелилась, не тревожилась, да и ушла, а я ночью-то от постели не отходила, все караулила, она, Катерина-то, уж в первом часу глаза-ти открыла, да и говорит: «Мама, это ты сидишь-то?» — «Я, я, милая, лежи ты спокойно, лежи ради Христа».— «Ну вот, говорит, мне, мама, и лучше стало. Гришка-то, спрашивает, с Катюшкой пришли домой?» — «Я гу, пришли, пришли». А сама вот плачу, вот плачу. «Мама, говорит, нет от Ивана-то письма?» Я говорю — нет, нету, а сама думаю: наплюнула бы ты на него, на пустоголового,— ишь, в самой сенокос в бурлаки уехал, все бросил, а тут и майся. Вот поговорили мы с ней, я и говорю: может, самовар поставить, кипяточку бы попила, может, и лучше будет. Она мне и говорит: «Поставь, мама, самовар-от». Я только лучинок нащепала да углей наклала, чую, она меня и зовет... Ой, матушка, Степановна, подошла я это ко кровати-то, села у изголовья, а она за руку, за руку меня ловит да воздухом-то ухлебывает. «Мамушка, говорит, розбуди ребят-то, ведь я умираю...»

Я-то, милая, сижу плачу, не знаю, чего делать, а она только после и сказала, уж без памяти, видно, сказала: «Иван, ветрено, говорит, ой, Иван, ветрено как» — да тут и вытянулась, чую, затихла вся...

— Не много и помучилась, сердешная.

— Не много, не много, а у меня, Степановна, зажало все вот тут, зажало как тут-то, я, милая, и встать не могу, самовар-то согрела да обмыла ее, голубушку, обрядила ее уж утром и робетешечек не будила... Как оне у меня пробудились да матку-то увидели... Ой, господи, царица небесная, матушка, Маруся-то глядит на меня и спрашивает: «Баба, баба, а мама-то пошто не встает, она спит, наверно?» Я говорю: «Спит, милая, спит, уснула твоя мама...»

— Царство небесное, светлое ей место,— сказала Степановна и перекрестилась.

— Будто у ее сердце чуяло, все невеселая была накануне-то, Танюшку вспомянула, маленького в тазу вымыла, а гли-ко, Степановна, как она ночью-то косить ушла, у меня ровно сердце-то не на месте, вот болит, вот болит; как сейчас помню, легла это я на печь, робетешек уклала, да и легла, только забылась маленько, а ночь темная и тихо до того, что в ушах так и звенит. Вот, милая, только я задремала на рече-то, чую, в куте половица скрипнула, думаю, кот ходит, кот-от у нас тяжелой на ногу, думаю, кот ходит, а как рукой-то повела, а кот-от рядом со мной спит у самой трубы. Ну, думаю, это изба садится, половица-то скрипнула; полежала я, да и вдругорядь забылась. Только чую, опять скрип, скрип в куте-то, а я вот хочу пробудиться и никак не могу пробудиться-то, и чую, будто бы голос, до того явственный, тихой такой голос, вроде как баушка-покойница говорит: «Евстолья, Евстолья, где ты живешь-то, девка? В Сосновке живи». Это голос-то, а мне вот уж так тяжело, будто утюг на грудину положен, а пробудиться-то не могу никак, уж пробудилась-то под утро, гляжу, а бадья на лавке вся в воде, вода из бадьи вся вытекла, поглядела, а бадья-то целехонька, да и ложка одна на пороге лежит. Вот слезы-ти и пришли того же дни, да и ложка лишняя стала. Вот, матушка.

— Дак положили-то Катерину во что? — спросила Степановна.

— А положили-то, матушка, в это шерстяное платье, что отрез-от ей о прошлом годе выдали, да в боты в светлые, а на голову-то косынку плетеную, кружевную-то, что в девках-то, красное солнышко, ходила, а домовину-то Федор строгал, я угольков-то разожгла в чугунке да обнесла, обкурила гроб-от, только бы из избы выносить, Мишка мерина в телегу запряг и могилу один выкопал, вот только бы ее выносить, а Иван-от в избу да с порога на гроб-от хлесть, еле мы его водой отлили. Похоронили когда, дак вина-то ни капли в рот не взял, как неумной сделался, все сидит, все сидит, а слезы-ти так у его и катятся, оброс, на себя стал не похож. «Мне, говорит, матка, все равно не жить теперече». Вот

один раз, гляжу, вызнялся да побежал, как не в себе, я за им кинулась, вижу, сейчас чего да нибудь с собой сделает, вот догонила, да и кричу: что тебя, леший! Что ты бегаешь-то! Ведь не один, вот у тебя робята малые, кто их поить-кормить будет, что ты, водяной с тобой, чего задумал-то! Иди, говорю, домой, чтобы и разговору не было, чтобы сейчас же домой хожено! А он это на лужок-от рядом-то со мной опустился да ноги-то мои обхватил, вот плачет: «Матка, матка, чево мне теперече, что я теперь без Катерины, куда...» И я-то с им плачу, сели на землю-то, да и ревим оба, как маленькие... Вот ввечеру гляжу, лопату зял да и пошел в загородку картошку копать, накопал корзину, на траву сушить высыпает, другую накопал, ну, думаю, даст бог, направится, отойдет, а тут корову надо резать да робят повез, вроде у его и отошло от сердца маленько. Только по ночам-то тоже не спит, сердешной, все, чую, табак палит да по избе ходит по ночам-то. Не знаю, матушка, как и жить будем, не знаю...

— Дак корову-то почем за килограмму-то сдали?

— По два рубля приняли корову-то, а уж говорила: может, не надо бы нарушать, может, и прокормили бы как-нибудь,— ну, думаю, ладно, может, телушечку к зиме купим, вон у Мишки больно добра телушка-то, на государство ладят сдавать.

Тем временем вскипел поставленный между разговорами самовар, Евстолья выставила чайные приборы, а Степановна вынула два пирога. Старухи попили чаю, немного поуспокоились, ребятишки уснули в зыбке, и очеп скрипел, Степановна качала люльку.

— Вон топор-от бы насадил мне, уж до чего дожили, что чурку исколоть нечем стало.

— Как не насадит, насадит.— Евстолья мыла чашки.— Приди уж, Степановна, в сорочины-ти, приди, шестая нидилькя ведь пошла, шестая... Нюшка-то все на дворе али как?

— На дворе, Евстольюшка, все на дворе.— Степановна перешла на шепот:— Иди-ко, чего скажу-то, девушка, насчет Нюшки-то...

Евстолья подставила к Степановне обрамленное сединой ухо, и Степановна шепнула ей что-то.

— Ой, не знаю, матушка.— Евстолья закачала головой.— Не знаю. Кабы... Уж что... не вернешь теперече Катерину-то, а и я какая жилица на белом свете? С самим уж говори...

Степановна опять пошептала, Евстолья тоже шепотом, хотя в избе никого не было, проговорила в ответ:

— На что бы лучше, на что бы... Нюшка... Робяты малы еще... А и мне бы умереть спокойно... Ой, матушка...

Евстолья все вздыхала, а Степановна нашептывала ей какие-то слова и очеп скрипел в осиротевшей избе Ивана Африкановича.

— Да сам-то он где? — вдруг громко спросила Степановна.

Но Ивана Африкановича близко не оказалось. Он еще с утра ушел на ферму копать новый колодец.

Уж так повелось, что всю его судьбу решали всегда без

него, и через день вся деревня говорила, что дело это верно и что никого нет лучше Нюшки, заменить Катерининым ребятишкам родную мать, да и коровам прежнюю обряжуху...

Только Иван Африканович ничего не знал об этом и ходил обросший, страшный и все молчал да курил горький сельповский табак.

2. ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

Он не спал этими долгими осенними ночами. Редко-редко забывался на полчаса. Смыкались жесткие, словно жестяные веки, и тогда горе отходило, растворялось в темноте. Но с пробуждением оно было еще острее, еще свежей и явственней. Иван Африканович переживал тогда все сначала...

Однажды он очнулся под утро, мигом все вспомнил и скрипнул зубами, уткнулся в подушку. Прислушался — тишина. Только посапывают ребята да, равнодушные, постукивают на стене часы. И вдруг он услышал тещин глухой голос, она молилась в темноте. Никогда она раньше не молилась, не слыхал, не видел Иван Африканович, изредка лишь перекрестится, а тут молилась. Речитативом, вполголоса Евстолья выводила незнакомые слова:

— «Возоплю в скорби моей к господу богу моему, и услышит меня. Из чрева адова вопль мой, услышит голос мой. Ввергнет меня в глубины сердца морского, и все реки обнимут меня. Все высоты твои и волны твои на меня падут...»

Ивану Африкановичу стало еще горше от никогда не слышанных этих слов. Тикали на стене часы, посапывали ребятишки, а Евстолья глуховато, спокойно продолжала молиться:

— «Возольется вода до души моей, бездна обымет меня последняя... Остынет глава моя в расселинах гор, сойдут в землю, под вечные вереи и заклепы, и да уйдет от тления жизнь моя к тебе, господи, боже мой...»

Старуха затихла.

«Худая стала Евстолья,— подумал Иван Африканович,— вон и молиться начала. Никогда не молилась. А ежели и она умрет, что тогда? Совсем будет каюк, совсем крышка».

Он незаметно встал, надел сапоги. Не умывшись, не сказав ничего, взял топор и сумку еще со вчерашней горбушкой. Вышел на улицу.

Ночью, во время краткого забытья, ему уже много раз приходила почему-то на память старая его лодка, что лежала у озера. Все время думал о лодке. Он давно уже хотел сделать новую лодку.

И вот сегодня, чтобы хоть немного забыться, Иван Африканович решил сходить в лес, к запримеченной еще в прошлом году осине для новой лодки.

Он шел колесной дорогой, проложенной им самим же через кошенину и старые клеверища, и все время думал про осину. Ежели здоровье будет, к санной дороге можно срубить, обтесать нос и корму, насверлить дырки для сторожков [1] и вытесать ей нутро. А с первым заморозком, когда установится дорога, вывезти лодку из лесу в деревню. Полежала бы до весны в сарае, подзадубела, чтобы весной развести и доделать, поспеть к водополью и щучьему нересту.

Деревня осталась километрах в трех позади. Он, не оглядываясь, вошел в лесную поскотину, перешел раздобревший было от снега и теперь опять успокоившийся ручеек. Увидел примерно двухнедельный медвежий след на глинистом взлобке, и вспомнилась прошлогодняя медведица, что ободрала Рогулино плечо. «Она, наверно, косолапая,— подумал Иван Африканович.— Знамо, она, вон и муравейник распотрошила. Может, и сейчас где-нибудь близко. Дело привычное».

Поскотина была широка, безмолвна, только ветер иной раз дул по сосновым верхам и сосны возмущенно и сонно отзывались в ответ. Опять выглянуло ненадолго спокойное, усталое к осени солнышко, но тучи сразу же сомкнулись.

Ивану Африкановичу было тепло, он шел по лесу, как по деревенской улице. За жизнь каждое дерево вызнато-перевызнато, каждый пень обкурен, обтоптана любая подсека. Вон маленькое, не больше пятачка, болотце: еще в детстве около него проколол сучком босую ногу; вон вилашки корявой сосенки: отдыхал под ней сколько раз; вон брусничный бугор: ставил силки и прыгуны на тетер; тут в прошлом году вырубал вязы для дровней, там заготавливал драночные баланы, здесь тесал хвою для коровьей подстилки. Везде свое государство, куда ни ступишь...

На старой куровской подсеке Иван Африканович увидел давнишнюю кошенину. Срезанная трава лежала под ногами, выцветшая от многих дождей, промытая почти добела. «Вот,— подумал Иван Африканович,— кто-то покосил да так и оставил неуправленным».

Обходя ивовый куст, он вдруг увидел висевший на ветке бумажный женский платок. Остановился, взял платок, сел на жердину. Запах Катерининых волос не могли выдуть лесные ветры, а соль, завязанная в кончике, так и не растаяла от дождей... Иван Африканович зажал платком обросшее похудевшее лицо, вдыхал запах Катерининых волос, такой знакомый, давно не слышанный, горький, родимый запах. Глотал слезы перехваченным горлом, и ему думалось: вот сейчас выйдет из-за кустов Катерина, сядет рядом на березовой жерди...

Сидел, ждал. И хотя знал, что никто не выйдет, никто не окликнет, все равно ждал, и было сладко, больно, тревожно

[1] Сторожки — цилиндрические одинаковой длины палочки, вставляемые в поверхность осины. При выдалбливании служат для того, чтобы знать толщину стенок будущей лодки и не передолбить лишнее.

ждать. И никто не вышел. Шумел вокруг дремотный лесной гул, белела на пустовине сенокосная лога [1].

Ветрено, так ветрено на опустелой земле... Уже поредели, стали прозрачнее расцвеченные умирающей листвой леса, гулкие прогалины стали шире, затихло птичье многоголосье.

Надо идти. Идти надо, а куда бы, для чего теперь и идти? Кажись, и некуда больше идти, все пройдено, все прожито. И некуда ему без нее идти, да и непошто. Никого больше не будет, ничего не будет, потому что нет Катерины. Все осталось, ее одной нет, и ничего нет без нее...

Не думая ни о чем, Иван Африканович встал с жердины. Сунул платок в сумку, бесцельно ступил на тропу, побрел, снова равнодушный к себе и всему миру.

Из-под самых ног взлетела и даже не напугала его лесная тетерка. Запнулся за корень, чуть не упал и даже не выматюкался, как сделал бы раньше.

Из-за колдобины вспомнилось, как позавчера, когда приходила Степановна, прибежал домой Гришка, весь в слезах, с кровяной пяткой, наступил где-то на доску с гвоздем; вспомнил Гришку, вспомнил тихую, с удивленными глазами Марусю, и жалость к себе, пересиленная жалостью к ребятишкам, затихла, обсохла вместе с недавними слезами.

Надо идти.

Иван Африканович шел долго, тропа стала у́же. Остановился, срезал острием топора гроздь изумрудной княжицы — гостинцем будет от лисоньки для Маруси. Потом сорвал шляпку ядреного боровичка, это для Гришки, для Кати взял с дерева янтарной живицы. Все клал в сумку — радостей дома не оберешься от этих лесных гостинцев.

Сквозь утихающую, рассасывающуюся боль он думал еще об осине, о будущей лодке. Может, сегодня и срубить осину да обкорнать сучья, наплевать, что баню затопят? Ежели дождя не будет, надо сегодня и срубить дотемна. Пятнадцать — двадцать километров до деревни можно пройти и ночью, дело привычное. Иван Африканович пошел быстрее и припомнил долгоногого кузнеца Митрошу, умершего лет шесть тому назад и не дожившего до девяноста всего трех с половиной недель. Тот, бывало, рассказывал, как шел однажды домой: «Иду с озера, спереди ноша, пуда два корзина с рыбой, да сзади пуда три. До того мне, парень, хорошо идти, птица по лесу поет всякая, солнышко теплое, садиться начало, а встал еще до зари, а надо было еще в тот день сруб окатать да лопату старухе насадить. Иду ходко вроде, устал, ноша тяжелая, да водяной с ней, все равно иду. Иду, да и думаю: больно тихо я иду. Дай-ко я побегу».

Иван Африканович грустно улыбнулся сам себе. «Вот и я вроде того Митроши,— подумал он.— Побежал, Митроша долгоногий, на плечах пять пудов, за плечами девятый десяток».

[1] Лога — скошенная, предназначенная на сено трава.

С травянистой тропы опять шумно снялась тетера. Здесь поскотина кончилась, до Черной речки оставалось километров семь, не больше, и Иван Африканович прибавил шагу. По тому, как сохла трава на горушках, как вздыхали вершины сосен, он определил, что времени примерно полдень. Присел на знакомую колодину около крохотного болотного родничка, разрубил кору на молодой березе, содрал бересту и сделал из нее ковшик-воронку, скрепил ее расщепленной черемуховой веткой. Неторопливо жевал посоленный хлеб и пил берестяным ковшиком из болотного родничка. Этот родничок Иван Африканович сам выкопал еще с весны, уж больно удобное было место, как раз между ручьем и Черной речкой. До ручья километров семь и до речки около этого, на привалах не надо искать воду.

Холодная светлая вода напомнила ему сосновский родник, где видел он в последний раз Катерину, и опять зашаялась в сердце скорбная горечь. «Ветрено, так ветрено... Надо идти. Идти».

Иван Африканович уложил недоеденный хлеб и встал с кочки. В ногах после отдыха чувствовалась усталость. Сухие горушки то и дело перемежали топкие болотца, заросшие зеленой плесенью ряски, осокой, а то и просто голые, черные, с глубокими следами лосиных копыт.

Иван Африканович сделал затес на молодой елке, что стояла у тропы, и повернул вправо, к Черной речке. Пройдя шагов сорок, опять сделал затес: он всегда делал затесы, чтобы не сбиться с дороги на обратном пути. Вот и Черная речка. Заросшая мхом, заваленная деревами, вода в ней и взаправду была черная словно деготь. Где-то невдалеке отсюда она ныряла под землю, и километра два текла под землей, потом опять появилась наверху и текла по-людски, уже до самого озера. Это была интересная и странная речка. Говорили, что в ней жила какая-то нездешняя краснобрюхая рыба, которую не мог ловить даже долгоногий Митроша.

Такие текли мысли. Иван Африканович зорко глядел кругом, но осины не было. Неужели ударился не туда? Давным-давно исчезла тропа, и лес был незнакомый, дикий, старые гари, обросшие двадцатилетней лиственной порослью. Иногда сапог уходил глубоко в жидкую землю,— значит, рядом где-то была Черная речка. Иван Африканович забеспокоился, место было чужое. Под ногами захлюпала вода, везде лежали и гнили упавшие деревья, скользкие, обросшие мхом, с еще крепкими острыми сучками под этим мхом. Того и гляди, проткнешь ладонь. Иван Африканович сломал сухую прошлогоднюю трубочку дягиля и сквозь Катеринин платок пососал болотной пахнущей папоротником воды. Куда это занесло? Он пошел обратно, намереваясь по затесам выйти на знакомое место, но последний затес исчез, как в воду канул. «Тьфу! — плюнул Иван Африканович.— Видно, надо по Черной речке выбираться». Теперь уж было не до того, чтобы осину рубить,— изломался, промок. Хоть бы найти ее да

дорогу запомнить засветло. Выбираясь на сухое место, Иван Африканович опять увидел свежий медвежий помет: «Вот, косолапая, и тут она бродит. Вишь, малины объелась». Но большой медвежий след на бестравяной земле переменил догадку: «Нет, это не она. У нее следок-то поменьше, поаккуратней, это медведь бродил, след большой, не закрыть шапкой. И свежий, вчера прокостылял, а может, и сегодня утром».

Черной речки не было. Иван Африканович взял левее, в надежде опять выбраться на тропу. Мшистый колодник не давал идти, сучья древних сушин дергали за фуфайку. Нога то и дело проваливалась в черную жидкую землю. Лес надвинулся глухой, незнакомый, ни пня, ни старого затеса.

Иван Африканович понял, что заблудился. Он сел на мох, огляделся, хотел выбрать направление по солнышку, но тучи плотно обложили серое небо и тихонько накрапывал дождь; казалось, что день кончился и уже сумерки. Но Иван Африканович знал: времени должно быть немногим больше полудня. Это от дождя, от лесной глухоты тряслись эти тусклые сумерки.

Он огляделся еще и невдалеке увидел еле заметный просвет. Может быть, там была какая-нибудь полянка либо подсека, по которой можно понять, куда забрался? Он пошел на этот просвет. Лес поредел, сильно и остро запахло дурман-травой, от которой ломило виски и кружило голову. Сумерки словно чуть рассеялись. Иван Африканович взглянул в просвет, и ему стало жутко: такое мертвое, гиблое раскинулось вокруг место. Лесной пожар, видимо, разбойничал тут года два-три тому назад: тут и там торчали обгорелые ели. Дальше, как свечи, стояли высокие черные стволы опаленных осин, высоко вверху торчали большие уродливые сучья. Внизу — обгоревшие мхи, еще не обновленные ни единой живой травинкой. Ни птицы, ни кустика. Только дождь сеял с низкого неба, и Иван Африканович повернул назад...

Он не знал, сколько часов брел по лесу. Старался идти в одну сторону. Ноги уже еле слушались, руки отчего-то сводило в локтях, все суставы ныли от усталости. Теперь начало темнеть взаправду.

Иван Африканович давно понял, что заблудился накрепко, и все-таки шел куда-то, и страх смешался в нем с издевкой над самим собой: «Капут будет тебе, Африканович, капут. Ежели и верно пойдешь, все равно напрямую без дороги тебе без хлеба не выбраться. На второй версте из сил выбьешься. Тропу, дорожку эту? Ищи ее теперь свищи. Туда, в другую сторону, лес тянется километров на сто, сто двадцать до леспромхозовской узкоколейки, в бока туда и сюда одни сухие да дикие болотины. Капут, ей-богу, капут». Ему стало даже чуть смешно от этого рассуждения. И вдруг осмыслил все, сердце забилось: «А ведь и правда, не выбраться. Вон и в сумке всего недоеденная горбушка, ни ружья, ни харчей не взял, один топор. Нет, надо очухаться, одуматься».

Он взглянул на небо, вверху была сплошная мокрая темень. На лицо сыпанул беззвучный прилипчивый дождь. «Надо собраться с мыслями, отдохнуть. Ночевать под елкой, отдышаться, а там, завтра будет видно...»

Он выбрал мохнатую, в полтора обхвата ель, снял сумку. Под елью было сухо, спички и курево тоже оказались сухими. Иван Африканович приметил смоляную сушину, с трудом, не торопясь срубил ее и подтащил к ели. Долго перерубал сушину на чурки. Деревина была до того смолиста, что натесанная щепа занялась от одной спички. Костер загорелся, и темнота сразу сдавила Ивана Африкановича, лес похмурел и сделался жутким.

Иван Африканович погрелся, съел полгорбушки, закурил. Нет, с таким хлебом не выбраться. Пять, шесть дней прожить можно, потом ослабнешь, сунешься носом в мох. Конечно, в деревне хватятся мужика. Дня через два пойдут искать. Иголку в стогу искать. Километров на двадцать ушел, не меньше, где найдешь? А ежели и найдут, то ничего от него уж не останется, одно пустое место. Рысь либо росомаха выгрызут у мертвого щеки, обгложут кисти рук. Домой принесут легкого, чужого, а то и тут зароют, прямо в лесу... Да и не пойдут искать, дня три не пойдут, уходил много раз из дому с ночлегом... У Ивана Африкановича прошел по спине озноб, на лбу выступил холодный пот.

Он старался вспомнить свой путь от Черной речки шаг за шагом, где куда поворачивал, что видел. Пустое дело... В лесу, в таком лесу все меняется, думаешь, что идешь вправо, а сам прямо шпаришь, думаешь, что повернул обратно, а сам лишь легонько изменил направление.

Ночь опустилась быстро, за полчаса.

Костер горел ярко, бесшумно, смоляные чурки будто всю жизнь только и ждали огня. Иван Африканович, чтобы отвлечь себя от мыслей, срубил еще одну сушину, стеснул с ели несколько еловых лап. Он пристроился на хвое у ствола, нахлобучил фуфайку на уши и хотел так полежать, может быть уснуть. Однако он не мог уснуть, лишь сознание изредка затягивало сонной пеленой, на полминуты он забывал иногда, где он и что это шумит вокруг.

А лес и взаправду возмущенно, таинственно обволакивал своим шумом светлую каплю костра и маленькую фигуру человека. Издалека, очень издалека катился вал лесного шума. Ивану Африкановичу в полузабытьи чудилось, что это катится на него широкий, безбрежный водяной вал, выламывающий подряд многие дерева и смывающий все на своей дороге. Вот он, этот вал, схлынул и захлебнулся сам в себе, где-то далеко-далеко отсюда. И все тихо, все темно. Но через минуту вдруг опять ощущается вдали неясная смятенная пустота. Медленно, долго нарождается глухая тревога, она понемногу переходит во всесветный и еще

призрачный шум, но вот шум нарастает, ширится, потом катится ближе, и топит все на свете темный потоп, и хочется крикнуть, остановить, но ничто не сможет остановить его, и сейчас он поглотит весь мир...

Иван Африканович вздрогнул: вал безбрежного шума замирал неохотно, возмущенно стихал в другой стороне. Мокрая, темная тишина давила сердце, никогда Иван Африканович не был таким одиноким. Он опять забылся необлегчающим забытьем, и водяной вал, этот страшный потоп, опять раз за разом топил и топил его, но никак не мог утопить совсем. В этом забытьи время то останавливалось, то и вовсе шло взапятки, образы последнего лета перемежались и путались: то вдруг Ивану Африкановичу снился какой-нибудь уже виденный однажды сон, то он смотрел новый сон, и в этом сне ему снился третий сон — сон во сне. Но все было неясно, путано, тревожно...

Ночью он долго, напряженно старался очнуться. Сквозь мглу из темных вершин колола прямо в лоб острая холодная звездочка. Она была одна, ее тут же затянуло тучей, и Иван Африканович забыл про нее, и она стала деталью его сна. Но где-то в подсознании она оставила свой след, что-то помешало утопить ее в кошмаре бестолковых видений и образов.

Звездочка. Да, звездочка, и небо, и лес. И он, Иван Африканович, заблудился в лесу. И надо выйти из леса. Звезда, она одна звезда-то. А ведь есть еще звезды, и по ним, по многим, можно выбрать, куда идти...

Эта мысль, пришедшая еще во сне, мигом встряхнула Ивана Африкановича. Он сел, зябко вздрогнул, сознание быстро прояснилось. Костер прогорел. Дождя не было, но темнота и лесной шум оставались прежние. Темень мельтешила в глазах бесплотными хлопьями. Но вот звезда опять показалась в небе, тусклая, синеватая. Он пощупал мох под ногами, мох как будто был не так влажен, как с вечера.

«Может, вызвездит к утру, облака ветром разгонит. Был бы морозный утренник, по звездам можно узнать дорогу». Иван Африканович вновь прислонился к еловому боку.

Медленно, неохотно прояснялись в небе очертания еловых верхов. Ветер был тише, но шум леса не стихал, он лишь терял с рассветом свою таинственность.

Иван Африканович отдохнул и опять почувствовал в ногах силы для ходьбы. Но он не знал, куда идти. Правда, ему казалось, что дом остался там, за стволом приютившей его ели, но он знал по опыту, что это только так думается, и стоит лишь убедить себя идти в противоположную сторону, и снова будет думаться, что деревня в той, в другой стороне. Ступай в любую сторону — все будет казаться, что идешь правильно.

Вот если бы солнце... По солнышку можно бы выбрать, куда брести. Но солнца не было, небо давило на ели сплошными серыми облаками. Теперь Иван Африканович сообразил, почему он за-

блудился. Беда в том, что он все время, когда искал осину, держал в уме Черную речку, надеялся на нее. Но, видимо, он пересек ее в том месте, где она текла под землей, и теперь ушел бог знает куда, может километров за тридцать от поскотины. Он вспомнил все известные ему приметы: и то, что будто бы хвоя на елях с южной стороны гуще, и про мох, и то, как размещены на срезе ствола годичные кольца. Ох, все только одни пустые слова. Ни хвоя, ни мох, ни кольца не скажут верно, где север, где юг, каждое дерево растет на своем месте, а все места разные. То пригорок, то сухое место, то соседство такое, то другое; то ветер, то безветренно. Какой уж там юг, какая хвоя, все по-разному, у каждой елки...

Иван Африканович все еще не чувствовал голода. Хотя последний раз чай пил вчера утром, а кроме пирога и горбушки хлеба, ничего больше не ел. И было странно, что есть все еще не хотелось и лишь сосало что-то в середине груди и около желудка.

Он встал, надел почти пустую свою сумку и с топором в руках пошел, делая затесы, чтобы не кружиться вокруг одного места. Хотелось пить, воды нигде не было.

Густой, строевой ельник кончился, и началось сухое с маленькими, словно чахоточными сосенками болото, идти стало чуть легче. Но свежая, уже дневная тоска быстро копилась под сердцем, Иван Африканович теперь ясно ощутил, в какую попал беду, и его охватил новый, ровный и постоянный страх:

«Нет, не выбраться. Каюк. Силы ногам хватит до полдня, может, до ночи, а потом каюк. Ослабну, задрожат коленки. Ткнешься, забудешься... Дней пять-шесть проживешь на ягодах, потом не смочь будет и ползать. Крышка. А что там-то, на той-то стороне? Может, и нет ничего, одна чернота, одна пустота?»

Иван Африканович раньше никогда не боялся смерти. Думал: не может быть так, что ничего не остается от человека. Душа ли там какая, либо еще что, но должно ведь оставаться, не может случиться, что исчезнет все, до капельки. Бог ли там или не бог, а должно же что-то быть, на той стороне...

Теперь же он вдруг ощутил страх перед смертью, и в отчаянии приходили обрывочные жестокие мысли:

«Нет, ничего, наверно, там нету. Ничего. Все уйдет, все кончится. И тебя не будет, дело привычное... Вот ведь нет, не стало Катерины, где она? Ничего от нее не осталось, и от тебя ничего не останется, был и нет. Как в воду канул, пусто, ничего... А кто, для чего все это и выдумал? Жись-то эту, лес вот, мох всякий, сапоги, клюкву? С чего началось, чем кончится, пошто все это? Ну вот, родился он, Иван Африканович...»

И вдруг Иван Африканович удивился, сел прямо на мох. Его как-то поразила простая, никогда не приходившая в голову мысль: вот, родился для чего-то он, Иван Африканович, а ведь до этого-то его тоже не было... И лес был, и мох, а его не было, ни разу не было, никогда совсем не было, так не все ли равно, ежели и опять не будет? В ту сторону его никогда не было и в эту

сторону никогда не будет. И в ту сторону пусто и в эту. И ни туда ни сюда нету конца-края... А ежели так, ежели ни в ту, ни в другую сторону ничего, так пошто родиться-то было? Вон теща Евстолья молилась вчера, думает, что будет что-нибудь и после смерти. А чего ждать? Нечего, видно, ждать, пустое дело, ничего не будет. Она-то думает, что будет, ей полдела... Да, ей полдела. Вон и он, Иван Африканович, думал раньше, что что-то будет, и жил спокойно, будет что-то, и ладно. А вот умерла Катерина, и стало понятно, что ничего после смерти и не будет, одна чернота, ночь, пустое место, ничего. Да. Ну, а другие-то, живые-то люди? Гришка, Анатошка вон? Ведь они-то будут, они-то останутся? И озеро, и этот проклятый лес останется, и косить опять побегут. Тут-то как? Выходит, жись-то все равно не остановится и пойдет, как раньше, пусть без него, без Ивана Африкановича. Выходит все-таки, что лучше было родиться, чем не родиться. Выходит...

Иван Африканович заплакал, уткнувшись носом в промокшие свои колени. Пальцы сами влепились в холодный мох и сжались в кулаки, и он вскочил на слабеющие ноги: «Нет, надо идти. Идти, выбраться... А куда идти?»

Лесной шум затихал вдали, в сером небе намечались кое-где медленно светлеющие отдушины. Где-то далеко-далеко чуялись бравурно-печальные возгласы изнемогающей в полете журавлиной стаи.

Понемногу небо в одном месте совсем посветлело.

Там засинело белесое разводье, и солнечный свет с трудом пробился на землю.

И было странно, что солнце оказалось не на своем месте, совсем в другой стороне...

Земля под ногами Ивана Африкановича будто развернулась и встала на свое место: теперь он знал, куда надо идти.

И он пошел, хотя знал, что без хлеба все равно далеко не уйдешь: напрасно измотанные за вчерашний день силы покидали Ивана Африкановича. Он брел на солнышко весь день. А вечером, совсем изнемогший, запнулся за колдобину и упал и не знал, сколько пролежал на мху.

В ночь небо вызвездило, и под утро пал на землю колючий иней. Иван Африканович лежал на спине и тупо глядел на близкие, будто пришпиленные к небу звезды. Он с натугой перевернулся на брюхо, встал на руки и на колени. На карачках, по-медвежьи пополз, и прихваченный морозом мох ломался и хрустел под его локтями, и сквозь туман забытья ему чудилась кругом ехидная мудрость затихших елей. Краем сознания он ощутил тихий, спокойный восход. Солнце поднималось в небо, оно отогрело к полудню залубеневшие мхи. От земли, еще хранящей ночной сумрак, вздымалось золотистое вверху воспарение, но Иван Африканович скорее чувствовал это усталым своим телом, чем видел глазами. Ему иногда казалось, что он идет по лесу, а он лежал с закрытыми

глазами, сладкая слабость уже не ощущалась в ногах и руках, и ему ничего не хотелось.

Сквозь широкую, бесконечную, отрадную дремоту он вдруг услышал дальний тракторный гул и всеми силами заставил себя открыть глаза. В глазах стыло на солнце пятнистое, сиренево-оранжевое облако. Осина стояла невдалеке, застывшая, светлая. Та самая осина, которую он искал. Бескровные, словно прозрачные листья не двигались и светились каждой своей жилкой; стройный, белый, чуть зеленоватый ствол уходил высоко-высоко и, казалось, кренился и падал и все никак не мог упасть на Ивана Африкановича. У него опять прояснилось сознание.

Он глядел на свою осину, такую красавицу, глядел и вспоминал, какая связь между нею и тем дальним тракторным гулом. Вспомнил и, дрожа мускулами, собрав последнее упрямство, опять встал на четвереньки, пополз...

От этой осины он знал, как выползти сперва на тропу, потом на дорогу.

Мишка Петров, ездивший с санями за лесом для новой бани, гусеницей чуть не раздавил Ивана Африкановича. Он остановил трактор, выскочил из кабины.

— Хо! Кажись, Иван Африканович! Ты чего тут? Брюхо, что ли, болит?

Иван Африканович долго старался сесть. Сел на земле, слабо махнул рукой, хотел чего-то сказать, но не мог и лишь улыбнулся, а Мишка видел, как он рукавом вытирал осунувшееся лицо.

— Пьяной, что ли? — спросил Мишка.

— Не пьяной, парень... Голодной...— еле вымолвил Иван Африканович.

— Да ну? — Мишка захохотал, помогая Ивану Африкановичу залезть на сани.— А я думал, пьяной Африканович.

— Дело привычное...— опять отмахнулся Иван Африканович и бессильно откинулся на сосновые кряжи.

Мишка так ничего и не понял. Он крякнул, застегнул штаны и прыгнул на гусеницу. Трактор взревел, сани дернулись, и дробное, раскатистое эхо слилось в лесу с тракторным гулом.

Дело привычное...

3. СОРОЧИНЫ

Через два дня, в субботу, исполнилось сорок дней после Катерининой смерти. Евстолья пекла пироги, варила студень из Рогулиной головы, а Иван Африканович пошел на озеро проведать старую лодку.

В болоте он медленно, не как раньше, перешагивал через валежины, а у озера долго сидел, глядя на воду.

В пяти метрах от берега со скромным достоинством проплыла утиная пара. Птицы, сберегшие любовь до самой осени, плыли как завороженные, и верность их друг другу сказывалась даже в одновременных, одинаковых движениях. Уплыли, оставляя на воде замирающий двойной клин.

Иван Африканович следил, как исчезал на воде утиный след. Он вспомнил, что сказала Евстолья о последнем Катерининином часе. Его звала, ему говорила: ветрено, Иван, ой ветрено, не езди никуда. Ветрено, ветрено...

Нет, сегодня было на озере тихо, не ветрено, тростники не шевелятся, вода сонная, как масляная, лежала у ног. И хвощи стояли в ней словно впаянные. Светлым пластом лежало у ног родимое озеро, молчаливое, понятное каждой своей капелькой, каждой клюквинкой на лывистых берегах. Спокойные островерхие ели густо обступили ровное озерное плесо, перемежаясь то с начинающими желтеть березами, то с редкими огневыми рябинами. А вон осень выдохнула за ночь прозрачные бледные клубы сиренево-желтоватых осинок, и многие листья попадали на воду, лежат и не мокнут, словно и не мокрая совсем эта вода.

Вот эдак и пойдет жизнь: однажды с полночи растает лесное болотное тепло и солнечный колкий мороз утром опустится на воду. Улетит последний гусь, остынет последняя кочка с вечнозеленой брусникой, и осоку на лыве ознобит инеем, а подо льдом сгрудятся в сонные артели сороги и окуни. Потом пойдут серые теплые тучи, осыпая светлый лед белым снегом, ветер подует с берега, зашуршат метелками промороженные тростники. И долго, очень долго будет зима. А там, глядишь, опять отогреются апрельские сосны и щука в глуби шевельнет широким хвостом, давая первое движение мертвой воде. Опять набухнет метровая пластушина зеленого льда, просочится в протоку живая струя, первая лягушка откроет перепончатое веко, и в болоте впервые крякнет отощавший глухарь...

И нет конца этому круговороту.

Ветрено, опять будет ветрено на лесном озере: голубые валы покатятся в одну сторону, и тревожно заорут на воде толстухи гагары. За две недели на полметра вымахают из воды хвощи, солнце до дна проколет лучами озерную воду, а лесной гребень целыми днями будет прочесывать синюю небесную лысину.

Потом смолистые дерева вытопят в прошлогодние раны затесов ясную, густую свою смолу, запахнет зеленым. Сквозь белые космы умершей травы вылезут на свет молодые ростки, закопошится все, заворочается, вода зацветет, будто засыпанная манной крупой; яро и бесстрашно затрубит в осиннике, задрожит мышастыми боками гуляка лось, все еще не успокоившийся после осеннего гульбища.

Конца нет и не будет.

Там, в июле, зацветут в заливах белые лилии, не расхлебать никаким веслом. Кулики долгоносые будут реже кричать своими

переливистыми, похожими на пастушью свирель голосами, опять запахнет из леса сенокосным костром... Жизнь. Такая жизнь.

Здесь, у озера, нечаянно пришел к Ивану Африкановичу ровный душевный покой. Первый раз за последние шесть недель по-человечески высморкался, переобулся, заметил, что написано на свернутой для курева областной газете. Закурил. «Жись. Жись, она и есть жись,— думал он,— надо, видно, жить, деваться некуда».

Он приглядел ятву сороги, но рыбачить не стал, а выметал сети на самолов, вытащил на берег лодку и еще до обеда пришел в деревню.

Было тихо, свежо, солнечно.

Иван Африканович, не заходя домой, завернул в лавку. Он взял выпивки и несколько пачек пластилину, чтобы обмазать стекла в рамах. Увидел на улице председателя с бригадиром. Оба начальника слезли с лошадей и обтирали о траву сапоги, намереваясь зайти в магазин. Председатель за руку поздоровался с Иваном Африкановичем.

— Что это ты, Дрынов,— спросил он,— с утра запасаешься? Головки-то льняные сушишь?

— Сушу, как не сушу,— сказал Иван Африканович.— А это... Сегодня сорок ден, как женка... Ну в земле то есть. Значит, по обычаю...

— А-а, ну, ну.

— Может, зашли бы на полчасика,— сказал Иван Африканович,— самовар греется, пироги напечены.

— Да нет, брат, спасибо. Времени-то нет, надо ехать.

— Ну, и тут можно, ежели...

Председатель с бригадиром переглянулись. Иван Африканович проворно сбегал к продавщице, принес три стакана, хлеба и банку болгарских голубцов. Завернули за угол.

— Там на тебя бумага пришла,— сказал председатель, весело подмигивая бригадиру и макая хлебом в консервную банку.

— Какая бумага? — испугался Иван Африканович.

— Да эта... штраф за безбилетный проезд. Припасай пять рублей.

— Ну, это еще ничего.— Иван Африканович успокоился.— Я думал, много сгребут.

Больше председатель ничего не сказал, заторопился. Сел на лошадь и уехал.

У своего крылечка Иван Африканович старательно вытер ноги о веник и услышал доносившийся из избы голос Степановны:

— ...Вот пришел этот Колька домой да еще и хвастает, что пятнадцать дён в тюрьме сидел; я говорю, ой ты дурак, ой дурак...

Иван Африканович вошел в избу, поздоровался с гостями. Степановна замолчала, а Нюшка, качавшая зыбку, одернула новую шерстяную юбку.

— Рыбы-то не принес? — громко спросила Степановна.

— Нет, поставил мерёжи на самолов.

Евстолья наливала в кути самовар. В это время ребенок в зыбке проснулся, заплакал. Нюшка ласково, но неловко начала его утешать, а Степановна искоса наблюдала за Иваном Африкановичем, приговаривала:

— Ты его на руки возьми-то, на руки, да за подмышки бери-то. Гли-ко, ручищи-то у парня, гли-ко, у ево ручищи-то...

Иван Иванович запрыгал в Нюшкиных руках и пустил губами радужный от солнца пузырь...

Иван же Африканович поставил бутылки на стол, отдал образцы пластилиновых петушков и медведей Марусе, а коробки с пластилином положил в шкаф. Гришка просил пластилину и хныкал. Бабка Евстолья вместе со Степановной развязали ему проколотую ногу. Она лечила Гришкину пятку сварцем, сваренным из еловой смолы, коровьего масла и серы.

— Вот тебе, вот,— приговаривала она,— так и надо, ежели больно. Не будешь больше босиком взлягивать.

— Пойду я, матка, схожу...— сказал Иван Африканович.

Евстолья пошла к шестку, дунула в самовар.

— Надолго ли уйдешь-то? Вон Федор с Мишкой сейчас придут, сулились. Самовар нараз вскипит.

— Приду... скоро...

Иван Африканович вышел в огород. Сорвал несколько гроздьев красной, уцелевшей от дроздов рябины. Тихонько закрыл отводок, пошел за деревню.

Горький отрадный дым от костров тут и там таял в ясном неощущаемом воздухе: копали везде картошку. Стая прилетевших из леса и готовящихся в путь скворцов опустилась в поле; за речкой, за желтым березнячком кричали ребятишки. Белая колокольня развороченной церкви явственно выделялась на спокойном, по-осеннему кротком небе. Зябкая речка, огибавшая холм с кладбищем, не двигалась, и синенькое небо, отраженное ею, казалось чище настоящего, верхнего неба.

На кладбище, в старых вербах, тенькали синички.

Иван Африканович сидел на могиле жены и смотрел на речку, на желтые ясные березы вдали. Думал, курил свой мелкослойный «Байкал».

«Грех один, а не папиросы. Спичек одних не напасешься, разок затянись, глядишь, опять и погасло. Ты уж, Катерина, не обижайся... Не бывал, не проведал тебя, все то это, то другое. Вот рябинки тебе принес. Ты, бывало, любила осенями рябину-то рвать. Как без тебя живу? Так и живу, стал, видно, привыкать... Я ведь, Катя, и не пью теперече, постарел, да и неохота стало. Ты, бывало, ругала меня... Ребята все живы, здоровы. Катюшку к Тане да к Митьке отправили, Анатошка в строительном — этот уж скоро на свои ноги встанет... Ну, а Мишку с Васькой отдал в приют, уж ты меня не ругай... Не управиться бы матке со всеми-то. Худая стала, все говорит, что руки болят, да ведь и годы уж, ты, Катя, знаешь сама... Да ведь они санапалы у нас, двойники-то.

Остались там, хоть бы им что. Картошку выкопал. Корову заведем новую, телушка у Мишки Петрова обошлась нынче, куплю телушку-то. Да. Вот, девка, вишь как все обернулось-то... Я ведь дурак был, худо я тебя берег, знаешь сама... Вот один теперь... Как по огню ступаю, по тебе хожу, прости. Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо, думал за тобой следом... А вот оклемался... А твой голос помню. И всю тебя, Катерина, так помню, что... Да. Ты, значит, за робят не думай ничего. Поднимутся. Вон уж самый младший, Ванюшка-то, слова говорит... такой парень толковый и глазами весь в тебя. Я уж... да. Это, буду к тебе ходить-то, а ты меня и жди иногда... Катя... Ты, Катя, где есть-то? Милая, светлая моя, мне-то... Мне-то чего... Ну... что теперече... вон рябины тебе принес... Катя, голубушка...»

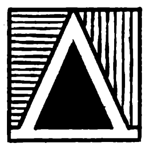
Иван Африканович весь задрожал. И никто не видел, как горе пластало его на похолодевшей, еще не обросшей травой земле,— никто этого не видел.

Пронеслась над погостом шумная скворчиная стая. Горько, по-древнему пахло дымом костров. Синело небо. Где-то за пестрыми лесами кралась к здешним деревням первая зимка.

ВОСПИТАНИЕ ПО ДОКТОРУ СПОКУ

ПЛОТНИЦКИЕ РАССКАЗЫ

1



ом стоит на земле больше ста лет, и время совсем его скособочило. Ночью, смакуя отрадное одиночество, я слушаю, как по древним бокам сосновой хоромины бьют полотнища влажного мартовского ветра. Соседний кот-полуночник таинственно ходит в темноте чердака, и я не знаю, чего ему там надо.

Дом будто тихо сопит от тяжелых котовых шагов. Изредка, вдоль по слоям, лопаются кремневые пересохшие матицы, скрипят усталые связи. Тяжко бухают сползающие с крыши снежные глыбы. И с каждой глыбой в напряженных от многотонной тяжести стропилах рождается облегчение от снежного бремени.

Я почти физически ощущаю это облегчение. Здесь, так же как снежные глыбы с ветхой кровли, сползают с души многослойные глыбы прошлого... Ходит и ходит по чердаку бессонный кот, посверчиному тикают ходики. Память тасует мою биографию, словно партнер по преферансу карточную колоду. Какая-то длинная получилась пулька. Длинная и путаная. Совсем не то что на листке по учету кадров. Там-то все намного проще...

За тридцать четыре прожитых года я писал свою биографию раз тридцать и оттого знаю ее назубок. Помню, как нравилось ее писать первое время. Было приятно думать, что бумага, где описаны все твои жизненные этапы, кому-то просто необходима и будет вечно храниться в несгораемом сейфе.

Мне было четырнадцать лет, когда я написал автобиографию впервые. Для поступления в техникум требовалось свидетельство о рождении. И вот я двинулся выправлять метрики. Дело было сразу после войны. Есть хотелось беспрерывно, даже во время сна, но все равно жизнь казалась хорошей и радостной. Еще более удивительной и радостной представлялась она в будущем.

С таким настроением я и топал семьдесят километров по майскому, начинающему просыхать проселку. На мне были почти новые, обсоюженные сапоги, брезентовые штаны, пиджачок и про-

стреленная дробью кепка. В котомку мать положила три соломенных колоба и луковицу, а в кармане имелось десять рублей деньгами.

Я был счастлив и шел до райцентра весь день и всю ночь, мечтая о своем радостном будущем. Эту радость, как перец хорошую уху, приправляло ощущение воинственности: я мужественно сжимал в кармане складничок. В ту пору то и дело ходили слухи о лагерных беженцах. Опасность мерещилась за каждым поворотом проселка, и я сравнивал себя с Павликом Морозовым. Разложенный складничок был мокрым от пота ладони.

Однако за всю дорогу ни один беженец не вышел из леса, ни один не покусился на мои колоба. Я пришел в поселок часа в четыре утра, нашел милицию с загсом и уснул на крылечке.

В девять часов явилась непроницаемая заведующая с бородавкой на жирной щеке. Набравшись мужества, я обратился к ней со своей просьбой. Было странно, что на мои слова она не обратила ни малейшего внимания. Даже не взглянула. Я стоял у барьера, замерев от почтения, тревоги и страха, считал черные волосинки на теткиной бородавке. Сердце как ушло в пятку...

Теперь, спустя много лет, я краснею от унижения, осознанного задним числом, вспоминаю, как тетка, опять же не глядя на меня, с презрением буркнула:

— Пиши автобиографию.

Бумаги она дала. И вот я впервые в жизни написал автобиографию:

«Я, Зорин Константин Платонович, родился в деревне Н...ха С...го района А...ской области в 1932 году. Отец — Зорин Платон Михайлович, 1905 года рождения, мать — Зорина Анна Ивановна с 1907 года рождения. До революции родители мои были крестьяне-середняки, занимались сельским хозяйством. После революции вступили в колхоз. Отец погиб на войне, мать — колхозница. Окончив четыре класса, я поступил в Н-скую семилетнюю школу. Окончил ее в 1946 году».

Дальше я не знал, что писать, тогда все мои жизненные события на этом исчерпывались. С жуткой тревогой подал бумаги за барьер. Заведующая долго не глядела на автобиографию. Потом как бы случайно взглянула и подала обратно:

— Ты что, не знаешь, как автобиографию пишут?

...Я переписывал автобиографию трижды, а она, почесав бородавку, ушла куда-то. Начался обед. После обеда она все же прочитала документы и строго спросила:

— А выписка из похозяйственной книги у тебя есть?

Сердце снова опустилось в пятку: выписки у меня не было...

И вот я иду обратно, иду семьдесят километров, чтобы взять в сельсовете эту выписку. Я одолел дорогу за сутки с небольшим и уже не боясь беженцев. Дорогой ел пестики и нежный зеленый щавель. Не дойдя до дому километров семь, я потерял ощущение реальности, лег на большой придорожный камень и не помнил,

сколько лежал на нем, набираясь новых сил, преодолевая какие-то нелепые видения.

Дома я с неделю возил навоз, потом опять отпросился у бригадира в райцентр.

Теперь заведующая взглянула на меня даже со злобой. Я стоял у барьера часа полтора, пока она не взяла бумаги. Потом долго и не спеша рылась в них и вдруг сказала, что надо запросить областной архив, так как записи о рождении в районных гражданских актах нет.

Я вновь напрасно огрел почти сто пятьдесят километров...

В третий раз, уже осенью, после сенокоса, я пришел в райцентр за один день: ноги окрепли, да и еда была получше — поспела первая картошка.

Заведующая, казалось, уже просто меня ненавидела.

— Я тебе выдать свидетельство не могу! — закричала она, словно глухому.— Никаких записей на тебя нет! Нет! Ясно тебе?

Я вышел в коридор, сел в углу у печки и... разревелся. Сидел на грязном полу у печки и плакал,— плакал от своего бессилия, от обиды, от голода, от усталости, от одиночества и еще от чего-то.

Теперь, вспоминая тот год, я стыжусь тех полудетских слез, но они и до сих пор кипят в горле. Обиды отрочества — словно зарубки на березах: заплывают от времени, но никогда не зарастают совсем.

Я слушаю ход часов и медленно успокаиваюсь. Все-таки хорошо, что поехал домой. Завтра буду ремонтировать баню... Насажу на топорище топор, и наплевать, что мне дали зимний отпуск.

2

Утром я хожу по дому и слушаю, как шумит ветер в громадных стропилах. Родной дом словно жалуется на старость и просит ремонта. Но я знаю, что ремонт был бы гибелью для дома: нельзя тормошить старые, задубелые кости. Все здесь срослось и скипелось в одно целое, лучше не трогать этих сроднившихся бревен, не испытывать их испытанную временем верность друг другу.

В таких вовсе не редких случаях лучше строить новый дом бок о бок со старым, что и делали мои предки испокон веку. И никому не приходила в голову нелепая мысль до основания разломать старый дом, прежде чем начать рубить новый.

Когда-то дом был главой целого семейства построек. Стояло поблизости большое с овином гумно, ядреный амбар, два односкатных сеновала, картофельный погреб, рассадник, баня и рубленный на студеном ключе колодец. Тот колодец давно зарыт, и вся остальная постройка давно уничтожена. У дома осталась одна-разъединственная родственница — полувековая, насквозь прокопченная баня.

Я готов топить эту баню чуть ли не через день. Я дома, у себя на родине, и теперь мне кажется, что только здесь такие светлые речки, такие прозрачные бывают озера. Такие ясные и всегда разные зори. Так спокойны и умиротворенно-задумчивы леса зимою и летом. И сейчас так странно, радостно быть обладателем старой бани и молодой проруби на такой чистой, занесенной снегами речке...

А когда-то я всей душой возненавидел все это. Поклялся не возвращаться сюда.

Второй раз я писал автобиографию, поступая в школу ФЗО учиться на плотника. Жизнь и толстая тетка из районного загса внесли свои коррективы в планы насчет техникума. Та же самая заведующая хоть и со злостью, но направила-таки меня на медицинскую комиссию, чтобы установить сомнительный факт и время моего рождения.

В районной поликлинике добродушный с красным носом доктор лишь спросил, в каком году я имел честь родиться. И выписал бумажку. Свидетельство о рождении я даже не видел: его забрали представители трудрезервов; и опять же без меня был выписан шестимесячный паспорт.

Тогда я ликовал: наконец-то навек распрощался с этими дымными банями. Почему же теперь мне так хорошо здесь, на родине, в безлюдной деревне? Почему я чуть ли не через день топлю свою баню?..

Странно, так все странно и неожиданно...

Однако баня до того стара, что одним углом на целую треть ушла в землю. Когда я топлю ее, то дым идет сперва не в деревянную трубу, а как бы из-под земли, в щели от сгнившего нижнего ряда. Этот нижний ряд сгнил начисто, чуть прихватило гнилью и второй ряд, но весь остальной сруб непроницаем и крепок. Прокаленный банной жарой, тысячи раз наполнявшей его, сруб этот хранит в себе горечь десятилетий.

Я решил отремонтировать баню, заменить два нижних венца, сменить и перестлать полки, перекласть каменку. Зимой затея эта выглядела нелепо, но я был счастлив и потому безрассуден. К тому же баня не дом. Ее можно вывесить, не разбирая крыши и сруба: плотницкая закваска, впитанная когда-то в школе ФЗО, забродила во мне. Ночью, лежа под овчинным одеялом, я представлял себе, как буду делать ремонт, и это казалось весьма простым и доступным. Но утром все обернулось по-другому. Стало ясно, что своими силами, без помощи хотя бы какого-нибудь старичка, с ремонтом не справиться. Ко всему, у меня даже не было приличного топора. Пораздумав, я пошел к соседу-старику, к Олеше Смолину, чтобы попросить помощи.

У смолинского дома на жердочке одиноко сушились простиранные кальсоны. Дорожка к открытым воротам была разметена, новые дровни, перевернутые набок, виднелись неподалеку. Я прошел по лесенке вверх, взялся за скобу, и в избе звонко зали-

лась собачка. Она кинулась на меня весьма рьяно. Старуха, жена Олеши Настасья, выпроводила ее за двери:

— Иди, иди к водяному! Ишь, фулиганка, налетела на человека.

Я поздоровался и спросил:

— Дома сам-то?

— Здорово, батюшко.

Настасья, видать, была совсем глухая. Она обмахнула лавку передником, приглашая садиться.

— Старик-то, спрашиваю, дома или ушел куда? — снова спросил я.

— А куды ему, гнилому, идти: вон на печь утянулся. Говорит, что насмока в носу завелась.

— Сама ты насмока,— послышался голос Олеши.— Да и завелась не тепере.

После некоторой возни хозяин слез на пол, обул валенки.

— Самовар-то поставила? Не чует ни шиша. Констенкин Платонович, доброго здоровьица!

Олеша — сухожильный, не поймешь, какого возраста колхозник, сразу узнал меня. Старик похож был на средневекового пирата с рисунка из детской книжки. Горбатый его нос еще во времена моего детства пугал и всегда наводил на нас, ребятишек, панику. Может быть, поэтому, чувствуя свою вину, Олеша Смолин, когда мы начинали бегать по улице на своих двоих, очень охотно делал нам свистульки из тальника и частенько подкатывал на телеге. Теперь, глядя на этот нос, я чувствовал, как возвращаются многие давно забытые ощущения раннего детства...

Нос торчал у Смолина не прямо, а в правую сторону, без всякой симметрии разделял два синих, словно апрельская капель, глаза. Седая и черная щетина густо утыкала подбородок. Так и хотелось увидеть в Олешином ухе тяжелую серьгу, а на голове бандитскую шляпу либо платок, повязанный по-флибустьерски.

Сначала Смолин выспросил, когда я приехал, где живу и сколько годов. Потом поинтересовался, какая зарплата и сколько дают отпуск. Я сказал, что отпуск у меня двадцать четыре дня.

Мне было неясно, много это или мало с точки зрения Олеши Смолина, а Олеша хотел узнать то же самое, только с моей точки зрения, и, чтобы переменить разговор, я намекнул старику насчет бани. Олеша ничуть не удивился, словно считал, что баню можно ремонтировать и зимой:

— Баня, говоришь? Баня, Констенкин Платонович, дело нужное. Вон и баба у меня. Глухая вся, как чурка, а баню любит. Готова каждый день париться.

Не допытываясь, какая связь между глухотой и пристрастием к бане, я предложил самые выгодные условия для работы. Но Смолин не торопился точить топоры. Сперва он вынудил меня сесть за стол, поскольку самовар уже булькал у шестка, словно разгулявшийся весенний тетерев.

— Двери! Двери беги закрой! — вдруг засуетился Олеша.— Да поплотней!

Не зная еще, в чем дело, я поневоле сделал движение к дверям.

— А то убежит,— одобрительно заключил Олеша.

— Кто?

— Да самовар-то...

Я слегка покраснел, приходилось привыкать к деревенскому юмору. Кипяток в самоваре, готовый хлынуть через край, то есть «убежать», тут же успокоился. Настасья сняла трубу и остановила тягу. А Олеша как бы случайно достал из-под лавки облегченную на одну треть чекушку. Делать было нечего: после краткого колебания я как-то забыл первый пункт своих отпускных правил, снял полушубок и повесил его у дверей на гвоздик. Мы выпили «в чаю», иными словами — горячий пунш, который с непривычки кидает человека в приятный пот, а после потихоньку поворачивает вселенную другой, удивительно доброй и перспективной стороной. Уже через полчаса Олеша не очень сильно уговаривал меня не ходить, но я не слушал и, ощущая в ногах какой-то восторг, торопился в сельповскую лавку.

Везде белели первородно чистые снега. Топились в деревнях дневные печки, и золотые дымы не растворялись в воздухе, а жили как бы отдельно от него, исчезая потом бесследно. Рябые после вчерашнего снегопада леса виднелись ясно и близко, была везде густая светлая тишина.

Пока я ходил в лавку, Настасья убралась судачить к соседям, а Олеша принес в алюминиевом блюдечке крохотных, с голубым отливом соленых рыжиков. После обоюдного потчевания выпили снова, логика сразу стала другая, и я ныром, словно в летний омут после жаркого дня, незаметно ушел в бездну Олешиных разговоров.

3

— ...Ты, Констенкин Платонович, про мою жизнь лучше не спрашивай. Она у меня вся как расхожая библия: каждому на свой лад. Кому для чего сгожусь, тот и дергает. Одному от Олеши то, другому это понадобилось. А третьему до первых двух и дела нет, обоих отменил. Установил свою атмосферу. Да. Ну, а Олеша чего? Да ничего. Олеша и сам... как пьяная баба: не знает, в какую сторону комлем лежит. Всю жизнь в своих полах путаюсь и выпутаться не могу. То ли полы длинны, то ли ноги кривы, уж и не знаю. А может, меня люди запутали?

Вот, по правде сказать, ведь не все время был такой запутанный. Помню, родила меня моя матка, а я первым делом от радости заверещал, с белым светом здоровкаюсь, ей-богу, помню, как родился. Многим говаривал, только не верят, дурачки. А я помню. То есть ничего этого не помню, один теплый туман, дрема одна, а все ж таки помню. Будто из казематки вышел. Я это был или не я,

уж не знаю, может, и не я, а другой кто. Только было мне до того занятно... ну, не то чтобы занятно, а так, это... благородно было.

Ну, родился-то, я, значит, как Христос, в телячьем хлеву и как раз на самое рождество. Все дело у меня сперва шло хорошо, а потом и почал запутываться. Одно по-за одному...

Конечно, семья большая, бедная. Отец-мать нас, дристунов, не больно и нянчили. Зимой на печке сидим да таракашков за усы имаем. Иного и слопаешь. Ну, зато летом весь простор наш. Убежишь в траву, в крапиву... Оно дело ясное: мерло нашего брата много, счету не было. Только родилось-то еще больше, вот оно никто и не замечал, что мерли. Меня, бывало, бабка по голове стукнет либо там тычка даст в бок: «Хоть бы тебя, Олешка, скорее бог прибрал, чтобы тебе, дураку, потом зря не маяться!» Мне все старухи верную гибель сулили. Темя пощупают, да и говорят: «Нет, девушка, этот нет, не жилец». Есть, вишь, примета, что ежели у ребенка ложбина на темени, так этот умрет в малолетстве, жить не будет. А я им всем шиш показал. Взял да и выжил. Конечно, каяться не каялся после этого, а особого восторгу тоже во мне не было...

Помню, великим постом привели меня первый раз к попу. На исповедь. Я о ту пору уже в портчонках бегал. Ох, Платонович, эта религия! Она, друг мой, еще с того разу нервы мне начала портить. А сколько было других разов. Правда, поп у нас в приходе был хороший, красивый. Матка мне до этого объяснение сделала: «Ты, говорит, Олешка, слушай, что тебя будут спрашивать, слушай и говори: «Грешен, батюшка!» Я, значит, и предстал в своем детском виде перед попом. Он меня спрашивает: «А что, отрок, как зовут-то тебя?» — «Олешка»,— говорю. «Раб, говорит, божий, кто тебя так непристойно глаголеть выучил? Не Олешка, бесовского звука слово, а говори: наречен Алексеем».— «Наречен Алексеем».— «Теперь скажи, отрок Алексей, какие ты молитвы знаешь?» Я и ляпнул: «Сину да небесину!» — «Вижу,— поп говорит,— глуп ты, сын мой, яко лесной пень. Хорошо, коли по младости возраста». Я, конечно, молчу, только носом швыркаю. А он мне: «Скажи, чадо, грешил ты перед богом? Морковку в чужом огороде не дергал ли? Горошку не воровывал ли?» — «Нет, батюшка, не дергал».— «И каменьями в птичек небесных не палил?» — «Не палил, батюшка».

Что мне было говорить, ежели я и правда по воробьям не палил и в чужих загородах шастать у меня моды не было.

Ну, а батюшка взял меня за ухо, сдавил, как клещами, да и давай вывинчивать ухо-то. А сам ласково эдак, тихо приговаривает: «Не ври, чадо, перед господом-богом, бо не простит господь неправды и тайности, не ври, не ври, не ври...»

Я из церкви-то с ревом: ухо как в огне горит, да всего обиднее, что зря. А тут еще матка добавила, схватила ивовый прут, спустила с меня портки и давай стегать. Прямиком на морозе. Стегает да приговаривает: «Говорено было, говори: грешен! Говорено было, говори: грешен!»

Я эту деру и сейчас детально помню. Ну, хорошо. Ладно бы одна такая дера, я бы сидел, не крякал. Во второй раз пришел на исповедь, а меня и вдругорядь тот же момент настиг. Одну правду попу говорил, а он хоть бы слову моему поверил. Да еще и отцу внушенье сделал, поп-то, а отец меня и взял в оборот. После этого я и думаю своим умом: «Господи! Что мне делать-то! Правду говорю — не верят, а ежели обманывать — греха боюсь». Вот опять надо скоро на исповедь. Опять мне дера налажена... Нет, думаю, в этот раз я вам не дамся. Вот что, думаю, сделаю, возьму да нарочно и нагрешу. Другого выхода нет. Взял я, Платонович, у отца с полавошника осьминку табаку, отсыпал в горсть, спички с печного кожуха упер, бумажки нашел. Раз — с Винькой Козонковым в ихний овин, да и давай учиться курить. Устроили практику... Запалили, голова кругом, тошнит, а курю... Белый свет ходуном идет. «Я,— это Винька говорит,— я уже давно курю, а ты?» — «Я,— говорю,— грешу. Мне греха надо побольше, а то опять попадет после исповеди». Из овина вылезли, меня по сторонам шатает, опьянел совсем. Первый раз в жизни опьянел. А на исповеди взял да и покаялся. Поп отцу не сказал ни словечка. Уж до того он довольный был, что меня воспитал...

С того разу я и начал грешить, стегать меня враз перестали. Жизнь другая пошла. Я, друг мой, так думаю. Мне хоть после этого и легче стало жить, а только с этого места и пошла в моей жизни всякая путанка. Ты-то как думаешь?..

4

На второй день я просыпаюсь от яркого, бьющего прямо в глаза солнышка. Вылезаю из-под одеяла и удивляюсь: только легкий туман в голове да несильная жажда остались от вчерашнего.

Иду вниз и вместо зарядки раскалываю с полдюжины крепких еловых чурок. Они разваливались от двух ударов, если топор попадал прямо в середину. Морозные поленья звенели, как звенел за двором наст и ядреный свежий утренник. Было приятно влепить топор в середину чурки, вскинуть через плечо и, крякнув сильно, резко опустить обух на толстую плаху. Чурка от собственной тяжести покорно разваливалась, ее половинки разлетались в стороны с коротким звенящим стоном.

С десяток поленьев я принес в дом, открыл печную задвижку, вьюшки и заслонку. Нащепал лучины и на пирожной лопате сунул в чело печи первое, поперечное полено. Зажег лучину и на лопате положил ее на полено. Склал на лучину поленья. Запах огня был чист и резок. Дым белым потоком, огибая кирпичное устье, пошел в трубу, и я долго смотрел на этот поток. В окна лилось зимнее, однако очень яркое солнце. Печь уже трещала. Я взял две бадьи и скользкий отшлифованный водонос, пошел за водой. Высоко натоптанная тропка звенела под валенками фарфоровым

звоном. Снег на солнце был до того ярок и светел, что глаза непроизвольно щурились, а в тени от домов четко ощущалась глубинная снежная синева. Под горой на речке я долго колотил водоносом. За ночь прорубь затянуло прозрачным и, видимо, очень толстым стеклом; я сходил на соседнюю Олешину прорубь, взял там обледенелый топор и проделал канавку по окружности проруби. Прозрачный ледяной круг было жалко толкать под лед. Но течение уже утянуло его. Я слушал, как он уплывал, стукаясь, исчезая в речной темноте. А здесь, на дне проруби, виднелись ясные, крохотные, увеличенные водой песчинки.

Вихляющая тяжесть в ведрах делала устойчивее и тверже шаг в гору. Эта тяжесть прижимала меня к тропке. Чтобы погасить раскачивание ведер, я изредка менял длину шагов. Дышалось легко, глубоко, я не слышал своего сердца.

Дома налил воды в самовар, набрал в железный совок румяных, уже успевших нагореть углей и опустил их в нутро самовара. Самовар зашумел почти тотчас же. Когда я поставил его на столешницу, от него веяло знойным духом золы, вода домовито булькала в медном чреве. Пар бил из дырки султаном.

Я раскрыл банку консервированной говядины, банку сгущенки, заварил чай и нарезал хлеб. С минуту глядел на еду. Ощущая первобытную, какую-то ни от чего не зависящую основательность мяса и хлеба, налил стакан янтарно-бурого чая. У меня был тот аппетит, когда вкус еды ощущают даже десны и зубы. Насыщаясь, я все время чувствовал силу плечевых мышц, чувствовал потребность двигаться и делать что-то тяжелое. А солнце било в окно, в доме и на улице было удивительно спокойно и тихо, и этот покой оттенялся добрым, умиротворенно ворчливым шумом затухающего самовара.

Р-р-рых! Я ни с того ни с сего выскочил из-за стола, присел и, давая волю своей радости, прыгнул, стараясь хлопнуть ладонями по потолку. Засмеялся, потому что понял вдруг выражение «телячий восторг», прыгнул еще, и посуда зазвенела в шкафу. В таком виде и застал меня Олеша.

— Ну и обряжуха,— сказал старик,— печь, гляжу, истопил, за водой сбегал. Тебе жениться надо.

— Я бы не прочь, кабы не разводиться сперва.

— У тебя женка-то ничего.— Олеша взял со стола Тонин портрет и почтительно поразглядывал.

— Ничего? — спросил я.

— Ничего. Вострглазая. Не загуляет там, в городе-то?

— Кто ее знает...

— Нынче живут прохладно,— сказал Олеша и завернул цигарку.— Может, оно и лучше эдак.

...Мы взяли топоры, лопату, ножовку. Не запирая дом, двинулись ремонтировать баню.

Пока я раскидывал снег вокруг сруба, Олеша разобрал каменку, опрятно сложил в предбаннике кирпичи и прокопченные ва-

луны. Выкидали покосившиеся полки и разобрали прогнившие половицы. Я пнул валенком нижнее бревно, и в бане стало светло: гнилое, оно вылетело наружу. Олеша простукивал обухом другие бревна. Начиная с третьего ряда, они были звонкие, значит, ядреные.

Старик полез наверх проверять крышу и потолок.

— Гляди не свались,— посоветовал я, но Олеша кряхтел, стучал обухом.

— Полечу, так ведь не вверх, а вниз. Невелика беда.

Теперь было ясно, что крышу и стропила можно не трогать. Мы присели на пороге, решив передохнуть. Олеша вдруг легонько толкнул меня в бок:

— Ты погляди на него...

— На кого?

— Да вон Козонков-то, дорогу батогом щупает.

Авинер Козонков, другой мой сосед, проваливаясь в снегу, при помощи березовой палки правился в нашу сторону. Ступая по нашим следам, он наконец выбрался к бане.

— Ночевали здорово.

— Авинеру Павловичу, товарищу Козонкову,— сказал Олеша,— наше почтение.

Козонков был сухожильный старик с бойкими глазами; волосы тоже какие-то бойкие, торчали из-под бойкой же шапки, руки у него были белые и с тонкими, совсем не крестьянскими пальчиками.

— Что, не отелилась корова-то? — спросил Олеша.

Козонков отрицательно помотал ушами своей веселой шапки. Он объяснил, что корова у него отелится только после масленой недели.

— Нестельная она у тебя,— сказал Олеша и прищурился.— Ей-богу, нестельная.

— Это как так нестельная? Ежели брюхо у ее. И подхвостица, старуха говорит, большая стала.

— Мало ли что старуха наговорит,— не унимался Олеша.— Она, старуха-то, может, и не разглядела по-настоящему.

— Стельная корова.

— Какая же стельная? Ты ее до ноября к быку-то гонял? Ты посчитай, не поленись, сколько месяцев-то прошло. Нет, парень, нестельная она у тебя, останешься ты без молока.

Я видел, что Олеша Смолин просто разыгрывает Авинера. А тот сердился всерьез и изо всей мочи доказывал, что корова обгулялась, что без молока он, Козонков, вовек не останется. Олеша нарочно заводил его все больше и больше:

— Стельная! Ты когда ее к быку-то гонял?

— Гонял.

— Да знаю, что гонял. А когда гонял-то? Ну, вот. Теперь давай считать...

— Мне считать нечего, у меня все сосчитано!

Козонков окончательно разозлился. Вскоре он посоветовал

Олеше думать лучше о своей корове. Потом как бы случайно намекнул на какое-то ворованное сено, а Олеша сказал, что сена он сроду не воровал и воровать не будет, а вот он, Козонков, без молока насидится, поскольку корова у него нестельная, а если и стельная, так все равно не отелится.

Я сидел молча, старался не улыбаться, чтобы не обидеть Авинера, а он совсем разошелся и пригрозил Олеше, что все одно напишет куда следует, и сено у него, у Олеши, отберут, поскольку оно, это сено, даровое, без разрешения накошено.

— Ты, Козонков, меня этим сеном не утыкай,— говорил Олеша.— Не утыкай, я те говорю! Ты сам вон косишь на кладбище, тебе, вишь, сельсовет разрешил могильники обкашивать. А ежели нет такого закона по санитарному правилу — косить на кладбище? Ведь это что выходит? Ты на кладбище трын-траву косишь, покойников грабишь.

— А я тебе говорю: напишу!

— Да пиши хоть в Москву, тебе это дело знакомое! Ты вон всю бумагу перевел, все в газетку статьи пишешь. За каждую статью тебе горлонару на чекушку дают, а ты по суседскому делу хоть разок пригласил на эту чекушку? Да ни в жись! Всю дорогу один дуешь.

— И пью! — отрезал Авинер.— И пить буду, меня в районе ценят. Не то что тебя.

Тут Олеша и сам заметно разозлился.

— А иди ты, Козонков, в свою коровью подхвостицу,— сказал он.

Козонков и в самом деле встал. Пошел от бани, ругая Олешу, потом оглянулся и погрозил батогом:

— За оскорбление личности. По мелкому указу!

— Указчик...— Олеша взялся за топор.— Такому указчику хрен за щеку.

Я тоже взялся за пилу, спросил: «Чего это вы?»

— А чего? — обернулся плотник.

— Да так, ничего...

— Ничего оно и есть ничего.— Олеша поплевал на задубевшие ладони.— Всю жизнь у нас с ним споры идут, а жить друг без дружки не можем. Каждый день проведывает, чуть что — и шумит батогом. С малолетства так дело шло. Помню, весной дело было...

Олеша, не торопясь, выворотил гнилое бревно.

Теперь отступать было некуда, баню распечатали и волей-неволей придется ремонтировать. Слушая неторопливый разговор Олеши Смолина, я прикинул, сколько дней мы провозимся с баней и хватит ли у меня денег, чтобы расплатиться с плотником.

Олеша говорил не спеша, обстоятельно, ему не надо было ни поддакивать, ни кивать головой. Можно было даже не слушать его, он все равно не обиделся бы, и от этого слушать было еще приятнее. И я слушал, стараясь не перебивать и радуясь, когда старик произносил занятные, но забытые слова либо выражения.

— Весной дело было. Мы с Козонковым точные одногодки, всю дорогу варзали вместе. В деревне было нашего брата малолетка что комарья, ну и Козонковы братаны тоже крутились в этой компании. Как сейчас помню, оба в холщовых портках. Портки эти выкрашены кубовой краской, а рубахи некрашеные. Ну, конечно дело, оба босиком. Черные, как арапы. Звали их соплюнами. У старшего, Петьки, бывало, сопля выедет до нижней губы. Ему лень вытереть, возьмет да и слизнет — как век не бывало. Вот, помню, кажись, на третий день пасхи вся наша орда высыпала на Федуленкову горушку. У нас такая забава была — глиной фуркать. Прут ивовый вырежешь, слепишь птичку из глины и фуркаешь, у кого дальше. Далеко летело, у иного и за реку. Чем меньше птичка да чем ловчее фуркнешь, тем лучше летит. А наш Виня взял да насадил на прут целую гогырю с полфунта весом, все надо было, чтобы лучше других, размахнулся да как даст. Прямехонько в Федуленково окно и угодил. Стекло так и брызнуло, обе рамы прошиб. Мы все и обмерли. А после очнулись да бежать.

В это время Федуленок сам не свой из избы выскочил, того и гляди, убьет кого. Мы в поле, врассыпную, босиком по вешним-то лужам. Бегу я, бегу да и оглянусь — вижу, Федуленок за нами бежит. В сапожищах бежит, в одной рубахе, чую, что сейчас мне крышка, вот-вот раздавит. «Стой, кричит, прохвост, я тебе все одно настигну». Ну и настиг. Взгреб он меня лапищами, да и давай меня корежить, ну чисто медведь-шатун. Ничего не помню, помню только, что ревел, как недорезанный. Федуленок меня прикончил бы, как пить дать прикончил, не прибеги мой отец на выручку. Отец-то, видать, соху оставил в борозде, да и прибежал мою жизнь от смерти спасать.

Федуленок от меня и отступился, а мне, думаешь, легче? От отца мне еще больше попало. Кабы я стекло разбил — не обидно. А ведь как все получилось? Как Винька от Федуленка выкрутился? Соплюн соплюном, а когда припекло, так соображенье и появилось. Да еще и хвастает перед нами-то: я, мол, когда Федуленок на улицу выскочил, никуда не побежал, на месте стою, да приговариваю: «Вон оне побежали-то! Вон оне в поле побежали!» Ну, Федуленок и ринулся за нами всей своей массой да меня и настиг. А Виня — хоть бы ему что — остался целым и невредимым. Оне оба с Петькой лежни были, ничего им не далось. Умели только дрова пилить, за ручки пилу дергать. Отец к делу их особо не приневоливал, да и сам, бывало, не переломится на работе. Все больше рассуждал да на печке зимой грелся, а летом не столько сено косил, сколько рыбу удил. Оне с моим отцом пришли с японской войны в один день. Мой тятька хромой пришел и весь в дырках, как решето, а Винькин отец целехонек. У нас и избы рядом стояли, и земли было поровну — у обоих кот наплакал. Помню, мой тятька и давай Козонкова уговаривать, чтобы, значит, на паях

подсеку в лесу рубить. Козонков ему говорит: «А на кой фур мне эта подсека? На мой век и прежних полос хватит. А ежели сыновья вырастут, так пусть сами и смекают. Я им не мальчик, об ихней доле заботиться». Так и не согласился Козонков. Отец у нас ту подсеку один вырубил. Ночей, грешник, не спал, с глухим лесом сражался. Сучья жег, пеньки корчевал по два лета. Посеял льну. Лен вырос — пуп скрывает, помню, и в престольный праздник велел теребить, на гулянку не отпустил. С этого льну он и лошадь — Карюху — завел новую, хорошую. Бывало, берег ее, как невесту, даже и с пустого воза слезал, ежели в гору. Только на ровном месте да под гору и садился на дровни. Ну, конечно, и нас учил этому,— бывало, в галоп в поскотину век не прокатишься.

Ну, а Козонковы-братаны? Оне, бывало, свою Рыжуху, как собаку, батогом дразнили. Хорошая была тоже лошадь, да довели, напоили один раз с пылу в проруби, Рыжуха и стала худеть; помню, жалко ее, стоит она, бедная, стоит и целыми часами плачет. Отец Козонков ее цыганам и променял. Те ему дали в придачу поросенка-пудовичка. А выменял такого одра, что не то что пахать, так и навоз-то возить на нем нельзя. Скоро этот цыганский мерин и сдох от старости. Козонкову это хоть бы что, только насвистывает. Бывало, доживет до тюки: кусать совсем нечего. Ну, и пошел денег занимать. У одного займет, у другого, у четвертого займет да второму отдаст, так и шло дело.

Один раз подкатило такое время, что у всех назанимал. Чисто место, некуда больше идти. Остался один Федуленок. Пришел Козонков к Федуленку денег взаймы просить. Маленькая печка в избе топится, сели они у печки, цигарки свернули. Козонков денег попросил, достал из кармана спички. Чиркнул спичку, прикурил. «Нет, Козонков, не дам я тебе денег взаймы!» — Федуленок говорит. «Почему? — Козонков спрашивает.— Вроде я свой, деревенский, и за море не убегу».— «За море не убежишь, сам знаю, только не дам, и все». Сказал так Федуленок, уголек выгреб из печи, положил на ладонь да от уголька и прикурил. «Вот, говорит, когда ты, Козонков, научишься по-людски прикуривать, тогда и приходи. Тогда я слова не скажу, из последних запасов выложу».

На что был справный мужик, иной год и трех коров держал, а прикурил от уголька, спичку сберег. Так и не дал денег, а с Козонкова все как с гуся вода. Пошел из избы: «Мне, говорит, и денег-то не надо было, это, говорит, я твою натуру испытывал». Уж какое не надо!

Помню, нам с Винькой было уж по двенадцать годов, приходскую школу окончили. Винька на своем гумне все ворота матюгами исписал, почерк у него с малолетства как у земского начальника. Отец меня только под озимое пахать выучил. Карюху запряг, меня к сохе поставил и говорит: «Вот тебе, Олеша, земля, вот соха. Ежели к обеду не спашешь полосу, приду — уши все до одного оборву». И сам в деревню ушел, он тогда этот, нынешний дом рубил. Я — велик ли еще — за соху-то снизу, сверху-то мал ростом.

Но, милая, пошли-поехали! Карюха была умница, меня пахать учила. Где неладно ворочу, дак там она меня сама и выправит. Вот иду и дрожу, не дай бог соха на камень наедет да из земли выскочит. Ну, пока бороздой прискакиваешь, вроде и ничего, а как до конца дойдешь, когда надо заворачиваться да соху-то заносить, так сердце и обомрет. Мало было силенок-то, аж из тебя росток выходит, до того тяжело. Комары меня кушают, на разорке [1] так и прет в сторону. Ору я это, землю родимую, ору, новомодный оратай, уж и в глазах у меня потемнело. Карюха на меня поглядывает, видать, и ей жаль меня, малолетка. Полосу-то вспахал, да и чую, что весь выдохся, руки-ноги трясучка обуяла, язык к небу присох. Лошадь остановилась сама. А я сел на землю да и пышкаю, как утопленник воздух глоткой ловлю, а слезы из меня горохом катятся. Сижу да плачу. Не слыхал, как отец подошел. Сел он рядом да тоже и заплакал. Голову руками зажал: «Ох, говорит, Олешка, Олешка».

Ты, Костя, сам посуди, семья сам-восьмой, а работник один, да и то японским штыком проткнут. «Паши, говорит, Олеша, паши, уж сколько попашется». Ну, делать нечего, надо пахать. Ушел отец, а я и давай пахать вторую полосу... У Козонковых полосы рядом с нашими. Козонков-отец пашет, а Винька за ним ходит да батожком навоз в борозду спехивает. Вижу, ушел Козонков в кусты, а Винька ко мне: «Олешка, говорит, до того мне напостылело навоз спехивать. Оводы, говорит, заели, так бы и убежал на реку». Я говорю: «Тебе полдела навоз спехивать, я бы на твоем месте не нявгал» [2].— «А хошь, говорит, сейчас на слободе буду?» Пока отец в кустах был, наш Виня взял с полосы камень, да и подколотил у сохи какой-то клинышек. Отец пришел, а соха не идет, да и только. Все время из борозды прет. Козонков соху направлять не умел. Пошел Федуленка просить, чтобы тот соху направил. Пока то да се, глядишь, и обед, надо лошадей кормить, Винька и рад. Так он этому делу навострился, что, бывало, отец у него только немного замешкается, Винька раз — и клинышек подколонул. Соха не идет, и Виньке свобода полная. На сенокосе все на солнышко глядел, когда оно к лесу опустится. А то пойдут с маткой дрова рубить. Виньке надоест, возьмет да и спрятает маткин топор. Мохом его обкладет, топор-то...

Олеша замолчал, чтобы сделать передышку. Он вытесывал очередную лату для вывешивания бани. Мне подумалось, что разговоры отнюдь не во всех случаях мешают работе. В этом случае даже наоборот: разговор у Олеши Смолина как бы помогал работе плотницких рук, а работа в свою очередь оживляла разговор, наполняя его все новыми сопоставлениями. Так, к примеру, когда выставляли раму и разбили стекло, Олеша тут же и вспомнил, как

---

[1] Разорок — последняя узкая лента невспаханной земли, после которой остается лишь борозда.

[2] Нявгать — стонать, капризничать.

попало ему за то разбитое Винькой стекло. С того стекла и пошло у него шире, дальше... Это была какая-то цепная реакция. Олеша говорил, не останавливаясь. И я почувствовал, что теперь было бы уже неприлично не слушать старого плотника.

6

— Ну вот, я Виньке Федуленково стекло никак не мог забыть и не один раз ему пенял, а потом мы с ним и разодрались в первый раз. «Я, говорю, тебе стукну за это стекло».— «Вали!» — «И вальну!» — «А вот вальни!» Сцепились мы на ихнем гумне. Дома узнали — мне опять дера. Пошто, дескать, дерешься. Все деры из-за него, сопленосого. Один раз слышу, отец с маткой разговаривают: мол, Козонкова пороть собираются. Так, думаю, этому Вине и надо, не все меня одного пороть. Только слышу, что пороть-то будут не Виньку, а евонного отца: подати не платил, вот ему и присудили. А мне жалко стало. Ну, ладно, малолетка порют — нам это дело по штату положено. А слыхано ли дело, Платонович, больших мужиков да вицами по голому телу? Бородатых-то? Волостной старшина у нас был, звали Кирило Кузмич. Маленький мужичонка, много годов бессменно в управе сидел. И расписываться не умел, крестики на бумаге ставил, а имел от царя треугольную шапку и кафтан за выслугу лет. Писарь, да урядник, да этот Кирило Кузмич — вот и все начальство. На целую волость — три. А в волости народу было пятьсот хозяйств.

Вот этот Кирило Кузмич все время Козонкова и выгораживал, пока из уезда не приехал казацкий контроль. У кого корову описали за подати, у кого телушку, у Козонкова описывать нечего — назначили ему деру. Меня на эту картину отец не отпустил, говорит: нечего и глядеть на этот позор, а Винька бегал. Бегал глядеть да еще и хвастался перед нами: мол, видел, как тятьку порют, как он на бревнах привязанный дергался... Эх, Русь-матушка! Ну, выпороли Козонкова-отца, а он у писаря денег занял, косушку купил. Идет домой да поет песни с картинками... Волосья на одну драку осталось, а он песни похабные шпарит... Да.

Помню, начали, значит, и мы с Винькой на девок поглядывать. По тринадцать годов обоим, зашебаршилось у нас, иное место тверже кочедыка. Помню одно событие осенью, ближе к покрову. Ночи темные, вся деревня как в деготь опущена. Я дрова у гумна складывал, приходит ко мне Винька. «Иди-ко, говорит, сюда, чего-то скажу».— «Чего?» — говорю. «А вот иди-ко...» Я гумно на замок запер, а дело в субботу было, и на улице уже темно стало. Воздух этот такой парной от тумана, слышно, как дымом пахнет, бани только что протопились. Виня и говорит шепотком: «Пойдем, Олешка, со мной».— «Куда?» — «А вот сейчас увидишь куда».

Ну, я иду за ним. Огород перелезли, а темно, ткни в глаз — ничего не видно. Еще один огород перелезаем, вдруг как треснет

подо мной жердина. Виня на меня: «Тише, говорит, дурак, иди, чтобы не слышно было!» Подхожу ближе, как вор, вижу строение какое-то, вроде бани Федуленкова. В окошечке свет, лучина горит, слышно, как от воды каменка шипит, Федуленковы девки парятся, разговаривают.

Винька пригнулся да из-за угла, как кот, к окошку-то. Шапку нахлобучил и в баню глядит. Я стою сам не свой. Винька поглядел, отодвинулся, да и шепчет: «Гляди теперь ты, Олешка, только недолго, а я еще потом погляжу!» Ну, я ничего не помню. К окошку меня, как магнитом, так само и волокет, дрожу весь, как глянул в баню-то, будто в кипяток меня окунули. Чувствую сам, что нехорошо делаю, а и оторваться нет никакой силы-возможности. Девки Федуленковы с лучиной моются, одна Раиска, другая Танька — помоложе. Танька наша ровесница, румяные обе, розовые. Вижу, Раиска новую лучину от старой зажигает, стоит на самом свету, ноги что кряжи. У Таньки, у той титечки, как белые репки. Меня всего так и трясет, а сзади Винька вот за полу дергает, вот дергает: «Дай, говорит, теперь мне». А ведь оконышко-то еле во ставу стоит, стекла на лучинках чуть держатся, и весь наш хитрый шорох слышно. Девки-то присели да как завизжат! Мать честная, бросился я от окошка-то да на Виньку, да через него перелетел, носом в холодную грядку. Кинулись мы от бани, как наскипидаренные, по капусте, через изгородь да в темное поле! Крюк с версту обогнули да в деревню с другой стороны. Утром отец будит: «Олешка, говорит, где у тебя ключ-то от гумна?» — «Как, говорю, где, в пинжаке».— «Где в пинжаке, ничего нет в пинжаке». Весь сон с меня так и слетел. Искали,— нет ключа, хоть стой, хоть падай. «Потерял, говорю, где-то».

Пришлось отцу из гуменных ворот пробой вытаскивать, а вечером приходит к нам Федуленок. Отец ушел на ночь, овин сушить. Дома была одна матка, Федуленок и говорит: «Возьми, Олешка, свой ключ да больше не теряй. В бане-то мылся вчерась?» — «Нет,— матка моя говорит,— баню-то мы вчерась не топили, каменку надо перекладывать». Федуленок говорит: «Оно и видно, что не топили». А сам вот усмехается. Я на скамье как на гвоздях сижу, готов сквозь землю провалиться, и уши у меня так и горят. Федуленок ушел, ничего не сказал, только головой покачал. Век ему этого не забуду, что не сказал никому про баню. Только иногда после, бывало, увидит, усмехнется, да и скажет: «Баню-то не топил?» Потом он от меня отступился и больше не вспоминал это дело. Вот, брат Костя, какая баня со мной была...

Олеша по-молодецки воткнул топор. Синие стариковские глаза глядели спокойно и мудро, в то время как нос и рот изображали нескрываемое озорство.

— В молодости все мы люди только до пояса.

Олеша закурил. Постигнув наконец смысл его пословицы, я спросил:

— Покаялся после?

— Попу-то?

— Да.

— Нет, брат, я к тому времени и на исповедь не ходил. Уж ежели каяться, так перед самим собой надо каяться. Противу своей совести не устоять никакому попу.

— Ну, допустим, совесть не у каждого.

— Оно правда, не у каждого. Только без совести жить — не жить. Друг дружку переколотим. Вот тятька мой, покойная головушка, был хоть и не больно строг, а любил в людях сурьезность. И деткам потачки не делал, ни своим, ни чужим. В словах у него тоже разницы не было, что с большими говорил, то и от маленьких не скрывал. Да и скрывать-то, чего скрывать? Вся евонная жизнь была как на блюдечке, дело ясное. Работал всю жизнь до смертного часу, а кто работает, тому скрывать нечего.

Помню, на масленицу пекла матка овсяные блины. Сперва отец наелся, после я за стол. По семейному чину и старшинству. Отец сидит, хомут вяжет да на меня поглядывает. Я блинов с рыжиками да с маслом наелся, хочу из-за стола встать. «Стой, Олешка,— тятька говорит.—Сколько блинов штук съел?» — «Пятнадцать, говорю».— «А ну, садись, ешь еще!» — «Не хочу, тятя».— «Ешь!» Я, значит, опять ем, а матка пекет, только сковорода шипит. «Сколько съел?» — отец спрашивает. «Двадцать пять, говорю».— «Ешь!» Я сижу, ем. «Сколько?» — «Тридцать два стало».— «Ешь!» Я ем, а отец хомут отодвинул и говорит: «Ну как, Олеша, не перевалил еще на пятый десяток?» — «Нет, тятя, до сорока два с половиной осталось». Сидим. «Дотянул?» — «Дотянул, говорю, тятя». А сам еле пышкаю. «Ну, коли дотянул, так давай, матка, собирай ему котомку, пусть в Питер с мужиками идет!» Матка в слезы. Куда, дескать, малолетка плотничать, тринадцать годков еле сбылось. Отец встал да и говорит: «Ты, матка, свои звуки и слезы прикрой, а Олешке неси новые катанки». Тут я, голубчик, и нагулялся, натешился. Только одну ночку дома и ночевал.

До Питера ехали двенадцать ден. Ехали и по ночам, лошадей покормим — и опять в путь. Иду за роспусками да сам себя ругаю: пошто, думаю, мне, дураку, было те два с половиной блина лопать? Сидел бы сейчас на теплой беседе да куделю у девок из прялок дергал. Про Таньку как вспомню, так у меня сердечишко-то и лягнет под шубой. А полоз вот скрипит, лошади фыркают, кругом темный лес. По елкам красный месяц колобом катится, волчица перекличается со своим серым хахалем. Мне и жаль самого себя, и плакать противно, слезы перерос, до крепости не дорос.

Приехали мы в Питер. Две фатеры испробовали, на третьей остановились. Первый сезон за одни харчи работал — век не забыть этот первый сезон, рубили какую-то хитрую каланчу. Шестиугольная, помню, вроде колокольни, купцу, вишь, взбрело в голову. Ярыка мужик, да Коля Самохин из нашей деревни, да Ондрюшонок Миша — всех девять человек, я десятый, довесочек. Топор у меня был свой. Помню, Ондрюшонок мне шумит: «Олешка! А ну, вставай

к бревну. Окантуй сперва да горб стеши». Я, значит, топорик взял, приноровился, ноги расстановил пошире. Раз тюкнул, другой. А бью-то все сбоку, не по слою тешу, а поперек, по-бабьи. Сбоку, одно слово, и ничего у меня не подается. Гляжу, Самохин уж второе бревно начал, а я и первое до половины не доехал. Весь вспотел. Вот Ондрюшонок, вижу, топор воткнул, подходит ко мне. «Олешка! — говорит.— Сбегай-ка вон к Ярыке, попроси у его бокового правилка. А то больно уж ты, парень, неровно тешешь-то». Я прибежал к Ярыке: «Дядя Иван, меня Ондрюшонок к тебе послал, дай на время боковое правилко».— «Ладно, говорит, батюшко, сейчас дам. Вон посиди пока, подожди». Вижу, взял обрезок, ровный такой, в сажень длиной. Повертел, повертел, да и спрашивает у десятника: «Как думаешь, Миколай Евграфович, этот подойдет на правилко?» Десятник говорит: «Нет, Иван Капитонович, этот, пожалуй, тонок будет». Я стою, жду, Ярыка другой обрезок взял потолще. «Иди, говорит, Олешка, поближе». Я подошел, а он как начал меня этим правилком по бокам охаживать! Одной рукой меня за шкирку держит, другой правилком работает. Я кручусь, верчусь, а боковое правилко по мне ходуном ходит... Выправили. После этого я сбоку уж бревно не тесал, а тесал вдоль. Считай пятьдесят годов плотничаю.

Олеша смачно откашлялся.

— Как думаешь, не хватит для первого разу? Давай-ко, брат Платонович, шабашить.

Я был от души рад этому предложению, и вскоре мы разошлись по домам.

Впервые за много лет я заснул как убитый, и во сне, помимо сознания, всю ночь в сладкой усталости ныли обновленные мускулы.

7

После стремительной стычки с Олешей Авинер к бане не показывался. Однажды Олеша сказал мне, что в гости к Козонкову приехала дочь Анфея, да еще и с ребенком. Олешу на чай не пригласили... Баня продвигалась медленно, и вот я твердо решил сходить к Авинеру, чтобы позвать плотничать, а заодно и примирить его с Олешей, погасить стариковскую свару.

Как-то утром я тщательно выбрился и с чувством третейского судьи обул валенки. Накануне жажда добра долго копилась во мне, и к Авинеру я направился бодро и решительно. Правда, эта бодрость вскоре сменилась некоторой растерянностью: на тропке к Авинерову дому сидел громадный волкодав. Он сонливо, молча щурился, и я на всякий случай сунул руки в карманы. Черт знает, что на уме у этого пса. Но как раз этого-то и не надо было делать. Мое движение пес воспринял как подготовку к нападению и встал с жутким рычанием. Тогда я вытащил руки и, сознавая свое уни-

жение, потряс в воздухе кистями, убеждая, что в них ничего опасного нет и что я — существо доброй воли...

В избе у Авинера пахло новорожденными ягнятами. Сам Авинер Павлович Козонков сидел в шапке на углу стола и читал «Родную речь» для третьего класса. На печи, стараясь не остановиться, ненатуральным голосом, равнодушно и упрямо ревел внук Авинера Славко. Здешний внук, не приезжий, как выяснилось позднее.

— Авинер Павлович! Привет! — сказал я с несколько излишней веселостью и тут же слегка покраснел от этих излишек.

Козонков сперва важно подал мне свою ладонь и давнул мои пальцы. Мне тоже пришлось легонько давнуть руку Авинера. Но Козонков давнул еще раз, а я этого не ожидал и с ощущением должника сел на лавку.

Помолчали. Славко на печи настырно ревел, хотя в интонации голоса чуялся интерес к моему приходу.

— Метет,— сказал я и подумал, что вряд ли нынче брошу курить.

— Метет,— сказал Козонков.

— Метет. Не холодно в избе-то?

— У меня тепло.— Козонков положил книгу.

— Вот зашел...— Я уже чувствовал, что начинаю теряться.

— Дело хорошее.

— ...посидеть.

— Хорошее дело.

Славко ревел. Пауза оказалась такой мучительной, длинной, что я вспомнил анекдотический диалог двух старух, которые встретились в областном центре на главной площади. Одна остановила другую и спросила, обрадованная: «Это, Матрена, ты?» — «Да я-то Матрена, а ты-то кто?» — «Да я-то Евгенья, из Гридина бывала».— «Ну так ведь и я из Гридина, узнала меня-то?» — «Нет, милая, не узнала»,— сказала Евгенья и пошла дальше. Я сделал попытку завязать разговор.

— Не бывал, Авинер Павлович, на озере?

— Нет, брат, на озере не бывал, на все время надо.

— Да, на все время надо, само собой.

— Время, да и времечко,— Авинер кашлянул.

— Оно конечно...

— То-то и оно.

— Да-да...

Я с тоской оглядел избу. Славко продолжал свой рев упорно и планомерно, словно дал подписку реветь до самой весны. С потолка, оклеенного газетами, глядели аншлаги и шапки, набранные чрезвычайным шрифтом, пол был не метен. На стенке ехидно тикали часы, приводимые в движение не столько гирей в виде еловой шишки, сколько привязанным к ней старинным амбарным замком. Рядом с часами висела фанерка — самодельное объявление «не курить, не сорить», причем крупно нарисованная

частица «не» была общей для обоих глаголов и стояла впереди них.

Положение было глупым до крайности, но меня неожиданно выручила Евдокия — пожилая Авинерова соседка. Она специально, говоря ее языком, натодельно, пришла глядеть Авинерову дочь Анфею, приехавшую с ребенком в отпуск. Однако Анфея, как выяснилось, вместе с мальчишкой и матерью ушла к родственникам в другую деревню, и заход у Евдокии вышел пустой. По этой причине Евдокия долго охала и сказала, что придет еще. Уходя, она подошла к печи, где сидел и ревел внук Авинера. Оказывается, ревел он еще со вчерашнего из-за того, что его не взяли в гости.

— Славко, ты все плачешь? — Евдокия всплеснула руками.— Утром была — ревел, и сейчас пришла — ревишь. Разве ладно? Отдохни, батюшко.

На печке затихло. Славко словно рад был, что его остановили. Он нерешительно вздохнул:

— Я, бауска, отдохну.

— Вот, вот, батюшко, отдохни,— ласково сказала Евдокия.

— А потом иссо буду.

— Потом еще поревишь, а сейчас отдохни,— Евдокия постояла, собираясь уйти.

— Ты, Евдокия, не в лавку пошла-то? — спросил Козонков.— Купила бы мне чекушку к чаю.

— Да как не куплю, знамо куплю. Купить не долго.

Авинер Павлович открыл шкаф и поскреб в сахарнице. Достал рубль с мелочью. Тут я догадался, что пришло время действовать, сунул в задний карман два пальца и быстро вытянул трешницу...

Лед был сломан. Евдокия ушла, а мы с Козонковым закурили «Шипку», мне стало как-то легче дышать, хотя Славко вновь захныкал на печке.

Козонков спросил, где я живу и сколько отпуск. В ответ на мои «двадцать четыре дня без выходных» Авинер выпустил дым и сказал, что раньше у подрядчика плотничали без всякого отпуска. Потом похвалил сигарету.

— Не думаешь, Авинер Павлович, курить бросать?

— А пошто? — Козонков закашлялся.— Не для того я привыкал, чтобы отставать. Бывало, ежели не куришь да в работу уйдешь, плотничать, дак прямо беда. Мужики сядут курить, а ты работай. Уж не посидишь. Мне вон дочка говорит: ты ведь умрешь от курева-то! А я говорю: умру, так меньше вру. Чего любишь, да от того и отстать, какое дело? Помню, пошли бурлачить, подрядились втроем, я да Степка.— (Я поначалу не мог догадаться, что третий был Олеша Смолин.) — По девяносто рублей с благовещенья до Кузьмы. Подрядчик свой, местный, холера. Работать велит и после солнышка. А я один раз сел и говорю, что после солнышка только на дураков работают. Топор за ремень — и пошел в избу. Руки вымыл, нет Степки. Чую, топоры стукают. Ну, думаю, я тебя проучу, работника, ишь выслуживается. У меня был товарищ из

местных, такой долбило, все, бывало, кур воровал. Подлезет в сумерки, схватит да как даст, из иной и яйцо выскочит. Вот, был пивной праздник, надо гулять идти. А в части харчей худо было, хозяйка скупая, все ножик под стол совала, чтобы мы, значит, меньше ели. Я, помню, еще до праздника слышу — ходит она на повети. Вот и говорю: «А что, ребята, стоит только топору влепиться — и скотина в доме не будет копиться!» Знаю, что слышала, только все равно кормит худо. Был, значит, у ее поросенок. Ушла один раз на работу и попросила меня, чтобы этого поросенка накормить. Я пойло на землю вылил, а в хлев-то зашел с хорошим колом. До того я довозил этого поросенка, он от меня на стены начал кидаться. Приходит хозяйка. «Покормил, Авинер, животинку-то?» — «Добро, говорю, поел». Вечером она пошла в хлев, а поросенок-то от нее на стены. Я говорю: это, наверно, у его бешенство, надо колоть. Поохала, да пришлось резать. До того были шти хорошие...

Вскоре пришла Евдокия с поклажей. Козонков выставил на стол свои «шти», которым было весьма далеко до тех, хозяйкиных. Евдокия ушла из скромности, а Козонков позвал Славка обедать. Славко слез, но реветь не перестал. Тогда Авинер налил в чашку сколько-то водки и подал мальчишке. Славко перестал реветь и потянулся ручонкой, чтобы чокнуться. В другой ручонке была зажата конфета...

Козонков строго пригрозил внуку:

— Не все сразу!

Я пытался протестовать: мальчишке было всего шесть или семь. Но Козонков даже не повел ухом и принял протест, как шутку. Я чокнулся с обоими... Славко глотнул, судорожно дернулся, лицо его исказилось, но водку он все же удержал внутри и с радостным испугом поглядел сперва на деда, потом на меня.

Слезы ручьями потекли из глаз мальчишки, но он улыбался с восторгом победителя. Я, плохо соображая, продолжал слушать Авинера...

8

— Вот, значит, пивной праздник. Похлебали мы моих штей, а я взял, да и сунул в карман точильный брусок. Олеха гулять не пошел, а мы со Степкой. Пошли, вышли в поле. Я брусок-то вынул да как дал в затылок Степке-то, сбил с ног, да и давай молотить. Дак он, чудак, еле из-под меня вывернулся, соскочил да бежать. На другой день прихожу на работу, мне подрядчик говорит: иди куда хошь, мне таких боевых не надо. Куда деваться?

Ладно. Подрядились мы со Смолиным к купцу, церкву он ладил. Неделю-полторы пожили, брёвна на церкву тешем. Один раз пошли гулять к девкам. А денег нету, только полтинник. Я говорю: «Дай, Олеха, полтинник-то, я хоть вон девкам конфет куплю». Он пошел, а я говорю: «Иди, я догоню», — сам захожу в

лавочку. Уж темно стало. В лавочке лампа горит, никого нету. Я, чудак, что делаю? Я постоял, постоял, да — раз с прилавка штуку ситца. Под полу этот ситец запехал. Потом взял гирю, да и давай колотить о прилавок-то. «Есть, кричу, тут кто?» Выбежал хозяин, я ему и говорю: «Вот зашел, а в лавке нет никого».— «Ох, говорит, спасибо, приказчик в гости ушел, лавку не запер. Ведь меня бы, говорит, обчистили, хоть ты, парень, меня выручил. Чего тебе за это, спрашивай сам». Я говорю: «Мне бы маленькую да папирос, ну еще конфет каких, для праздника». Он мне две маленьких, папирос три пачки да еще полтора фунта конфет наворотил. «Ой, говорит, тебе спасибо, ведь меня бы могли обчистить!»

...Козонков успевал наливать в стопки и беспрестанно курил. Тем временем зажегся свет, включили электростанцию.

— Не сделал лампочку Ильича-то? — спросил Авинер.— Вон у нас так шесть лампочек, и на сарае горит, и в хлеву.

Козонков выпил и продолжал рассказывать:

— Ну, я из лавочки вышел да бегом. Олешу догоняю, гляди, говорю, какая депутация. Он и глазам не верит. Сели на канаву. «Пей»,— говорю. Он не пьет. «Верни, говорит, все обратно». А для чего дано, чтобы обратно нести? Ну, выпил. А я ему из-под полы еще и штуку показываю. Он перепугался, я ему еще налил. Тут шла телеграфная линия. Я говорю, давай смеряем, хватит ли не хватит от столба до столба. Давай мерить. Скрутили. Я и говорю: «Придем в деревню, я пьяным прикинусь, а ты меня ругай, вот, мол, дурак, все деньги ухлопал, для чего штуку купил?» Недоглядели мы, что, когда штуку мерили, ехал кто-то на тарантасе. На другой день — раз, урядник! И пошло следствие. Олешу моего таскают, а я ночевал тайно в сеновале. Ему, дураку, нет бы струментик собрать да уйти потихоньку. А я думаю: нет, голубчики. Ночевал в сеновале, что делать? Денег нету. А церкву как раз только заложили. Я ночью колышком бревна-то отворотил, да все деньги, какие под углы-то были накладены, и собрал. И по рублю было, и по полтиннику, насчитал — семь рублей с копейками, а билет на паровоз стоит шесть рублей. На другой день приехал купец. Углы-то у заклада проверили — нет денег. Вижу, опять кладут. Ну, думаю, хорошо как, это мне на харчи. Только стемнялось — я к церкви. Хотел колышком бревно-то отворотить, а мне как хрястнут по спине, так у меня и в глазах круги. Сторожей, вишь, поставили. Еле успел отскочить да через канаву, да за гумно в неизвестном направлении. Свист, крик сзади, а я бегом да на станцию, ночи были темные. И топор с котомкой на квартере оставил, уехал домой.

...Козонков кинул окурок на пол и налил еще. Выпил уверенно, словно в награду за тот удачный ночной побег.

— Спина, правда, долго болела, стукнули чем-то березовым.

— Березовым?

— То ли коромысло, то ли еще что. Приехал домой, денег ни копеечки не привез, сказал матке, что обокрали в дороге.

...Я взглянул на старика: говорить об Олеше уже не было смысла. Козонков был пьяный и рассказывал про свою молодость. Я молча слушал, дивясь его памяти, а он выпил опять и вдруг надтреснутым, старчески тоскливым голосом затянул песню. Он пел печально про то, как по винтику, по кирпичику растащили целый завод, как товарищ Семен встречался с невестой «где кирпич образует проход» и как потом снова собирали завод по винтику. Как раз в это время и вернулись из гостей Авинерова старуха и дочь Анфея с ребенком. Козонков не обратил на их приход никакого внимания. «Стал директором, управляющим, на заводе товарищ Семен»,— пел он, клоня сухую седую голову.

— Сам-то ты Семен, вишь, нахлебался опять и лыка не вяжет,— сказала Авинерова старуха.

— А кто хозяин в доме — я или курицы? — Козонков сделал попытку стукнуть по столу кулаком.

...Анфея была чуть постарше меня. Помню, как она приезжала с лесозаготовок и ходила на игрища вместе с Олешиной дочкой Густей. Сейчас она жеманно поздоровалась и ушла за перегородку. Мальчишка, ее сын, с ходу, не раздеваясь, начал сосредоточенно возиться с каким-то колесом. Он не глядел ни на кого. Подошел к столу и, никого не спросясь, взял две конфеты. Анфея вышла из-за перегородки уже не в валенках, а в туфлях и в капроне. Мальчишка фамильярно дернул ее за руку, басом спросил:

— Мам, а клопы летают?

— А ну, атступись! — отмахнулась Анфея, но мальчишка и сам уже забыл про свой вопрос. Она, видно было, усиленно стремилась говорить по-московски, на «а», однако изредка из нее прорывалась родная стихия. Один раз она назвала стакан стоканом.

Времени было уже много, и Козонков спал, уткнувшись головой в стол. Потухший окурок торчал меж тонких, не по-крестьянски белых пальцев. Я попрощался и пошел домой.

9

Наутро Олеша на баню не явился. Вот черт, старый колдун! Обиделся за то, что я сделал визит к Авинеру. Конечно, это Евдокия постаралась еще вчера, и вся деревня узнала о моей встрече с Авинером. Олеше доложили все подробности. Сельская, так сказать, принципиальность...

Почему-то мне стало весело.

Теперь, после недельного затворничества, в холостяцкой своей юдоли, я знал, что посуду лучше мыть сразу после еды, а выметать сор из избы удобнее, когда пылает русская печь. Потому, что пыль вытягивается в трубу. Правда, как раз когда топишь печь, хлопоча со всяким хозяйством, как раз тогда и набирается в избу еще больше всякого сору, который снаружи пристает к ногам, а в

избе обязательно отваливается. Все же посуду мыть лучше сразу... Поэтому, чтобы не затягивать конфликт, я двинулся устанавливать отношения с Олешей.

Смолин поздоровался как ни в чем не бывало. Старик вслух читал вчерашнюю газету. Он отложил чтение и положил очки в допотопный футляр.

— Бог ты мой, иной раз задумаешься, даже дух заходится...

— ?

— ...а сколько на земле должностей всяких. Начальники, счетоводы, заместители, заведующие. Плотники. Где государство и денег берет?

— А толку нет, так в няньки иди,— смачно сказала Настасья. Она сидела довольно близко и сбивала мутовкой сметану.— Люди вон учатся по пятнадцать годов, читают все заподряд. Думаешь, легко голове-то?

— Читака...— Олеша даже отодвинулся.— Разве я про то говорю?

— А про чего?

Но Олеша не удостоил жену ответом. Словно сожалея, что дал себя втянуть в пустой разговор, он обратился ко мне:

— Вот, друг мой, на баню я больше не ходок.

— Почему?

— А вишь, приказ из конторы вышел, надо ветошный корм идти рубить. Сегодня бригадир зашел, вот хохочет. «Все, говорит, дедко, хватит тебе халтуру сшибать, иди в лес».— «Что, говорю, уж донеслось?» — «Донеслось»,— говорит. А сам вот хохочет. «Во, говорит, какая депеша поступила».

— Какая депеша? — я ничего не понимал.

— Депеша и депеша. На гербовой бумаге. Есть писаря в нашей деревне...

— Козонков, что ли?

Тут только я начал соображать, а Олеша беззвучно трясся на лавке. Не поймешь, то ли кашлял, то ли смеялся.

— Все, друг мой, по пунктам расписано.

Я не знал, что делать, и только моргал.

— А где бригадир?

— Да он на конюшню ушел только что. Беги, беги. Я схожу в лес часа на два. После обеда приду плотничать.

Олеша, кряхтя и охая, начал обуваться. Я побежал искать бригадира.

С бригадиром мы вместе учились до третьего класса. Вместе зорили галочьи гнезда и гоняли по деревне «попа», вместе прожигали штаны у осенних костров, когда пекли картошку. Потом он отстал от школы, а я кончил семилетку и подался из деревни, наши пути разошлись в разные стороны.

Еще издали я услышал слова добродушного мата:

— Но, но, стой, как велено!

Бригадир широкой Олешиной стамеской обрубал коню копы-

та. Лошадь вздрагивала, испуганно кося большим, по цвету радужно-фиолетовым, словно хороший фотообъектив, глазом. Бригадир поздоровался так, что будто только вчера потух наш последний костер. Я хоть и был немного этим разочарован, но тоже не стал делать из встречи события.

— Дай помогу.

— Да не! Уже все. Отрастил копыта, будто галоши. Что, Крыско, легче стало?

— Это что, Крыско?

— Ну!

Крыско я хорошо запомнил. По тому случаю, когда однажды мерин хитрым движением легко освободился от моей, тогда еще вовсе незначительной, тяжести и, не торопясь, удалился, а я, корчась от боли, катался на прибрежных камнях. Я улыбнулся тому, что сейчас во мне на секунду шевельнулось чувство неотмщенной обиды. Положил руку на горбатую лошадиную морду. Конь с благодарной доверчивостью глубоко и покойно всхрапнул, прислонился к плечу широкой длинной косицей нижней челюсти.

— Ну что, как живешь-то? — веселый бригадир взял сигарету.— Ребятишек-то много накопил?

В голосе бригадира чуялись те же интонации, с которыми он обращался к лошади, спрашивая Крыска, легче ли ему стало, когда обрубили копыта.

— Да как сказать... Дочка есть.

— Бракодел. Долго ли у нас поживешь?

— Двадцать четыре. Без выходных.

Бригадир слушал почтительно и искренне заинтересованно, и на меня вдруг напала отрадная словоохотливость. Я не заметил даже, как выложил все, что знал сам про себя. Собеседник, начав с количества и качества наследников, спросил, где и кем я работаю, какая квартира и есть ли теща, торгуют ли в городе резиновыми броднями и будет ли в ближайшее время война. На последний вопрос я не мог ответить. Что касается всех остальных, то рассказал все подробно. Сверстник не остался в долгу. Он говорил, что сегодня будет бригадное собрание, что в бригадиры его поставили насильно, что работать в колхозе некому, все разъехались, осталось одно старье; потом рассказал о том, как ловил с осени рыбу и простудился и как заболел двусторонним воспалением легких. Почему-то бригадир с особым удовольствием несколько раз произнес слово «двусторонним».

Крыско терпеливо дремал, дожидаясь, когда кончится разговор и когда понадобится что-то делать. Наконец я спросил насчет ремонта бани и той депеши, что пришла в контору по поводу Олеши. Бригадир засмеялся и махнул рукой, имея в виду Козонкова.

— А ну его! Он вон про магазин каждую неделю строчит жалобу. Привык писать с малолетства. Тут вот другое — конюха не могу найти. Иди ко мне в конюхи?

— Евдокия ж конюх.

— Да у ей грыжа.

— Ну, а старики? Олеша как, Козонков?

— К старикам теперь не подступишься, все на пенсии. Каждый месяц огребают. Нет, Козонков не пойдет, а Олеша — сторож на ферме.

— Так ты чего, сам и за конюха?

— Сам.— Бригадир завел Крыска в стойло.— Знаешь чего, давай объездим вон Шатуна? Я уж его разок запрягал.

В мои планы не входило объезжать лошадей. И все же я почему-то обрадовался предложению.

Шатун оказался здоровенным звериной трех лет от роду. Он обитал в крайнем стойле и, видимо, сразу почувствовал недоброе, потому что уж очень нервно вздрагивали его ноздри. Яблоки диких глаз неподвижно белели за ограждением.

Бригадир увел Крыска на место. Приготовил оброть, пропустил в кольца удил толстый аркан. Потом подволок новые дровни оглоблями к стене конюшни, снял брючный ремень и припас еловую палочку. Положил в карман.

— А это зачем?

— Губу крутить.

У меня слегка захолонуло под ложечкой, но отступать было некуда. Бригадир осторожно начал открывать дверцу, держа наготове оброть, начал подбираться к жеребцу и вкрадчиво, тихо уговаривать его:

— Шатун, ну что ты, Шатун, Шатунчик... У, б..., Шатунище!

Бригадир с матюгом выскочил из стойла, так как жеребец повернулся к нему задом. Дальше все началось сначала и кончилось тем же. Я с волнением следил за ними. В третий раз бригадир начал подкрадываться к жеребцу. Стойло было тесное, конь не успел увернуться, и бригадир накинул на него оброть, молниеносно окинул ремнем жеребячьи косицы. Лошадь встрепенулась, задрала могучую голову, но было уже поздно: кляцнуло о зубы железо. Бригадир вывел коня в коридор конюшни. Жеребец вздрагивал мышцами, тревожно всхрапывал и прял ушами, готовый в одну минуту сокрушить все на свете. Бригадир ласково, словно ребенка, уговаривал жеребца, трепал его по плечу, пока тот не перестал мерцать кровяным глазом.

— Теперь наш!

Однако «наш» не торопился добровольно идти в оглобли. С великим трудом, припрыгивая и изворачиваясь, мы надели на жеребца хомут, а когда я заправлял под хвост шлею, то почувствовал, что от страха на лбу выступила испарина. Мне показалось странным, что жеребец ни разу почему-то не дал леща копытом, не отпихнул мощным задом и даже не мотнул по лицу хвостом! Надели седелку, застегнули подпругу. Жеребец дрожал всем телом, но я не мог поверить, что боялся он именно нас с бригадиром.

Наконец завели зверя в оглобли. Шатун стоял грудью в стену, и теперь стал понятен бригадирский маневр: просто жеребцу неку-

да было податься и дровни бы пятились вместе с лошадью. Но вот когда надо было стягивать клещевины хомута супонью, Шатун вдруг попятился, захрапел и так вскинул голову, что бригадир на секунду повис в воздухе. Он заматерился, закусил губу, и я вдруг заметил у него в глазах то же, что у коня, тоскливо-дикое выражение, но рассуждать было некогда. Он подскочил и схватился за узду, что было сил потянул морду жеребца, выбрал момент и вновь накинул гуж на оконечность дуги, приладился стянуть хомут. И опять Шатун мощно рванулся: мы, как снопы, отлетели в сторону. Я, однако, не выпустил повод, и жеребца опять водворили в оглобли.

— Ну, сука! — просипел бригадир и вытащил из кармана свой брючный ремень.— Держи!

Я изо всех сил ухватился за подуздцы. Бригадир сделал из ремня петлю, просунул в нее нижнюю, мягкую, большую губу коня. Вынул из кармана палочку и начал ею закручивать ремень с зажатой в нем лошадиной губой. Жеребец весь, как бы самим своим нутром, задрожал и осел, храп его осекся, и глаза закатились, выворачиваясь наизнанку. Я всеми зубами и корнями волос словно и сам ощутил дикую лошадиную боль. В какой-то момент шевельнулась ненависть к бригадиру, который медленно, с искаженным лицом делал уже второй поворот закрутки.

— Крути! — прошипел бригадир.— Крути же, безмозглый черт, ну?

Я взял закрутку и сделал четверть оборота... Жеребец, оседая назад, ронял розовую кровавую пену, и я сделал еще четверть, ощущая всесветную боль, отчаяние и печальную дрожь животного. Бригадир быстро стянул хомут, молниеносно привязал к удилам вожжи и заорал, чтобы я быстрее прыгал на дровни. Я бросился на дровни, оглобля затрещала, жеребец метнулся вправо и понес, а бригадир не успел прыгнуть, и его на вожжах поволокло по снегу. На секунду жеребец, словно в недоумении от всего случившегося, замер в глубоком снегу. Этой короткой паузы бригадиру хватило, чтобы подскочить к дровням. Он плюхнулся прямо на меня, и мы понеслись вцелок, по снегам, ломая изгороди, давая свободу всей подстегнутой ужасом и болью энергии могучего бедного Шатуна. Теперь у меня было какое-то странное первобытное чувство безрассудства и самоуверенности — след от только что посетившей жестокости. Лишь потом задним числом накатилось недоуменное в чем-то разочарование, похожее на то, что испытываешь, поднимаясь по темной лестнице, когда заносишь ногу на очередную ступень, а ступени нет — и нога на мгновение замирает в мертвом пространстве.

Уже через полчаса до предела измученный Шатун ткнулся окровавленной мордой в жесткий мартовский снег. От жеребца валил пар; в мыльной пене промеж мощных ножиц он неподвижно лежал в глубоком снегу.

— Ну, теперь на большую дорогу,— сказал бригадир весело

и продернул ремень в свои полосатые штаны.— Побежит, как миленький. Не поедешь со мной в контору?

— Нет, не поеду.

Я не стал дожидаться выезда на большую дорогу и через огороды, по пояс проваливаясь в снег, вышел к деревне.

10

Олеша сдержал слово: после обеда он пришел ремонтировать баню. Мы не спеша стукали топорами. Погода за полдень потеплела. Солнце было огромным и ярким, снега искрились вокруг.

— Не клин бы да не мох, так и плотник бы сдох,— сказал старик, вытесывая клин.

Из новых Олешиных бревен мы уже вырубили один ряд. И вдруг старик между делом спросил, не рассказывал ли вчера Авинер про свою женитьбу.

Козонков про женитьбу не рассказывал.

— А что?

— Да ничего. Он, бывало, поехал со мной свататься. Я ему говорю: давай запряжем мои сани. Нет, заупрямился, запряг свои розвальни. Приехали, бутылку на стол, так и так, дело сурьезное. Деревня за десять верст. Невеста за перегородку ушла, а отец у ее и говорит: «Подождите, ребята, я вашей лошади овса сыпну, а потом уж и будем о деле судить-рядить». Винька в избе остался, а я тоже вышел на улицу, думаю, как там лошадь-то. Гляжу, невестин отец несет нашей лошади лукошко овса. Высыпал, да и глядит на завертки. Одну поглядел, другую. «Чьи, говорит, розвальни-то, твои, парень, аль жениховы?» Я не знаю, чего и сказать. Сказать, что мои, подумают, что жених в чужих розвальнях приехал, да и врать вроде нехорошо. «Жениховы»,— говорю. Зашли в избу, невестин отец и говорит Козонкову: «Нет, парень, пожалуй, нам не сговориться. Не отдам я тебе дочку».— «Что же, почему?» — Козонков спрашивает. «А вот,— это невестин отец,— вот повезешь мою девку к венцу, а у тебя на первой горушке завертка и лопнет. Девка-то, говорит, у меня ядреная, а у тебя завертки веровочные...»

— Так и уехали?

— Так и уехали. До того, друг мой, стыдно было, что хоть давись.

Я осмелел и спросил у Олеши, как женился он сам и вообще была ли у него в жизни любовь. Олеша, поворачивая бревно, отозвался:

— Любовь-та?

— Да.

— А как же. Была у меня и любовь, и корешковые сани были. Чтобы о масленице ее катать. Только она, моя любовь-то, за Печору от меня укатила.

— Что, сама уехала?

— Как тебе сказать... Пожалуй, не больно сама. И насчет масленицы — дело десятое оказалось.

И вдруг Олеша оживился, воткнул топор:

— Ты Ярыку-то помнишь? Здоровый был мужик, изо всего лесу. Он мне, бывало, говаривал: «Ты, Олешка, девок только не бойся. Будешь девок бояться — ничего путного из тебя не получится. Наступай, говорит, с первого разу. Она пищать будет, заверещит, а ты вниманья не обращай. Пожалеешь — пропало все дело, эта уж не твоя. Омманывать, говорит, не омманывай — это дело худое, любой девке уваженье требуется. А и на завтра не оставляй». Я, бывало, слушаю, а сам краснею, и стыдно, и послушать охота. Только слушать одно, а на практике другое, практика эта мне не давалась... Помню, ходил в бурлаки. Зимогорить не остался, пришел из работы через девять недель. Деньжонок отцу принес да себе кумачу на рубаху. Иду домой, сердчишко воробьем скачет, скоро на гулянку явлюсь. Таньку увижу. А какая Танька у Федуленка была? Уж я тебе скажу... Помню, еще маленькие ходили в мох по ягоды. И Танька с нами. Мы, значит, с Винькой брусницы не насбирали. Только гнездо нашли да по клюшке выломали. А Танька той порой знай собирает, набрусила корзинку будто шуткой. Домой пошли, Винька меня и подговаривает: давай ягоды у ее отымем да съедим. Ежели мы пустые домой идем, так пусть и она не хвастает. Танька в рев. Винька хохочет филином, ягоды отнимает, а мне хоть и жалко Таньку, все равно — в грабеже участвую. Съели мы эти Танькины ягоды, не съели, больше в траве рассыпали, и до того мне ее жалко стало... Таньку-то. Она, помню, идет за нами, дистанция порядочная, идет да ручонкой слезы размазывает. А Винька дразнит ее. И вот, друг мой, до того мне жаль ее, что охота этому Вине в ухо треснуть. А как треснешь, ежели и сам в евонной компании? С этой поры Танька мне больше всего и запомнилась, а когда у бани подглядывал, это уж дело новое.

Ну, к той поре, когда мы бурлачить начали, Танька стала сама как ягода. Выросла за одно лето, откуда что и взялось. Коса густая, ниже пояса. Уши белые. Глаза у ее были, я тебе скажу,— не глаза, а два омутка, то синие, то черные, глядят куда-то сквозь тебя, и не поймешь, что думают, будто забыли чего, а вспомнить не могут. Ростиком была чуть пониже меня, походкой легонькая: глядишь, и не знаешь, то ли Танька идет, то ли бегом бежит. До травки-муравки будто из милости ногами дотрагивается. И никогда назад не оглядывалась. Все у нее выходило само собой, неизвестно, когда петь-плясать научилась, когда ткать-вышивать, плести кружева. На белый свет будто вытаяла... Косить, бывало, пойдет либо суслоны жать, не идет — птахой летит, что с поля, что в поле. А песни эти дак у нее сами так и сыпались, ее будто не спрашивались, и каждая на своем месте. Бывало, на беседе нитку прядет... Да, это... Значит, пришел я из работы. На гулянку не

иду, жду, когда матка рубаху сошьет. На второй день рубаха сметана, на третий пуговицы осталось пришить. Округ матки, как поп округ аналою... Вот, помню, успеньев день, пошел в гости к божату в Огарково. Иду, ног под собою не чую, только цветки тросткой сшибаю. До деревни не дошел, встал, прислушался. А как ветер-то дунет, так меня весельем-то деревенским и обдаст, чую: в Огаркове уже гуляют вовсю, гармонь играет, девки за гармоньей по улице идут, поют. Федуленок тоже с моим божатом гостился, знаю, что Танька уж тут, боюсь в гости идти. В деревню зашел задами, подошел к божатову взъезду. Руки-ноги будто отнялись, а сердце в грудине готово ребро выломать, вот стукает на весь белый свет.

Ну, смелости насобирал, захожу в избу. Там уж пляска идет. Смотрю — Танька тоже на кругу. Как глянул... Мать честная, умирать буду, тот момент вспомню! Плечи у нее в красной фате, сарафан ласковый. Идет по кругу, ноги в полусапожках; меня будто и не заметила. А божатушка уж ко мне бежит за стол усаживать, божат пиво из ендовы наливает. Застолье роем гудит, гармонья играет, бабы пляшут. Поздоровался, взял стакан с пивом. «С праздником, говорю, гости хозяйские». Пью, а сам чую, как Танька поет: «Веселее бы попела, кабы дроля поиграл. Терпеливый ягодиночка, завлек и не бывал». Эх!.. А играл-то Федуленок, ённый отец, худенько играл. Мне до того охота гармонью в руки, что не могу. А надо посидеть, гостей с хозяевами уважить. Ну, налили первую рюмку, дождался второй рядовой, а бабы пляшут кружком, все вместе, Танька...

Весь вечер я, как в огне, сам себя не помню, не помню, как на улицу с гармоньей ходили, как плясал — не помню. Она меня нет-нет да и обожгет глазами. Провалиться на этом месте, один этот момент и был за всю жизнь, больше такого и не бывало. Как погляжу на нее, будто меня ошпарит чем, ноги плясать просятся, а горло будто... хм.

Олеша вдруг замолк. Сивые брови нависли и потушили апрельскую синеву стариковских глаз, он сосредоточенно шаркал наждаком о топор. Я терпеливо ждал продолжения рассказа. Но старый плотник молчал, словно споткнувшись на чем-то, и лицо его было совершенно непроницаемо. Я кашлянул, шумно полез в карман за куревом. Но Олеша молчал. Вдруг он резво и озорно воткнул топор в бревно.

— Вот ты — парень грамотный.

Я пожал плечами.

— Скажи мне вот что...

— Что?

— Как делу быть? Иной раз думаешь, ладно сделал. Добром к человеку.

— Ну?

— А потом ты же и виноват. Как тут пословицу не вспомнишь: не делай людям добра — ругать не будут.

Я выразил недоверие к этой пословице. Но Олеша не слушал. Он глядел куда-то за горизонт, и я опять осторожно спросил:

— Ну так как...

— Что?

— Да, тогда, в успеньев-то день...

— А-а, что... Дело-то, вишь, давнее. Ну, это... Божатка моя мне на сено постелила, а Винька Козонков пьяным притворился. Он тоже в этом дому объявился, поднесли ему, он и давай куражиться. Сунулся на повети — чую, спит. А девки под пологом вот форскают. Я лежу, думаю, идти к им под полог али нет? И боюсь, и смелости не хватает. «Девки, кричу, а что, я ежели к вам?» Оне мне шумят, вот, мол, у нас тут коромысло рябиновое. Я говорю: «Что мне коромысло, можете и огреть разок, только под полог пустите». Откуда что взялось. Я — к ним. Моя двоюродная была догадливая... Шмыгнула с повети... «Забыла, говорит, самовар закрыть, вон гроза поднимается». Шасть двоюродная в избу. И не идет. А весь дом спит, божат с божаткой в зимней избе, гости все кто где — кто в летней избе на лавках, кто на полати уволокся, а на повети одни мы с Танькой. Да еще Винька на сене храпит в обе ноздри. Я к Таньке, понимаешь, подсел, коленки от страху трясутся. «Тань, а Тань?» — говорю, а сам рукой поверх одеяла-то. Молчит. «Вишь, говорю, мне без тебя не жизнь. Давай будем гулять по-хорошему, на руках буду носить...» Да, взял ее за локоть,— молчит. А сам весь от страху дрожу, хуже всякой войны. Обнять только приноровился, а она мне: «Что ты, говорит, Олешка, не надо. Чуешь, говорит, не трогай меня. Уходи, говорит, стыд-то какой, вон двери скрипнули, чуешь, уходи...» Ох, дурак я, дурак, встал да ушел на улицу, там еще чья-то гармонья играла. Проплясался уж под утро, захожу на поветь-то, а там, слышу, Винька под пологом мою Таньку жамкает, чую, вот целуются... Я в избу, схватил графин, гляжу — графин-то пустой. А двоюродная моя корову собралась доить. «Чего, говорит, Олеша, прозевал-то? Эх ты, недопека!» Захохотала, дойник на руку — да на двор. Оглянулась в дверях-то, да и говорит: «А мне Танька тебя велела найти. Только где тебя искать? Убежал на улицу, будто век не плясывал. Так и надо тебе, дураку!» Еще и язык показала двоюродная-то, дверями хлопнула. Тут гости запросыпались, зашевелились, а я, как неумный, с праздника убежал домой.

...Вскоре мы вырубили еще один ряд. Солнце, скатываясь на горизонт, светило спокойно и ярко; я снял шапку и впервые в этом году ощутил его слабое, но такое отрадное тепло.

— Что, припекает красавка-то? — улыбнулся Олеша.

Он тоже снял шапку, и его младенчески непорочная лысина забелела на солнце. Как раз в эту минуту издалека долетел до бани рокоток автомобиля. Мы подождали машину, не сговариваясь: дорога проходила в пятнадцати метрах от бани. Олеша

с любопытством глядел на приближающийся грузовик, стараясь узнать, кто, зачем и куда едут. Машина затормозила. Разбойная курносая харя, увенчанная ушастой шапкой, выглянула из кабины.

— Дедушко, а дедушко? — окликнул шофер.

— Что, милок? — охотно отозвался Олеша.

— А долго живешь! — Шофер оголил зубы, дверца хлопнула.

Машина, по-звериному рыкнув, покатила дальше. Я был взбешен таким юмором. Схватил голыш от каменки и запустил шоферу вдогон, но машина была далеко. А старик еще больше удивил меня. Он восхищенно глядел вслед машине и приговаривал, улыбаясь:

— Ну, пес, от молодец, сразу видно — нездешнии.

Я ушел домой, не попрощавшись со стариком. А, наплевать мне на вас. Черт знает, что творится! Мне нет до вас дела! Весь остаток дня ходил злой, словно оставленный в деревне козел, когда все стадо до самой последней старой козы на пастбище, а он, этот козел, один на один с пустой и жаркой деревенькой.

— Наплевать! — вслух, по слогам повторял я и злился, сам не зная на что и на кого.

11

Впервые за это время настроение по-настоящему свихнулось. Я не стал даже ужинать. Залез на печь и, лежа в темноте, слушал кондовую тишину своего старого дома. Вскоре я разобрался в том, что злился на Олешу, злился за то, что тот ни капли не разозлился на остолопа — шофера. А когда я понял это, то разозлился еще больше, уже неизвестно на кого, и было как-то неловко, противно на душе. И когда Олеша пришел меня навестить, я вдруг ощутил, что давно когда-то испытывал такое же чувство неловкости, противной сердечной тошноты от самого себя, от всего окружающего.

Да, конечно. Со мной уже было что-то подобное. Давным-давно, когда я только что пошел в школу. Помнится, бабка налупила меня за то, что я катался по первому тонкому речному льду и провалился в воду. Она отвозила меня и турнула на печь, а я плакал не столько от боли, сколько от оскорбления. Лежал на печи без штанов и плакал. Позднее меня на печке пригрело, я разомлел и начал задремывать, но сопротивлялся и не хотел забывать обиду, и чтобы злость не исчезла, все вспоминал бабкины шлепки, оживляя затихавшую горечь.

Вечером меня позвали ужинать, и я не слез, мысленно объявил голодовку, но меня не стали особо уговаривать, и от этого обида на весь мир стала еще острее. Я лежал и думал, что никто меня не жалеет, представлял, как убегу из дома и как заблужусь где-нибудь в лесу, как меня будут искать всей деревней и как не найдут три дня и три ночи. Бабка же безжалостно разоблачала меня внизу: «Вишь, дьяволенок, лежит. Лежит и думает: я вас выучу, ни пить, ни есть не буду». Мне втайне от самого себя хоте-

лось, чтобы еще раз позвали ужинать, но никто не звал, и я плакал, жалея себя и представляя, как меня будут искать в лесу. Помнится, я так и не слез с печки, пока не пришла с работы мать и не приласкала. Я слез, разревелся еще раз и медленно, долго успокаивался. Мир и все окружающее снова встали на свое обычное место, но бабку я так и не смог простить до самой ее смерти.

Сейчас, вспомнив тот случай, я снова повеселел. Надел валенки, спрыгнул с печки. Оделся, сунул коромысло в скобу ворот и пошел на бригадное собрание, о котором еще днем проговорился бригадир.

Собрание бригадир проводил у себя на дому, а дом его маячил на другом конце поредевшей деревни, напоминая собою хутор и картинно дымя трубою. Я не торопясь, с каким-то холодком под левой лопаткой вышагивал по деревне. Было тихо, светло, и чуть подмораживало. В небе стояла круглолицая луна, от ее света ничто не могло спрятаться. Мерцали над деревней синие, будто обсосанные леденцы, звезды. Тишина стояла полнейшая.

Вдруг Авинеров пес, который сидел на дороге и жмурился, спокойно и мощно облаял меня. У поленницы, уже не интересуясь мною, он задержался на полсекунды, задумчиво поднял заднюю ногу. И удалился с чувством исполненного долга. Я знал, что пес отступился только благодаря моему внешнему равнодушию: среагируй как-либо на его возглас, он бы показал кузькину мать. Но его сиплого и жуткого «аув-аув!» было достаточно, чтобы сразу во всех домах и поветях, из-под всех крылечек и рундуков сказалась добрая дюжина самых разнообразных голосов. Они заливались вдохновенно и отовсюду, некоторые с искренним пафосом. Другие лаяли из чувства подражания, а третьи — сами не зная зачем, вероятно, просто от скуки жизни. Первым появился на пути колоритный субъект, получившийся от смешения легавой и какой-то декоративной собачки, имеющей чисто прикладное значение породы. Это был Олешин Сутрапьян, он взлаял разок и тут же притих. Сутрапьян убежал, но явилась маленькая, тонконогая, принадлежавшая Евдокии Минутка. Я не был знаком с нею накоротке, и она так смело приступилась ко мне, что я поневоле попятился задом, а она, видя мою слабость, быстро наглела и вскоре цапнула за валенок. Агрессивность ее никак не соответствовала размерам тщедушного туловища. Дальше, благоразумно соблюдая безопасное расстояние, вовсю разорялся кривоногий бригадиров Каштан, у которого чувства менялись быстро и независимо от него. Всед за Каштаном беспрерывно, с провизгом лаяла чья-то почти карманных размеров собачка, причем передняя ее часть извергала самую натуральную хулу, а задняя при помощи виляющего хвоста изображала преданную услужливость. Просто удивительно, как могло одно туловище одной собачки совмещать такие полярные чувства: перед изрыгал ярость, а зад юлил от умильного подобострастия и искренней готовности броситься за тебя в огонь и воду. «Ну, прохиндеи!» — я совсем растерялся, стоя посередь улицы.

— Что вы, лешие! Что вы, рогатые сотоны! — Евдокия, шедшая на собрание, выпустила меня из собачьего плена.— Вишь, вас развелось, как бисеру. Хоть бы волки разок прошли да поубивали вашего брата! Как собаки, ей-богу, как собаки, мужику и проходу нет!

По простоте душевной, а может, от привычки к животным Евдокия забыла даже, что речь идет действительно о собаках, и, обзывая собак собаками, окончательно наладила настроение. То, что она так по-братски назвала меня «мужиком», даже как-то ободрило,— опять чувствуя себя здешним, я с волнением сбил снег с валенок и вслед за Евдокией вошел в бригадирский дом.

В избе было человек пятнадцать, не считая двух-трех младенцев, самых свежих моих земляков. Периодами они давали о себе знать громким криком либо не менее громким ревом, который, впрочем, общими бабьими усилиями тотчас же пресекался.

Я не стал проходить вперед, а уселся на пороге в прихожей части бригадирской избы. В этой части скопились ходячие ребятишки, а рядом, на пороге, сидел кузнец Петя и курил. Изредка он шевелил кочергой в печке, потом снова садился на порог. Сюда же одна за другой собрались и собачки, но здесь они вели себя совсем не по-уличному. Минутка, к примеру, в помещении оказалась ласковым, безобидным существом.

Теперь можно было послушать, что говорят, но Петя-кузнец спросил, велик ли у меня отпуск. Я сказал и в свою очередь спросил, о чем собрание.

— Одне фразы! — Петя махнул рукой и спросил, ловлю ли я рыбу. Тем же громким шепотом я сказал, что рыбу не ловлю, и слегка огляделся.

Пивной котел, наполненный скотинной водой, чернел рядом, дальше лежал свернутый соломенный матрас, а вправо на топящейся лежанке сидела бригадирова бабка. Она то и дело гладила по белой головке свою маленькую правнучку и приговаривала:

— Танюшка-то у меня дак. Танюшка одна такая на свете.

Посидев и послушав, но, вероятно, ничего не поняв из-за глухоты, бабка опять гладила девочку по голове и приговаривала, какая у нее пригожая Танюшка.

Между тем там на свету выбирали президиум.

— Так кого? — в третий раз спрашивал бригадир собравшихся.

Но никто не внес ни одного предложения. Вдруг кузнец Петя прокричал прямо с порога:

— Козонкова в секлетари, а председатель сам будь!

Минутка заурчала от этого громкого возгласа, а в избе послышались голоса женщин:

— И ладно!

— Чего время тянуть?

— Добро и будет, чего еще.

— Все согласны? — спросил бригадир. Он стоял за своим

столом, с которого еще не убран был самовар.— Давай, Авинер Павлович, занимай трибуну, вот тебе карандаш, записывай все реплики. Дак, товарищи, вопросов у нас три. Это мой отчет как депутата, второе — выборы конюха. И разное.

Я слегка выглянул за косяк. Бабы сидели около хозяйки дома, у которой тоже был младенец, и по очереди брали на руки то одного ребенка, то другого. Обстоятельно хвалили каждого и качали на руках, а ребятишки сучили ногами и розовыми губами пускали веселые пузыри. Тут же была и Анфея со своим приезжим сыном, который так заинтересовался рыжим котом, что почувствовал себя, видимо, в зоопарке и просил у матери булку, чтобы покормить животное. Сама Анфея пришла на собрание в туфлях и опять же в капроне. Ее новая черная юбка напрасно пыталась прикрыть толстое, похожее на Олешину лысину колено.

— Товарищи, за отчетный период...— Дальше пошли выражения вроде: «в силу необходимости», «на данное число», «в разрезе графика». После этого бригадир начал зачитывать цифры, но вдруг один из младенцев, а точнее, наследник докладчика, пустил такой зычный, непонятный вопль восторга, что заглушил отца, и все с улыбками обернулись назад. Виновник заминки таращил ясные глазенки и, улыбаясь всем лицом, маршировал узловатыми ножонками на материнских коленях.

— Что, Митенька, ух ты, Митенька! — Бригадир погудел сыну вытянутыми губами. Однако тут же выпрямился.— На данный период, товарищи, неувязка у нас с продукцией молока, а именно: худая и низкая жирность.

— Я тебя остановлю на этом месте,— послышался голос кузнеца Пети.— У тебя чего, собранье-то от колхоза иль от сельпа?

— От парткома,— объяснил Авинер.

— Нет, Авинер Павлович, от сельсовета! — громко поправил бригадир, а бабы, воспользовавшись новой заминкой, заговорили про какую-то ржаную муку.

Бабка, сидя на лежанке, то и дело засыпала, но сразу же просыпалась от звука собственного храпа. Она вновь гладила по голове молчаливую правнучку:

— Танюшка-то у меня дак. Танюшка, золотой робенок.

У дверей упало ведро.

— А ну вас! — Бригадир прихлопнул рукой свои тезисы.— Раз не слушаете, дак сами и проводите.

Но тут Авинер Козонков сделал короткое внушение насчет дисциплины:

— Ежели пришли, дак слушайте, процедурку не нарушайте! — И примирительно добавил: — Сами свое же время портим.

Петя-кузнец выставил за двери часть скопившихся в избе собачонок, говоря, что они «непошто и пришли и делать тут им нечего». Опять установился порядок, лишь Митя — сын бригадира — все еще ворковал что-то на своем одному ему понятном языке.

— Митрей! Ой, Митрей! — тихо, в последний раз, как бы подводя итог перерыву, сказала Евдокия и пощекотала мальчишке пуп.— Вишь, кортик-то выставил. Скажи, Митя, кортик. Кортик девок портить.

И Евдокия снова стала серьезная.

— Переходим, товарищи, ко второму вопросу,— бригадир стриженную под полубокс голову расчесал адамовым гребнем.— Слово по ему имею тоже я, бригадир. Как вы, товарищи, члены второй бригады, знаете, что на данный момент наши кони и лошади остались без конюха. Вот и решайте сами. Потому что у прежнего конюха, у Евдокии, болезнь грыжи и работать запретила медицина.

Бригадир сел, и все притихли.

— Некого ставить-то,— глубоко вздохнул кто-то.

Бригадир подмигнул в мою сторону и с лукавой бодростью произнес:

— Я так думаю: давайте... Митя, Митенька... Давайте попросим Авинера Павловича. Человек толковый, семьей не обременен.

— Нет, Авинер Павлович не работник,— твердо сказал Козонков.

— Почему? — спросил бригадир.

— А потому, что здоровье не позволит. На базе нервной системы.

Евдокия сидела молча и опустив голову. Она теребила бахрому своего передника и то и дело вздыхала, стеснялась, что своей грыжей всем наделала канители, и искренне мучилась от этого.

— Ой, Авинер Павлович,— вкрадчиво и несмело заговорила одна из доярок,— вставай на должность-то. Вон Олеша тоже худой здоровьем, а всю зиму на ферму выходил.

— Ты, Кузнецова, с Олешей меня не равняй! Не равняй! Олеша ядренее меня во много раз! — От волнения Авинер потрогал даже бумажки и переложил карандаш на другое место.

Кузнецова не сказала больше ни слова. Но тут вдруг очнулась Настасья и вступилась за своего старика, закричала неожиданно звонко:

— Да это где Олеша ядренее? Вишь, нашел какого ядреного! Старик вон еле бродит, вишь, какого Олешу ядреного выискал!

Поднялся шум и гвалт, все заговорили, каждый свое и не слушая соседа. Ребятишки заревели. Минутка залаяла, кузнец Петя восторженно крякнул на ухо:

— Ну, теперь пошли пазгать! Бабы вышли на арену борьбы, укороту не найти!

Шум, и правда, стоял такой, что ничего нельзя было понять. Бригадир кричал, что поставит Козонкова в конюхи «в бесспорном порядке», то есть насильно, Козонков же требовал конторских представителей и кричал, что бригадир не имеет права в бесспорном порядке. Настасья все шумела о том, что Олеша у нее худой и что у Авинера здоровье-то будет почище прежнего: он вон дрова пилит, так чурки ворочает не хуже любого медведя; Евдокия

тоже говорила, только говорила про какой-то пропавший чересседельник; доярка Кузнецова шумела, что вторую неделю сама возит корма и что пусть хоть в тюрьму ее садят, а больше за сеном не поедет, мол, это она русским советским языком говорит, что не поедет. Жена бригадира успевала говорить про какую-то сельповскую шерсть и утешать плачущего ребенка. Радио почему-то вдруг запело женским нелепым басом. Оно пело о том, что «за окном то дождь, то снег и спать пора-а-а!». Минутка лаяла, сама не зная на кого. Во всем этом самым нелепым был, конечно, бас, которым женщина пела по радио девичью песенку. Слушая эту песенку, нельзя было не подумать про исполнительницу: «А наверно, девушка, у тебя и усы растут!»

12

Я вышел на улицу. Луна стала еще круглее и ярче, звезды же чуть посинели, и всюду мерцали снежные полотнища. Все окружающее казалось каким-то нездешним царством. Я был в совершенно непонятном состоянии, в голове образовалась путаница. Словно в женской шкатулке, которую потрясли, отчего все в ней перемешалось: тряпочки, кусочки воска, наперстки, мелки, монетки, иголки, марки, ножницы, квитанции и всякие баночки из-под вазелина.

Я долго стоял посреди улицы и разглядывал родные, но такие таинственные силуэты домов. Скрип шагов вывел меня из задумчивости. Оглянувшись, я увидел Анфею.

— Что, на природу любуетесь? — сказала она и слегка хохотнула, как бы одобряя это занятие.

— Да вот... На свежем воздухе...— Я не знал, что говорят в таких случаях.

Анфея послала мальчишку домой.

— Беги, вон видишь дом-то? Ворота открыты, там тебя бабушка разует, киселя даст.

Мальчишка побежал, подпрыгивая. Она обернулась и опять хохотнула:

— А ты, Костя, один-то не боишься ночевать?

— Да нет, не боюсь.

— А вот мне дак одной ни за что бы не ночевать. В эком-то больщом доме.

Я кашлянул, принимая к сведению это заявление.

— Взял бы да хозяйку нашел,— как бы шутливо сказала она.— Хоть временную.

— Да нет уж... устарел.

— Ой-ой, старик! — Она чуть замешкалась.— Ну пока, до свиданьица... Заходи нас проведывать.

Она ушла, скрипя по снегу высокими каблуками и с каждым шагом игриво откидывая в сторону руку с зажатой варежкой. Я

же вошел в свой дом и закрыл ворота на засов. Улегшись ночевать, подумал, что обычно все гениальные мысли приходят с некоторым запозданием: «Какого же черта ты не пригласил ее похозяйничать! Устарел! Один не боюсь! Тоже мне...» Я ворочался, кряхтел и вздыхал, пытаясь уснуть, и луна пекла прямо в голову. Фантазия все сильнее раскручивала свои жернова. «О, черт! Гнусно все-таки. А ты, братец, диплодок. И притом натуральный. Да, но кому от этого вред, если она сама...» И вдруг я с ужасом поставил жену на место этой женщины. «Ну разве она, Тонька-то, не такая же? Все они одинаковы,— мысленно кричал я,— дело лишь в подходящих условиях». Я бесился все больше и уже ненавидел, презирал свою жену.

— Евины дочери! Вертихвостки! — вслух ругался я и думал, как нелепо и горько устроено все в жизни.

Дремотная пелена не глушила этой горечи. Я засыпал, но во сне боль и ревность были еще острее. Опять просыпался, оказываясь лоб в лоб с желтой громадной луной.

«Нет, все в мире выходит не так, как ждешь, все по-другому...» Мне казалось, что мой старый дом тоже не спит, перемогая длинную лунную ночь, вспоминает события столетней давности и всем своим деревянным естеством сочувствует мне.

Смешно и нелепо... Так уж, видно, устроена жизнь, что чем глупее человек, тем он меньше страдает. И чем больше стремишься к ясности, тем больше разочарований. И, может быть, лучше ни до чего не докапываться? Жить счастливо обманутым? Да, но притворяться, что ли? Делать вид, что ничего не знаешь?

Мне вспомнилось, как в раннем детстве я любовался работой ласточек под карнизом. Они так весело, так ловко строили свои домики над окнами, гнезда лепились одно к другому, как соты. Я много дней подряд недоумевал, из чего сделаны гнезда. Я хотел потрогать домик руками, узнать, как он сделан: уж очень загадочным, интересным казалось все снизу. Я спросил у бабки, из чего сделаны гнезда. «Из грязи»,— сказала бабка. Это было до того грубо и непоэтично, что я был обижен, не поверил и до вечера ходил за бабкой следом, чтобы она помогла достать гнездо. И вот мы взяли из хмельника тонкий длинный шест. Бабка, ругаясь, достала шестом крайнее пустое гнездо и отколупнула его. Я бросился глядеть, схватил ласточкино строение и... чуть не запустил им в бабку. Гнездо действительно было слеплено из комочков грязи, скрепленных соломинками и птичьим пометом. И мне казалось тогда, что во всем виновата бабка...

13

В доме все еще тепло, даже утром, хотя мороз кое-где подрисовал колючих узорчиков на стеклах наружных рам. У меня понемногу проходит ночное смятение. С удовольствием щепаю лучину,

запрыгиваю на печь, чтобы открыть задвижку. Насвистывая, чищу картошку. Ее можно сварить просто так или натушить с консервами, и мне приятно, что можно решить это, пока чистишь. Приятно и оттого, что после завтрака я пойду ремонтировать баню, а то можно и не ходить на баню, а пойти в лес по узкому зимнику и там наломать сосновых лапок на помело, либо просто поглядеть заячьи следы, либо послушать синиц, жуя холодную льдинку наста...

Я истопил печь, поставил подальше от загнеты картофель с консервами. Закурил.

Хлопок ворот вывел меня из счастливой созерцательности. По стуку батога я догадался, что сейчас меня навестит Авинер Козонков.

Старик вошел без предупреждения, как принято заходить в деревнях. Поздоровался и сел, не снимая бецветной своей шапки, завернул цигарочку. От чаю он не отказался, и я налил ему прямо из термоса.

— От электричества греется? — Козонков постучал пальцем по термосу.

— Нет, просто так.

— А этот от электричества? — Козонков показал на говорящий транзистор.

— Этот от электричества.

— До чего наука дошла.

Козонков покрутил колесико. Послышался позывной «Маяка». Мы помолчали, слушая. В избе слегка пахло угаром, и я полез открыть трубу.

— А вот меня дак никакой угар не берет. С малолетства,— сказал Авинер.— Иной только нюхнет — и угорел. А я этого угару не признаю. Голова у меня крепкая.

— Крепкая?

— Это точно, голова у меня крепкая. Не худая голова, жаловаться не могу. Мне, бывало, еще Табаков говаривал...

— Какой Табаков?

— А уполномоченный финотдела, из РИКа. Мы с им с восемнадцатого году во всем заодно, а я у него, можно сказать, был правая рука, как приедет в деревню, так меня сразу требовал. Бывало, против религии наступленье вели — кого на колокольню колокола спехивать? Меня. Никто, помню, не осмеливался колокол спéхнуть, а я полез. Полез и залез. Да встал на самый край, да еще и маленькую нужду оттуда справил, с колокольни-то.

— Нет, серьезно?

— Ну! А еще до этого, когда группки бедноты создавали, дак меня Табаков первого выдвинул. Собранье было, помню, в бывшей просвирной, встает Табаков. Так и так, говорит, надо нам, граждане, создать в вашей деревне группку бедноты, чтобы ваших кулаков вынести на чистую воду и открыть в вашей деревне классовую войну. Дело не шуточное. Кого в группку? Предлагаю, говорит,

граждане, товарища Козонкова. А еще кого? Мы с им до того еще список составили, я встаю и зачитываю: надо Сеньку Пичугина — у его, кроме горба за плечами, ничего нету. Надо Катюшку Бляхину, чтобы в женсовет, Катюшка на язык востра и сроду в няньках жила. Выбрали еще Колю — тихонького, этот был весь бедный. С этого дня я с товарищем Табаковым был друг и помощник, он меня всегда выручал, а потом его в область перевели, теперь вот слышу, на персональной живет.

Козонков помолчал.

— Как думаешь, а мне ежели документы послать? Дадут персональную? У меня вот и документы все собраны.

Я сказал, что не знаю, надо посмотреть документы. Козонков достал из-за пазухи какую-то тетрадь или блокнот, сложенный и перевязанный льняной бечевкой. Тетрадь была когда-то предназначена под девичий альбом, на ней было так и написано: «Альбом». Ниже был нарисован какой-то нездешний цветок с лепестками, раскрашенными в разные цвета, и две птички носом к носу, с лапками, похожими на крестики. На первой странице опять был нарисован розан. Стихи со словами: «Бери от жизни все, что можешь» — помещались на второй странице, на третьей же было написано: «Песня». И дальше слова про какого-то красавца Андрея, который сперва водил почему-то овечьи стада, а под конец оказался укротителем:

...И понравился ей укротитель зверей,
Чернобровый красавец Андрюша.

Пять или шесть «песен» я насчитал в альбоме Анфеи. После них пошли частушки, впрочем очень душевные и яркие, и, наконец, появились какие-то записи, сделанные рукой Козонкова: «Слушали о присвоении колхозных дровней и о плате за случку единоличных коров с племенным колхозным быком по кличке Микстур («Почему, собственно, Микстур?» — подумалось мне, но размышлять было некогда). «Ряд несознательных личностей...» «К возке навоза приступлено...»

Записи мелькали одна за другой: «Постановили, дезертиров лесного фронта объявить кулаками и ходатайствовать перед вышестоящими о наложении дополнительных санкций. Поручить бригадирам взыскать с них по пятьдесят рублей безвозвратным авансом и отнять выданные колхозом кожаные сапоги. Послать на сплав вторительно».

Я вынул из «Альбома» пачку пожухлых, на разномастной бумаге документов. Была здесь бумага с типографским заголовком: «Служебная записка». Запись на ней, сделанная наспех, карандашом, предлагала «активисту тов. Козонкову немедленно выявить несдатчиков сырых кож». В конце стояла красивая витиеватая подпись.

К этой записке были пришиты нитками удостоверение на члена бригады содействия милиции, справка об освобождении от сель-

хозналога и культсбора, датированная тридцать вторым годом, а также вызов на военные сборы. Кроме всего этого, имелась бумажка со штампом районной амбулатории, где говорилось, что «гр-н Козонков А. П. 1895 года рождения действительно прошел амбулаторное обследование и нуждается в освобождении от тяжелых работ в связи с вывихом левой ноги».

Я внимательно прочитал все документы, а Козонков достал из кармана собранные отдельно вырезки из газет. Их оказалось очень много. Некоторые были помечены еще тридцать шестым годом, подписанные то «селькор», то псевдонимом «Сергей Зоркий», а то и просто «А. Козонков».

— Нет, Авинер Павлович, по этим документам вряд ли дадут персональную.

— А почему? Я, понимаешь, считай с восемнадцатого года на руководящих работах. В группке бедноты был, секретарем в сельсовете был. Бригадиром сколько раз выбирали, два года завмэтээф работал. Потом в сельпе всю войну и займы, понимаешь, распространял не хуже других.

— Ну, не знаю... Пошли заявление в район.

— Да я уже писал в район-то.

— Ну и что?

— Затерли. Кругом, понимаешь, одна плутня.

Мы опять помолчали. Авинер Павлович осторожно собрал бумаги, уложил в «Альбом» и перевязал веревочкой.

— Все, понимаешь, бюрократство одно,— продолжал он.— А ведь ежели по правде рассудить, мне разве двадцать рублей положено? Ведь, бывало, и на рыск жизни идешь, в части руководства ни с чем ни считался. Спроси и сейчас, подтвердит любая душа населения, которая пожилая.

— Что, Авинер Павлович, у тебя и наган был? — Я налил еще чаю и обул валенки.

14

— Наган у меня был. Семизарядный, огнестрельный. Системы «английский бульдог». Лично Табаков под расписку выдал. Говорит, ежели в лесу аль ночью да трезвый, езди с заряженным. А когда на праздник едешь, так патроны-то вынимай, оставляй дома. А ведь что, дружочек? Иной раз выпьешь, контроль над собой потеряешь. Так я, бывало, ежели в гости еду, патроны-то вынимал да клал матке за божницу.

Один раз — на зимнего Николу дело — по всей волости пивной праздник. Пришел в гости в Огарково к Акиму. У его самогонка была нагонена, две четверти, пива шесть ведер наварил. А наш Федуленок в Огаркове гостил в трех домах, ну и в том числе у Акимова. Сел я за стол, Аким стопку наливает мне первому. Федуленок и говорит: «Что это ты, Аким Остафьевич, вроде у

тебя за столом есть и постарше Козонкова, что это рядовую-то нонче с малолетков подаешь? Раньше ты вроде бы не так подавал. Ежели, говорит, я у тебя гость не любой, так могу и уйти, освободить избу». Ну, Аким промолчал, ничего не сказал, а когда до второй рядовой дошло дело, вижу, наливает первому Федуленку. Меня, братец ты мой, так и подкинуло. На лавке-то. «Ну, говорю, Аким, не гостил я у тебя и гостить не буду!» Сам встал да к порогу. Аким с табуретки вскочил, держит меня, обратно за стол садит, а Федуленок и говорит: «Чего это ты, Аким Остафьевич, стелешься перед ним? Аль ты ему задолжал да не отдал вовремя? Пусть идет, коли не сидится ему». Я тут, конечно, не стерпел, на взводе уж был. До этого в двух домах гостил, в голове-то уже пошумливало. Схватил этого Федуленка за жилетку, через стол да как дерну, пуговицы так и посыпались. Бабы с девками завизжали, шум, крик, а я Федуленка из-за стола волоку. Тут Аким рассердился, оттащил меня, отцепил от жилетки-то, да и говорит: «Вот что, Винька, ежели пришел ко мне в гости, так гости по-хорошему, панику не наводи, в моем дому сроду никто не бузил. А ежели будешь варзать, так вот тебе бог, вот порог!» Федуленкова родня тоже из-за стола на меня встает. Я вижу, что попал в непромокаемую, раз — наган из кармана. «А ну, говорю, подходи, кому жизнь надоела. Пришибу, не сходя с этого места!» Только так крикнул, а мне Сенька — Федуленков племянник — как даст ногой по руке, наган-то полетел, а я думаю: ладно, я сейчас временно убегу, а потом посчитаемся.

Кинули мне наган с крылечка-то, воротами хлоп — и на запор. Я встал на ноги-то, ну, думаю, я вам покажу! Поплачете вы у меня кровавой слезой, и Федуленок и Сенька! Акиму тоже припомню, за мной не пропадет. А что ж ты, братец, думаешь, все после в ногах катались, до единого. «Авинер Павлович, прости, пожалуйста!» «Авинер Павлович, войди в положенье!» Вишь, думаю, тут так и Авинер Павлович, а тогда Винька был да еще и вот бог, вот порог. Когда колхоз учредили, Федуленок шапку снял, ко мне в ноги кинулся: «Ребята, примите в колхоз, не губите на старости лет!» А я говорю: «Надо еще подумать, принимать ли тебя в колхоз». На совещание ушли. Говорю Табакову, что Федуленка принимать нельзя по классовым признакам: у него две коровы, два самовара. Дом двоежилой. Остался в единоличниках этот Федуленок. И положили ему одного лесу вывезти сто двадцать кубометров, да хлеба сколько сдать, да деньгами, да молока, да сена. Тут Федуленок и заверещал.

Козонков отказался от «Шипки», закурил махорку.

— А ежели в область написать?

— Что? — Я очнулся и долго не мог понять, о чем идет речь.

— Да насчет пенсии-то.

— Можно и в область.

— Все хочу сам съездить да похлопотать, только собраться никак не могу. Да и ноги стали худые, совсем отказали, ноги-то.

А соберусь. Ты-то там на какой улице живешь? Не у вокзала? Дал бы мне адрес-то, может, приеду, дак у тебя и ночую.

— Пожалуйста, в любое время.

Я взял у него «Альбом» и записал свой городской адрес, записал около того места, где говорилось, что «слушали о плате за случку единоличных коров с колхозным быком и постановили платить за каждую случку по шесть рублей деньгами либо по десять трудодней трудоднями».

Козонков снова тщательно завязал «Альбом» веревочкой и ушел. Стук его батога становился все тише, ворота хлопнули. А я еще долго сидел у окна и глядел на тихую снежную улицу, на тихие редкие дома. Смеркалось.

Дом Федуленка, где была когда-то контора колхоза, глядел пустыми, без рам, окошками. Изрешеченная ружейной дробью воротница подвальчика с замочной скважиной в виде бубнового туза висела и до сих пор на одной петле. На князьке сидела и мерзла нахохленная ворона, видимо не зная, что теперь делать и куда лететь. По всему было видно, что ей ничего не хотелось делать.

15

Дни были все еще не очень долги, хотя подходил к концу мой сиреневый отпускной март. Но солнышко уже вытапливало золотую капель, которая еще с вечера капля за каплей напаивала на застрехах ледяные сосули.

Каплю воды не успевало сорвать ветром, и она замерзала, потом катились новые снеговые слезинки и, не успевая упасть, тоже замерзали, и сосуля росла сама по себе, теперь уже от собственного холода.

Баня все еще не была готова. Олеша работал на совесть и потому медленно. Где-то на дальних подступах ко мне подкрадывалась тоска холостяцкой жизни. Однажды после самовара я по-турецки сидел на лавке и никак не мог решиться вымыть посуду. Глядел, как вырастает за окном сосуля.

Странно, чем больше я убеждался, что посуду все равно мыть придется, причем чем скорее, тем лучше, тем больше не хотелось ее мыть. Все-таки надо было что-то предпринимать. Я встал, оделся и настроился идти к Олеше, а когда принял это решение, то сразу стало как-то легче...

У самых ворот Олешина дома стояли и торчали оглоблями персональные Олешины дровни. Два воробья, видимо осмысливши, что зиму они почти одолели и что дело идет к теплу, весело подпрыгивали у крылечка. Они с недовольным чириканьем слетели на изгородь и начали дрыгать не очень опрятными хвостишками. Мол, согнал с места, да еще и не уходит. Но мы-то знаем, что сейчас уберешься. Мне подумалось, что, живи воробьи в воде, они были бы ершами, и наоборот, ерши, называемые в последнее время в

рыбацкой среде на китайский манер,— это и есть те же воробьи, только рыбы, а больше ничем от воробьев и не отличаются. До чего не додумаешься от безделья! Я почувствовал себя ротозеем и ступил в Олешины сени.

— Здравствуйте!

— Проходите да хвастайте.— Настасья обмахнула лавку домотканым передником.

Сутрапьян, видимо забыв прежнюю дружбу, встретил меня весьма негостеприимно. Настасья тем же передником загнала его под лавку.

— Сиди и не крякай! Вишь, какой крикун, весь в Козонкова.

Такое утверждение несколько озадачило. Я спросил, почему в Козонкова.

— Да ведь как, от ихнего кобеля-то,— сказала Настасья.

Затопляя маленькую печку, она подробно объяснила происхождение Сутрапьяна. С Настасьиных слов я узнал, что свою Минутку Евдокия и конфетой кормила, и в сундук запирала, уходя на конюшню. Но все равно не могла углядеть, и тонконогая шельма изловчилась-таки, и вот двоих щенят унесли в Огарково, а третьего обещался взять кузнец Петя. Однако Петя, увидев щененка, отказался в последний момент, говоря, что такого занюханного ему и за так не надо, что он его и не только не возьмет, но и сам даст придачи, чтобы не брать. Евдокия же, не зная, что делать, предложила щенка ей, Настасье, а Настасья взяла из жалости и теперь как только увидит козонковского кобеля, так и плюется и ругает его прохвостом.

— И здря,— сказал Олеша, сучивший в это время дратву.

— Чего здря? — обернулась к нему жена.

— А то и здря, что Авинеров кобель тут сбоку припеку, он совсем ни при чем. Ты человека не вводи в заблуждение. Эта Минутка с бригадировым псом путалась. Авинеров кобель только поприлаживался. Будет он заниматься с такой пуговицей.

— Не ври, ради Христа, не ври! Бригадирова кобеля и так все изобижают.

Тут начался спор. Олеша доказывал свое, а Настасья свое, и очень громко, поскольку была глуховата. Виновник конфликта лишь преданно моргал и глядел то на одного, то на другого. Вероятно, Олеше вскоре надоело или женины аргументы оказались более основательными, но он миролюбиво отмахнулся:

— А ну тебя. Бес их разберет. Их целая эскадрилья за ей бегала.

— Чего?

— Ладно, ничего. Проехало,— буркнул Олеша и добавил громко: — Свари рыбы-то!

— Да рыба-то, старик, вся.

— Вари всю.

Настасья, прихрамывая, ушла в кухню, сняла с гвоздика гирлянду сушеных маслят, по-здешнему — обабков.

Я спросил, что у нее с ногой.

— Ох, я полоротая! — засмеялась бабка.— Лазала, милой, за картошкой, да в подполье и хряснулась. Другой день хромая хожу. В малолетстве столько раз с печи шмякалась, и хоть бы чего. А теперь, вишь, косточки-то стали стамые, ушибливые.

— Ой, старбень,— добродушно заметил Олеша, воткнул шило в паз и пошел за печь к умывальнику.

Грибной суп уже закипал в чугунке. Я разглядывал многочисленные фотокарточки в деревянных рамках, украшенных фольгой от чайной упаковки.

Почти все снимки так или иначе связаны были с Густей — единственной дочерью Олеши и Настасьи. Я ее хорошо помнил, помнил с тех пор, когда, будучи еще мокроносым, ходил на гулянки. Густя, приезжая с лесозаготовок, все время плясала с Козонковой Анфеей, они очень стройно и слаженно пели частушки на каждый житейский случай. Сразу после войны дороги подружек разошлись: Анфея уехала в Архангельск, а Густя тоже куда-то исчезла.

Разглядывая снимки, я увидел относительно нестарую фотографию Анфеи, воткнутую поверх стекла. Анфея сфотографировалась с серьгами и вся барашковая от свежих кудрей, словно каракуль. Левая ее рука (с часами) держала букет. На другой стороне снимка я прочитал автограф Анфеи: «Смотри на мертвые черты лица и вспоминай живую. Густе от Нелли. Снимок сделан в возрасте 30-ти лет».

Вот тебе раз! Оказывается, Анфея давно никакая и не Анфея, а Нелли! А я-то, дурак, сколько раз называл ее Анфеей. Правда, к ее чести, она не обижалась и не поправляла, а может, дома, в деревне, прежнее имя и для нее самой звучало нормально.

В следующей раме красовались открытки с не очень известной киноактрисой и с байкальским пейзажем, а между ними помещался пожелтевший дагерротип, изображавший молодую чету. Он, в хромовых сапогах и в косоворотке с поясом, в картузе и с красивыми черными усами, стоял, трогательно положив руку на ее плечо, глядя серьезно, ласково и как-то застенчиво, грустно. Она же, красивая и пышногрудая, в фате-кашемировке, в длинном платье с буфами, в высоких со множеством пуговок полусапожках, сидела на ампирном стуле с платочком в руках и глядела бесхитростно, но в то же время с кроткой суровостью.

Поистине было трудно узнать в этой чете Олешу с Настасьей. В той же рамке помещалась фотография Густи и густобрового, явно кавказского молодца: парень был достойный, но сидели они до того неестественно, что так и хотелось поморщиться. Видно было, что перед тем как снимать молодых, фотограф силой, бесцеремонно пригнул их головы друг к дружке, сказал «спокойно» и уж только тогда щелкнул затвором. Ничего себе спокойно! Они сидели

головами впритык, с изогнутыми шеями, а им еще приказано было улыбаться. На другом снимке тот же парень был один и выглядел куда симпатичнее, в солдатской блинчатой пилотке, в одной майке, из-под которой даже на фотографии курчавилась богатая смоляная растительность. Дальше, как я ни глядел, но кавказского парня не увидел, а увидел другого, тоже солдата, вернее, сержанта, сперва в мундире, а потом без, рядом с Густей и врозь.

— А этот кто?

— Этот тоже варяга,— хмуро сказал Олеша.— Из-под Мурманска.

Я вздохнул, но меня несколько развлекло то обстоятельство, что Олеша делил затьев на «своих» и «варягов», не столько по национальному признаку, сколько по признаку дальности расстояний.

Тем временем суп у Настасьи сварился, она постелила на стол скатерть. Олеша нарезал сельповского хлеба. Я не стал выкамариваться и, не дожидаясь второго приглашения, сел за стол. Уж больно вкусно пахло грибным наваром, да и время было как раз обеденное. К тому же, питаемое всухомятку, все мое нутро давно жаждало супа.

— Ну-ко, солите, ежели, сами,— сказала Настасья и, перекрестясь, взяла ложку.

Вдруг Сутрапьян с лаем вылетел из-под лавки, потому что ворота скрипнули. В дверях показалась Евдокия, левой рукой она то и дело терла глаза, а в правой держала письмо.

— Вот, девушка, почтальонка-то подала, говорит, отдай.

— Да чего с глазом-то?

— Ой, не говори, солому трясла, да мусорина с ветром и залетела. Ради Христа, вынь, не знаю, чего и делать!

Настасья считалась в деревне не то чтобы полной ворожеей, но специалистом. Она останавливала кровь, заговаривала зубную боль — причем зачастую успешно, знала толк в болезнях животных, чирьи же сводила с любого места, и все это бесплатно, за одно спасибо. Вот только грыжи были ей не под силу. Мастерица была она и доставать мусоринки из глаз — языком: даже ячменная ость — вещь самая опасная для глаза — не могла устоять перед Настасьиным мастерством.

— Ну-ко! садись!

Настасья усадила Евдокию на пол, сама села рядом, ногами в противоположную сторону. Потом взяла руками голову Евдокии и, зажмурившись, приступила к операции.

Олеша без остановки хлебал суп. Сутрапьян, как, впрочем, и я, с любопытством и сочувствием глядел на старух.

— Ты не вертись, не вертись, ведь я эдак не нащупаю! — сказала Настасья, прежде чем сделать вторую попытку.

— Да ведь как, девушка, не вертись. Экой-то толстущий под веко заворотила,— смеялась Евдокия.

Олеша недовольно покосился на них:

— Открыли поликлинику. Не дадут пообедать толком.

С третьей попытки Настасья обнаружила мусоринку, с четвертой вытащила ее на кончике языка. Евдокия, мигая, облегченно села на лавку. Настасья взяла ложку.

После грибного супа на столе появилась пшенная каша, потом прос[illegible]ки

— Ну, теперь правик до вечера,— сказал Олеша, распечатывая письмо.— Ну-ко, почитай, ты пограмотнее.

Я взял письмо и прочитал вслух, расставляя мысленно запятые по своему усмотрению:

«Добрый день, здравствуйте, тятя и мама. Пишу вам свой поклон за себя и за своего мужа Николая, а также кланяются внучата Толик и Шурик. Как вам и сообщаю, что Шурик родился у нас здоровый, уже делает ладушки, обличьем больше в отца, только нос бабушкин. Тятя, что это от вас нету никакого письма, ждем второй месяц, послали мы вам посылку, напишите, дошла ли посылка. Тятя, у нас все благополучно, Николай на старой должности, а я с работы ушла. Шурика оставить не с кем. И прошу убедительно, не приедешь ли ты, мама, хоть бы на пока, а то работу бросать неохота, а Шурика не с кем оставить. Комнату нам дали хорошую, есть сарайка и огород, весной посадим; так что пусть бы мама приехала, я бы пошла и работать на прежнее место, в столовую. В остальном все пока живы и здоровы, передайте привет всей нашей деревне, а именно: Козонковым, Евдокии, бригадиру Ивану, Пете-кузнецу и всем, всем. Вчера ночью привиделось, что кошу сено на Прониной пустоши. Жду письма с нетерпением, дайте ответ сразу. Остаюсь ваша дочь с семейством... Густя».

Олеша сидел, облокотясь на колени и глядя вниз. Настасья слушала, положив костистые руки на колени, и Евдокия утирала глаза кончиком платка.

— Ехать-то уж больно далеко,— сочувственно заметила Евдокия и вздохнула, собираясь уходить.

Я вышел вместе с нею, предоставляя старикам самим решить судьбу Шурика, который делает уже ладушки и похож больше на отца чем на мать.

16

На улице Евдокия взяла меня за локоть:

— Иди-ко, чего скажу-то...— И с видом человека, знающего то, что никому, кроме нас двоих, знать не положено, добавила:— Надо бы, батюшко, радиво наладить, у меня в избе радиво заглохло. Приди-ко вечером-то, приди.

В радиотехнике я не был специалистом. Но знал, что по понятиям Евдокии инженер есть инженер и потому должен уметь все. Я пообещал прийти, и Евдокия, довольная, но с тем же конспиративным видом пошла на конюшню. «Почему же вечером? — мель-

кнуло у меня в голове.— Днем же лучше ремонтировать проводку».

Не зная, что делать до вечера, я пошел к своей бане. Надо же! Баня, оказывается, была почти готова. Два нижних ряда заменены, полки сложены вновь, и окошечко вставлено. Олеша тюкался здесь ежедневно, и потихоньку дело двигалось. Все было сделано на совесть, даже задвижка вытяжной трубы вытесана из новой дощечки. Оставалось только сложить каменку.

Я решил тут же начать складывать каменку. Отсортировал кирпичи и камни, очистил от золы кирпичный и еще крепкий под, выпрямил железяки, на которых держался свод каменки. Но пришедший через полчаса Олеша вежливо забраковал мою работу:

— Поперечины новые надо, под тоже лучше перекласть.

Олеша был так предусмотрителен, что принес из дому новые железяки для поперечин и ведро глины. Видя взыгравшую вдруг мою трудовую активность, он ни словом не обмолвился о ее некотором запоздании, и мы принялись за работу. Разломали старый под и в три кирпича положили новый, без перекура сложили кирпичные стенки, и только тут я спросил, что решили они с Настасьей насчет поездки.

— Да что решили, все без нас решено,— Олеша чихнул.— Придется ехать. Хоть временно.

— Ну, а ты-то как будешь один? С коровой, с хозяйством?

— А чего. Хозяйство невелико. Я-то что, старуху мне жалко. Разве дело — на старости лет ехать невесть куда. Нигде не бывала дальше сельсовета.

— Вот и пусть поглядит.

Старик как бы не слышал этого «пусть поглядит». Выбирая кирпич получше, прищурился:

— Чужая сторона, она и есть чужая. Меня, бывало, направили на трудгужповинность...

— Что, что?

— Все это же,— сказал Олеша.— Дороги строить. Лесозаготовка — колхозник иди, сплав — колхозник, пожар в лесном госфонде — тоже колхозник. Это теперь везде кадра пошла, а тогда одни колхозники. Бывало, на лесопункте на бараках плакаты висят: «Товарищи колхозники, дадим больше леса, обеспечим промышленность!» Полколхоза новые рукавицы шьет. Я, конечно, понимаю, без лесу нельзя. Копейка тоже государству нужна, заграница за каждую елку платила золотом. Только ежели лес так лес, а земля так земля. Уж чего-нибудь одно бы. Мы и нарубим, и по воде сплавим — шут с ним. Хоть и за так работали, денег платили — на те же рукавицы не хватит. А ведь после сплава надо еще в колхозе хлеб посеять, иначе для чего мы и колхозники. Вот сплав сделаешь, а посеешь только на Николу, на четыре недели позже нужного. Что толку? Посеем кое-как, измолотим того хуже, а год отчетный в лоб чекнет. Первая заповедь — государству сдай, вторая — засыпь семена, третья — обеспечь всякие фонды. Кол-

хознику-то уж что достанется. Иной раз и совсем ничего. Помню, когда первый раз в колхоз вступали. Куриц и тех собрали в одно место, овец, одне коты по домам остались. Все свалили в одну кучу, дерьмо и толокно. Корову сдал, кобылу сгонил. Шесть овец в общее гумно, да куриц с десяток было. Вдруг — опять все по-прежнему, после статьи-то, колхоз, значит, распустили. Помню, гумно-то с овцами открыли, все овцы в разные стороны разбежались по своим домам. Федуленок и говорит: «Это оне от головокруженья». Ну, и пошел сердечный в сельсовет, а там ему индивидуальные листы вручили, недолго и думали. «Ты, говорят, кулацкую агитацию разводишь».— «Ребята, говорит, простите, ради Христа, сам не знаю, как с языка сорвалось». Что ты! А эти листы и за шесть годов не выплатить, не то что за год. Уж он и в Москву писал. А письмо на край послали, край на район, а район на сельсовет. На кого жаловался, к тем и жалоба попала. Дом с молотка, скотину, юбки там, чугунки... Помню, пришли описывать, меня Табаков понятым назначил. Винька Козонков по дому ходит, глядит, чтобы чего не спрятали либо суседям не перетащили. Козырем ходит. В дому рев стоит, бабы с девками причитают. Вижу, одна Танька не плачет, стоит у шкапа белее бумаги, стоит она, голубушка, а у меня и в глазах туман. Тут я вспомнил опять, как мы с Винькой у ее ягоды отняли. А Федуленок сидел-сидел и — бух Табакову в ноги. Сам плачет. Табаков ему говорит: поздно теперь переиначивать, дело в район отправлено. «Кабы ты, говорит, в Москву не жаловался да не кляузничал, может, говорит, мы бы и сняли с тебя позорное кулацкое званье». Я сидел-сидел, а потом меня и начало трясти. Не буду, говорю, акт подписывать. Встал да за скобу, да домой, да... Потом и это мне Козонков с Табаковым припомнили. На другой день Федуленок поехал со всем семейством, в чем были — в том и поехали. Вижу, Федуленок с народом прощается, бабы плачут все поголовно. Принесли им кто пирог, кто горбушку хлеба, кто пяток яиц. Милиционер торопит, прощаться не дает. А Танька ко мне при всем народе подошла. Да как заплачет... Танька-то... Увезли Федуленково семейство в Печору, с того дня ни слуху ни духу.

— Что, и письма не бывало?

— Было два или три, первое время. Федуленок у моего отца про дом спрашивал да про народ, кто где. А после шабаш. Да мне уж после и не до Федуленка стало: отец умер, пришлось жениться, а тут еще и меня начали прижимать, такое пошло собачество... Из лесозаготовок не вылезал. Помню, матка у меня все корову жалела, ходила во двор, в поскотину. Придет, да и ревит, Пеструху гладит. Я уж ей и запрещал, все без толку. Как праздник, так и пойдет корову проведывать. Один раз Козонков увидел ее у коровы и говорит, чтобы рев прекратила. «Будешь, говорит, еще реветь, мы и тебя в Печору сошлем». Я и не стерпел в тот раз: «Тебя бы, говорю, надо в Печору-то, чтобы не варзал». Вишь, старуху Печорой стращает. «Ты, говорю, вон пьешь, по семь календарных дней не

просыхаешь, а зябь у тебя в бригаде не пахана: ведь тебе надо рогожное знамя вручить, до чего ты бригаду довел». После этого и началось, раз — на меня двойной налог. Приписали кулацкую агитацию. Чего только не напримазывали: и что жена колдунья, и что живу в опушенном дому. Призвали один раз в контору, Табаков говорит: «Вот, гражданин Смолин, поезжай в лес. Вывезешь сто пятьдесят кубометров, снимем с тебя культналог и повышенное задание. Даем тебе возможность исправиться перед пролетарским государством». Я говорю: «Вроде бы, ребята, исправляться-то мне не в чем, ни в чем я не виноват перед вами. Работаю не хуже других. Сами же премию за весенний сев дали: вот, говорю, и пинжак выданный на плечах. Про Козонкова чего и сказал, так правда. А ежели баба моя вереда [1] у людей лечит, так я в этом не виноват».— «Нет, говорят, виноват». Что делать? Насушил сухарей да и поехал хлысты возить. А лошадь дали жеребую. Недоглядел один раз, дровни за пенек зацепили. Натужились мы оба с кобылой, воз-то сдвинули. Только я с пупа сорвал, а кобыла того же дня сделала выкидыш. Мне за это пятьдесят трудодней штрафу, да еще говорят, что это я с цели сделал, на вред колхозу. Не жаль трудодней, обидно сердцу.

Уж за меня и начальник лесопункта заступался, план-то я выполнил хорошо, ничего не берут в толк. Приехал домой. А меня опять — теперь уж дорогу строить, на трудгужповинность. Поскотиной ходил, березки считал. В поле на каждом камне посидишь, хуже любой бабы. Думаю, хоть бы недельку дома пожить, укроти, господи, командерское сердце! Ночь ночевал — Козонков в ворота. «Ну?» Все «ну» да «ну», тпрукнуть некому. Поехал по трудгужповинности, работал весь сезон, все время переходящий красный кисет за мной был. Красный кисет с табаком выдавали, кто хорошо работал. Я и думаю, на производстве хоть знают сорт людей, видят: ежели ты работаешь, так и ценят тебя. Не буду, думаю умом-то, дома жить, уеду на производство. Пошел, помню, в сельсовет за справкой на предмет личности, меня уж звали плотником в одно место, договор заключили. Так и так, хочу из колхоза на производство, вот договор. Мне Табаков и говорит: «Зачем тебе документы, ехать куда-то. Ведь только там хорошо, где нас нет». Вот-вот, думаю, я и хочу туда, где вас нет...

— Дали?

Олеша промолчал, ничего не сказал. Он подбирал валун половчее, перебирал камни, но не находил подходящего.

— Вот, парень, этот камень в каменку не годится. Это синий камень. Один положишь в каменку и все дело испортишь. Синий камень — угарный, в каменку не годится.

Он выкинул закопченный валун на улицу, определив его по каким-то неизвестным приметам. Я опять повторил вопрос, но Олеша опять не ответил.

---

[1] Веред — чирей, болячка.

— Ладно, что вчерне говорено, то можно похерить,— сказал он.— Забудь, что я тебе тут наплел.

— Боишься, что ли?

— Бояться особо не боюсь. Только и пословица есть: свой язык хуже любого врага.

— Ну, теперь времена другие.

— Другие-то другие...— И вдруг Олеша, хитровато сложив губы, звонко чмокнул языком.— А ты не партейный?

Я замялся:

— Как тебе сказать... Партейный, в общем-то.

— Так скажи мне, правильно ли это, ежели ограда-то выше колокольни?

— Как это... какая ограда?

— А такая. Я помню, хоть и не все были такие герои, вроде нашего Табакова... Герой. Этот герой кверху дырой. Полдела было руками на собраньях махать, громить столешницы. Помню, поехал на Судострой, вон Петькин отец приписал. По договору бараки для рабочих рубить. Только в вагон сел, дремать потянуло, время ночное, позднее. Ночь такая светлая, люди все спят. Вдруг по вагону идет человек. Ястребом по всем сторонам, глаза — в молоко поглядит, молоко скиснет. И прямо ко мне привязался. «Откуда? Куда?» Документам не верит. Сперва стоя допрашивал, а потом и пошло у него: «Проводник! Никого из вагона не выпускать! Отойдите, товарищи, не загораживайте!» Люди-то запробуждались. «А вы, гражданочка, уберите свои дамские ноги!» Я сижу, гляжу, что из него дальше будет. А что будет — слепой курице все пшеница. «Так. Гражданин, дайте вашу сумку». Это мне-то. Я сумку подал, там смена белья да два яшних пирога, черные, как чугуны. Ячмень-то был с гусинцем [1] намолот, да и мука лежалая, подмоченная. Он пирог-то разломил. «Что это, говорит, такое?» Я говорю, что и так видно, что такое. «Хлеб?» — «Нет, говорю, не хлеб, а пирог». Он мне и тут не верит: «Ты, говорит, может, по вражьему наущенью пропаганду по государству развозишь, таких пирогов не бывает».— «Как, говорю, не бывает, бывает». А сам думаю: тебе бы не пирог, а наш хлеб показать. Не показать, а разок накормить всухомятку, вот бы пропаганда была в брюхе-то. Кожаные-то штаны по часу на голенищах висели. Ты бы, думаю, тех ловил, которые карманной выгрузкой занимаются, а простых-то людей пошто за гребень? Молчу. Чего станешь говорить? Поглядел, поглядел, отступился. Дальше пошел, в другом вагоне пропаганду искать. После этого ни одна душа в вагоне со мной не разговаривала, до самой Исакогорки. Как на зверя глядят, страму не оберешься. Вот, думаю, что наделал, вихлюй!

Олеша очень живо в лицах изображал то себя с пирогами, то вагонного проверяльщика.

— А я, друг мой Констенкин, еще скажу, что сроду так не де-

---

[1] Гусинец — гусиный горох, местное название вики.

лал, чтобы, осердясь на вошей, да шубу в печь.— Старик снова стал серьезным.— Бог с ними. Была вина, да вся прощена...

Баня оказалась готовой, нужно было затоплять и париться.

17

Уходя, я предложил Олеше рассчитаться за работу, но старик то ли не расслышал, то ли притворился, что не слышит. Лишь после я сообразил, как не к месту было сразу после работы предлагать деньги старому плотнику. Но к предложению «замочить» баню, отметить конец ремонта Олеша отнесся не то чтобы с большим восторгом, но как-то помягче:

— Чайку можно попить. Зайду.

— Старуху бери с собой!

— Спасибо, Костя! Эта-то уж не пойдет.

— Ну так я жду часика через два.

Я прикинул, что у меня есть, чтобы принять гостя, хотел сразу же собрать на стол, но вспомнил, что пообещал прийти к Евдокии, наладить радио.

Минутка встретила меня с чисто формальным лаем: тявкнув для порядка, она шмыгнула в сени. В доме ярко горело электричество, ворота были открыты, но на пороге я чуть не свернул себе шею. Стлань в сенях напоминала черт знает что, только не пол: двух половиц не было совсем, какие-то плахи и дощечки торчали поперек и были веселые, как говорят плотники. А одна дырка закрывалась фанеркой от посылки. Лампочка ярко и с озорством освещала все эти свидетельства плотницкого искусства самой Евдокии.

Я вошел в избу и слегка опешил: радио орало на полную мощь и очень чисто. Передавали что-то про африканскую независимость. За столом сидела Анфея и разговаривала с хозяйкой, шумел самовар, бутылка красного вина была освобождена на одну треть. Тарелка сушек стояла на столе, другая с рыжиками.

Я поздоровался.

— Чего неладно с радио-то? Вроде хорошо говорит.

— Да теперь-то говорит,— Евдокия пошла к шкафу.— Утром-то не говорило. Ну-ко, за стол-то садись, садись!

Анфея, стараясь перекричать репродуктор, плела что-то про телевизор, как его покупали и что по нему передают, а Евдокия, к моему удивлению, выставила бутылку «белой».

— Ой, отстань, отстань,— затараторила она.— Садись да выпей-ко, дак теплей будет-то Садись, не побрезгуй. Ну-ко вот, распечатывать-то я не мастерица.

Что было делать? Я сел за стол. Евдокия тотчас налила чайный стакан водки, а себе и Анфее по стопке красного. Что-то неуловимое, какая-то зацепка помешала мне спросить, по какому случаю Евдокия празднует.

— Ну-ко, Неля, давай. Со свиданьицем.— Евдокия, подавая пример, взяла стопку.

Неля покуражилась для виду, напевно сказала:

— Да вот, Константин-то у нас отстает.

И вот, не прислушиваясь к шевелению совести, я чокнулся с обеими и выпил полстакана. Но женщины заговорили как по команде, обе сразу: «Ой, Платонович, ты зло-то не оставляй!» И я допил вторую половину... Водка была до того противна, что в желудке что-то камнем остановилось и нудно заныло.

Я с трудом заглушил тошноту соленым рыжиком. А Евдокия уже наливала в стакан снова...

Уже минут через десять я понемногу начал проникаться уверенностью, а главное — добротой к Евдокии, к Неле, к этому симпатичному самовару, к этой оклеенной газетами избе с кроватью и беленой печью, с этим котом и с увеличенным портретом сына Евдокии, погибшего на последней войне «в семнадцать годков». Моя доброта росла с каждой минутой, хотелось сделать что-то хорошее для Евдокии, ну, хотя бы испилить дрова либо перестлать пол в сенях, Анфею, то бишь Нелю, расспросить и утешить.

В чем же утешить? Неля совсем не давала повода ее утешать. Она давно уже спорила о том, где лучше проводить отпуск, в деревне или в городе.

— Ой, нет! Нет и нет, Костя, ты меня не агитируй. В деревне разве это жизнь, ежели и выйти некуда и поговорить не с кем.

— Приехала же вот...

— Приехала; давно не бывала, вот и приехала. Нет и нет.

— Все равно тянет на родину...

— Ничего и не тянет. Выпей-ко лучше! Да не из этой, из той-то, из светлой-то...

— Постой, а где Евдокия?

Евдокии на стуле не было. Не было ее и на кухне, и только теперь сквозь хмельной туман я начал ориентироваться и соображать что к чему... Часы показывали восемь вечера. Олеша мог с минуты на минуту прийти ко мне домой, а я и сам оказался почему-то в гостях.

В это время Анфея, не стыдясь, пристегивала отцепившийся чулок.

— Ты садись, Константин, садись. Евдокия на конюшню ушла, она там и ночует в теплушке.

— В теплушке?

Анфея, не отвечая, встала у зеркала. Вся моя доброта разом исчезла.

Я потоптался посреди избы и решительно произнес:

— Ну, мне надо идти.

Разрумянившаяся Анфея не повернулась от зеркала. Она устраивала свою прическу.

— Пока! — я не совсем уверенно выскочил в сени. Дернул

за скобу, но ворота были заперты... с улицы. Озлобившись, я сильно начал дергать за скобу. Палка, вставленная в наружную скобу, загремела, и ворота открылись. Вдовьи приспособления для запирания ворот не выдержали, я как чумной вылетел на улицу. «Ну, деятели!» К счастью, Олеша не приходил, он был не из тех, кто ходит в гости после первого приглашения.

18

Мне надо было уезжать, мы с Олешей топили на дорогу баню. Олеша привез на санках еловых дров, пучок березовой лучины, а я взял у него ведро и наносил полные шайки речной воды.

— Истопишь? — Олеша прищурился.

— Истоплю — оближешь пальчики.

— Ну, давай, а я пойду обряжу корову.

Сначала я начисто мокрым веником подмел в бане. Открыл трубу, положил полено и поджег лучину. Она занялась весело и бесшумно, дрова тоже были сухие и взялись дружно.

Дров Олеша привез с избытком. В бане уже стоял горьковатый зной, каменка полыхала могучим жаром, закипела вода в железной ванне, поставленной на каменку. Угли золотились, краснели, потухая, и оконный косяк слезился вытопленной смолой. Сколько я ни помнил, косяк всегда, еще двадцать лет назад, слезился, когда жар в бане опускался до пола.

Угли медленно потухали. Я закрыл дверцу, сходил домой, взял транзистор и под полой принес его в баню. Утром я слышал программу передач. Где-то в это время должны передавать песни Шуберта из цикла «Прекрасная мельничиха». Я хотел устроить Олеше сюрприз на прощание. Поставил приемник в уголок под лавочку и замаскировал старым веником. Закрыл трубу. Угли, подернутые пепельной сединой, еще слабо мерцали, но угару уже не было. Можно мыться. Я пошел домой, достал из чемодана пахнущее свежестью белье, полотенце и двинулся к Олеше. Я думал о том, что, наверное, в старину вот так же, с такой же отрадной, возвышенной и покойной торжественностью ходили мои предки к пасхальной заутрене. Мне было и грустно и радостно. Синее небо, расширенное и впервые по-настоящему вешнее, было необъятно, снег отмякал на дороге. С крыш катилась настоящая весенняя капель. В березах и черемухах таилось предчувствие новизны, последний легкий зимний покой, последний сон. Леса вокруг словно подвинулись ближе к деревне, на конюшне сдержанно ржал конь.

Олеша не спеша слазил на чердак за веником.

Вероятно, нет ничего лучше в мире прохладного предбанника, где пахнет каленой сосной и горьковатым застенным зноем. Летним, зеленым, еще не распаренным, сухим, но таящим

запахи июня березовым веником. Землей, оттаявшей под полом каменки. Какой-то родимой древностью. Тающим, снежным холодом... Своим же потом и собственной кожей...

Так. Первым делом надо повесить шубу. Покурить. Разуться, слегка замерзнуть...

Олеша еще ходил около бани, разглядывал свою работу. Но я уже сидел на полке в сухом, легком, ровном жару и вздрагивал от подкожного холода.

— Добро, парень, добро протопил.— Олеша сел на порог и, не торопясь, снял валенок, поглядел на запяток.— Ишь, мать честная, вроде и подшивал-то недавно. Париться-то будешь?

Этот вопрос был, пожалуй, излишним. Я спрыгнул вниз и медным ковшиком сделал пробу. Валуны отозвались коротким и мощным шумом.

— Ну, давай...

Каменка зашумела, сухой, нестерпимый жар ласково опалил кожу. Я ошпарил веник, отчаянно взобрался на верхний полок и вмиг превратился в язычника: все в мире перекувырнулось и все приобрело другое, более широкое значение.

— Ну-ко, теперь посидим...

Но Олеша, предложив посидеть, будто повинуясь какой-то силе, сам себе противореча, вновь поддал на каменку и без остановки полез наверх снова. Я сидел на полу без всяких мыслей. Вспомнил про транзистор, незаметно покрутил колесико, и в бане, в моей старой бане произошло какое-то новое чудо. Голос певца народился неизвестно откуда. В этих естественных, удивительно отрадных звуках не было ничего лишнего, непонятного, как в хлебе или воде: они так просто, без натуги, не чувствуя сопротивления, слились с окружающей, казалось бы, совсем неподходящей обстановкой. И Олеша вовсе не удивился, только перестал шуметь, затих и все клонил, клонил лысую голову, потом вдруг встрепенулся, хотел что-то сказать и не сказал.

— Ах ты, едрена корень...

Я, торжествуя и радуясь, выволок из-под лавочки транзистор и подал ему.

— На! Будешь теперь под музыку париться.

— Ну, ежели, это... Не жалко, ежели...

— Не жалко. Какое там жалко!

— Хм. Вот ведь как. А я думаю, это во мне чего-то поет. Из нутра.

— Из нутра и есть.

— Ну и жизнь пошла! Занятная. Умирать неохота,— Олеша намылил мочалку.— Я тебе, Костя, прямо скажу, что особо в его не верю, в этого бога. Какой тут к бесу бог, не видал я его и врать не буду. Только иной раз и задумаешься. Вот живет человек, живет, а потом шасть — и умер. Как это, спрашиваю, понимать? Ведь ежели вникнуть, так вроде чего-то и нехорошо выходит: был человек, а вдруг тебя нету. Куда девался? Ну, ладно, это

самое тело иструхнет в земле, земля родила, земля и обратно взяла. С телом дело ясное. Ну, а душа-то? Ум-то этот, ну, то есть который я-то сам и есть, это-то куда девается? Был у меня этот самый ум, душа, что ли, ну то есть я сам. Не тело, а вот я сам, ум-то. Был — и нет. Как так?

Никуда ты не денешься. Останешься. Ну, вот сделал ты мне баню... Умрешь, а я приеду в отпуск: приду париться. Так же вот думать буду, как ты сейчас, и тебя буду вспоминать. Выходит, что ты во мне будешь сидеть, хоть тебя и нет давно.

— Сумнительно что-то...

— Ничего не сумнительно.— Я и сам поверил в то, что на ходу рассказал для Олеши.— Баня? А наши с тобой разговоры все? Ну, вот возьми твою Настю, она вон у тебя кружева плетет. А не будет ее, а красота эта и после нее останется. Это разве не душа?

— Душа...

— Ну, а вот мы сейчас песню с тобой слушали. Ведь этого человека, может, двести годов нету, а душа-то в песне осталась, ты вот только что ее чуял. И никуда этот человек не девался, разве не правильно говорю?

— Оно, пожалуй, так...

— Вот и ты так же, баню сделал, про жизнь рассказал. И никуда ты не денешься без следа, останешься.

— Баня-то ведь это не я...

— Как же это не ты? — я даже подпрыгнул.— Как это не ты?

— Да ведь умру вот я, а ты возьмешь да баню мою раскатишь! И все мои слова-разговоры забудешь. Вот и вся душа и весь мой ум, весь я и кончился. Ну, ты, может, и не забудешь, а другой забудет, люди-то разные.

— Другой тоже не забудет!

Олеша ничего не сказал в ответ.

19

Дома я зажег лампу, нащепал лучины и поставил самовар. Вскоре, побритый и принаряженный, пришел Олеша. Вешая на гвоздь его шапку и полупальто, я неожиданно для себя спросил:

— А что, может, за Козонковым сходить?

— Дело хозяйское,— сказал Олеша.

...Жажда творить добро опять зазудела во мне. Я поручил Олеше глядеть за самоваром, побежал за Козонковым. Словно избавляя от опасности еще раз столкнуться с Анфеей, Авинер встретился мне на улице, он правился к бригадиру играть в карты.

— Зайди, Авинер Павлович, на часик.

Козонков замешкался, но я был красноречивей обычного. В сенях посветил Авинеру фонариком.

— Здравствуйте! — громко сказал Козонков.

— Авинеру Павловичу, Авинеру Павловичу! — В голосе Олеши было смешливое добродушие.

...Бутылка армянского коньяка, припрятанная на всякий случай, не давала мне покоя: старики, вероятно, сроду не пивали такого. Поспел самовар. Я открыл консервы, нарезал хлеба и налил по полстакана.

— Ну, Авинер Павлович, Алексей Дмитриевич!

Старики по очереди разглядывали красивую этикетку.

— Правда, говорят, что его на клопах иногда настаивают?

— Врут!

— Выдержка, вишь, пять лет.

— Ты смотри...

— Я так в чаю только.

— Ну, в чаю коньяк не годится.— Я заварил и чай.— Коньяк пьют по глоточку.

Вот дурак, разве можно так говорить? По глоточку... Но Олеша неожиданно меня выручил:

— И ладно, что по глоточку. Вот раньше пили, рюмочки-то были: палец сунешь, в ней сухо будет. Теперь вон стаканами глушат, а что толку?

— Значит, лучше жить стали,— заметил Авинер.

— Лучше — не скажу. А вино пьют, как лошади. Напьются, да давай друг дружку возить. А бабы-то что делают!.. Иная... Иная, как вод...— Олеша закашлялся.

Мне пришлось вспомнить забытые приемы деревенского потчевания. Олеша крякнул, неторопливо взял кусочек консервов, то же сделал и Авинер.

— Что, баню-то доделали? — спросил Авинер.

— Баня, Авинер Павлович, у мужика будет добра, простоит еще двадцать годов,— сказал Олеша.

— Баню не похаешь, как колокол.

— Добра баня. А у тебя, Павлович, разве худая баня? У тебя баня тоже хорошая.

— Не скажу, что худая. Вот хочу котел вмазать, на белую переделать.

Они мирно беседовали, я слушал их добродушные голоса, и мне вспоминались плотницкие рассказы.

Какой-то чертик, вертлявый и хитрый, подзуживал меня все время. И вот я налил еще и приготовился говорить речь, речь об их жизни: мне казалось, что надо наконец поставить точки над «и».

— Вот вы оба жизнь большую прожили, а нынче друг с другом неделю не здоровались. Вы бы сели, да и разобрались, кто прав, кто виноват. В открытую!

Это была явная провокация. Но я уже завелся и не мог остановиться, взывал к прогрессу и сыпал историческими примерами.

Авинер Козонков решительно отодвинул стакан с чаем:

— Я тебе, Констенкин, так скажу, что колхоз упекли. Упекли из-за худой дисциплинки. Народ совсем осатанел, напряжение у нервов ослабло. Приказов не слушают, только пекут белые пироги.

— Полно, Авинер Павлович, отстань. Разве дело в этом? — Олеша поставил стакан вверх дном.

— Нет, не отстану! Я, бывало, повестки пошлю — так на собрание-то летят пулями, дисциплинка была, не в пример теперешней роли. Все бегали!

— Бегали. И не хошь, да побежишь. Кто сусеки-то до зернышка выгребал, не ты, что ли? Колхоз колхозу, Козонков, большая разница. Я, к примеру, в ТОЗ-от вступил без твоего нагана. А вы с Табаковым ТОЗ-от распустили, а сделали из него артель.

— ТОЗ распустили не мы с Табаковым.

— А кто?

— Директивка из центра пришла.

— Директива директиве разница. Бывало, директива была спущена на озими коров пасти. А до этого, ежели овца забредет в озимь, так хозяев под суд за это. Тебя хлебом не корми, подай директиву. Тебя и район укорачивал. Хорошо, что не ты один был в ячейке-то, были и хорошие люди.

— А ты как был классовый враг, так и остался,— повысил голос Козонков.— Дело ясное.

— Нет, не ясное. У вас с Табаковым все было уж больно просто: в деревне по одну сторону бедняки, а по другую кулаки. А про меж них стоит середняк — и ни рыба вроде, ни мясо. Три слоя. А слоев-то было не три, а все тридцать три, ежели не больше. Чего говорить. Сапожников и тех прижали, смолокуров. Мол, частная аинциатива, свое дело.

— А что, разве не свое?

— Дело. Конечно, свое дело. А чье оно быть должно? Без этого дела вон вся волость без сапогов осенью набегалась, когда Мишу-то прищучили, сапожника-то. Теперь, ежели рассудить с другого боку, как это Кузя Перьев в кулаки угодил? Ведь у него не то что чего, так и коровы не было. В баню пойдет — рубаху сменить нечем. Потому что Табакова обматерил в праздник, вот и попал в кулаки. А Колюха Силантьев был справный до колхозов, он и в колхозе тоже был справный, все время ходил в ударниках.

— Ты, Смолин, мне зубы не морочь, туманом глаза не застилай. Вон возьми Лихорадова. Дача лесная, торговля на всю округу.

— Торговля — дело другое. Укоротили Лихорадова, ладно и сделали.

— А Федуленок чем лучше? Тоже частная собственность.

— Так ведь Федуленок сам на земле вырастит да продаст. Без этой торговли людям нельзя ни в городе, ни в деревне.

За такую торговлю и Ленин стоял. А Лихорадов, тот продавал купленное. Есть разница?

— Нет разницы. Тот же сплататор, тот же буржуй и Федуленок.

— Вот тебе раз! Да кого ж Федуленок сплоататничал? Разве свой горб за свою же шею.

— Людей нанимал на жнитво и на сенокос.

— Ничего он не нанимал. Помочи делал, так помочи и вы с Горбунком делали.

— У Федуленка одних самоваров было два или три.

— А тебе кто мешал самовары-то заводить? Федуленок вон и по большим праздникам вставал с первыми петухами. Ты сам себя бедняком объявил, а пока досыта не выспишься, тебя из избы калачом не выманишь.

— А что, я не двужильный.

— Ну, а Федуленок двужильный?

— Жадный.

— Работящий. Скуповат был, верно. Когда земля после революции стала по едокам, ты и свои полосы залужил. А он вон две подсеки вырубил, на карачках выползал.

— Жадность одна.

— Трудился мужик, землю обласкивал, а вы с Табаковым его под корень.

— Ладно и сделали. Тебя бы надо с ним заодно, ты контра была, контра и есть, все время против власти.

— Ты сам контра-то, это вы с Табаковым власть только и похабили. Ты за ее палец о палец не колонул, а Федуленок за ее воевал с Колчаком. Чья она, выходит?

— Не твоя.

— Чья?

— А бедняков.

— Вот опять за рыбу деньги. Я против бедняков хоть слово сказал, которые работали? Ведь оне, бедняки-то, которые работали, сами при новой власти из нужды выходили. А вы с Табаковым дела себе искали. Выходить им не давали. А которые не работали, дак оне и сейчас бедняки вроде тебя, ежели на должность не вышли.

— А что я? Что я? — Козонков встал.— Ты что, такая мать, меня при людях страмишь? Я что, живу, что ли, беднее других? Я тебе вот шарну сейчас...

20

Не успел я ввязаться, как Авинер обеими руками схватил Олешу за ворот и, зажимая в угол, начал стукать о стену лысой Олешиной головой. Стол с самоваром качнулись и чуть не полетели, армянский коньяк потек по ногам. Козонков со звонким

звуком стукал и стукал о стену Олешиной головой, я еле отцепил и оттащил его от Олеши. Ситцевая рубаха Олеши лопнула и затрещала. Я не ожидал, что Олеша петухом выскочит из-за стола и кинется на Авинера с другой стороны. Они сцепились опять, и упали оба на пол, старательно норовя заехать друг дружке в зубы.

Я начал их растаскивать, еле погасив собственное бешенство. Мне вдруг тоже нестерпимо захотелось драться, все равно с кем и за что. Однако, вспомнив, кто хозяин дома, я опять начал разнимать драчунов. Но что было делать? Если схватить за руку Олешу, Авинер тут же воспользуется перевесом и заедет ему кулаком в нос, если схватить за руки Авинера, то же самое сделает Олеша. И получится, по выражению Олеши, «перенесение порток с вешалки на гвоздик». Я прискакивал около них, стараясь подступиться то с той стороны, то с этой и рискуя обратить против себя обоих. Тут-то, в самый разгар поединка, и появилась на пороге Олешина Настасья! Старуха пришла проведывать Олешу, увидела побоище и, ругая старика то дураком, то пеньтюшкой, виня одного его, оперативно погасила смуту... Она утащила Олешу домой, а я помог Авинеру встать, выждал момент и под ручку повел тоже домой.

— Я! Да я...— Авинер еле переставлял ноги.— Я за дисциплинку родному брату... головы не пожалею.

— Брату? Головы?

— Отлетит на сторону!

У своего дома он несколько поостыл. Обнимая меня и приглашая к себе, сказал, что у него есть еще чекушка, что жалко, что у него часы на руке, а то бы он этому Олеше дал звону...

Я вернулся домой. Сел у окна и долго глядел на луну. Часы, сбитые с толку потасовкой, остановились. Олешина шапка, раскинув уши с завязками, валялась на полу. Тишина в доме стояла абсолютная. Я равнодушно улез на печь, равнодушно, даже не противясь своей тоске, лег...

Я не помнил, сколько часов подряд не вставал, не топил печь. Сквозь дремоту я ощущал характерное пощипывание в горле — верный признак надвигающегося гриппа. Все тело ломило, появилась нудная головная боль и сухость во рту, поднялась температура. В избе совсем выдуло. Я лежал на остывающей печи и тупо глядел в потолок, потом забывался, и меня окружали кошмары. То мне снилось, что я совсем раздет, сижу голый, а кругом люди, то погружался в какие-то иные миры. Гудел в ушах, бил по темени неведомый колокол. Я пытался увидеть этот колокол, но в тумане маячила одна развороченная колокольня и почему-то Авинер Козонков кидался оттуда осколками кирпичей. Осколки летели градом, я старался убежать, а ноги не слушались. Вдруг колокольня стала не колокольня, а баня, и Петя-кузнец с загадочным видом ходил около, ища под углами полтинники. И баня, и Петя-кузнец растаяли, исчезли, я услышал вопль

необъезженного жеребца, а бригадир почему-то душил жеребца Олешиной шапкой. Жеребец вдруг превратился в Авинерова кобеля и начал фамильярно меня обнюхивать.

Стукнули ворота.

Я с усилием прояснил сознание, шевельнулся. Неожиданно вошла Настасья, подняла с пола Олешину шапку:

— Ой, бес, ой он бес, до чего напился, шапку потерял! А я, Констенкин, за тобой пришла-то. Ежели, говорит, без него, дак домой не ходи.

— Не могу, Настасья, совсем заболел.

— Занемог?

— Занемог.

— Ну так я тебе малины сушеной принесу. Ты кряду и поправишься.

Настасья ушла, вплетаясь в кошмары. Колокол редкими ударами бил где-то далеко-далеко, в глазах расплывались радуги. Тоска душила со всех сторон, потом, когда мысль прояснялась, меня охватывала брезгливость, физическое отвращение ко всему на свете, в том числе и к самому себе. Все рушилось, все распадалось...

Я вспоминал вчерашнюю драку с отчаянием, во мне копилась ненависть к обоим ее участникам. Постой, а какого черта надо тебе? Что ты-то хочешь в этом споре? Я окончательно запутался...

Голова разламывалась от боли, и хотелось плакать, но я тут же хохотал над этим желанием: «Я, только я виноват в этой драке. Это я захотел определенности в их отношениях, я вызвал из прошлого притихших духов. А потом сам же испугался и вздумал мирить стариков. Потому что ты эгоист и тебе больше всего нужна гармония, определенность, счастливый миропорядок. Примирил, называется. Стук лысой Олешиной головы о стену так явственно звучал в ушах, что я покраснел от стыда и горечи: о черт, зачем было вмешиваться? Теперь они возненавидят меня оба. Они опять стали врагами, а враги не любят не только того, кто их ссорит, но и того, кто старается примирить. Это уж точно. Их вражда не помешает им блокироваться против тебя. И ты никогда не проведешь спокойно свои двадцать четыре здесь, на родине. Ах, вот, оказывается, в чем дело? Сразу бы так... Ты и тут думаешь только о себе. Двадцать четыре без выходных... Да нет, дело не в этом. Интересно, в чем? А в том... В чем? В том, что...

Какая-то мысль комаром вертелась около уха, но я никак не мог ее изловить. Все перемешалось в моей голове: «Надо встать. Надо прежде всего встать. В гробу я видел этот дурацкий грипп! Сейчас пойду к Настасье, она заварит мне сушеной малины. И пусть Олеша ненавидит Козонкова, тот заслужил Олешину ненависть. Пусть Авинер ненавидит Олешу, этот тоже хорош. Видимо, так все и должно быть. Да! Да! Да!»

Я не помнил, как надел валенки. Слез с печки, пошатываясь, оделся и вышел на улицу.

Ворота Олешина дома захлопнулись, и я, качаясь от слабости, поднялся по лесенке. Взялся за скобу...

Боже мой, что это? Я не верил своим глазам. За столом сидели и мирно, как старые ветераны, беседовали Авинер и Олеша. Не было ни крику, ни шуму. Бутылка зеленела между чайных приборов, на столе остывал самовар.

— А мы тебя, Констенкин, давно ждем. Ну-ко, давай садись. Занемог, что ли? — сказал Олеша.

— Да нет, ничего вроде.

— Мы тебя враз вылечим.

Олеша налил полстакана бурого чая. Настасья заварила нового чаю, уже с малиной. Я растворил сахар, и Олеша прямо из бутылки дополнил стакан. Налил себе и Козонкову.

— Мы уж тебя давно, парень, ждем-то, вон и Настасью за тобой посылали,— сказал Авинер и поднял стопочку.

— Дай бог не последнюю,— сказал Олеша.

От пунша мне стало жарко. Озноб за плечами растаял, и в глазах потеплело от чего-то непонятного. Или я старею? Ах, черт побери, как все-таки хорошо жить.

— Ну, поехали!

Сквозь пелену уходящей болезни я смутно ощущал разговор Авинера с Олешей.

— Нет, Авинер Павлович, я тебя не переживу.

— Может, и ты, Олеша, меня топтать будешь.

— Оба, Авинер Павлович, в одну землю уйдем. Я уж подсчитал, на гроб надо сорок восемь гвоздей. Только ежели мне там не понравится, так я обратно прибегу, возьму увольнительную. А вот чего, парень, сделай мне гроб на шипах! Ежели умру, сделай гроб на шипах, чтобы честь по чести! Да с гармоньей похороните. Заиграют, дак я хоть ногой лягну! — Олеша даже притопнул.

— На шипах. На шипах домовина, конечно, не то, что на гвоздях, оно поплотнее...— Козонков пожевал хлеба.

— Вот и давай уговор сделаем.

— Давай. Я не супротив,— сказал Козонков.

— При свидетелях! — Олеша даже привстал.

— Ну!

— Дай руку, что сделаешь на шипах?

— Да, может, я раньше умру-то.

— Ну, тогда и я тебе на шипах.

Старики потискали друг другу ладони, и Олеша вдруг весело, с душой спел частушку:

Плясать-то учились
Еще мальчиками,
Дотыкались до земли
Однеми пальчиками!

Настасья со смехом замахала на него руками:

— Ой-ой, что с ним будет-то! Гли-ко он распелся-то!

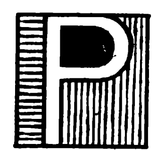
— А мне теперь что! Вот ты завтра с Костей уедешь, а я без тебя и женюсь на молоденькой. В больницу схожу, все анализы сдам. Пойду в Огарково свататься!

Потом они оба с Авинером, клоня сивые головы, тихо, стройно запели старинную протяжную песню.

Я не мог им подтянуть — не знал ни слова из этой песни...

МОЯ ЖИЗНЬ

Автобиография


одилась я в Ленинграде на Васильевском острове в апреле месяце тридцатого числа одна тысяча девятьсот тридцать второго года. Наша квартира была сначала на третьей линии, потом нам дали другую, и мы переехали к Нарвским воротам.

Папу я хорошо запомнила. Он был высокий, веселый, работал слесарем на заводе имени Кирова. Когда его оставляли на вторую смену, я каждый раз не ложилась спать. Помню, мама все время меня ругала, а я плакала и никак не хотела уснуть. Он приходил домой в рабочей одежде, и я засыпала, пока он переодевался и мылся в ванной. А утром я вставала раньше и ходила на цыпочках около его кровати, мама нам с братом Павликом не давала шуметь.

Мама у нас имела среднее образование. Она все собиралась пойти на работу, но, когда родился мой второй брат Витя, ей опять пришлось сидеть дома. Правда, вся обстановка у нас была, каждый месяц что-нибудь покупали. Но я тогда еще не задумывалась над этим, только слушала разговоры.

Наверное, это было самое счастливое время в нашей семье. Мы часто ездили в Петергоф и в Гатчину, ходили в гости к маминой сестре тете Нине, но тут началась война.

Было лето, мне исполнилось девять лет. Я собиралась осенью пойти уже во второй класс. Однажды утром я пробудилась от какой-то нехорошей тишины. Отец за столом разбирал свои документы. Павлик и маленький Витя еще спали, а мама сидела напротив отца и плакала.

На следующий день объявили мобилизацию. Папа ушел в военкомат уже с вещевым мешком, с кружкой, ложкой и полотенцем. Мы всей семьей провожали его до трамвая. Помню, как папа перецеловал нас троих, потом обнял маму и сказал: «Ничего, Клава,— так звали мою маму.— Ничего, Клава, учти, что война будет короткая. Месяц, два — и управимся, опять все будем вместе».

Мама рассказывала, что перед отправкой на фронт он в лейтенантской форме еще раз приходил домой, но это было ночью, и я его не видела больше. А через месяц нам пришло извещение, что он пропал без вести. В тот же день был первый большой налет на Ленинград. На этом, можно сказать, кончилось мое счастливое детство. Мама каждый день плакала о папе. Все продукты мы получали по карточкам. К нам переехала жить тетя Нина — незамужняя мамина сестра. Первого сентября она повела меня в школу во 2-й класс, а обратно я прибежала сама, но тетя Нина каждый день стала водить меня. Мама работала по ночам, на дежурстве в госпитале, днем Павлик и Витя оставались с ней, и тетя Нина водила меня в школу. Однажды она повела меня в школу, и только мы прошли два квартала, как сразу объявили воздушную тревогу. Помню, посреди улицы стоял пустой трамвай. У него чего-то работало внутри, а ни вожатого, ни людей в нем не было, все скрылись. Тетя Нина схватила меня в охапку и потащила в бомбоубежище, а из моего портфеля выпал пенал — и я заплакала. Мне было жалко карандаш и резинку. Тетя Нина все же успела схватить пенал, толкнула меня в подвал, на низкую лестницу, а я упиралась и не хотела идти. Потому что было тихо и нигде никакой бомбежки не было, только по радио все говорили и говорили, чтобы мы шли в убежище. Мне хотелось посмотреть на немецкие самолеты, думалось, что они совсем не страшные, и я все хотела бежать вверх по лестнице. Но тетя Нина крепко держала меня за руку. Помню, что в подвале сидело уже много людей, многие весело разговаривали. Вдруг все сильно вздрогнуло, и двери распахнулись. Потом так грохнуло, что я завизжала от страха. Больше ничего не помню. Помню только, что когда очнулась, то в подвале было темно, люди кричали кто что. От пыли нечем было дышать. Тетя Нина прижимала меня к себе, а я прижимала свой портфель с пеналом и книгой для чтения.

Когда мы вышли наверх, я увидела тот же трамвай уже с народом и вагоновожатой, все было, как и раньше. Но когда мы с тетей Ниной подошли к школе, то увидели, что на этом месте никакой школы нет. Дым шел от большой кучи кирпича, известки и земли. Дом, который был рядом со школой, тоже развалился, пожарники и дружинники кричали и бегали. Машина с голубым кузовом стояла рядом, в нее затаскивали что-то страшное.

Тетя Нина охнула и потащила меня домой. С того дня я уже не ходила больше в школу. Зимой у нас перестало работать паровое отопление. Тетя Нина надевала на нас все одежки, какие были в шкафу. Маленький братик Витя заболел воспалением легких. Мама сходила за врачом, врач принесла каких-то капель в бутылочке и велела давать Вите утром и вечером. Но температура у Вити все не снижалась, и он умер. Я не могла понять, что это значит умер, и все спрашивала, почему Витя не говорит.

Мама плакала. Тетя Нина завернула Витю в простыню, положила в чемодан и поехала куда-то на трамвае. Она вернулась домой без чемодана и дала нам с Павликом по прянику. «Вот, Танечка,— сказала она,— ешь да вспомяни Витю».

Я долго берегла этот пряник.

По карточкам уже не давали почти ничего. Нам все время хотелось есть, мы с Павликом сидели в пальто и в шапках, играли на полу около камина. Этот старый камин тетя Нина очистила, соскребла краску и сделала из него печь. Мы ломали забор во дворе и топили, но тепла было почему-то мало, а дыму много. Наконец тетя Нина где-то в другой комнате нашла задвижку и открыла ее. Дым с тех пор перестал валить в комнату. Тетя Нина привезла откуда-то полмешка мерзлой картошки, мы варили картошку в нашем камине.

Воду мы запасали в большую дубовую бочку, колонка работала редко. Бочку эту тоже прикатила откуда-то тетя Нина.

Как-то из ее разговора с мамой я услышала, что блокаду вот-вот прорвут, что скоро начнется большое наше наступление. К этому времени мы с Павликом уже привыкли к бомбежкам и наперегонки бегали в бомбоубежище. Тетя Нина не успевала за нами. У нее уже опухли ноги, и она все ругалась, но мы знали, что она ругает нас не взаправду.

Однажды, это было уже весной, мы два дня совсем ничего не ели. Мама вернулась с дежурства, еле переставляя ноги, и закричала: «Где она? Опять в церковь ушла...» Мы с Павликом оба молчали. Нам было жаль тетю Нину, мы любили ее и не понимали, почему мама так ужасно ругает ее. Когда тетя Нина вернулась, мама опять начала ее ругать, потом расплакалась, упала на кровать и зажала лицо подушкой. Тетя Нина присела к ней: «Какое тебе дело, Клава, что я в церковь хожу? Я тебе не указчица, не мешай и ты мне. Я никому ничего худого не сделала...»

Она ходила в церковь каждую неделю и рассказывала, кто что говорит. Ходили самые страшные слухи. Тетя Нина узнала от кого-то, что где-то составляются списки для эвакуации, что отправлять в первую очередь будут красноармейских жен и детей. Она долго уговаривала маму на то, чтобы выехать из Ленинграда. Мама не соглашалась сперва, но потом тетя Нина ее все-таки убедила. Не знаю уж, как это удалось тете Нине. Мама начала хлопотать о выезде, и я помню, как после дня моего рождения нас с Павликом одели и вывели в другую комнату. Тетя Нина и мама собрали два узла и два чемодана. Потом какая-то машина привезла нас далеко за город, и я помню только, что там было много людей, тоже с чемоданами и детьми. Кругом стоял плач и крик. Тетя Нина приехала нас провожать, сама она ни за что не хотела эвакуироваться. Мы услышали гул самолетов и бросились в какой-то сарай, нас чуть не раздавило машиной. Поднялся ужасный шум и паника. Но оказалось, что самолеты летели наши, а не

немецкие. Я помню, как какой-то военный с наганом в руке вскочил на крышу сарайчика, начал стрелять в воздух. Потом он стал выступать и говорил, что это позор для ленинградцев, что нельзя оставлять город в такую минуту. Нас с Павликом опять погрузили в машину. Мы вернулись в город, но уже не домой, а к тете Нине. Мы остались у нее, потому что в этот район немецкие снаряды долетали очень редко.

Не буду и вспоминать, что мы пережили за это лето и зиму. Мне все равно никто не поверит. Когда прорвали блокаду, нас с мамой и Павликом вывезли из Ленинграда в Вологду. Это было в январе месяце сорок третьего года. Но я ничего этого не запомнила. Помню, как в Вологде меня кормили чем-то горячим с чайной ложечки и как маму прямо из вагона унесли на носилках.

Тетя Нина осталась в Ленинграде, и мы решили, что она умерла.

Все трое — я, мама и Павлик,— мы до самой весны пролежали в больнице. Сначала лежали в разных палатах, а после главврач — женщина — распорядилась, чтобы нас поместили вместе. Правда, в этой же палате лежали еще шесть человек женщин, не эвакуированных, а местных, из Вологды. Они как могли помогали нам, все нас жалели. Особенно одна, по имени тетя Паня, у которой вырезали язву желудка. Тетя Паня была на всю палату одна ходячая, когда я очнулась. Она увидела, что я очнулась, и говорит: «Ну, вот, милая, и хорошо. Пойдешь теперь на поправку».

Я испугалась сначала. Но потом вижу, рядом Павлик и мама лежат, вроде бы спят. Едва поднялась. У Павлика шея как спичка, голова большая, еле держится, а сам уже сидит. Маму мы не стали будить, а тетя Паня достала из тумбочки что-то, в бумажке завернуто. «Нате-ко,— говорит.— Сколько дней берегла, никому не показывала». Я развернула бумажку, в ней были завернуты два коричневых орешка.

Тетя Паня и научила меня вязать крючком кружева. Когда она выписалась, то оставила мне этот крючок и две катушки ниток сорокового номера. Она оставила нам и свой адрес.

Павлик уже вовсю бегал по палате, а мы с мамой едва ходили, когда нас выписали. Дали пособие и направили в один район, в деревню. Мама даже не могла поднять чемодан. Оделись в свое, вышли и сидим на больничном крыльце. Не знаем, что делать. Больные идут мимо нас, поздравляют, а мы сидим и сидим, как будто отдыхаем. Я говорю маме: «Мамочка, попроси, чтобы нас на лошадке отвезли». А мама боится спросить и говорит: «Молчи, Таня, а то нас не отпустят, опять в больнице оставят». Встала, хотела взять чемодан и чуть не упала. Вот мы и опять сидим. Видно, кто-то сказал про нас главврачу. Она прибежала. «Что вы,— говорит,— разве можно так? Сказали бы сразу».

В больнице была своя лошадь, один старичок возил на ней воду. Забыла я, как звали того старичка. Он вычерпал воду, привязал наш чемодан к бочке и говорит: «А вот вас-то куда, голубчики?»

Места на повозке не было. Тогда он подсадил меня и Павлика наперед, взял длиннющую такую веревку и привязал нас к бочке, чтобы не упали. А маму пристроил сзади. Сам взял вожжи и пошел рядом с повозкой. Так и приехали на вокзал. Старичок сперва нас отвязал и снял на землю, потом чемодан: «Ну, говорит, извините, пожалуйста, а мне некогда, надо ехать». И мы остались одни на вокзале. Мама все время боялась за наш чемодан, да и с билетами было очень трудно. У кассы многие стояли в очереди третьи сутки. Мама сидит на чемодане и плачет. Нас увидел милиционер и спрашивает, кто мы такие? Куда едем? Когда он все узнал, то пошел куда-то, потом вернулся и спрашивает: «Деньги-то есть у вас?» И сказал, сколько надо на билет до нашей станции. Он взял у мамы деньги и примерно через час принес нам билеты, один взрослый и два детских. Он и в вагон сесть тоже помог. Мама открыла чемодан, достала красивый, еще папин, галстук и подает ему. А он замахал руками: «Что вы, говорит, что вы. Езжайте, еще пригодится». И ушел. (Позже, когда я уже стала большая, я его увидела в Вологде. Хотела подойти, сказать или поблагодарить его за тот случай, но постеснялась.) Вечером мы приехали на свою станцию, соседи по вагону нам помогли выгрузиться. И вот стоим на полотне, опять не знаем, что делать. Поезд ушел, все стихло. Станция совсем маленькая. Колхоз наш назывался «Красный пахарь». Но мама не знала даже, в какой он стороне от станции и сколько до него километров. Мне хотелось пить, а Павлик просил у мамы хлеба. Какая-то тетя с ведрами пришла за водой к водокачке. Она остановилась и спросила у мамы, чьи мы, откуда и куда едем. Узнала, как нас зовут. Помню, она сначала отнесла воду домой, потом пришла к нам опять, помогла зайти на вокзал и сказала, что надо конных возчиков, которые возят на станцию ивовое корье. Она сказала еще, что некоторые останавливаются у них в доме и что она пошлет их за нами сюда, когда приедут из «Красного пахаря».

Мама дала нам поесть, уложила в вокзале на широкой скамье. Мы сразу уснули. А ночью я, даже не помню как, очутилась в повозке. Открыла глаза и вижу, как лошадь мотает хвостом, слышу, как скрипит наша большая телега. Павлик спит, а мама разговаривает с девушкой, которая сидела на лошади. Помню только, что девушка была обута в сапоги, от них пахло дегтем, еще помню, что ночь была светлая и комары очень кусались. Мама прикрыла меня платком, я опять уснула, но пробуждалась еще много раз.

Лошадь все идет и идет, телега трясется и скрипит. Так мы ехали всю ночь, а утром я пробудилась от солнышка. Девушка поила нашу лошадь из какой-то речки. Потом она распрягла ее, но хомут не сняла. Привязала один конец вожжей к уздечке, а другой

к телеге и пустила лошадь пастись. А я опять уснула и проснулась только тогда, когда снова поехали. Никогда ни я, ни Павлик не видели столько травы! Проезжали мы и через большие деревни, и через длинный лес. Потом проехали мост и подъехали к деревне. Девушку, которая нас везла, звали Капой. Она остановилась у одного дома и говорит: «Вот, наверное, тут вы будете жить. Мы еще на первый май полы вымыли». Это и был наш «Красный пахарь». Нас здесь ждали давно. Мама оставила нас с Павликом в доме, дала хлебца и пошла в сельсовет в другую деревню. К нам в избу сразу набежало множество ребят из разных домов. Они молча глядели на нас, сидели, сидели на лавках и вдруг, как по команде, выбежали на улицу. Павлик заплакал: «Почему убежали все?» А я и сама не знала почему. Мы вышли тоже на улицу. Увидели Капу, которая нас везла. Капа велела своему маленькому брату глядеть за нами и не обижать, он пообещал, а она повела куда-то нашу лошадь. Капин брат подошел к нам и спрашивает: «А вы окувыренные?»

И мы стали играть на лужке.

В тот же вечер, когда мама вернулась из сельсовета, к нам пришло так много народу, что на лавках не было места. Все принесли нам чего-нибудь: кто соли в спичечном коробке, кто прошлогоднюю брюкву. А когда одна тетя принесла и поставила в кухне бутылку молока, мама совсем расплакалась и не знала, что говорить.

Все просили рассказать, кто мы, откуда, какие есть у нас родственники и где они, сколько лет нам с Павликом и все, все. И с этого первого дня к нам часто стали ходить люди. Они слушали, а мама подолгу рассказывала о ленинградской блокаде.

Так мы начали жить в деревне. Нам рассказали, что дом, который нам отвели, стоял много лет заколоченный, что хозяева уехали из деревни во время раскулачивания. В доме так все и осталось нетронутым, вплоть до чугунов и ухватов. Мы начали поправляться, хотя в деревне давно не было никакого хлеба. Люди питались какими-то провеянными отбросами и костерой, сушили ее в печах, толкли в ступах или мололи на ручных жерновах. У некоторых была еще прошлогодняя картошка и брюква. Собирали ягоды и грибы, щавель и гигли. Все с нетерпением ждали свежей картошки. Корова была уже не в каждом доме. Некоторые держали одну корову на два или три хозяйства. Молоко, почти все, надо было сдать государству. Не помню, кто посоветовал нам посеять ячмень. Мама еще успела вскопать огород и посеять ячмень. На хороший атласный платок она выменяла у Капы лукошко семян. Мы боялись, что ячмень не взойдет, либо не вызреет и что наши труды пропадут. Но прошел дождик, и ячмень взошел. Он рос очень быстро. Мы с Павликом каждое утро, как пробудимся, бежим смотреть. Всходы были большие и дружные, вскоре у них появились зеленые усики. Мама тоже радовалась вместе с нами. В местном сельпо по решению сельсовета маме

выписали две иждивенческие карточки. Мы каждый месяц получали в магазине по шесть килограммов муки. Хотя еды все равно нам не хватало, все колхозники маме завидовали, в колхозе они не получали и этого. Карточек колхозникам не полагалось, их получали только учителя и другие служащие. Многие ходили с толстыми опухшими ногами, рвали клеверный цвет, сушили и толкли в ступах. В эту муку добавляли толченой картошки и пекли, но лепешки не получались и рассыпались на противне. Приходилось брать их щепотками и сыпать в рот. От какой-то болезни начали дохнуть колхозные кони. Их обдирали, разрубали и делили куски по жребию. Кто-нибудь из стариков или подростков отворачивался и закрывал лицо кепкой, а другой указывал на кусок мяса и спрашивал: «Этот кому?» Тот, кто отвернулся, должен был назвать фамилию и выкрикивал наугад, поэтому не было никакой обиды.

Летом мы с мамой ходили сперва косить, потом дергать лен. Павлик сидел в траве, а мы дергали вместе с другими женщинами. Я быстро научилась вязать льняные снопы. За два месяца мы с мамой выработали сорок два трудодня. Бригадиром в деревне была одно время та самая девушка Капа, которая везла нас со станции. Она выписала на меня отдельную трудовую книжку и записывала в нее все, что я делала. «Вот, Таня,— говорила она,— смотри, сколько у тебя трудодней, скоро будет не меньше, чем у мамы». К нам часто бегали Капины братики, мы купались на речке и собирали чернику. Еще мы очень подружились с одной семьей по фамилии Смирновы. Но их почему-то все называли Феклухиными, потому что у бабы Густи было прозвище Феклуха. Однажды мама послала меня к бабе Густе за ножницами. Я пришла и говорю: «Тетя Феклуха, дай ножницы, меня мама послала». Она дала ножницы, погладила меня по голове и говорит: «Ты, матушка, меня так не зови. Зови Августой либо бабушкой».

Баба Густя жила одна в небольшой избе. У нее было сначала пять сыновей, но троих уже убили на фронте. Двое тоже были на войне. Один — женатый — оставил дома жену Марию, которую мы звали просто Маня. У Мани имелось трое детей, одна девочка Катя была моя ровесница. Баба Густя половину времени проводила у них, с Катей они часто ходили с корзинами щипать клеверный цвет. Усядутся в клеверище и щиплют. Потом умнут корзины и опять щиплют. Однажды председатель колхоза ехал на лошади, увидел их на клевере и закричал, но баба Густя сама обругала его. У Смирновых, как и у всех, почти никогда ничего не было есть. Они всех раньше начали подрывать свежую картошку. Но картошка была еще только по пуговке, одни беленькие зародыши. Однажды Катя прибежала к нам и опять попросила наши ножницы. Мамы дома не было, я дала Кате ножницы. Дня через три Катя отозвала меня за палисадник и шепотом рассказала, зачем нужны были ножницы. Оказывается, они с бабушкой ходили ночью в поле, в колхозную рожь отстригать колоски. За один раз

наотстригали решето колосков. Баба Густя тихонько вылущила зерна, провеяла, высушила в печи и смолола на ручных жерновах. Потом она сварила из этой муки вкусную кашу. Правда, опять не вытерпела и добавила в нее клеверной черной муки.

Я хорошо помню тот день. Незадолго до этого маленький Катин братик сказал ребятишкам на улице, что бабушка варила «лзаную» кашу. Через день председатель колхоза взял двух понятых — учительницу и налогового агента — все неожиданно пришли к Смирновым. Они долго ходили по сараю, в летней и зимней избе. Уже собирались было уходить, но маленький Катин братик пальчиком показал под комод: «Тут лесето».

Открыли комод и увидели решето с колосьями и нашими ножницами. Составили сразу акт на бабу Густю и Катю, но тут с поля прибежала тетя Маня. Она заплакала. Говорили, что она испугалась за Катю и сказала, что ходила стричь колосья не Катя, а она, то есть тетя Маня. Баба Густя громко ругалась на всю деревню. Я помню, как тетю Маню, Катину мать, вызывали в сельсовет на следствие, а потом вызвали в район, на суд, и больше не отпустили. Мамины ножницы увезли в район как доказательство. Так они там и затерялись. Тете Мане дали полтора года заключения. Баба Густя забрала Катю и двух ее братиков к себе в избушку. Они и жили вчетвером больше года, пока тетя Маня не вернулась из заключения.

Наш ячмень в то лето вырос очень хороший, баба Густя помогла маме сжать его серпом. Она связала из него снопы, мы высушили их в бане. Потом разостлали на лужке большую подстилку и начали околачивать снопы колотушками, потом провеяли зерно на ветру. Мы всю зиму варили ячменную кашу. На следующую весну мама выменяла на папин костюм мешок картошки, и весной мы посадили целых четыре грядки. Но это уже было в сорок четвертом году, а я помню еще лето, которое было первое после нашей эвакуации.

В нашем колхозе стояла тогда небольшая воинская часть. Красноармейцы косили сено для артиллерийских коней. В нашей деревне жил старший лейтенант, но не все время, а приезжал недели на две, пока красноармейцы косили. Мы часто бегали к ним, они тоже ночевали в ничейном доме. Только старший лейтенант жил на квартире.

Один раз вместе с Катей мы пришли к ним и слышим, что в той половине дома очень шумно. Хозяйка унесла туда только что вскипевший самовар. Я видела, как побежали за вином в магазин двое больших ребятишек. Старший лейтенант дал им за это по одному разу выстрелить из нагана. Потом он подозвал меня и завел в ту половину дома. Мама сидела там за столом и пела песню «Прощай, любимый город». Раньше эту песню часто пел папа. Старший лейтенант усадил меня за стол, дал большой кусок сахару, но я заплакала, бросила сахар на пол и убежала домой. Мне было почему-то очень тревожно и грустно. Я весь вечер про-

плакала и все поджидала маму. Она пришла поздно, когда я уже уснула нераздетой. Я проснулась, но лежала не шевелясь, а мама укрыла меня одеялом и ушла в комнату. Я слышала, как наши ворота тихонько хлопнули и как кто-то вошел по лестнице в комнату. Павлик спал рядом, в нашем чулане. А я не могла уснуть, мне было почему-то тревожно и больно. Я не выдержала, вскочила на ноги и забежала в комнату. В комнате пахло папиросным дымом. Старший лейтенант лежал на маминой кровати и курил. Не помню, что со мной было. Помню только, что мама впервые в жизни за руку вытащила меня в коридор и побила. Я, рыдая, убежала из дому, спряталась в каком-то сарае, набитом сеном. Я решила тогда, что возьму Павлика и убегу от мамы. Меня искали по всей деревне всю ночь и на следующий день, а я не выходила из сарая, прислушивалась. Я вспоминала папу и ненавидела этого старшего лейтенанта. Я готова была сделать с ним что угодно. Меня нашла в сарае уже вечером баба Густя. Она увела меня к себе, утешила, накормила и успокоила. Но я хорошо знаю, что с того времени во мне что-то изменилось, какая-то тоскливая боль занозой засела в сердце и не проходит. Я знаю, что и до сих пор я не простила маме этого страшного лета. От папы не было никаких вестей.

Я заканчивала третий класс, когда пришел День Победы.

Все думали, что теперь, когда война кончилась, жизнь сразу наладится. Но в сорок шестом году опять начался голод, еще сильнее, чем во время войны. Я училась в шестом классе неполной средней школы, когда мама простудилась и заболела. Школа наша была в десяти километрах от нашей деревни. Мы жили при школе, ходили домой только на воскресенье. Питались почти одной картошкой. У некоторых не было вдоволь и картошки, но у нас никогда не было никакого воровства. В классе я была всех старше и всех рослее, от этого мне было все время стыдно. Ведь по годам я должна была учиться уже в восьмом. Однажды учительница зашла в класс и говорит: «Таня, я освобождаю тебя от второго урока. Тебя на медпункте ждет мама».

Я пришла на медпункт, он был в другом доме, гляжу, маму, раздетую, осматривает фельдшерица. У мамы была сильная температура. Ее сразу одели, вывели из медпункта, закутали в санях в одеяло. Она только успела погладить меня по голове и сказать: «Учись, Танюшка, лучше выполняй домашние задания». Тетя Маня повезла ее в больницу за двадцать километров от нашей школы. Я подъехала с ними недалечко, а мама вся закутана. Тетя Маня гонит меня в школу: «Иди, иди, Таня, видишь какой холод!» Я заплакала и не слезала с саней, а мама и не слышит меня.

Она пролежала в больнице только дней десять и умерла,— мне сказали об этом на уроке ботаники. Я убежала из класса...

Так мы с Павликом стали круглыми сиротами. Павлика взяла к себе тетя Маня, а я еще успела закончить шестой класс. Нас решили отправить в детдом. Но тетя Маня попросила в сельсовете,

чтобы Павлика пока не отправляли. Он временно остался в деревне, а меня отправили, это случилось летом.

Меня привезла в детдом тетенька из райисполкома, сдала под расписку директору. Директор побеседовала со мной и приказала одной женщине провести со мной санитарную обработку. Я еще не знала, что это такое. Сердитая тетка взяла меня за руку, отвела в баню и велела раздеться. Я стеснялась раздеваться при ней, а она закричала: «Ну, прынцесса, чего глядишь! Скидывай шмутье да иди стричься». И она подошла ко мне с ножницами. У меня были большие косы, я в ужасе бросилась к двери. Но двери были заперты, я заплакала. Обе мои косы отстригли, и я не помню, как тетка мыла меня в холодной бане, как одевала в детдомовское...

В комнате нас жило восемнадцать человек девочек. Многие были старше меня, некоторые курили и говорили нехорошие ругательства. Я думала, что схожу с ума. Не знаю, как я прожила два этих месяца. Кормили нас плохо. Мальчишки жили в другом здании и подглядывали по вечерам к нам в окна. Они ругались и пели нецензурные частушки. Ко всему, я почти сразу же заразилась чесоткой, не знала, что делать, стыдилась сказать об этом и все время мучилась, особенно по ночам. К тому же я была самая рослая в комнате, и меня прозвали обидным нехорошим прозвищем. Я плакала и все вспоминала нашу деревню, Павлика, тетю Маню и бабу Густю.

Однажды у одной девочки пропало круглое зеркальце. Сказали, что это я украла его. На меня набросилась вся комната... Я вырвалась и убежала в уборную, а вечером после ужина решила убежать из детдома. Я помнила и знала дорогу к райцентру... После отбоя комната еще долго не спала, стоял шум. Зашла воспитательница — все затихли. А когда ушла — опять все попрежнему, кто поет, кто плачет. Наконец все уснули. Я взяла из тумбочки мамину кофточку, потом тихо вышла в коридор. Наружная дверь запиралась ночью на ключ. Дежурный воспитатель, наверное, дремала в это время в Ленинской комнате, или ее совсем не было. Я потихоньку прошла к окну в конце коридора. Форточка в нем была большая, но размещалась высоко. Тогда я тоже тихонько прошла в уборную, я помнила, что одна доска там оторвалась и имелась узкая щель на улицу. Я долго расшатывала другую доску. В это время кто-то из девочек, слышу, бежит в уборную, я притворилась, что тоже... Девочка была сонная и из другой комнаты. Она убежала, а я опять начала расшатывать вторую доску. Расшатала и вылезла, хотя сильно разорвала платье.

Ночи стояли еще светлые, белые. Я бросилась без оглядки к заборчику, перелезла и даже не заметила, как до крови разодрала колено. Никто меня не окликнул. Я километра два бежала бегом по дороге. Когда-то я ехала тут на телеге с Капой, с мамой и Павликом.

Было уже утро, по деревням пели петухи, выгоняли коров.

Я присела у одного гумна около дороги и заснула, пригрело солнышком.

Меня разбудило фырканье лошади, я вскочила. Какой-то дяденька ехал на телеге в нашу сторону, увидел меня и спросил: «А ты, девушка, чего тут сидишь? Садись, ежели по пути». Я сказала, что ездила в район за справкой. Он покачал головой и хлестнул вожжиной по лошади.

К вечеру мы подъехали к нашей деревне. Дяденьке надо было дальше, он покормил лошадь у нашей речки и поехал, а я огородами прошла к бабушке Густе. Избушка была заперта на замок. Никто в ней не жил. Я испугалась сначала, сердце так забилось, что не могу и дохнуть. Потом догадалась, что бабушка Густя, наверно, живет вместе с тетей Маней. Я подошла к дому...

Бабушка Густя пилила дрова вместе с Павликом. Она охнула, схватила меня в охапку, и обе не можем сказать слова. Она оглядела меня с ног и до головы, заплакала: «Ой, Танюшка... Дитятко... Ну-то, сердешная ты моя...»

Я разрыдалась, а Павлик глядел, глядел на нас — да и тоже зашвыркал носом. Тут я прижала его к себе. Такой он был худенький, маленький, чувствовалась каждая косточка...

На другой день я пошла с тетей Маней косить. Всю неделю я ходила сама не своя, боялась, что отправят обратно. Но тетя Маня не отправила меня в детдом, а про бабу Густю и говорить нечего. За полмесяца я заработала двадцать пять трудодней.

Однажды я пришла с поля и слышу: в избе разговаривают. У меня обмерло сердце. Двери были открыты. Я прислушалась и слышу голос председателя сельсовета. Оказалось, что из детдома и райсобеса пришло распоряжение вернуть меня в детдом, а Павлика отправить в другой... Я спряталась в сарае в самом дальнем углу, и не выходила, председатель так и ушел. Ни тетя Маня, ни баба Густя не сказали мне ни слова, когда я пришла вечером в избу. А утром я опять пошла загребать сено и метать стог. Меня вызывали в сельсовет, я не шла. Председатель приходил к нам, говорил, что отправит в детдом... Но до осени я заработала шестьдесят трудодней, председатель колхоза зачислил меня на ударную доску. Так и остались мы жить у тети Мани, нас больше не посылали в детдом. Однажды тетя Маня позвала меня в летнюю половину, открыла шкаф и говорит: «Вот, Таня, гляди сама, все цело, никуда не девалось ни одной ниточки». И выложила на стол женский костюм, три мамины платья, папину пыжиковую шапку и дамскую меховую муфту. Это было все, что осталось у нас с Павликом, остальное мы променяли еще задолго до этого.

Я взяла шерстяной мамин костюм и подала его тете Мане, она заотказывалась. Но я так ее просила взять, что тетя Маня расплакалась. Она ни за что не хотела брать. Тогда мы договорились, что костюм я оставлю себе, а она возьмет шерстяное серое мамино платье. «Что ты, Таня,— говорила она,— ты ведь считай что невеста. Все самой пригодится».

Но я видела, как она довольна и счастлива. Мы тут же примерили ей мамино платье. Муфту и папину шапку мы продали и купили взамен костюмчик Павлику. На остальные деньги тетя Маня заказала ему сапоги, а мне купили боты, и у меня теперь все основное было, кроме пальто. Зимой я носила фуфайку тети Мани и все же закончила семилетку.

Никогда, вовек я не забуду этих людей, ни тетю Маню, ни бабу Густю.

В сорок девятом году мне исполнилось семнадцать лет. Мой брат Павлик тоже подрос и уже перешел в четвертый класс. Но я все еще не ходила на деревенские гулянья. А ведь тогда в деревнях было много молодежи, хотя ребята и девушки подолгу жили на лесозаготовках.

Однажды сидим за самоваром, а тетя Маня чашку налила и говорит: «Ну-ко, Таня, допивай да сходи к церкви. Платье надень да и сходи. Чего раскраснелась-то? В твои годы гулять да гулять».

Я не знала, куда деть глаза, а она словно нарочно: «И нечего. Ты вон какая у нас баская девка».

Гулянья собирались летом у старой церкви. Там было красивое место, горушка и озеро. Ребята и девушки ходили вдоль дороги, плясали и пели. Издали я много раз видела, как парень вначале как бы шуткой подхватывал девушку под руку, и они шли словно бы просто так. Потом уходили к соснам, в тихое место. Мне казалось, что со мной никогда так и не будет, что я хуже всех...

Тетя Маня чуть не за рукав поволокла меня в летнюю половину, сама достала из шкафа мамино платье и новые боты: «Скидывай свое детдомовское! — Я ведь все еще ходила в старом детдомовском платье.— Вон Капка пойдет, так и тебя возьмет!» Она и впрямь кликнула в окно Капу, ту самую, что привезла нас когда-то со станции. Капа зашла к нам и похвалила меня. Взяла под ручку, потащила с крыльца. И я пошла с ней к церкви, там уже наигрывала гармонь...

Никогда не думала, что и я буду такая счастливая, что все мое горе забудется. Я в то же лето научилась плясать и петь по-местному, а осенью уже не пропускала ни одного гулянья. В соседней с нами деревне жил один парень Костя по фамилии Зорин. Не то чтобы он был очень красивый или в чем-то особенный. Парень как парень. Но один раз мы с ним на одной лошади возили снопы овса. Я подавала, он укладывал. Снопы эти короткие, толстые, надо было уметь их складывать, иначе воз мог развалиться по дороге в гумно. Мы наложили однажды очень большой воз и стянули веревками. Костя пошел рядом с лошадью, а я забралась наверх. Поехали. Дорога была неровная, воз растрясло. Я вдруг почувствовала, что веревки ослабли. Снопы поползли из-под меня и начали падать на дорогу. Лошадь остановилась, снопы ползут и ползут. Я их держу в одном месте, а они в другом ползут. И до того мне стало смешно, что я хохочу как дурочка. Так весь воз и разъехался в разные стороны. А Костя стоит

посреди дороги, совсем растерялся. Не знает, что и делать. Лицо у него такое огорченное, напуганное стало, совсем как у моего Павлика, а ведь он был старше меня, и я боялась его. И так мне запомнились его огорченные глаза, что я вспоминаю их всю жизнь. Я перестала хохотать, мы сложили снопы заново. Ничего как будто и не было. Но с того дня я все время начала думать о нем. Я знала, что он ни с кем не ходит взаправду, и все ждала, что он подойдет ко мне на гулянье. И он подошел однажды, у всех на виду взял меня под руку. Сперва мы даже не знали, о чем говорить. Такой он был стеснительный, вежливый, что так и не осмелился ни разу поцеловать, хотя каждый раз провожал в деревню. Вскоре его должны были взять в армию. Я пообещала ему, что буду ждать, что мы сразу поженимся, как только он вернется со службы.

Но, видно, не суждено было сохраниться нашему с Костей счастью. Судьба развела нас в разные стороны...

Зимой в наш сельсовет пришла разнарядка: отправить двух человек в ремесленное училище. Когда я узнала, что намечают меня, то обрадовалась, я уже мечтала тогда о городской жизни. Мне хотелось учиться дальше. Но что-то будет у нас с Костей? Тогда я еще не задумывалась о жизни всерьез, поехала в ремесленное, и он пришел меня провожать. Мы договорились, что будем часто писать друг другу. Так и кончилась моя деревенская жизнь, я стала совсем взрослая. Тогда все вокруг казалось таким интересным.

Я не хочу жаловаться на свою жизнь, хотя иногда приходилось и очень трудно. Было у меня все, и хорошее, и плохое. Не знаю уж, которого больше. Но в жизни хорошее запоминается больше.

В ремесленном я быстро привыкла. Училась хорошо по всем предметам. Правда, еды и здесь не хватало, но с детдомом нельзя было сравнивать. Кроме рабочей, нам выдали красивую шерстяную форму. Я попала в группу сеточников, мы изучали бумагоделательные машины и технологию бумажного производства. Раз в неделю нас строем водили в кино. Иногда после отбоя мы убегали в самоволку в горсад, смотрели на танцы. На второй год в училище стали устраивать свои вечера, и я познакомилась с одним молодым человеком. Не буду говорить его фамилию. Звали его Сашей, он уже работал на комбинате. Однажды мы пришли с подругой на танцы в горсад. Меня провожал оттуда наш ремесленник Толя. (Забыла сказать, что мы давно уже дружили с Толей, договорились вместе поехать по распределению.) Толя был рослый, широкоплечий, но несмелый, хотя и занимался в боксерском кружке.

Мы идем с ним по темной дорожке, и я вижу: Саша стоит на пути с каким-то приятелем. Ждут нас. Только я хотела свернуть в сторону, а меня как будто кто-то тычет под бок, и я говорю: «Пойдем прямо, Толик!» Мы подошли, а они загородили нам дорогу: «А ну, отойдем на пару слов!» — говорит Толе Сашин

приятель. Саша остался со мной, а они отошли за кусты и начали драться. Саша подхватил меня под руку и увел. С ним я встречалась раз в неделю, а Толика видела каждый день, и Толик не знал, что я встречаюсь с Сашей. Мне нравились они оба, хотя и по-разному. Толика я очень любила... Но с Сашей мне было всегда как-то жутко, так жутко, что я забывала сама себя. Он не жалел ни себя, ни меня. Однажды он пригласил меня домой на свой день рождения. Я пошла и вижу, что дома у него никого нет, кроме старой глухой бабушки. Он достал из шкафа бутылку десертного вина, нарезал хлеб и приготовил что-то еще, уже не помню сейчас что. Я еще ни разу в жизни не пивала вина. А он так просил меня выпить, что я выпила сразу две рюмки, все сразу стало каким-то другим и новым. Он был такой смелый. У меня кружилась голова от вина и от чего-то еще, он начал меня целовать, и я не помню, как все случилось. Потом мне было ужасно противно. Я разревелась и убежала. Но через неделю Саша опять встретил меня и увел к себе. Он уже все знал и умел, он убедил меня, чтобы я ничего не боялась.

Все это время я по-хорошему встречалась с Толиком, но он ни о чем не догадывался, а Саша вдруг перестал показываться мне на глаза. Как-то я увидела его с другой девушкой. Он прошел рядом и сделал вид, что не знает меня. Я едва не вцепилась ей в волосы. Три дня ходила сама не своя, но тут как раз начались экзамены.

Мы с Толей поженились через полтора года, на Урале, куда нас направили на работу. Фабрика была маленькая, квартир не давали. Мы снимали с ним комнату у одной хозяйки и жили счастливо, хотя с продуктами было все еще трудно. Но Толик хорошо зарабатывал, я тоже, и мы жили с ним очень дружно. Моего брата Павлика тетя Маня отпустила в детдом, он воспитывался там до шестнадцати лет, а после закончил ФЗО и работал каменщиком в Москве. Мы редко писали друг другу. Но вот однажды пришло письмо из деревни от тети Мани. Она писала, что баба Густя умерла и что Павлик разыскал в Ленинграде мамину сестру тетю Нину. Ведь никого из родных, кроме тети Нины, у нас с ним не было. Но к этому времени у меня родился первый ребенок. Поездку пришлось отложить. Когда наша Катенька подросла, мы с мужем Толей взяли отпуск и поехали к тете Нине, на мою первую родину.

Тетя Нина даже встретила нас на такси. Она, конечно, постарела, но была все такая же, ничего ей не сделалось. Хлопотливая, добрая. Теперь она ни от кого не скрывала, что ходит в церковь. Мой Толик ей так понравился, что они говорили с ним часами, а Катю она не знала куда посадить и чем накормить. Толик не особенно любил ходить по городу, мы с ним только и были что в Эрмитаже и в цирке. А я изъездила весь город, побывала у Нарвских ворот, где мы жили когда-то. Съездила в Петергоф и на Васильевский, к нашей старой квартире. Однажды иду по Литейному и вдруг почувствовала, что за мной кто-то следит, идет чуть ли

не по пятам. Оглянулась — какой-то парень остановился и смотрит. Господи, Костя Зорин! Он говорит: «Я уже полчаса иду за тобой, гадаю: Татьяна или не Татьяна». — «Татьяна, говорю, Татьяна». А сама так разволновалась, что даже покраснела. Правду говорят, что первая любовь самая крепкая... Мы прошли с ним всю улицу, он рассказал мне, что учится в институте водников, поступил после службы. «А ты почему, Таня, перестала мне тогда писать?» — спрашивает он. Я молчала. Что я могла ему ответить? Мы долго ходили с ним по набережной, устали, и он пригласил меня где-нибудь посидеть и перекусить. Он сказал, что рядом с общежитием есть хороший буфет. Мы зашли в буфет, но там ничего не было, кроме вина. «Пойдем,— говорит он,— у меня есть кое-что дома». Сам берет бутылку дорогого вина. Я, ничего не думая, зашла к нему в общежитие. Два его соседа по комнате познакомились со мной, сказали, что у них билеты в кино, и ушли. Мы с Костей выпили, вспомнили про снопы. Не буду рассказывать, что было после этого. Костя был уже совсем, совсем другой. Ничего не осталось от того стыдливого деревенского парня.

Я вернулась домой поздно, и, наверное, от меня пахло вином. Толик не спал. «Где была?» — спрашивает. И так пристал, как смола. Я сначала отшучивалась, потом говорю: «Где была, там меня нет. Подумаешь, развел трагедию!» Он все сразу почувствовал, не стал больше со мной говорить. А я назло тоже молчу. Может быть, все бы и обошлось, если бы Костя не пришел на вокзал, когда мы уезжали из Ленинграда.

Толик почти до самого Свердловска не выходил из вагона-ресторана. А когда приехали домой, он сразу собрал свои вещи. Я умоляла его все забыть, говорила, что ничего не было, и сама верила этому, готова была упасть ему в ноги. Но он все же пошел к дверям со своим чемоданом и сказал: «Дочку я у тебя все равно заберу». И тут я взбесилась и закричала: «А вот тебе от моей дочки! Никогда, вовек так не будет! Иди, проживу без тебя!»

И он ушел. Так неудачно сложилась моя семейная жизнь. После этого я возненавидела всех мужчин. Правду говорила моя подруга Люська, что мужчинам верить нельзя, что им всем надо от нас только одно.

Я уехала с дочкой с Урала на Север в Воркуту, устроилась на работу табельщицей. Но там был тяжелый климат. Тетя Нина писала мне, чтобы я отправила Катю к ней, я подумала и согласилась. Но сама тоже не осталась после этого долго в Воркуте, уехала в Ярославль. В Ярославле я поступила работать в один строительный трест в бригаду разнорабочих, говорили, что там быстро дают квартиры. Меня поместили в общежитие. Нас жило шесть человек в комнате, одни молодые девчонки, я была всех старше. В комнате часто появлялись парни из другого корпуса и солдаты из города. Комендантша после одиннадцати часов ходила по комнатам и всех выгоняла, но некоторым удавалось остаться в общежитии на ночь. Один сержант, по имени Виктор, ходил к нам в комнату

к одной девушке. Ее звали тоже Татьяной, и работала она штукатуром. Ночью как-то я проснулась и не могу больше уснуть. В комнате темно, девушки некоторые спали, а иные еще не вернулись с танцев. Из Таниного угла слышен шепот, потом началась возня и вдруг, слышу, Виктор вскакивает, подходит в темноте к столу и пьет пиво прямо из горлышка. Походил, походил и опять на кровать к Таньке. И опять она его прогнала. Я закурила и говорю как бы шуткой: «Иди, Витя, ко мне, что ты ее уговариваешь». Даже сама не знаю, как и выскочило. А он не долго думал — и ко мне...

После этого, конечно, мне нельзя было оставаться в общежитии, я сняла комнату за Которослью. Виктор дослуживал последние дни. Он сразу сказал, что никуда не поедет из Ярославля. Я подыскала ему работу на стройке, у него имелась специальность монтера. Купила ему костюм и плащ, а когда забеременела, мы сходили с ним в загс.

Хозяева, у которых мы жили, были хорошие, добрые, за квартиру с нас брали немного. Дро́вами мы с мужем их обеспечивали со стройки. Когда мне дали декретный отпуск, я вдруг решила учиться на курсах бухгалтеров. Виктор был тоже не против, и я начала учиться.

Мы жили с Виктором очень дружно, никогда у нас не было никаких разногласий. Деньги он все отдавал мне, обе получки. Я получала еще алименты с первого мужа и копила на обстановку. Нам обещали уже однокомнатную квартиру. У нас рос хороший сын Миша, муж поговаривал уже и о дочке. Я закончила курсы и стала работать бухгалтером по снабжению в одной организации. Работа мне очень нравилась. Но квартиру мужу так все и не давали, и я начала хлопотать сама, через наше начальство. Представила справки о детях, меня поставили на очередь. Мы прожили два года на частных, пока нам не дали однокомнатную квартиру. Я как взяла ключ, так и побежала смотреть, и с работы не отпросилась. Господи, даже не верится! Комната большая, красивая, в кухне газ и вода горячая. Села на пол и реву как дурочка. Мы переехали в тот же день, в субботу устроили новоселье. Виктор позвал кое-кого да я своих счетных работников, всех набралось человек двенадцать. Никогда я еще так хорошо не чувствовала себя. Мы пели и плясали под радиолу, а наш Мишка не вылезал с балкона. Все смотрел на город и на Волгу. Волга с пятого этажа была так хорошо видна.

Я уже говорила, что вначале семейная наша жизнь с Виктором проходила счастливо. Он сам съездил в Ленинград за дочкой Катей. (Тетя Нина написала в письме, что устарела, стали худые ноги, что девочка часто плачет.) Я очень боялась, будет ли он любить Катю. Но мои опасения оказались напрасными. Виктор никогда не отличал Катю от Миши, а наоборот, даже как будто больше уделял ей внимания. Однажды, когда девочка пошла в школу и показала ему дневник, он вдруг встал и расстроился. «Таня, говорит, почему ты записала ее не на мою фамилию? Хватит, я не

хочу больше, чтобы кто-то стоял между нами». И он потребовал удочерить Катю и чтобы я отказалась от алиментов. Я сказала ему, не все ли равно, какая у Кати фамилия. Он так разозлился, что закричал на меня, а я не уступила ему. Тогда он как-то страшно посмотрел на меня. Взял из комода десятку и хлопнул дверью. Он пришел ночью пьяный, я не пустила его в постель. Мне было противно глядеть на него такого. Он ударил меня по щеке, дети проснулись. С этого дня у нас начались частые ссоры. Он был горячим, но я не уступала. В другой раз, когда я решила окрасить волосы, он спросил: «Таня, зачем? Кому ты хочешь понравиться?» — «Тебе, говорю, кому же больше». — «Тогда не крась, ты мне больше нравишься такая, некрашеная». Но я не поверила ему и покрасила, а он опять разозлился. С таких мелочей начинались все наши скандалы. Кончалось тем, что он уходил и напивался, как свинья, а пьяного я не могла его терпеть. Однажды мои нервы совсем мне отказали. Я не пустила его домой. Он не приходил целую неделю, я ревела, и все валилось у меня из рук. Соседи сказали мне, что он ночует в подвальной кочегарке. Надо было сходить и увести его домой, а я не могла переломить себя. Он пришел сам, мы опять помирились, но не надолго. Опять все началось с какой-то мелочи. Но он взял себя в руки и ничего не стал мне говорить против. Отшил от себя всех дружков, поступил в вечерний техникум.

К этому времени меня избрали в местком, и мы переехали в двухкомнатную квартиру. Виктор закончил техникум и защитил диплом на отлично. Его поставили на хорошо оплачиваемую работу. Все было у нас хорошо, дети росли. Материально тоже положение улучшилось, но меня подстерегала другая беда, начались неприятности по работе. Не буду описывать, как это случилось. Дело было в том, что я однажды нечаянно подписала неверные документы. Строительные материалы, которые поступали на базу, директор экономил за счет пересортицы и фиктивного списывания. Эти сэкономленные материалы уходили не по назначению, и я в следующий раз отказалась подписать такие документы. Директор звонит мне по телефону и говорит: «Глушкова, зайди ко мне на минуту». Я пришла к нему в кабинет. Он начал издалека, говорил о коллективе, о том, что вот, мол, мы тебя избрали в местком, дали квартиру. А ты, мол, идешь против всех. Я разревелась. Он начал успокаивать и заверил, что за все отвечает он. И я снова провела через бухгалтерию фиктивные акты на списание. А через месяц базу начала проверять спецкомиссия. Ревизор из финотдела облисполкома сидел у нас целую неделю. Он передал материал в следственные органы. Меня судили вместе с директором и другими работниками базы. Защитник на суде — женщина — говорила очень хорошо, но мне все равно грозило по статье от трех до пяти лет заключения. В последнюю минуту судья — тоже женщина — опротестовала статью. Мое дело отправили на доследование и переменили статью. Мне присудили год обычного заключения.

Не буду описывать этот период в своей жизни, скажу только, что никому, даже врагу, не пожелаю такой жизни.

Виктор остался с детьми один. Он писал мне в лагерь, что выписал из деревни свою мать, говорил, чтобы я не расстраивалась, год быстро пройдет. Он даже выбрал время и приехал ко мне. Нам дали свидание, я бросилась к нему на шею и долго плакала, он меня успокаивал. Отдал мне фотокарточки Кати и Миши, передачу. Я видела, что он жалеет и любит меня, а когда он уехал, время пошло намного быстрее.

Вернувшись из заключения, я подошла к нашему подъезду и вижу: Миша играет в песочнице. Увидел меня и испугался: «Бабушка, бабушка, кричит, тут какая-то тетя!» И побежал к старухе. Это была мать Виктора. Я вырвала у нее ребенка, он заплакал и тянется к ней.

Я ничего не могу сказать о ней плохого. Но это из-за нее распалась наша семейная жизнь, из-за нее все началось. Она сказала мне, что не будет нам мешать, и в тот же день засобиралась в деревню. А Виктор глядит на меня и ждет, чего скажу я. Но я ничего не сказала. Он подошел и спрашивает: «Таня, ну чего ты молчишь? Ты что, хочешь, чтобы мама уехала?» Я опять промолчала. У него остекленели глаза, но он сдержался и говорит: «Ну, хорошо... Завтра поговорим». Утром он ушел на работу, а я не утерпела и начала говорить с ней. Я говорила, что наша жизнь и так сложная, что пожилому человеку в городе трудно, что ни к чему бросать хороший дом в деревне. Она слушает и перебирает передник. И вдруг заплакала. Ни с того ни с сего. В это время Виктор пришел на обед. Так из-за нее у нас в первый же день получилась жуткая ссора. Она уехала на второй день. Виктор проводил ее на вокзал и вернулся выпивши. Но после этого у нас снова все наладилось. Мы жили спокойно, пока я не заговорила о своей работе. Он говорит: на работу ты не пойдешь. Все. Я сразу насторожилась: «Это почему?» — «Ну, Таня,— он говорит.— Разве семья это не работа? Воспитывай Мишку с Катей, книги вон больше читай. А денег нам и моих хватит. Заработаю!» — «Ну, уж, говорю, нет. Я что, хуже других, дома сидеть? С утра до вечера в четырех стенах. Я всю жизнь в коллективе». — «А дети? Тебе детей не жалко?» — «Катя, говорю, в школу, а Мишку в садик устроим». Он хмыкнул, ничего не сказал.

Я устроилась на работу по своей специальности, правда, с меньшим, чем раньше, окладом. Мне казалось, что моя жизнь снова пойдет как следует, что все хорошо. Но я не замечала еще, что Виктор изменился ко мне. Он несколько раз начинал разговор о том, чтобы я родила еще одного ребенка, ему очень хотелось дочку. Помню, в последний раз он заговорил об этом в праздник, на Девятое мая. Но я не хотела даже и слушать об этом и уже записалась на аборт в больницу. В горячке я проговорилась ему. Он весь так и побелел, встал из-за стола и сказал: «Никуда не пойдешь!» Но я все же ушла в больницу и не сказала ему адреса.

Я не знала, что с ним было, пока находилась в больнице. Но когда вернулась, не узнала ни его, ни квартиры: он пил несколько дней подряд. С этого времени он начал пить каждую неделю, деньги с получки уже редко приносил домой, приходил, раздевался и молча ложился спать. Но пьяным я не подпускала его к себе. Как-то я его просто столкнула с кровати, и он начал меня бить по щекам. Я убежала к соседям — у них был телефон — позвонила в милицию. Его увезли и дали десять суток ареста. Он пришел домой совершенно трезвым и сказал: «Таня, этого я тебе не прощу. Не могу простить». Спокойно взял из шкафа свои документы, сложил пару сорочек и свитер. Я сидела на диване и даже не шевельнулась. Я была уверена, что никуда он не денется, походит, походит и вернется. Он подержал на руках Мишку, погладил по голове Катю. Скрипя зубами пошел к двери. Я не остановила его. И он не вернулся. Я напрасно ждала его день, неделю, месяц. Он завербовался куда-то далеко в Сибирь, написал мне через год, что женился, и послал сразу восемьсот рублей новыми. Только тогда я окончательно поняла, какой он подлец. Я еще раз убедилась, что мужчинам никогда нельзя верить. Все они скроены на один лад. Я дала себе слово, что никогда, никогда больше не выйду замуж. Сменяла квартиру и переехала в другой город.

Сейчас я живу спокойно и не каюсь ни в чем, дети уже большие. Миша учится в ГПТУ, Катя работает. Денег у нас хватает, квартира обставлена. К нам ходит один мой знакомый, это спокойный, почти не пьющий человек, он всегда приносит с собой то шампанское, то цветы. Даже не знаю, где он достает эти цветы, особенно зимой. Однажды Катя выбросила его букет в открытую форточку. Я отшлепала ее по заднему месту, она заплакала и убежала, но все это простая блажь, она у меня хорошая девочка.

Миша как поступил в ГПТУ, так сразу и перешел в общежитие. Домой он ходит редко.

Мой знакомый сначала настойчиво предлагал мне зарегистрироваться, но я отказалась. Забыла сказать, что прошлой зимой я понемногу начала стучать на машинке, а недавно перешла работать секретаршей в трест. Меня попросили новую автобиографию для личного дела. Я начала ее отстукивать после работы. И вдруг вижу, что пошло совсем что-то не то, не для личного дела. Ну, думаю, наплевать, да и начала печатать все подряд, даже интересно стало самой. Так вот и отпечатала автобиографию за четыре вечера. Конечно, это не для личного дела, а так, для себя. Завтра мне исполняется сорок лет, мой знакомый опять припрется с цветами, а я не зн...

На этом текст обрывается. Последний листок весь ссохся от каких-то пятен с разводами ресничной краски и лиловой губной помады.

ВОСПИТАНИЕ ПО ДОКТОРУ СПОКУ

1

Лодка плывет по бесшумному зеленому лесу. Весло хлебает густую, пронизанную солнышком воду, и Зорин видит, как по затопленным тропам гуляют горбатые окуни. Свет, много света, такого искристого, мерцающего. Непонятно, откуда его столько? Или от солнца, которое горит где-то внизу, под лодкой, или от слоистой воды. Зорин вплывает прямо в желтое облако цветущего ивового куста, оно расступается перед лодочным носом, и вдали, на холме, вырастает веселая большая деревня. Дома, огороды, белые от снега полосы пашни, разделенные черными прошлогодними бороздами,— все это плавится и мерцает. Босая девчоночка в летнем платье стоит на громадном речном камне. Она зовет Зорина к себе, и у него сжимается сердце от всесветной тревожной любви. Он торопится, но лодка словно примерзла. Его тревога нарастает, мускулы почему-то немеют и не подчиняются. «Иди сюда! — слышит он голос Тони.— Иди скорее, будем ставить скворечник!» Он не может больше, он должен ставить скворечник. Сейчас он пойдет прямо к ней по солнечной широкой воде, надо поставить скворечник, скорей, сейчас же, потому что скворцы уже прилетели и в небе поет жаворонок. Он поет высоко-высоко, невидимый, настойчивый. И вдруг это пение оглушает, разрывает Зорину все нутро...

Он просыпается, ошарашенный, от мерзкого оглушительного звона будильника. Утро. «Да заглохнешь ли ты наконец?! О, черт...» Он с ненавистью прихлопывает эту гнусную механизацию. Оглядывается. Ага, все ясно. Дела настолько плохи, что даже спал он, не снимая брюк. И на раскладушке. Душа у него болит, но он бодрится, пробует даже что-то насвистывать и открывает форточку. Прислушивается к двери в смежную комнату: «Тонь, а Тонь?» В ответ — ни гугу, полное, так сказать, игнорирование. «Ну, что ж...— думает он.— Поглядим, что она будет делать дальше».

В комнате, где он спал, разумеется, изрядный бардачок. Раскладушка стоит посреди пола. Ботинки валяются в соседстве с Лялькиным мишкой, носами в разные стороны. На стуле висит какая-то дамская штуковина. Вечно эта сбруя раскидана где попало! Просто удивительно, как быстро все меняется, думает Зорин. Стоило появиться на свет Ляльке, и у супруги начисто улетучилась всякая стыдливость. Раскидывает свои штуки у всех на виду, даже при чужих...

Зорин проникается благородством и ставит мишку на детский столик. Складывает раскладушку и делает еще одну попытку восстановить отношения:

— Тонь, ты спишь?

В ответ слышится нечто мощное и уверенное в правоте:

— Пьяница несчастный!!

— Да? — Это «да» звучит глупо. Зорин сам это чувствует и чмокает языком.— Но, Тонь...

— Домой можешь не возвращаться.

Ему жалко будить Ляльку. До садика Ляльке целый час. Лялька может спать еще тридцать минут. Он бы сказал кое-что, но ему жалко будить Ляльку. Жена и так сделала из девочки ходячего робота. Укладывает в кровать, когда Ляльке хочется прыгать на одной ножке. А когда у ребенка глаза совсем слипаются, велит рисовать домики. Девочка любит суп с черным хлебом — на черный хлеб наложено вето. Даже пи́сать и какать изволь в определенное время суток. Черт знает что творится!

Гася раздражение, с решительным видом Зорин идет умываться. Гул клозетной воды похож на извержение Везувия. «Или гул этого... Ну, как его? Ниагарского водопада. Ни в жизнь не видал ни того, ни другого. И вообще... «Можешь не возвращаться»! А что я такого сделал? Смех на палочке... Прежде всего надо почистить зубы. Ах, черт! Опять выдавил в рот крем для бритья. Тоже мне, деятель...»

Голова у него почти свежая, зато в желудке затаилась тягучая противная пустота: «Вакуум какой-то. Хорошо, что пили одно сухое. Они с Голубевым раскачали-таки Фридбурга, наш Миша под конец завелся. Даже до танцев у него дошло. Побриться мне или нет?»

Он решает не бриться и идет на кухню: «Так. Нормально. Вчерашние пельмени. Трудно рассчитывать на горячий завтрак при таких обстоятельствах, очень трудно. Скользкие, как лягухи, но есть можно... Стоп! Супруга, кажется, покинула укрепленную зону. Что-то покидывает...»

— Может, ты все же спросишь, где я вчера был?

Зорин говорит спокойно и втайне гордится своим великодушием. Но в ответ слышно, как его ботинки на второй космической скорости улетают к порогу.

— Ты же разбудишь Ляльку,— говорит он и чувствует, как улетучивается все его джентльменство.

— Тебе разве есть дело до ребенка? — она оборачивается с притворным спокойствием.— Вот новость!

— Ладно, перестань.

— Свиньей был, свиньей и останешься!

«Точь-в-точь как в итальянском кино»,— мелькает у него в голове. Его начинает трясти, он наскоро проглатывает пельменину и вплотную подходит к жене:

— Перестань!

«О, она у меня смелая женщина. Она не перестанет. Сейчас из нее полезет бог знает что, слова у нее вылетают сами. Иногда она и сама им не рада. Сейчас дойдет до моей получки, потом до кино —

она не ходила в кино уже полгода. Дальше явятся Лялькины башмаки и сломанный телевизор».

Зорин чувствует, как на виске начинает дергаться какая-то жилка.

— Чего ты орешь, ну чего ты орешь? — говорит он и с отвращением замечает, что и сам переходит на крик.

— Не хочу с тобой говорить!

— Ну и не говори! Подумаешь, цаца!

Он уже взбешен, а у нее вдруг взыграло достоинство, и она спокойно произносит:

— Пожалуйста, не оскорбляй.

— Дура! — в отчаянии кричит он и, чтобы не ударить, хватает полушубок.

От крика просыпается и плачет Лялька. Зорин выскакивает на лестничную площадку, но детский плач приводит его в чувство. «Дура...» Он возвращается, меняет шлепанцы на ботинки. Подходит к серванту, но в банке из-под грузинского чая только новый червонец и ни одного рубля. Лялька ревет в другой комнате.

— Дай мне на обед,— как можно спокойнее говорит он, но жена словно не слышит.

Он глядит на часы и хлопает дверью...

В это время щели в дверях двух соседних квартир исчезают как по команде. Английские замки щелкают дружно и одновременно.

На улице он ловит себя на том, что ему жаль самого себя. Зорину хочется вернуть, оживить, восстановить счастливое ощущение, испытанное во сне. Оно ускользает, заслоняясь будничными впечатлениями. Зорин упорствует. Образы весеннего водополья, увиденного во сне, вдруг проясняются в памяти. И, цепляясь за эти образы, он припоминает весь сон: мерцающую реку, баню Олеши Смолина и босую девчоночку, стоящую на большом речном камне. Ту самую Таню, эвакуированную из Ленинграда, Таню, которая жила в соседней деревне. Но ведь в действительности на камне стояла не Таня, а Тоня, его жена. Тоню же он возил когда-то и в лодке. Почему во сне обе они всегда так странно объединяются в одну? Зорин чувствует, как у него краснеют, наливаются кровью ушные хрящи, торопится к автобусной остановке.

Вообще-то Тонька отчасти права, думает Зорин. Зарок пить только сухое вино исполнялся вчера слишком усердно. Это у Зорина зарок номер один. Второй зарок — говорить меньше, чем слушать,— Зориным исполняется, а вот первый... Впрочем, все дело в Фридбурге. Зорину давно хочется перейти из треста в проектный, а дружок Мишки Фридбурга там замзав. И вот они встретили этого зама в ресторане, и даже Мишка напился. До того, что начал обхаживать какую-то блондинку...

Зорин смотрит на часы, времени уже без двадцати восемь. Хорошо, если Воробьев будет звонить сначала Голубеву и они полаются минут пять — десять. Зорин живо представляет этот

полный взаимных любезностей диалог: «Пригласите к телефону товарища Голубева».— «Товарищ Голубев?» — «Так точно, товарищ Голубев, а это кто, товарищ Воробьев?»

Самое интересное, что у обоих птичьи фамилии. Воробьев по своей хронической тупости, как всегда, не заметит тяжеловесного голубевского сарказма. Будет отчитывать Сашку за то, что тот не поставил ограждения вокруг котлована антисептика. Потом справится о прогульщиках: «Товарищ Голубев, доложите, кто не явился на производство».— «На производство?» — «Да, на производство».— «На производство, товарищ Воробьев, явились все. И не ваше ср... дело. Что? Можете спокойно сидеть в своем кресле...» В тепляке установится тишина, бригадиры в изумлении будут глядеть на Сашку. Никто не заметит, что Сашка давно уж зажал рычажок телефона своей линейкой, сплошь разрисованной женскими торсами. Зорин-то знает, какой Сашка мастак показывать кукиш в кармане...

Но где же автобус? Куча народу, человек двадцать скопилось на остановке. Все до того симпатичные, что просто стыдно за свою плебейскую физиономию. Ох, что-то сейчас будет! Вон с тем дядечкой периода архитектурных излишеств. Или вот с этой дамой, у которой все лицо зашпаклевано кремом и пудрой. Автобус — полным-полна коробушка — наконец подкатил, и вся публика враз преображается. Дядька сам себя проталкивает внутрь автобуса, но навстречу лезет такой же, не менее толстый, а с улицы давят почем зря.

— Граждане, что вы делаете? — пищит шпаклеванная.— Ай, что вы делаете?

— Ни хрена! — говорит здоровенный парняга в фуфайке.

— Давай, давай!

— Нажмем, братцы, а? — подскакивает кто-то веселый, еще с остатками сна на лице.

Однако нажали уже без него.

Автобус, ковчегом, с креном на правый бок, отчаливает, дымит синими газами. Чьи-то ноги с задранным подолом зажало в автобусной дверце. «Ну и дурочка,— думает Зорин, жалея стиснутую дверкой даму.— Ну, какая же ты дурочка, ведь надо же знать, что автобусы тоже иногда ходят парами. А то и по трое».

Все утренние невзгоды, автобусная возня, сраженье с Тонькой — все уходит на задний план. Вернее, вытесняется кое-чем свежим.

Разумеется, Воробьев уже звонил и наверняка остался доволен, что прораб Зорин опять опоздал на работу. Бригадиры и кое-кто из рабочих курят в дощатой зоринской резиденции.

— Все в сборе? — Зорин как можно увереннее здоровается.— А где Трошина?

Трошина — бригадир разнорабочих.

— Гришка! — говорит дядя Паша — бригадир каменщиков.— Беги кликни Трошину.

Гришка Чарский — цыган. Он бежит за своим бригадиром, а Зорин оглядывает тепляк. Вот дядя Паша. Почему-то он всегда говорит гравель, а не гравий. Дядя Паша сидит на ломаной перевернутой раковине и продолжает что-то рассказывать — речь идет о том, как он впервые женился. Марья Федоровна — бригадир штукатуров, смеется, отмахивается от него:

— Ой, замолкни, ой старый пес! Ты бы хоть не врал, не молол попусту.

— Точно! Я тебе говорю! — всерьез сердится дядя Паша, и все хохочут.

Речь идет о весьма пикантных вещах, связанных с первой брачной ночью, и дядя Паша убедительно развивает свою теорию женской коварности:

— На что только эти бабы не способны, особо когда им замуж позарез надо...

— Мужики-то уж больно добры,— замечает Марья Федоровна.— Небось у тебя до нее пятнадцать было.

— От не верит! Ну, ей-богу, Марюта, она была самая первая!

— Так как же ты про это узнал, ежели она была первая?

— Вишь, после-то у меня была практика...

— Ну?

— Ну, а я и сужу по той практике.

— Так ведь тогда-то ты был без практики?

— Без практики.

— Так как же ты узнал-то?

Дядя Паша явно подзапутался. Он в раздумье скребет у себя за ухом, но в это время в тепляке появляется Трошина. Она сипло здоровается, и в первой же ее фразе колуном застревает похабное слово. Зорин, сдерживая раздражение, говорит:

— Трошина, нельзя ли без мата?

Она виляет тощими бедрами и под смех строительного молодняка отпускает то же самое, только в квадрате. И Зорин знает, что если ей не уступить, то все это будет в кубе, потом степень будет расти и расти. Ах, старая каракатица! Она испортит ему всех девчонок в бригаде, это уж точно, испохабит вконец, и попробуй к ней подступись. Недавно она выиграла по лотерее мотороллер. Наверное, уже и кое-кто из женатиков приложился к тому мотороллеру, не говоря о холостяках. Эти-то перебывали у нее, вплоть до Гришки Чарского.

Зорин глядит на осунувшееся землистое лицо Трошиной и вдруг замечает дырочку на мочке уха. Наверное, прокалывала когда-то, еще девчонкой, мочка эта белая-белая.

— Ну, хорошо,— говорит Зорин.— Степановна, давай поближе, что ли.

Пока все рассаживаются, кто на чем, Зорин с некоторым тщеславием думает, что не такой уж он и дурак. Нет, в самом деле. Это же он изобрел наилучший способ утихомиривать Трошину. Стоит спокойно, вот так попросту назвать ее по отчеству, и она

сразу как-то отмякнет, и в глазах ее тухнут горячечные злобные блики.

— Все в сборе?

— Все,— говорит дядя Паша.— Козлова только нету.

Вот черт, мысленно ругается Зорин, Козлов крановщик. Хорошо, если явится хотя бы к обеду. Зорин мельком прикидывает, что делать каменщикам, если Козлов не явится.

— Сколько кирпича наверху?

— Да часа на два-три.

Он закусывает губу, стучит пальцами по столешнице. Тайком взглядывает на дядю Пашу. Кирпича наверху часа на два. Ну, а потом что? Дядя Паша глубоко вздыхает, чмокает ртом, высасывая что-то из зуба. Так, все в порядке. Теперь ясно, что, если Козлов не явится, дядя Паша сам, в нарушение инструкции, сядет на кран. Каменщики не будут простаивать. Ну, а штукатуры? Ничего, на третий этаж можно носить раствор и носилками.

— Марья Федоровна,— как можно спокойнее говорит Зорин.— Леса готовы?

— Готовы.

— Начинайте штукатурить среднюю секцию.

— А раствор?

— Что раствор, что раствор! — он еле сдерживает раздражение.— Ваше дело штукатурить. А раствор... Придется носить вручную.

— Мы что, лошади? — опомнившись, басом кричит Трошина.— Не будем носить!

— Будешь носить! — тихо говорит Зорин.— Будешь, Трошина! Ясно?

Он изо всех сил сжимает челюсти. И словно гипнотизер, прищурившись, глядит в лицо Трошиной. Прямо в ее переносицу. Он видит, как она отводит глаза. Кричит, но отводит, значит, будет носить раствор.

— Все. Штукатуры и каменщики могут приступать.

В тепляке поднимается шум. Трошина орет громче всех, отказываясь вручную носить раствор. Плотники выбрали делегацию из трех человек и требуют показать наряды. «Кой черт, наряды! Нарядами у меня еще и не пахнет».— «Константин Платонович?» — «Ну?» — «О прошлом месяце ты нас во как надул».— «Как так надул? Выбирай выраженья, Кривошеин».— «Я и выбираю».— «Ну?» — «Народ просит поглядеть наряды».— «Да нет нарядов, не писал еще! Тебе ясно это, Кривошеин?»

Кривошеину стало ясно, и он уводит делегатов. Сантехник и слесарь топчутся у стола уже несколько минут.

— Что?

— Константин Платонович, тройники-то не стандартные.

— Как так не стандартные, не может быть.

Слесарь и сантехник стоят, ждут.

— Ну, хорошо... Займитесь другим монтажом. Маленькие

вы, что ли? Смените раковину в тридцать шестой. Монтер, где монтер?

Появляется электромонтер, мальчишка-практикант. Он совсем еще ребенок.

— Попробуй, дружище, подключить лебедку...

Кто-то просит выписать лопаты, кто-то трясется с заявлением на отпуск. Сторожиха требует отгул за выходные дни. Телефон брюзжит то и дело. «Да, слушаю. Будут наряды! Нет, не сегодня... Але-у! Девушка, там нет Фридбурга? Есть? Привет, старичок! Слушай, если сегодня не пошлешь сварщика...»

Наконец в тепляке устанавливается тишина. Теперь Зорин сможет сесть за наряды. Надо вытащить расценки и прочую бухгалтерию. Начать с каменщиков, это ведущая бригада. О, уж Зорин-то знает, что такое писать наряды. Говорят, что кто что заработал, тот то и получай. Если бы так. Беда в том, что он не может платить людям по закону. Почему? Да потому, что не может. Никак. Не выходит, и все. Вот дядя Паша. Лучший каменщик, портрет его третий год на городской доске Почета. Зорин прикидывает объем выполненной работы. Количество рабочих часов и смен такое-то, разряд такой-то. По закону дядя Паша заработал около трехсот рублей. А у Смирнова? У Смирнова выйдет всего около ста рублей. Конечно, Смирнову как каменщику с дядей Пашей не тягаться. Но если Зорин начислит ему сто рублей, а дяде Паше триста, Смирнов тотчас уйдет со стройки. Да еще уведет с собой человек четырех. Это уж как пить дать. А дом надо сдать к майским праздникам. Даже если допустить этот уход, что из того? Еще неизвестно, кто придет вместо Смирнова, и ничего по существу не изменится. И вот Зорин мухлюет. Мудрит и колдует с тарифной сеткой, он должен закрыть наряды Смирнову хотя бы на сто пятьдесят рублей. А дяде Паше снизить фактический заработок, потому что фонд зарплаты совсем не резиновый. Постой, а в чем же виноват дядя Паша? Получается, что ему совсем невыгодно хорошо работать. Да, невыгодно. И все же он работает. Работает дай боже, хотя знает, что все равно не заработает больше, чем в прошлом месяце. Голова идет кругом! А плотники? Та же история. Разнорабочие? Тут уж совсем... Если бригаде Трошиной закрыть наряды по всем правилам, не получится даже месячного минимума. У каждой семья, каждая живет от получки до получки. Но они же ничего не заработали, если выводить по расценкам. И вот Зорин ломает голову. Где взять Трошиной объем работ? Ну, хорошо, грунт можно поставить по самой высокой категории тяжести. Это что-то даст, хотя совсем немного. Транспортировка горбыля. Увеличим до ста метров. Объем строительного мусора также можно удвоить. И все равно, этого мало... О, черт! Постой, постой, а что, если... что, если...

Телефонный звонок обрывает зоринские комбинации. Звонит Воробьев. Так. Все ясно, в семнадцать тридцать совещание у начальника управления. То бишь у Воробьева, так как он зам-

начальника, а сам начальник в отпуске. Что? Буду ли? Конечно, буду. Попробуй не будь. Ты же сам закатаешь выговор, если не прийти. Для того ты и Воробьев. Без этого ты никакой и не Воробьев.

Зорин кромсает бумажку с денежными наметками и бросает ее в чугунную печку. Так. Печка, как обычно, полна пустых чекушек. Зорин знает: ругаться бесполезно. «Но боже мой, когда это кончится?» — «Что — когда?» — «Ну, это...» — «Э, брось. А кто вчера восхищался рислингом? Чуть ли не до двух ночи?» — «Но это же не на работе».— «Велика разница...» — «Конечно, большая».

Однако это последнее утверждение не спасает его от угрызений совести. Продолжая ругать себя за вчерашнее, он выходит из тепляка. Надо сходить еще и на второй объект. На его совести еще трасса водопровода. У Зорина болит душа: вчера еле-еле справились с плывуном. Грунт ползет и ползет. Скоро весна. Погода опять отмякла. «Что же, будем бить шпунт,— думает он.— Но откуда там грунтовые воды?»

Он окидывает глазами свой сорокаквартирный. Кажется, все идет своим ходом. Каменщикам работы дня на два, не более. Штукатуры работают, значит, и плотники с лесами не прозевали. Лебедка трещит, молодец парнишка, право, молодец. Совсем салага. Еще совсем не прочь полюбоваться из-под лесов девчоночьими рейтузами, но молодец, подключил-таки эту норовистую лебедку. Гришка Чарский стоит у лебедки, подает раствор на леса первого этажа. Трошина сосредоточенно выбивает из ведра присохший раствор.

Зорин глядит на смуглую горбоносую физиономию Гришки и еле удерживается от улыбки. Но эта неродившаяся улыбка не ускользает от наглых, всевидящих глаз Тольки Букина.

— Гришк, а Гришк,— кричит Букин.— Гришка, скажи хасиям!

Паршивец этот полублатной Букин. Даже при Зорине он сидит, покуривает. Презирает мозоли. Кого только не перебывало в трошинской бригаде! Букин — бывший вор, сидел трижды. Теперь вот перевоспитывается в коллективе. Еще неизвестно, кто кого перевоспитает. Букин демонстративно сидит, напевает:

На стройку буду высоко глядеть,
Пусть на ней работает медведь,
У него четыре лапы,
Пусть берет кирку — лопату...

— Послушай, Букин...— Зорин закуривает, чтобы не взбеситься.

Он не знает, что сказать этому сачку. Сказать, что уволит? Но это все равно что слону дробина.

— Хасиям! Начальничек, береги нервы! — Букин нехотя идет к растворному ящику.

Зорин знает, что одна Трошина как-то ухитряется держать Букина в руках. А, черт с ним, с Букиным! Зорин отворачивается. Злость тут же исчезает: Таня Синицына, тоже из трошинской бригады, поддерживает Зорина хорошим сочувственным взглядом, одергивает платье. Не поступила осенью в институт, пошла на стройку. Зорин знает, каково ей в этой бригаде, но что он может сделать? Одно слово, хасиям. В самом деле, что такое хасиям? Выходя на улицу, Зорин вспоминает историю с Гришкой Чарским.

Как-то перегрелся и задымил мотор лебедки. Гришка перепугался и крикнул: «Хасиям!» Мотор дымился, а этот подонок Букин орет Гришке, чтобы гасил быстрее, а то будет пожар. Гришка, не будь дураком, расстегнул ширинку и начал гасить мотор подручными средствами. Женщин поблизости не было. Букин, вместо того чтобы выключить рубильник, стоит и показывает, где надо поливать. И Гришка поливал, пока не заземлил сеть, потом заорал благим матом и начал корчиться от боли. Букин пошел объясняться в милицию, но там только посмеялись, и все обошлось благополучно. Для обоих... Интересно, что такое хасиям?

Зорин спешит на второй объект. Здесь тоже все идет нормально. Еще вчера подвезли шпунтованную доску, плывун остановлен. Рабочие углубляют траншею, рядом водопроводчики монтируют задвижку Лудло. На работу явились все. Излишняя опека и заботливость, когда работа идет хорошо, так же вредна, как равнодушие во времена неполадок. Лучше уйти и не сбивать людей с рабочего ритма. Зорин знает это и, перекинувшись с бригадиром двумя фразами, бежит в контору: в столе Мишки Фридбурга давно ждет техническая документация на новый шестидесятиквартирный. Завтра, самое позднее послезавтра, надо начинать закладку.

Да, но что же такое хасиям?

2

Хорошо. Очень хорошо на душе, можно еще поспать, даже подремать. Куда торопиться? Не хватает только кота, чтобы мурлыкал под боком. И еще не хватает Ляльки. Ляльку бы сюда, она так любит щекотать Зорину нос по воскресным утрам. Но Лялька сейчас в садике, и Зорин открывает глаза. Здесь так удобно, спокойно, никто не видит его. Потому что старинное, еще купеческое кресло стоит между двумя шкафами, а спереди Зорина маскирует широкая спина Сашки Голубева. Мишка Фридбург тоже сидит впереди и, кажется, забыл о своей угрозе. Еще с утра, по телефону, он обещал выдвинуть Зорина в президиум. Нет, Фридбург молчит, хотя в прошлый раз он все же писал протокол. По милости Зорина. Ах, вот в чем дело! Сегодня же производственное совещание идет без президиума. Большая комната ПТО, модернизированные столы. Старые стулья, их еще не успели заменить новыми. Фридбург

уткнулся в журнал и бормочет что-то насчет курения. «В Америке упал спрос на сигареты».— «Ну и что?» — оборачивается Голубев. «У нас тоже на днях упадет».— «Что упадет?» — «Этот самый... спрос. Воробей запретил курить в помещениях...» — «Кто? — Зорин с трудом открывает веки.— Кто запретил-то?» — «Пушкин. Александр Сергеевич... Можешь проверить,— говорит Фридбург и предлагает Зорину «Шипку».— Да, тебе звонила жена. Просила передать, что у нее тоже собрание. А чем она хуже?» — «Ладно, уже усек».

Зорин хмуро соображает. Если Тоня задержится, Ляльку в садике опять будут держать два часа одетой. И внушать, какие плохие у нее родители. Голос Воробьева бубнит ровно, как по программе. Производственный план на третьем участке под угрозой... Необходимо повысить производственную дисциплину... И тэ дэ и тэ пэ. Что? Некоторые... Ну да, все ясно. Некоторые командиры производства сами нарушают производственную дисциплину. Зорин... Что Зорин?

— Товарищ Зорин, прошу написать объяснительную записку, почему вновь опоздали на производство?

Фридбург вытаскивает авторучку и тихонько предлагает Зорину:

— Старик, не затягивай...

— Мишка, знаешь, иди ты,— Зорин встает.— Но я не опаздывал!

— Я, товарищ Зорин, вам слова не давал,— голос Воробьева слегка повышается.— Имейте, в конце концов, хоть каплю выдержки.

Зорин садится, вспоминая второй зарок.

«В сущности,— думает он,— в сущности, чего мне всегда не хватает, так это юмора. Помалкивай, оправдываться бесполезно. И слишком много чести для Воробьева».

Зорин сидит в купеческом кресле и слушает дальше. Берет со шкафа расколотую облицовочную плитку и осторожно опускает ее в широкий карман голубевского пиджака. Это ему в обмен на машину нестандартных тройников. Пусть отвезет домой и подарит любимой жене. Нет, черт возьми, у Голубева получилось намного остроумнее. Надо же так ухитриться? Сплавить ему, Зорину, целую машину бракованных тройников!

— Сашка, а Сашка,— Зорин тычет Голубева ниже поясницы.— Дай трояк до понедельника. Или помоги обработать Фридбурга.

— Зачем?

— Не твое дело.

— У меня всего два рубля.

— Давай два.

Зорин берет деньги и глядит на часы: садик закрывается через тридцать минут. Если сразу поймать такси, то, может быть, Лялька не расплачется. Он опоздает на полчаса, не больше. Сей-

час Воробьев переключится на шестой участок и наверняка выдохнется. За стенкой, в коридоре, уборщица уже брякает ведрами. Зорин прикидывает, где лучше изловить такси и как побыстрее миновать Фридбурга с Голубевым.

Все. Наконец-то Воробьев закрывает совещание, гром от передвигаемых стульев заполняет комнату ПТО, и Зорин, салютуя Фридбургу с Голубевым, устремляется в коридор.

— Товарищ Зорин, одну минуту! — слышится голос Воробьева.— Попрошу задержаться.

— Еще чего не хватало!

— Садитесь.— Воробьев, не глядя на Зорина, гладит ладонью папку.

Зорин не садится, глядит.

— Я опаздываю.

— Куда? — спрашивает Воробьев.

— Какое вам дело?

— Я прошу вас не грубить, товарищ Зорин! Сядьте и выслушайте внимательно.

— Что выслушать?

— А вот что.— Воробьев берет из папки какой-то листок.— Вот что. Поступил сигнал о вашем недостойном поведении в быту и в семье. Я вынужден передать его в местком и партком треста...

— Интересно,— Зорин чувствует, как у него начинает дергаться височная жилка.— А кто, собственно, сигналит? И в чем это недостойное поведение?

Зорин глядит на листок и еле сдерживает свое бешенство. Почерк до того знаком, что от обиды в горле появляется спазма, ладони потеют. Зорин вновь, как и утром, ловит себя на том, что ему жаль самого себя.

— Все?

— Все. Можете идти.

Зорин, не помня себя, хлопает дверью. Нет, от Тоньки он никогда не ожидал такого предательства. Жена, называется. Ну, хорошо... Что хорошо? «...вынужден передать в местком и партком...» Дура! Подлая дура. Вместо того чтобы...

— Але, Фридбург!

Фридбург еще не успел уехать.

— Есть у тебя деньги? — Зорин в бешенстве бросает окурок.— Дай мне червонец взаймы...

— Брось, старик. Начхай на все...

— Есть у тебя сколько-нибудь денег?

— Пожалуйста.

Зорин комкает в кулаке две новые пятерки и, скрипнув зубами, быстро уходит из управления.

«Где-то тут кафе, эта дурацкая «Смешинка»,— мелькает в голове Зорина.— Все шалманы окрещены по-новому, где-то тут эта самая «Смешинка»...»

В «Смешинке» продажа водки запрещена, но перцовки

хоть отбавляй. Зорин садится за столик и чувствует, что ему хочется заплакать от горечи. Он хочет заплакать, разреветься, как тогда, в отрочестве, в коридоре районного загса. Но он тут же издевается над своим желанием и хохочет внутренним хохотом. Нет, это просто великолепно! Это просто здорово, что ему даже не разреветься. Никогда, никогда, никогда не разреветься! Официантка подходит к нему, но он вдруг вспоминает про Ляльку, и жалость к дочке стремительно охватывает его, жалость и боль за ее беззащитность. Зорин выбегает на улицу. Через полчаса он врывается в прихожую детского садика, и у него сжимается сердце.

Лялька сидит одна, на полу в уголке. Одетая. Она уже устала плакать и теперь только тихонько вздрагивает. Толстая уборщица со шваброй выглядывает в дверь, с равнодушным любопытством глядит на Зорина, произносит:

— Как только не стыдно людям.

Зорин молча утирает у Ляльки нос, застегивает кофточку.

— Прилично одетый! — слышится в коридоре.

О, женщины! Однажды ему вспомнилось, как в деревне какой-то бродячий корреспондент сфотографировал бригаду доярок. Через полгода, ко всеобщему изумлению, почтальонка прямо на ферму принесла конверт со снимками. На них ничего нельзя было разобрать. Зорин возил тогда молоко, он слышал, как одна из доярок приговаривала: «Девки, девки, до чего добро вышли-то, а которая я-то?» Теперь с каждым узором причудливой женской логики ему вспоминается почему-то именно эта фраза.

Они выходят из садика на крыльцо, и он берет Ляльку на руки. Вздохнув долгим судорожным вздохом, девочка успокаивается, а Зорин, скрипнув зубами, крепко прижимается щекой к ее ручонке: «Ничего, Лялька, ничего. Сейчас мы придем домой. Снимем валенки и поставим чайник. Что? Хочешь писать? Сейчас, Лялька, сейчас. Вот, мы уже дома. Хочешь идти ножками? Что ж, давай пойдем ножками...»

В квартире тот же утренний кавардак.

— А где мама Тоня? — Лялька прыгает, примеряет у зеркала мамину шляпу.

— Папа, смотри.

— Да?

— Я уже до шляпы выросла.

«Да, Лялька, ты уже выросла. Ты уж совсем большая. Если б ты знала, с каким трудом устраивали тебя в это детское заведение, ты бы никогда не плакала, ты бы только и делала, что плясала и пела. Лялька, а где же у нас мама Тоня? Если б ты мне не стала мешать, я бы закрыл сегодня наряды. Слышь, Лялька? Мы не будем ждать маму Тоню. Ты сейчас поешь немножко и будешь спать. Ну, вот, умница. Ты будешь спать, а папа будет делать наряды. Что? Конечно, красивые. Как у мамы. Впрочем, нет, это совсем другие наряды».

Но Лялька не засыпает, она дожидается маму Тоню.

Мама Тоня является в двадцать два ноль-ноль.

— Тоня, я тебе никогда этого не прощу,— говорит Зорин, бледнея и сидя в кресле.

— Что не прощу, что не прощу? — Она не забыла, уходя из библиотеки, подмазать губы.

— Ты еще и доносы на меня пишешь...

— Тебя посадить мало!

— Да?

Он встает, открывает форточку, закуривает.

«Накрасить губы она не забыла...— думает он.— Но строительный справочник снова не принесла. Хотя сама работает на абонементе». Этот дурацкий справочник она обещает ему уже второй месяц...

Внутри у него все кипит, но он вновь вспоминает второй зарок. С усилием переводит дыхание, гасит в себе злобное раздражение и говорит:

— Надеюсь, собрание было активным?

Жена — библиотечный профорг — не замечает язвительности вопроса. Она энергично орудует в квартире: развешивает разбросанную одежду, подбирает игрушки. Затем начинает греметь на кухне посудой. Зорин загадывает: «Если ее фантазия пойдет дальше пельменей... все в порядке. Мир в семье восстановлен. Черт с ним, с этим ее письмом! Пройдет и это... Вызовут на местком, зачитают конспект лекции на моральную тему... Переживем».

Зорин сам себе, мысленно, произносит этот монолог. Но он чувствует, что где-то под левой лопаткой вновь копится боль, обида и горечь. Почему она всю жизнь борется с ним? Когда это началось? Она всегда, всегда противопоставляет его себе. В каждом его действии она видит угрозу своей независимости. Он все время стремится к близости, к откровенности. Но она словно избегает этой близости и всегда держит его на расстоянии.

Его размышления прерывает Лялька. Она капризничает, хныкает. Зорин кладет ладонь на родимую светлую головенку и вдруг ужасается: голова девочки горячая, словно нагретый камешек. По городу вновь ходит жуткий грипп, то ли гонконгский, то ли иранский. Хотя б одну зиму прожить без этой мерзости!

— Тоня, где у нас градусник?

— Собирай девочку, идем гулять,— слышно из кухни.— Ешь пельмени без нас, пей чай.

«Ясно,— думает Зорин.— Ты опять поужинала в библиотечном буфете. Обедают они всем гамузом в ресторане, ужинают в буфете. Кухня закрепощает женщину...»

— У Ляльки температура.

— Собирайся, надень валеночки.

— Тоня!

— А где у тебя варежки? Дрянь такая, ты почему не слушаешь?

Жена как бы не замечает Зорина. Она одевает ревущую

Ляльку, которую нужно ежедневно водить гулять перед сном. Она воспитывает ее по доктору Споку. «Спок, будь спок,— мысленно острит Зорин.— От Спока тут ничего уже не осталось».

— Тоня, гулять вы не пойдете!

— Да? — она научилась этому «да?» у него же.— Пожалуйста, не мешай. Девочка вполне здорова. Не забудь выключить газ, мы вернемся через двадцать минут.

Зорин, в отчаянии сжав кулаки, начинает метаться по комнате. Лялькин плач выворачивает ему всю душу, а спокойствие жены приводит его в бешенство. Второй раз за вечер он усилием воли переламывает себя и глядит на часы.

Двадцать минут одиннадцатого. В соседней квартире все еще слышатся магнитофонные вопли. Чайник парит на конфорке, пельмени остывают в кастрюле. Писать наряды в таком состоянии все равно что плясать босиком. Но он раскладывает на кухне бумаги, достает логарифмическую линейку и затрепанную книжку со строительными расценками.

Жена и дочка приходят с улицы и вскоре затихают в маленькой комнате.

Зорин ложится в четвертом часу, и снова на раскладушке. Едва поставив будильник, он словно проваливается в какую-то багровую бездну.

Рабочий день кончен.

3

Крановщик Козлов, крича что-то насчет квартиры, пришел на объект пьяный. Зорин не мог допустить его к работе. Козлов с шумом исчез. Зорину надо было открывать третий объект: экскаватор уже тарахтел на месте будущего котлована фундамента. Пустой деревянный дом на стройплощадке необходимо было сносить своими силами. Зорин отправил плотников ломать дом, вызвал бульдозер. Когда плотники полезли выставлять рамы, из средней комнаты послышался голос:

— Только попробуйте!

Плотники по очереди посмотрели в комнату. Посреди пола, свернув калачом ноги, сидел Козлов и разбирал старый будильник. С одного боку у него стоял чемодан, с другого лежал свернутый полосатый матрас.

— Вылезай, Козлов! — предложил бригадир.— Чего ты тут уселся как турецкий султан?

Козлов заявил, что будет тут ночевать. Он не выйдет из дома, пока не выпишут ордер на жилье. Он, мол, ждет квартиру восьмой год и законы знает: никто не посмеет выгнать из этой развалюхи.

Зорину доложили обо всем этом.

— Он что, чокнулся?

Черт знает что! Этого в его практике еще не было. Это

что-то новое. Зорину смешно. Почему-то вспомнился Авинер Козонков с его пенсионной документацией, с необъяснимой манерой говорить серьезные слова. Директивка, процедурка, дисциплинка. Какую директивку должен дать в этом случае он, Зорин? Лицедействующий Козлов закрыл дверь изнутри, а плотники не знают, что делать. И ждут зоринских указаний.

«Нет уж, хватит,— твердо решает Зорин.— Пусть занимается Козловым сам Воробьев, милиция, горисполком, папа римский. Кто угодно. Он инженер, прораб. Почему он должен заниматься такой ерундой?»

Телефон звонит, предупреждая зоринское желание позвонить.

— Да. Прораб Зорин слушает. Что? Из детского садика? — На лбу Зорина сразу выступает испарина.— Температура, але, девушка, сколько температура?

Но «девушка» повесила трубку. Подспудный страх, все утро точивший Зорина, сжимает горло, картины, одна другой хуже, всплывают перед глазами. Он ясно представляет сейчас, что там творится: больная, в жару, дочка сидит где-нибудь в уголке и плачет. Может быть, она даже мокрая. На нее никто не смотрит. Да, он знает тамошние порядки. Дрожащей рукой он набирает телефон библиотеки: «Але? Позовите Зорину Антонину, Зорину, я сказал! Что, не грубить? Кто из нас грубит, не понимаю».

Телефон пищит короткими раздражающими гудками. Зорин, выругавшись, выбегает из тепляка. Автобус, идущий через городской центр, почти пустой, он, кажется Зорину, не едет, а крадется по черным мартовским улицам. Пятака, как обычно, нет. Зорин опускает в кассу двугривенный, отрывает билет и с горечью вспоминает вчерашнее. Он выбросил бы этого Спока к чертовой матери! Впрочем, при чем тут Спок? Она слушает всех, кроме собственного мужа. Даже безграмотных бабок. Каждое его слово встречается в штыки. Она готова поступиться даже здоровьем ребенка, лишь бы сделать по-своему. То есть вопреки ему, Зорину...

Большое, красивое здание библиотеки вызывает в нем отголосок волнующего забытого чувства: когда-то он мечтал защитить диссертацию. Люди, сидящие в тишине громадного зала,— счастливые люди. Он завидует им. Сразу после института он провел здесь с десяток изумительных вечеров. Так же, как они, он вбегал когда-то по этим широким ступеням, а поздним вечером, не торопясь и смакуя движения, возвращался домой. Куда все это исчезло? Теперь у него нет времени читать даже периодику.

Он заходит на абонемент не раздеваясь, ищет взглядом жену, но ее нет за стойкой. Вместо нее там стоит ее напарница. Зорин видит, как она кокетничает и строит глазки молодому читателю с черной бородкой шкипера: «Вы знаете, мне не нравится Фолкнер,— «шкипер» задумчиво расписывается в формуляре.— Старомодность, простите».— «Да?» — «И потом, эта заумь и длиннейшие периоды...»

Зорина на минуту охватывает ревность. Он представляет

свою жену вот такой же, любезничающей с этим холеным пижоном. Сейчас она так же, снизу вверх смотрела бы в рот этому типу, поддакивала и сводила брови в показной задумчивости.

— Позовите мне Тоню.

Девушка с любопытством оглядывает Зорина:

— Ее сейчас нет. А что ей передать? Ее вызвали в обком союза.

— Скажите, был муж. Еще скажите, что заболела дочь.

Зорин вылетает из библиотеки как пробка. У него еще хватает терпения найти телефон-автомат и выпросить в ближайшем магазине монету. Он звонит в управление и чуть не бегом стремится в садик-ясли, это не далеко, всего около трех кварталов. Не слушая вчерашнюю тетку-уборщицу, он скидывает полушубок в прихожей, вбегает в ясельный коридор, хватает за локоть няню. Она торопливо объясняет ему что-то насчет врача. Затем выносит вздрагивающую Ляльку:

— Сразу же вызовите врача.

— А у вас? Разве у вас нет врача?

— Она сказала, чтобы девочку унесли домой и чтобы участкового врача вызвали.

Девочка глядит на отца мутными беспомощными глазенками, веки ее как-то странно коробятся. Она тяжело дышит, из носа у нее течет, она даже не может стоять на ножках.

«Доча, доча... Ну, что ты.— Зорин с трудом одевает Ляльку.— Участкового... Вам бы только сплавить ребенка... Вы... вы...»

Он не находит слов. Заворачивает девочку в полушубок и, оставшись в одном свитере, уносит ее домой.

— Это ты виноват! Сколько раз тебе говорила, чтобы не давал конфет? Пьет, пьет после этого...

— Значит, я...

— Тысячу раз просила!

— Ну, хорошо, пусть я! Пусть. Но сделай же ей что-нибудь. Аспирин, что ли!..

Лялька в беспамятстве шевелится в своей кроватке, ворочает раскаленной головенкой. Зовет маму. Зорин не может смотреть на все это, он готов разреветься. Он во второй раз бежит на телефон-автомат. Равнодушный ко всему голос отвечает ему: «Товарищ, я же сказала, врач придет. Вы знаете, сколько вызовов?..»

Ему страшно возвращаться на третий этаж. Он открывает дверь, топчется в комнате, затем опять выходит на площадку. Его уже тошнит от этого гнусного «Опала». Зорин с отвращением душит огонь сигареты. «Что делать? Что же делать...» В мозгу почему-то назойливо крутится мотив пошлой эстрадной песенки. Соседки вдруг проникаются искренним сочувствием, и он, благодарный, прощает им все прошлые подглядывания и подслушивания. Одна предлагает сушеной малины, другая несет какие-то таблетки.

Врачиха в сопровождении сестры наконец поднимается по лестнице. Они торопливо моют руки, достают шприц. Зорин не может вытерпеть этого зрелища... Они бесцеремонно поворачивают девочку на живот, обнажают попку, и Зорин почти физически сам ощущает, как игла впивается в Лялькино тело...

Врач выписывает какую-то бумажку и сует Зорину.

— Если будут судороги, вызывайте «скорую помощь». Я выписала на всякий случай направление в больницу...

Сестра и врач так же торопливо спускаются по лестнице. Зорин беспомощно глядит им вслед: «На всякий случай... Это же чистейшая перестраховка. Здоровье ребенка на втором плане, ей важнее бумажкой снять с себя ответственность. Ей не хочется ни за что отвечать».

Бессонная ночь проходит жутким бесконечным кошмаром. Утром является та же врачиха, она вызывает по соседскому телефону машину. Девочку вместе с женой увозят в больницу. Зорин остается один. В стихшей осиротевшей квартире, как лунатик, он бродит по комнатам. При виде розовой Лялькиной кофточки он ощущает такой страх, такую жгучую боль, что закрывает глаза. Он машинально берет полушубок, хватается за карманы. Две новых пятерки, зажатые в кулаке, приводят его ко вчерашней «Смешинке», он просит официантку принести ему бутылку рислинга. Но рислинга нет сегодня, и он пьет отвратительную теплую перцовку. Странно, ему не становится от этого легче. Он заказывает еще, делает несколько глотков и вдруг мысленно, четко произносит сам себе: «Ты сейчас же едешь в больницу, сейчас же».

Он рассчитывается и идет вон.

Ночной, уже очищенный от машинных газов, воздух охватывает похудевшее лицо Зорина, город мерцает бесчисленными желтыми точками. На улице совсем пустынно.

К остановке такси одновременно с Зориным подходят трое длинных волосатых мальчишек. Они бренчат на гитарах и поют что-то удивительно бессмысленное, колотят по гитаре ладонью и поют. Голоса у них, как у молодых петухов, еще со скрипом. Парни явно навеселе. «Современные менестрели...— думает Зорин.— Им ни до чего нет дела».

— Эй, дядя, а ну отвали! — парень с гитарой вразвалку идет к машине.

Зорин садится в такси, но один из парней открывает дверцу:

— А ну, рви отсюда.

— Что?

— Рви, говорю, отсюда!

Зорин выходит из машины и смотрит на юную, едва знакомую с бритвой физиономию:

— Что?

— Я сказал, чтобы ты отвалил.

— А я что-то не помню, когда мы пили на брудершафт.— Зорин снова берется за ручку машины.

Парень несильно бьет его по руке. Двое других, улыбаясь, глядят на Зорина. Он берет парня за руку и сжимает до хруста, с ненавистью глядит в чистое, без единого прыщика лицо:

— Послушайте, вы...

Сильный удар сзади, в голову, чуть не сбивает Зорина с ног. Он успевает повернуться, но второй удар, уже в лицо, ослепляет его. Зорин инстинктивно, по памяти, изо всех сил сует кулаком в пространство, но удар лишь скользит по какому-то подбородку. Слышится заливистый свисток милиционера. Зорин видит, как парни убегают во двор, он бежит за ними, но второй милиционер хватает его и выворачивает назад руки... Его толкают в коляску мотоцикла. На секунду Зорину становится почему-то смешно...

— Товарищ сержант!

Сержант, не отзываясь, пытается завести мотоцикл. Зорин вновь говорит:

— А товарищ сержант?

— Сиди, сиди.

— Вы что, одного меня!

Сержант не отзывается. Мотоцикл фыркает, и Зорину кажется, что он сейчас сойдет с ума. Он поворачивается, взглядом ищет глаза шофера такси:

— Слушай, дружище, ты же видел, слушай...

Шофер отводит свой взгляд, его машина фыркает и разворачивается.

Зорин крепко сжимает челюсти:

— Гады... сволочи...

— Сиди, сиди,— говорит милиционер.— Ишь какой петух!

В отделении один из милиционеров заполняет типографский бланк протокола и, не глядя на Зорина, выходит из комнаты. Старшина, сидящий за деревянным барьером, разговаривает с кем-то по телефону. Зорин терпеливо ждет.

— Товарищ старшина, почему меня задержали?

— Потому что окончание на «у». Подпиши протокол.

Зорин читает протокол и возвращает его старшине:

— Здесь все не так. Я не могу подписать...

Старшина невозмутимо выходит куда-то в коридор. Зорин провожает его насмешливым взглядом и остается в дежурке совершенно один. Он ждет пять, десять минут, но на него никто не обращает внимания.

Наконец старшина появляется в комнате:

— В последний раз спрашиваю...

— Что?

— Подпишешь или нет?

— Нет.

— Ну хорошо.— Старшина поднимается за барьером.— Сержант Федорчук!

— Я прошу позвать дежурного офицера,— говорит Зорин как можно спокойнее.

— Дежурный занят! — взрывается старшина, переходя на крик.— Законник какой! Меньше пить надо. И хулиганить на улицах!

— Я не хулиганил. Позовите, пожалуйста, дежурного офицера.

— Федорчук!

Сержант Федорчук появляется в дежурной комнате.

— Федорчук, отвезешь его в медвытрезвитель. Пусть пофорсит стриженым. Дежурного, видите ли, ему...

— Пошли.— Федорчук крепко берет Зорина за локоть.

Краска заливает Зорину лицо, уши и шею, он отстраняет сержанта и подходит к барьеру... В это же время в комнате появляется дежурный офицер — совсем еще молодой лейтенант:

— Федорчук, в чем дело?

— Сопротивление, товарищ лейтенант.

— Пьяный,— добавляет старшина.— Учинил драку на улице, протокол не подписывает.

— Я не пьян! — Зорин собирает в комок всю свою и без того небогатую выдержку.— И драку начал не я. Товарищ лейтенант...

— Сядьте! — лейтенант читает зоринский протокол.— Так. Придется вам посидеть суток десять. Где вы работаете?

— Разве это имеет какое-то значение? При таких обстоятельствах...

Лейтенант окидывает Зорина оценивающим взглядом, в это время в комнату дежурного кто-то громко стучит.

— Да, войдите,— лейтенант закуривает. В дежурку входит давешний таксист, и Зорин с презрением смотрит ему в глаза.

— Товарищ дежурный,— слышит Зорин голос шофера.— Он же не виноват.

— А вы кто такой?

Я же видел, он не виноват.

— А вы кто такой?

— Я же видел, он не виноват.

— Федорчук, одну минуту...

Зорин выходит из отделения вместе с таксистом. Левый глаз совсем заволокло опухолью, во рту горько от табачной кислятины, но горловый комок понемногу рассасывается и исчезает.

— Садись, свезу куда надо,— приглашает шофер.— Здорово они тебя?

— Кто? — Зорин садится рядом с таксистом.

— Да эти, сопляки-то.

— Ничего.

— Откуда только берутся,— таксист долго жмет на стартер.—

Как клопы... А ты извини, у меня вызов был. Не мог сразу ехать с тобой,

— Спасибо.— Зорин глядит на часы. Как ни странно, а на все происшествие вместе с этой дурацкой «Смешинкой» ушло всего полтора часа.— Спасибо...

— Ладно, чего там. Давай, будь здоров.

Зорин выходит около детской больницы. Он забегает в больничный подъезд, разыскивает телефон и поочередно звонит на оба терапевтических отделения: «Але? Да. Девочка. Поступила сегодня. Что? Без изменений? А мать? Скажите, мать с ней?»

В его ушах еще долго стоит разноголосый детский плач и крик, услышанный из отделения по телефону. Зорин вновь совершенно растерян: «Она ушла ночевать домой. Там Лялька одна, в жару и в бреду, а жена ушла ночевать домой...» Он долго ходит вокруг больницы, смотрит на непотухающие окна громадного пятиэтажного здания.

4

Весна прет без разбора из-под каждой городской подворотни, из каждого скверика. Водоприемники, не успевая глотать мутную воду, захлебываются, принимают в свои недра зимнюю грязь. В центре уже сохнет асфальт и ничто не напоминает о бесконечной зиме, зато на окраинах и задворках заглавных улиц не пройдешь, везде жижа из грязи и серого снега.

На объектах повсюду вытаивают зимние строительные грехи: там полмешка цемента, тут куча расколотого кирпича или коричневой звукоизоляционной ваты. Зорин смотрит на все это с легким стыдом: это под его чутким руководством разбросаны на стройплощадках денежные обрезки. А что он мог сделать? Не будешь же стоять у каждого самосвала, когда возят кирпич. Никогда не научишь Букина тому, что не стоит выписывать новые рукавицы, если на старых ни одной дырки. А разве можно убедить Трошину в том, что раствор нельзя оставлять в ящике до утра? Хоть ящик, хоть пол-ящика, а как только стукнет пять часиков, она вываливает остатки прямо на грунт. Привезут нового, жалеть нечего. На каждом собрании и летучке Зорину твердят о плане и графике. Скорей, скорей, только бы сдать дом, тут не до экономии, лишь бы спихнуть объект приемной комиссии.

У него голова поседела от этих объектов. И все-таки воздух пахнет тающим снегом, небо над городом синее, словно в детстве, и все везде тепло, солнечно, даже в проемах холодного шестидесятиквартирного, где еще свищут зимние пронизывающие сквозняки.

Надо бы сменить полушубок на пальто. Но Зорин уже больше недели не ходит домой. После очередной жестокой ссоры, завершившейся пощечиной жене, он ушел ночевать в тепляк. Фридбург

на своем залатанном «Москвиче» увез Зорина к себе домой. Но после двух ночей, проведенных в чинной, фальшиво-доброжелательной атмосфере еврейской семьи, Зорин ушел ночевать к дяде Паше, а вчера перебрался к Сашке Голубеву: было стыдно ночевать у других больше двух раз. И все же сегодня у него хорошо на душе. Хорошо, потому что завтра Ляльку выпишут из больницы. Дочка пролежала там чуть ли не месяц, у нее было воспаление обоих легких.

Сорокаквартирный давно сдан, крановщик Козлов получил в нем квартиру, а Трошина, проведав о зоринских семейных делах, уже не матерится, по крайней мере при нем.

Да, все идет своим чередом. И не беда, что Сашку Голубева оштрафовали вчера за то, что его самосвалы развозят по городу грязь, а его, Зорина, вызывают сегодня на административную комиссию.

Это результат все еще того вечера. Или того письма, которое Тонька послала на производство? Зорин гадает и прикидывает, ему чуть грустно, но больше смешно. Он было уже решил не ходить на комиссию, пусть бы штрафовали, как Сашку Голубева, но ему любопытно, что там будет.

Он собирает в тепляке бригадиров и дает им задание на завтра. Смотрит на часы и, не торопясь, уходит с объекта. Еще есть время поесть в этой злополучной «Смешинке». Он заказывает рубленый бифштекс, с аппетитом съедает картофельное пюре. И улыбается: Сашка Голубев сказал бы сейчас, что крахмал придает твердость одним только воротничкам и манжетам.

Зорин является на комиссию из минуты в минуту. Человек пятнадцать мужчин его, зоринского, возраста, выдвигают предложения, обмениваются мнениями. Кое-кто пытается юмором загладить неловкость и шутками скомпенсировать запрещение курить.

— А не взатяжку-то можно?

Вероятно, посетители вызываются по алфавиту. Зорин слышит свою фамилию и заходит в большую комнату, пропахшую табачной золой и бумажной пылью. Он садится у двери, но тут же встает, чтобы отвечать на вопросы.

— Вы у Кузнецова работаете?

— Да.

— Оно и видно, каков поп, таков и приход.

Зорин внутренне взрывается, ему обидно за своего начальника, но он молчит, вспоминая второй зарок. Семь членов административной комиссии сидят по обеим сторонам стола, покрытого листами цветной бумаги. Красный уголок штаба народных дружин, где заседает комиссия, пропах табачной золой начисто, и от этого курить хочется больше.

— Продолжим, товарищи,— говорит председательствующий.— У кого есть вопросы?

— Разрешите, товарищ Табаков, у меня к нему вопросик.

— Пожалуйста.

Наголо обритый дедушка достает карандашик из нагрудного кармана диагоналевого, с глухим воротом, кителя.

— Во-первых, где и как напился. Во-вторых, с кем, в-третьих, как думаешь дальше. Встань, расскажи.

Зорин чувствует, как жилка опять играет у него на виске.

— Во-первых, обращайтесь со мной на «вы», во-вторых...

Поднимается шум:

— Безобразие, как он себя ведет?!

— Не забывайте, где вы находитесь!

— Кто кого здесь разбирает?

— Вы посмотрите, он еще и улыбается!

Председательствующий стучит карандашом по графину:

— Товарищ Зорин, вы будете отвечать на вопросы?

— Буду,— Зорин смотрит прямо в переносицу председателя комиссии Табакова.— Но я бы хотел, чтобы со мной обращались на «вы». Я не мальчишка...

За столом вновь прокатывается рокот искреннего возмущения. Дедушка в кителе кладет карандашик и, качая головой, с горькой иронией обиженного говорит:

— А кто же вы, товарищ Зорин? Вы же мне во внуки годитесь, ты же еще без штанов бегал, когда я...

— Да что с ним разговаривать?

— Распустились, ни стыда, ни совести!

— Ну, хорошо,— Табаков снова стучит по графину,— прошу вниманья!

Зорин видит, как Табаков старчески суетливым движением складывает носовой платок и аккуратно прячет в карман. Бритый дедушка укладывает очки в футляр. Зорин замечает, что дужка очков сломана и замотана какой-то тряпочкой. Девушка-секретарша с высокой, пузырем, прической невозмутимо пишет протокол... Толстая пожилая женщина возмущенно хрустит пальцами; Зорин ясно видит бородавку на ее подбородке и мучительно вспоминает что-то давнишнее, ускользающее. Где же он видел это лицо? Те же четыре или пять волосиков на бородавке... Ну да, это она, та самая женщина... Только волоски на бородавке тогда были черными, не седыми, а прическа осталась прежней и бюст лишь слегка сравнялся с животом. Там, в районном загсе, она была совсем молодая. Женщина глядит на Зорина, как на неисправимого преступника:

— Скажите, товарищ Зорин, почему вы ушли из семьи?

— Из семьи? — Зорин слегка ошарашен. Оказывается, и это известно. Неужели Тоня?

— Да, из семьи,— повторяет женщина.

— А какое вам дело?

Сначала ему приятно наблюдать, как у нее от возмущения открывается рот и челюсть как бы отваливается. Но уже через несколько секунд ему становится жалко ее, губы у нее дрожат, пухлые руки растерянно мнут крохотный дамский платочек. Члены

комиссии возмущены и потрясены зоринским поведением, ему предлагают выйти и подождать решения комиссии.

Зорин выходит в коридор и, не останавливаясь, шагает на улицу. Автобуса нет, он топает к Голубевым. «Ну и ну! — думает он.— Ну и ну...» Ему вновь, как тогда, когда сидел в милицейской коляске, на секунду становится смешно.

У Голубевых он, отказавшись от ужина, снимает пиджак и ботинки. Молча садится на диван, берет номер журнала «Знание — сила». В статье всерьез говорится о поэтических возможностях электронных машин. Зорин бросает журнал. В висках и в темени нарастает какая-то новая боль, и он плохо воспринимает то, что говорит Сашка:

— Пойдем в кино, хватит по вечерам давить ухо. Подруга дней моих суровых, у тебя три билета? Очень хорошо. А где мой чешский галстук?

Зорин, очнувшись, отказывается от кино и включает телевизор.

— Саш, а чего вы не заведете ребенка?

— Ну, не знаю.— Сашка морщится.— Чего ты лично ко мне пристал? Я, может, и не прочь стать папашей. Спроси вон ее, почему она... Подруга дней моих суровых, ты хочешь ребеночка? Адью, старик, мы пошли.

Супруги Голубевы исчезают, они идут в кино. Зорин вытаскивает из шкафа постель и раздвигает диван-кровать. Ставит к изголовью Сашкину пепельницу, которая сделана в виде свернувшейся русалки. «В женщинах и правда есть что-то рыбье,— думает он.— По крайней мере, в наших с Голубевым. У Сашкиной половины уже на счету шесть или семь абортов. Какая-то рыбья, холодная кровь. И сердце... Русалка — это женщина-утопленница. А Тонька разве не утопленница? Она давно утонула в своей дурацкой работе, она чокнулась на эмансипации, хотя еле волочит ноги. Им думается, что чем они сильнее, тем для них лучше. Они хотят быть независимыми. Они рассуждают с мужьями с позиции силы. И это не так уж плохо у них получается. Сажают мужей в тюрьму, пишут на них бумаги. Да, но кого же тогда защищать мужчинам? Жалеть и любить? Самих себя, что ли?»

Зорин тяжко ворочается, он не может уснуть и то и дело курит. Мысли его вновь и вновь возвращаются к жене, к дочери. Телеэкран мерцает где-то в углу, слова передачи, не проникая в сознание, словно долбят по темени.

Голубевы возвращаются молча,— вероятно, поссорились еще во время сеанса. На вопрос, понравилась ли картина, Сашка бурчит себе под нос: «Шедевр!» Идет в ванную и долго не вылезает оттуда. Затем, босиком и в одних трусах, он ходит по ковру, выкидывая костлявые ноги. Теплая ванна вновь приводит его в добродушное состояние, он философствует:

— Вот, объясни мне пушкинского Савельича. Только с марксистских позиций. Да? Ну это ты брось. Брось! А помнишь

заячий тулупчик? Старик даже записал его в реестр разграбленных пугачевцами вещей. Не струсил. Вот тебе и лакей.

— Саш, чего бы ты хотел после смерти? — Зорин выключает голубевский телевизор.

— Что?

— Чего бы ты хотел после смерти?

— Чтобы выстригли волосы в носу. Ненавижу, когда у покойника торчат из носу волосы.

— Глупый дурак! — слышится с кухни голос Сашкиной жены.— Говорит и сам не знает чего.

— Знаю,— Голубев подмигивает.— Подруга дней моих суровых, а ты не боишься смерти?

— Вынеси лучше ведро.

— Вот! Она ни черта не боится.— Голубев натягивает спортивные штаны.— Даже смерти.

— И возьми корзинку, наберешь в подвале картошки.

Голубев возвращается с картошкой и с пустым мусорным ведром. Зорин сквозь сон слышит, как они с женой добродушно поругиваются. Прежде чем идти спать, Сашка садится на пол:

— Костя, а Костя?

— Что?

— Почему бы вам с Тонькой не помириться? Не дурачься. В твоем возрасте начинают понимать даже фортепьянную музыку... Что? Ладно, дрыхни. Не хочешь слушать лучших и преданнейших друзей.

Утром, придя на объект, Зорин едва успевает провести пятиминутку и поговорить с бригадирами. По телефону его вызывает к себе Воробьев. Зорин едет в контору. В комнате ПТО он рассеянно здоровается и курит с Фридбургом.

— Этот у себя?

— Здесь.— Фридбург берет Зорина за локоть.— Брось, старик. Не задирайся...

Зорин, не отвечая, идет в кабинет Воробьева.

— Садитесь, товарищ Зорин.— Воробьев берет со стола какую-то бумажку.— Административная комиссия советует нам уволить вас с работы...

— Да?

— По статье...

— Мне не интересно, по какой статье.— Зорин спокойно встает со стула.— Когда можно получить документы?

— Рекомендую написать заявление.

Зорин пишет заявление прямо в кабинете у Воробьева.

Воробьев старательно ставит резолюцию: «Просьбу удовлетворить». Зорин, тоже старательно, прикрывает за собой дверь, идет по коридору, прямо в отдел кадров.

Здесь, за столом начальника отдела кадров, как за своим, сидит почему-то сам Кузнецов. Видно, вышел из отпуска раньше времени. Начальник стройуправления загорел, встретил весну где-

то на юге. Глаза его при виде Зорина загораются веселыми огоньками. Он здоровается с Зориным за руку и, видимо, сразу соображает, что к чему, осторожно выманивает у Зорина листок бумаги:

— Ну, ну, что это у тебя за цидуля?

Зорин пытается не отдавать заявление. Но Кузнецов настойчиво и как бы шутя добивается своего. Он берет заявление и, не читая, задумчиво складывает, рвет пополам, потом на четвертушки... Бросает обрывки в корзину:

— Что у тебя с шестидесятиквартирным? Гляди, чтобы к Октябрьской, как штык...

Зорину хочется возмутиться, но у него ничего из этого не выходит.

— Андрей Семенович...

— А как на трассе? Плывун все еще есть?

— Шпунт приходится бить.

— Давай!

Кузнецов чешет затылок, разглядывая очередную, подсунутую кем-то бумагу. Он еще не дошел даже до кабинета, его осаждают со всех сторон. Зорин вздыхает и, потоптавшись, растерянно поворачивается. Выходит. У дверей в коридоре он замирает еще на секунду, потом, махнув рукой, выбегает на улицу и едет на объект с первым же самосвалом.

Самосвал рычит и катит мимо трестовского дома, огибает универмаг с фигурами тонконогих женских манекенов.

«Завтра получка,— вспоминается Зорину.— Надо купить Тоньке обещанный гэдээровский плащ... Кажется, у нее сорок четвертый. Или сорок шестой?»

Солнце греет и бьет в упор, прямо в кабину. Зима снова кончилась, зоринская сороковая зима. Идут обычные будни. Весенние будни прораба Зорина. Ка. Пе. Стоп!

Вот он, его шестидесятиквартирный. Дядя Паша кладет уже третий этаж. Плотники сколачивают времянки, лебедка тарахтит, а самое главное... «Что главное? Все главное. Ничего, еще поскрипим. Сегодня Ляльку выписывают из больницы...» Зорин, улыбаясь шоферу, распахивает полушубок и на ходу прыгает из кабины.

СВИДАНИЯ ПО УТРАМ



абушка вставала в шестом часу, когда на улице начинали шуметь машины. Теперь сон у нее зыбкий, она всю ночь спит и думает. Вот прошел за окном первый, наверное еще пустой, троллейбус. В нем каждый раз что-то щелкает, ей чудится, что машина с утра сломалась. Худо они глядят за машинами-то! Машин много, а не берегут...

Сегодня суббота. Тревога за предстоящий день начиналась еще с вечера. Сейчас эта тревога сразу охватывает старое сердце. Суббот и праздников бабушка начала бояться. Раньше, когда жила в деревне, радовалась, теперь начала бояться. Вот и сегодня что-то опять будет? Вчера зять поздно пришел домой, а дочка не стала с ним разговаривать.

Спали опять врозь.

Бабушка тихонько, ногами, нащупывает обутку. Сует ноги в тапочки и, сдержав кашель, чтобы не разбудить внучку, шепчет: «Спи, матушка, спи! Христос с тобой. В садик сегодня не надо».

Внучка от того, от первого зятя — спит с бабушкой. Как отсадили от сиськи, так все и прибаливает. Бывало, зайдется ревом, а дочка из себя тут же и выйдет. Кинет ребеночка на кровать, как чужого. А все потому, что *невры*. Худые нынче невры-то, у многих очень плохие.

Так думает она, подтыкая одеяло у раскидавшегося в постели ребенка.

Дорога в туалет сейчас для нее самая главная. Тут и всего-то четыре шага. Да ведь надо еще и двери открыть — двои — и пройти по паркету. А паркет скрипит, не помогают и половики, что привезли из деревни. Нарочно для них ткала. Дочка приказала в письме, когда открылась мода на многое деревенское. И то сказать — мода не мода, а ковров не напокупаешься.

Она осторожно открывает дверь в коридорчик. Тихо ступает по половикам. Но паркет все равно скрипит, как будто под него накладено сухой бересты. Слава богу, в ихней комнате не услышали. Теперь бы еще открыть, благословясь, дверцу. Дверца-то тоже скрипит, да и выключатель щелкает очень шибко. Она решает не включать свет, в туалете все-таки есть окно с кухни, можно и в сумерках. Даже и лучше. Новый зять весь туалет заклеил картинками, а на картинках одни голые девки. Ей всегда стыдно глядеть на этих — чуть не в чем мать родила. Такие висят *щепери*. Но что сделаешь? Дело *ихнее*. Бабушка вздыхает и опять думает, как быть. Надо бы по-настоящему спустить воду, но подымешь такой шум, что прямо беда. Не спустишь — тоже грех. Дочка ругает за шум, зять сердится, что остается запах, не знаешь, кого слушать, кому угодить...

Она опять решает половина на половину: спускает не всю воду, а только часть, осторожно, чтобы не булькало. С мытьем-то ладно, можно и подождать. Она так же тихо возвращается в свою шестиметровую комнатку, где спит внучка.

Резкий, но какой-то коротенький, словно бы стыдливый звонок слышится от входных дверей. Бабушка, затаив дыхание, на цыпочках подходит к своей двери. «Господи, что и делать, не знаешь. Не откроешь, так ведь позвонят еще, всех перебудят. А и открывать тоже нельзя. Хоть бы зять пробудился да вышел. Может, к нему...»

Она напряженно ждет: авось и уйдут. Подкрадывается к

двери и прислушивается. Нет не ушли. Слышно явственно: за дверями есть кто-то. Уж лучше открыть.

Она осторожно, без шуму, поворачивает ручку замка и тихонько приоткрывает дверь.

Лысый старичок в сапогах, в хлопчатобумажном сером пиджачке, держа кепку в руках, мнется у дверей.

— Доброго здоровьица! — громко говорит он, и бабушка машет на него руками: «Тише, тише!..»

Старичок переставляет с места на место рюкзак и тоже переходит на шепот:

— Мне бы, это... Я, значит, Костю-то... Нет Констенкина-то?

— Нету, нету.

— Дак он где? Не в командировке?

— Не знаю, не знаю, батюшко. Он тут не живет тепере.

— Переехал?

— Переехал, переехал. А ты чей будешь-то?

— Да я, значит, это... Скажи Констенкину-то, что Смолин был. Олеша, значит... Ну, извините, пожалуйста.

— С богом.

Бабушка осторожно прикрывает дверь. Хорошо, что никто не проснулся. Пусть спят, со Христом, тоже намаялись за неделю-то, с почтением думает она о зяте, дочери и о зятевой сестре, которая приехала из другого города, поступать. Вот и шесть часов на будильнике. Прочитав молитву, она садится в ногах у внучки. Очень худо и неприятно сидеть так, без дела. И дела-то много, а они пробудятся в девять, не раньше. Можно бы повязать на спицах, да шерсть как раз кончилась. Надо бы написать сыну письмо, да ведь и бумага и конверты у них в комнате. Сходить бы за хлебом и молоком, но магазин открывается только в восемь часов. Делать пока нечего. Думы сами окружают со всех сторон. А все думы только о них, о детках. Сыновья далеко, но сердце о них болит. Один, офицер, служит в Германии,— это самый младший. Другой живет в Сибири, уехал еще подростком. Одна дочка в Москве, другая — самая старшая — живет в поселке. У той мужик не пьющий, ремесленный. Об них и думать в полагоря, живут хорошо. Сами обзавелись внуками. А вот тутошнюю дочерь, хоть и на глазах, а жаль больше всех. Живут как на вокзале. Сама стала как щепка, с этим мужиком тоже ругается чуть ли не через день. С первым развелась из-за пьянки. Второй хоть и не пьет, зато какой-то *овыденной*, а не самостоятельный. Сам хуже любой бабы. Спорят о пустяках, а чего бы и спорить? Деньги есть, сыты, обуты. Слава богу, время наладилось, в магазинах всего полно. Бывало, раньше ситец-то в лавку привезут — покупали по жеребью. А теперь не знают, чего надеть, подарки берут на каждый праздник. А праздники — идут гужом. А меж-то собой? Зачастую как собаки. «Разве этому я ее учила?» — про себя, горько произносит бабушка.

И ей вспоминается давнее время. Давнее, но такое ясное, тутошнее, как будто и не ушло. Мужики с женами раньше не спали

врозь. Ежели только на войну уйдут либо на заработки. А теперь-то? Бабам детей рожать лень, мужики разучились кормить семью.

Разве это мужик, ежели зарабатывает меньше жены?

И вдруг ей становится стыдно, что пробирает людей. Она торопливым шепотом ругает сама себя и вспоминает вчерашнее письмо из деревни.

Жалко. Жалко всех — страдающих ныне и тех, что отмучились. Вон, пишут в письме, суседушко порядовный, моложе ее, а умер. Собирался жить до девяноста годов. Не забыть помянуть в церкви. О, сколь много перетерпел человек! И ранен и граблен был. Кожу сдирали в плену, в глаза харкали.

Она вспоминает и собственного мужа, сгинувшего в последней войне. За ним приходит в память свекровушка, золовки и деверья. Что говорить, не больно ласкова была, покойница. Да справедлива. У самовара, бывало, сидит, первую чашку мужу, вторую сыну. А третью-то не себе и не малолетним золовкам, а ей, невестке. Свекор тоже — не враз, да оттаял, зато потом не давал никому в обиду. Суров был старик, чего говорить. Грех вспоминать, пришла в дом, крутилась будто на сулее. Один раз подметала избу, глядит, а под лавкой лежит серебряный рубль. В доме одна-одинешенька. Глупое дело, не догадалась сразу-то, что нарочно подкинут, да все равно перед паужной денежку подала старику: «Вот, тятя, нашла под лавкой». Уж так был доволен да рад! Похвалил, погладил по голове как маленькую. Золовка старшая коров не продаивала, сделал большухой ее, невестку. Долга жизнь, ох долга, много можно успеть.

Мысли бабушки текут одна за другой, но вот заскрипел в коридоре паркет, загремел чайник на кухне. Проснулись, встают. Бабушка вдруг вспоминает, что сегодня воскресенье и что она должна идти гулять со внучкой. У нее начинает болеть душа. Бабушка незаметно подходит к окну и украдкой смотрит на улицу, в ту сторону, где телефонная будка и овощной магазинчик. Тут ли? Тут уже. Стоит, сердечный, в сером плащике, воротник поднят. Курит. Внучка-то еще спит, а он стоит. Вот так каждое воскресенье по утрам, приходит и ждет, пока бабушка с внучкой не выйдут во двор. Но иногда дочка сама ведет гулять девочку в скверик, и тогда он нахлобучивает воротник, закрывается в телефонной будке. И стоит за стеклом, пока они не пройдут.

«О, господи-милостивец!» — вздыхает бабушка. Она берет на руки сонную девочку и выходит с нею туда, *к ним*. Так начинается очередное воскресное утро.

Итак, уже девять часов. Зорин спускается по лесенке овощного подвальчика. Здесь, внизу, стоять не так стыдно. Магазин откроют в одиннадцать, и здесь, внизу, его будут замечать лишь самые любопытные прохожие. Черт знает, что это им надо! Неужели им нечего больше делать, не о чем думать? Разве мало у них своих забот? Разглядывают тебя, как мастодонта...

Отсюда хорошо видны окна его бывшей квартиры. Вот в кухне

открылась форточка, значит, Тоня зажигает газ и ставит чайник. А может, это курит новый обитатель квартиры?

Зорину горько оттого, что Лялька, его дочь, и этот новый обитатель живут вместе в этой, в одной квартире. Во рту тоже горько, от сигарет. Ведь не курил же тринадцать месяцев. И уже совсем не тянуло, окружающий дым раздражал, как это бесцеремонное рассматривание. Ему вспоминается тот день, вернее, ночь, когда он вновь глотнул этой заразы, после чего начал палить с еще большей яростью. Был какой-то очередной праздник плюс два выходных,— считай, за всю неделю на стройке не положили ни кирпича. О, эти праздники! Зорин пришел с женой в гости к Голубевым, все началось довольно чинно. Какая-то дамочка, родственница Голубевым, то нервно хихикала, то вдруг гордо замолкала. Какой-то пижон ставил битлов, кто-то порывался говорить высокомудрые речи. Все это быстренько завершилось содомской попойкой, кто-то с кем-то топтался под радиолу, кто-то с кем-то пел что-то, а Зорин ушел в соседнюю комнату, уселся в кресло. Пьяный Голубев вошел следом, икая, облапил Зорина:

— С-с-старик, здесь три комнаты. Те двое уже закрылись, а мы ч-ч-то, рыжие? П-предлагаю такой вариант... Я н-надоел своей как цуцик, х-х-хочешь — сменяемся? Разумеется, временно.

Зорин отрезвел и сжался. Что-то задрожало внутри. Хуже всего было то, что жена Голубева слишком тесно жмется к партнеру по танцам. Зорин с минуту глядел на Голубева, запоминая его бессмысленную улыбку. И вдруг вскочил с кресла, изо всех сил врезал ему в скулу... Голубев полетел головой в шифоньер. Зорин с трудом вспоминал то, что было дальше, как ушел, бросив жену, как пил еще с кем-то и просил закурить у какого-то встречного парня. На второй день Голубев пришел с бутылкой и долго морщился, когда Тоня язвительно воспитывала Зорина:

— Ты бы хоть извинился перед человеком!

Зорин молчал, сжимая зубы. Когда она ушла, Голубев достал из-за трельяжа принесенный коньяк:

— С-с-старик, извиняться не стоит. Ты был прав. Я свинья, но при чем тут наш шифоньер? У него такой жалкий вид...

Обижаться на него было почти невозможно. Брезгливая жалость к нему долго бесила Зорина. В горячке всю эту отвратительную историю Зорин выложил однажды Тоне, а в той вдруг взыграла ревность. Правда, ему до сих пор кажется, что ревность эта была неискренна, он сейчас почти уверен, что жена притворялась.

Зорин опять глядит на часы, уже двадцать минут десятого.

Такие женщины, как Тоня, вначале демагогично приписывают мужьям собственные грехи, затем привыкают к этому и начинают уже совершенно искренне верить в мужскую неверность. Ах, боже мой, эдакие, право, прелестницы... Холостяцкая жизнь заставила Зорина еще чаще шататься по ресторанам, он частенько видит такие картины: женщины сидят в компании без мужчин. Собираются по шесть — восемь дамочек, складываются по трешни-

ку и идут в ресторан обедать. С наслаждением рассказывают о своих же мужьях. В таких случаях да еще после портвейна они почему-то перестают замечать окружающих, становятся развязными и соревнуются в остроумии.

«Вы знаете, оказывается...» — «Нет, а вы знаете?»

Вчера, невольно прислушиваясь к такой компании, Зорин уловил необычный голос:

— Их кормить надо.

Но та, которая считала, что мужчин надо кормить для того, чтобы они меньше пили, оказалась в таком жутком меньшинстве, что тут же замолкла. На нее дружно обрушились остальные:

— Буду я этого идиота кормить!

— Была нужда.

— Он придет с работы да газетку в руки, а ты как заведенная. Одного белья сколько.

— Да чего ее слушать? Она же влюблена в своего Славика!

Оказывается, что и любить Славика, то есть собственного мужа, уже не современно с точки зрения такой веселой компании. Тоня всегда обвиняла Зорина в черствости, в неуважении к женщинам и... наконец, в домостроевщине. Если никого не было поблизости, он тут же взвивался: «Домострой! Ты хоть читала его, этот «Домострой»?» — «Не читала и читать не хочу». — «А ты знаешь, что «Домострой» проповедует мужскую верность?» Но она уже не способна вникать в такие тонкости, она искренне оскорблена его деспотическим поведением. Так начинались все их ссоры. Он наконец научился уступать ей и делать так, как хочет она. Научился не спорить и соглашаться. Но это не спасало от бед ни его, ни ее. Стойкая привычка противопоставления, ожидание вечных подвохов от всех, в том числе и от собственного мужа, постоянная, превращающаяся в агрессивность, готовность к обороне — все это заставляло ее протестовать во всех случаях. Однажды ради эксперимента он решил не настаивать на своем, и делать только так, как хочет она. И что же? Вместо обвинения в домострое и деспотизме появилось нечто совсем для него неожиданное: «Что ты за мужчина? Не мог настоять на своем. Не надо было меня слушаться!» — «Но ведь ты обвиняла бы меня в деспотизме!» — «Да?» — и так далее. Он изучил все детали этой удивительной ситуации. Вначале он бесился и жалел сам себя, но мало-помалу привык к безысходности, научился программировать не только свое, но и ее поведение. И тут, эта история с Голубевым... Вернее, с тем мальчишкой...

Уже десять часов. Скоро придут открывать магазин, придется сделать вид, что явился за баклажанной икрой. В доме напротив кто-то на полную мощность включил маг и динамик выставил в открытую форточку. Почему? Почему он, Зорин, мечтающий о тишине, обязан слушать эту белиберду? Современная кавказско-украинская мелодия с русским акцентом. Для Зорина она ассоциируется с тем позорным, как ему кажется, периодом жизни,

когда разводился с женой. Тот прыщавый парень был не по возрасту настойчив. Он фланировал около дома почти ежедневно, причем всегда с этим дурацким транзистором.

Тоне наверняка нравилось это преследование. Это уж точно. Оно не только забавляло ее, но и льстило ее громадных размеров самолюбию. Как же, в нее влюблены! У нее бальзаковский возраст, но в нее влюблены, на вот, выкуси, муженек. Ты ругаешься хамишь, ты приходишь домой пьяным, от тебя не дождешься ласкового словечка — так на вот тебе. Какой же она дала повод?

Зорин краснеет, ему противно это позднее собственное волнение. Всего скорей, поводом было обычное кокетничание в библиотечном стационаре. Может быть, она позволила ему сесть рядом в автобусе, может, поглядела в глаза с улыбочкой,— много ли надо свеженькому мальчишке, изнывающему от похоти? Он, Зорин, убежден, что дальше этих визитов у него не пошло. Она благоразумна. Ей достаточно и того, что в нее влюблены. Но какая же разница? Она не пошла дальше лишь из-за боязни, из-за трусости. Ее непоследовательность лишь подтверждает первоначальную испорченность. Разве порок перестает быть пороком оттого, что не реализован? Он, Зорин, всегда был верен своей жене. Он любил ее. Ему всегда становилось гнусно от дамских штучек, он терпеть не мог этих откровенных намеков, взглядов встречных, совершенно незнакомых женщин, этих прищуров, полуулыбок. Нормальные, неиспорченные женщины не смотрят в глаза незнакомых мужчин. Они идут по улице нормально. Мерзость и грязь самих мужчин не пристает к ним, они чисты даже в самой отвратительной обстановке. Много ли их, таких?

Тот прыщавый балбес обнаглел до того, что однажды залез в песочницу, где играла его дочь. В другой раз приперся в подъезд и поднялся на лестничную площадку. Зорин как раз выносил мусорное ведро и едва удержался, чтобы не надеть это ведро ему на голову. «Послушай, шеф,— сказал тогда Зорин.— Если ты не перестанешь сюда ходить, я спущу тебя туда. Понимаешь? Вниз головой». Парень смотрел на Зорина с вызывающим и отчаянным видом. Он тоже ходил сюда по утрам... Зорин взял его за воротник, как барана свел вниз и тихонько вытолкнул из подъезда: «Пошел!» Парень вдруг очнулся и осмелел.

Ах, все это мерзко... Зорин не удержался в тот день и заперся-таки в эту самую «Смешинку», вернулся поздно и устроил жене дикий допрос с пощечиной. Она упекла его в медвытрезвитель.

О, боже... Да откуда ты знаешь, что дальше-то у них не пошло, что этот оболтус... Тьфу!

Зорин плюется, вспоминая прыщавую физиономию. Так в детстве, когда читал «Капитанскую дочку», он ненавидел Швабрина.

Но что это? Те же прыщи и тот же транзистор, та же нейлоновая куртка, только прибавились рыжеватые полубаки. Парень стоит возле его, зоринской телефонной будки, мусолит сигарету и глазеет туда же, куда и Зорин.

Зорин выходит из своего убежища:

— Послушай, шеф...

Парень испуганно оглядывается.

— Ты проиграл. Мне тебя жаль, но ты тоже поставил не на ту лошадь...

Парень уходит стремительно. В то же время магазин открывает здоровенная тетя, которая знает Зорина. Чтобы не попасть ей на глаза, он ныряет в телефонную будку, с тоской смотрит туда, на угол дома. Уже одиннадцать, неужели бабушка заболела? Сейчас, сейчас... Они должны выйти, должны... Он мог бы зайти в квартиру силой, оттолкнуть Тоньку и силой войти в свою бывшую квартиру. Он даже не разменял ее, ушел в общежитие. Он мог бы по-хорошему поговорить с Тонькиным мужем, договориться, сводить дочку куда-нибудь в детский парк. Но он не хочет, чтобы девочка плакала. Тоня совсем взбесилась, она не желает слышать о Зорине, не считает его отцом дочери. Она утверждает, что вздохнула наконец свободно, что замуж вышла удачно, что у них любовь. Любовь? О, господи... Любовь. Ведь надо же понять, что любовь хороша и уместна лишь в молодости. Один, всего один раз. Они же ждут любви и в сорок, и в пятьдесят лет, когда все кончилось, наивно называя любовью обычный разврат... Надо же понять когда-нибудь им, этим любовникам обоего пола, что после рождения ребенка любая другая «любовь» — предательство. Да и каждый ли человек способен на любовь? Большинство людей считает любовью желание любить и то, о чем говорят: нравится. Не обладая способностью любить, ждут любви от партнера. И нужна эта игра в любовь даже и после рождения детей. Что им дети? Чихали они на детские муки! Отцы, скрываясь от алиментов, словно козлы прыгают по стране. Благо в любое время, в любое место можно завербоваться. У многих современных женщин дамское самолюбие сильней материнского чувства. Тоня не принадлежит к меньшинству. Зорин знает, она не раз жертвовала благополучием Ляльки ради своего дурацкого самоутверждения. Он ужаснулся, когда сделал это открытие, потрясшее все его без того издерганное нутро. Он уже не мог любить ее как прежде.

И вот у нее снова любовь... Врет, конечно, это опять игра, жалкая и натужная. Она всегда упрекала его в отсталости, когда он спорил с ней о любви и семье. Она считает, что женщина должна быть свободной и независимой. Но можно ли быть свободным от совести? От материнского или отцовского долга, в конце концов?

Ах, эти гаврики, которые променяли детей на пресловутую свободу — пьяную и тоскливую. Он-то знает их как облупленных. Это им ничего не хочется, кроме пьяного трепу. Женщины не зря презирают их. Такому совершенно все равно, с кем и где спать, с кем и где пить, сколько и где работать. Да, Зорину лучше других известны такие типы. Жена или сожительница легонько сажает его в тюрьму, а он отсидит года два и как ни в чем не бывало является к ней обратно, вновь пьет и ест за ее счет, пока не попадет в

морг либо обратно в тюрьму. Допустим, думает Зорин, что они больны, от них нечего ждать. Но Голубев... Откуда у него-то этот цинизм, это потребительское отношение к миру, к женщинам и даже к себе самому? Не такие ли, как он, не мы ли сами заражаем своей безответственностью своих жен, сестер и детей? Когда женщина превращается в бесполое существо, это вроде бы еще и не так противно, все равно это получается у нее по-женски, то есть не так омерзительно. Хотя тоже, кто знает...

Эмансипация — думает Зорин — нарочно кем-то придуманная вещь. Ведь она заранее предполагает существование неравенства. Но разве можно противопоставлять людей по этой жуткой схеме: мужчина — женщина? Это преступление. Люди делятся всего лишь на добрых и злых. Умных и дураков среди мужчин столько же, сколько среди женщин.

Так думает Зорин, и секундная стрелка на его часах еле шевелится.

Лялька... У него что-то обрывается в груди, когда девочка, подпрыгивая, выбегает из-за угла. Следом выходит мама Тоня, и Зорину становится до слез горько, ему опять не придется обнять, расцеловать, прижать дочку к плечу. Нет, он не сможет допустить дикой дворовой сцены, когда ребенка вырывают из рук и крикливая ругань останавливает прохожих. Что ж, он посмотрит на них из будки и незаметно уйдет... Ура, бабушка! Бабушка, его бышая теща, тоже появляется во дворе. Она-то знает, что Зорин ждет в будке, она сделает все, чтобы он увиделся с дочерью. Но что же намерена делать мама Тоня? Она идет, кажется, на работу. Или в магазин? Как всегда, вся в шпаклевке. Как и всегда, спешит. Как и всегда у нее конфликт с Лялькой, они беспощадно воспитывают друг друга.

— Сейчас же брось эту пакость!

Но Лялька не хочет расстаться с какой-то баночкой, поднятой во дворе.

— Я кому сказала, оставь! Брось!

Лялька молчит. У Зорина сжимается сердце, когда Тоня одной рукой хватает девочку за руку, другой сильно бьет Ляльку по попке. Лялька плачет.

— Дрянь такая, ты будешь меня слушать, ты будешь меня слушать?

— Мама, мама...— Лялька уже захлебывается.— Мама, не бей меня, мама, не надо...

— Ты будешь меня слушать? — новая серия шлепков слышна даже в будке, и Зорин скрипит зубами, он едва сдерживает себя, чтобы не выбежать.

— Ты будешь слушать?

— Лядно, лядно, мама. Мама! Мамочка...

О, этот детский плач, этот родимый голосенко: «Лядно, лядно, мама...» Дочкины слезы на расстоянии жгут Зорина, у него перехватывает горло от жалости к этому маленькому беззащитному

существу. Он удивлен, раздавлен бессмысленным избиением этого существа, его дочки. Омерзительная ненависть к бывшей жене, к этой жестокой женщине, тяжко давит в глазах, сейчас он не выдержит, выбежит к ним и сам надает ей пощечин...

— Дрянь такая! — Тоня почти отталкивает плачущую девочку в руки суетящейся около бабушки. И уходит, не оборачиваясь, исчезает в проулке.

«Нет, она не любит ребенка,— мелькает в горячей зоринской голове.— Не любит... Она не взбесилась бы так, если б любила...»

Сжимая челюсти, он выходит из будки, идет к песочнице. Бабушка успокаивает девочку и не видит его, он останавливается в трех шагах и забывает про все на свете. Все, все исчезает и все забыто: и это общежитие с вечным гулом, и ежедневные воробьевские планерки. И усталость, и горечь. Он счастлив.

Девочка, видимо почуяв отца, замечает Зорина быстрей бабушки; не зная, что делать, глядит на него: «Папа, папа»,— выдыхает она сквозь всхлипывание и ступает ему навстречу. Он хватает ее на руки.

«Эх, Ляльчонок, милый ты мой Ляльчонок; что же, что нам делать с тобой, а, доча? Ну, не плачь... Вот тебе новый заяц. Синий? Да, бывают, конечно, бывают даже синие зайцы. Нам не надо реветь, Ляльчонок».

Гримаса боли, отчаяния и недоумения, чередуясь с улыбкой радости, все еще не сходит с ее маленького заплаканного личика. Он достает платок и, не сдерживая собственных слез, вытирает ее, потом успевает благодарно, одной рукой прижать к себе костлявое плечико бабушки. «Наплевать, что пенсионеры глядят, на все наплевать. Правда, Лялька?»

Ее тельце все еще содрогается.

— Папа, ты больше никуда не уйдешь? — медленно успокаиваясь, говорит девочка. И он вновь крепко прижимает к себе этот единственно верный, такой беззащитный родимый комочек жизни.

ДНЕВНИК НАРКОЛОГА

Выбранные дни и места

26 июля. Позавчера я переехал из гостиницы на квартиру. В общем-то это не квартира, а трехкомнатное общежитие, поскольку соседи оба холостяки или — как их там? — соломенные вдовцы. Словом, жертвы семейного прогресса. Вчера один из них пригласил меня в «камеру», как он называет свою комнату. Второй (они оба работают в каком-то КБ) был уже там, не хватало только меня. На столе красовались коньяк и шампанское, а в углу за тумбочкой

скромно ждала своей неминуемой очереди бутылка с водкой. Трое девчонок в своих немыслимых мини сидели в комнате: у них был испуганно-дерзкий вид.

Все же какая предусмотрительность! Мои соседи позаботились обо мне, пригласив трех. Девушки скрывали свою растерянность за внешней развязностью. Но притворная развязность ничем не лучше подлинной. Я долго своими силами разбирался, которая из них предназначена мне, но так и не разобрался. В потолок полетела пробка. Я мимоходом спросил, по какому случаю торжество. Сосед сказал, что это просто очередной слет дружных и умелых. Одна из девушек заявила, что устраиваются проводы белых ночей. Выяснилось, однако, что сегодня был День работников торговли.

Никогда не предполагал, что существует еще и такой!

Когда началось обсуждение кардинальной проблемы — «бывает ли любовь с первого взгляда», стало невыносимо скучно. Я покинул компанию, сославшись на то, что вызван к телефону. Мои расчеты на скорый финал не оправдались. По-видимому, разведенные специалисты ведут отнюдь не монашеский образ жизни. Я уснул в третьем часу под гром кубинских мелодий.

28 июля. Сегодня купил диван-кровать, журнальный столик и кресло. Для письменного стола не осталось ни денег, ни жизненного пространства. Но все равно приятно. Впервые в жизни у меня персональное жилье. Могу закрыться, никого не пускать, пусть кто угодно ругает меня индивидуалистом. Можно вполне избавиться если уж не от слуховых, то, по крайней мере, от зрительных раздражений.

Это уже кое-что.

Правда, если приедет погостить мама, ей негде будет постлать. Перед С. тем более похвастаться нечем. Но ведь было ясно и так, что она-то никогда не поедет сюда. Что ж, я смотрю на это почти спокойно. С. любит меня чуть меньше, чем столицу всего прогрессивного человечества.

Почему мне снова взбрело в голову вести дневник? Не знаю. Может быть, это рецидив юношеской болезни.

Когда-то, еще в девятом классе, я записывал в тетрадь все свои спортивные и, как тогда казалось, потрясающие любовные приключения. Теперь-то мне ясно, что мама изучала мои записи намного прилежней, чем я их сочинял. Тетрадь периодически исчезала из моей спортивной сумки. Бывало, я искал свой дневник во дворе и на стадионе, спрашивал даже у трамвайной кондукторши. Однажды, когда я окончательно убедился, что потерял дневник, он вдруг появился на моей полке в соседстве с книгами.

От стыда я не знал, куда деться, порвал тетрадь и выбросил обрывки в мусоропровод. Мама неожиданно проявила желание познакомиться с моим дружком. Раньше она его терпеть не могла. Только теперь я понял, что она искала другие источники информации: ее тревожил переходный возраст.

И вот я снова веду дневник. Эту нелепую затею я оправдываю профессиональной необходимостью. Но это тоже хитрость Полишинеля! Вероятно, сердце каждого из нас точит ничем не утоляемая жажда исповедания. Не потому ли мои пациенты в состоянии эйфории почти всегда так болтливы и фамильярны? По-видимому, тут есть даже корреляция с алкогольной болезнью.

1 августа. Многие люди гордятся своими профессиями. Не понимаю этого свойства. Можно и, вероятно, нужно уважать свою профессию, но что значит гордиться ею?

Вообще гордиться можно, по-моему, только кем-то, а не чем-то. Я, например, по многим причинам горжусь своей матерью. Но что получилось бы, если б я начал гордиться своей профессией, то есть собой?

К этим размышлениям привело меня перечитывание предыдущих моих заметок. В них слишком много от лукавого, как говорили мы в недавнем прошлом,— эдакое самолюбование, разглядывание самого себя как бы со стороны.

Обилие специальных медицинских выражений впервые заставило меня покраснеть. Ведь мог же бы я не называть опьянение эйфорией! Так нет же. И вместо того, чтобы сказать — взаимосвязь, я говорю: корреляция.

Конечно, в современной медицине трудно обойтись совсем без греческих и латинских терминов. (В диагностике и фармакологии это было бы даже вредным.) Но многие мои коллеги не только по-пижонски смакуют латынь, но и прикрывают этой терминологией свою профессиональную несостоятельность. Такой пижон в белом халате даже обычную повышенную потливость называет гипергидрозом. Больной, услышав это звучно-таинственное слово, потеет еще больше. И... с почтением пучит глаза на ученого эскулапа. В современной медицине почему-то исчезла взаимная откровенность между лечащим и больным. Они словно противопоставлены друг другу. Оба зачастую хитрят, то и дело ожидая взаимных подвохов, и выигрывает от этого только болезнь. Или я ошибочно расширяю особенности своей работы на всю медицину? Может быть. Но мне хорошо известно, что многие терапевты по своему психологическому поведению с больными мало чем отличаются от психиатров. Болезнь для них тождественна личности. Вернее, личность вообще игнорируется. Но, с другой стороны, попробуй-ка не игнорировать личность, если за смену врач принимает три — четыре десятка пациентов!

Другая беда нынешней медицины, как мне кажется, в том, что мы слишком активно дифференцируемся. Все и вся специализируется почем зря. Иногда больного пасуют друг другу, как волейбольный мяч.

Моя, для многих странная, профессия также рождена временем. Еще во времена доктора Чехова ее практически не существовало. Но что же это за люди, ради которых я шестнадцать

лет, то есть две трети своей жизни, протирал штаны? Вот один из субъектов этой категории. Делаю почти дословную выписку из медицинской карточки.

Уволен с работы, в больнице уже не впервые. В анамнезе типичная бытовая картина средней городской семьи. Наследственность не отягощена, но атмосфера бытового пьянства сопутствовала с раннего детства. Физически развит, женат, но семейная жизнь складывалась, по его словам, неудачно. Граница между бытовым пьянством и похмельным синдромом (по Жислину) сформировалась два года назад. Последнее время болезнь приняла запойный характер. Соматическое состояние можно было назвать удовлетворительным, если б не увеличение печени. Невропатолог обнаружил полиневрит. Больной пассивен, угрюм, положительные эмоции отсутствуют. Признать себя больным не желает, пьянство оправдывает «сложностью» своего характера. Лживость, легкомыслие, беспечность и малодушие дополняются полным отсутствием способности к самоанализу и критике своего «я». Виноваты все, только не он...

5 августа. Сейчас ловлю себя на мысли о том, что мне смешно. Вернее — стыдно. Стыдно за сегодняшнюю пятиминутку. Вначале говорил главный. Все мы важно молчали. Потом наметилась чуть ли не теоретическая дискуссия, она закончилась язвительным и не очень остроумным спором из-за какого-то пустяка. Затем невропатолог уличил терапевта в необъективности, а В. ловко подковырнул главного удачно сказанной двусмысленностью. Тот, в свою очередь, намекнул на демагогию некоторых товарищей. И вдруг, когда завхоз случайно сказал об окурках, все тотчас объединились под лозунгом: «Долой нерадивых уборщиц!» Стыдно, но я в этот момент тоже почувствовал себя членом дружного коллектива. Так и хотелость вставить свое слово насчет лени и дерзости младшего медперсонала. Неужели так примитивна природа общественной психологии? Самое занятное в том, что в больнице много врачей, есть всевозможные техники, даже массажистка имеется, а уборщиц нет. Иногда лестничные пролеты по очереди подметают медсестры.

Сегодня после обхода вновь просматривал истории болезней. Шестьдесят две души ждут от меня немедленной помощи. Но я могу не больше того, что могу. Большая часть больных — мужчины от сорока до пятидесяти. Примерно десять процентов — моложе сорока, около восьми процентов от общего числа — женщины. Но самое примечательное то, что, по статистике, женский процент выявленных в области алкоголиков повышается из года в год. Доктор В., как и всегда, оттачивает на этом факте свое остроумие. Что это? Способ сохранить уравновешенность или обычный цинизм? Не может же существовать в одном человеке и то, и другое вместе. В. работает над диссертацией, у которой такое длинное название, что я не сумел запомнить. Что-то по поводу

«психических свойств преморбидной личности и их роли в возникновении и течении делирия». Насколько я понял, основная мысль диссертации в том, что не алкоголизм предшествует психическим отклонениям от нормы, а наоборот — психические отклонения предшествуют алкоголизму. Весьма опасная и ложная по своей сути мысль! По логике В., алкоголизм не болезнь, а врожденное свойство неполноценной личности. Ассистентка В.— практикантка из Бехтеревского института — не признает чулок, видимо, потому, что на ее стройных ногах ни единого волоска. Держится так, словно ей заранее и давно известны все тайны моей подкорки.

8 августа. Поступил новый больной. Это «поступил» звучит, пожалуй, несколько чопорно, поскольку его привезли на милицейской машине из гормедвытрезвителя. По словам работников этого заведения, больной отказался раздеться, а когда его раздели и силой «зафиксировали» на койке, начал бить головой о стену, выражая протест. После рауш-наркоза его доставили к нам. В. тотчас принял его под свою опеку. Но во второй половине дня на имя заведующего наркологическим отделением (т. е. на мое) поступило направление участкового врача. Оно было основано на ходатайстве жены больного и общественности в лице домоуправления. К направлению было также пришпилено решение административной комиссии по поводу «недостойного поведения в быту прораба стройучастка Зорина Константина Платоновича».

Я вполне мог отказаться от больного, поскольку на отделении и так имеется десять человек «сверх штата». Но меня насторожила готовность В. завладеть пациентом. Я не очень-то доверяю дамам из медвытрезвителя. Между тем директива Минздрава № 04—14 не была в этом случае выполнена. В. не имел права единолично решать, принадлежит ли пациент к категории душевнобольных. Когда я сказал об этом, В. секунду с прищуром смотрел на меня, потом улыбнулся и произнес: «Пожалуйста! Кто бы возражал... С удовольствием отдам его вам». И добавил, уже уходя: «Через три дня вы попросите меня взять его обратно». Я сказал: «Это решит консилиум».— «Никогда не думал, что вы такой формалист,— сказал он.— Консилиум решит то же самое».— «Я в этом не уверен»,— сказал я. «Спорим?» Обвиняя себя в легкомыслии, я сунул руку в его мягкую, но какую-то холодно-безжизненную ладонь. Он ушел, а я вызвал старшую сестру. По ее словам, больной Зорин вел себя очень странно. Ехидничал, на вопросы не отвечал. Утром отказался принимать пищу, все время просит вернуть ему одежду и документы. Требует вызвать на отделение главврача.

9 августа. Сегодня после обхода я пригласил к себе больного Зорина и попросил старшую сестру оставить нас вдвоем. Конечно же, я совершил ошибку. Надо было хотя бы придумать предлог, чтобы отослать ее. Так мы лишаем себя союзников: жен-

щины на работе никому не прощают даже таких ерундовых случаев.

Я сообразил это уже после того, как она, обиженно шевельнув плечами, вышла из кабинета.

Передо мной сидел плотный рыжеватый человек среднего роста и средних лет. Вначале лицо его и фигура показались мне совершенно бесцветными. Но чем больше я приглядывался к этому лицу, тем заметнее становилась его выразительность, по-видимому, угнетенная недавним приемом алкоголя. Я сказал больному, кто я такой. И тотчас сделал вторую за это утро непростительную ошибку, обратившись к нему со словом «больной». Он возмущенно вскочил. Впрочем, наш диалог стоит записать полностью.

Он. Я не больной.

Я. Вы считаете себя здоровым?

Он. Абсолютно.

Я. Очень хорошо.

Он. Я требую вернуть мне одежду, документы и отпустить.

Я. Мы так и сделаем.

Он. Когда?

Я. Видите ли, Константин Платонович... А что, вы даже не хотите поговорить со мной?

Он. Нет, не хочу.

Я. Почему?

Он. Я повторяю, доктор, я совершенно здоров.

Я. Как же вы попали в больницу?

Он. Это надо спросить у вас!

Я. Вот здесь есть направление...

Он. Позвольте мне прочитать.

Я. Нет...

Он. Почему?

Я. Ну как вам сказать?.. Вообще не положено.

Я закусил губу, не зная, что говорить.

. . . .

Я. Позвольте, вы ведь сами, кажется, строитель?

Он. Строитель.

Я. Так почему вы, строители, несколько лет строите нам новый корпус?

Он. Все верно, этот объект у нас заморожен.

Я. Ну вот!

Он. Значит, во всем виноват я! И в том, что к вам угодил, и в том, что не построил для себя больничный корпус!

Я. Выходит, так.

Он. Бросьте, доктор!

Я. Хорошо, мы вас выпишем. Но вы хоть придите вначале в себя.

Он. Приду в себя. Дома.

Я. Неужели вы не хотите как следует обследоваться?

Он. Нет. У вас не хочу.

Я. Мы завтра же вас выпишем. Не имеем права держать, если не хотите лечиться.

Он. Вы действительно считаете, что я алкоголик?

Когда я обследовал его зрачок и глазное яблоко и честно сказал «да», он вдруг усмехнулся. Я молчал, он тоже. Вдруг он встал и начал ходить по моему кабинету. Затем извинился и сел. Вновь усмехнулся.

Он. Вы уверены? Вы можете это доказать?

Я. Конечно.

Он. Что же для этого нужно?

Я. Остаться у нас на несколько дней. Позволить вас обследовать.

Он. Я не хочу быть подопытным кроликом. Тем более у вас, в вашей больнице! Понимаете?

Я. Понимаю. Но как же я вам докажу, что вы больны? Покажемся специалистам, сделаем анализы.

Он. Что ж, анализируйте. Но я требую выписать меня! Сразу же! Если даже я алкоголик! То есть душевнобольной — с вашей точки зрения.

Я. Нет, я не считаю алкоголизм душевной болезнью.

Я пообещал, что выпишем его сразу после обследования. Предложил ему сигарету. Оказывается, он курит только «Беломор», причем ленинградской фабрики Урицкого. Я проводил его. Санитар пропустил больного на отделение и закрыл дверь. Ключ дважды повернулся в замке. Во мне же слегка шевельнулось сомнение в правильности диагноза. Но у него же ясно выраженный тремор, движения плохо координируются! Многие признаки второй стадии заметны даже без специального осмотра. Неужели я ошибаюсь?

12 августа. Я не знаю, можно ли с полным правом называть болезнью обычную ятрогению. Человеку в современном мире свойственно бояться врача и всего того, что связано с больницей. Атмосфера неустойчивости и страх за собственное здоровье обычно проецируются на личность врача. Врачу необходимо быть другом или хотя бы близким знакомым пациента, чтобы тот на сто процентов доверял ему. Но это утопия. Врач не может быть другом каждого, кто пришел на прием. Почему я, в ущерб остальным, должен так долго возиться, например, с этим же Зориным?

Как я и предполагал, его соматическое состояние отнюдь не блещет. Странно, что люди даже с высшим образованием совершенно невежественны в медицинских вопросах. Они не понимают такой простой истины: алкоголь — это яд и, как любой другой яд, вызывает отравление. У Зорина увеличена печень, заметны значительные изменения в сердце, поражены суставы. Когда я сказал ему, что все это результат длительной интоксикации алкоголем, он скептически хмыкнул. Мне пришлось прочесть ему заключение терапевта и невропатолога. Но это не подейство-

вало. Тогда я растолковал значение зубцов на электрокардиограмме. Он был удручен. Наконец-то ему пришлось все же задуматься. Но когда я спросил о его толерантности к алкоголю, то есть сколько он может выпить, он вновь усмехнулся. С большим трудом мне удалось убедить его в важности всего этого для здоровья и лечения. Мы разговорились. Кажется, он был достаточно откровенен. От работы я осторожно приблизил разговор к семье, к домашним условиям. Синдром ревности был как на ладони! Зорин враз возбудился, заговорил оживленнее, встал и начал ходить.

Он говорил о своей жизни как о цепи последовательных семейных неурядиц и неудач. Насколько я понял, он относится ко всему этому с мрачной иронией. Вот примерно его заключительный монолог.

«Вы говорите о привыкании... Я не защищаю дурных привычек. Но ведь еще Маяковский сказал, что лучше уж от водки умереть, чем от скуки. Вы не согласны с пролетарским поэтом? Нет, дело не только в скуке. Благополучные обыватели в кабак не пойдут... Они твердолобы и жилисты, они умеют жить. Привыкли сначала к атомной, потом и к водородной бомбе. Впрочем, привыкли все, и пьющие и непьющие... Сколько их скопилось на складах? Этих самых штучек? Наверное, хватило бы и четверти того, что уже есть. Чтобы самоуничтожиться за два-три часа борьбы. Живем! Как будто так и надо! Но еще сорок лет назад мы ужаснулись бы, ежели бы узнали, что нас ждет. Такая жизнь показалась бы нам диким кошмаром. А вот же привыкли! Сидим на водородной бомбе и покуриваем как ни в чем не бывало. Но ежели к водородной бомбе можно привыкнуть, то почему бы не привыкнуть, ну, например, к людоедству? Говорят, что где-то уже съели какого-то дипломата...»

В этот момент вошла ассистентка. Он спохватился и покраснел, видимо стыдясь собственной разговорчивости. Значит, он еще не утерял способности к самоанализу. Однако мысль о взаимосвязи пьянства и социально-бытового дискомфорта ему не приходит пока в голову. Он по-прежнему считает себя здоровым, а свои регулярные выпивки — эпизодическими. Как же растолковать ему, что все это ошибка? Я всегда поражаюсь коварству и удручающей жизнестойкости (если можно так выразиться) алкогольной болезни. Она так искусно маскируется, что человек болеет ею, не подозревая того, что болеет.

Она, эта болезнь, как бы совершенно лишена тщеславия и настолько скромна (по отношению к ее носителю, разумеется), что находится всегда в тени — не хочет, чтобы о ней знали и говорили. Коварство ее в том, что она ничем не обнаруживает себя и даже внушает индивидууму уверенность (вернее, самоуверенность) в том, что он совершенно здоров. Она лишает человека прежде всего возможности самокритики и объективного самоанализа. А когда человек все-таки осознает опасность (что

само по себе бывает далеко не с каждым), становится поздно: личность разрушена. Разрушена физически и духовно.

Ассистентка торчала в кабинете до конца разговора, затем спокойно попросила у меня сигарету.

13 августа. Вчера у соседей состоялся очередной слет дружных и умелых. В ответ на приглашение я не сдержался и наговорил поучений. От недоумения они забыли закрыть рты, оба молчали. Я ушел, злясь на себя. Было ужасно стыдно. Не превращаюсь ли я со своей идеей отрезвления в ханжу, резонера и словоблуда?

16 августа. Позавчера я позвонил на работу Зорина. Начальник стройуправления Кузнецов грубо и бесцеремонно расхохотался, когда я сказал ему, что Зорина необходимо лечить от алкоголизма. Он нагло потребовал немедленной выписки прораба и пригрозил, что будет жаловаться в горком. Я положил трубку. Мой звонок на работу жены также ничего не дал. На мое приглашение посетить больницу она, после краткого замешательства, ответила отказом. Оправдывается занятостью.

17 августа. Сегодня снова поспорил с В. Он настолько гениален, что отрицает терапевтический прием Роджерса. Создание условий для монолога? Чушь! Приобретение собственного мотива деятельности? Утопия. Самостоятельная оценка больным критической ситуации? Ерунда и маниловщина!

По-моему, он не читал Гоголя, потому что употребил слово «маниловщина» совсем не к месту.

Несмотря на прямолинейность и схоластический способ мышления, В. какой-то неуловимый. Я напомнил ему опыт с котенком и молоком. Котенок не будет есть, если его тыкать носом в блюдечко. «Будет! — разорялся В.— Захочется жрать, он будет жрать!»

Он далеко пойдет! В., разумеется, а не этот пресловутый котенок...

В. прочно и, видимо, навсегда убежден, что человечество надо учить, иначе оно сплошь и тотчас станет невежественным. Тащить за уши вперед, иначе оно не сдвинется с места.

Я спросил, что он станет делать, если человечество все-таки не потребуется ни учить, ни тащить за уши?

Он недоуменно посмотрел на меня. Такой ситуации он для себя, по-видимому, не допускает.

Хотел ли бы я иметь такую уверенность в собственной правоте?

Не знаю... Почему-то мне кажется, что это было бы ужасно скучно.

18 августа. То, что сегодня произошло, я запомню надолго. Все началось с моего опоздания на работу. Я был вызван в

военкомат по вопросам учета и явился в диспансер на три часа позже обычного. Старшая сестра с каким-то странным удовольствием доложила, что больного Зорина только что обследовал доктор В. и больной снова ведет себя неприлично. Я тут же прошел в палату. Зорина там не было. Он стоял у окна в туалете, нервно курил, и, когда обернулся ко мне, я поразился его бледности. Мое «здравствуйте» прозвучало здесь совершенно нелепо. Он не ответил. Какой-то шизофреник сосредоточенно разглядывал стенку, бормоча одному ему понятные фразы... С полминуты я не знал, что делать. Зорин молчал. Я вернулся к себе. От записи В. в истории болезни я чуть не взбесился: оказывается, он только что брал у Зорина тесты.

Я с возмущением перечитал запись:

«...на фоне ясно выраженной диссимуляции прослеживаются шперрунг и персеверация... Факторы, подтверждающие проявление деменции... Резидуальный бред и суицидальная вспышка, наблюдавшиеся в вытрезвителе, а также персекуторный бред во время госпитализации...»

Черт побери! Если и есть бред, то он в этой бумаге! Я сделал усилие, чтобы успокоиться.

«А может, В. не так уж и неправ, как тебе кажется? — подумалось мне.— Не спеши, вот что прежде всего». Я пошел к В.

Он молча кивнул на стул.

В тесном кабинете напротив него сидел больной, за плечами которого стоял санитар. Вероятно, пациент только что поступил в больницу. Ассистентка что-то записывала. «Какая у вас любимая песня?» — спросил В. «Пути-дороги»,— испуганно ответил больной. «Вы помните, кто композитор?» — «Нет».

Я вышел, подумав, что тоже не помню, кто композитор. Присутствовать при этом допросе мне не хотелось. Наконец, санитар увез больного в палату. Я вошел к В. и с ходу спросил, является ли шперрунг признаком психической патологии. «Видишь ли,— начал он (мы были уже на «ты»),— видишь, если рассматривать проблему со стороны синдрома Корсакова и в связи с преморбидными свойствами...»

Я перебил его: «А откуда вы взяли у Зорина суицидальную вспышку?»

Ассистентка посмотрела на меня с недоумением, переходящим в сдержанное негодование. «Как это откуда? — сказала она.— Разве вы не читали направление?» — «Я говорю не с вами!» — сгрубил я и тут же покаялся. Она посмотрела на меня с прищуром: «Может быть, мне вообще выйти?» — «Может быть...» — Меня понесло...

Но выйти она и не подумала. Она даже не обиделась. По крайней мере мне так показалось. Они в два голоса, по очереди, начали растолковывать мне, что такое современный взгляд на врожденную патологию. Впервые в жизни я убедился, как трудно вести диалог с тыла и фронта. Сейчас, когда я вспоминаю все

сегодняшние события, это для меня совершенно ясно. Тогда же мне казалось, что я кладу их на обе лопатки. Наш спор закончился, как мне думалось, моей победой — я потребовал сразу же собрать консилиум и с участием главного обследовать Зорина. В. согласился. Но какая же, к черту, это победа? Вместо того чтобы немедленно Зорина выписать, я потребовал его обследовать. Тем самым как бы подтвердил правоту В., признал основательность его домыслов. Так само твое вступление в спровоцированный спор уже в какой-то мере выгодно демагогу...

После обеда, когда в кабинете собрались главный и невропатолог, санитар привел из палаты Зорина. Я решил подбодрить его и подмигнул ему. И вдруг меня словно ошпарили кипятком. Зорин посмотрел на меня с такой ухмылкой, так презрительно сложились его губы, что я не выдержал и отвернулся. «Кто-то из нас и впрямь чокнулся!» — сказал Зорин. Голос его дрожал. Надо было немедля прекратить обследование и, если он не хочет лечиться, тотчас же выписать этого алкоголика! Но было уже поздно.

В. начал обследование в традиционном ключе. (Невропатолог сказал, что ему нечего добавить к тому, что он записал в истории болезни раньше.) Главный не вмешивался. «Вам снилась когда-нибудь атомная война? — сыпал вопросами В.— Да? Нет? Отвечайте!» — «Снилась! — почти выкрикнул Зорин и вдруг вскочил.— А вам?» В. встал, чтобы обследовать зрачки Зорина. Я не успел (или не захотел) вмешаться. В. начал давить на глазное яблоко, Зорин вдруг побелел, крылья его носа шевельнулись, он отступил шаг назад. В. продолжал проверять его на рефлекс Ашнера.

«Прочь!» — выкрикнул вдруг Зорин и сильно ударил В. по руке.

Зорина, вырывающегося из объятий санитара, увели, а я впервые в жизни почувствовал себя предателем...

Главный даже не стал меня слушать. В. скромно молчал, что-то записывая с фальшиво-усталым видом.

20 августа. В. продолжает свои экспериментальные исследования над моими алкоголиками. Ах, если б хоть однажды ему самому испытать, что такое ПЭГ! Мы лишь здороваемся с ним. Сегодня я пошел к главному и полтора часа доказывал ему, что аффект во время зоринского обследования был не патологическим, а физиологическим. Объяснял поведение больного высокой сензитивностью. Главный вызвал В., но с В. я не стал говорить, и главный развел руками. Я тут же попросил у него лист бумаги. У всех на глазах написал заявление об увольнении и вышел. По-видимому, это выглядело весьма театрально.

25 августа. Позавчера главный подписал мое заявление. Сегодня я купил билет на московский ночной поезд.

19 декабря. Только что вернулся домой из пятидневной командировки. Я вновь побывал там, где так неудачно началась моя наркологическая деятельность. Город встретил меня снегом, тишиной и... мороженым, которое поедается на двадцатиградусном морозе пассажирами пригородных поездов. В моей квартире продолжаются слеты «веселых и находчивых». Областная психиатрическая больница функционирует без меня не хуже. В. защитил диссертацию. Невропатолог собирается уходить на пенсию. Главный встретил меня чуть ли не с поцелуями, но я притворился спешащим, и разговора не состоялось. Впрочем, я действительно торопился. Мне необходимо было побывать в одной из районных больниц. Для поездки облздрав выделил мне машину. Вся эта командировка была интересна лишь в том смысле, что я неожиданно встретил... Зорина. Я уже уезжал в Москву. Он сам окликнул меня. Мы поздоровались. Его рука была сухая и твердая. Я уловил в его глазах огонек легкой насмешки, который сразу исчез. Зорин был в серой пушистой кроличьей шапке, в дубленом черном полушубке. Такие дубленки выдаются в северных спецэкспедициях. Оказывается, он ехал в отпуск, к себе на родину, в деревню. У нас обоих было достаточно времени. Мне хотелось есть, и я не знал, что делать. Я не решался идти с ним в ресторан. Но он сам предложил зайти туда...

Мы разделись и устроились за двухместным столом.

Я испытывал не только профессиональное, но и чисто человеческое любопытство. Сейчас попытаюсь полностью восстановить в памяти наш разговор.

Он. Выпьем? За нашу встречу...

Я. Не пью, Константин Платонович.

Он. Даже пиво?

Я. Даже пиво. Впрочем, пиво иногда пью.

Он. Что ж, выпьем пива.

Я вновь уловил легкую, добродушную насмешку в его голосе, в блеске глаз и манере почесывать за ухом. Я едва сдерживал раздражение. Один вид пивных бутылок вызывал во мне желание встать и уйти. Я не хотел присутствовать при этом омерзительном сеансе превращения человека в скотину.

Было стыдно ощущать себя и виновником очередного запоя. Зорин, словно почуяв мои мысли, сказал: «Не бойтесь, я не пьяница».

Я. К сожалению, так говорят все. Когда вас выписали?

Он. Меня не выписали. Я от них сбежал. Почти сразу после вашего увольнения...

Я. Мне хочется попросить у вас извинения.

Он. Да ну, что вы!

Я. Не надо?

Он. Ну, извинитесь, если вам будет лучше от этого. Но я-то все понимаю.

Я. Что?

Он. То, что все произошло по вашей неопытности. Вы действовали методом исключения. Вы и тот врач...

Я. Вы считаете, что мой диагноз был неправильным?

Он. Конечно. Вы исходили из самого худшего...

Я. Нет. Я исходил из объективных данных.

Он. Может быть. Но по неопытности вы поменяли местами причину и следствие.

Он был прав. Он отождествлял меня с В. и был прав. Откуда ему знать, кто такой В.? И я и В.— оба были в белых халатах. Я никогда не сомневался в отсутствии у Зорина психической патологии. Но я был убежден, что он больной. Был? Что значит — «был»? Я убежден в этом и сейчас... Но он, Зорин, в чем-то прав. Пиво пьет перед супом. Я глотнул тоже, пиво оказалось резким, как свежая газировка.

Мы понемногу разговорились, он как бы не замечал моего напряжения и настороженности и все увлеченнее говорил о своей работе, о семье и о городе. Его слова звучали примерно так:

«Кто нынче преуспевает? Не глотает ни валидола, ни валерьянки? Перестраховщик. Да, да, самый банальный перестраховщик, что-то такое серое, среднее. И, я бы сказал, жалкое. Этот тип проникает везде. А плодится от бюрократизма, как плесень от сырости. Пример? Пожалуйста. Досок на опалубку требуется два кубометра, он выпишет три. Лучше перебрать, чем недобрать. На всякий случай... Остаток бросить в грязи под дождем. Или вот драка в подъезде... Свист, милиция. В отделение волокут всех, хотя виноваты один-два. На всякий случай. Перестраховщик без бумажки не ударит палец о палец. Из-за какого-нибудь пустяка заставит тебя бегать по этажам и по кабинетам. А у вас в медицине? Разве не так? Найдут палочку у ребенка и всю семью, всю квартиру — в инфекционное. Весь подъезд. Человек двадцать не работают. И все из-за того, что какой-нибудь рассеянной дурочке померещилась палочка под микроскопом».

Я спросил его, можно ли говорить с ним откровенно, и только после этого решил вновь выявить его толерантность.

«Часто ли приходится... это самое?» — «Когда как».— «А все же?» — «В общем-то довольно часто».— «И сколько?»

Он не ответил и замолчал. Затем посмотрел на меня: «Вы женаты?» — «Нет»,— сказал я. Он вздохнул и улыбнулся: «Не женитесь».— «Почему?» — «А что станете делать, если жена будет строить глазки каждому встречному?» — «Уйду, не оглядываясь».— «Легко сказать — уйду. А если ребенок?» — «Попытался бы поговорить, воспитать».— «Вот я и воспитываю...» — «Ну и как?» — «Она считает это покушением на ее свободу, а меня домостроевцем».— «И что же тогда... делать?» — «Не знаю.— Он посмотрел на часы.— Терпеть, наверно...»

До моего поезда оставалось сорок минут. Зорин с веселым любопытством посмотрел на меня и спросил о наркологии, что это за наука и с чем ее едят. Я едва сдержался, чтобы не ответить

ему грубостью, встать и уйти. Вместо этого я назвал ему одну вполне официальную семизначную цифру. Затем добавил несколько статистических данных. Он вдруг осекся, затих, нахмурился. «Значит, алкоголизм — это все-таки болезнь?» — спросил он. «Все-таки...» — «Расскажите, что это у нее за стадии...» — «Очень грубо... Первая, это когда хочется выпить на так называемый посошок...» — «А вторая?» — «Вторая, когда человеку хочется опохмелиться».— «Ну, а третья?» — «Третья? — К нам уже прислушивались соседи.— Третья — это когда просят двадцать копеек на проезд».

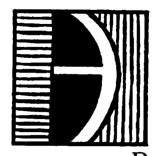
Он сказал: «Что же, значит, мне надо кончать. Это занятие... У меня уже первая стадия. Если попадет, то хочется еще...» — «А утром?» — «Пока нет».— «Хорошо, что так говорите».— «Как?» — «Пока...»

Он засмеялся. И спросил, внимательно вглядываясь в мою переносицу:

— Как вы думаете, с точки зрения того врача... Верующая старуха, которая ходит в церковь, молится... Сумасшедшая? Что бы ответил мне доктор? Если да, то мой самый близкий человек — теща — давно рехнулась...

Я сказал, что это он может спросить сам, непосредственно у В. Мы встали. Наши поезда отправлялись с интервалом всего в пять минут. Мы попрощались дружески. Один уехал на север, другой на юг.

ЧОК-ПОЛУЧОК



та история случилась со мной вскоре после того, как Голубев вступил в общество российских охотников. Помнится, третий аборт жены он отметил трехдневным гулом, но, не в пример мне, быстро опомнился и неожиданно вступил в это самое общество. Он купил двустволку. Рыжий гончак Джек появился намного позже, а тогда гордостью Голубева была эта пресловутая двустволка фирмы «Бюхард».

«Бюхард», если употребить это слово в мужском роде, был и правда очень изящен. Он сочетал в себе эдакую немецкую упорядоченность и английский лоск, французскую элегантность и скандинавскую сдержанность. Одновременно голубевская двустволка возбуждала мысль об испорченности и декадансе... Мне казалось, что за ее ворондеными узорами теплится тайный порок, а округлые формы цевья и ложа сами по себе выглядели как-то обнаженно и неприлично.

Голубев гордился своим «Бюхардом». Надо честно признать, Сашка был недурным охотником: он превосходно бил влет уток и рябчиков. А когда появилась гончая — никогда не возвращался

домой без зайца. Черт бы побрал его и с зайцами, и с этим дурацким «Бюхардом»!

Помню, стояли замечательные осенние дни. Безветренные, теплые, но уже с зимней свежинкой. Сашка был в очередном отпуске. Я взял отгул за три или четыре субботы, которые угробил во время сдачи объекта. У нас с Тоней как раз был мирный, относительно спокойный период. Надеясь, так сказать, на стабилизацию, я сам предложил ей эту поездку. Голубев обещал нам прекрасные виды, ночлег с вечерней ухой и другие, как он выразился, штучки-дрючки. У Тони также оказались свободные от работы дни. Лялька оставалась на попечении моей только что приехавшей тещи. Все складывалось как нельзя лучше.

В пятницу, в конце дня, мы с Голубевым взяли в прокате палатки и спальные мешки. Закупили продукты. Все было готово к отъезду. Но Голубев с «газиком», который должен был отвезти нас, запоздал, а Тоня неожиданно даже для себя вдруг ринулась в парикмахерскую.

Сцена была бесподобна...

Всю жизнь она стремилась почему-то к этим жутким кудрям, я же почему-то просто не переваривал их. До замужества она еще старалась как-то учитывать это, в общем-то, глупое обстоятельство и носила прямую прическу. (Я действительно любил ее больше с такой, простой прической, когда волосы просто волосы, а не какие-то завитушки.) Но после нашей жинитьбы она вновь начала завиваться. Меня раздражали все эти повсюду валявшиеся бигуди и тряпочки, при помощи которых моя жена ежедневно придавала своей голове нечто кукольное, даже овечье. Мне становилось жалко Тоню.

Меня всегда оскорбляла эта жалость. Мне хотелось видеть свою жену достойной отнюдь не жалости, но когда однажды я сказал ей об этом, она даже не удосужилась понять меня и тут же пошла в наступление:

— Лучше бы на себя поглядел! Второй год не можешь вставить себе зуб. Сидел бы!

При чем тут мой зуб? Мне стало еще больше жаль ее. Но этот крик и эта манера вечного противопоставления, это постоянное желание видеть во мне объект борьбы — действовали безотказно. Я завелся, как и всегда. С полуоборота. Началась очередная нелепая сцена: «А ты такая, а ты такой. А ты это, а ты то...» Уже через минуту я был взбешен и, чтобы не ударить ее, хлопнул дверью.

Вот тебе и жалость к жене! Она тотчас сменилась жалостью к себе и самой банальной злостью, если не сказать злобой. Наверное, в таких состояниях мы и делаем самые невероятные глупости, тогда-то мы, голубчики, и гибнем! Разумеется, если спасительное чувство юмора вовремя не подставит свой локоток. Но сколько же можно выезжать на юморе? В тот день все вновь повторялось. Я чувствовал это, но маховик раскручивался, и я не мог, вернее, почему-то не хотел его останавливать.

— Без кудрей ты выглядишь намного красивей...
— Понимал бы чего в прическах.
— Но в тебе-то я знаю толк, черт возьми! Ты нравишься мне без кудрей.
— Не кричи.
— И если мне не нравятся кудри, а ты их все равно вьешь, значит, ты хочешь нравиться кому-то другому, а не мне.
— Я хочу сама себе нравиться.
— А мне? Ты не хочешь нравиться мне?
— Если ты меня любишь, я должна нравиться тебе в любом виде.
— Я не люблю тебя с кудрями, понимаешь?
— Значит, совсем не любишь. И не любил.
— О, боже!
— Только и знаешь придираться...

Она мазала губы какой-то свинцово-фиолетовой дрянью. Я собрал в кулак все свое самообладание и сказал:
— Это может быть только у нас, русских. Ни одна, например, француженка не наденет на себя то, что не нравится мужу.

Она поглядела на меня и усмехнулась:
— Ты бывал в Париже? Да? Тогда ты должен знать, что ни один француз не обратил бы на такой пустяк никакого внимания. Они уважают женщин.
— Любая француженка не станет делать прическу, которая не нравится мужу! — Мой голос вновь независимо от меня стал громче.
— Любой француз не обратит на это ровно никакого внимания. Он не стал бы грубить, он просто не так воспитан!

...Не знаю, чем бы кончилась эта сказка про белого бычка, если б не Лялька. Держа куклу за левую ногу, она стояла перед нами. Слушала и глядела то на меня, то на мать, по очереди, когда кто говорил, вернее, кричал. В ясных глазенках копилось недоумение, страх и совсем взрослая горечь, я видел это ясно и четко. У меня сжалось сердце.
— Ну, хорошо, Тонь... Сколько тебе надо на парикмахерскую? Час? Полтора?
— Ты думаешь, мне хочется в парикмахерскую? После всего этого...
— Ну ладно,— я взял Ляльку на руки.

Жена сидела у зеркала, готовясь, видимо, заплакать, что бывало с ней очень редко. Она умела заставлять себя плакать в определенное время, так же как и прекращать это. Я давно заметил: она плачет только от злости или от ущемленного самолюбия. Другие эмоции у нее появляются теперь все реже и реже. Я знал, что она всерьез воспитывает в себе твердость и еще что-то, по ее мнению, необходимое женщине в наше время.

Мне стало снова смешно, я хотел что-то сострить по этому поводу, но Сашка уже сигналил во дворе. Я взял рюкзак с продуктами и свернутую палатку:

— Идем, Тонь!

Она не ответила, но позвала с кухни мою тещу, что было равносильно ее согласию ехать.

Я помахал Ляльке, схватил рюкзак и сбежал во двор. Голубевский «газик», сотрясаясь помятым капотом, пофыркивал у подъезда.

— Саш, а Саш? — я устроился сзади, где лежал чехол с «Бюхардом».— Что такое прогресс, ты знаешь?

— Знаю.— Сашка посигналил шоферу, который убежал за сигаретами.— Твоя жена едет?

— Да.

— А моя нет. Чем не прогресс? И вообще, прогресс — это когда женщины становятся все мужественнее.

— А мужчины женственнее?

Сашка ничего не ответил. Мы сидели минут двадцать, пока Тоня, переодетая в брюки, решительно не открыла дверцу. И мы двинулись на так называемую природу.

После трех часов езды мы съехали с асфальта и остановились. Сашка отпустил машину. Уже темнело, но мы еще километра два волокли свои рюкзаки по лесу. Наконец Голубев остановился.

— Здесь.— Он сбросил ношу с плеч.— Зорин идет рубить колья, Тоня разжигает костер.

Я осмотрелся. Красноватая не очень яркая луна безмолвно висела над широкой поймой реки. Справа от нас темной полосой спадала к реке гряда елового леса. Слева с высокого холма, на склоне которого мы сбросили рюкзаки, виднелось отлогое поле. Река едва ощущалась внизу в полусумраке. За нашей спиной в кустах проснулись и недовольно завозились дрозды. Лес и холмы под осенней луной были бесподобны, но по-настоящему я проникаюсь природой только на родине своего детства. (Я сделал это открытие намного позже.) Голубев рубил колья. Я посмотрел на Тоню: ее лицо показалось мне жестким и чуждым.

— Тонь, ты сможешь разжечь? — я подал ей спички, наломал ольхового сушняку и содрал со старой березы сухую берестинку.— Это как наши с тобой ссоры. Начинается всегда с маленького. Главное, зажечь спичку, а береста вспыхнет. Потом нужно лишь увеличить диаметр сухих веточек.

— Да?

«Черт бы побрал это ее «да?». Откуда оно взялось? Не зная, что говорить, она научилась этому «да», и я всегда злюсь, потому что на все можно подумать, преположить все, что угодно, услышь это дурацкое «да?».

— ...сухая береста горит даже под дождем, ты же в деревне росла.

— Возьми и зажги сам!

«Не надо было говорить о деревне, она терпеть не может даже

этого слова: «деревня». Она почему-то стесняется своего деревенского детства, все прошлое кажется ей отсталым и некультурным, у нее комплекс. Черт возьми, разве ты раньше не знал, что у нее комплекс и что ей вечно хочется выглядеть самой культурной, самой современной и модной! А что это, собственно, такое: культура, мода и современность?» Береста вспыхивает, и я кладу на нее конусом самые тонкие, самые сухие веточки. Когда они занимаются огнем, береста еще продолжает гореть. Я не спеша увеличиваю толщину своих дровец, они разгораются все увереннней, все жарче, и вот костерик уже начинает потрескивать. Теперь я пускаю в ход уже настоящие дрова.

Я взглянул на жену: она сидела на камне. Глаза ее грустно блеснули в свете костра. Я сел рядом, обнял ее за плечи и вдруг почувствовал, что она, как давно в молодости, легонько прижалась ко мне. Я сжал ее плечи. Она застегнула мой ворот:

— Костя... Ты не простудишься?

Я поцеловал ее холодное ухо. Ах черт возьми! Все точь-в-точь как с этим костром или с нашими ссорами! Крохотная, едва уловимая нежность отзовется в тебе вдесятеро, а там шире, дале, и вот уже как и не бывало диких скандалов, хлопанья дверью и ночлегов на раскладушке. Костер трещал и хлопал своим пламенем, словно флаг на ветру, хотя ветра не было. Луна скатывалась на горизонте. Мы натянули палатки, настлали втолстую веток и сена, которого притащили от колхозного стога. Голубев сложил поклажу в свою палатку, положил в карман два бутерброда и взял ружье. Я спросил, куда он собрался. Сашка сказал, что пойдет на озеро, чтобы не прозевать утиную зорю, и что вернется не раньше завтрашнего полудня.

— А это...самое. Не возьмешь? — я похлопал по рюкзаку.

— Там будет все. Суббота такой день, что на озере есть все. Выпейте без меня.

И Сашка исчез вместе со своим великолепным «Бюхардом».

Мы остались одни, лишь костер горел и трещал. Он то с шумом вскидывался, раздвигая ночную тьму, то, поддаваясь ей, сжимался и замирал. Наконец и он тихо сдался. Одни угли мерцали у нашей палатки. Но и те затухали. Кругом была ночь и тишина.

— Тонь...

Она долго не отзывалась. Но я-то знал, что она не спит и что она снова любит меня. Я бросил нераспечатанную бутылку в траву, вытащил из рюкзака термос с чаем и забрался к ней в палатку.

Рано утром я пробудился от необычайной тишины и какого-то тоже необычного праздничного ощущения.

«Она красива, моя Тонька... А я забыл, что ей надо изредка говорить об этом. Я же идиот, я всегда считал, что достаточно сказать об этом один раз. Один? Им надо твердить об этом каждый

месяц. Или хотя бы ежегодно. Это так же необходимо, как обязательная ежегодная рентгеноскопия... Стоп!» Почуяв, как вновь копится вчерашняя злость, я стал нарочно вспоминать то, что было у нас ночью.

Комар, проникший в палатку, приготовился сесть на лицо моей спящей жены, я бесшумно сцапал его и посмотрел на часы: было четверть шестого. Рассвет и осенняя свежесть перемещались за палаточной парусиной. Я долго разглядывал лицо Тони. Две неодинаковые вертикальные складки на ее лбу между бровями не исчезали даже во сне. Я почувствовал волнение и нежность, а она, видимо стараясь проснуться, вдруг улыбнулась, улыбнулась одной, правой половиной рта. Я подождал, пока сон ее вновь не окрепнет, затем расстегнул молнию своего спального мешка и, планируя каждое движение, тихо выбрался сначала из этого футляра, потом из палатки. Необжитый голубевский шатер, покрытый росой, стоял метрах в десяти от нашего, он показался мне жалким и неприкаянным.

Солнце уже сбиралось подняться над широким лесным простором. Я взял новый, еще не обожженный котел, купленный Сашкой в спортивном магазине. Сейчас внизу, прямо в холодной белой речке, думал я, сполосну котел и зачерпну воды. Впервые за все лето на душе было легко и спокойно. Я был снова счастлив. Снова самому, а не по необходимости, мне хотелось строить эти самые мосты, дома и трубопроводы. Опять, как и раньше, где-то чуть ли не в животе копилось радостное нетерпение. Я чувствовал собственную готовность придумывать новые строительные решения, которые сокращают денежные расходы, ускоряют выполнение плана и тэ дэ и тэ пэ.

Спускаясь к реке, я всей своей спиной ощущал нашу палатку, где так спокойно, так глубоко спала моя жена. Здесь в тумане угадывалась река. Туман быстро исчезал, словно от одного моего взгляда. Вершины берез и осин на высоком противоположном берегу осветились неожиданно ярким и ровным светом. Я замер от собственного, но, как мне казалось, окружающего меня восторга. Солнце всходило. Сколько лет я не видел его восхода? Да, я счастлив: впереди целый день и еще день в этой тишине, вдвоем с Тоней, с шелестом первого несмелого листопада, с прозрачностью этого воздуха, с этой грибной, лиственной и речной свежестью. И вдруг я вздрогнул, словно ошпаренный.

— Доброе утро! У вас не найдется спичек?

Сонная девица в широких расклешенных зеленых штанах, в замшевой, наверняка импортной куртке или кофте — черт их разберет! — стояла в кустах совсем близко. Она бесстыже разглядывала меня. Проходя мимо нее, я остановился и зажег ей спичку. Обнажив несвежий лифчик, она наклонилась, чтобы прикурить. Я отдал ей спички.

— Спасибо! — она улыбнулась.

— Не на чем.

Двигая плотно обтянутым задом, она пошла, не оглядываясь. Только сейчас я заметил чужую палатку. Она стояла за кустами на склоне, большая, кажется, трехместная, и вымпел с каким-то нелепым драконом, намалеванным красным по черному, висел рядом с ней на шесте...

Очарование солнечного осеннего утра и мое счастливое состояние сразу исчезли. Мне захотелось домой, в город. «Какой смысл! — Я вновь был прежним.— Теперь наверняка придется знакомиться. В палатке явно двое или трое еще. Откуда только они взялись, черт бы их побрал! Что значит откуда? Оттуда же, откуда и ты...» Я равнодушно зачерпнул воды, нехотя умылся, равнодушно поднялся на горку к нашему биваку.

Тоня спала. Я лихорадочно соображал, что делать. Сашка не появится раньше полудня. Самое простое и верное — это сняться с места и уйти на другое, но это была бы длинная песня. Я бы провозился с палатками часа три, не менее. Да и где бы нас стал искать Голубев? Все равно, я не хочу. Мне было смешно и досадно. Вспомнился чей-то рассказ или газетное сообщение о миграции сибирского соболя. Оказывается, для одной пары соболей необходим минимум таежной площади. Какое-то определенное число квадратных кэ мэ. Иначе соболь просто не может существовать. Оказывается, если в его владениях появятся новые особи, он либо уходит на свободную территорию, либо погибает.

Я представил картину: подобно соболю, я тащу свою жену через заросли, затем возвращаюсь, волоку пожитки, и редкие осенние птицы смолкают на моем бесславном пути. Ничего себе было бы зрелище! Лучше всего сложить рюкзаки, оставить Сашке записку и податься к автобусу. Тут и всего-то километра четыре. Но как отнесется к этому мама Тоня? Другая картина представилась мне не менее четко. Вначале жена удивленно вскинет свои роскошные брови, затем активно запротестует. Ей непонятно, почему вдруг понадобилось уезжать, она тут же обвинит меня в эгоизме, в нежелании с ней считаться.

— Зорин, ты здесь? — послышалось из палатки.

Она всегда называла меня Костей, но с некоторых пор начала звать по фамилии. Это всегда было признаком ее хорошего настроения. Я же сегодня не мог похвалиться хорошим настроением...

Надо было сматываться, я чувствовал, знал, что теперь уже ничего путного не получится. Я заранее представил всю эту пошловатую процедуру знакомства, общения и вечернего винопития. Но тут я разозлился взаправду, уже сам на себя: «К черту! Что за проблема? Из-за чего, собственно? Начхать нам на этих туристов, мы тоже приехали отдыхать».

Однако то, что произошло дальше, было так нелепо, так глупо, что мне не хочется вспоминать. Впрочем, я ни о чем не жалею...

Девица в зеленых штанах явилась к нам ровно через сорок минут. Она попросила соли, сказала затем, что зовут ее Алкой. Осмотрела наши палатки, мимоходом выведала, как зовут меня и мою жену, затем сообщила, что под утро она дико замерзла и что Вадька и Барс все еще спят без задних ног. Я молча навесил на треногу котел с водой.

— Костя, хотите, я принесу кофе? У нас растворимый, бразильский.

— Нет. Не хочу.

Хорошо, что еще не на «ты», подумалось мне. Я поправил огонь.

— Почему? — искренне удивилась она. Я чувствовал, что моя Тоня уже сдвигала брови, негодуя на мою невоспитанность. Я посмотрел и увидел это определенно и четко,— да, моя жена сдвинула брови. Девица же вдруг захлопала в ладоши и звонко на весь лес заявила:

— Тогда идем к нам!

Но загорелый, одичалого вида верзила в одних плавках и кедах, с полотенцем на боксерских плечах, уже выходил из кустов и двигался в нашу сторону. «Тэкс...— Я почему-то надел свою кепку, закурил.— Тэкс. Все это даже забавно. Вадька или этот... как его, Барс?» Я мельком взглянул на Тоню: в ее глазах медленно разгорались угольки любопытства. Потом она вдруг сделала суетливое движение: здесь, на природе, ей явно недоставало нашего трельяжа. «Если б она вот так же волновалась и перед моими появлениями»,— рассеянно мелькнуло в моей голове, но я не успел четко осмыслить все это, надо было снова знакомиться...

Он присел у костра, заслонив своим торсом чуть не четвертую часть горизонта, потирая колени, покашливая:

— Алка, ты чего мешаешь людям?

Меня удивил контраст: нежный, почти мальчишеский голос никак не вязался с мощной спортивной фигурой.

— Заглохни,— сказала Алка и закашляла, поперхнувшись дымом от сигареты. Ее громкий кашель, и зеленые брюки, и мужская поза тоже совершенно не соответствовали полудетскому, со следами вчерашней косметики, круглому помятому личику.

Тоня глядела на них в оба глаза, пока не вспомнила что еще не умывалась, и мне ничего не оставалось делать, как тоже включиться в очередную игру, смысл которой никогда, наверное, не дойдет до меня.

Почему же люди не хотят быть самими собою? Почему им вечно хочется выглядеть иначе, чем они есть на самом деле?

Пока Тоня ходила к реке, к нам присоединился второй Алкин спутник: это был вертлявый и какой-то суетливо-нахальный парень, его звали Борисом, фамилия Арсентьевский. Немного требовалось ума, чтобы догадаться, почему Алка называла его Барсом, но она заставила-таки выслушать ее объяснение.

Пока шло шумное утреннее чаепитие, пока разыгрывалась нелепая, занявшая полдня рыболовная сцена, мне пришлось быть невольным арбитром в соревновании по остроумию между Вадимом и Барсом. Было ясно, что выдрючивались они не столько передо мной или Алкой, сколько перед Тоней. Моя жена преображалась прямо на глазах...

Сашка пришел под вечер, когда мы уже перекочевали к соседям. Он посмотрел на дюжину наших жалких плотвичек, высыпал из рюкзака груду крупных окуней и лещей. Две уточки из породы чернядь и одна кряковая дополняли его рыбацкий трофей. Никто не хотел ощипывать и потрошить дичь, один Джек с готовностью тыкался своей мордой, выявляя нетерпение и желание помочь каждому из нас. Начались грандиозные приготовления к ухе. Тоня, Алка и Барс пошли к реке и весело принялись за картошку, а Вадим взял в руки Сашкину двустволку:

— «Бюхард»? Где вы его достали?

Сашка был явно польщен. Вадим вытащил из палатки и показал ему свою двустволку, тотчас же начался тот специфический разговор, который обосабливает собеседников, делая их своего рода заговорщиками. Опять игра... Я нехотя включился и в эту игру, но притворился, что ничего не понимаю в ружьях. Вадим с увлечением и азартно начал объяснять мне, что такое чок и что такое нечок, чем отличается правый ствол от левого, далеко ли и с какой силой летит пуля, если выстрелить из нечокового ствола. Голубев был пьян и не заметил моего подвоха. Он-то прекрасно знал, что все это было давно мне известно, что в детстве и юности я тоже бывал охотником. Правда, уток и рябчиков я уничтожал тогда вовсе не из спортивного интереса...

— Мальчишки, а кто пойдет за дровами? — послышался Алкин голос.

Я взял топор, перерубил пополам сухую длинную ель, оставшуюся от лесосплава. Отнес половинки к костру и положил на огонь. Получилась своеобразная нодья. Она могла теперь гореть до глубокой ночи, нужно было лишь надвигать чурки на костер.

— Как ты думаешь, с которым из них она спит? — спросил Сашка, когда я вернулся к нему.

— Кто? — Я был взбешен.

— Извини, старик... Ну, что ты заводишься?

— Если ты имеешь в виду Алку, то у нее, по-моему, двусменка.— Во мне все кипело от злости.

— А может, по скользящему графику? — не унимался этот идиот.

Я отвернулся. Тоня хлопотала вокруг ухи и этой самой Алки, обе женщины весело о чем-то болтали, они, видимо, хорошо понимали друг друга. «Неужели он ничего не чувствует? — думал я про Сашку.— Если он не уймется, я дам ему затрещину... Прямо по физиономии, да, да... Мерзавец! Ему и дела нет, что там, у костра, есть еще и моя жена, что эта болтовня отвратительна для меня».

Но Голубев был бы не Голубев без таких разговоров, да и я вдруг понял, что злюсь вовсе не на него. Меня оскорбляла фамильярность и близость моей жены с этой беспутной девчонкой, ночующей в одной палатке с двумя отнюдь не бесплотными существами. Я превосходно знаю тип этих послевоенных девчонок. Многие из них воспитаны так, что они не знают, что хорошо, а что плохо, не представляют, куда и как ступят в следующую минуту. Обычно романтичные и мечтательные до сентиментальности, они ни к чему путному не приучены, от них можно ждать все что угодно. Мораль для таких дурочек либо не существует совсем, либо понятие старомодное. Такое существо живет совершенно свободно и поэтому почти всегда безответственно. Что с ними делать? Я не знаю и не хочу знать, не хочу,— но мало ли чего не хочется! Когда она приходит к нам в трест после неудачного поступления в институт, мне жаль ее, и я стараюсь хоть как-то помочь ей встать на ноги, приобрести собственное лицо и элементарные понятия о том, что плохо, что хорошо. Но она обычно не задерживается на моей стройке, ее влечет романтика зауральских просторов, ветер далеких странствий. Я ничего не имею против таких странствий, но мне хочется реветь, когда вижу, как такая дурочка, нарезавшись коньяку, идет в гостиницу и какая-нибудь пыжиковая шапка, ухмыляясь, пропускает ее в свой одноместный номер. И Сашка Голубев прекрасно знает мое отношение ко всем этим штучкам-дрючкам. Наконец-то до него что-то дошло:

— Извини, старик, ну, извини... Но не будь все-таки пижоном. Разве ты отказался бы переночевать с ней в одной палатке? Разумеется, без соседства.

— Да, отказался бы.

— Почему?

— Потому, черт возьми, что люблю бриться своей бритвой! Понимаешь? Своей! И пошел ты от меня знаешь куда...

Сашка сделал лапочками,— дескать, пардон, все понял. Я с отвращением почувствовал, что еще минута — и я бы перешел на крик.

Нас уже звали есть уху.

Боже мой, я еще утром был по горло сыт всем этим, а тут впереди еще и уха, и вечер, и этот безбрежный треп. Сашка вернулся с озера навеселе, ему все равно, но я-то весь день был не в своей тарелке, весь день сдерживал раздражение. И вот, когда все по-турецки расселись под дурацким вымпелом, на котором был намалеван дракон, я даже с каким-то облегчением взял колпачок от термоса, наполненный на три четверти каким-то заграничным питьем. И выпил, не дожидаясь конца тоста, произносимого Алкой — этим оператором одного из ведущих в стране НИИ...

Судя по тому, как Вадим и Алка подзуживали и ставили ему безобидные шпильки, Барс был старшим по работе. Но, как выяснилось, Вадим тоже готовился стать кандидатом. Я спросил его, правда ли, что в одной лишь Москве более двухсот тысяч научных

работников, кандидатов, докторов и академиков? По-видимому, глотая пилюлю, он просто не захотел пикироваться. Или же считал эту цифру вполне нормальной.

Моя жена по очереди глядела на обоих физиков... Что ж, в этом ничего нет удивительного, подумалось мне. Она действительно впервые видит живых физиков. Но зачем же глядеть им прямехонько в рот? Зачем делать вид, что понимаешь, что такое гравитация и теория относительности? Ведь даже мне с моим техническим вузом очень смутно представляется все это.

— Видите ли...— Вадим был терпеливым и снисходительным.— Самое лучшее — это наглядный пример...

Он достал из рюкзака блокнот, вырвал чистый лист, согнул вдоль, оторвал ровную длинную полоску бумаги и склеил ее концы хлебным мякишем. Полученное кольцо он представил на обозрение моей жене.

— У него две стороны, наружная и внутренняя, так?

— Да,— Тоня старательно хмурила свои роскошные брови.

— Может ли проползти букашка сначала по одной, после по другой стороне, но не пересекая край кольца?

— Нет. Как же?

— А теперь? — Он разорвал кольцо и вновь старательно склеил концы ленточки, но уже разными сторонами.— Можете мне сказать, где здесь внешняя сторона и где внутренняя?

Я видел, как моя Тоня в восторге водила авторучкой по склеенной ленточке. Но я знал, что если б этот же злополучный фокус показывал ей я, она бы даже не стала меня слушать...

Вадим из вежливости перевел разговор на другую, близкую Тоне тему. Речь пошла о книгах вообще, затем о детективах и научной фантастике. Барс то и дело вставлял в разговор двусмысленные похабные шуточки, Алка била его кулачком по спине. Тоня добросовестно старалась понять, отчего Алка смеется. Не замечая пошлости, она всеми силами старалась поддержать этот, как ей казалось, утонченный разговор. Меня же все это начинало бесить взаправду. Когда с ухой было покончено и новая волна остроумия смыла все сдерживающие преграды, я потихоньку встал и отошел от костра.

Луна висела над противоположным лесистым берегом, большая и желтая. Явственно виднелись очертания лунных морей, рассеянный призрачный свет исходил от нее, как бы не достигая земли. Кусты и скошенные луга были темны на том и другом берегу. Везде было тихо, таинственно и печально, ночная осенняя земля словно прислушивалась к чему-то. Окрестная тишина терпеливо превозмогала нелепые всплески хохота, которые то и дело раздавались над нашим берегом.

Когда я вернулся в компанию, там, видимо, иссякли все анекдоты. Алка висела на плече у Барса, мешая ему крутить транзистор. Она по-кошачьи терлась об своего шефа, мурлыкала что-то на ухо, а он то фыркал и ржал, обнимая ее, то вдруг замирал и насторожен-

но прислушивался. Сашка уже собирал бутылки, намереваясь палить по ним влет, Вадим продолжал разговор с Тоней. Моя жена была сегодня просто неузнаваема:

— А что вы о Джойсе скажете?

— Ну, Джойс, по сравнению с Кафкой, мальчишка,— Вадим достал из кармашка джинсов пачку «Кента».— А вы читали что-нибудь Джойса?

Сейчас вопрос был адресован мне. Я сказал, что ни Джойса, ни Кафку не читал, что у меня не было для этого ни желания, ни времени.

— Джойса и Кафки тоже не было,— очень к месту добавила Тоня.

Но я поторопился мысленно похвалить жену. В ее голосе прозвучали отдаленные, оскорбляющие меня нотки уничижения. Она как бы просила у собеседника извинений за мою неосведомленность. Ей даже не приходило в голову, что я не испытывал никаких сожалений по поводу того, что я не читал Джойса. То есть я пытался как-то читать этого самого Джойса. Несколько лет тому назад она «на два дня» приносила его домой. Джойс показался мне таким занудой, что я с трудом прочитал страниц двадцать и на другой день с облегчением забыл о нем. И вот теперь Тоня словно бы извинялась перед этими пижонами за мою интеллектуальную неполноценность...

Меня вновь разбирала обида на жену и злость на самого себя за то, что позволяю себе злиться и обижаться.

— Конечно, в магазинах нет ни Джойса, ни Кафки. Их не достанешь.— Я неожиданно для себя обернулся к Тоне.— А Пушкин есть? Лермонтов есть?

Она удивилась вначале, затем обиженно отвернулась и не ответила. Она всегда спешит поскорее обидеться, чтобы не отвечать на вопрос или не продолжать неприятный для нее разговор. Я чувствовал, что завожусь, но не мог остановиться. Я знал, что был здесь одинок. Сашка меня не мог поддержать, ему хотелось стрелять по бутылкам, а жена, как и всегда, почему-то считала своим долгом не поддерживать, а бороться со мной.

— При чем здесь Пушкин? — произнес Вадим, а Тоня торжествующе хмыкнула.

— Вот именно, при чем.— Меня понесло.— Важно что в магазинах нет Кафки и Джойса. А то, что нет Лермонтова и Пушкина, на это начхать! Подумаешь, велика беда.

— В библиотеке Пушкина тоже нет? — спросил Вадим и, поправляя в костре головешку, как бы случайно взглянул на Тоню.

Она уловила его взгляд, я почувствовал это. Она еле заметно пошевелила одним плечом, она как бы выражала извинения за неотесанность своего мужа.

Кровь бросилась мне в голову.

Я был раздавлен одним этим презрительным движением плеча. Я хотел верить в свою ошибку, ждал ее голоса, но я не ошибся.

Все было так, как есть. Она не проронила ни слова. Обида и горечь сжимали мне горло, пальцы мелко дрожали. Я удивился тому, что мой голос прозвучал спокойно и даже буднично:

— В библиотеках много кое-чего есть. А вы попробуйте подписаться на Пушкина. Или хотя бы купить двухтомник.

Барс, который, видимо, как Цезарь, мог одновременно писать, читать и разговаривать, вдруг отстранил Алку и обратился ко мне:

— Знаете что?

— Что?

— Не будем.— Глаза его блеснули в темноте и впрямь как у барса.— Не надо, понимаете?

— Что не надо?

— Это самое... Хватит.

— Что хватит? — вне себя заорал я и вскочил.— Что?

Он словно бы только и ждал моего крика. Он сокрушенно развел руками, кротко улыбнулся, затем отвернулся и с демонстративным спокойствием заговорил с Алкой. Я посмотрел на всех по очереди. Сашка пьяно хмыкнул, подал мне бутылку пустую и, заикаясь от алкогольной отрыжки, сказал:

— С-с-старик, метни, а? Только в воздух.

Я взял бутылку и сильно швырнул ее вверх. Сашка вскинул ружье, раздался выстрел. Бутылка упала в траву целехонька. Алка заверещала от восторга и запросила «бабахнуть», все оживились. Я затаил обиду где-то далеко-далеко и попросил закурить. Вадим, подавая «Кент», посмотрел на меня, как мне показалось, с дружелюбным сочувствием. Он взял из палатки свою двустволку и предложил стрелять как можно дальше и пулями по недвижимой цели. Голубев пошел устанавливать мишень. Но в сумерках уже за двести шагов бутылка была невидна. Сашка подошел ближе, надел ее горлышком на ольховый сучок и вернулся к костру. Бутылка слабо мерцала от лунного света. Тут же решено было устроить соревнования по стрельбе.

— Куда вам столько жаканов? — удивился Голубев, когда Вадим принес свой патронташ.

— Мечтали сходить на медведя. Барс, ты будешь стрелять?

Барс кивнул.

— Тоня, а вы?

Моя жена выразила желание стрелять. Ночью, по недвижимой цели, из двустволки «Бюхард» пулей шестнадцатого калибра. Я улыбнулся: чего не сделаешь ради гостей!

Решили тянуть жребий, чтобы установить очередность стрельбы, а Барс громогласно объявил, что для победителя у него в рюкзаке найдется неплохой приз. Он выдрал из записной книжечки шесть листочков, написал на них номера, скатал их в трубочки, бросил в берет и поднес мне:

— Тяните!

Я сказал ему, что колхозники, когда делят покос, тянут еще и второй жребий: кому «тянуть» первому.

— Да? — Это «да» было точь-в-точь как у моей жены.— Но ведь так можно тянуть и третий жребий, кому тянуть второй. И так можно без конца тянуть жребий.

— Конечно. По-моему, все мы только и делаем, что тянем жребий, кому первому тянуть предыдущий.

— Это интересная мысль,— заявил Барс.— Что ж, сделаем еще шесть номеров...

Я взял из берета бумажку и развернул: на ней красовалась жирная единица. Сашка зарядил и подал мне двустволку, я выстрелил и промазал. Мне не хотелось смотреть, как моя жена целится из ружья. Было почему-то и смешно, и горько, я вспомнил гоголевскую тетушку Ивана Федоровича Шпоньки. Ту самую тетушку, которая любила палить по уткам... Выстрелы, гремевшие один за другим, наконец смолкли. Барс торжественно вручил бутылку шотландского виски Сашке Голубеву, который, несмотря ни на что, оказался лучшим стрелком.

Костер запылал с новой силой.

— А сколько осталось патронов? — спросил Сашка после дегустации.

— Шесть штук,— ответил Вадим.— Медведю еще вполне хватит.

— Шесть? — Алка прервала разговор с Тоней.— Нас тоже шесть.

— Хочешь сказать, что можно сыграть в рулетку? — Вадим сходил в палатку и натянул свитер.

— А что такое рулетка?

— Это, Аллочка, такая офицерская игра.

— Ой! — Алка захлопала в ладоши.— Сыграем, Вадик, а? Ну, пожалуйста!

— Что ж... Я не прочь. Только к этой игре женщины не допускаются. И вообще, в ней могут участвовать только царские офицеры.

— Почему? — Теперь уже моя жена заинтересовалась рулеткой.— Как она проходит, эта игра?

— В барабане браунинга семь патронов. Он крутится, как и любой барабан. Так вот, где-нибудь после пирушки остаются семь человек. Выбрасывают из барабана патроны... Но не все семь, а шесть. И пускают браунинг по кругу...

Обе они глядели на него, как зачарованные. Я впервые наблюдал такое откровенное проявление женского любопытства.

— И что дальше? — не поняла Алка.

— Ну, что,— Вадим отхлебнул из стакана.— Каждый по очереди приставляет дуло к виску и спускает курок. Кто-то из семи должен погибнуть.

— Ужас! — Алка передернула плечиками.

— Не все ли равно, где погибнуть,— сказал Барс,— сейчас, скажем, на вечеринке или завтра в атаке?

— Мальчики, а вот вы бы сыграли в рулетку? — Алка даже

заподпрыгивала, сидя перед огнем на корточках.— Вот вы сейчас? Вот сейчас, сейчас?

Она обвела мужчин восторженным полусумасшедшим взглядом.

— Что ж...— Вадим прищурился и в упор посмотрел на меня.— Я бы, пожалуй, сыграл...

— А как, как, мальчики? У вас же нет ни барабана, ни браунинга!

— Очень просто,— Вадим взял берет с шестью заряженными патронами.— Барс! А ну разряди патроны!

— Как?

— Ну, так. Вытащи жаканы, а порох высыпь. У всех, кроме одного.

— Во-первых, Вадимчик, я не офицер... Во-вторых, не русский и тем более не царский. Я самый обыкновенный кандидат физико-математических наук с уклоном на кибернетику...

— Не хочешь помочь? — Вадим спокойно взял патроны.— Ну, что ж, я могу и сам.

Он достал из кармана складной комбинированный нож, шилом выковырял пулю и войлочный пыж. Затем выплеснул порох из гильзы в костер, вставил пулю и пыж обратно.

Короткие нешумные вспышки пять раз ярко освещали взволнованное личико Алки. Я посмотрел на Тоню: лицо ее было в тени. Сашка с ехидным видом крутил транзистор.

— Пожалуйста! — Вадим посмотрел на меня.— Это шестой патрон. Я не разряжаю его. На вид он такой же, как все остальные. Но тяжелее на два грамма. Сможете вы отличить на ощупь разницу в два грамма?

— Нет.

— Я тоже не отношусь к таким феноменам.— Он бросил патрон в берет, где лежали остальные.— Алка, тряси!

Алка несмело потрясла берет, патроны звякнули. Все молчали.

— Сделаем себе скидку, мы и впрямь не деникинцы,— продолжал Вадим.— Женщины не допускаются к игре. Но остаются в игре их выстрелы. От этого вероятность сыграть в ящик значительно уменьшается. Итак?

Итак, что это? Реванш за двести пятьдесят тысяч? Я все еще не мог усечь, в шутку или всерьез говорил он все это! Его глаза, как мне показалось, блеснули насмешливо. Он взял Сашкин «Бюхард» и дунул в левый чоковый ствол.

— Бросьте, мальчики...— Алка положила подбородок на собственные колени,— вы же... Вы трусы! Вы же не мужчины. Вы? Да вы никогда, никогда не сможете!

Она вдруг истерически начала хохотать:

— Вы? Вы... и в рулетку?.. Боже мой, вы...

— Стоп, Алка! — Вадим встал.— Стоп...

— И ты можешь? Сыграть? Ты? — Она продолжала хохотать, катаясь на траве у палатки.

— Я не могу играть один! Понятно? — Он схватил ее за шиворот.— Для игры нужно иметь партнеров!

Напрягая скулы, он медленно обвел нас взглядом и... потянулся к берету. Я почувствовал, как легкий холодок рождается во мне где-то около солнечного сплетения.

— Пожалуйста! — Вадим протянул берет Барсу.

— Я — пас.— Борис Арсентьевич отвернулся и засвистел мелодию из «Кармен».

— А вы? — Вадим обратился теперь к Голубеву.

— Я еще не достроил канализационный коллектор,— сказал Сашка.— К тому же играю только в шахматы.

— Ну... а вы? — берет с торчащей вниз шишечкой качнулся и замер на уровне моих глаз.

Не поворачиваясь, я оглядел всех, кого можно было видеть.

Вадим смотрел на меня с высоты своего роста. Алка перестала смеяться. Барс, сдерживая улыбку, кусал губу, а Тоня, сидя на чурке и сцепив на коленях руки, не двигаясь, смотрела в огонь. Я молчал.

На какое-то время глаза ее изменились во мгле. Или это просто почудилось мне? Я медленно отвел берет с патронами в сторону от себя.

Вадим бросил берет в рюкзак и резко задернул шнурок. Потом повесил рюкзак на березу, сел, взял бутылку с виски и побулькал около своего уха:

— Выпьем? За современных мужчин...

Я посмотрел на Тоню. Опять, как и только что, мне почуялись странные изменения в ее глазах: то ли они сузились, то ли загорелись каким-то грустным, полным горечи и обиды огнем. Она посмотрела на часы, буднично вздохнула и встала:

— Уже первый час. Спокойной ночи.

— Тоня! — Я не узнал своего голоса. Но она даже не оглянулась...

Когда по кругу пошла бутылка с виски, я, не прощаясь, ушел к реке. Джек побежал со мной. Странное состояние владело сейчас мной: я как бы разглядывал себя со стороны, подсмеивался, жалел, издевался и предостерегал, разбирая себя по косточкам.

Что же произошло?

Вадим искренне предложил сыграть в эту дикую и нелепую игру, вернее, его спровоцировала эта восторженная дурочка. Я видел, как он вскочил, когда она начала хохотать, слышал, как взволнованно задрожал его голос: «Я не могу играть один! Для этого нужны партнеры». А может, он был просто уверен в том, что все равно никто из нас не будет играть? Может быть, он и тут тоже играл, рассчитывая на нашу трусость? Допустим, Барса-то он знал до этого и мог вполне рассчитывать на то, что тот наверняка откажется. А дальше? Неужели он такой точный психолог, что сразу раскусил, что за человек Сашка? Я медленно подбирался к себе. Почему я отказался играть? Ведь я не был трусом. По край-

ней мере, я не считал себя трусом. Я хорошо помнил, что отказался играть совершенно спокойно, будучи уверенным в том, что в других обстоятельствах я никогда бы не отказался.

В каких же это других? Может, это и есть как раз трусость, когда откладываешь проявление своего мужества до других, более подходящих для этого моментов? Скорее всего, так и есть. Значит, я самый обычный трус? И моя жена была права, когда с презрением, даже не оглянувшись, ушла от костра!

Я почувствовал, как вдруг вспыхнуло мое, охваченное жаром стыда, лицо. Шея и кисти рук тоже были словно ошпаренные. Я спустился к песчаному берегу, присел на корточки. Вода показалась мне по-летнему теплой. Туман уже нарождался над нею. Я ополоснул лицо и неожиданно почувствовал себя совершенно бодрым. Мысли мои стали ясны и определенны. Какая-то решимость, помимо меня, без ведома моего рассудка, заполняла меня. В груди и в животе, опять где-то около солнечного сплетения, вновь заныл жутковатый холодок, тот самый холодок, который испытываешь во время опасности. Я понял сейчас, что сделаю то, что решил, что я просто не буду уважать себя, если не сделаю. Нет, мне не придется до конца своих дней презирать себя, черта же с два! Я не трус и не боюсь даже сам себя, не только кого-либо или чего-либо.

Но если это действительно так, то для чего же проверять все это на практике?..

Я свистнул Джека. Он выбежал из кустов. Отряхнулся, обдавая меня свежестью и запахом псины. Ткнулся мне в ладонь своим холодным носом и снова исчез. Я сел на камень.

Было уже четыре часа, ночь кончалась. Костер у палатки потух, все, видимо, давно спали. Я бесшумно поднялся к потухшему костру. Все спали, и рюкзак Вадима висел на березе. Я оглянулся, постоял с минуту, так же бесшумно взял рюкзак, развязал шнурок и тихо, осторожно вытащил берет с патронами.

Луна давно переместилась далеко в сторону и исчезла. Светало. Я издевался над глупостью задуманного, но все так же уверенно продолжал воплощать эту глупость: осторожно отошел за кусты, прислушался. Все было тихо. Но где же двустволка? Ее не было. Сашка, видимо, убрал ее в палатку. Я снова быстро поднялся к палаткам. Услышав отрешенный голубевский храп, тихонько вытащил из палатки «Бюхард» и снова замер.

— Тонь,— громким шепотом, вовсе не ожидая этого от себя, позвал я.— А Тоня?

Сердце забилось часто и невпопад. Я ждал, но жена не отозвалась. Она либо спокойно спала, либо не захотела отозваться, и я почти бегом, но бесшумно, бросился снова к реке, в глухой и зябкий речной туман. Джек вновь выскочил из кустов. Виляя хвостом и, как мне показалось, удивленно он уставился на меня.

— Тише, Джек! Слышишь? Пошел вон! Слышишь, пошел!

Он не уходил. Я положил двустволку на траву, сел на камень

и опустил руку в берет. Холодное прикосновение металла бросило меня в озноб. Патронов было точно шесть. Я ощупью изучил каждый, каждый был заряжен свинцом. Но в котором из них порох? Всего два грамма этого сухого серого порошка могут разнести череп и выпустить кровь из моего дурацкого тела. Один миг — и я исчезну, меня не будет. Не будет... Но куда же я денусь? Омерзение, брезгливость и страх поднимались из моих ног, медленно охватывали все тело. Я весь содрогнулся и с отвращением отбросил берет. Патроны глухо брякнули. Один из них выкатился в траву. «Это мой патрон,— мелькнуло во мне.— Он, этот патрон мой... Но ты-то трус! Трус, вот в чем дело. И больше не рыпайся. Не ерепенься. Заткнись и помалкивай. Эта игра не для тебя, ты дерьмо. Тонька права. Права? Неужели она права?»

Уже совсем рассвело. Я вспомнил свою жизнь,— годы, месяцы, недели и дни пронеслись сейчас передо мной, пронеслись хаотично, стремительно. Память выхватывала из прошлого почему-то совсем незначительные детали и случаи, оставляя во тьме все, что считал когда-то важным и что действительно было важным. Но что же действительно важно? Важно... Я хочу уважать самого себя, вот что важно. Но если я трус, я не смогу уважать самого себя! А почему ты должен уважать сам себя? Разве обязательно уважать самого себя? Ну, знаешь ли...

Я вновь вспомнил короткий блеск Тониных глаз, который отразил ее стихийную веру в меня и ожидание от меня чего-то. Вспомнил, как потух тот блеск, как она тоскливо погасила зевок и даже не оглянулась, не откликнулась на мой возглас, уходя от костра.

Значит, я трус...

«Распишись же, наконец, в этом! И довольно морочить себе голову».— «Да, но я же знаю, что я не трус».— «Откуда ты знаешь?» — «А вот откуда...»

Я схватил из-под ног «Бюхард» и выкатившийся из берета патрон. Вставил патрон в левый ствол, мысленно приговаривая: «Чок-нечок-получок, чок-нечок-получок». Что такое получок? Патрон вошел в ствол легко. Я выломал ольховый прут, очистил от веток, оставляя на конце рогатку. Затем взвел курок, положил в развилку березы ложу «Бюхарда»... И приставил стволы к правому виску. Озноб омерзения охватил меня. Тело мое хотело кричать в отчаянии, но в голове было ясно, я весь задрожал, но все же поймал рогаткой спусковой крючок и, раскаиваясь, сунул палку вперед. Странная, жуткая тяжесть мгновенно сдавила меня со всех сторон, в висок что-то коротко и туго ударило. И вдруг оглушающая тишина раздвинулась как-то широко и неопределенно. Я медленно опустился на землю.

Недоуменная собачья морда глядела на меня откуда-то из пространства. Жив? Неужели я выиграл? Я вскочил, мгновенно вновь превращаясь в сгусток живой материи, в комок ликующей плоти. Эта плоть снова и, видимо, вопреки мне жила, заявляла

свои права на это пространство, на это влажное осеннее утро и, далее, на день и на вечер!

Мне хотелось прыгать, хотелось бежать куда-нибудь в гору и кричать либо звать кого-то. Джек глядел на меня с удивлением.

Я взял берет с оставшимися патронами. Который из них грозил мне небытием? Я представил себя лежащим на берегу с пробитым черепом, в крови, и вздрогнул: ужас вновь на секунду коснулся меня. Я еле унял себя, чтобы не заорать от облегчения и животной, никогда раньше не испытываемой радости. Вынув гильзу, вставил новый патрон и выстрелил в воздух. Раздался щелчок, но пуля не покинула чоковый ствол. Значит, не этот тоже. Который же из них? Оставалось еще четыре патрона. Забыв о пулях, сидящих в стволах, подвергая Сашкин «Бюхард» опасности разорваться в куски, я через нечоковый ствол выпалил вновь. Капсули «жевело» щелкали довольно сильно. Только выстрела все еще не было. Итак, значит, этот последний, шестой патрон. Я зарядил. Взвел курок, вскинул «Бюхард» к плечу и нажал на спуск.

Выстрела опять не последовало... Я медленно осмыслял то, что случилось. Собрал гильзы и пересчитал: мое сомнение окончательно исчезло. Разряжены были все шесть патронов.

«Что ж, эти друзья придумали недурное развлечение,— подумал я.— Может быть, это стало для них даже эдаким хобби. Ежегодно ездить на «охоту», ловить таких дураков, как я...» Но Алка? Неужели она тоже знала? Не может быть! Она хохотала над современными мужчинами так непритворно. К тому же эти кибернетики вовсе не из таких, чтобы каждый год ездить на охоту с одними и теми же «кадрами»...

Стыд, горечь и гнев по очереди душили меня. Все спали в своих палатках. Я сложил гильзы в тот же берет, упрятал его в рюкзак и повесил все это хозяйство на прежнее место. Затем поднялся на свою территорию и сунул «Бюхард» в палатку к Сашке.

Он храпел теперь не так сладко. Я подошел к своей палатке, слегка отогнул полу. Тоня спокойно посапывала в спальном мешке...

Мне было жаль будить ее так рано. Я долго сидел на траве, не зная, что делать. Вновь выволок «Бюхард», шомпол и долго выбивал из стволов пыжи и пули. Боже мой, как это все глупо! Часа через два лай Джека разбудил Тоню и Голубева, я, ничего не объясняя, сразу же начал сворачивать палатку. Сашке я пригрозил, что уеду один, и он не стал ничего расспрашивать. Втроем мы быстро собрали свои пожитки.

— Надо хотя бы попрощаться с ними,— не выдержала Тоня, когда все было готово.

— Ничего, авось переживут.

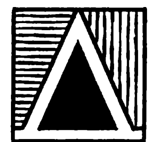
Она метнула на меня взгляд, полный ненависти, и вздохнула, демонстрируя вынужденную покорность. Я помог ей натянуть рюкзак.

РАССКАЗЫ

БОБРИШНЫЙ УГОР

В глаза, будто память о детстве,
Зеленые глянут места,
Добру откроется сердце,
И совесть будет чиста.

Александр Яшин



орога была суха, песчана и оттого тепла. Но иногда опускалась в низинки, становилась влажно-мягкой и потому холодила ногу. Она незаметно вошла в лес. Думается, так же вот входит по вечерам в свой дом женщина-хозяйка, называемая у нас большухой.

Июльский сумеречно-теплый лес неторопливо готовился отойти ко сну. Одна по-за одной смолкли непоседливые лесные птицы, замирали набухающие темнотой елки. Затвердевала смола. И ее запах мешался с запахом сухой, еще не опустившейся наземь росы.

Везде был отрадный, дремотный лес. Он засыпал, врачуя своим покоем наши смятенные души; он был с нами добр, широк, был понятен и неназойлив, от него веяло родиной и покоем, как веет покоем от твоей старой и мудрой матери...

Ах, тишина, как отрадна и нетревожна бывает она порой, как хорошо тогда жить. И это была как раз та счастливая тишина. Хотя где-то неопределенные и по происхождению явно человеческие звуки выявляли окрестные деревни. Но это еще больше оттеняло лесную, здешнюю тишину. Тишину и суть нашего состояния. Суть же нашего состояния заключалась в том, что кругом нас и в нас самих жил отрадный, добрый, засыпающий лес, и жила июльская ночь, и была везде наша родина...

Обычно большие понятия ничего не выигрывают от частого употребления слов, выражающих их. И тогда мы либо стыдимся пользоваться такими словами, либо ищем новые, еще не затасканные досужими языками и перьями. И обычно ничего не выходит из этой затеи. Потому что большим понятиям нет дела до словесной возни, они живут без нашего ведома, снова и снова питая смыслом и первоначальным значением слова, выражающие их. Да, лопают-

ся, наверное, только ложные святыни, требуя для себя все новых переименований. Я думал об этом, слушая крик затаившегося коростеля. И вдруг ощутил еще невидимый Бобришный угор. Ощутил мощный ток покамест неслышимой реки, ее близость, ее движение, хотя ничто не выдавало того движения: ни шорох воды, омывающей камни и береговую глину, ни запах рыбной и травяной влаги. Нет, ни этого шороха, ни этого запаха, обычно сопутствующего настоящей реке, еще не было,— я услышал их намного позднее,— но я уже знал, что Бобришный угор тут, рядом. Хотя никогда не бывал в этих местах.

Волнуясь, я перелез осек — высокую изгородь, которая определяет границы лесных выпасов, и увидел опять, как дорога, словно не желая быть назойливой, ушла куда-то вправо. Еле заметная тропка ответвилась от нее и пропала, а в нетревожных сумерках, в этом готовящемся к ночному покою лесу я увидел домик. Домик с белым крыльцом, на Бобришном угоре. Он стоял на неширокой полянке, осененный спящими соснами. Трава вокруг его рубленых стен белела цветочками земляники. Она, эта ягода моего детства, особенно густо, белой полосой, цвела позади домика: я стоял на одном месте, боясь переступить и растоптать хотя бы одну звездочку из этой белой полосы. Млечный Путь далекого деревенского детства... Тотчас же родилась где-то между ключицами и остановилась в горле жаркая нежность к этим звездочкам. Я присел на корточки, сжимая зубы, погладил теплые травяные пряди. И тут же с гнусной издевкой изловил себя на сентиментальности. Стыдясь чего-то, проглотил щемящий горловой комок, одумался. Но, собственно, зачем было одумываться? На секунду родилось мерзкое чувство отвращения к самому себе, и я в несколько затяжек прикончил горькую сигарету. Но домик на Бобришном угоре был печален и ясен. Он легко, с непринужденной и незаметной для меня властностью вернул мне прежнее состояние, навеянное гармонией широкого засыпающего леса. И я опять долго смотрел на земляничную россыпь. Казалось кощунством бросить окурок в эту первозданную чистую траву, я затолкал его в спичечную коробку. Наверное, огонь не был погашен до конца, потому что спички вдруг вспыхнули, и запах жженой селитры заставил меня ощутить, как легок, незаметен, как чист воздух здесь, на Бобришном угоре.

Я вышел к высокому, почти обрывистому берегу, на котором стоял домик. Далеко внизу, сквозь сосновые лапы, сквозь кусты ивы, березовую и рябиновую листву, виднелась не очень широкая, светлая даже ночью река. Она набегала к угору издалёка, упиралась в него своими бесшумными сильными струями и заворачивала вправо, словно заигрывая с Бобришным угором. Тот противоположный берег был тоже не низкий, холмистый, но угор все равно господствовал над ним. Там, у воды, белели песчаные косы, а дальше клубилась лиственная зелень, перемежаемая более темными сосняками и ельниками. Левее была обширная, пересеченная изви-

листой старицей и окаймленная лиственным недвижимым лесом пойма. Коростель как раз и жил, видать, в этой пойме. Сейчас он снова размеренно драл нога о ногу, как говорят в народе. Пойма была покойно-светла, копила в своих низинках белый туманец, и он сперва стушевывал, потом тихо гасил цветочную синь и желтизну еще не кошенного луга.

Домик таинственно и кротко глядел на все это с высоты угора, а позади тихо спали теплые ельники.

Ты был праздничен и не успевал совладать со все нарождающимися своими чувствами. Не успевало остынуть одно, как рождалось другое, еще более сильное, затем третье внахлестку, и так чуть ли не до утра. Но я как-то смутно помню эту первую ночь на Бобришном угоре. Под ступенью крыльца мы нашли ключ от замка и вошли в твой светлый ночной дом. Ветки зеленели совсем рядом за стеклами, рядом же, почти под нами, ясная, бессонная, стремилась река.

— Здравствуй, земля моя родная.

Ты не знал, что я слышал эти слова, сказанные тобой вполголоса, но если бы и знал, а я бы знал, что ты знал, мне все равно не стало бы стыдно. Я благодарен тебе за то, что мое присутствие во время вашей встречи, встречи с родной землей, не выглядело фамильярным. К тому же ведь так естественно здороваться с родиной. Но я знаю, что говорить об этой естественности уже, наверное, неестественно.

Потому что опять же слова и разговор обо всем этом — категория меньшая по отношению к предмету разговора, а пошлость подстерегает меня за каждой строкой. Так беден наш язык, когда пытаешься говорить о сокровенном. В радиотехнике есть такой термин: полоса пропускания. Некое устройство ограничивает, обрубает в радиоприемнике полосу слышимых частот, диапазон суживается. Так и любой разговор о том, что свято для человека, для измерения чего нет единиц, обрубает, суживает то, о чем говорим, о чем не можем не говорить...

Мы сложили поклажу: ружье, бинокль, охотничьи и рыболовные припасы. Тоня — жена твоего племянника, принесшая хлеб, сахар и молоко, зажгла нам керосиновый фонарь, и от его красного света стало таинственно уютно и сразу же захотелось никуда не выходить. Вскоре Тоня ушла домой, в деревню, а ты принес из сенцев дров и затопил печь. И огонь словно вдунул душу в домик на Бобришном угоре.

Наверное, отчуждение родины всегда начинается с холодного очага. Я помню, как судьба вынудила мою мать уехать из деревни в город и как сразу страшен, тягостен стал для меня образ навсегда остывшей родимой печи.

Тиль Уленшпигель на всю Фландрию вопил о пепле Клааса. И гёзы собирались на этот призыв со всей Фландрии. Мне же

вопить не позволяла совесть, хотя и в мое сердце стучит пепел: на наших глазах быстро, один за другим потухают очаги нашей деревенской родины — истоки всего.

И хотя мы покидаем родные места, все-таки мы снова и снова возвращаемся к ним, как бы ни грешили знакомством с другими краями. Потому что жить без этой малой родины невозможно. Ведь человек счастлив, пока у него есть родина...

Что ж, покамест у нас есть Бобришный, есть родина...

Нам нечего стыдится писать это слово с маленькой буквы: ведь здесь, на Бобришном, и начинается для нас большая Родина. Да, человек счастлив, пока у него есть Родина. Как бы ни сурова, ни неласкова была она со своим сыном, нам никогда от нее не отречься.

Как жарко топится печь! Комары печальным своим звоном напоминают о том, что мы ночуем в лесу. Мы оба любим тепло, и ты поминутно подкидываешь на огонь, а за окнами плывет летняя ночь, плывет время. Сейчас оно ассоциируется для меня с твоей рекою, которая никогда не останавливается. Невозвратность наших минут похожа на невозвратность слоеных речных струй, вода, так же как и время, никогда не вернется обратно.

Утром я проспал восход солнышка. Тебя не было, я взял бинокль и прямо с крыльца долго разглядывал еще дымящуюся реку, пока за одной из верб не увидел твой поплавок и удилище. Поплавок то и дело сносило течением, ты удил рыбу примерно в полукилометре от меня.

Утро долго не кончалось, полдневный ветер еще только зачинался в сосновых лапах. Высыхающая роса в союзе с солнцем рождала в лесу радужно-золотую мглу, мимолетную, словно ребячий сон, золотую мглу. Радостно и отрешенно пели вокруг птицы. Совсем рядом несколько раз принимался щелкать соловей. Словно боясь быть веселее других, он дважды, не сдержав, видимо, собственного восторга, переходил на пение и тут же, будто от застенчивости, замолкал. Прямо за домом раскатисто, многоколенно журчало горло дрозда-дерябы, везде по кустам с девчоночьим озорством цвинькали синички, свистели над рекой стремительные зуйки. И где-то вдали, но ясно и чисто куковала кукушка. Ее голос был печален и светел, а ритм кукования был похож на биение сердца. Недаром в народе называли этот голос сиротским, вдовьим, вдовство для крестьянской женщины то же сиротство.

Бобришный угор пел на все голоса. В бездонном небе тонули и все не могли утонуть сосновые кроны. Редкие облака, казалось, висели недвижимо, а сосновые кроны и все лесные верха плавно, бесшумно и широко стремились им навстречу. А внизу, на теплой, словно рассолодевшей земле, все копошилось, цвело, росло, торопилось жить.

Откидываясь назад и хватаясь за ветки рябины, по крутой,

осыпанной иглами тропе я съехал к реке, чтобы умыться. Было видно, как муравьи узким сплошным потоком через весь склон угора спускались к воде и той же дорогой поднимались обратно. Это был не иначе как муравьиный водопой, под самыми окнами домика на Бобришном угоре. Они, эти крохотные трудяги, копошились, кувыркались, опять торопились, и все к реке; другие так же суматошно от реки, вверх. Мне стало жаль эту живую материю, раздробленную на миллионы одинаковых, живых комочков, движимых одинаковым инстинктом, ничем не отличающихся друг от друга живых комочков. Опять, как вечор на сентиментальности, я поймал себя на излишнем философствовании. Снял рубаху и долго, бездумно, с какой-то странной созерцательностью тер щеткой зубы. Паста воняла нефтью, искусственностью. Я обелил этой пастой несколько муравьев и стал следить за ними: они как ни в чем не бывало продолжали свой муравьиный поход. В это время опять чмокнул давешний соловей. Я тотчас забыл про муравьев, сбегал за удочками, размотал леску...

И вот мы маячим на высоком, тихом, зеленом берегу, где прямо из песка растут могучие, мясистые стебли щавеля. Изредка я срываю такой стебель и, обруснув листья, с хрустом закусываю; кислый и сочный щавель не хуже пасты очищает во рту, и язык после такой закуски сразу как-то устанавливается на свое место. Мы удим, а это значит, что мы уже как бы и не мы, мы растворились, сравнялись с вечной природой, произошло то самое слияние с рекой, с кустами и травой, с небом, ветром и птицами, когда забываешь самого себя. Мир снова стал цельным и гармоничным, как в раннем детстве, когда мысль о конце еще и разу не ознобила душу своим безжалостным инеем. Река струит свои светлые упругие пряди, стремительные зуйки словно прокалывают пространство меж берегами. Где-то в лесу, в его отрешенно-колдовском шуме, звучит коровий колокол, а мы с наживкой в рукавице неутомимо ходим от заводи к заводи. Ищем, ждем хорошего клева и у каждого нового куста верим в большую добычу. И каждый куст обманывает нас, и мы вслух придумываем причины безрыбья. Впрочем, уха у нас уже есть. Но тебе хочется поймать хариуса. Я никогда не видел эту благородную рыбу, и ты хочешь поймать хариуса, но хариус ни разу не клюнул, и ты тащишь меня смотреть гнездо зуйка. Птичка с тревожным свистом слетела с гнезда.

Мы молчаливо глядим на три крохотных беззащитных яичка. Рядом стремится куда-то твоя родная река, над нами шумит от ветра, зеленеет Бобришный угор. Его крохотный житель — зуек — тревожно свистит, а мы глядим на гнездо, и нам хочется скорее уйти, чтобы не мучить зуйка.

Дома, вытряхивая из холщовой рукавицы остаток наживки в бадью с землею, ты говоришь, что дождевые черви живут в неволе месяцами и больше, если землю изредка сдабривать несколькими каплями молока и спитым чаем. Потом, забыв про червей, волокешь меня дальше, смотреть дятлову работу:

— А знаешь, какое у дятла профессиональное заболевание?

Я не знал, что профессиональное заболевание у дятла — сотрясение мозга... С восторгом восьмиклассника ты показываешь мне отверстие, продолбленное дятлом в дощатой стенке сеней. Гляжу и дивлюсь, сколько же нужно было тюкать, чтобы пробить эту дыру в стенке, какое нужно упрямство! Но самое интересное то, что дятлова дыра сделана в десяти сантиметрах от окошечка, выпиленного плотниками. Вместо того чтобы влезть в это окошечко и посмотреть, что там внутри, дятел долбил свое, только свое окошечко. И я все еще не могу до конца отдаться Бобришному угору, не могу без своих дурацких аналогий.

При виде дятловой работы мне думается про упрямство и гордость юношеских поколений, не верящих на слово отцам и дедам. Опыт предков не устраивает гордых юнцов, и они каждый раз открывают заново уже открытые ранее истины, долбят свои собственные отверстия. И лишь у немногих из них остаются силы, чтобы продолбить следующую, еще не тронутую стенку, а стенкам нет конца и жизнь коротка, словно цветение шиповника на Бобришном угоре.

Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока есть ты, мне легче жить. А ты? У кого учишься ты, кто или что твоя опора? Я знаю: быть честным — это та роскошь, которую может позволить себе только сильный человек, но ведь сила эта не берется из ничего, ей надо чем-то питаться. Мне легче, я питаюсь твоим живым примером, примером людей твоего типа. У тебя же нет такой живой опоры. И я знаю, как тяжело тебе жить. Моя стеснительность, наверно, крестьянская, все время сковывала меня, отчего иногда я не выглядел откровенным в твоих глазах. И в них нередко мелькала тревожная настороженность. Но что я мог сделать и что вообще нужно делать в таких случаях? Самое лучшее — взять ружье и уйти на тягу.

Счастье зачастую оказывается совсем не там, где его ждешь. Оно появляется, и мы не замечаем его, и лишь после до нас доходит, что это ведь и было в общем-то счастье. Оно складывалось для меня из лесной свободы, усталости от обычной ходьбы, из ржаного ломтя, из смоляного запаха и гулких ударов шишек об родимую землю. Тонкий свист рябчика, красноватые окна домика в сумерках, костер, раздвигающий тьму. Сосновая лапа на окне в банке из-под консервов, белый цвет земляники. Но сейчас я думаю о том, что человеку нужно, наверное, узнать все прелести цивилизации, прежде чем прийти к такому пониманию счастья. Нет, людям нужно и то и другое. И свист рябчика не понять, пока не набьют оскомину звонки телефонов и заполонившая эфир морзянка, не понять ядреной смоляной лапы в стеклянной банке, пока не напокупаешься бескровных столичных мимоз. Не узнаешь прелесть ходьбы по лесным тропам, пока досыта не налетаешься на звеня-

щих ТУ с их леденцами и пристяжными ремнями... Не потому ли, что нам с тобой доступно и то и другое, а им лишь одно, так насторо-женно-недоверчивы к нам твои земляки?

Кто-то подкорил сосну у крыльца домика. Ты страдаешь от их жестокого непонимания, и я тебя понимаю, так понимаю, что вспоминается русская сказка про Ивана Глиняного. Жили-были дед с бабкой, у них ничего не было. «Давай, старик,— говорит старуха,— слепим сынка из глины, а то никого у нас нет».— «Давай»,— говорит старик. Слепила старуха сынка из глины, Ивана Глиняного. Иван с лежанки слез и сперва старуху съел, потом деда. Вышел из избы, а из поля идут мужики с косами. Иван Глиняный и их съел. Дошел до леса, навстречу медведь. Хотел и медведя съесть, но медведь ему не поддался. Распорол Ивану Глиняному все брюхо. Тут вышли на свободу и дед, и бабка, и мужики с косами. Мужики и давай медведя бить. Били, били и укокошили...

Ты лучше меня знаешь, что нелепо обижаться на дождик, до нитки промочивший нас где-нибудь в лесу. К тому же давно известно, что легче простить обиду, чем обидеть, но что-то тут неладно... Что и кому надо прощать и где граница между великодушием и необходимой самозащитой? И почему многие люди вообще не прощают великодушия, как те косцы, которые убили медведя? Мол, никто тебя не просил выпускать нас из брюха Глиняного,— может, нам в брюхе-то лучше было...

Нет, я не верю, что все люди как эти косцы. Но добро, которое делают положительные герои, и впрямь так часто оборачивается для людей самым жестоким злом, что положительные герои и в жизни обычно вовремя погибают. Тем более в книгах. У писателя не хватает духу довести своего идола до конечного результата героической деятельности, и он умерщвляет его в ореоле славы и добродетели, предоставляя расхлебывать заваренную им кашу новым, таким же неколебимым героям.

Герои, герои, герои... Как часто думается о том, что мужество живет только под толстой, ни к чему не чувствительной кожей, а сила рождает одну жестокость и не способна родить добро, как ядерная бомба, которая не способна ни на что, кроме как однажды взорваться. А может, есть сила добрая и есть могущество, не прибегающее к жестокости? Может быть мужество без насилия? Нельзя жить, не веря в такую возможность. Но как трудно быть человеком, не огрубеть, если не стоять на одном месте, а двигаться к какой-то цели. Ведь стоит даже самым нежным ногам одно лето походить по тайге, и ноги те огрубеют, покроются толстой кожей. Кожей, не способной ощутить раздавленного птенца. Не потому ли все мы так изумительно научились оправдываться невозможностью рубить лес без щепы и ограничивать борьбу за новое всего лишь разрушением старого? Чтобы разрушить, всегда требовалось меньше ума, чем сделать новое, не разрушив того, что уже было. Ах, как любят многие из нас разрушать, как самозабвенны, как наивно

уверены в том, что войдут в историю. Но ни один хозяин не будет ломать старую избу, не построив сперва новую, если, конечно, он не круглый дурак; ведь даже муравьи строят новый муравейник, оставляя в покое прежний, иначе им негде будет укрыться от дождя. Я оставлял эти клочковатые мысли в твоих лесах, бродя босиком, босиком по земле, и шишки стукались об нее, цвела земляника. Куковали кукушки, и река катилась под нашим домом. Жаль, мы так и не выкупались ни разу за шесть дней. Река ждала нас, и вода все катилась под угором, такая же невозвратная, как наше время.

Там, на Бобришном, однажды я совсем потерял чувство времени. Помнится, время как бы остановилось и исчезло. И все прожитое мной, начиная с первых воспоминаний, стоявшее до этого в ряд, утеряло последовательность, все сконцентрировалось и слилось в одной точке. Не существовало и будущего, было только одно настоящее, то, что уже есть, и это было странно счастливое состояние. Нет времени. Нет вечности — ни той, которая позади нас, ни той, что впереди: есть только то, что есть, есть нулевые координаты времени. Странное, необъяснимое состояние. Я глядел на все окружающее каким-то внутренним взором, мне казалось, что я слышу цвета и размеры, а звуки и запахи вижу, хотя моего «я» тоже не было, оно тоже исчезло.

Рябчик свистел за твоим домом, то печально звенели комары, пахло солнечной хвоей, то виднелись в окнах неподвижные в мягких сумерках ветви деревьев, и не поймешь, какая пора суток.

Я уходил далеко в лес, зная, что мешаю тебе работать и что дружба не требует обязательного присутствия. Меня иногда мучила твоя излишняя заботливость, мне хотелось нейтральности, дружеского равнодушия. Ведь настоящих друзей никогда не потчуют за столом. Но ты противоречив: даже и жалуясь на обилие и назойливость всевозможных гостей, всегда радовался их приездам, тем приездам, когда гости маскируют ухой самое банальное желание выпить или лишний раз напомнить тебе, кто есть кто. Однажды после такого наезда я с туманной головой и сосущей болью в боку с пятого на десятое слушал тебя. И вдруг вздрогнул: такое горе, такая скорбь просочились в твоем голосе. Ты говорил о своем недавно погибшем сыне и плакал, и у меня сжалось сердце оттого, что твои слезы не были слезами облегчения и что ничем тут не поможешь, ничего не вернешь: горе это неутешно и необъятно. И в домике на Бобришном угоре всю ночь жило страдание. Утром я ушел далеко по речному берегу и лег под старой сосной, на откосе, долго глядел в сизое, тускнеющее к полудню небо. Почему-то солнце не могло меня согреть. Я встал, насобирал сушняку и разжег костер. Огонь тоже не грел, а лишь обжигал, я глядел на сивый древесный пепел и думал о смысле всего, о непонятном, ускользающем смысле. Теперь я вновь ощутил время. Костер утихал,

и время шло в одну сторону, и ничто не могло остановить его хода: ни голос кукушки, ни голос сердца, посягающего на все непонятное. Где-то на западе грозно, далеко гремел гром, он, то приближаясь, то удаляясь, медленно, не торопясь, надвигался к Бобришному угору. Гроза рычала все ближе, и земля поглощала ее картавые, глухие, полные недовольства звуки, а я все глядел на красноватые, бледные в ярости солнца огни костра. Отчаяние, горечь, ревность к неживой вечной природе и чувство жалости к людям и самому себе — все это сливалось у меня в один горловой комок, и я не знал, что делать. Уже скрылось тревожно-косматое солнце, ветер нарастал с каждой секундой. Я медленно уходил от грозы, преодолел густой, совсем молоденький ельник и вышел в сухой корявый сосняк. В этом редком сосняке не было ни листка, ни травинки: один ягель хрустел под ногами. Теперь даже лес был чужим, равнодушным, всюду широко и надменно хозяйничала гроза. Но ее грохот, ее вселенская истерика казалась мне нелепой, бессмысленной: на кой черт все это! Для чего и зачем? Ведь даже и те умрут, кого еще нет, кто еще не родился...

В доме я увидел тебя сидящим за тем еловым столом, ты оглянулся и спросил, не промочил ли я ноги. Помнится, в твоем взгляде было то самое, непостижимое для меня выражение, выражение, всегда возвращающее мне понимание того, как относительно мое, сиюминутное восприятие мира. Как-то так сердечно прозвучал твой голос... И в голосе и во взгляде было как бы тихое снисхождение к моим философствованиям, словно ты знал о них, переболевший ими задолго до меня, и теперь допускал их для меня и принимал, зная что-то другое, более главное, еще не пришедшее ко мне.

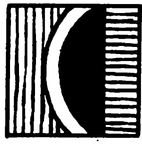
Но прежнее восприятие жизни возвращалось ко мне медленно. Я злился на себя из-за того, что оно возвращалось, вышел на крыльцо и сел на ступени. Всюду, будто сверху и снизу, со всех сторон, трещал гром. Шумела в лесу дождевая метель. Вдруг полетел град и дохнуло зимой взаправду. Градины стучались о крышу, бухали о землю, прискакивали и медленно таяли, и гром стлался по земле, в лесу и в небе летала вода.

Гроза уже утихала над нашим кровом. Она уходила частью дальше, частью выдыхалась, хотя дождь еще долго кропил Бобришный угор. В доме было тепло и спокойно, отблески молний вспыхивали за окнами, пахло освеженною зеленью. Гром еще рычал где-то, но все тише и тише, и сквозь разряды «Спидола» негромко играла чью-то прекрасную музыку. Было слышно, как с крыши капают последние капли, и музыка, похожая на эту капель, звучала в домике. Кажется, это была одна из шопеновских мазурок. Та самая, в которой слышится спокойная радость жизни, светлая послегрозовая усталость и гармоничное, счастливое созерцание мира. И оттого, что в доме струилась эта светлая, прекрасная музыка, что в твоем голосе была поддержка, и дружба, и мужество, хотелось снова что-то делать в этом непостижимом мире для людей и для времени.

Когда мы уходили с Бобришного, я слышал, как у дома тихо ропотали сосновые кроны. Мерцала река. Кукушка молчала. На твоем окне так и остались синие лесные цветы и томик Толстого.

Теперь Бобришный угор спит под холодным снегом. Наверное, сейчас там ясная морозная тишина. Река сжимается льдом, и цветы в банке давно усохли, а в непогоду в остывшей печке свистит ветер. Домик ждет весны, которой никогда для него не будет. А я с запозданием говорю тебе спасибо. Спасибо за дружбу, последний наш деревенский кров: видно, так надо, что нет нам возврата туда, видно, это приговор необратимого времени.

ПОД ИЗВОЗ



енька Груздев — самый веселый и беззаботный парень — женился как раз перед войной. Был он хоть и порядочный ростом, но жидкий: мослы на спине торчали даже через ватник и штаны висели на Сеньке, как на колу. А девку прибрал к рукам красавицу — Тайка, Таиска была у него дородная, волоокая и ходила всегда будто со сна, с тайной полуулыбкой и будто о чем задумавшись. Хотя работала она весело и с товарками щебетала не хуже других.

Сенька по простоте своей хвалил жену всем вместе и каждому в отдельности: «А вот у меня Тайка! А вот моя Таиска, нет лучше бабы!» И с восторженным откровением выкладывал ночные подробности. Может быть, зря хвалил, на свою шею выкладывал...

Да, Сенька Груздев был взаправду веселый, ходил он быстро, не ходил, а бегал. Про таких у нас говорят, что «вот эта мелея на месте не усидит». Называют торопыгой, вертуном либо удваивают собственное имя обязательной добавкой, и получается что-нибудь вроде Степы-суеты, либо Ромы-егозы, либо Егора-трясунчика.

Груздев почти всегда улыбался. А о себе говорил обычно в третьем лице: «Сеньку Груздева знаете? Сенька Груздев хороший парень! Ты Сеньку не обидь, а уж он тебя век не обидит».

Сенька был прав: до войны он никого не обижал, хотя самого его обижали сплошь да рядом. Кого в первую очередь посылать на сплав леса? Сеньку Груздева. Кто в разгар праздника должен сидеть в сельсовете и караулить у телефона? Сенька. Лошадь, пахать свой огород, кому в последнюю очередь? Опять же Груздеву в последнюю очередь. И так всю жизнь. Сенька же будто и не замечал этого. Он говорил со всеми громко, прибаутничал, и лишь мелькал его добрый, загнутый чуть вправо, вздернутый, но остроконечный нос. Любила ли Тайка своего Груздева — не поймешь. Наверно, любила сколько-то, потому что перед самой мобилизацией

родился у них первый ребенок. А когда началась отправка, Тайка, как и все бабы, ревела в голос и хрясталась на котомки, сложенные оптом на двуколой телеге. Другие повозки стояли запряженные, готовые. Сенька же плясал в это время у своего же дома, и гармонь едва успевала за частым, словно горох сыпался, стуком стоптанных Сенькиных каблуков. Плясал Сенька удивительно. Не глядя под ноги, а глядя куда-то в небо, шел-строчил, описывал большой круг, и все его естество ходило как на шарнирах. Не увидишь ни одного ненужного движения, и все движения к месту, как тут и были. Нет, плясал Сенька хорошо, ничего не скажешь. Только частушки как назло вылетели из головы подчистую. Он не мог вспомнить частушку вовремя и мотал от этого головой, и приходилось петь одно и то же.

Уехали на войну со звоном гармони, многие поперек тарантасов. Уехал и веселый Сенька Груздев.

Прошло полтора года, и вдруг Сенька явился домой: его ранило в руку. Рука — правая, как на грех,— совсем не действовала и была похожа на какой-то корявый сучок: вместо пальцев торчали в разные стороны какие-то розовые соски и калачики, и между ними все время сочилась сукровица.

Однако Сенька не унывал. Хотя в его отсутствие в кособоком доме прибавилось ни много ни мало двое жильцов (Тайка гульнула слегка с одним из уполномоченных), он ничуть не обиделся на судьбу. Груздев сперва только удивился, но особо не расстроился и через неделю совсем привык. Только частенько ругал Тайку: «Ты бы, дура, хоть не двойников, понимаешь! Ты бы хоть одного, дура, а то, вишь, сразу двоих!»

Тайка отмалчивалась, притворяясь и делая вид, что у нее есть какое-то оправдание, только, мол, она, Тайка, никому об этом оправдании не рассказывает. Потом она и сама поверила в это несуществующее оправдание, а Сенька еще больше привык, когда зимой родился еще один, уже наверняка свой, кровный. Сенька бегал по деревне гоголем, и все встало на свое место. Лишь иногда пожилые мужики, не ушедшие на войну по возрасту, подначивали Сеньку: «Худо ты, Груздев, работаешь, не то что уполномоченной. Мужик один сенокос и в деревне-то пожил, а вишь, сразу оба-два! Тебя когда отпустили? Ведь два года скоро, а ты только одного смастерил».

Сенька не оставался в долгу. Он шумно, почти всерьез, оправдывался госпиталем и худыми теперешними харчами, смеялся вместе с мужиками. Впрочем, Сенька зря оправдывался, потому что вскоре Тайка родила опять и, что всего удивительнее, опять двойню. Один ребенок из этой новой двойни сразу же умер, и Сенька в ящике из-под колхозных гвоздей отнес его к церкви и зарыл. Но все равно семья была большая. Сенька изворачивался как только мог: пятерых ребятишек и в мирное время поднять на ноги

не шутка. Но Груздев был по-прежнему весел и любил всех людей, не считая бригадира.

Бригадира же, двоюродного Илюху, Груздев не любил по многим причинам. Первая причина та, что он бригадир, вторая — что хоть и двоюродный, а прижимка, к нему, к Груздеву, словно бы к пленнику: то упряжь худую даст, то за овец оштрафует. Хотя его, Илюхины, овцы щипали озимь на паях с остальными. А однажды в сенокос Илюха кровно обидел Тайку. Илюха вместе с председателем и счетоводом объявили бесплатный воскресник в счет помощи фронту. Дело не в том, что бесплатный, все равно и другие дни также бесплатные, да и Тайка пошла бы работать не позже других баб. Пришла установка, чтобы утром печей не топить и всем поголовно выйти косить. Сеньки дома не было, он уезжал под извоз.

Легко сказать — не топить, ежели и в топленную печь ставить нечего! Картошка еще только что отцвела, летом ни мяса, ни редьки, а ребятишки, они ведь не спрашивают, где взять, каждый есть просит. И жена — Тайка — печь затопила. Хотела она сварить крапивной похлебки, а после поставить к загнете ставец козьего молока. А уж потом и идти на воскресник. Утром, часов в пять, она затопила. Дрова были гнилые и не горели, а только шаяли: словно медведь сидел в Тайкиной печке. Тайка сбегала на поветь и разломала пустую кадушку. Подкинула на огонь сухую клепку, и в печи сразу стало весело как на празднике. И вдруг Тайка в окно увидела председателя, счетовода и бригадира Илюху. Все они с Илюхиной бадьей ходили по деревне и заливали водой печи. Не успела Тайка опомниться, как Илюха с председателем были уже в избе. Они подняли крик будто на пожаре, разбудили всех ребятишек. «Лей!» — крикнул председатель, и бригадир Илюха два раза плеснул из полной бадьи в Тайкину печь. У Тайки зашлось сердце при виде белого пара, повалившего из погашеной печи. Так хорошо, ясно топились дрова... Она схватила с лавки ведро воды и с ног до головы окатила Илюху. Хотела вторым ведром окатить и тех двоих, но они из избы выскочили. После этого зуб у Илюхи против Груздевых стал еще больше, бригадир обижал Сеньку на каждом шагу.

Как-то ночью Сенька назло Илюхе уволок с полосы ячменный сноп. Хотелось ему, чтобы пришел утром Илюха и увидел, что снопа нет, хотелось как-то насолить бригадиру, который на ночь все снопы пересчитывал. Сенька уволок сноп на предбанник и забыл про него. Вспомнил только тогда, когда Тайка обмолотила сноп колотушкой, провеяла на ветру зерно, высушила в печи и велела Сеньке смолоть на ручных жерновах. Дней пять она кормила ребятишек ячменной кашей. И тогда Сенька, чуть поколебавшись, уволок еще один сноп. Потом утащил сразу два... После этого у Груздева дело пошло быстро: он навострился таскать все, что попадало под руку. Копна так копна, овчина так овчина,— начал жить по принципу: все должно быть общим. Воровал он тоже весело и никогда не попадался, ему везло, хотя все знали, какой Сенька стал мазурик.

Его все время посылали под извоз. Он быстро научился одной рукой запрягать лошадь, помогая то зубом, то коленом, ловко накидывал гуж, засупонивал хомут и привязывал к удилам вожжи. С любым возом, в любую погоду он ехал на станцию, за семьдесят километров, ехал на три-четыре дня. И никогда не возвращался без добычи. Однажды привез для колхоза новехонький с гужами из лучшей сыромяти хомут, в другой раз перепряг мерина в чужие новые дровни. Сена он на своей конюшне никогда не брал, добывал кормежку для лошади в дороге, частенько привозил в колхоз то полдесятка пустых мешков, то новую дугу, а однажды стянул с возка райкомовский тулуп.

Илюха, хотя и держал на Сеньку зуб, помалкивал в таких случаях и домовито принимал добычу на бригадный баланс, председатель тоже лишь усмехался при виде новых дровней, а при сдаче хлеба по госпоставкам всегда назначал Сеньку старшим по обозу. Потому что Груздев привозил квитанций больше, чем положено. Делал он это просто: когда на складе взвешивали привезенный на сдачу хлеб, то Сенька весело трепался с приемщиком. Взвешенные и уже принятые мешки складывались отдельно, в сторонку. Стоило приемщику замешкаться, отвернуться по делу, Сенька хватал взвешенный и уже принятый мешок и опять клал на весы. Иногда, притащив мешок в склад и сдав приемщику, Груздев тащил мешок обратно в телегу...

Бабы теперь боялись ездить с ним под извоз, было опасно оказаться его соучастником. Зато он никогда никого в дороге не оставлял, всегда выручал и помогал. То ли завертка у бабенки лопнет, то ли испугается кобыла машины — Сенька всегда тут как тут, выручит, обнадежит. Может, за это и сходили ему с рук многие уж совсем бессовестные проделки.

Однажды он среди бела дня свистнул со склада сельпо полтуши замороженного поросенка. За Сенькой шесть километров гнался заместитель сельпо Гриша, по прозвищу Шкурник, потому что всю жизнь возился с овечьими, телячьими и прочими шкурами, заготовляя их и занижая сортность во имя блага государства. Гриша догонил-таки Сеньку и при всем народе начал стыдить вора:

— Ты, Семен, стыд потерял, тебя надо в тюрьму посадить, разве ладно ты делаешь?

— Жалко, так на, бери! — сказал Сенька. Он бросил поросенка в снег, хлестнул по лошади и уехал.

Таким мазуриком стал Груздев к началу последней военной зимы.

Холодное, темное и глухое утро. Мороз винтовочными выстрелами то и дело бухает в скрипучих постройках. Такой мороз, что Груздев еле отдирает губу от железа, когда зубами распутывал поводья узды и нечаянно прикоснулся к удилам.

— Дурак я, дурак! — ругает он сам себя.— Разве это дело?

Он и сам не знает, отчего так получилось. Забыл, мозгами

вздремнул. А ведь еще в малолетстве учен был морозным железом. (Однажды на спор лизнул обух принесенного с мороза топора. Оставил пол-языка на том обухе.)

В темноте конюшни Груздев долго ищет седелку. Облизывает обожженную губу и тихонько ругает бригадира Илюху: опять одноглазый спрятал чужую седелку.

— У, сатана кривой! — без злобы рычит Сенька и вытаскивает из дальней кормушки спрятанную бригадиром седелку.

Так. Значит, подпруга, войлок, все в порядке. Сенька обратывает свою лошадь, всхрапнувшего вместо приветствия чалого Воробья.

По причуде судьбы мерин Воробей не мерин, а наполовину жеребец: ветеринар, холостивший Воробья, плохо спутал ему ноги, и животина, лежа, лягнула ветеринара в грудь копытом. Пока ветеринар отлеживался и собирался довести дело до конца, началась война, его вызвали на фронт в первый же день, а Воробей так и остался при своих испорченных интересах.

И вот Сенька Груздев еще затемно запрягает этого Воробья. Бригадир Илюха еще с вечера сделал наряд: надо везти государству тресту, а обратно ехать порожняком либо прихватить что придется.

Груздев запряг и поехал к гумну. Две бабы и подросток Борька, тоже намеченные под извоз, еще не запрягали, и Груздев колотит в их ворота кнутовищем:

— Эй, теплобрюхие, вставай, эй! Кому говорят, запрягай!

Но в окнах уже мерещится и так что-то красное: свет от лучины, а может, от затопленных печей.

«Теперь проволынятся до обеда,— думает Груздев.— От лешие-сатаны, беда мне с ними».

У своего дома он еще раз перевязывает лен, сильнее затягивает веревки. В избу ему не хочется. Тайка с ребятишками еще спит, делать в избе нечего. И Груздев идет помогать остальным возчикам.

Когда соберутся и выедут в путь, обычно уже светло. Заря розовеет на близком краю неба, тут и там белеют, торопятся вверх, умирать печные дымы.

Лошади тотчас же начинают седеть инеем, полозья тоскливо затянули скрипучую свою песню. Теперь трое суток, не меньше, только и дел что слушай эту морозную песню, и Воробей останавливается у околицы. «Может, еще ошибка какая, может, недалеко ехать?» — такой вопрос таится в глазах обернувшегося назад коня.

Нет, никакой ошибки нет, Груздев кричит Воробью: «Шагом марш!» — и запахивается в тот самый тулуп.

Всходит холодное солнце. Везде кругом розовые, будто кровяные, снега, везде мертвая тишина да белые ольховые кустики. По этим кустикам и стелется скрипом полозьев узкий бесконечный зимник, стелется семьдесят километров, до станции.

Сенька высовывает из тулупа нос:

— Эй, Марюта, а Марюта?

— Чево?

— А жива еще? Гляди у меня, не умирай раньше время.

— Не умру, Семен, не умру!

И Марюта замолкает, ободренная разговором. Она боится будущей неизвестности, дальней дороги, боится и другая баба — Ромиха. С Ромихой Сенька перекликается тоже:

— Ромиха, ты вот что. Ты бы дома грамм сто пропустила, так и не мерзла!

— А надо бы дернуть! — бодро отзывается Ромиха, которая за всю жизнь ничего, кроме чаю, в рот не бирала.

Тем временем Груздев пускает Воробья одного и перелезает на Борькин воз:

— Чево, Борька, ты не женился еще? Поди, ведь уж семь групп окончил.

— Не-е! — смущается Борька.— Я еще только на ту зиму.

— Жениться-то?

— Не, семь классов на ту зиму.

За разговором на сердце мальчишки тоже становится легче. У него каникулы, он едет на станцию всего второй или третий раз и боится дороги больше, чем бабы. Дорога и правда тяжкая, долгая, с двумя, а иногда и тремя ночлегами, с раскатами на горушках, ночными волками на долгих волоках, с машинами у станции, с трудными разъездами по глубокому снегу. Если одному, то и пропасть можно, а тут еще голодный и в дорожной котомке только шесть вареных картошин. Да лепешка из льняных жмыхов.

У Сеньки Груздева и того нет. Чем питаться эти трое суток, он и сам не знает, просто надеется на какие-то случаи. Он без труда забывает про это неприятное обстоятельство, вытягивает ноги и, опершись на локоть, поет:

Далеко в стране Иркутской,
Между двух агромных скал,
Абнисен большим забором...

Сенька поет довольно приятно и сам чувствует эту приятность, отчего петь ему еще приятнее:

...Подметалов там немало,
В каждой камере найдешь.

Почему-то он представляет этих «подметалов» в виде бригадиров Илюх, тоже кривыми, только в новых синих фуфайках, в серых подшитых валенках и с новыми же березовыми метлами в коротких руках. Они, эти подметалы, ходят по камерам и шумно метут полы: так видится поющему Груздеву.

Борька с вежливым интересом слушает песню про Александровский централ и шевелит в валенках замерзающими пальцами. Лошадь тоже слушает. Полозья под возами по-поросячьи визжат, мглистое солнце отстранилось от еловых верхов и висит, полозья визжат бесконечным, непрерывающимся визгом.

Сенька враз перестает петь и вытягивает сухую шею: Воробей

впереди остановился. Груздев издали громко матюкает его, и Воробей не прекословит, топает дальше. Борьку же точит и точит тревожная тоска бездомности, и Сенька Груздев кажется теперь ему самым родным человеком на всем белом свете.

Груздева знают в каждой придорожной деревне. Но деревни далеко друг от дружки, и он, проехав километров пять, промерзает обычно начисто. Особенно мерзнет раненая рука. Если до деревни еще далеко, а терпенья уже совсем нет, Сенька останавливает лошадь, снимает рукавицу и сует изуродованную руку Воробью под хвост. Греет минут пять. Воробей недовольно оглядывается, он никак не может привыкнуть к таким бесцеремонным вторжениям под его хвост и пытается сопротивляться.

— Но-о! — грозит Воробью Сенька.— Стой как положено. Ж... тебе жалко?

Если деревня близко, Сенька отогревается в избе. Мерин уже знает, в какой деревне и куда сворачивать. И вот Груздев развязывает воз, берет вязку тресты, кидает лен на поветь. Потом весело распахивает двери избы:

— Здорово, Федулиха! Суп-то есть?

— Супу-то, Семен, нету севодни. Вон штечки постные.

— Ну давай, штечки ежели.

Федулиха достает из печи постные щи и, пока Сенька громко хлебает, идет на поветь и убирает подальше вязку колхозного льна. Подросток Борька, Марюта с Ромихой обогреваются тем временем у печи. Потом обоз движется дальше. Опять визжат на морозе полозья, опять Сенька поет, каким забором обнесли Александровский централ, и голодный Воробей недовольно фыркает. Часа через два Сенька наконец решает и его судьбу.

В большой, уже от чужого колхоза, деревне стоит какой-то дальний обоз, подвод шесть. Ездовые кормят лошадей, сами греются в избе, и Сенька решительно машет Борьке и бабам:

— Езжайте пока без меня!

Те едут, а Груздев осторожно подъезжает к чужой стоянке. На улице нет ни души, мороз всех загонил в избу, только заиндевелые лошади хрупают сено.

Сенька, недолго думая, хватает беремя сена с чужого воза и кладет на свой. Вроде маловато, мелькает у него в голове, и он хватает еще охапку, потом еще, прихватывает заодно и хороший плетеный кнут. В это время слышится звук открываемой двери, кто-то выходит из избы, вот-вот откроются ворота. Сенька изо всей мочи молча бьет Воробья, Воробей дергается, и оба вместе они с возом заворачивают за угол, скрываются за летней избой. У того же дома, у которого остановился обоз.

— На, на, дурак, только тише, стой тише! — шипит Груздев и сует Воробью волоть чужого зеленого сена.

Слышно, как выскакивают из избы и матерятся ездовые:

— Полвоза свистнули!

— Минька, распрягай, поедем вдогон!

— И кнута нет, мать его...

— Скорей, Минька, оне еще не должны далеко уехать!

— Догоним!

— Давай топор, догоню, обухом измолочу.

Сеньке слышно, как двое ездовых отпрягли лошадей и верхом бросились за ним вдогон. Он потихоньку выглянул из-за угла, подождал, справил небольшую нужду. Он знает, что ездовые догонят сейчас баб с Борькой, а те знать ничего не знают и никакого ворованного сена у них нет. Ездовые повернут обратно и поедут догонять вора в другую сторону. Две же встречные подводы едут уже далеко, верст пять отмахали; пока ездовые их догонят да разберутся, что к чему, он, Груздев, будет уже, считай, на ночлеге.

Так оно все и случилось. Ездовые, ничего не обнаружив у баб и у Борьки, проскакали в другой конец. Сенька же, не торопясь и похваливая Воробья, выруливает из-за летней избы на дорогу и, довольный, заворачивается в тулуп.

Теперь и самому есть что вспомнить, и мерин сыт будет.

Недолог зимний день, не успеешь опомниться, а звезды уже опять мерцают, мерцают и близко, и все дальше в фиолетовой глубине неба; холод пробирает ездовых, лошади устали и, часто останавливаясь, оглядываются, будто спрашивают: скоро ли?

Вот наконец и ночлег. На середине пути, в большой деревне, Воробей по своей инициативе свернул в заулок знакомого дома.

Распрягли все четверо. Груздев великодушно делит свое зеленое сено между всеми лошадьми. Коричневый багульник, взятый бабами из своей конюшни, остается нетронутым, и Сенька гордится:

— Вот, дурочки, молите здоровья Сеньке Груздеву!

— Ой, Семен,— охает Марюта,— гли-ко ты, мазурик-то! Ой, не бери больше чужого! Ой, голову оторвут!

— Не ой, а год такой,— говорит Сенька и ступает в дом, заказывать у старухи Михайловны самовар. Минут через пять опять появляется, гремит ведрами. Однако поить лошадей сразу, с пылу нельзя, он перевязывает возы, проверяет завертки, подкидывает лошадям сенца и о чем-то объясняется с Воробьем.

В это время слышится голос Ромихи:

— Неси водяной рогатую блудню!

— Коза? — спрашивает Сенька.

— И не одна! Кыш, пустая рожа! — возмущается Ромиха.

Груздеву давно надоели эти козы. Здешние хозяйки нарочно, даже по ночам распускают коз по деревне, чтобы они кормились у проезжающих обозов.

— Чака-чака,— сидя на корточках, подманивает Сенька козу,— иди сюда, чака-чака.

Коза доверчиво глядит на Сеньку, а он вдруг ястребом кидается на нее. Хватает за рога и тащит козу в избу. Старуха Михайловна живет одна, кормится тем, что пускает на ночлег обозников. Она раздувает у шестка самовар. Сенька, чтобы угодить старухе и не платить за ночлег, шепотом окликает старуху:

— Михайловна! Чуешь, Михайловна!

— Чево?

— А на, дура, дой!

Сенька кряхтит, присел и за рога тащит козу в кухню, чтобы никто не увидел, если зайдут.

— Дой, дура! Вон ковшик бери да дой! Пока держу-то!

Старуха — она еще разворотливая — всплеснула руками: «Ой, Сенька, Сенька! Ну да ладно уж...» Взяла алюминиевое блюдо, со страхом оглянулась, но в избе никого не было.

— Давай, Михайловна! — громко шепчет Груздев и не отпускает козу. Коза брыкается, он гладит ее свободной рукой, уговаривает, а Михайловна уже приладилась доить.

— Не сказывай никому, ради Христа,— слышится ее шепот.

— Давай... Ну? Как умерло...

Сенька держит козу, Михайловна торопливо доит. Вдруг получается какая-то заминка.

— Сенька, лешой...

— Чево?

— А веть коза-то моя.

— ?!

— Ей-богу, моя... и зовут Малькой.

Груздев на секунду теряет чувство уверенности, растерянно глядит на Михайловну:

— Малька?

— Малька. Вот и веревочка...

Старуха ойкает, ругает Сеньку, как будто он один виноват, а Малька же домовито мелет хвостом. Сенька волокет ее обратно на мороз, она упирается.

— Иди, иди... хм... Ну ладно, ежели... это... откуда я знал, на ней не написано!

За дверью в сенях он втихомолку пинает животину в брюхо и матерится:

— У, дура душная! Рогатая! Так бы и говорила, что не чужая, здешняя!

Сенька бежит поить лошадей. Коза блеет и от ворот не уходит. Из сеней слышится переменный голос Михайловны:

— Маля, Маля, иди-ко, матушка, домой, я тебя подою да застану, Маля!

Часа через два все в избе уже спят. Висячая лампа не погашена, а лишь увернута. В темноте на столе виден ведерный выпитый самовар. На лавке у шкапа, подложив под голову рукавицы,

тревожно спит подросток Борька. На полу, у маленькой печки, не сняв балахонов, приткнулись Марюта с Ромихой, Михайловна забралась на печь. Только Сеньки нет, он убежал на деревенское игрище. Может, и спляшет там, даже наверняка спляшет, благо плясать на игрищах стало совсем некому. Часа в три ночи он прибежит, поднимет своих спутников: надо ехать.

Звезды разгораются на фиолетовом небе, надо ехать. Вся дорога и все приключения еще впереди.

Запрягают, трогаются.

Никто не скажет, сколько матюгов произвел за день груздевский щербатый рот, сколько страхов пережили, дум передумали Марюта с Ромихой. Борька же за один этот день становится взрослым.

Под вечер все четверо, голодные и замерзшие, въезжают в районный пристанционный поселок. Впереди — Сенька Груздев. Потому что Сенькин Воробей не боится ни поезда, ни встречных машин, так как ездит на станцию чаще других. А может, и оттого, что в нем есть хоть и половинное, но все же мужское достоинство.

Марюта с Ромихой, когда подъезжают к железной дороге, снимают с себя нижние платки и завешивают ими круглые кобыльи глаза. Гудит поезд. Лошади вострят уши, дрожат как в лихорадке. Перепуганная Марюта гладит морду лошади, успокаивает, а сама тоже дрожит:

— Пронеси, господи...

Поезд грохочет где-то над самой головой, на высокой насыпи. На мелькающих платформах стоят затянутые в брезент пушки, солдат с ружьем и в тулупе кричит что-то, смеется и проносится дальше.

Сенька видит и других солдат, в приоткрытые ворота вагона валит пар, вылетают голоса и гармонные звуки. Сеньке завидно, он с горестным восторгом глядит на убегающий эшелон. «Эх, мать-перемать! — вздыхает он.— Я ведь тоже на часового выучен!» Ему хочется рассказать кому-нибудь, как он учился на часового, как два раза ездил вот в такой же теплушке. Правда, во второй раз и до места не доехал, разбомбили состав, а Сеньку припаяло осколочным...

Сегодня сдавать тресту уже поздно, учреждения прикрыты. Сенька правит прямиком на «квартеру» — к землякам, уехавшим из деревни накануне колхоза.

После того как распрягли коней и упряжь убрали в сени, Груздев кричит Марюте:

— Денег-то много с собой взяла? Давай пойдем в чайную, хоть супу похлебаем.

Чайная рядом, около райсоюза, но Марюта с Ромихой упираются, в чайную не идут. Сенька почти силой тащит их к чайной.

— Иди и ты, Борька!

Борька до того стеснителен, что набычился и остался на улице, а Сенька ругает баб, подталкивает их к двери:

— Идите, сотоны, не бойтесь! С Груздевым нигде не пропадешь, кто пообидится, что пропал с Груздевым?

И бежит покупать талоны. Денег у него всего на один суп и на десять стаканов чаю, Сенька на ходу прикидывает: «Ежели с Марюткиными лепешками, так ничего».

И вот на столе десять стаканов чаю и порция горохового без мяса супу. Бабы, озираясь, несмело развязывают платки, развязывают на коленях узелки с лепешками. Сенька быстро-быстро съедает половину супа. Незаметно ловит двух сонных по случаю зимы мух и украдкой опускает их в тарелку.

— Это, понимаешь, што такое! — на всю столовую кричит Сенька.— А ну, гражданочка, где дилектор? Дилектора, где дилектор?

Груздев с тарелкой идет на кухню, шумит и требует директора. Минут через десять возвращается, важно садится за стол.

— Семен...— У Марюты от испуга даже руки трясутся.— Семен Иванович, отпусти ты нас...

Ромиха тоже вся в беспокойстве, а Сенька дергает их за рукава, шипит:

— Дуры, сотоны, стойте! Кому говорят, на месте сиди...

Бабы сидят словно на шильях. Вдруг дородная девка приносит и ставит на стол три тарелки супа. Бабы глядят на суп, на Сеньку, а Сенька как ни в чем не бывало начинает хлебать.

Марюта с Ромихой не знают, что делать. Во-первых, они никак не ожидали такой чести, во-вторых, им и есть до смерти хочется и есть боязно. А Сенька знай хлебает и кивает, чтобы ели и бабы. Ромиха глядела, глядела и вдруг говорит:

— Ежели только ложечки две...

— Уж хлебну маленько,— отзывается и Марюта.

На ночлеге бабы только охают от восторга. Первый раз в жизни наелись дарового супу — разве не диво?

Что верно, то верно, бабы и Борька пропали бы в райцентре, если б не Сенька. Лошадей поить, к примеру, как и где? Сенька и ведро найдет, и колодец. Как сдавать тресту, тоже никто, кроме Груздева, не знает. Не знают, где нужная контора и в какие двери идти сперва, в какие потом. Надо оформить какой-то пропуск, выписать какие-то бумаги. Найти приемщика, сдать груз, опять получить бумажки. Все это и делает Сенька, бегая по райцентру как угорелый. И земля горит под его новыми валенками.

К полудню треста наконец сдана. Надо бы ехать домой, а Груздеву хочется выпить где-нибудь, он тянет время в надежде наткнуться на удачную компанию.

Бабы стоически ждут, сидят на подводах уже увязанные и про себя молят бога, чтобы Сенька не напился. Сеньке сегодня не везет. Прибежал сердитый, хлестнул Воробья. «Поехали!»

Бабы облегченно вздыхают и нукают своих лошадей: слава богу, теперь домой.

Однако у железнодорожного переезда Сенькина неудовлетворенность взрывается и переходит в нестерпимую жажду деятельности. Он вдруг останавливается. Хватает с бровки какой-то небольшой, но очень тяжелый ящик, кидает на дровни и шпарит не оглядываясь. Рабочие-путейцы бегут за Сенькой, кричат, но Воробей бежит в сторону дома намного охотнее, и преследование обрывается.

Отъехав километров пять, довольный Сенька нетерпеливо исследует ящик. Слышится ругань, Сенька плюется и ногой сковыривает ящик с дровней: в ящике одни железные костыли, которыми пришивают рельсы ко шпалам...

Сенька удручен и обижен, ему кажется, что с костылями его бессовестно надули. Он искренне и долго ругает обидчиков, сердито заворачивается в тулуп.

Однако осьминка табаку, добытая на складе райсоюза, вскоре возвращает ему веселое настроение.

— Марюта, чуешь, Марюта?

— Чево?

— А не умерла еще?

Начинается тот не поддающийся описанию и на первый взгляд совершенно пустой диалог, когда говорящие полны доверия, доброты и отрадного взаимоутешения.

— ...А я, Семен, на гумно-то ушла, трубу-то не закрыла. Прихожу, а в избе-то у меня все выдуло.

Сенька слушает.

— Гляжу, а петух-от сидит на кожухе и на меня не глядит, гребень опущенной.

— Ой ты. Омморозила? — восхищенно кричит Сенька.

— ...а курицы-то на шесток забилися...

— У тебя много ли куриц-то?

— Чево?

— Куриц-то, говорю, много ли?

— Да три.

Возы шумят, Марюта замолкает ненадолго.

— А с петухом-то четыре, нешто и толку от их. Одна дак все лето в крапиле и клалася.

Лошади фыркают, полозья сегодня не визжат, а стонут, погода слегка отмякла.

Так Сенька Груздев ездит под извоз. Ездит всю зиму и все лето, ночуя дома раз или два в неделю. Летом Сеньке — раздолье. Не надо воровать сено для Воробья, отогревать раненую руку под лошадиным хвостом.

Однажды Груздев сбился об заклад с заготовителем Гришей. Спор получился из-за Воробья. Гриша-заготовитель не ставил ме-

рина ни во что. Сенька обиделся, разошелся и прямо в поле случил Воробья с вороной сельсоветской кобыленкой, которая стреноженная ходила на клеверище. Воробей не ударил лицом в грязь, все сделал как положено, и Сенька выспорил две поллитры. Грише пришлось раскошелиться, но как раз это обстоятельство и сгубило Сеньку.

Переезжая вброд речку, он угодил спьяну на глубокое место и подмочил два ящика дорогих ленинградских папирос. Сельпо отнесло убытки на Сеньку, а чтоб рассчитаться, Груздев в том же сельпо стянул и продал мешок соли. Сеньку уличили и подали в суд, дело кончилось принудиловкой. Но принудиловка для Сеньки всего полбеды, хуже было то, что не стали больше посылать в извоз. Отлучили не только от Воробья, но и от всех других лошадей.

Но Сенька особо не тужит, да и война уже кончилась.

...У груздевского дома большая куча недавно наколотых еловых дров. Пахнет смолой, белой ядреной древесиной. Поленья ровные, звонкие, хотя еще и не очень сухие.

Сенька с женой Тайкой складывает дрова к стене, в поленницу. Ребятишки — не поймешь, где свои, где чужие,— бегают вокруг. Они везде, в траве и на пыльной дороге.

В концах поленницы Сенька выкладывает дрова клетками, чтобы не раскатилась вся поленница.

— Ой, ой, Семен, спинушка-то моя, спинушка,— Тайка охает и садится на крылечко неподалеку.

— А непошто и пришла,— говорит Сенька,— один, что ли, не складу?

— Все думаю, хоть поскорее-то...

Дело у Груздева идет быстро, поленница растет на глазах. Однако дров еще много, надо бы заложить другую поленницу, а Сенька кладет уже на уровень своей головы.

— Гляди, хватит уж,— замечает Тайка.

Он кладет и кладет.

— Хватит, лучше новую начни. Говорено было, чтобы сразу шире раскладывал.

— Никуда она не девается, крепко стоит,— говорит Сенька.

— Свалится ведь.

— Не первый раз. Учить нечего, как маленького...

— Ой, гляди, Семен!

— Чего мне глядеть? Стоит как церква. Давай вон эти еще... Да и все, пожалуй, уйдут.

— Да что тебя, лешой! — ругается Тайка.— До крыши класть будешь? Сейчас полетит все!

— У меня не полетит, сказано, домой иди. Перьвой раз, что ли? Складу все на одну. У меня да полетит... У Груздева сроду не летывало.

— Тьфу, дурак, прости господи!

— Полетит... У меня не полетит, у меня как припечатано, это уж точно.

— Семен!

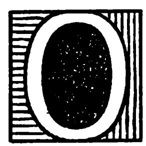
— Во! Полетит. Да ес теперь и валить не свалить, как церк...

Поленница с грохотом разваливается.

Груздев еле успевает отскочить в сторону. Он восхищенно моргает; глядя на беспорядочную кучу поленьев, произносит:

— Хм... Ведь так и знал, что шарахнется!

НА РОССТАННОМ ХОЛМЕ

ни уходили все дальше и дальше купаться на Синий омут. Мария еще глядела туда, пытаясь по платью узнать, которая из них дочка, но они исчезли в пойменной зелени. Ветер вздохнул оттуда, из далекого понизовья. Она услышала девичий смех, визг и ребячий свист, но ветряной выдох погас, и в лугах стало жарче от безлюдья и тишины.

До вечера было еще далеко, потому что стога сметали раньше времени. Она прибрала оставшиеся на лугу чьи-то босоножки и брошенные вверх зубьями грабли. Потом вытряхнула из платка сенную труху и непроизвольно залюбовалась тремя одинаковыми стожищами, и ей хотелось поохать и подивиться, такие большие, пригожие вышли стога.

«Ах, детки, детки...» — она сглотнула материнскую радость. Опять вспомнила про дочку и как метали студенточки сегодняшние стога. Все свои, деревенские, подумалось ей, а дома ни одна не живет. Но вот собрались вместе, и сразу выплыло в глазах все земляное, родимое, шибче забегала кровь, не надо красить ни щеки, ни ноготки...

Последний, самый матерый стог дометывала Мария с дочкой и Сергеем — едва оперившимся соседским сыном. Мария стояла на стогу, Сережка подавал сено вилами, а дочь загребала остатки копен и очесывала стогу бока. Когда стог начали вершинить, Сергей вдруг покраснел и ушел, будто бы вырубать тальники. А дочь, ничего не поняв, недовольная, тряхнула головой, закинула овсяные, по отцу, волосы.

— Не ругай ты его, не ругай,— про себя ухмыляясь, вступилась за парня Мария. Она приняла от дочки последние навильники и обвершинила стог. После этого привязала тальниковые ветки к стожару, чтобы по ним спуститься до шеста от носилок, а уже по этому шесту спуститься на землю. Такой высокий сметали стог.

— Отвернись-ко, Сережка,— нарочно, подзадоривая, сказала Мария, хотя видела, что парень и так сидел затылком к стогу. Знала она и то, что Сережка хоть и глядел в другую сторону, но

даже затылком видел, как она слезала со стога. И опять про себя ухмыльнулась: у кого в его годы не кипятится кровь, стоит увидеть женскую ногу выше колена. Так уж в природе все устроено, да не беда и то, что дочка такая еще непонятливая, заругалась на парня, когда он не стал дометывать стог.

Теперь все они ушли купаться на Синий омут.

Окрест махалось ветками молодое, еще не окрепшее лето. Темнела синева реки, мерцала вдали солнечным гарусом; искаженные зноем, трепетали неясные горизонты. Мария, ища себе дела, снова обошла луговину. Но все было сделано, и она тихонько вышла на Росстань.

«Попричитать бы...»

Полуденный зной начал уже спадать, в дальнем березняке то и дело смолкала кукушка. У своего серого камня Мария легко взяла из валка беремечко полупросохшей вчерашней травы. Косое, сбывающее жар солнышко уже свернулось в клубок и опускалось к дальним лесам, ветер стихал.

Никого не было кругом, и здесь, на Росстани, так далека, неоглядна показалась родная равнина. Песчаная дорога стекала с холма, и, чем дальше стекала, тем круче становились ее загибы, и наконец, истонченная в поясок, она пропадала за последним, еле видным увалом.

Мария прищурясь глядела на этот увал и чуяла, как вместе с усталостью на нее накатывалась радостная тоска. Этой тоской застарелого, прочного ожидания проросло ее сердце, как корнями трав проросла вся Росстань — высокий полевой холм, где испокон веку расставались разные люди. Отсюда дальше уже никто не провожал уходящих, а те, что уходили за Росстань, считали себя не дома и больше не оглядывались.

Мария давно не приходила сюда. Сейчас ей было совестно перед мужем, она еще раз перетряхнула платок, расчесала и увязала волосы, отцепила и положила на камень сережки. Стараясь пореже взглядывать на увал, где терялся песчаный путь, она вздохнула и празднично притаилась. Словно и не было двадцати пяти лет между этим предвечерним сенокосным часом и тем, горьким, ясным, тоже сенокосным: она просто ждала мужа и знала, что он придет. И Марии не было дела до того, что на Росстани двадцать пятое лето ковали кузнечики, двадцать пятый раз пожелтели высокие лютики.

Она не знала, сколько времени просидела на камне.

Лютики желтели неясно, то ли сквозь полузакрытые выгоревшие ресницы, то ли сквозь пелену радостных слез, что копились сейчас в глазах. Мария словно во сне сидела на камне, ее обступали по очереди ясные, будто вчерашние видения. Легко, без зова, пришло и самое первое воспоминание, оно прояснило, высветило долгий как вечность мартовский день с бурой от конского назьма рыхлой дорогой, с умирающими на теплых задворках суметами. Ничего вроде и не было особенного. Был просто этот долгий день, про-

низанный вешним солнышком. Вороны и галки в тополе базарным криком будили еще холодную Росстань, они даже не испугались, когда маленькая девчушка в больших валенках и в материных рукавицах впервые вышла на полевой холм. От взрослых она часто слышала это таинственное слово: Росстань. И вот, набравшись сил и упрямства и детской непосильной смелости, она одна, без взрослых, пришла из деревни и восхищенно поглядела вниз и вдаль. Мартовский тугой ветер помог восторгу перехватить детское дыхание, она чуть не задохлась, напористый воздух долго не давал ей дышать. А там, внизу, куда уходила зимняя живущая последнюю неделю дорога, везде белели белые увалы и обросшие кустами ручьевые и речные пади. Тогда она еще и названия не знала всему этому простору, всей этой необъятности, запомнилось только что-то бесконечное, солнечное. И она, вспомнив маму и теплую печку в избе, испугалась тогда этой необъятности, заплакала и побежала обратно к деревне.

Сильные, пахнущие снегом и лошадью рукавицы подхватили ее и усадили на дровни, и соседский мужик, везя ее в деревню, на ходу рассказывал ей сказку про золотое яичко. И она медленно, успокоенно смеялась, глядя на завязанный узлом лошадиный хвост, и это было все, что запомнилось.

Мария улыбнулась тому дню, опять взглянула на увал, где терялась дорога. Никогда, ни разу с того часу, как муж ушел на войну, не приходило ей в голову то, что он не вернется домой. Она знала, что он живой, и ждала его ровным, не спадающим ни на день ожиданием. Сейчас ей хотелось попричитать, но она вспомнила ту майскую Росстань, когда цвела черемуха и ребята, положив гармошку, играли у этого камня в бабки, а она вместе с девками пела первые частушки, ломая черемуху. Незадолго до этого над Росстанью взлетел первый жаворонок, чибисы запищали вверху и тальники в понизовьях очнулись, напрягая вешними соками стыдливо позеленевшие прутики.

Такая счастливая была та весна, что по ночам никому не хотелось спать и по воскресеньям Росстань всю ночь слушала гомон гулянок. Марии не было еще и восемнадцати. Но однажды она ушла отсюда самой последней, на теплом восходе. Они не стыдясь прошли по улице спящей деревни, и в его раскаленном, как камень, кулаке остался белый, вышитый по краям платок — первый ее подарок. И свадьбу не стали откладывать до зимы...

Мария вздрогнула от острой и горькой радости. Громадная тень от холма быстро заполняла всю покатую луговую равнину, солнце садилось. Рядом прогудел ночной жук; дальний увал, где терялась дорога, заволокло сумерками.

Свадьбу отгуляли наскоро, хотя и весело, дело было уже перед самой сенокосной страдой. Она помнила тот сенокос очень смутно, явно запомнился только один дождь, когда она с мужем метала стог и когда копны не успели сносить к одному месту. Тогда Мария увидела дождь и в испуге всплеснула руками: батюшки!

Милые! Сена не убрано несметная сила, сухого, зеленого. Вся Росстань и все низовые луга были скошены, а темное небо копило много, много дождя. На глазах, быстро темнела западная сторона. Кое-кто еще торопился, кое-где еще мелькали на густо-синем небе враз поседелые бороды навильников, но было ясно, что ничего уже не успеть и никуда не уйти от потопа. Еще не было слышно громовых раскатов, а там, в опаловых облаках, заносчиво и нахально уже клевались ядовито-белые молнийки. И Росстань притихла, готовясь принять на себя грозовые удары. Мария помнила тот час ясно до последней минутки. Все почернело, когда она с мужем бежала в деревню, все омертвело. Цветы на лугах и клевер. Закрывались белые одуванчики, исчезли пчелы, и воробьи не возились в заокольной траве. Враз во многих местах бухнули, раскололись черные западные небеса, и какая-то струнка в душе тонко заныла и оборвалась, не найти кончики, не связать...

Мария вытерла щеки и улыбнулась. Солнышко село, нигде не было ни души, только дорога, как живая, убегала к увалу. Мария еще раз оглянулась вокруг — нигде на много верст никого не было. Она встала на колени рядом с камнем, кусая губы и качая головой, поглядела на пустынный дальний увал. Сцепив ладони над лбом, она ткнулась головой в траву, распрямилась и запричитала: «Ой, приупали белы рученьки, притуманились очи ясные, помертвело лицо белое со великого со горюшка. Как ушел ты, мой миленький, не по-старому да не по-прежнему, во солдатскую службицу, по конец света белого, по край красна солнышка».

Она причитала легко, не останавливаясь и не напрягаясь. Слова причета свободно веялись в чистом голосе, слетали, будто, нескудеющая, крошилась в мир невозвратимыми крупицами сама ее душа, и чем больше крошилась, тем отраднее было и легче.

Мария словно вся переплавлялась в свой же голос. Она понемногу переставала ощущать сама себя, и уже нельзя было ничем остановить этого, причет жил как бы помимо нее: «Ой, остригли буйну голову, золотые кудри сыпучие, как на каждой волосиночке по горючей по слезиночке. Тебе шинель-то казенная не по костям, не по плечушкам, сапожки-то не по ноженькам, рукавички не по рученькам. На чужой-то на сторонушке все-то версты не меряны, все народы незнакомые, ой, да судьи немилостивы...»

Белая, такая же ночь была и тогда. Он уезжал на войну вдвоем с Павлом, а Мария провожала их до Росстани. Пока телега с пьяным Павлом спускалась вниз, Мария стояла на холме, и муж, держа на ее плече тяжелую руку, мусолил цигарку и все не давал Марии реветь, а она слушалась, затихала, но через минуту снова голос ее прорывался, и он опять успокаивал. Стучала все дальше и дальше телега с пьяным спящим Павлом, звездные вороха висели над ними. Сиренево-темное небо, если приглядеться, рождало новые россыпи звезд, дух теплого клевера мешался с прохладой еще не набрякшей росы. А муж обнял Марию торопливо и, как ей показалось, жестко и неласково. Без огляда пошел с холма, а она

даже не упала у этого камня, потому что ждала его через месяц обратно, самое большое через два.

Но пришла осень, а война разгорелась еще шире, не одна товарка стала вдовой, и страх по ночам часто душил Марию. Она возила тогда зерно, каждый раз возвращалась ночью, и ей чудилось, что на Росстани скулит и стонет нечистая сила. Точили во тьме тихие бесконечные дожди, под колесами всхлипывали дорожные лужи.

А утром однажды наползла на Росстань коричнево-серая мгла, крупные плоские снежины полетели на землю будто небесная перхоть. Пришла зима, да и не одна, а привела за собой еще зиму, другую, третью, и все голодные, такие жестокие, что, чем дальше они уходят в прошлое, тем кажутся страшнее.

По зимам на Росстань слетались всякие ветры, они наскакивали то с этой стороны, то с этой. И долго, жутко мятутся на склонах сухие снега, заносят прощальный камень, хоронят дорогу в один полоз. Мороз по ночам будто стекленил мягкие с осени звезды. Круглолицая недобрая луна бесшумно стелила по голубоватым снегам мертвую желтизну, а днями, растопырив громадные уши, вставало холодное солнце, замерзшие птички камушками падали в снег.

В такую зиму, глухой ночью, Мария ходила как-то в баню. Павел, двоюродный мужний брат, ждал ее у крыльца дома, стоял с засунутым в карман пустым рукавом полушубка. Вся деревня спала, а он не спал, стоял у крыльца. Мария обошла его, как косец в поле обходит сидящую в гнезде птицу, взялась за скобу ворот, а когда он пошел за ней в сени, она загородила ему дорогу, обдала его лицо громким шепотом:

— Ступай домой... Ступай, Павло Иванович, не обессудь... Ты бы хоть его вспомнил, посовестился... Ступай!

А Павел молчаливо опустил голову, ушел, и снег уже без острастки скрипел под его валенками. Был Павел холостой, и, когда пришел конец войне, он, не скрываясь от людей, явился однажды свататься. Пришел днем, в открытую, и, стоя посреди пола, с тяжелой радостью сказал ей:

— Зря ждешь, не придет! Не придет он, Марья, я там бывал, знаю, как без вести пропадают...

У нее потемнело в глазах, вся побелела от горькой злобы и плюнула ему в глаза. Ноги подкосило, закаталась на полу, скрученная, измятая жестокими словами безрукого. Очнулась, когда Павла уже не было, а дочка сидела в ногах, вздрагивала плечишками и швыркала полным слезинок носом — обличьем вся в него, в мужа...

Пропал без вести, ведь не убитый же. Никому не верила: ни бумагам, ни людям, одному сердцу. Живой, в плену где-нибудь,— может, угонили куда в Америку. Никак и не выберешься, либо нет на дорогу денег, а может, и не отпускают домой, держат в неволе, год по-за году.

Весной и летом Мария часто ходила на Росстань причитать. Выжидала, когда опустевала дорога, надевала что поновее. У Серого камня, может от ее слез, росла густая, с мягким подсадом трава. Привыкли к ней птицы. Летом горькие чибисы, ранней весной грачи белоносые и веселые жаворонки пролетали, считай, над самым ухом, одна кукушка не показывалась из своего усторонья.

Ой вы, гостьи вы наши, гостьюшки,
Дороги гостьи все любимые,
Погостили в гостях малешенько,
Что малешенько да смирнешенько,
Нету ни ветру же, нет ни вихорю,
Ни частого дождя осеннего.
Что от моря же, моря синего...
Что от моего дружка милого
Нет ни весточки, нет ни грамотки,
Ни словесного челобитьица!

Мария закрыла глаза и старалась представить чужую страну, но каждый раз не могла пересилить чего-то, мысли ее блекли, развеивались. Она то во сне, то как наяву ясно видела одну только ставшую за многие годы очень близкой картину: по широкой по ровной дороге идет усталый муж, на ногах сапоги, за плечами солдатский мешок, а в руке тальниковый пруток. Идет он не торопясь, почему-то хромая, а над ним мятутся густые ветки незнакомых чужих деревьев. И Мария до боли, до жалости чувствует, как хочется ему снять сапоги. Он шел, все шел и шел, все эти годы, и все эти годы Мария ждала его домой, готовая в любую минуту сбегать в лавку и затопить баню...

Над Росстанью белая ночь сковала прозрачную тихую мглу. Мария очнулась от чьего-то негромкого смеха. Взглянула на далекий увал: там, около бескрылой коковки старой ветрянки, уже еле видимая, терялась, спускалась в сенокосную падь дорога.

Дорога была безлюдна, недвижима. Возглас, будто рыбий всплеск на речке, повторился, и Мария, вздрогнув от какого-то предчувствия, обернулась и вдруг внизу меж копен увидела белое, с розовой оторочкой платье дочери.

«С кем это она, дочка-то?» Мария вся напряглась, что-то захолонуло у сердца, беззащитная, как перед смертью, она заслонилась ладонями. Тревога ее все нарастала, копилась у горла между ключицами, и Мария, стараясь остановить что-то непосильное, с надеждой открыла глаза. Но белое платье никуда не исчезло.

«Большая уже дочка-то, невеста... Господи, невеста!..— Мария вдруг обессилела, руки у нее ослабли.— Дочка — невеста, господи... Сколько годов-то минуло, водицы сколь утекло».

Никто не шел по дороге, ни одной живой души не сопровождал сонный вечерний чибис, взлетевший над лугом ни с того ни с сего. Только упрямый туман наплывал на дальние пади.

И теперь тревога и страх перед неизбежным чем-то сменились вдруг ясной и страшной от этой ясности мыслью:

«Не придет. Нет, видно, уж. Не придет, никогда, ни завтра, ни после».

Мария с полминуты отрешенно смотрела в траву. Потом вдруг косо и медленно повела головой: странный нутряной голос, готовый жутким криком вырваться в небо, в белую эту ночь, так и остался по ту сторону зубов. Она ничком упала в траву и вся затряслась, задергалась будто подбитая птица, остановилась, опустела. Она долго лежала так на траве, на Росстанном холме.

Трава пахла землей и дневной жарой, луна встала высоко над Росстанью. Постарелая и обессиленная Мария долго, трудно осмысляла и этот запах травы, и эту лунную, без жизни золотую смуту. Сердце тукалось прямо в теплую землю.

Луна висела над Росстанью, туман поднимался внизу, в луговых падях. И Мария заплакала: матушки, милые, небеса не упали на землю и гром не гремит на белом свете. Земля не раскололась под ней, нет нигде ни огня, ни дыму, прежние стоят стога и копны. И солнышко утром вдругорядь взойдет над лесом, а люди опять пойдут косить сено. Коровы замыркают, закипят самовары. Только его нету, нет и не будет, и ждать-то больше некого, и на Росстань-то ходить нечего. Двадцать пять годов ждала, ждала его, голубчика. Ждала, а он лежал мертвый в чужой земле. А может, от веры этой легче было лежать в чужой земле его костям, может, знает он, слышит ее сейчас? Не слышит, не знает...

Мария, сидя на камне, легонько качалась, словно кланялась земле, принявшей его и ставшей теперь им самим, и теплые слезы остывали на шее от ночной свежести.

Она опять услышала тихий смех и говор. Оглянулась: между копен внизу ходили, будто плутали, Сережа и дочка. Дочь, как и Мария тогда, двадцать пять лет назад, ходила с парнем по Росстани. И теперь Мария уже спокойно, с отрадной тоской долго глядела на них. Глядела сама на себя, молодую и рожденную заново. Нет, не бывала она, Мария, вдовой ни дня, ни недельки, только сейчас, в эту сенокосную ночь... Опять ходит она, Мария, ходит дочка по молодой росе, и пиджак на девичьих плечах, точь-в-точь как и тогда, черный, и в молодых руках желтый венок из купальниц, и она тоже садится на корточки, сжимая плотно коленки, срывает купальницы. Ясное дело, не знаешь, чего делать, вот и срываешь цветы и плетешь венок либо теребишь, мнешь по-всякому белый платок.

Она взглянула опять на дорогу, дорога стала темней и короче. И снова вскипели в груди слезы. Над Росстанью плыла летняя тишина, вся равнина внизу потемнела, потому что луна закатилась за случайное облако.

Мария тихонько, не шевеля губами и не двигаясь, плакала и глядела на дочку, пока они с Сережей не исчезли меж копен. А там дальше, внизу, такие широкие раскидались туманы. Они кутали давно скошенные ложбины рек и ручьев, обтекая пригорки

и стога в низинах, и остроконечные шапки этих стогов будто плыли по серому туманному молоку. Плыли и не могли уплыть. А из его глубин, как из-под воды, слышен был то крик дергача, то заглушенный влагой, беспомощный и милый клик по-детски испуганного жеребенка.

ПРЕЖНИЕ ГОДЫ

Иван Афанасьевич по-настоящему расстроился, когда вскоре после нового года стало ясно, что корова оказалась нестельной. Сокрушалась и жена: всю зиму ждали молока, сена до свежей травы хватило бы, а корова подвела, и Ивану Афанасьевичу осталось только развести руками. Правда, вдвоем прожили бы и на постном, была насолена кадушка рыжиков, огурцы имелись тоже, но весной должна была приехать из Архангельска маленькая внучка, и старики тужили, что не удастся побаловать ее молочком.

— Оно дело, конечно, нехорошее,— тоже сочувствовал Ивану Афанасьевичу сосед Рылов,— без молошного какая ребенку приятность. А особенно городские, оне жиденькие.

После этого Иван Афанасьевич затужил еще больше, но однажды пришел и выручил тот же сосед Рылов. Он от кого-то услыхал, что в Раменье, километров за пятнадцать отсюда, одна старуха сдает стельную корову государству на мясо. Рылов посоветовал написать старухе письмо, и ежели правда все, то свести корову, променять ее на стельную, поскольку все равно, какую корову сдавать на мясо. Иван Афанасьевич так и сделал. Он написал письмо, а на масленой неделе пришел ответ, где говорилось, чтобы зря время не тянули, а гонили нестельную корову скорее, что, наверно, сговорятся и дело сладят.

— Вот и ладно, Афанасьевич,— сказал по этому случаю Рылов.— Твою корову полдела менять. Корова — как печь, ребра не прощупаешь.

На другой день Иван Афанасьевич собрался в Раменье, надел новые валенки, ватный пиджак, связал из веревки что-то вроде недоуздка и пошел в хлев. Жена увязалась за ним и заплакала украдкой: все-таки корову держали много лет, привыкли к ней и было жалко.

Иван Афанасьевич вышел из деревни незадолго до обеда, решив, что успеет вернуться к ночи домой. Погода была теплой, дорога хорошая. Корова шла сперва худо, дергала головой, то забегала вперед, то упиралась, но потом стала послушна, и Иван Афанасьевич даже закурил дорогой. Было уже тепло, снег отсырел и не скрипел на морозе. Дорога в иных местах уже отмякла, многие

дома в деревне и придорожные гумна отсырели и от этого потемнели. Иван Афанасьевич шел не спеша, но споро, думал о своей жизни и не заметил, как пришел в Раменье.

В этой деревне Иван Афанасьевич не бывал давно. Еще до войны приезжал сюда покупать деготь, тогда здешние мужики заготовляли смолье и гнали деготь на продажу. С той поры не бывал и теперь удивился, какая маленькая стала деревня. Одного посада совсем не стало, другие два посада поредели и были похожи на беззубый рот: тут дом да там дом, да двор в середине.

У встретившейся ему женки Иван Афанасьевич спросил, в каком дому живет старуха, которая меняет корову. Женщина показала на большой опушенный дом с черемухами. В ворота был воткнут батог.

— Ты, дедушко, иди не бойся, батог-то у нее только так, для виду, а сама-то она не ходит никуды почти что.

Иван Афанасьевич послушался, привязал корову к стелюге, на которой пилят дрова, отставил батог и торкнулся. Ворота были не заперты, Иван Афанасьевич по лесенке поднялся кверху и, нагнувшись, вошел в избу.

— Ночевали здорово? — сказал Иван Афанасьевич и снял рукавицы.

— Поди-тко, здравствуй,— ответила на приветствие хозяйка. Она сидела у стола и кропала иглой то ли передник, то ли скатерку какую. В избе пахло пирожной закваской. Иван Афанасьевич сел на лавку и вдруг узнал хозяйку:

— Анна Константиновна, ведь это ты, кажись. Гли-ко, матушка, сколь годов не видал! Ой-ей-ей, вот тебе раз!

Старуха поглядела на Ивана Афанасьевича.

— Что-то не могу спомнить. Да не Иван Офонасьевич? Ой, парень, сколь время-то прошло, годов двадцать прошло, поди, а устарел тоже, как и я, батюшко, вот ведь как,— тоскливо смеясь, говорила хозяйка.

Она отложила работу и продолжала, не останавливаясь:

— Да, каково живешь-то, детки-то где, да все-то расскажи-ко. А мне бы не узнать тебя, ежели бы не голос, по голосу только и узнала.— Так говорила Анна Константиновна и все качала головой.

Иван Афанасьевич тоже качал головой, и они начали вспоминать и говорить о том, что вспоминалось. Вспомянуть же им было чего. Годов тридцать тому назад, еще, пожалуй, до колхозов, молодым парнем, Иван Афанасьевич гулял с Анной, собирался жениться, но что-то тогда у него не вышло дело. Женился совсем на другой девке, Анна тоже вышла, как потом оказалось, за нелюбого. После того Иван Афанасьевич раз или два еще видывал свою бывшую сударушку, а потом и забылись прежние годы. «И вот когда опять встреча приспела,— думал Иван Афанасьевич.— Старики стали, а поди-ты, все ведь помнится».

— Когда, матушка, и жизнь прошла? — Иван Афанасьевич снял ватный пиджак и повесил его на гвоздь.— Давно ли вроде

у столбушки с тобой сидели. Как вчера было все, ей-богу, а ведь уж десятка три с половиной годов прошло.

— И не говори,— махнула рукой Константиновна.— Как во сне все привиделось, как во сне, все девалось куда-то, будто и не жили, будто и не было ничего.

— А ведь было, Константиновна, все было! А я ведь и по сей час не знаю, чего это у нас тогда дело рассохлось.

— Чего уж теперь, парень, споминать прежние годы.

— Да ведь занятно, девка, хоть и прежние годы, а занятно.

— Как не занятно... Дело прошлое, а в те поры ты, Офонасьевич, виноват был, ты. Век не забыть, как с беседы-то тогда ушел, перетянули тебя высокие хоромы.

— Да ведь ты сама, Константиновна, тогда с Олехой переглядывалась, а я и думал все, дело кончено, раз Анютка за Олехой погонилась. Да ведь ты, кажись, за его, за шадруна, и вышла тогда, в Силино. А как ты в Раменье-то попала?

— Да как попала. Так и попала, что того же году сгорели мы, а он в Раменье этот дом купил. Того году мы и переехали сюда, тут стали жить, деток троих накопили. Два сына у меня было да дочка, а как война-то стряслась, так ребят-то сразу на позиции и взяли, в Кошубе сперва оне у меня стояли, а потом кряду и сгинули оба. Хозяина-то тоже в том году угонили. Приехал он из Судостроя — там служили в стройбатах — приехал, в баню сходил, недельку пожил да и умер. Остались мы вдвоем с дочкой да и жили двое, пока она в Мурманское не уехала. Вышла тамотка, а я вот и живу теперь одна. Корову-то стало не под силу одной соблюдать: много ли сена в загороде накосишь, а косить не дают, только проценты... А какая я теперь кошеница? Вот и сдумала отдать на мясо коровку-то...

— А ведь я, Константиновна, к тебе свою корову менять пригонил, вон у ворот стоит.

— Да я уж чула, Офонасьевич, чула, да ты бы хоть ее во двор пока загонил с улицы-то, а я бы пока хоть самовар согрела, а уж потом и сладим, благословясь.

Иван Афанасьевич вышел на улицу, хотел открыть воротницу двора, но от снега ее нельзя было открыть. Он взял лопату, откидал снег, с трудом открыл воротницу и завел корову во двор. Константиновна вышла из избы:

— Кинь, Офонасьевич, сена-то, мне уж теперь куда его жалеть: останется — все равно, немного его и есть, продавать нечего.

— Ладно, Константиновна, кину, матушка,— и Иван Афанасьевич снова вошел в избу.

— Да, девка, вот она какая жись-то,— Иван Афанасьевич закурил на лавке.— А мы со старухой тоже одне остались. Детки все разъехались кто куда. Один тоже в Мурманске. Двоих тоже на войне убило, а этот в Мурманске. А живем вроде и ничего, в достатке, только уж больно невесело без ребят...

— Да каково в колхозе-то у вас? — спросила Константиновна, ставя самовар и открывая тушилку с углями.

— Как тебе сказать, матушка, трудодни хоть и отменили, на денежную перешли, а особого толку пока не видно. На животноводстве еще можно заработать, а вот на разных работах не больно-то заработаешь. Ну да все ж таки не то, что раньше, лучше стало. Председатель у нас ничего, мужик расхожий, все на лен жмет да на молоко, вроде и подается дело.

Вскоре зашумел самовар, Константиновна выставила чашки и сахарницу, нарезала пирог, принесла капусты и заварила чаю. Иван Афанасьевич сидел за столом, пил с блюдца, слушал, поддакивал Константиновне, и они все говорили и говорили о прежних годах.

— Вышел я, Константиновна, из конторы, а ночь... ткни в глаз — ничего не видно. Правленье-то до полуночи затянулось. Пошел домой один, а, понимаешь, возле церкви — ты знаешь эту дорогу — возле церкви, значит, иду, не то, чтобы боюсь, а так вроде неловко что-то. Вдруг, чую, слева колоколец вроде брякнул. Думаю, лошадь ходит. Иду, значит, батогом землю щупаю, чтобы в канаву не попасть, а колоколец-то уже не слева, а справа. Что, думаю, за причина такая: в этой бригаде и конюшню давно на дрова истопили, откуда тут лошади. Да. Иду, значит. А вдруг позади меня брякнуло: уже не колоколец, а бубенец — тоненько, тоненько эдак. Остановился я это, понимаешь, а темень так на меня сверху и давит, так и давит. Только к церкве-то подошел, вижу: белой простенок обозначился. А колоколец да бубенец опять, понимаешь, да вроде еще ближе, еще явственней. Я это батогом-то махнул, так сердце и забилось. Сроду не блазнило, а тут весь трясусь, но все же иду. Только церкву-то прошел, а на кладбище как хрястнет, а колоколец да бубенец все тише, тише так, дальше все и слева, вроде и справа, и сзади меня. Вот, девка, пришел домой, а наутро почтальенка и принесла извещение на Николая, это на младшего-то...

Иван Афанасьевич поставил блюдце, и Константиновна налила ему в чашку чаю.

— Пей, Офонасьевич, пей, вода дырочку найдет, пей, батюшко, да сахар-то бери, не жалей. А у нас того году, когда угонили ребят-то, того году все курица пела. Как утро, так и запоет, так и запоет, я уж говорю Олексею: «Сверни ты ей, проклятой, шею, чтобы не пела, беду не звала». Как в руку положила, обоих решили... И с девками-то, красные солнышки, не погуляли...

Константиновна вытерла глаза передником, передвинула тарелку с пирогом.

— Ешь, Офонасьевич, ешь, да капустки-то попробуй. Вот как только война-то кончилась, у меня дочка сразу и средилась ехать. Я говорю, что жила бы дома-то, в экую даль ехать... «Нет, поеду и поеду». Уехала да кряду и вышла. Мужик-то сперва добро жил, а потом начал на сторону заглядывать. А ведь, сам понимаешь, Офонасьевич, ежели какая скотинка разок походила в чужом ого-

роде, так ей и вдругорядь туда охота. Прожили оне год-другой, да и разошлись. Теперь вот вышла опеть, а от того двое осталось, да и с этим двух накопила. Добро живут, всего у них накуплено, а здоровье худое стало, я говорю: ехали бы домой, тут и корова, и все свое, стали бы жить. Так нет... Гли-ко, Офонасьевич, что ноне придумали, почитай кажинный год оборт. В прежние годы бабы не неволились, а теперь, как завелось немножко, так сразу все и выскребут. А разве это хороше для здоровья? У тебя-то много ли внучат?

— Тоже, Константиновна, блудить блудят, а ростить робят неохота. Тоже на корню изничтожают.

— Вот я и говорю, в прежние годы не думали ни о чем, есть так есть, а нет, так и бог с ними, с детками-то. А в позапрошлом году, гли-ко, парень, я ведь сама к им туда удумала ехать. Только не могу я там жить: душит меня тамошним воздухом. Ты, говорят, чаю не пей. А разве из-за чаю? И пью-то по две чашки. Выводилась с маленьким, в детсад сдала да и уехала.

Иван Афанасьевич пил шестую чашку, Константиновна рассказывала, он тоже говорил ей про свою жизнь.

В избе начинались уже сумерки. Иван Афанасьевич встал из-за стола, сказал: «Спасибо за чай».

— Так что, Константиновна, надо бы насчет коров-то...

— А чего, батюшка, обратывай да и веди с богом. Она у меня на пасху должна отелиться, доит добро, а у тебя корова тоже добра, гляжу. Ежели тебе по ндраву, так и говорить нечего.

Константиновна надела фуфайку и вместе с Иваном Афанасьевичем пошла во двор. Иван Афанасьевич поглядел новую корову и, не раздумывая долго, решил гнать ее домой.

— Думаю, что ты, Константиновна, на меня тоже в обиде не будешь. Она у меня еще о трех теленках, молодая, а вот нонче что-то не обошлась, хоть и к быку гонял два раза, а не обошлась.

Иван Афанасьевич открыл ворота, вывел из хлева новую корову и закурил еще, а Константиновна стояла и глядела на свою корову.

— Ты уж береги ее, Офонасьевич...

И высморкалась, утираясь концом ситцевого платка и моргая глазами.

Иван Афанасьевич вывел выменянную корову на улицу.

— Ну, прости, Константиновна.

— Прости, Офонасьевич.

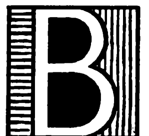
На улице было тихо и тепло, мягкая темнота уже расплылась по деревне. Иван Афанасьевич шел о бок с коровой по отмякшей дороге, подгоняя животину концом веревки, и все думал, думал о жизни, думал о себе, о Константиновне, о жене и о городской внучке, думал о соседе Рылове.

Да мало ли возникает всяких дум у пожилого человека, особенно если вспомнить молодость и прежние годы!

РЕЧНЫЕ ИЗЛУКИ

Я какую вам вину сделала?
В чем гораздо провинилася?
Иль амбары хлеба выела,
Сундуки платья износила?
Иль ключами обтерялася,
Золотой казной обсчиталася?

(Из старинной народной песни)



июне Ивана Даниловича Гриненко послали на север покупать лес. Когда раздвинулись каленые одесские горизонты и вагон завыстукивал на перегонах черноземья, у Гриненко неожиданно затихла сердечная канитель. Еще тише и умиротворенней стало на душе по дороге от Москвы к Вологде. Словно от прохлады зеленого северного лета потухли угольки непрерывных забот, уступая место теплу тихих и грустных раздумий.

Раздумья же и легкое волнение были вызваны не только дорожной праздностью. Давно когда-то, в войну, Гриненко восемнадцатилетним юнцом целое лето служил в северных местах, косил для армии сено, и теперь всплывали в памяти картины его солдатской юности.

Утром, в конце белой ночи, пахнущей вчерашним дождем и черемухами, он сошел с московского поезда и пересел на пароход. Старинный колесник с двумя холодными и чистыми палубами, с белоснежной рубкой, с хлопочущим в синем воздухе вымпелом долго стоял у пристани, с большим креном налево, он, как старый и сильный хлебороб, у которого одно плечо выше другого, отдыхал на широкой воде, будто впаянный в ее светлую столешнину. Только где-то в самом нутре ровно посапывала машина. Мальчишка-матрос цибаркой на веревке черпал из реки воду и поливал нижнюю палубу. Подняв ведро, он поправлял фуражку и кричал девчонке-кассирше, стоявшей на дебаркадере:

— Эй, куроносая!

«Куроносая» притворялась, что не слышит, и Гриненко с улыбкой старшего наблюдал за ее намеренно равнодушной беседой с теткой-уборщицей. Вот ни свет, ни заря на велосипеде подкатил к пристани босоногий подросток, другой же удил рыбу с бона; прошла по берегу баба, поглядела на пароход и, не торопясь, пошла дальше. Пассажиров почти не было, а может, они еще спали в каютах. Вдруг из-под карниза дебаркадера на всю реку громко зашипел репродуктор, потом неторопливые позывные рассыпались над водой. Репродуктор, старомодный, в виде ящичка, был весь, как пчелиными сотами, облеплен гнездами ласточек. Касатки садились прямо на него, их ничуть не смущали раскаты гимна, и это сочетание птиц и музыки позабавило Ивана Даниловича. Он подумал о

том, как весело им живется, этим ласточкам, в соседстве с музыкой и новостями всего мира.

В это время пароход гукнул, и мальчишка-матрос ловко и сноровисто размотал канат, кинул его на палубу, прыгнул сам, успев, однако, задеть кассиршу. Девушка заругалась и замахнулась на пароход теткиной шваброй.

Гриненко по трапчику вышел на пустую верхнюю палубу: спать не хотелось. Кругом было молочно-синее небо, голубая вода и зеленые берега с редкими деревнями. Он сел на реечную скамейку на носу парохода, где не жаркий и не холодный ветер хлопал вымпелом. Тот же ветер доносил с берегов запах черемух, петушиные крики, точь-в-точь как дома, в колхозе в Одесской области. Только там нет такого черемухового запаха и вишни давно отцвели, давно прошло ощущение весны. А здесь оно вернулось к Ивану Даниловичу, и ему опять вспомнилась жена Маруся. Ах, Маруся, Маруся!.. Вспомнилось, как во время весеннего сева до слез обидел ее, обидел нарочно; вспомнил, как быстро забыла она эту незаслуженную обиду. У них с Марусей не было детей. Иван Данилович иногда тосковал от этого, хотя и любил ее, как раньше. Весной, подвыпив однажды, он увидел в зеркале свои седые волосы, а в окошке соседского хлопчика, сказал жене злые слова. Она тихо расплакалась, и ему было приятно, что она плачет. Эх, Маруся, Маруся!.. Уезжая в командировку, он равнодушно, по обязанности, обнял ее, сухо чмокнул в смуглый висок. И вот теперь, в дороге, все думал о ней, стараясь жалеть ее больше, чем себя, но у него ничего не получалось.

Пароход, приближаясь к излуке, опять загудел. Навстречу буксирчику капитан махал из рубки флагом; берега здесь как будто сдвинулись. Излука огибала высокий холм с белой головастой церквухой. Судно миновало холм, река выпрямилась; навстречу медленно прошел длиннющий плот с шалашами плотогонов. Костры на плоту, разложенные ночью на дерновых подкладках, сейчас еле дымились, плотогоны отсыпались в шалашах, пользуясь тихим фарватером, и ноги их босые торчали из шалашей.

Иван Данилович долго сидел на палубе. Потом спустился в буфет и выпил пива. Оно было резким и холодным. На нижней палубе, на рундучке, уже играли в «козла», мальчишка-матрос чинил тельняшку. За бортом, чистая как слеза, плескалась вода.

«Ах, Маруся, Маруся!..» То ли от пива, то ли от недоспанной ночи Гриненко задремал на диванчике и сквозь шум пароходного двигателя слушал призрачный плеск северной реки, крики баб-пассажирок, сипловатый, словно похмельный, голос гудка.

Река была длинна, солнечна и немного печальна своей тишиной. Богатая излуками, она похожа была на самую жизнь, долгую и никогда не повторяющую прошлое. Иван Данилович заснул с ощущением счастья и той же легкой неосознанной грусти.

Но откуда же было прийти, отчего затеплиться этой грусти? Проснувшись, он долго лежал не вставая. Глядел на матовый плафон и нарочно не глядел на часы, чтобы продлить то тревожно-приятное состояние, когда не знаешь, который час, утро на дворе или вечер. Во сне к Ивану Даниловичу приходили так же смещенные по времени образы прошлого. Их очередь путалась еще и сейчас, когда он уже не спал; и ему так мучительно хотелось, чтобы они подольше не вставали на свои места, не отодвинулись, не растаяли.

«Ах, Маруся, Маруся!..» Но ведь ему снилась не она, не Маруся — вернее, она, только образ ее был объемнее, шире, потому что нес в себе черты еще другой женщины, не Маруси. Этот образ был так явствен, такой горечью и волнением веяло от него еще и после пробуждения, что Гриненко несколько минут не мог вспомнить действительную Марусю, жену, такую, какая она есть. Наконец он вспомнил жену такой, какая она была в яви, отделилось от нее привнесенное фантазией сна, и тут Ивана Даниловича ослепило, обожгло сладкой тоской. Стояла в глазах не Маруся, а та, другая, давнишняя — самая первая. И теперь Иван Данилович уже знал, чем разбужена в нем эта томительная неосознанная грусть. А разбужена она была еще утром, на пристани, когда он услышал горько-сладкий запах черемух и холодящий запах речной воды — те запахи, что плавали над покосами дальним военным летом здесь, на севере...

Гриненко умылся и тихо, с напряженными скулами, вышел на палубу. Он ступал осторожно, будто боялся растерять драгоценные блестки невозвратимого счастья, что так ясно возродил сон.

Он не узнал парохода. Солнце катилось теперь с другого борта, и казалось, что пароход идет в обратную сторону. Везде было людно: женщины, мужики, детишки сидели на рундуках, на приступках, на мешках и на чемоданах. Где-то плакал ребенок, кто-то запел, играла гармошка; опять гудел пароход, опять наплывали с боков зеленые берега, и упругий вал катил и катил вослед пароходу.

В буфете, еле протолкавшись к стойке, Гриненко взял стакан вишневого, пахнущего краской вермута, заказал поесть, сел на освободившееся местечко. За столиком сидел подвыпивший здоровенный дядька с типично северным обличием.

— Съел, понимаешь, суп, все равно, что возле себя положил,— весело сказал он.— Дай, думаю, хоть красного...

У дядьки серый хлопчатобумажный костюм надет поверх новой синей рубахи, сапоги пахнут дегтем, ясные глаза глядят сразу умно и наивно, а губы все время складываются в улыбку, и дырчатый, картошиной, нос от этого весело морщится.

— Что, далеко едем? — спросил Иван Данилович.

— Да какое далеко, и всего-то две пристани, а уж больно тоскливо без дела. А ваш путь в какие места, не знаю имени-отчества?

— Иван Данилович.

— А меня тоже Иваном.— Дядька громадной лапищей взял стакан с вермутом.— Вот и чокнемся. За знакомство для аппетиту.

Гриненко сразу чуть захмелел, съел немудрящий обед и, почувствовав, как подкатывает жажда общения, разговорился:

— ...говоришь, мало стало лесу? Нам ваш лесок тоже вот где сидит, каждый сучок влетает в копеечку. Одна попенная плата, да за вагон заплати, да трактористам.

Гриненко вдруг стало обидно. Обидно оттого, что возвращается обычное, повседневное и что какая-то деталь сна уже ускользнула. Стараясь закрепить в памяти то, что так волновало, что было так дорого, он слушал дядьку, и дядька тоже напоминал своим окающим выговором то военное лето, прожитое Иваном Даниловичем в этих краях. Вот такая же речь, как раз так звучали круглые северные слова тогда, в северной тихой деревне, растревоженной наездом солдат-сенокосников.

— Знамо, в копеечку! — бухал дядька.— Ежели бы наш лес да к вашим хатам, а нашим бы полям вашего тепла. Все дело природа неловко наделала. Я вот,— дядька закурил,— я вот когда на войне был, так нагляделся, каково людям в безлесных местах. И топят соломой да навозом, как его...

— Кизяки.

— Вот-вот, они самые! Сам-то служил в солдатах?

— Воевал.— Гриненко махнул рукой.— А до фронта и в здешних краях пришлось побывать. Сено косили в ваших местах.

— Да ну?! — Дядька искренне обрадовался.— А я тоже войну отбухал, и все в самом огне, четыре ранения вынес. Как жив остался, неведомо. А живу я, Иван Данилович, добро. Вот на свадьбу к старшей дочке еду.

— Не одна, что ли, дочка? — спросил Гриненко.

— Какое одна, три штуки! Вон две со мной едут, а та, старшая, вышла на днях, в том районе агрономом работает.

В буфете стоял гул, голос гармошки затухал в этом шуме, и все так же плыли за окном зеленые берега, плоты, буксиры, излука за излукой.

— ...хорошие девки,— рассказывал дядька.— Ягоды, а не девки! Всех ребят, какие в колхозной наличности, с ума посводили. Добры девки, уж не пообижусь. Да вот пойдем, Иван Данилович, наверх, сам увидишь, ей-богу!

Дядька достал трешник и купил еще вермуту. Иван Данилович видел, как он уговаривал буфетчицу, шутливо грозил ей жестким пальцем: «Да ты что, матушка, что, разве я пьяный? Какой же я пьяный, разве это пьяный?»

Они поднялись наверх.

По-прежнему излука сменяла излуку, змеились плоты и висели над рекой неспешные облака, клубясь и уходя в синюю, уже подернутую золотистой мглой предвечернюю даль.

— Девки. А где мои девки? — озорно крикнул совсем повеселевший дядька. Он пробирался между чемоданами и корзинами.— А вон мои девки! Вон они, мои голубушки! Зинушка!

— Да ты не ходи, тут посидим,— сказал Гриненко, и дядька согласился.

Они оба пристроились на пожарном ящике. Иван Данилович курил, разглядывал сестер. И опять, словно во сне, ощущал счастье и тревожно-неуловимую, совсем не мужскую, почти мальчишечью, грусть. Там, на носу парохода, играла другая гармонь, не та, с нижней палубы, а другая, и здесь пели не частушки, а длинную, незнакомую Гриненко песню, но она своей мелодией была так похожа на ту, давнишнюю, слышанную Иваном Даниловичем в здешних местах. Девушки-сестры стояли за спиной играющего парня; они, кажется, не пели, Гриненко видел только одну, в профиль. Обе беленькие, полненькие, словно груздочки, в легких платьях, они держались друг за дружку, то и дело прыская в свои платочки. Мальчишка-матрос под шумок вертелся около них, тоже, наверное, называл «куроносыми» и показывал какие-то фокусы на пальцах.

— Зинушка! — окликнул отец одну из дочек.— Иди-ко сюда, принеси нам стаканчик. Да и корзину с пирогами сюда волоки. Ну вот, по вину и укупорка!

И начал распечатывать вермут. Иван Данилович взглянул на полную невысокую девушку, и у него вдруг захолонуло в груди. Она шла с корзиной по палубе, ближе, ближе... И давнишнее, забытое чувство сладкого тревожного восторга все нарастало с ее шагами, словно возвращалась к Ивану Даниловичу военная молодость, когда он был двадцатилетним солдатом и когда такие же ласковые глаза глядели на него в сенокосный полдень, когда таяли над стогами грешные белые ночи. Он отвел взгляд. Потом снова глянул. Это были те же глаза, те же большие загнутые ресницы. Даже белая мочка уха и завиток волос на щеке были так негаданны, волнующи, что он не поверил глазам и торопливо, в три глотка выпил вино.

А девушка остановилась рядом, застегивая пуговицу на отцовой рубашке и улыбаясь, а тот, наливая себе, говорил:

— Теперь уж эта, Данилович, на очереди замуж идти. Правду говорят: дочь — чужое сокровище. Зинушка!

Но Зина застеснялась и убежала к сестре, к песне, к теплому вечернему ветру, а Гриненко, весь растревоженный, почти не слушал дядьку.

— ...одна по-за одной, так все и разбегутся. Эх, мать честная! Вот, брат Данилович, жизнь она какая! У тебя-то есть это наследство?

Гриненко долго не отвечал, а очнувшись, сказал, что нет, детей у него нет. Новая речная излука открыла широкую пойменную равнину, гудок нарушил сочувственное молчание соседа, и мужчины допили из бутылки.

— Девки, девки...— Дядька по-трезвому покачал головой.— Девки, оно, Данилович, тоже дело хорошее, а все ж таки хоть один бы парень в дому был, так мне бы ничего больше не надо.

Помню, пошел на позицию, вызывает военкомат, а женка с этим делом осталась, натяжеле, значит. «Гляди,— говорю,— Настюха, и так две девки родила, ежели и на этот раз парня не родишь, позор будет на весь сельсовет». Ну, распрощались, заревела она. Так без памяти и оставил ее...

Несколько ребячьих голосов пристроилось к девичьим, пристроилось неловко, грубовато, словно ребята стеснялись петь, скрывая за шутливостью в голосах неположенную мужчинам нежность. Затихли и пригорюнились на узлах многие тетки, даже пароход как будто приглушил свое жаркое дыхание.

Вот так же затихала земля и умолкали женщины, когда солдаты, спрессовав накошенное за день сено, брали в каком-нибудь дому осиротевшую гармонь и пели в деревне. Под эту песню и встретил Гриненко свою первую и последнюю любовь, встретил почти мальчишкой в бревенчатом сеновале, когда белая ночь была так светла, что Настя ясно увидела, как быстро наливались краской стыда еще совсем мало бритые солдатские щеки. Позднее, уже в доме, уложив трех крохотных дочек, она приходила к нему на поветь, и еще долго-долго пели петухи, пока стыд уходил и приходила смелость, и гордость, и мужская уверенность, что так понадобились потом на фронте...

Гриненко, слушая дядьку, очнулся, вздрогнул.

— ...В Кошубе, помню, сформировали нас, а немцы под Волховом тряхнули так, что только перья от нас полетели. Опять, значит, на переформировку. Шли тогда по голому полю, от взвода трое осталось. Мать честная! Чего не было, чего не нагляделся. Уж в другой раз, в третий ранило. Попал, значит, на Юго-Западный, вызывают из землянки: «Как фамилия?» Так и так, Громов. Гляжу, письмо. Распечатал, читаю — опять девка родилась! Поматюкался, грешным делом, да и пошел в бой — раз девка, так девка, никуда не денешься. Тут меня опять и хлобыстнуло. Очухался в госпитале за самым Уралом. Пооткормили меня, поотлежался, да и вдругорядь на фронт. Гляжу, дело-то уже не то. Вырос лес, да выросли и топорища. Немец к тому времени уж поостепенился, да и наши приосанились. Не то что раньше было, что в атаку шли, дак кто «маму» кричал, кто матерился; а теперь не так стало боязно, да и кормежка подналадилась. Слушаешь, Данилович?

Сердце у Гриненко, словно поперхнувшись, остановилось и заколотилось о ребра. Он дрожащими пальцами сдавил себе лицо, провел по щекам.

— Настей, говоришь, звали жену?

— Настасья.

Дядька не мог прикурить, спички не доставались из коробка и ломались в толстых, негнущихся пальцах.

— А деревня у вас какая?

— А деревня, Данилович, Роднички.

«Роднички, Роднички...» Мог ли не помнить Гриненко эти тихие Роднички, мог ли забыть дом с рябиновым палисадом!

Будто гирями, бухал в висок тяжкими словами сопутник:

— ...Так вот, о чем это я? Да, насчет бабы. И войны. Воевал, воевал, дошли до Карпатов. Опять ранило, живого места нету. Письма от женки были сперва, а потом нет и нет. Один раз приходит письмо, старшая пишет, этакие каракули на школьной тетрадке. Поглядел, екнуло мое сердце. «Что,— думаю,— за причина такая?» Так и так, папа, приезжай, значит, скорее домой, ждем тебя, а про матку ни слова, ни полслова.

— Не писала, говоришь? — Гриненко яростно бросил окурок в реку, ладонями зажал голову.

— Хоть бы словечушко! Да... Отвоевался, значит, приезжаю в свой район, до дому сорок километров на подводе осталось. Зашел в чайную.

Гриненко, зажмурившись и не двигаясь, молчал, слушал, и веко выдавило в морщинку светлую каплю, гуляли под кожей желваки. Перед ним опять светились глаза, такие же, как у этой девушки с парохода, и так же пьянил душу черемуховый запах, и тот же окающий северный говор звучал вокруг. Он открыл глаза: солнце и режущая синева речного плеса ослепили его, и гудок, известивший о новой излучине, на секунду заглушил голос соседа.

— ...зашел я, значит, в чайную. Гляжу, Сашуха — сусед мой, сидит, тоже жив остался, раньше меня приехал домой, да не весь приехал, ногу по самое колено отмахнули. Выпили, помню, мы, а Сашуха мне говорит: «Эх, Громов, на всю деревню остались ты да я — калека!» Я ему и говорю, что я тоже, как решето, весь в дырах, одни рубцы да пилики на коже, только, говорю, ладно хоть голова осталась. «Каково,— спрашиваю,— в деревне-то живут?» — «А вот,— говорит,— Ванюха, все бабы как бабы, у кого мужиков убило, а у кого живы остались, те все скурвились».— «Здря ты,— говорю,— эдак, Сашуха. Была бы изба, а сверчки будут. Ежели всех мужиков, кроме тебя, убило, так, выходит, все бабы, кроме твоей, хорошие».— «А ты, Громов, думаешь, что? Твоя тоже,— говорит,— с солдатами путалась, да и не впустую. Иди погляди на новый приплод». Екнуло у меня сердце, будто кипятком ошпарило. «Откуда,— спрашиваю,— тут солдаты-то? Фронта вроде у нас не было тут».— «А сено,— кричит,— для артиллерии кто по два лета косил?» Мне бы надо сразу в деревню ехать вместе с Сашухой, он на подводе был, а я, грешным делом, запил тогда. «Эх,— думаю,— куда куски, куда милостыньки!..» Загудел на весь райцентр, какие были деньжонки и часы трофейные — все за два дня просадил! Сашуха-то по лошади хлесть — и уехал, а я и поднапился. А здря!.. Не было бы никакой беды, ежели бы я тогда с ним в деревню приехал. Ведь что получилось? Сашуха, видно, приехал домой, да и рассказал, что Громов домой едет, загулял Громов... Очухался я на третий день, приезжаю в деревню.

Думаю: «Леший с ней, с бабой!» Я эту нацию еще до войны вызнал наскрозь. Думаю: «Что было, то было! Жить надо, наш брат на чужой стороне тоже уха не провешивал, тоже шабашничали». Думаю: «Надо и девок растить. Похлещу дуру ремнем для острастки, а потом жить надо». Эх, захожу на крыльцо, а у самого сердце так заболело, никто меня не встретил, ворота открыты, а в дому тихо! Старшая выбежала: «Папа, папа!..» С ревом прижимается к моей ноге, велика ли и вся-то была! Взял я ее на руки, захожу в избу. Гляжу, народу много, а все молчат, милиционер за столом сидит, пишет чего-то. «Что,— говорю,— бабоньки, худо солдата встречаете? А моя Настюха где?» Гляжу, Настя из кути кинулась ко мне на шею. Я ее оттолкнул немножко. «Погоди,— говорю,— потом поговорим, без постороннего народу». Бабы и соседи, какие были, вышли, а милиционер не выходит. «А ты,— говорю,— молодец хороший, что в моем дому забыл? Очисть,— говорю,— помещение. Я не таких на войне видывал субчиков». Он это поглядел на меня, да и тоже вышел. Осталась одна она, только девчушки еще наши сидят и словечка пикнуть не могут. Моя Настюха глядит, глядит на меня, глаза, помню, точь-в-точь как у теперешней Зинушки, большие, с поволокой... «Ну,— говорю,— что самовар не ставишь, что в лавку не бежишь? Может, самому тушилку открывать да лучину щепать?» Она бух мне в ноги. Я говорю: «Встань, дура, я не бог». Снял ремень, думаю, хлестну разок-другой, по заднице так, для дезинфекции, а потом пусть самовар ставит. «Что,— говорю,— остолбенела-то?» — «Иван, прости!..» Бух опять в ноги! «Где,— говорю,— дите, показывай!» — «А вон,— говорит,— мой позор на лавке, глядеть на ево не хочу и тебе не дам, удушила я ево». Плюнула она на тряпье. Гляжу — дите мертвое. «Что ж ты,— говорю,— паскуда, наделала? Что ж ты,— говорю,— дура ты такая, натворила? Тому я тебя до войны учил, чтобы живую душу губить?» «Эх,— думаю,— дура ты дура! Кто бы он ни был, а ведь он живой человек». «Всю жизнь,— говорю,— ждали с тобой, чтобы парня родила, а ты его... Хоть бы мужик рос в дому, и девкам бы веселее, и я бы радовался, и ты... Ну, похлестал бы я тебя — и дело с концом! Осиротила ты нас вдвойне. Такого парня сгубила! Для того я кровь проливал?» Веришь, Данилович, сел я на лавку и заплакал, как маленький. Всю войну прошел, не плакивал, а тут заплакал...

— Хороший был хлопчик? — Гриненко, кусая губы, глядел на сестер.

— Здоро-о-вый! Ручищи были, завойки, лежит как живой, а я сижу на лавке, посадил дочек на колени, а сам и слова не выговорю. «Дура ты,— думаю,— дура...»

Он высморкался, оглянулся. «Девки. А где мои девки?» Увидел дочек, и опять широченная улыбка раскинулась на его морщинистом лице, и, не зная, куда деть громадные руки, посовал их в карман, ища курево.

— Данилович, а Данилович? Может, еще бутылочку? Зинушка!

...Пароход опять загудел, густой, с легкой хрипотцой гудок запел над вечереющей похолодавшей рекой. Легкая гарь от мальчишьих костров приплыла с берега, вновь тихо вздохнули гармонные басы, и мальчишка-матрос, притопывая на ходу, исчез за рубкой, девушки-сестры принялись укладывать корзины.

— Ну, а дальше что было? — глухо спросил Гриненко.

— Дальше? Что дальше? Дальше ничего. Стали жить уже в мирной обстановке. Намаялся я с девками, хватил соленого, пока вырастил. Вдовец деткам не отец, а сам круглый сирота. Девки! Зинушка! Глядите, там у меня макинтош внизу, не забудьте! Настюхе моей восемь годов дали. Отсидела она да к нам и не показалась. Уехала к сестре в другую область. Спервоначалу-то я не женился, такое отвращение на всех баб напало. Сам стирал, помню, и печь топил, всю бабью работу хорошо делал, только пироги не мог научиться выпекать, все неудачи терпел, как Суворов. А тут и старшая у меня подросла, да и эти стали пораже. Вон какие они у меня! Я уж им ничего не жалею, платьев у каждой по шести штук. Папиросы не покупал, махорку палил, а одежу девкам справлял. Я, Данилович, добро живу.

Старуха старая-престарая,
Не больно старая,
На реку сходила по воду,
Ведро оставила,—

с той же хрипотцой, что у пароходного гудка, спел он и заторопился:

— Ну мне, Данилович, время, скоро наша пристань. А девки у меня хорошие. Девки! Зинушка!

Гриненко тоже встал.

— Что же, жива она теперь-то?

— А и не знаю, парень. Письма не бывало, а я куда буду писать? Да и не для чего, жизнь на закат пошла, осталось только дочкам радоваться да на свадьбах у них плясать.

Он вздохнул, надел кепку.

Пароход приближался к небольшой чистенькой пристани, уже вечерело, бордовое теплое солнышко скатилось за очередную излуку. Гармошка залилась в последний раз и затихла. Далеко на том берегу стрекотала в лугах косилка, и все так же пахло черемуховым цветом, речной водой и дальней гарью костра. Зина, старшая сестра, сбегала вниз за плащом, любовно накинула его на крутые отцовы плечи. Гриненко не слышал, как девушки ласково посмеивались над отцом, как, одергивая его пиджак, торопили к трапу. Гриненко смотрел на старшую Зину, и давняя боль, боль и любовь его солдатской юности застилали ему глаза, переходя в суровую, сдержанную горечь — каленую горечь мужского сердца. Прощаясь, он кивнул сестрам, сжав зубы, крепко стиснул широкую узловатую ладонь попутчика: «Сказать или не

сказать? Можно и сказать, он же хороший человек, он не обидится, он все понимает. Надо сказать. Но зачем?» Гриненко взглянул на белый девичий затылок, погасил волнение и еще раз стиснул узловатую ладонь. Попутчик, отвечая на пожатие, спокойно проговорил:

— А ты, Данилович, здря меня боишься... Я ведь хоть и не сразу, а определил тебя. Интересу много в тебе, весь ты как на ладони, вроде меня, не умеешь таиться. Ведь Гриненкой тебя кличут? Хохлацкая фамилия?

— Гриненко,— удивился Иван Данилович.— Как же ты знаешь?

— Так ведь в нашей деревне всё помнят. Всех солдат по фамилии знают, которые сено в войну косили. И отчество бабы запомнили, один был Данилович Иван. А карточку твою я в старых квитанциях нашел, девчушки ее затаскали да потеряли. Ты помоложе там был, парень, поядренее... Ну, ладно, ежели сторгуешься насчет лесу, может, еще и свидимся, выпьем по маленькой, военную пору вспомянем. Ох, парень, кабы войны-то больше не было!.. Мне так другую такую не выдюжить уж...

Он ступил на сходни — весь трап так и прогнулся под его громадной тяжестью. А Гриненко долго не мог разжать руки, сдавившие барьерную перекладину...

Пароход опять дважды гукнул и тихо, словно боясь вспугнуть тишину белой северной ночи, отчалил. С креном на левый борт, с добродушным басистым голосом он двинулся к новой излучине. Река дремала, курилась у берегов, и под этим сонным туманом не заметны были теплые, могучие, глубинные струи, переплетающиеся и без устали стремящиеся между зелеными берегами куда-то далеко-далеко, к неведомому холодному морю.

ЗА ТРЕМЯ ВОЛОКАМИ

1



трОм майор побрился и сменил зеленую форменную рубашку, с удовольствием выпил чай и рассчитался с проводником тоже с удовольствием и ощущением праздника. Поезд остановился в лесу, невдалеке от станции. Майор взял чемодан и вышел в тамбур. Необычная тишина утра и запах мокрой травы и деревьев поразили его, он спрыгнул на песок. У самого полотна белели солнцеобразные ромашки, лиловел иван-чай. Дальше, сразу за дренажной траншеей, начинался осинник, и оттуда слышались тонкие синичьи голоса.

Майор давно не знал такой тишины. Ему было странно и

радостно. Привыкший к никогда не стихающему гулу двигателей, он словно дышал этой первородной тишиной, дышал тишиной и сенокосным воздухом, совсем не похожим на тот воздух, в каком приходилось ему летать.

Паровоз легонько гукнул и зашипел белым паром. Вдоль по составу прошелся стук буферов. Майор на подножке доехал до станции.

Вокзал был новый, каменный, а на перроне, засыпанном черным мелким шлаком, было пустынно.

Он вошел в зал ожидания, огляделся. Здесь, пожалуй, все как и прежде. Тот же бачок без воды и с алюминиевой кружкой на железной цепи, те же деревянные «диваны» с внушительными буквами МПС и, что всего интереснее, тот же дурачок Митя дремал на одном из диванов. Майор сразу узнал его, хотя Митя намного постарел. На засаленном отвороте полосатого Митина пиджачишка по-прежнему сверкали всякие значки: старинный МОПР и бог знает откуда взятые значки московского праздника песни и Всемирного форума молодежи.

Митя пробудился, зевнул и попросил закурить, потом подтянул стянутые проволокой штаны и вышел.

Майор вспомнил, как первый раз приехал на станцию и как станционные ребятишки дразнили (тогда еще молодого) Митю из-за ограды, кидали в него палками и пели:

Митька дурак,
Навалил на табак.

Почему именно на табак, майор не знал и посейчас, но тогдашняя жалость к Мите кольнула сердце: неужели он все так же ночует на вокзале, кормится объедками, ездит с дачным?

Шумно вошли пассажиры, приехавшие с другим поездом. Молодая модница, брезгливо поджав губы, подостлала газету и уселась на том диване, на котором ночевал Митя. С нею был военный, тоже офицер; втащилась также толстая тетка с несколькими багажными местами. «Места» были зашиты в холстину, исписанную химическим карандашом, тетя ревниво поглядывала за поклажей.

— Товарищ военный, сколько-то у вас времечка? — обернулась она к майору.— Ну вот, рано еще, а как топерь попадать, и не знаю. Дорога-то, говорят, хорошая, а вот машины-то ходят ли.

— Вам куда надо-то? — спросил майор, с улыбкой подстраиваясь под забытое северное токание.

— В Негодяиху, Подсосенского сельсовета.

— Значит, мы с вами до половины попутчики, мне надо в Каравайку.

— Да чей будешь из Каравайки-то? — сразу обрадовалась толстуха.— Не Ондрия Тилимы зять?

— Нет, не Тилимы,— улыбнулся майор и объяснил, чей он будет.

— А я в Архангельском живу, уже девятый год с петровадни, а в Негодяихе у меня дом, да и баня не продана. А везу дрожжей. Ты-то где нонь живешь? — тараторила толстуха, доверительно перейдя на «ты» и словно зная, где майор жил до «нонешнего».

— На Урале, мамаша.

Майору было и смешно, и грустно, и радостно. Он оставил чемодан под присмотром тетки и пошел к чайной, где, по его предположению, легче всего можно поймать машину. Чайная только что открылась. Здоровый парняга в кирзовых сапогах, кряхтя, перекатывал бочку через порог.

— Пивко али квас? — спросил у парня какой-то старичок с корзиной.

— Морс.

В чайной, около засиженного мухами фикуса, под картиной, изображавшей когда-то графин, виноград и разрезанный арбуз, сидел Митя-дурачок. Увидев майора, он сразу ушел.

— Чего это он? — спросил майор у буфетчицы в чепчике.

— А не знаю. Он военных боится. Милиционеры его с вокзала все гоняют, так он думает, и вы милиционер.

Буфетчица рассказала, что машины в Подсосенье ходят, что позавчера ушло две, повезли два кузова водки, а будут ли сегодня, она не знает. Объявился еще один попутчик — молодой беловолосый парень, ехавший в отпуск к отцу.

— Второй день сижу караулю,— сказал он,— хоть обратно уезжай.

Тогда майор направился в райком, надеясь на то, что там есть какое-либо совещание, а значит — и люди из Подсосенья. Он вошел в вестибюль. Около раздевалки сидела то ли уборщица, то ли дежурная.

— Ты, батюшко, к секлетарю али к Олександру Ефимовичу? Ежели к секлетарю, так в эти двери, а Олександра-то Ефимовича в область вызвали.

Майор не стал спрашивать, кто такой «Олександр Ефимович», и пошел к секретарю. В приемной он поздоровался с машинисткой. Видя, что майор сел и ждет, она скороговоркой произнесла:

— Николай Иванович занят. У него бюро. Придите попозднее.

— Мне, собственно, его не надо. Я хотел узнать, нет ли в райкоме кого-нибудь из Подсосенья? Уехать.

Оказалось, что на бюро вызвали председателя колхоза, но он не приехал, по слухам, заболел. Машинистка посоветовала майору сходить на базу райсоюза. В вестибюле он спросил у бабушки, где размещается райсоюзовская контора.

— А вот, батюшко,— как будто даже обрадовалась бабка,— вот, батюшко, пойдешь по мосточкам, да только через лавинку перейдешь, тут кряду и будет улица, ты по ёй и иди и иди, а как дойдешь до магазина, где промтовары-то, там и будет райсоюз, на втором этаже.

— Там же военкомат был.

— Ой, милой, давно там был военкомат, давно. После военкомата-то тамотка маслопром сделали, а потом заготзерно было с райтопом, после заготзерну-то перевели на другую квартеру, а заместо ее сделали милицию с загсом, да этим тамотка не пондравилось, вот и перевели их опеть на другое место, а после милиции была там эта... как ее, по квитанциям-то все?

— Сберкасса, что ли?

— Вот, вот, батюшко, сберкасса, после ее вдругорядь переместили на то место, где, может, помнишь, заготскот жил, а потом-то...

Майор, едва не расхохотавшись, прервал бабку вопросом, как зовут председателя райсоюза. А бабка как будто только этого и ждала. Она с еще большей тщательностью начала рассказывать, и майору поневоле пришлось присесть.

— ...а когда, батюшко, сняли с поста Жеребцова-то, заведующим дорожным делом был, покойная головушка... как сместили за пьянку-то, так заместо его кряду и учредили Василья Степановича, а за Василием-то Степановичем заступил Дружинников, забыла имя-отчество, памяти-то не стало, батюшко, это который в райфинотделе сидел, высокой такой, представительной, а на евонное место и поставили Олексия Ивановича, а Олексию-то Ивановичу, видно, не по праву эта должность была, вот его и поставили начальником по всем налогам, а потом кряду и перевели в область, а после этого на заготсено понизили, ну а Тяпин-то в те поры с Кавказу приехал...

Так и не распознав, кто теперь председатель райсоюза, майор вышел из райкомовского вестибюля. Добрая старуха еще долго вослед рассказывала дорогу.

Было уже одиннадцать часов, и солнце пригревало по-настоящему. Столбы пыли, поднятые машинами, разносило ветром на прохожих, на деревянные домики с палисадами. Ребятишки около чайной кидались кепками. Тут же ходили чьи-то курицы, проехал на велосипеде парень с удочкой, прогрохотал мимо трактор.

Все-таки надо было думать о транспорте, и майор, ощущая почему-то наплыв своеобразного мальчишества, за несколько прыжков преодолел скрипучую райсоюзовскую лестницу. Однако машины в Подсосенское сельпо не предвиделось.

— Сходите на маслозавод, там иногда ходят машины,— сказала одна из райсоюзовских девушек, с любопытством приглядываясь к майору.— Туда можно позвонить, подождите минуточку.

Девушка быстро соединилась с маслозаводом:

— Алё, Катя? Как живешь-то? Да ну... полно. Неужели?.. Слушай, Катя, от вас машина не пойдет в Подсосенье за молоком? Не знаешь? Может, и пойдет? Ну ладно. Что? Да вот тут один товарищ интересуется.

Девушка положила трубку и посоветовала сходить на маслозавод.

Около маслозавода, куда майор с трудом прошел в ботинках, было оживленно. Где-то внутри монотонно гудел сепаратор, весело перекликались широкобедрые в белых халатах работницы, гремели флягами. У крыльца стоял еще новый «ГАЗ», весь от колес до ветровых стекол в ссохшейся грязи, как в панцире. Шофер, подостлав свою фуфайку прямо в грязь, возился под машиной. Майор спросил у него, что случилось.

— Сцепление спалил. По таким дорогам только чокнутые ездят,— отозвался парень.

— А что, в Подсосенье не собираешься ехать?

— Посылают, да не поеду. Цепей нет. А туда и с цепями только дураки ездят.

Парень вылез из-под машины и сердито бросил ключи под сиденье. На крыльцо вышел неопределенного возраста мужчина в коричневой вельветовой толстовке и при галстуке с громадным узлом. Он кивнул майору, обратился к шоферу:

— Ежели не поедешь, дак прямо и скажи, а ежели ехать, дак надо ехать. Волынку, понимаешь, тянуть нечего!

— А цепи-то я рожу, что ли? Где цепи-то? — обозлился шофер, но дядечка в галстуке уже скрылся в конторке.

— Вот буржуй чертов,— ругался парень.— Знаю наверняка, что цепи есть новенькие на складе, а не дает, жмет.

— А я гу, что цепей нет! — высунулся в окошко дядечка в галстуке.— Кто тебе набарахвостил, что есть цепи?

И захлопнул окошко. Шофер плюнул и сел курить.

На крыльцо вновь вышел дядечка в галстуке:

— Я гу, ехать, дак ехать, а не ехать, дак так и скажи...

— Цепи дашь — поеду.

— Нету цепей.

— Есть цепи!

— Я гу, что нету!

— Есть! Сам видел, когда прокладку брал.

Помолчали. Майор не проронил ни слова, с любопытством ожидая, чем кончится этот поединок.

— Я гу, ехать, дак ехать, а не ехать, дак так и скажи.

Шофер отвернулся, всем своим видом изображая глубокое презрение. Дядечка в галстуке не выдержал и заковылял к складу. Через минуту он вытащил цепи из ворот и молча ушел в свою конторку. Обрадованный, парень затоптал окурок и, скаля белые зубы, прокричал вослед дядечке:

— Ладно, дядя Костя, я тебе боровиков привезу. Припасай бутылочку только!

Парень на ходу шлепнул замешкавшуюся дивчину и начал надевать цепи.

Майор взял с него слово, что он заедет в чайную, и пошел на вокзал за чемоданом.

Не доходя до вокзала, он встретил милиционера, который козырнул ему и остановился:

— Товарищ майор, это не вы сегодня с восьмичасовым приехали? Там тетка хай подняла! Вы ей чемодан оставили, она ждала, ждала, да и взбесилась. Может быть, говорит, у него бонба какая в чемодане, а я и отвечай. Зайдите, возьмите чемодан и плащ у дежурного.

Сержант опять козырнул и пошел не оглядываясь, а майор направился в милицейскую дежурную за чемоданом и плащом.

2

Никогда не забыть эту дорогу тому, кто узнал ее не понаслышке. Она так далека, что, если не знаешь песен, лучше не ходи, не езди по ней, не поливай пóтом эти шестьдесят километров. Она и так до подошвы пропиталась, пропиталась задолго до нас пóтом, и слезами, и мочой лошадей, баб, мужиков и подростков, веками страдавших в этих лесах. Люди сделали ее как могли, пробиваясь к чему-то лучшему. Вся жизнь и вся смерть у этого топкого бесконечного проселка, названного большой дорогой. К большой дороге от века жмутся и льнут крохотные бесчисленные деревеньки, к ней терпеливо тянутся одноколейные проселочки и узкие тропки. О большой дороге сложены частушки и пословицы. Всё в ней и всё с ней. Никто не помнит, когда она началась: может быть, еще тогда, когда крестьяне-черносошники рубили и жгли подсеки, отбиваясь от комаров и медведей, обживая синие таежные дали.

До войны большая дорога была совсем не такой по сравнению с нынешней. Она мучила людей еще больше, но почему-то в разговорах всегда получается так, что раньше дорога была интереснее. Тогдашнюю дорогу вспоминают с величайшим уважением, даже с преклонением:

— Ноне что. Ноне сел на машину, а ввечеру уже и на станции. А раньше выезжаешь с ночлегом, бывало, и не с одним. Да коли живой возвернешься, так и ладно. А нонь что? А нешто, вот што. Так, одна гулянка, а не дорога.

Майор думал о детстве. Сколько ходил и ездил он здесь, сколько было натоптано белых водянистых мозолей! Выходишь из дому сытым и молодым, возвращаешься голодным и возмужавшим. Детство и краешек юности прошли на этой дороге; на одном конце ее стоит деревенька и старый сосновый дом, на другом — желтый вокзал станции, откуда расходились пути по всей земле.

...Машина гудит так, что ее жалко, как живую. В кузове притихшие пассажиры: толстуха с дрожжами, беловолосый парень и невесть откуда взявшийся мужчина в соломенной шляпе и с чемоданами. Кроме того, на самом неудобном месте ехал парнишка в сереньком хлопчатобумажном костюмчике и в кепке блинком.

Пока ехали по ровному месту, толстуха завязала разговор с беловолосым. Она выведала у него тотчас же, что он едет в деревню, что женился недавно и едет за женой, чтобы увезти в Липецк.

— Да каково там со снабженьем-то? — спросила она напоследок и замолкла до поры.

— Безобразие! — возмущался мужчина в соломенной шляпе.— Спутники строим, а по дорогам ни пройти ни проехать!

— Что ж, по-вашему, спутники это ерунда? — отозвался новоженя, как окрестила толстуха беловолосого.

— Я не говорю, что ерунда.

— Ох-хо-хонюшки,— зевнула толстуха,— а кого это в кабину-то посадили? Начальство какое?

— Не,— сказал парнишка,— это дяденька, из больницы только что выписался. Он выйдет за этим волоком.

— Как тебя зовут? — спросил майор у парнишки.

— Николаем,— чуть смущаясь, ответил тот.

— Коля, Коля, Николай, наших девок не пугай,— сразу же сказалась толстуха.— Что, поступать куда ездил?

— Не. За метриками.

— Тоже небось из колхоза удрать норовит,— обернулся соломенная шляпа.

— То есть как удрать,— заступился за мальчишку новоженя,— ежели парень учиться хочет?

— Все будут учиться, а кто будет землю обрабатывать?

— Вы сами тоже, наверное, уехали из деревни.

— Я еще до войны уехал.

Машину сильно тряхнуло, и разговор прекратился. Дорога стлалась по большому, обросшему ольшаником полю. Несмотря на сухую погоду, в затянутых травой кюветах блестела вода, оставшаяся после недавних дождей. Шофер ловко и смело лавировал между большими дорожными яминами и, только когда миновать их было уж никак нельзя, пер напролом, рискуя сесть диффером.

Майор знал, что это еще хорошая дорога. Там, вдалеке, где виднелся гребешок леса, начинался Вепревский волок — одно из самых гиблых мест дороги. Туда, к лесному гребню, уже склонялось по-июльски жаркое солнце. Пахло лугами. Даже запах бензина и масла машины не мог заглушить этого ровного лугового запаха, сложенного из ароматов желтого багульника, розового клевера, ромашки и сотен других трав, разморенных тишиной и солнцем. Мелькнула светлой гладью речка с полуразрушенной сеновней на берегу, потом деревня в три дома и с одним амбаром. На воротах амбара красовались три угловатых буквы русского алфавита. Традиционная надпись была сделана то ли дегтем, то ли колесной мазью, картину завершал внушительный восклицательный знак, подставленный уже мелом кем-то, вероятно, другим. Майор не мог вспомнить название деревни.

На бугре машина остановилась. Шофер вышел из кабины и два раза обошел вокруг, пиная в скаты стоптанным сапогом и пробуя крепление цепей.

— Ну, теперь держитесь да помалкивайте,— сказал он и решительно хлопнул дверкой.

Толстуха переложила чемодан с дрожжами поближе. Соломенная шляпа высморкался, парнишка оживился, а новоженя не докурил папиросу и откашлялся.

В коробке передач по-волчьи завыло. Первую рытвину проскочили благополучно, вторую тоже, но рытвины были на каждом шагу, и вскоре левое колесо яростно забуксовало. Отбрасывая целый фонтан жидкой грязи, оно изредка цепью цеплялось за что-то, и машина чуть сдвинулась, дрожа всем корпусом, перевалилась в другую, не менее жуткую выбоину. Теперь забуксовали уже оба колеса.

Парнишка выскочил из кузова и начал бросать под колеса остатки перемолотых кольев и веток, они дымились под скатами. Минут через пять продвинулись еще на полметра, и вновь колеса забуксовали. Шофер начал подкапывать скользкий грунт, подъехали еще метров десять и остановились. Перед радиатором блестела громадная лужа, целый пруд молочно-серой воды. Шофер решительно включил третью скорость, с силой выкручивая вырывающуюся баранку, ринулся напрямую, тут же переключил скорость, неистово газанул, машину замотало во все стороны, все с тревогой притаились в кузове. Дрожа и жалобно воя, разбрасывая мутную воду, выскочили на более-менее сухое место. Поехали дальше, все облегченно зашевелились.

Майор посмотрел обратно. Метрах в пятидесяти от машины торчала та срубленная береза, от которой началось буксование. А Вепревский волок тянулся на шесть километров. А за Вепревским были еще два волока, не считая многих деревенек, разделенных глинистыми полями и пустошами...

Солнце уже накололось на зубцы дальних потемневших елей, и опять пассажиры понемногу разговорились. Вдруг, проезжая один из мостиков, шофер сильно газанул, но колеса пробуксовали, провалились, и толстуха прикусила язык, заохала, глотая кровавую слюну...

— А ну, вылезай, кажись, влипли по-настоящему! — махнул рукой шофер и пошел в лес вырубать вагу.

Не жалея ботинок, новоженя смешно засучил штаны и направился помогать шоферу, майор с мальчишкой также выпрыгнули из кузова. Толстуха поерзала и затихла. Соломенная шляпа, намертво вцепившись в борт, сидел молча.

Шофер с помощью майора и новожени подсунул громадную лесину под одно колесо, мальчишка начал быстро качать домкратом; пока шофер газовал, они толкали машину плечами, но колеса крутились на одном месте, и из-под цепей летели только дымные щепки. Солнце между тем совсем закатилось.

Шофер плюнул, достал из кабины хлеб и банку килек в томатном соусе. До ближней деревни оставалось километра три, и все, кроме него и мальчишки, пошли туда ночевать. Майор пообещал шоферу попросить трактор в деревне.

Толстуха потащила чемодан с узлом, за ней пошел и соломенная шляпа, также с чемоданом. Новоженя оставил поклажу в кузове и, балансируя снятыми ботинками, ловко прыгал через выбоины.

— Ну, а где ж мы ночуем? — спросил майор.

— Ночевать-то ночуем,— улыбнулся новоженя.— А вот как дальше ехать,— это прямо беда.

— Тут, кажется, Марья пускала раньше на ночлег?

— Да она и сейчас жива, у нее и теперь ночуют. По рублю с носа, прежней валютой.

Майор вспомнил Марьино подворье. Уезжая когда-то на станцию обозами, возчики окружали подводами Марьин дом в любой час ночи, и в любой час ночи ставила она громадный самовар, который выпивался немедленно. Ставился вновь, и потом усталые люди отдыхали до первых петухов. Располагались кто где: кто на печи, причем это место считалось самым хорошим, кто на лежанке, затем на лавках, а остальные на полу. Вскоре начинался храп, парни в темноте и под шумок тискали девок, а часа через три вновь скрипели дровни, вновь медленно наплывали на обоз бесчисленные силуэты елей и сосен.

«Неужели все это и со мной было?» — подумал майор. Он отдал чемоданчик новожене и пошел искать бригадира. Мальчишка, который с явным удовольствием, в старых маткиных валенках, ходил по крапиве, показал бригадиров дом. В окошко видно было, как за столом в избе сидел хозяин и дымил цигаркой. Майор остановился у канавки перед крыльцом, чтобы помыть ботинки, и минуты через две вошел в избу.

— Здравствуйте.

В избе почему-то никого не оказалось, только в воздухе слоился свежий махорочный дым. Майор сел на лавку и стал ждать. «Куда он делся? Ведь только что тут сидел»,— подумалось майору, и он вышел вновь на крыльцо. Никого. Только грязный гусь с чавканьем выбирал из тазика что-то съедобное. Прошло с полчаса, но бригадир не показывался. «Померещилось мне, что ли? — с улыбкой подумал майор.— Черт знает что!» Он еще раз зашел в избу, и снова там никого не было.

Уже смеркалось. Где-то недалеко отбивали косу, бригадиров гусь трижды трескуче прокричал и тоже скрылся. Майор так ни с чем и пошел, но, заворачивая в проулок, еще раз оглянулся на бригадиров дом. В окне вновь маячила фигура бригадира.

«Ну, это совсем никуда не годится»,— подумал майор и решительно и быстро пошел обратно к дому, вошел в избу.

Человек с начинающей лысеть крутолобой головой оглянулся, отодвинул кисет. Майор объяснил ему свою просьбу насчет трактора.

— А-а,— протянул бригадир,— а я думал, вы уполномоченный какой. Так вы насчет трактора? Да вот беда, трактор-то наш третий день в другой бригаде. А я вижу, идут, одёжа хорошая, думаю, опять какой из района аль из области. Я уж свою тактику применяю: как покажется, так на поветь в сено, к стенке, там и конурка у меня оборудована. А либо, ежели в поле увижу, так в кустики шнырну, чтобы не попасть на глаза.

Майор покурил, подивился и пошел на ночлег.

— Так я вам завтра уж трактор представлю, а сегодня ночуйте. Завтра трактор придет, мы и вытащим вашу машину! — Бригадир долго не закрывал окошко, провожая майора добрым взглядом.

Неизвестно откуда слышался усталый звон кузнечиков. Трава чуть увлажнилась, побелело туманом поле за домами. Тишина была первозданная, и майор, сидя на крыльце, вновь ощущал эту тишину, и это ощущение будило воспоминания.

Соломенная шляпа медленно ходил по деревне. Толстуха громко разговаривала с хозяйкой насчет дрожжей: испортятся или не испортятся.

Вдруг за деревней глухо заурчал двигатель машины. Вскоре мелькнул луч от фары, и машина выкатила из поля. Грохотание и гул двигателя отражались от деревянных стен и казались от этого еще угрожающее и бодрее.

«Ну и ну! — подумал майор, недоумевая и удивляясь.— Как это они вдвоем выпутались из той ловушки?»

Дав слово не курить, новоженя и майор пошли спать на сено. Толстуха и соломенная шляпа устроились в избе, сторожа чемоданы, а Коля в ночь пешком ушел домой.

Майор тут же заснул, и картины прошедшего дня мелькали и путались в его обрывочных, давно не виденных, но похожих на прежние снах.

3

Он проснулся от гула машины. Солнце только что восходило, пели петухи, пахло зеленью и теплым коровьим навозом.

Снова все разместились на прежних местах, и машина опять задымила к лесу.

Майор узнавал места. Вот здесь когда-то лопнула у него тележная ось, тут кормили лошадей, там не могли разъехаться два обоза, из-за чего обозники передрались и порубили друг дружке гужи.

Чем ближе была деревня, тем больше роилось воспоминаний и тем острее была нежность к этой земле.

Раньше майор почти не думал о чувстве родины. За постоянной суетой забот и дел ощущалось только ровно и постоянно то, что есть где-то маленькая Каравайка, и этого было достаточно. Теперь же майор остро и по-настоящему ощущал так несвойственное

кадровым военным чувство дома. Он думал, что, по правде говоря, заботы, и труд, и все, что он делал, имело смысл постольку, поскольку где-то была эта родимая маленькая деревня. Он теперь знал, что жил и рисковал иногда жизнью из-за нее, ради этой родины, ради ее людей, и все, что было с ним до этого, наполнилось теперь новым смыслом.

Не успели отъехать от деревни — сели всеми скатами. Шофер, охрипший от мата, вместе с майором пошел искать трактор. Бригадир не обманул, трактор действительно пригнали из другой деревни. Через четверть часа машину вытянули.

— Ну, теперь доедете! — сказал тракторист.— Тут до деревни дорога будет хоть яйцо кати.

В самом деле, дорога началась лучше, и вскоре выехали «к церкви» — к центру большого сельсовета. Церкви, собственно, давно не было. Еще в двадцать пятом году местные атеисты спихнули с колокольни громадный колокол, повыкидывали золоченую утварь. С того времени большой белый храм с пятью куполами и шатровой колокольней начали понемногу разламывать: кирпич от церкви греет бабьи бока и до сих пор, звонкий, румяный; говорили, что в глину для этого кирпича примешивали яичный желток, а известь разводили на молоке. От «церкви» майору оставалась как раз половина пути. В этом месте путникам встретилась автомашина. Шоферы остановились кабина к кабине.

— Куда едете? — спросил соломенная шляпа у встречного шофера.

— На станцию, куда! Не видишь, что ли? — Шофер встречной машины включил скорость.

Соломенная шляпа поерзал, оглянулся.

— Слушай, друг, я тебе заплачу, возьми с собой, поеду обратно.

— Садись.

Соломенная шляпа быстро перекидал чемоданы на встречную машину.

— Ноги моей больше тут не будет, хватит с меня! — бормотал он.

Машина взвыла и, брызгая грязью, отчалила. Толстуха сидела раскрыв рот.

У маслозавода стояла подвода. Ослабив заднюю ногу, у изгороди дремала чалая кобыла, ее нижняя мягкая губа висела от старости. У телеги стояла немолодая крохотная бабенка и глядела из-под руки на приезжих.

— Зеть должен приехать,— обратилась она к шоферу,— не видал, батюшко, зетя-то? Тилигаму давал, что выехал.

— Нету, бабка, зятя! — смеясь, ответил шофер.— Давай замену сделаю, ставь бутылку.

— Ой, полно, батюшко!

— Да какой он из себя-то? — спросила толстуха, слезая на землю.— Не в Солониху ехал-то?

— В Солониху, матушка, в Солониху. Сколько дён жду.

— Ну так он сейчас пересел на обратную, уехал!

Лицо бабки заморгало и сморщилось, новый белый передник, надетый по случаю приезда «зетя», она заприкладывала к глазам. Майор видел, как она отвязывала от огорода кобылу, слышал, как запричитала. Толстуха начала успокаивать бабку и развязала чемодан с дрожжами. Вонь от испорченных дрожжей поднялась такая, что даже кобыла оглянулась назад и прижала одно ухо.

Толстухе было по пути с бабкой, она склала чемоданы в передок телеги, и обе женщины уехали.

Майор предложил шоферу деньги. Тот пнул в колесо, пощупал, как сидит цепь.

— Что я, крохобор какой? Не надо ничего.

Тогда майор зашел в сельпо, купил бутылку водки и пряников. Больше в магазине на закуску ничего не было.

— Давай действуй! — майор подал водку шоферу и сел на лужок.

Шофер достал из кабины стакан и оставшиеся от вчерашнего консервы. Молча раскупорил бутылку.

— А где наш новоженя?

В самом деле, где беловолосый парень? Майор оглянулся. Парень разговаривал с высоким стариком, по-видимому отцом.

— Товарищ майор, приходите к нам ночевать, если не уедете. Вон наш дом, обшитой, со скворешником! — издалека крикнул новоженя.

— Милости просим, милости просим, заходите, ежели что,— сказал и старик.

Майор пообещал зайти.

Водка была теплая, и он еле удержал ее в желудке. Машину уже нагружали молочными флягами. Шофер допил остатки из бутылки и вскоре уехал. А майор взял чемодан и направился к новожене, потому что транспорта пока не предвиделось, а до Каравайки оставалось тридцать километров.

В просторных чистых сенях пахло свежими вениками и свежим сеном. Двери из сеней в летнюю половину были открыты. Майор снял ботинки и в одних носках по радужным половикам прошел в горницу. За большим столом сидел новоженя с отцом и женой, то и дело краснеющей от смущения. Майора сразу же усадили за стол, бабка нарезала новых пирогов, а старик достал из комода вторую бутылку.

— У нас, товарищ военный, все как дома, сами бывали в людях,— говорил старик.— Вон сын приехал, как тут не выпить?

Майор чокнулся со стариком и новоженей.

— А хозяйка-то что, не выпьет с нами?

— Нет, батюшко, что ты, только ежели рюмочку одну, да и то в чаю,— замахала руками бабка и начала подкладывать пироги.

Комната с белыми сосновыми лавками была оклеена обоями.

Старинные образа в углу, заборка с фотокарточками. В открытое окошко слышны были крики мальчишек и мычание коров, звенел над ухом залетевший с улицы комар, и майору было хорошо, как в детстве.

— Это уж самый младший сынок-то, а и у этого вон уже ребенок,— рассказывала старуха.— А другой-то сынок в Москве, а две дочки тоже замужем в Мурманске, а еще сынок тоже на военного выучился, а еще...

— Сколько же, мамаша, всех-то деток вырастила? — спросил майор.

— Шестнадцати, батюшко, шестнадцати. Старших-то четверо в войну сгинули, трое в малолетстве умерли, а девятеро-то, слава богу, добро живут, и деньжонок посылают, и сами приезжают.

— Ежели всех собрать, так хороший взвод,— рассмеялся новоженя и снова наполнил граненые стопки.— Ну-ко, батя, давай! Держите, товарищ майор!

Майор дрожащей рукою взял стопку. Все в нем смеялось и плакало, голос дрогнул, желваки медленно перекатывались на скулах, хмель почти не действовал.

— Давай, батя...

Между тем батя подзахмелел и достал из-под лавки гармонь. Но играть он не стал, только поприлаживался.

— Давай уж, Олешка, ты...

Новая полосатая рубаха уютно облегала сухую старческую шею и еще крепкие плечи. Вытерев ладонью усы и подмигнув майору, дед спел частушку:

А, drолька, пей вино столовое,
Не жалко водки мне,
Только каждую сумеречкю
Ходи гулять ко мне.

— Ой, старой водяной,— засмеялась бабка.— Сидел бы, ведь помоложе тебя есть за столом, писни-то пить!

— А что, я ишшо и спляшу, пороху хватит!

Бабка весело заругалась. Новоженя с женой улыбнулись, глядя на захмелевшего отца, а майор курил, смотрел на всех, и на сердце у него было по-новому тепло и счастливо.

— Сколько же тебе, отец, годов?

— А-а-а, парень, много уже накачало, с Ивана-то Постного вроде восемьдесят шестой пошел.

— Полно,— вступилась бабка,— да ты ведь на шесть годов меня старше, а мне в Медосьев день семьдесят девятой пошел.

— Ну вот, на то и вывела, а я про что говорю? Ну-ко давай ишшо там из шкапа-то. А я, товарищ майор, когда на первую ерманскую пошел, дак тибя, поди, еще и на земле не было. Помню, когда Николай-то слетел, дак вот у нас раздолье было какое на позициях, что начальство и по утрам нас не будило. Полковник был у нас Фой, вот, значит, пришел к нам Фой, здоровается, а

вся рота как воды в рот набрала. Не поздоровалась, да и только. А Фой этот — сама шельма — молчит, а я взял да и крикнул: «Товарищ Фой, отпусти на пасху домой!» Как он взъелся потом, да и мы уж были учены. Приехал я в Питер, гляжу, афишки на тумбах, так и так, война до победы...

Гармонь тихо наигрывала. Майор дымил папиросой, слушая старика. Бабка ставила самовар уже во второй раз, белая сенокосная ночь кричала коростелями и словно вздыхала вслед гармонным мехам.

Выпили еще, потом еще, новоженя с женой незаметно ушли в чулан спать, а дед приятным старчески надтреснутым голосом негромко запел песню. Майор никогда еще не слышал эту песню, ее слова глубинной своей тоской бороздили душу, мелодия была проста и сдержанно безысходна.

В Цусимском проливе далеком,
Вдали от родимой земли,
На дне океана глубоком
Покойно лежат корабли.

Там русские спят адмиралы
И дремлют матросы вокруг,
У них прорастают кораллы
Меж пальцев раскинутых рук.

Он пел по-городскому, стараясь не окать, но это не мешало естественности звучания, и, казалось, от этого еще сильнее хватает за сердце песня.

Когда засыпает природа
И яркая всходит луна,
Герои погибшего флота
На скалы выходят со дна.

Морские просторы бездымны,
Матросы не строятся в ряд,
Царю не поют они гимны
И богу молитв не творят.

Лишь тихо ведется беседа,
И, яростно сжав кулаки,
О тех, кто их продал и предал,
Всю ночь говорят моряки.

Они вспоминают Цусиму,
И честную храбрость свою,
И небо отчизны любимой,
И гибель в неравном бою.

«Откуда такая грусть в стариковском голосе? Кто сложил песню, и где я, и что со мной?..»

Майор сидел за низким деревенским столом, опершись на кулак; на самоварной ручке висел его зеленый форменный галстук, потухшая папироса торчала из кулака около самого уха.

— А вот «Камаринская» нового строю, при Керенском пели-притопывали. — Старик растянул гармонь, аккомпанируя самому себе, запел весело:

Как у матушки Россеи все вольно,
Уже нет царей, продавцев за вино.

Милюковых и Гучковых нет давно,
Все по-новому в Россее введено.

Все министры у нас новые теперь,
Только старые порядки без утерь.

Как в Россее теперь нету мужиков,
А полно лишь казнокрадов и воров.

Мужиков-то переделали в граждан,
А прав гражданских и не дали мужикам.

Мужики-то протестуют и кричат,
Что войну уже давно пора кончать.

Министры в Англии-то золото берут,
А мужиков-граждан в солдаты отдают.

Дед совсем захмелел. Старуха, незлобно ругаясь, отняла у него гармонь, а он все пел и пел... Бабка разобрала для майора никелированную кровать в горнице, сказала: «Спи, батюшко», и вскоре все в доме заснули.

Майор вышел на улицу, открыл дверку в огород. Туман совсем затянул реку, зеленели за огородом свежесметанные стога. Вдали заржал жеребенок, ему сдержанно и успокаивающе ответила мать. Проскрипел запоздалый журавель колодца, молодой петух, не разобравшись, в чем дело, встрепенулся на насесте, хлопнул крыльями, хотел проорать зарю, но одумался, и все затихло.

4

Майор проснулся от щелчка в репродукторе и долго не мог вспомнить, где он. Передавали последние известия. Он лежал с закрытыми глазами и слушал, как по улице гнали стадо. Он давно так много не пил, но странно, голова не болела, дышалось легко и в желудке не было неприятной пустоты. Он вскочил с кровати и тут только вспомнил, что до Каравайки осталось всего тридцать километров.

Позади было два волока, впереди остался один, да и тот знакомый до последнего пня. Косое солнце тепло и щедро лилось в окно, на березе чирикали воробьишки. Майор нашел рукомойник, но вдруг услышал, как прервалась московская передача.

— Вниманьё! — послышалось дальше, и майор чуть не расхохотался, так непохоже и странно прозвучало из репродуктора это слово. Диктор окал так уморительно, что майор, боясь проронить хоть слово, на цыпочках подошел к простенку, где висел репродуктор.

— Вниманьё! Говорит местный радиоузёл колхоза «Победа». Передаем ответы на вопросы. Некоторые товарищи интересуются, что такое самоуправство. Разъясняём. Самоуправство — это самовольные всякие меры на ущерб колхозу, чтобы всячески расхищать колхозное имущество, особенно сено. Так, например, колхозница пятой бригады Иванова Екатерина Трофимовна унесла с колхозного поля ношу сена. Правленьё колхоза оштрафовало Иванову на двадцать рублей. Вниманьё! Передаем ответы на вопросы. Некоторые товарищи интересуются...

Все повторялось сначала, и майор долго не мог погасить улыбку. Но что-то знакомое послышалось ему в имени колхозницы. Екатерина. У Кати тоже было такое же отчество. Это имя коротким сладким уколом кольнуло в сердце, и майор вспомнил, как перед войной провожал ее с деревенских гулянок, как стоял с ней у мельницы и, не зная, что говорить, кидал в плесо дорожные камушки...

Пока хозяйка разогревала самовар, майор сходил на речку, зашел в огород. Дед налаживал косу, добродушно переругивался со старухой:

— Ну и что. Эко место, в квашню вляпался. Может, еще и пироги-то не вышли бы.

— Сиди, водяной,— без злости махнула рукой бабка,— мне теста не жалко, а ты всю печь тестом испохабил!

Новоженя тоже хохотал над отцом, который, как оказалось, полез вчера на печь и по пьяному делу нечаянно кувырнул квашню.

Когда вскипел самовар, разговор опять же вертелся около ночного происшествия, и майор от души смеялся вместе со всеми.

Старик еще рано утром узнал, что сейчас в пятую бригаду пойдет трактор, а это майору было по пути.

— Олешка! — крикнул дед сыну, когда отпили чай.— Вынеси чемодан-то да травы подстели, а то сани навозные.

Новоженя вынес чемодан, и вся семья распрощалась с майором.

— Дак не будет, говоришь, войны-то? — спросил старик, оборачиваясь в последний раз, когда трактор уже взревел.

— Не должно, батя...

— А то всё войну сулят. Хоть и не первый дождь на голову, а не надо бы, парень... Всем крышка. Ну, ежели что, обратно поедешь, заходи ночевать, места хватит, заходи...

Он еще долго смотрел на майора. Трактор, грохоча, выехал за деревню.

Пошел третий день после того, как майор сошел с поезда. Он улыбнулся контрасту: от Ялты до Москвы три часа, а шестьдесят километров от станции до деревни — три дня. Но и в этот день он не добрался до своей деревни.

В конце волока дорогу пересекала болотистая речушка. Мостик через нее топорщился обломками бревен.

Тракторист решил ехать через речку. Черная болотная грязь полетела от гусениц, трактор, дергаясь и подминая кусты, двинулся напропалую. Надо было брать чуть левее, правая гусеница, буксуя, зарылась в жидкую землю. Чем больше газовал тракторист, тем глубже. Сани оказались в воде. Майор уже через полчаса был весь в грязи. Они провозились в речушке до самого вечера, пока не подошел другой трактор и не помог выехать. Странно было одно: трактористы совсем не нервничали, принимая все как должное.

Остановились у разломанного гумна, закурили. Собиралось ненастье, изломы молний сверкали на черно-синем небе с востока. Гремело все сильнее и чаще. Деревню майор знал, но, по его предположению, знакомых никого в ней не жило. Тракторист был тоже нездешний — шефский.

— Утро вечера мудренее, кобыла мерина ядренее,— сказал он.— Пошли ночевать в сеновню. Вот беда, пожрать бы немного. Пойду молока хоть поищу.

Дождь был все ближе. Мимо гумна, размахивая вожжами над головой, проехал парнишка в телеге.

— Коля! — окликнул его майор.— Ты, что ли?

Парнишка остановился. Это был как раз тот Коля, что ехал позавчера со станции вместе с майором. Он возил дрова к овину и сам пригласил майора переночевать.

— Мама еще на сенокосе, скоро придет,— сказал он, отпирая ворота, и пошел выпрягать лошадь.

Майор внес чемодан по лестнице. В доме было чисто и сумеречно. Не зная, что делать, он спустился на крыльцо, сел на обрубок под навесом. Теперь небо стало совсем темным, гром трещал над самой крышей, молнии зеленым светом разрывали темноту. Пошел дождь. В это время женщина с косой и корзиной поспешно открыла отводок загороды. Увидев майора, она приставила к стене косу, остановилась:

— Что-то не могу и узнать кто.

Майор встал, она что-то еще сказала, но гром заглушил ее слова, а он весь вздрогнул от волнения и невыразимой, сразу охватившей его тоски и застарелого разбуженного счастья.

— Я с Колей со станции ехал. Заночую у вас...

— А-а,— согласно протянула она,— заходите.

И уже поднималась в темноте по лестнице, а он, волнуясь еще больше оттого, что она не узнала его, шел двумя ступенями позже ее, спросил:

— Вас не Екатериной звать?

— Катериной,— просто ответила она.— Я сейчас лампу зажгу. Вы-то откуда знаете, как меня зовут?

Майор ничего не ответил. Она вздула огонь, зажгла лампу; не глядя на него, задернула занавески, успев на ходу зашпилить мокрый узел волос на узеньком затылке. Она была еще красива, красива последней бабьей красотой, а движения ее были такими же, девичьими, что майор остро и с нежностью ощутил, когда, не двигаясь, глядел на нее. Она почувствовала его взгляд и только теперь сама посмотрела на него:

— Ой, Ваня ведь. Иван! Ох, милые, да как это?.. Не могу и узнать...

Она растерянно и радостно смотрела то на него, то на его вымазанную глиной одежду, а он тоже смотрел на нее, беззвучно счастливо смеясь и дрожа плечами, и смех этот был одновременно выражением его счастья и скорби по тогдашней Кате.

Опомнившись, она кинулась к самовару, начала щепать лучину. Свежей воды не оказалось. Сбегала за водой и, вся мокрая от дождя, начала разжигать, дуть в самовар, накинула на стол чистую скатерть.

Все еще шел дождь, но гром уже выдыхался и терял силу. Вбежал в комнату Коля, бросил к порогу узду и, словно не замечая майора, взял кусок пирога с залавка, наладился уйти снова.

— Кино привезли в Антониху!

— Куда ты пойдешь, куда, на таком дожде! — Но он, не слушая мать, уже стучал по лестнице.

Она поставила самовар и, накинув платок, тоже убежала. Минут через десять вернулась, обтерла полотенцем зеленую бутылку водки, поставила на стол.

Гроза совсем затихла, лампа тихо потрескивала, на столе мелодично звенел самовар с чайником на конфорке. Катя выставила одну стопку, майор вопросительно взглянул на нее, и она выставила вторую:

— Много уж годов не пивала...

Она закашлялась, замотала головой, отодвинула недопитую стопку, но потом выпила, лицо раскраснелось, темные большие глаза подернулись поволокой.

— Как живу? Так и живу с парнем, сама-другая. Ты ведь тогда, как на фронт уехал, так больше и не бывал дома. Вышла-то уж после войны... Хозяин восьмой год в заключенье, ни письма, ни грамотки. Напились один раз да с бригадиром и разодрались. Мой-то горячий, схватил с гвоздя ружье да к бригадирову дому, с улицы в окошко выстрелил, две дробины попало в портрет, приписали особую статью. Теперь уж сгинул, видно. Ждала, ждала, все и жданки вышли. Нынче вот и Коля в ремесленное ладит уехать. Сперва не пускала, думаю, что буду одна делать, а он просится. Пусть уж едет, дома все равно ему не житье, корову и ту кормим с грехом пополам. Третьего дня принесла из поскотины охапку, и то оштрафовали да ославили...

Майор открыл занавеску, распахнул окошко. Ночь была по-осеннему темна, он слышал, как в палисаднике с веток падали редкие дождевые капли, в деревне не было ни одного огонька.

Когда он снял ботинки и подал ей китель, Катя заплакала. Они вышли с лампой в темные большие сени, она, не обтирая слез, откинула полог постели и унесла лампу в дом. Вскоре она вернулась к майору, молча погасила слезы и, сдерживая бабью тоску, обвила рукой его седеющую голову:

— И откуда ты взялся-то, Ваня, разудалая твоя голова, откуда?..

«Ваня, разудалая твоя голова» — эти слова старой протяжной песни были сказаны шепотом. Они оборвались, и майор ладонями осушил Катины щеки.

Далеко за волоками все еще урчал гром ушедшей ночной грозы, внизу тяжко вздохнула корова, в гнезде под стропилами крыши сонно прочирикали и затихли ласточки.

5

Этот последний волок был знаком ему каждой своей горушкой, обсыпанной сухими скользкими иглами. Знаком каждым камнем, обросшим жесткими лишаями, каждым поворотом большой дороги.

Протоптанные скотом тропы не давали заблудиться и каждый раз выводили его к большой дороге. Он нарочно шел по ним, часто останавливался, чтобы сорвать ягоду, послушать лесной шум. В чащах, как в сказке, глухо и музыкально звучало ботало, сухо брякал о дерево дятел, жалобно и нехищно кричал ястреб-канюк.

Майор снял ботинки, выломал ольховую палку, чтобы легче было нести чемодан. Вот так он ходил когда-то домой со станции, и его встречала на пороге мать; так же ходил и отец, и дед, и прадед...

Все было здесь знакомо. Только подзаросли кустами светлые когда-то полянки и не стало толстой густой сосны, росшей у речного обрыва. По преданию, много лет назад эта сосна спасла деревню от шайки разбойников, забредших сюда в смутное время. Она была так густа, что из-за ее кроны насильники не увидели жилья и повернули обратно. Теперь она упала от грозы, и ее жгут прохожие, кому не лень; много лет не могут никак сжечь, головешки и посейчас валяются на обрыве.

Сам обрыв был все таким же. Майор спустился вниз, остановился около мелкого песчаного брода и лег в траву на спину.

До Каравайки — родимой деревни — оставалось два километра. Четыре последних дня отодвинули в небыль все то, что было до этого, и это все: служба, аэродром, мегафонный шорох, свист двигателей — казалось таким дальним, почти нереальным. В памяти появлялись то толстая тетка с дрожжами, то вокзальный дурачок Митя, то слышалась матросская песня отца новожени, то снова

ощущение поздних горьких Катиных поцелуев. Он торопился, и Катя сама на рассвете почистила ему китель и брюки, сама сходила к бригадиру и запрягла лошадь, сама проводила его до прогона. Коля выломал тогда ивовый прут и стукнул по телеге, а его мать постояла еще немного у отвода.

— Может, зайдешь на обратной дороге-то,— сказала она,— да и в Каравайке никого нету, и из списков-то ее, наверно, уж вычеркнули.

Но она тут же застеснялась своих слов, покраснела и, опустив голову, решительно пошла от отвода: немногочисленные косцы с косами и граблями уже выходили из домов, окликая друг дружку... Майор вспомнил, что она ничего больше не просила у него, ни на что не обижалась, и он к полудню, не доехав до деревни километров шести, отпустил Колю, пошел пешком и шел до этого обрыва.

Майор не знал, сколько времени лежал он в траве у речного брода, под песчаным обрывом. Трава после вчерашнего дождя давно обсохла, в лесу и в кустах пели птахи; сиреневые, с белыми оборками облака тянулись к западу.

Три волока отделяли майора от шумного и большого мира. Его никто не окликнул, никто не встретил. Он то смотрел в небо, то опять закрывал глаза и не торопился вставать, отодвигая счастье встречи с деревней. Каравайка была в двух километрах отсюда. Он думал о том, как задами, через прогон выйдет к дому, в котором жила соседка — дальняя родственница матери, как переоденется в спортивный костюм и затопит баню, как ночью услышит звон комаров, а утром проснется от петушиного крика.

Он вскочил и с волнением хотел закурить. Но папиросы кончились, кончился и теплый день, солнце закатывалось. Майор с наслаждением, крякая, напился речной воды, перешел босиком на свой берег.

Дорога шла вдоль реки. Впереди, там, где были деревни, садилось красное солнце. Пока он шел до поля, солнышко покраснело еще больше и наполовину скрылось за далеким лесом. В речных омутах по-вечернему закурилась вода, из кустов потянуло нагретой зеленью.

В поле он вышел уже в то время, когда сумерки помутили теплую летнюю даль с ее пояском окрестных лесов и недвижной пеной полевых кустиков.

А вот и первая деревня — Помазиха. Это здесь, в Помазихе, майор на каком-то празднике осмелился поплясать в первый раз. И все девушки вместе со старшей сестрой сбежались и смотрели. Дорога вильнула в объезд деревни, обогнула клеверный бугор. Показался другой холм с пятью темными соснами. На эти сосны майор вместе со сверстниками лазал когда-то за вороньими гнездами, а вечерами под осень пек здесь первую, с еще не окрепшей кожурой картошку. За соснами было небольшое поле, а там косогор и родимая Каравайка.

Майор шел все быстрее, не замечая этого, и все хватался за

карманы, ища папиросы. Вот позади и Вороньи сосны, травяная тропа выпрямилась, незаметно перешла в колесную дорогу, и он выбежал на косогор. Каравайки на косогоре не было.

Ночь пришла тихая до звона в ушах. Золотым блином висела в небе луна, но было светло и так, и от стожка, сметанного посередине бывшей деревенской улицы, почти не виделось тени. Только вокруг этого стожка лежала ровная лужайка, а дальше везде дремала густая трава, а в траве то там, то тут принимались звенеть кузнечики и сразу же затихали, словно боясь нарушить тишину. Кругом была трава и поле. И лишь березы у будто невидимых домов белели да старинный хмельник еще бодро топорщился пиками нескольких кольев, и хмель, словно назло безлюдью, упрямыми спиралями вился кверху.

Уже второй и третий раз открякал в низине дергач, а майор все сидел на горушке, оставшейся от родного опечка. Опечек сгнил, его засыпало размокшей от ливней глиной, из которой сбита была печь; на горушке рос высокий кипрей и крапива.

Кипрей был так высок, что старые фамильные кросна [1], стоявшие рядом, на земле, почти скрывались в его оранжево-розовых соцветиях. На этих кроснах бабка майора ткала холсты, на этой печке родился ее внук, по этой улице впервые, замирая от восторга, прошел он за ребячьей гармоньей...

Но Каравайки больше не было на земле.

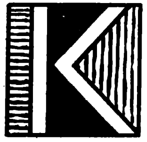
Где-то за тремя волоками неслись поезда и свистели ракеты, а здесь была тишина, и майору казалось, что он слышит, как обрастают щетиной его напрягшиеся скулы.

Опять прокрякал дергач, а луну пополам разрезало плоское слоистое облачко. Никто не услышал, как на гулкий широкий лист лопуха, теряя свинцовую свою тяжесть, бухнулись две холодных слезы.

ВЕСНА

Александру Романову

1



полночи шибануло откуда-то звонким, ровным морозом. Месяца не было, но небо вызвездилось, и над деревней перекинулась исполинская белая полоса Млечного Пути. Иван Тимофеевич поднялся с печи, прямо поверх белья надел тулуп и вышел до ветру. Промерзшие половицы заскрипели под ним, в сенях оглушительно пальнуло треснувшее от мороза бревно.

[1] Кросна — остов ручного ткацкого станка.

На полевых задах, ближе к болоту, явственно и печально завыл волк, ему тонким долгим криком отозвалась волчица.

«Ишь, проклятые,— подумал старик,— чтобы вы сдохли, вторую ночь воют и воют». Он закрыл ворота на засов.

В избе было тепло, пахло хомутом и просыхающими валенками. На кровати за шкафом похрапывала старуха. Иван Тимофеевич зажег лучину и вставил ее в старинный, оплывший нагаром светец: керосина не было с самой почти осени.

— Хоть бы ночью-то передышку себе делал, не курил! — заворчала Михайловна.

Иван Тимофеевич молчал, глядя, как бьет из сучка огненный фонтанчик, как, остывая, подергивался белым пухом потрескивающий уголек.

В эту зиму Ивана Тимофеевича все чаще прихватывала тоска. Началось это после того, как пришла вторая похоронная — похоронная на младшего — Колюху. Только успели опомниться от горя после первого извещения — извещения на старшего, как опять принесли бумажку из сельсовета. В ней писалось, что сын геройски погиб при выполнении задания, что похоронен там-то и там-то. Два года — две головы...

Иван Тимофеевич крякнул и зажег новую лучину. Осветился неоклеенный простенок с зеркалом и фотографиями. Старик достал из-за зеркала письмо, откинул бородатую голову, стал читать. Письмо было от среднего, от Леонида, пришло оно третьего дня. Иван Тимофеевич, шевеля губами, снова его перечитал:

«...Шлю я вам свой боевой гвардейский привет. Дорогой тятя Иван Тимофеевич, дорогая мама Надежда Михайловна, мы теперь уж идем по чужой земле. Маршрут нам один — до самого Берлина, а фрицы бегут на чем попало...»

В тишине снова громко треснул мороз. Иван Тимофеевич дочитал письмо, положил его опять за зеркало. «Эх, Ленька, Ленька! Один ты теперь у нас остался, лежат оба твои братана в земле, не встанут никогда, и некому теперь, кроме тебя, играть на гармонье». Иван Тимофеевич покосился на шкаф, где внизу лежала давно никем не троганная гармонь. Потом подождал, пока догорела лучинка, и залез на печь. Однако сна так и не было, и вскоре старик опять поднялся, собираясь ехать затемно за дровами.

Михайловна канителилась около печи.

Иван Тимофеевич с истертым дубленым тулупом на плече, в большущих валенках и с топором за ремнем подошел к воротам колхозной конюшни. Мороз ярился, как стоялый откормленный овсом жеребец, ночь была на избыве. Как мелкие битые стеклянки, мерцали в небе звезды, но за деревней уже обозначилась лиловая заря.

В конюшне было теплее. Сивая лошадь Свербеха глубоко всхрапнула, когда старик подошел к стойлу. Свербеха никому, кроме Ивана Тимофеевича, не давала себя обратывать: она по-крысиному вытягивала шею и прижимала уши, норовя укусить.

Бабы всегда ловили ее граблями за спутанную гриву или же звали на помощь Ивана Тимофеевича.

Старик ласково обротал Свербеху и вывел в коридор, чуть не упал, наступив на мерзлый кругляк конского помета. Уже брезжило. Кое-где из труб забелели высокие, расширенные кверху столбы дыма: мороз не собирался уступать.

Иван Тимофеевич надел на Свербеху хомут, седелку. Потом завел в оглобли, расправил затвердевший гуж и начал запрягать. Он с наслаждением через ногу стянул клещевину хомута (сила еще была), ловко замотал и заправил сыромятную супонь, подседлал и завожжал.

Скрипнули промерзшие дровни. Иван Тимофеевич сидел в тулупе на полудугах, которые кладутся на дровни, чтобы не раскатывались дровяные кряжи.

«Эх, жизнь бекова!..— подумал старик и выехал из деревни.— Хоть бы скорей война кончилась, приехал бы Ленька, завернули бы ему свадьбу...»

Снег скрипел под полозьями, словно шла по дороге тысяча женихов, обутых в сапоги со скрипом,— в такие сапоги, какие шьет хромой сапожник Ярыка. Ярыка умел класть в задник сапога такую бересту, что при ходьбе и пляске они скрипели на всю волость, на весь сельсовет.

Светало. Снежное поле с застывшими волнами наста вдруг порозовело от холодного солнца, и Иван Тимофеевич подхлестнул Свербеху. Она мотанула в ответ сивой репицей и запереступала скорее. Вся кобыла да и сам старик давно заиндевели до последнего волоска. Дровни стонали и пели, и под это пение накатывались хорошие думы о прежних годах.

— Ох-оох, обоих укокало! — вслух подумал Иван Тимофеевич.— За что такая беда, за что?..

Дрова — мелкий ельник с кривоногим ольшаником и белобокий березняк — были еще с осени нарублены в болоте и стояли костром. Иван Тимофеевич обмял снег вокруг костра, объехал его и, не торопясь, начал складывать. Он только наложил воз и завязал его веревкой, как вдруг Свербеха беспокойно метнулась, чуть не сломала оглоблю и вся задрожала всхрапывая.

Иван Тимофеевич оглянулся — и обомлел: два тощих волка, поджав хвосты, прыгнули в сторону. Они остановились и, сонно щуря холодные бессмысленные глаза, трепетно шевеля ноздрями, вытянули морды. Иван Тимофеевич увидел даже седину на нижней челюсти одного волка.

Свербеха, несмотря на тяжесть воза, с тревожным ржанием бросилась по дороге, и старик еле успел прыгнуть на воз. Торопливо вытаскивая из-за ремня топор, Иван Тимофеевич видел, как один волк легко перемахнул через валежину, другой обогнал первого, и по насту они в четыре прыжка оказались рядом. Лошадь понеслась вскачь. «Только бы не лопнула завертка»,— мелькнуло в голове. Все это произошло за несколько секунд и плохо запомни-

лось Ивану Тимофеевичу. Передний волк дважды прыгал к горлу Свербехи, и каждый раз, кувыркаясь, отлетал, отброшенный запрягом. В это время второй волк, видимо, трусил, но вдруг на какой-то миг Иван Тимофеевич увидел тонкие лапы и звериную морду и ударил по этой морде обухом. Зверь взвизгнул и, корчась, растянулся на снегу. Первый еще несколько раз прыгал к лошади, но Свербеха галопом неслась уже по полю, и невдалеке белели высокие столбы печного дыма.

2

Весна была трудная, затяжная. К началу мая еле-еле набухли и посерели речные изгибы. В колхозе началась бескормица. Как-то Михайловна прибежала сама не своя из хлева, с плачем заметалась по избе:

— Ой, Иван, ой, корова-то!...

Иван Тимофеевич бросился в хлев. Корова лежала на боку, дрыгала ногами, большой коровий глаз уже закатился. Иван Тимофеевич побежал в избу за ножом, чтобы прирезать животину, долго искал нож. Но было уже поздно. Корова сдохла, и мясо пришлось зарыть.

После этого Михайловна осунулась еще больше и начала заговариваться. А тут еще у Ивана Тимофеевича кончилось курево. Он дергал из паза коричневый спрессованный мох, но дым только расстраивал. Сапожник Ярыка тоже маялся из-за табаку, но ему изредка носили махорки за шитье, и Иван Тимофеевич по воскресеньям ходил курить к Ярыке.

Сено в колхозе кончилось еще до весны, и половина лошадей передохла, коровы держались кое-как на соломе, снятой с крыш.

Однажды Иван Тимофеевич вышел утром на крыльцо: бригадир распорядился съездить на Свербехе по старым вытаивающим остожьям пособирать остатки сена.

Было солнечно, и с утра начиналась теплынь. Со всех сторон на деревню летели знойные песни тетеревиных токов. Косачи булькали; казалось, во всем мире небо нежно синело над крышами; и река разлилась и ровно шумела внизу, за деревней.

Иван Тимофеевич в первый раз за всю весну надел сапоги. Накануне он промазал их дегтем, просушил портянки, и сегодня легко и радостно было освобожденной от валеночной тяжести ноге; запах талой воды и дегтя напоминал о прежних веснах.

С зимней стороны домов таяли последние суметы, а с летней, на припеках, кое-где проклевывалась первая травка. Над потеплевшими полями всходило большое солнце, смоляные белоносые грачи бродили по пашне, пахло солнцем, навозом и весенней водой.

Чисто и беззаботно пропел над головой скворушка. Иван Тимофеевич задрал бороду и долго глядел на птаху. В сквозной синеве не было ни одного облака, и скворечня, еще до войны поставленная у рассадника Леонидом, плыла в той синеве.

Иван Тимофеевич, пробуя, не текут ли сапоги, прямо по лужам прошел на конюшню. Свербеха в этот день еле встала. Несколько раз пыталась она выбросить из-под себя передние ноги, но усилия были слабы, и старику пришлось помогать ей. Наконец она встала, сперва на передние, потом на задние ноги, благодарно прислонила длинную сивую голову к плечу Ивана Тимофеевича. Старик пошебаршил у нее за ухом, поглядел в пустую кормушку.

— Что, брат, нету сенца-то? Нету, девка, сам вижу, что нету. Ну, потерпи, потерпи.

Он с веревкой пошел в поле, к одному, потом к другому остожью. Около стожаров вытаяли промытые, бескровные волоти сена. Иван Тимофеевич насобирал целую ношу такого сена и на себе принес в конюшню. После солнечного поля в конюшне показалось темно, как ночью. Свербеха радостно и тихо заржала. Иван Тимофеевич кинул ей охапку, только хотел поделить остаток между другими уцелевшими лошадьми, как вдруг в просвете ворот появилась доярка Полька Балашова.

— Да ты что, Иван, делаешь-то? — плачуще заговорила она.— Ведь еще вчерась бригадир говорил, что сено для коров на остожьях, а ты его лошадям. О господи!

От голода большие Полькины глаза стали еще больше, от горя печальнее. В первый же день войны Алешка Балашов ушел на фронт, не прожив с женой и медового месяца. А уже под весну, в феврале, Польке принесли похоронную. Полька зашлась без памяти в беззвучном плаче, два дня прокаталась по полу, и на третий родила сына-недоноска. Витьке все прочили близкий конец, а он взял да и выжил. С той поры Полька переменилась начисто, словно родился не Витька, а она сама, и всю войну работала на ферме.

Сама не своя, кинулась Полька собирать остатки сена.

— Ты, Полинарья, погоди, ну... вишь ты. Давай пойдем-ко в поле-то, пособираем еще, от ей-богу! — Иван Тимофеевич взял веревку.

Они вместе с дояркой долго ходили в поле, кое-как наскребли две ноши сена и с трудом притащили на ферму. Полька, обрадованная, лихорадочно бегала вдоль кормушек; коровы тыкались мордами ей в бок и трубили наперебой.

Иван Тимофеевич зашел в водогрейку. Большая закопченная водогрейка была пуста. Пахло плесенью и креолином, на полу валялся разряженный ржавый огнетушитель, на раме изумрудная отогревшаяся к весне муха слабо перебирала лапками.

Вдруг Иван Тимофеевич услышал, что в малом котле что-то шебаршит. Старик глянул. В котле сидел Витька и ел глиняную обмазку. Кривые, тощие ножонки он сложил калачиком, все лицо было в глине, как в шоколаде.

Витька перестал жевать глину, восхищенно уставился на Ивана Тимофеевича и улыбнулся. Старик утер ему нос, сделал «козу» в животик:

— Ну, что, енерал, в котле сидишь? Ешь, ешь глинку-то, ешь.

Иван Тимофеевич вышел на солнышко. Его ослепило синевой и золотом яркого весеннего дня, оглушило птичьими криками и шумом водополицы. Полька, навалившись на барьер кормушки, судорожно тряслась плечами, выламывала руки и сдерживала тяжкие частые вздохи. Старик, чувствуя тревогу, подошел поближе.

— Полинарья, ты что?

Полька отшатнулась от кормушки. Глотая слезы и улыбаясь, проговорила:

— В-в-в-войне конец. Кончилась, война кончилась!

В теплушке из котла ревом отозвался Витька.

3

Ярыка тачал скрипучее голенище и говорил сам с собой. Когда Иван Тимофеевич сообщил ему новость, сапожник сначала не поверил, потом обвел глазами свою избу и со всего маху швырнул голенище под лавку.

— Эх, маткин берег, да неужто?!

Он, как молоденький, подскочил к подполью, дернул крышку за колечко и исчез под полом. Вскоре он вылез обратно, держа в кулаке пыльную четвертинку.

— Во! Два года берег! Думаю, не я буду, ежели не доживу до такого момента!

Он достал из комода две чашки, а Ярыкина баба принесла на сковороде лепешку из соломенной муки. Разрезали луковицу.

Ярыка полосатой от дратвы рукой взял чашку, чокнулся и выпил, двигая тощим кадыком. Крякнул. Иван Тимофеевич давно не пил водки. Его обожгло, теплой волной пошла по телу давно не испытанная истома.

— Вот и дождались, Иван, светлого часу,— заговорил Ярыка, разливая остатки из четвертинки.— Дождались... А как жить будем? Колхоз стал не колхоз, а одна беда. Мужиков осталось в деревне только мы с тобой — куда девалась вся сок-сила? Всех побили до единого. Один твой Левонид...— Ярыка надолго закашлялся, показывая язык и качаясь.— Мишуху Смирнова... Помню, сапоги ему шил на самую большую колодку, и то малы оказались. Такого мужика залобанили... Коля Мокрынин... тот, бывало, все ко мне ходил... Ванюха Варза, Петька Марьин, Олешка Балашов, твоих двое... Эх, маткин берег, оскоблили деревню подчистую.

Иван Тимофеевич долго сидел у Ярыки. Под конец они оба совсем охмелели, сапожник начал свежую осьмушку махорки, и в избе плавал сизый слоистый дым. В это время на улице заколотили зубом от бороны по отвалу.

— Выходи на собранье! На собранье!.. Бабы, на собранье!..— кричала бригадирка.

Общее бригадное собрание было в зимовке Ивана Тимофееви-

ча. До самых сумерек говорили насчет весеннего сева, а когда расходились, то над деревней легонько и умиротворенно шел первый теплый дождь.

Земля, словно невеста в разлуке, томилась за всеми околицами, готовя себя к счастливому обновлению. За гумном, как и всегда по весне, шумел и бурлил пузыристый Ярыкин ручей. Что-то радостно и тревожно всю ночь пробуждалось в теплом тумане.

Утром Иван Тимофеевич надел новую рубаху, обулся и примерил холщовые рукавицы-однорядки, сметанные Михайловной еще в зимнюю пору. На душе было и горько и празднично. Опять вспомнилась предвоенная весна, когда вот в такую же пору он вместе с двумя старшими сыновьями выехал на старый Тимохин отруб. Младший был тогда еще подростком, и его учили пахать. В крепких промазанных сапогах, с деревянными лопатками для очистки отвалов, все ядреные, сыновья настраивали плуги, подгоняли упряжь и походя прихватывали за бока девок-бороновальщиц. А какие были кони в бригаде! Как ровно шла в борозде раскормленная Свербеха!..

С такими думами Иван Тимофеевич вывел Свербеху из конюшни. Она еле переставляла свои громадные копыта с мохнатыми щетками; только и остались от Свербехи, что эти громадные, как блюда, копыта.

Пахать всегда начинали с Тимохина отруба. Здесь раньше всегда сходил снег и подсыхали загоны. Иван Тимофеевич с трудом, но радуясь, выкатил из гумна плуг; своим еще довоенным ключом прикрутил лемех с коляской и запряг. Грачи, чувствуя новизну, уже нетерпеливо прыгали невдалеке.

— Ну-ко, милая! Ну-ко!..— ласково сказал Иван Тимофеевич, втыкая лемех в закраину борозды.

Свербеха умно и умело встала в борозду. Она, слегка косясь назад, ожидающе навострила сивые уши.

— Ну, начали благословясь...

Свербеха дернула, прицеп напрягся, и лемех покато вполз в глубь влажной земли. Но лошадь тут же остановилась. Снова дернула и опять встала. Дрожа мускулами тощих ляжек, она с тихим ржанием оглянулась на Ивана Тимофеевича. Он подошел к ней, поправил седелку, погладил печальную лошадиную морду.

— Давай, матушка, давай, надо ведь...

Она, качаясь из стороны в сторону, прошла шагов десять, потом еще десять, потом еще... Темная полоса земли тянулась все дальше, и первый грач уже слетел на эту полосу, ткнул в нее белым костяным носом.

К обеду они вспахали один загон, соток пять. Когда Иван Тимофеевич почувствовал, что Свербеха сейчас упадет, он распряг ее. Возвращаясь из конюшни, он все думал, где бы еще понаскрести сена, ему было отрадно, и перед глазами все темнел вспаханный загон.

Над полем и деревнями светилось в синем просторе теплое,

доброе солнце, в канавах шумели вешние ручьи. Ярыкина баба выставляла в избе зимние рамы.

Ярыка сидел на крыльце и издалека просил у почтальонки газетку сначала поглядеть, а потом на курево. Почтальонка как-то боком подошла к крыльцу вместе с Иваном Тимофеевичем, не поздоровалась почему-то и торопливо ушла, сунув ему в руки какую-то бумагу. У Ивана Тимофеевича затряслись руки, когда он начал читать. Солнце покатилось и перевернулось вместе с небом, деревня перевернулась крышами вниз, и Иван Тимофеевич в беспамятстве опустился на Ярыкино крыльцо.

— Левонида! Левонида убило! — закричал Ярыка, и вся деревня сбежалась к этому крыльцу.

Плакали все до одного, плакали навзрыд о погибшем на чужой стороне за три дня до конца войны.

Не было тут только Михайловны, матери этого последнего. Когда ей сказали о Леониде, она встала из-за стола и, безумно озираясь вокруг, прошла к шестку, взяла зачем-то пустой чугунок, начала старательно складывать в него клубки, ложки, облигации, тряпки...

Через неделю она тихо умерла в своей бане, пахнущей плесенью и остывшими головешками.

4

Кое-как прошла неделя. Неожиданно переменилась погода: вдруг из-за леса нахально подул пронзительный сиверко, стремительно понес белые потоки тяжелых снежных хлопьев. Исчезли куда-то скворцы с грачами, солнце потухло и скрылось, и даже шум половодья чуть притих, словно давая потачку уходящей зиме. А зима в последний раз круто распорядилась на земле. Снег летел почти не с неба, а с горизонта, хлестал откуда-то сбоку.

Морозно было даже днями, и могила Михайловны долго не опадала: мерзлая земля так все и бугрилась над приютом солдатской матери. Иван Тимофеевич через день с лопатой ходил на погост, пробуя окидать холмик, но земля не оттаивала.

На седьмые сутки опять хлестал снег. Иван Тимофеевич, опираясь на лопату, шел домой. В поле он остановился и долго глядел на свой дом. Хлопья снега шмякались в бороду и в глаза, таяли, и капли стекали за ворот. Иван Тимофеевич глядел на дом, а дом глядел на него: четыре передних окна желтели крашеными рамами и были похожи на тонконосые лики иконописных угодников. У черемухи тоскливо торчала скворечня.

В деревне было пусто и холодно. Иван Тимофеевич приставил лопату к воротам и пошел на конюшню проведать Свербеху. После того раза он уже не ездил пахать: погода переменилась, да и Свербеха уже третий день сама не вставала на ноги и висела на веревках, привязанных к стропилам.

Еще из ворот Иван Тимофеевич увидел, что веревки от стропил отвязаны. Он подошел к стойлу, дважды тихонько взыкнул, но не услыхал обычного ответного ржания. Свербеха лежала на левом боку и не двигалась. Иван Тимофеевич кинулся к ней, дернул за холку, но тяжелая оскаленная голова была холодна и неподвижна, большие копыта откинуты.

Иван Тимофеевич медленно опустился на холодный лошадиный круп. Из ворот в стойло дунул ветер, шевеля сивые космы Свербехиной гривы, жалобно засвистел в пазах и загулял в холодных стропилах.

Иван Тимофеевич долго сидел на мертвой Свербехе. Потом он встал, смотал на руку вожжи, на которых подвешена была Свербеха, и пошел домой.

В небе над полем шла полоса снежной белой крупы.

Старик поднялся по давно не метенной лесенке в сенцы, открыл двери, растерянно, как чужой, оглядел избу. Печь была не топлена, и от этого запах жилья уже уступал неприютному запаху холода и пустоты. С потолка свисала отклеившаяся газетка. У порога валялись стружки и пустая кошкина черепеня; сама кошка еще на той неделе ушла и больше не показывалась.

Иван Тимофеевич, не снимая фуфайку, сел на лавке, сгорбившись, глядел на сучок в половице. Он старался вспомнить всю свою жизнь с того лета, как начал сознавать сам себя, и до теперешней весны, но память путала и переставляла годы, выхватывая из прошлого то одно, то другое. Вот вспомнилось, как родился Ленька, потом вдруг навернулась в памяти та ночь, когда цвел горох за баней, когда из светлых ночных полей долетали голоса девок, потом неожиданно всплыла волчья морда, скрипучий зимник, и вновь замелькали в глазах фиолетовые и белые гороховые лепестки, потом представилось предосеннее поле и Свербеха — молодой игровый жеребенок с круглым задком, с тонкими ножками и с мягкими ласковыми губами...

— Ооо-ох!..

В рамы хлестала свинцовой дробью снежная крупа.

Иван Тимофеевич подошел к комоду, ничего не думая, открыл нижнюю дверку, вытащил пыльную, пять лет никем не троганную гармонь. Он отстегнул ремешки, схватывающие мехи, поставил гармонь на колено. Печальный рокочущий звук баса родился и растаял в холодной пустой избе. Иван Тимофеевич закрыл глаза, но слезы все равно катились в бороду, большие узловатые пальцы перебирали кнопочки ладов, с тихим потрескиванием раздвинулись склеившиеся мехи.

Шевеля ртом, Иван Тимофеевич заиграл.

Старинная русская игра была нежна и печальна: перебор «Камаринской» угадывался в ней за тоскливым зовом ладов, густые хрипловатые вздохи басов протяжно оттеняли ладовую перекличку, щемящие переходы были целомудренно-чисты, и от всего веяло неведомой силой, неведомой горечью.

Иван Тимофеевич играл и играл с закрытыми глазами, положив ухом на гармонь свою бородатую голову, и мутные слезы редкими капельками катились по лицу.

Никого у него не осталось, только гармонь играла, как живая.

Вожжи в бригаде всегда крутили тонкие, ровные. Иван Тимофеевич взял принесенный с конюшни моток и повесил его в темноте за печку. На другой день он вновь был на могиле Михайловны, окопал бугорок — погода чуть потеплела.

На душе было тихо и спокойно. Он знал теперь, что надо делать, и с тайной грустной лаской смотрел на оттаивающий весенний мир. Водополье, поддержанное снегопадом, опять набирало силу. Снова появились грачи и скворцы. Бабы во главе с Полькой боронили вспаханный Иваном Тимофеевичем участок. Они впряглись в борону — восемь баб — и на веревках таскали борону по влажной земле. У конюшни сапожник Ярыка шкурал Свербеху, и ребятишки с корзинками терпеливо стояли рядом. Иван Тимофеевич тоже сходил туда, и Ярыка отрубил ему большой кусок Свербехиного бедра. Иван Тимофеевич знал, что идет по улице в последний раз, что больше никто его не увидит живым, и был спокоен. Он растопил печь и сварил два куска дохлой конины, но есть не стал, начал собираться. Еще со вчерашнего вечера его просили высушить овин прошлогодней, вытаявшей из-под снега тресты.

Иван Тимофеевич взял большую корзину, положил туда чугунок с кониной, спички, вожжи, лучину и вновь вышел из дома.

Уж вечерело. Он пришел на гумно, натолкал дров в окошечко овина, растопил теплину, большую глинобитную печь.

Иван Тимофеевич всегда был мастер сушить овины.

В большой овинной печи затрещали сосновые чурки, овин медленно наполнялся жаром. Пришла редкозвездная майская ночь.

Иван Тимофеевич чувствовал, как за овинной стеной затихали последние отголоски зимы, как шумел уже стихающий Ярыкин ручей, чуял вешние запахи, и все это пеленалось безбрежной и мудрой тайной, тайной смерти.

Он ни о чем сейчас не думал, горя как будто не было, но не было и ничего другого.

В ушах у него звенело.

Вдруг Иван Тимофеевич услышал скрип воротницы. Он открыл дощатое полотенышко выхода в гумно и услышал Полькин голос. Она стояла с пестерем на плече и окликнула Ивана Тимофеевича:

— Думаю, наскребу немножко коглины [1] на гумне, две коровы лежат врастяжку.

---

[1] Коглина (отходы от обмолота льна) — сыпучая масса раздавленных, без семян головок от льна.

Иван Тимофеевич ничего не ответил. Полька пошебаршила на перевале и зашла погреться. Она встала напротив теплинки. Заслонив красные сполохи огня, с минуту трясла мокрым подолом и вышла.

Иван Тимофеевич подождал, пока не стих стук ее сапог, потом взял из корзины вожжи и сделал петлю. Он вышел из овина, нащупал лестницу, по которой поднимались на овин, приставил ее и с веревкой полез наверх. Он привязал веревку к балке, спустился до середины лестницы, поймал в темноте петлю, дрожащими руками раздвинул ее, надел на шею и приноровился вытолкнуть из-под ног лесенку.

На секунду запечатлелись в голове багровый овинный отблеск и шум полевого ручья. Вдруг истошный женский крик послышался из темноты, и Иван Тимофеевич, каясь в чем-то, толкнул лестницу. Больше он ничего не помнил, зеленые нимбы расплылись вокруг затуманенной враз головы.

— Ой, Иван! Ой, что ты наделал-то, ой! — металась в овине Полька, ища топор. Она нашла топор, скорехонько приставила лестницу, торопливо залезла наверх и наугад, плача, долго тюкала по веревке, пока на подошву гумна не упало грузное тело Ивана Тимофеевича.

Она еле стянула с него врезавшуюся в шею веревку, подтащила его на свет. Иван Тимофеевич не двигался. Она суетилась около, плакала, охала, не зная, что делать. Вдруг кадык у него дрогнул, дернулся один раз, другой, и Полька, улыбаясь и плача, с маху кинула веревку в огонь.

— Полинарья, ты?

— Я, Иван, я...

— Не говори, ради Христа, никому.

Полька, вся в слезах, села рядом, положила голову Ивана Тимофеевича на свои коленки, и вся горечь, что накопилась у них обоих, слилась в одно горе, и от этого стало вдруг легче. Чугунок с кониной перекатывался на земляном полу, за овином шумел неутомимый Ярыкин ручей, посинели звезды над гумном, и земля вокруг тихо дышала, дожидаясь человеческих рук.

С ночного юга катилось вал за валом густое, как сусло, вешнее тепло, в темноте у гумна пробивались на свет новые травяные ростки, гуляла везде весна. Надо было жить, сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому было делать все это.

— Не говори, Полинарья, никому...— повторял Иван Тимофеевич эти слова, стыдясь того, что случилось. Он повторял эти слова, подкидывая дров, и огонь в печи набирал силу, как набирала силу первая послевоенная весна.

ГУДЯТ ПРОВОДА



Романовны всю зиму тосковали руки. Особенно по ночам и к перемене погоды. Как она их ни парила, чем ни перемазала, толку не было! Днем еще ничего, за работой боли не чувствовалось, а ночью, только погасишь лампу, заноет в локтях и в запястьях, будто кто жилы из них вытягивает.

— Иди, девка, к фершалу-то. Иди и не майся! — сказала однажды соседка Алевтина.— Спаси-сохрани, ежели совсем доведешь руки-то!

После Женского дня Романовна собралась наконец сходить на медпункт. Правда, особо какие сборы. Наказала Алевтине дать сена корове и выставить из печи картофельную оладью, попринарядилась да и пошла.

Дорога была вдоль телефонной линии. Как раз потеплело, крыши деревень впервые перед весной тихо плакали, лошадиный помет на дороге отмяк, но снег под ногой еще не проступывался. В безветренном поле роняли иглу придорожные елки. Воздух был молочно-прозрачным, явственно и далеко проглядывались везде сиреневые ольховые островки, да и горизонт был сиреневым. От дороги пахло оброненным за зиму сенцом, а над головой по-комариному тонко пели провода. Они пели от далекого-далекого ветра. Будто гусельные струны, бежали по небу тонкие звенящие линии: у каждого столба их пение нарастало, потом замирало, завораживая, и вновь нарождалось у другого столба.

До медпункта всего километров двенадцать, к тому же Романовна любила ходить пешком. Еще в девках навыкла бегать по всяким дорогам. Зимой по скрипучим санным проселкам, летом по сенокосным тропам да по болотинкам. Подоткнув подол, бежала, бывало, мелькали в траве белые ноги, только успевай перелезать изгороди. А чего только не передумаешь на ходьбе, кого не вспомнишь! Мысли друг за дружкой так сами и вяжутся. Вот и сейчас. Увидела на дороге след от большого кирзового сапога и вспомнила сына: «Степанко тоже такие сапоги носит. Третий год в солдатах. Разматерел и в плечах и всяко. Приезжал перед Новым годом, через военкомат вытребовали, чтобы печь у матки перекласть. Печь-то переклал, а вот винца-то попил. Сказала одинова: «Пошто бы уж, Степа, много-то пить?» — а он хоть бы что. Только поет про моряка да про какого-то морского дьявола. Всю неделю выходил в Заозерье к Ленке Смирновой. Опять молвила: чего, мол, в Заозерье ходить, Ленка сама почти на чужом подворье живет — ни кола, на двора. Девка сирота, послали из детдома по комсомолу на ферму работать, приткнулась у крестного, да и живет. Чего выходишь? А он только хохочет да поет, что морской по ндраву дьявол. И песня-то какая — ни уму, ни сердцу. Уехал дослуживать. А вчера письмо пришло. Пишет, что отпустят, наверно,

скоро, немного осталось служить, что домой не приеду, говорит, никого в деревне не стало, там, в городу, и женюсь...»

За такими думами Романовна и не заметила, как отмахала дорогу. У сельсоветского центра стояли подводы.

Ворота в магазин были открыты. У сельпо и у почты снова тоненько гудели провода.

Медпункт вместе с родильным домом размещался в одной избе.

Четыре кровати в родилке почти всегда пустовали. Зато за капитальной стенкой, на медпункте, народу бывало иногда и порядочно. «Ежели много крещеных в очереди, так схожу в лавку, а ежели немного, так подожду»,— подумала Романовна и направилась не в магазин, а к медпункту.

Она обмела веником валенки и почувствовала, что позади нее кто-то идет. Оглянулась и увидела Ленку Смирнову. Ленка так завязала платок, что глаз почти не было видно.

— Здравствуй, тетя Маня,— сказала Ленка и хотела пройти вперед.

Романовна поздоровалась и остановила Ленку:

— Что это ты, милая, бежишь как на пожар?

— Да некогда, тетя Маня, мне. Коровы одне остались.

— Коровы-то не убегут, поди. Чего, занемогла чем?

— Голова что-то болит,— потупилась Ленка.— Второй день болит.

— Простудилась, видно. А ты бы чаю с малиной, да на печь. Пропотела бы, все как рукой сняло. А у меня вот руки тоскуют.

Очередь была небольшая, на стульях сидели маленькая незнакомая бабушка да старик в шубе и подшитых войлоком валенках. Романовна поздоровалась и развязала теплый платок, осталась в одном белом бумажном платочке.

Посидели, помолчали, пока не вышла из-за перегородки врачиха Анна Григорьевна. Она оглядела всех, увидела Ленку.

— Смирнова? Проходи! — и пропустила Ленку вперед себя.

— Вишь, молоденьким какая честь, наперед стариков пропускают,— сказал старик в шубе.

— А куда тебе торопиться-то? — оглянулась Романовна.

— Как куда? — сказал старик.— На тот свет охота, я уж в тамошних списках числюсь. Чего тут больше делыть: вина пить не дают, старуха стала старая, одна от нее ругань, а больше никакой пользы. На тот свет, матушка, на тот.

— Да по твоим речам, дак ты и молоденького переживешь,— отмахнулась Романовна.— Чего у тебя с рукой-то?

— С рукой-то? — Старик поглядел на завязанную холстиной руку.— Чего с рукой, я уже и забыл, давно из дому-то.

— Порубил, поди.

— Знамо, порубил.

— Поменьше языком будешь молоть.

Маленькая бабушка слушала разговор молча, но потом и ей захотелось поговорить.

— Не слушай ты его, не слушай! — замахала она рукой.— Всю упряжку не дело говорит.

Вышла опять врачиха Анна Григорьевна и с ней Ленка. Они вместе ушли за дверь. Вскоре Анна Григорьевна вернулась уже одна. Романовна поглядела на дорогу в окно. Ленки не видно было. «Куда это девалась девка,— подумалось Романовне,— вроде дороги-то нету другой».

Тем временем Анна Григорьевна поставила маленькой бабушке градусник, велела немного подождать и ушла.

— Ой, спасибо, милая,— заговорила ей вслед бабушка,— сразу легче и стало. Я уж все лепешки, какие в шкапу были, съела и сусиди порошков приносили всяких...

— «Сусиди, сусиди!» — передразнил бабушку старик в шубе.— Сидела бы дома-то!

— Да ведь как, батюшко, ешшо и пожить-то охота, белого-то света жалко.

— Живи, кто тебе не велит. Я вот дома старухе как поставлю градусник, так всю хворь будто ветром сдунет.

— Тьфу, тьфу, дурак сивой,— заплевалась бабушка.— Сиди, бесстыдник. Век прожил, а толку как у маленького. Ведь, поди, и у деток детки, а он все еще языком барахвостит! Есть детки-то?

— Да у меня-то нет, а у старухи есть, как нету, есть у старухи.

— Вот я и гляжу, что некому тебя колотить.

Старик покашлял: «Кхе-кхе»,— поскреб за ухом коричневым от курева ногтем и замолчал.

Романовна и слушала разговор и не слушала. Она все смотрела на дорогу, но Ленку так и не увидела.

Анна Григорьевна вызвала Романовну к себе, выслушала жалобы и дала лекарства. Велела прогревать руки и мазать мазью.

— Никакой работы нельзя делать, а особенно тяжелой! — сказала она Романовне, провожая ее до двери.

— Да что ты, матушка Анна Григорьевна! Я ведь умру без работы-то. А люди-то что скажут!

Но врачиха не откликнулась. Романовна слышала, как хлопнула дверь в родильной половине, завязала платок и направилась в магазин.

Она купила новую сковородку, хлеба, ниток, спички и пошла домой. Провода над головой все гудели, а Романовна думала свои думы, и все больше о сыне Степанке. Ей хотелось поскорее его увидеть. Пусть бы ехал домой да женился на той же Ленке. Девка хоть и не больно красавица, зато работница золотая: одних премий сколько ей надавали, и в районе почет.

Романовна думала на ходу, как собрали бы вечерок, и уже в уме прикидывала, куда поставить Степанкову кровать. Глядишь бы и внучек объявился, а ей ничего больше и не надо, стала бы перекладываться с маленьким, а насчет работы, так она еще ни которому не уступила бы.

Она снова вспомнила разговор с Ленкой и почуяла не то тревогу какую, не то беспокойство, словно уронила на пол иглу, а найти так и не нашла. Чего это она такая завязанная по самые глаза? И врачиха ее без очереди пропустила...

И вдруг у Романовны екнуло сердце и голову просветлила простая, как снег у дороги, мысль: «Да ведь... Ой, господи! Ведь она, Ленка-то, в родильной осталась!» Романовна прикинула в уме, когда уехал Степанко: выходило как раз на это — пошел четвертый месяц. Сначала Романовна замедлила шаг, потом и совсем остановилась, расстроенная. Провода гудели, как во сне. Романовна не знала, что ей делать, и мысленно охала. Как это она сразу не догадалась? И вдруг чуть не бегом ринулась обратно, едва не упала на скользкой от тракторных саней дороге. От расстройства даже не поздоровалась со встречным человеком.

Двери в медпункт были уже на замке. Романовна подошла ко вторым дверям, перевела дух и прислушалась. В родилке было тихо, только трещали дрова в плите. Романовна, не раздумывая, дернула за скобу, но двери были заперты на крючок.

— Кто там? — услышала Романовна голос врачихи.— Что такое случилось?

Врачиха Анна Григорьевна приоткрыла дверь, строго посмотрела на Романовну.

— Я сейчас занята. Что вам нужно? Придите завтра.— И хотела захлопнуть двери, но не успела, и Романовна протиснулась в прихожую.

Анна Григорьевна растерялась и не знала, что сказать. Романовна вбежала в палату. На белом столе сверкали какие-то инструменты, а Ленка уже под простыней лежала на другом столе ни жива ни мертва.

— Что это такое? — опомнилась врачиха.— Гражданка, немедленно выйдите отсюда! Что это такое?

Романовна сдернула с Ленки простыню. Ленка вскочила и, плача, закрылась халатом.

— Ну-ко, вставай, вставай, девонька,— заговорила Романовна.— Ишь, чего выдумала! Вставай, да пойдем отсюда. А ты, милая, обери свои струменты! — обернулась она к врачихе.

Анна Григорьевна не успела слова сказать, как Ленка при помощи Романовны уже оделась.

— Вы что, мать ее, что ли?

— Мать, милая, мать! Ишь, что выдумали!.. Вставай, Еленка, надевай фуфайку.

Врачиха хмыкнула.

— Что вы мне голову морочите! А ты не плачь, чего разрыдалась? Не надо было раздабриваться перед каждым.

— Это как, милая, перед каждым? — оглянулась Романовна.— Это перед каким перед каждым? Мой Степанко не от худых людей, слава богу! Я век прожила, людей не смешила, и на хозяина люди не пообидятся, спроси кого хошь, на войне сгинул за нас,

грешных. Вставай, Еленка, домой пойдем! Перед каждым!.. Ишь, что выдумали!..

Врачиха теперь все поняла и заулыбалась, снимая халат. Ленка все плакала, а Романовна долго не могла успокоиться от обиды на врачихины слова.

...Когда они шли домой, снова над ними гудели тихие провода, сумерки растекались в лесу и в поле, а по деревням зажигались огоньки в домах.

У крыльца Романовна подала Ленке корзину и ключ от замка.

— Иди, девушка, зажигай лампу да ставь самовар, а я корову проведаю.

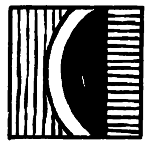
Через час они сидели за столом и пили чай. Потом Ленка на углу стола писала письмо под такую диктовку:

— Пропиши ему мое слово, прохвосту, чтобы он, прохвост, домой ехал, а на крестного наплюнь. Ну его к водяному, жмота! Проживем, даст бог здоровья...

Но «прохвост» домой не приехал. И когда уже в сенокос Романовна везла домой Еленку с новорожденной внучкой, у деревни и в поле все так же тонко и таинственно пели на столбах провода.

Романовна дня три беспокоилась и расстраивалась: не знала, какое имя дать внучке. Помогла опять же соседская Алевтина: с ее помощью и назвали девочку Светланой.

КЛАВДИЯ



Свою производственную практику Дима проходил в лесном малолюдном краю, где все лето волновались разливы трав и ветер носил пьянящий запах багульника. В лесах прямо из-под ног тяжело взлетали тетерки и рябчики, над полями трепетно повисали жаворонки, и только тогда, когда шумели дожди, прерывался голодный гул оводов.

Уже в середине июля Дима одичал: брови его выгорели, грудь в вырезе ковбойки совсем почернела. В кепке не хватало места для волос, а все мускулы закововели и, как озерные голыши, перекатывались под кожей.

Председатель колхоза выделил Диме помощника. Федулович — пожилой колхозник — ходил в мощных стоптанных наружу сапогах. У него была бородка, похожая на клочок жесткого белоуса, который растет на пригорках и не привлекает никакую скотину.

Жил Дима в доме у своего помощника. Федулович ходил с

Димой по окрестностям; целыми днями они, как кроты, рыли ямы для проб, мотаясь по полям и лесам. Сшитая из опойка сумка на весь лес гремела на Федуловичевой спине, когда было сухо, а когда шел дождь, то размякала и становилась объемистой, топор всегда торчал за ремнем на пояснице, лопата служила Федуловичу опорой в болотинах.

В воскресенье было особенно ведренно и тепло. Солнце стояло как раз на самом верху, когда Федулович выкопал очередную яму, а Дима взял пробу. Почва была серая, подзолистая, лишь небольшой слой перегноя прикрывал ее сверху.

— Куда теперь, Митрей? — спросил Федулович, налаживаясь двигаться дальше.

Дима подал напарнику мешочек с пробой и вытащил из спортивных штанов портсигар:

— Все, брат батя. На этом у нас с тобой финиш.

— Финиш так финиш, финиша не минешь,— проговорил Федулович, как всегда на ходу придумывая раек.— Погоди, Митрей, какой это ишшо финиш?

— Ну, конец иначе.

— Неужто шабаш?

— Шабаш. Завтра уезжать надо.

Федулович сел на кочку и закурил своей махры. За все лето Дима так и не смог приучить его к папиросам.

Они сидели на лесной прогалине, сплошь заросшей пушистыми заячьими лапками и кукушкиным льном. Из лесу пахло грибами. Издалека, оттуда, где были покосы и шла дорога в деревню, доносились крики баб-сенокосниц.

— Надо бы хоть в баню тебе сходить напоследок,— произнес, размышляя, Федулович, и Дима поддержал его. Они помолчали немного. Потом Федулович встал, начал собираться.

— Ты, Митрей, сичас домой пойдешь аль помешкаешь?

Дима сказал, что пойдет еще есть смородину. Федулович вырубил тонкую березу с тремя отростками, для вил, которыми мечут стоги. Он никогда не уходил из лесу порожняком.

— Так ты, Митрей, не шатайся долго-то, а приходи. Я баню враз истоплю.

И пошел домой, уверенно и осторожно ставя ноги и обходя топкие места. Дима посмотрел ему вслед, задумчиво погасил папироску и направился искать смородину.

Тропа вывела его к скотному прогону. Здесь в ольховых чащах желто-серые лесные комары вызванивали свои спокойно-щемящие симфонии. Пряно и густо пахли крупные папоротники. Узенькие тропочки, истыканные овечьими копытцами, разветвлялись и путались в кустах, снова сходились. Дима машинально сшибал носком резинового сапога мостики перезрелых трухлявых маслят.

Набродившись досыта, он решил двигаться ближе к деревне и пошел вдоль осека. Он запомнил, что где-то левее были сенокос-

ные пустоши. Позавчера он видел там Клавдию. Да и в первый раз он увидел ее где-то здесь, около пересохшего лесного ручья.

Случилось это с месяц тому назад, когда жара и сенокос только что начинались и Димина работа в этом колхозе тоже только что начиналась. В тот день Дима ходил по полям один и без инструментов, сверял по карте здешние места и изредка срывал красные сережки земляники. Тогда он забрел к ручью и остановился, чтобы попить, но вдруг услышал водяной плеск. Дима, как сейчас, помнит все происшедшее. Обернувшись, он увидел тогда женщину. Она стояла за кустами нагая и, не замечая Димы, неторопливо обливалась ручьевой водой из алюминиевого ведерка. Струйки воды бежали по белоснежной коже. На секунду показались в просвете зеленых веток широкие бедра. Дима не успел ощутить даже стыда, как она, присев на корточки, уже одевалась. И он долго стоял, не зная, что делать. Потом, когда она ушла, так и не заметив его, Дима выбежал на скошенный луг. Горошковое белое платье виднелось уже около стога. Она шла с граблями в левой руке, а правой поправляла темные волосы.

После этого в деревне Дима еще несколько раз встречал Клавдию, и каждый раз его охватывало жаром, и он с волнением торопился закуривать.

...С дороги, хлопая крыльями, поднялся выводок молоденьких рябчиков. Они сели совсем недалеко, на высокие ольхи и тонко посвистывали.

Дима вышел к сеновалу. Старинный сруб, крытый на два ската драночной крышей, был набит почти доверху хорошим полевым сеном. Невдалеке еще дымился потухший пожог. На деревянном гвозде, вбитом в паз сеновала, висела плетеная корзинка, из которой выглядывали ветки изумрудно-розовой княжицы, тут же стояли грабли и тонкие отшлифованные шесты носилок.

— Что, милый, не заблудился ли? — услыхал Дима и, обернувшись, увидел Клавдию. Она была в том же самом белом горошковом платье и смотрела на Диму с ласковой насмешливостью, слегка улыбаясь и обнажив белые зубы. Видя его растерянность, Клавдия спокойно погасила улыбку и взяла корзину с княжицей, а Дима вдруг ощутил прилив самой невероятной для него смелости.

— Здравствуйте, Клаша,— сказал он и сел на порог сеновала,— может, угостите меня ягодами?

Дима никак не ожидал той простоты, с какой Клавдия протянула ему ветку княжицы.

— Жалко, что ли. Вон у ручья нарвала,— вновь улыбаясь, сказала она и присела рядом.— Кислая уж больно.

Дима совсем растерялся. Они сидели так близко друг от дружки, что он слышал ее дыхание. Сложив руки под высокой грудью, Клаша раздумчиво смотрела на еле заметный зной потухающего пожога, и Димина смелость пропала так же неожиданно, как и появилась.

— Я сейчас вашего старика видела. Идет, сам с собой разговаривает. Вы теперь, наверно, домой поедете?

— Нет, домой не поеду, а в институт,— обрадовался Дима ее словам,— скучать поеду.

— По кому, по Федуловичу? — Клавдия озорно прищурила глаза.

— Может, и еще по кое-кому...

— Позавидуешь тем людям.

— А я по тебе буду скучать,— вновь удивляясь своей смелости, проговорил Дима.— Не верите?

Клавдия грустно вскинула брови и со снисходительностью матери взглянула на Диму.

— Вот оно что. А я думала, по Федуловичу.

Она вдруг сразу изменилась в лице и встала. Что-то скорбное, женское мелькнуло в ее взгляде. Она сказала Диме «счастливо вам», и Дима тоже с ней попрощался.

У реки дымила затопленная Федуловичем баня. Сам он таскал воду. Шайки за неделю рассохлись, и пока не набухла клепка, щели тихонько слезились. Каменка уже полыхала жаром, дым наполовину заполнил черный от копоти банный сруб. Чем жарче полыхала каменка, тем жиже становился дым, наконец он совсем исчез, и в бане стало так жарко, что нельзя было распрямиться. Согнувшись под тяжестью дымной жары, Федулович начал греть воду. Деревянными клещами он брал румяный, раскаленный в печке голыш и осторожно макал его в специальную шайку, чтобы смыть золу, а потом уже чистенького опускал в другую шайку. Голыши гудели и шарахались в шайках, но вскоре в бане установился ровный умиротворяющий шум.

Дима сидел в предбаннике, слушал этот шум и думал о Клаше. За рекой в дальнюю поскотину садилось солнце. Запахи сникшей под вечер травы плавали около бани. Над водой летали вечерние ласточки, в огороде белела начинающая завиваться капуста, а из бани доносился, как сквозь сон, Федуловичев голос:

— Ноне что. Ноне, Митрей, парятся не то что раньше. Вот раньше парились так парились, не надо тебе никакого фершала. Бывало, дедушко мой идет в баню, два ведра квасу с собой берет. Одно для нутренностей, а другое для пару...

— Как для пару?

— А так. Воды поддаст на каменку, а веник-то в квас, да как начнет хлестать по лопаткам, по загривку, по чему попадя. По всей бане так ароматы и пойдут. Зато и жил до девяноста годов.

Федулович открыл в бане трубу, чтобы вышел весь угар, окатил полки водой и турнул Диму домой:

— Там старуха пусть кальсоны поновее подаст, да мыло с веником прихвати, не забудь!

Через некоторое время старик с наслаждением раздевался в предбаннике, потом перекрестился для порядка и ступил за порог.

— Ты, Митрей, зря-то не совестись, разболокай и трусы,— проговорил он и взялся за шайку с холодной водой.— Хосподи, благослови, отшатнись-ко, Митрей...

Раздался хлопок и оглушительное шипение. Горячей волной пара распахнуло дверку, а у Димы остановилось дыхание. Федулович полез на самый верхний полок. Блаженно крякая, он поднял свои мослатые ноги в потолок, тогда как Дима едва усидел и на полу.

— Кха! Едрена-Олена,— священнодействовал наверху Федулович,— в такую бы баньку да потолстее Параньку, а ты, Митрей, полезай повыше, на полу какой скус? Я по один год Ондрюшку тоже привадил париться.

— Какого Андрюшку?

— А Клашкина ухажера. Он в та поры на действительную уезжал. Ну, вот мы и стакнулись одинова. Годов уж десять прошло после этого.

— Что, Клаша замужем была? — как бы невзначай спросил Дима, волнуясь и намыливая голову.

— Выхаживала. Только не за Ондрея.

— Как так?

— А вот как вышло нескладно, что и вчуже ее жалко. Робят теперь, сам знаешь, как волосья у бабы на коленке, нету робят молоденьких, а за ей тогда много бегало...

Федулович обмакнул веник в холодную воду и начал хлестать себя по ногам.

— ...Беда с этой молодяжкой. Ондрюшка к ней тогда и повадился — всех отшиб. Работал он на машине в другом колхозе. Бывало, кажинный вечер прикатит, прямо на машине, да и Клашка-то к ему зачастую посещала. А он у моего дома все машину ставил. Один раз приезжает — хлесть бутылку на стол, давай, говорит, дедко, закуску, меня на службу берут. А у меня как раз баня истопилась. Варовый был парень. Мы с ним после бани-то и накукарекались, да так, что я об одном сапоге на пече ночевал. Старуха ругается, а на Ондрюшку ничево. Да и крепок парень, пошел ко своей Клашке как стеклышко. Да. Уехал он, значит, на службу, а Клашке-то все время письма писал. В каждом письме, бывало, и мне со старухой поклон напишет. Далеко где-то служил, на самой Камчатке. Ну, вот, отслужился парень, да и остался на сверхурочную, а Клашке пишет, что так и так, приезжай сюда, меня не отпускают пока. Денег послал ей на дорогу, маршрут весь прописал. Она, значит, туда-сюда. Клашка-то срядилась ехать к ему, а документов ей не дают, да и только. Девка расстроилась, с лица спала. Чуть не год экая канитель и тянулась.

Федулович вновь начал махать веником, и в бане заходил жаркий ветер. Дима сел на порог, не пропуская ни одного слова.

— ...Похудела вся, глаза провалились. А тут он и писать ей перестал, горяч парень, может, что и худое про ее подумал. Шарахни-ко, Митрей, на каменку-то разок, да воду не жалей, побольше

шарахни! Да. Приехал, понимаешь, тово году Ленька Криулин из заключенья, устроился в леспромхозе роботать, да и начал Клашку охаживать, начал круг ее виться. Она ни в какую, иди, говорит, от меня и не приставай лучше. Не отступается, дьяволенок, ходит и ходит прямо на дом. Вот пораз пришла ко мне Клашка, да как заревит. А я что, чем я ей могу пособить, ежели и годов много и грамоте не обучен почти. Ушла она молчаливая такая, а на другой день, чую, бабы на льне судачат, что расписалась Клашка с Криулиным. Выматюкался я, помню, до того мне обидно стало. Потом вышло, что зря я ее обматюкал. Уехала она в леспромхоз с Криулиным, получила там документы и кряду маханула к своему Ондрюшке на самую что ни на есть Камчатку.

Федулович, тяжко пышкая, опустился на средний полок и поплескал на лицо холодной воды.

— Вот, брат Митрей, какая Клашка оказалась.

— Ну, и потом что?

— А што потом, потом стала кошка котом, вот што потом. Приехала вдругорядь домой, не вдова, не мужняя жена. Ондрей-то, видно, денег дал ей на обратную путь, а разговаривать с ей не стал, видать. Нелюбо показалось, что не девкой к нему приехала... С тово году и живет она одна с маткой. Криулина близко не подпускает и замуж ни за ково не выходит. А все грамотки, какие в леспромхозе выправила, при мне пораз в печь сгоряча кинула. Теперече-то поменьше ревит, а тогда сама не своя года три ходила...

Федулович вылил на шипучую каменку еще полведра и начал париться по второму заходу.

...После бани они выпили четвертинку. Дима собрал инструмент и бумаги, пошел спать на сено. Он долго не мог уснуть. Сено под ним шуршало и потрескивало, Дима ворочался с боку на бок. Утром он проснулся на восходе от содома, поднятого глупыми курицами. Федулович уже давно встал и чинил свою сумку, зашивал ее по шву черной дратвой. Он уже отослал с молоковозом Димин инструмент и пробы земли. Дима позавтракал, распрощался с доброй Федуловичевой старухой, обнял его самого и пешком пошел из деревни.

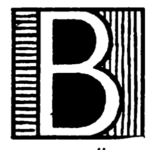
— Приезжай, Митрей, на другое лето! — кричал Федулович с крылечка.— Попаримся, ежели не умру за зиму!

Дима помахал ему и ступил на жидкие жерди, перекинутые в самом узком месте через речку. Выйдя на другой берег, он оглянулся на деревню, на баню и увидел Клашу. Она шла по своей тропке с ведрами воды на кривом водоносе; одна рука ее, согнутая в локте, опиралась на бедро, другой рукой Клавдия поддерживала водонос.

Дима проводил ее новым, совсем новым целомудренным взглядом и выбрался на проселок.

Вдоль проселка томились еще не успевшие погибнуть под острой косой густые цветастые травы, и в небе неподвижно клубились пухлые, ленивые облака.

КОНИ

олосатиха дышала то береговым теплом, то холодом своего плеса, и в этом дыхании глохли и без того редкие ночные звуки. Бряканье молочных фляг на проезжей телеге, ленивая воркотня давно отнерестившейся лягушки, рыбий всплеск — все это было с вечера, позади, а сухой звон кузнечиков делал тишину еще осязаемей.

«Надо будет хоть на Мальку колоколец навязать,— подумалось Лабуте,— все повеселее будет».

Он вышел на сухой, обсыпанный сосновыми шишками бугор, выбрал место над самой Волосатихой, наломал валежнику и развел костер.

Кони паслись в паровом поле и не так далеко. Лабутя почувствовал это особым своим чутьем и спокойно курил, экономно подлаживая горящие сучья. Слева виднелось белое колено дымящейся Волосатихи. Справа угадывалась песчаная дорога. По слухам, как раз в этом месте часто «блазгило и пугало»: давно когда-то схоронили тут спившегося коновала. Говорили, что коновал был нездешний, что ночью, в летнюю пору, он вставал из земли и до рассвета жадно пил из реки воду, не мог напиться, и будто бы всю ночь в его сухом от жажды горле булькала речная вода.

Лабутя подкинул на огонь и огляделся. Костер полыхал и стрелял угольками, пламя то раздвигало сумрак, то сжималось. На концах прутьев шипела влага. Лабутя поглядел на часы — правление в прошлый сезон премировало его карманными часами. Времени было далеко за полночь.

— Что-то Серега сегодня долго загулялся,— вслух подумал пастух, но тут же услышал недальний свист.

«Серега, где твоя дорога», как его называли, был шофер, возил председателя и каждый вечер ходил к учительнице. От нее шел он и сейчас, палкой сбивая придорожные лютики.

— Лабутя! — издалека еще окликнул Серега.

— Приворачивай, парень, покури! — радостно отозвался пастух.— Что-то ты, парень, задлялся, я уж думаю — уехал куда.

Прикуривая от костра, Серега сел на корточки, вытянул губы, на шее заходило адамово яблоко.

— Не видал, председатель не проходил? — спросил парень.

— Нет, не видал. А пожевать не хошь? У меня вон рыбник свежий, сегодняшний.— Лабутя снял корзинку с куста.

Серега съел полпирога и ушел домой, а Лабутя долго восхищенно глядел ему в спину и радовался, что Серега поел у него и закурил. «Хорош парень,— думал он, улыбаясь,— второй сезон к учительнице ходит, и одежа хорошая».

У Лабути была одна давняя сладкая задумка. Он с волнением ждал тот день, когда Серега будет жениться на миловидной учительнице и как он, Лабутя, запряжет Гуску — вороную игровую кобылку — и прокатит молодых к сельсовету, на виду у всех, как завяжет хвост Гуске узлом и прокатит, и колокольцы будут звенеть на морозе...

Мало кто помнит, когда и как прижился в колхозе Лабутя. Еще во время войны он часто ночевал в здешних местах. Зимой, за кусок хлебушка, подшивал валенки, летом пас коров, и все понемногу привыкли к нему, считали за своего. Году в сорок пятом колхоз отдал ему домишко умершей бездетной старухи. Лабутя поселился в этой хоромине и утвердился в колхозе окончательно. В конторе открыли новый лицевой счет на имя Ивана Александровича Петрова, но никто, кроме председателей, не называл его по имени: только и слышно было — Лабутя да Лабутя.

Летом он по-прежнему жил в пастухах. Коренастый, коротконогий, с бесхитростными светло-синими глазами и коротенькими ресницами, он улыбался и давал закурить каждому. Причем всегда радовался, если кто-нибудь с ним заговорит и покурит.

Никто не знал и того, сколько ему лет. Правда, иногда кой-какие сердобольные бабы спрашивали у него о годах, но он только улыбался да говорил: «И-и, матушка, я уже и со счету сбился». Однако выглядел он еще не старым, особенно если побреется да сходит в баню, причем первое он делал так же редко, как часто второе. Никого из родных у него, видно, не осталось, родом он был из-под какой-то далекой Устрики. Сначала таинственная эта Устрика изредка всплывала в его разговорах, потом совсем забылась, и Лабутя больше не заикался о ней.

Кроме всех людей, любил он еще животных, особенно лошадей. Каждую весну он справлял обутку, натачивал топор и, как только появлялась первая трава, шел в контору «рядиться», хотя рядиться, собственно, было нечего, все знали, что Лабутя снова за трудодни все лето будет пасти коней.

Так было много лет подряд. Так было и в это лето.

В бригаде когда-то числилось много лошадей, около сорока, теперь же осталось только десять, и дело дошло до того, что в дальних деревнях на себе таскали дрова из лесу. Лабутя знал каждую лошадь так, как знал самого себя.

Конечно же, на первом счету у него была Малька — кобыла пожилая, но веселого, доброго нрава. С годами сникла брабансоновская Малькина стать, длинные плечи покрылись седыми пятнами от прошлых стирышей, «пятачки» стирышей белели на спине, где клалась седелка. Кто учтет, сколько Малька за своей век перепахала загонов, перевозила снопов, сколько колесных спиц оставила на длинных дорогах? Но еще и теперь, в ночь и в холод, она безотказно встает в оглобли, слышит малейшее движение вере-

вочных вожжей, и ей все кажется, что она что-то не так сделала, хотя чаще всего неладно делают сами ездовые. Недавно один мальчишка ездил в лес за корьем и заехал в незнакомое место. До деревни было далеко, он заблудился и тянул совсем не ту вожжу. Малька же все заворачивала в другую сторону. Тогда мальчишка вырубил прут (она терпеливо ждала, пока он вырубал) и исступленно начал бить ее по крестцу, по ногам. Ему казалось, что она тащит его в лес, а она вывезла его прямехонько на дорогу. Тогда он как ни в чем не бывало запел что-то и успокоился, изредка, для порядка, похлестывая лошадь, а она только оглядывалась назад, когда очередной удар обжигал кожу.

Мерин Дьячок — флегматичный, маленький, сухой — тоже был очень смирным и легко давал себя запрягать. Ходил он почти на щетках, но не было мерина терпеливее. В жару июльских дней его не надо было мазать дегтем и креолином: он не выходил из себя даже тогда, когда кровожадные слепни и оводы впивались в кожу давно не нужного Дьячку места и в ноздри, что было всего больнее. Дьячка выменяли у цыган. Лабутя помнил, как в первый год войны старик цыган долго торговался с председателем, предлагая в придачу к своему Дьячку два, видимо украденных, хомута. Вопреки предположениям, цыган оказался честным, у мерина не обнаружилось ни бельма в глазу, ни гвоздя в копыте.

Дальше по возрасту шла широкая, как печь, гнедая Аниса. Она была племянницей того жеребца, которого перед началом войны колхоз подарил Красной Армии. В конторе и до сих пор висит благодарственная грамота Буденного. Анису умели взнуздывать только Лабутя и еще несколько человек в бригаде, притом только с корзиной. Конечно, корзину показывали ей пустую, но, приученная с детства лакомиться из корзин, она всегда наивно тянулась к перевяслу, прижимала уши, и в это время ее хватали за гриву.

Еще шире в костях была громадная сонливая Верея. Казалось, что Верея спит все время; даже в оглоблях и во время случки она только дремала да щурилась, ослабляя по очереди могучие задние ноги. Ее медно-рыжая шерсть всегда лоснилась, лошадь была чистоплотна. Она часто каталась по траве; а когда она каталась и переворачивалась, было жутко смотреть, так много было в ней добра. Комья мускулов на ее груди висели хлопьями, если она дремала без дела, если же дремала на ходу, в оглоблях, то мускулы каменьями перекатывались под кожей. По силе и неповоротливой выносливости ее можно было сравнить с трактором, а по невозмутимости — с многовековым валуном, что лежит поперек Волосатихи, там, где схоронен коновал.

Во всех смыслах полной противоположностью Верее была чалая кобыла Зоря. Сухая, брюхатая, непоседливая, эта лошадь наплодила колхозу уйму наследников. Уже и у внучек Зори были свои внучки, а сама Зоря все еще жеребилась каждый год, причем

потомство брало от матери только разве выносливость да непоседливый норов. Зорю знал весь колхоз от мала до велика. Не было ни одного человека, который бы не ездил на ней, не запрягал. Лет десять тому назад, когда была еще конная молотилка, Зоря поскользнулась на приводном кругу и упала, как раз на длинный приводной вал. Зорин хвост зацепило, намотало на вал и вырвало по самую репицу. Выглядела она без хвоста довольно несолидно. Но однажды, когда приезжий зоотехник стал подтрунивать над Зорей, то конюх, знакомый Лабуте мужик, по самые края наложил зоотехнику в шляпу теплых конских колобов.

Кроме этих лошадей, не считая молодых, в Лабутином табуне паслись еще два мерина: Евнух и Фока. Евнух был очень высокий мерин, чуть вислозад — на нем возили молоко на завод, беднягу почти не выпрягали. Правда, доставалось и Фоке — небольшому, но жилистому: свежие, сбитые хомутом «пятачки» не заживали на его мышастых плечах. Если Евнух приобрел знаменитость благодаря своему высокому росту, то Фока прославился совсем другим образом: он любил выпить. Уже при Лабуте двое колхозных мужиков ездили на станцию, возили льняное семя, а обратно везли по четыре ящика водки. Дело было осенью, шли затяжные дожди, и речки на волоках словно взбесились, бревенчатые мостики поднимало водой. Мужики расписались в получении товара и выехали домой; все шло хорошо, пока не подъехали к Волосатихе. Первый, ехавший на Зоре, проскочил благополучно. Поехал второй, но всплывшие бревна раздвинулись, и Фока всеми ногами провалился в воду. Пока рубили гужи и чересседельник, все трое — и мерин и мужики — изрядно накупались в холодной Волосатихе. Ящики с водкой, без телеги, кое-как вытащили на сухое место. Надо было выпить, согреться, а вся плата за езду была дешевле одной бутылки. Тогда один из ездовых взял бутылку, вставил горлышко в зубы Фоке и со скрежетом повернул. Горлышко с сургучной печатью, отрезанное как алмазом, выпало изо рта мерина целехоньким, и бутылка оказалась распечатанной. Мужики повторили это дело и для смеха вылили полбутылки в ведро с водой, поднесли мерину: пей, дескать, да не проговорись. Мерин отпил полведра, и дрожь у него тоже кончилась, а мужики сдали в сельпо горлышки с печатями. Поэтому водку списали, а Фока после этого случая пристрастился к вину. Он сам приходил к магазину, мужики, смеясь, подносили ему, а он после этого скреб копытом, заигрывал, мотал головой.

Все это были сравнительно немолодые кони. А еще в Лабутином стаде паслись жеребчик Зепрем и его сестра Замашка — оба от Зори. Десятой в табуне была вороная кобыла Гуска. Они ходили втроем, на особицу от старших. Зепрем уже таскался за Гуской, чувствуя приближение своего праздника. Все трое, в том числе и Замашка, еще часто дурачились, повизгивали и грызли друг другу холки, не зная пока ничего и не испытав того, что знали кони постарше.

Всходило солнышко, и вслед за ним обсыхала роса. Медленно посинел плес реки. Рябой клин первого крохотного вихря раздвинул эту синеву и, запутавшись в осоке, утих.

Лабутя переобулся и загасил остатки костра. Можно было вздремнуть где-нибудь под кустом, но спать ему не хотелось; он взял корзину, узду и не торопясь пошел к лошадям. Когда он приблизился к Мальке, она сдержанно всхрапнула и мотнула хвостом. Запрягая, Лабутя никогда не взнуздывал ее. Он с изгороди взобрался на Малькин хребет и, держась за холку, попробовал ехать рысью. Но его так затрясло, что он заулыбался сам себе и поехал шагом. Кони щипали молодую траву нехотя, они поднимали добрые глазастые головы и смотрели на Лабутю, только Зепрем не замечал пастуха, крутился около Гуски и неумело поднимал голову с вытянутой верхней губой.

— Кыш ты, гуляка, я вот тебе! — крикнул на него Лабутя и начал выгонять коней на дорогу. Они сбились в кучу и побежали недружной ленивой рысью, только Верея грызла дерн у дороги и не торопилась. В это время из-за гумна вымахнул Серегин ГАЗ-69. Серега газанул прямо на гущу, кони стремительно расступились, и Лабутя чуть не слетел с Мальки. Серега хохотал и кричал что-то из машины.

— Лабутя! — Серега резко затормозил.— Скоро хана твоему царству, иди ко мне в заместители!

— Чево?

— Я говорю, переучивайся, пока не поздно, расформируют твою кавалерию! — Серега, хохоча, включил скорость и уехал, только мелькнул брезент на машине.

Лабутя не расслышал последних Серегиных слов и улыбнулся, думая про себя: «Хороший парень, от мазурик!» Ему снова вспомнилась миловидная учительница и то, как зимой он запряжет в санки Гуску, подъедет вместе с молодыми к сельсовету и как будут звенеть на морозе медные колокольцы.

Пьянящим багульником цвел по лесному выгону Лабутин июль, шумел чистыми дождями, краснел сладкой малиной. Лабутя сколотил себе на лесной развилке дощатый шалаш, устлал его ветками, сухим белым мохом и все дни и ночи проводил в лесу, приходя домой только за харчами. Брезентовый плащ и кошель побелели от дождей, а сам Лабутя почернел. Он был счастливым и добрым в своем лесу. Раза три в день он палил из ружья, и эхо выстрелов долго перекатывалось над лесом. Кони уходили пастись далеко-далеко, но он всегда знал, где они: приложив ухо к земле, он слышал их за много километров и знал, что в лесу все спокойно.

В августе почернели длинные, влажные ночи. Иногда ночью он пригонял табун в деревню, и кони топотали по улице так, что сотрясались углы домов и качались под матицами висячие лампы. За лето кони нагуляли весу, даже у костлявой Зори округлился

и раскололся надвое крупный зад, один только Зепрем стал тощее прежнего — под крестец хоть суй кулаки.

Однажды, после ночи, Лабутя дремал в шалаше. Ездовые еще не разобрали лошадей на дневные работы, и кони, забравшись в густой ольшаник, тоже дремали, не было только трех: на Евнухе возили молоко, на Мальке рано уехали в больницу, а на Замашке со вчерашнего дня ездил по бригадам агроном.

Лабутя не слышал, как с поля к шалашу вышел Серега. Парень решил подшутить над пастухом и подкрался к шалашу. Он отогнал дремавшую рядом Верею, потом вытащил бересту из-под крыши, зажег и снова подложил туда же. Вскоре сухие доски загорелись, занялась вся крыша. Когда огонь охватил все Лабутино сооружение, пастух выскочил из дверей, на нем в двух местах тлели штаны, и он начал заплевывать их. Серега хохотал, катаясь на траве. Лабутя тоже смеялся, выбрасывая из шалаша кошель, ружье, дождевик и заготовки для граблей.

— А я думаю, что это меня стало покусывать,— улыбаясь, говорил он.— Гляжу, горит! От мазурик, Серега!

— Ха-ха-ха...— катался по траве Серега.

Они вместе раскидали горящие доски и сели на траву.

Верея удивленно глядела на людей. Дьячок, лежа, изогнув шею, щипал травинки, другие кони стояли в кустах.

— Думаю, что это меня запокусывало...

— Ха-ха-ха...

Доски все еще дымились, и дрожащий зной трепетал над ними. Серега несколько раз принимался хохотать, а Лабуте все хотелось узнать, когда Серега женится на учительнице, но он стеснялся спросить, и они говорили о погоде. Все-таки пастух осмелился и спросил:

— Что, Сергей, ходишь за Волосатиху-то?

— А чего я там забыл? — Серега далеко плюнул и бросил окурок.

— Как это чево? — у Лабути что-то беспокойно метнулось в глазах.

— Ну а чего? — засмеялся парень.— Походил, и хватит. Довел дело до точки, и прикрыли лавочку.

— Это как прикрыли?

— Так.

— Как это так? А жениться... замуж то есть... девка...

— Фюйть! — присвистнул Серега.— Что я, дурак, такого добра и так навалом.

— Нехорошо, парень, уж на что хуже,— заикнулся было Лабутя, но Серега оборвал его:

— Нехорошо, нехорошо! Что ты за сват нашелся! Да она вон после меня за лето уж троих перебрала. Ей тоже не велик интерес с одним путаться!

Лабутя весь как-то сразу съежился, торопливо начал вертеть цигарку, у него замигали глаза. Серега встал и попросил пальнуть

из ружья. Двойным раскатом отозвался на выстрел хмуро и тихо шумевший лес.

— Лабутя! — крикнул Серега уходя.— Председатель велел завтра с утра гнать лошадей в деревню. Всех будут сдавать государству!

— Куда ты без лошади? — откликнулся пастух.— Без лошади, парень, и без дров насидишься, и за сеном на твоей механизме тоже не съездишь. Ты, Сергей, не шути этим делом.

— А чего мне шутить? Сказано, в деревню гони! — И Серега, свистя, исчез за кустами.

Лабутя, одумавшись, растерялся, огляделся вокруг. Круглые бездонные глаза Вереи ласково глядели на него, где-то в лесу кричал ястреб, тлели доски разломанного, обгоревшего шалаша.

Через два дня лошадей приказано было гнать в город. Лабутя, как во сне, набил мешок сеном и перекинул его через Верею. Забрался наверх. Трое мальчишек сделали то же самое с Анисой, Евнухом и Зорей. Остальных обротали.

Когда выезжали из деревни, то около скотного двора собралось несколько баб. Бабы стояли, плакали, взглядом провожая лошадей до поворота дороги.

Уже за поворотом ГАЗ-69 догнал ездовых и, обдавая коней дорожной грязью, укатил дальше. Лабутя видел только, как скалил зубы Серега и кричал что-то на ходу.

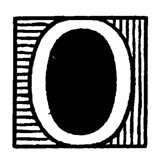
К вечеру приехали в город. Приемщик собирался уже уходить, но все-таки принял коней, а Лабутя, не видя белого света, пошел в магазин, купил четвертинку.

Сидя около базарной площади и ожидая Серегу, чтобы уехать обратно, он выпил четвертинку и без охоты съел два огурца с хлебом. Серега все еще где-то ездил по городу, выполняя поручения председателя. Лабутя глядел, как, фырча, проезжали мимо самосвалы, слушал певучие голоса легковушек, и ему все чудился лесной выгон и далекое ржание.

Вдруг он вскочил с магазинного рундука; через базарную площадь гуськом гнали коней. Впереди всех шла Верея, к ее хвосту был привязан Дьячок, за ним шла Аниса, потом Фока, Зоря, Евнух, Гуска, за Гуской — Зепрем, Замашка и позади всех, привязанная к хвосту Замашки, шла Малька. Пробарабанил губами высокий Евнух, Малька, повернув голову, узнала Лабутю, тихо заржала, и все кони остановились и тоже повернули головы к пастуху.

Лабутя приехал домой вместе с мальчишками на Серегиной машине, переночевал, а утром исчез куда-то из колхоза. Все его богатство — колхозное ружье, дождевик, топор, кошель — осталось в избе, а он исчез и больше не появлялся. То ли вновь потянула бродяжья воля, может, сидевшая в нем с самого безотцовского детства, а может, его позвала к себе родная деревня — безвестная далекая Устрика.

ХОЛМЫ



н пробудился от какой-то смутной щемящей тревоги. Глядел на яркий и мощный солнечный пук, бьющий в конце бревенчатого сарая, и старался понять, чем рождена эта смятенная и чем-то приятная душевная боль. Старался припомнить, что ему снилось, но образы ночного сна ускользали, оставляя неудовлетворенность.

Солнце било и в узенькие щели пазов. Ласточки со свистом влетали через окно, прижимаясь хвостиками к стропилам, щебетали, потом вновь улетали на улицу. Пахло травяной зеленью и высыхающей росой. Где-то на речке кричали ребятишки, купающиеся спозаранку, а в поле стрекотала конная косилка.

В доме никого не было. Мать, по извечной привычке, наверное, со старушечьим стоном и оханьем ушла на покос. Жена с двумя ребятишками каждое утро ходила загорать и купаться к дальнему омуту.

Он вспомнил вчерашнюю встречу со своим деревенским сверстником и вдруг понял причину своей щемящей душевной тоски.

Вчера он не успел осознать, каким немолодым, постаревшим выглядит его деревенский сверстник. А ведь он даже чуть постарше сверстника, и сегодня ночью, во сне, пришло ощущение необратимости...

До этого он все еще считал себя молодым, а тут, во сне, в подсознании, вдруг понял, что молодость давно кончилась, что он разменял вторую половину своей жизни. «Разменял»... Какое странное слово.

В деревне никого не было. Как тогда, в сенокосном детстве, стояли у ворот домов батожки, и одни стрижи с ласточками стригли над крышами синеву теплого воздуха. Солнце с утра нагревало мягкую дорожную пыль.

Он вышел в зеленое, звенящее кузнечиками поле и на ходу медленно обвел взглядом родные, много лет не виденные окрестности и деревни. Он ощутил сейчас какое-то странное радостное и грустное чувство причастности ко всему этому и удивился: «Откуда он взялся и что значит все это? Где начало, кто дал ему жизнь тогда, ну хотя бы лет четыреста назад? Где все его предки и что значит их нет? Неужели теперь все они это и есть всего лишь он сам и два его сына? Странно, непостижимо...»

Он вышел на крутой и зеленый холмик, огибаемый голубой озерной подковой. Купол церкви плыл в небе, плыл в редких белых облаках, плыл и все не мог никуда уплыть. Пчелы тихо жужжали над купами верб. Внизу от ветра и солнца мерцало озеро, голубизна, пронизанная лучами, темнела, дробилась в своем бесконечном изменении. А здесь, на холме, было тихо и зелено.

Зной истекал в небо, искажая лесной горизонт волнистыми вертикальными струями. Не в масть серым, реденьким, словно захмелевшим от времени, крестам белел свежий штакетник, и арка новых сосновых ворот плыла в небе вместе с церковным куполом.

Он долго бродил по холму, искал могилы и не находил их, пробираясь меж сильных молодых лопухов. Могила тетки оказалась далеко за оградой, он узнал ее по камню. Но где же лежит бабка? Он помнил, что бабушкина могила была около верб, но ничего не нашел и сел на чей-то еще не очень давнишний холмик. «Да, четырех прабабок и искать нечего, если даже бабушкина могила затерялась... А ведь здесь где-то лежит и вторая бабушка, бабушка по отцу... Но где же она? Ни слуху ни духу, все сровнялось, заросло травою и лопухами...»

Вдруг его впервые обожгла, заставила сжать зубы простая, ясная мысль. Никогда раньше не приходила она в голову. Здесь, на его родине, даже кладбище только женское. Он вдруг вспомнил, что в его родословной ни одного мужчины нет на этом холме. Они, мужчины, родились здесь, на этой земле, и ни один не вернулся в нее, словно стесняясь женского общества и зеленого этого холма... Поколенье за поколеньем они уходили куда-то, долго ли было сменить граблевище на ружье, а сенокосную рубаху на защитную гимнастерку? Шли, торопились будто на ярмарку, успев лишь срубить дома и зачать сыновей. И вот сейчас на родине, одинокие даже в земле, лежат прабабки и бабушки.

Он закурил. Изображение на сигаретной коробке впервые заставило его вспомнить, что один из его предков погиб в Болгарии на войне с турками. Об этом рассказывала бабушка. И он с горькой иронией подумал о несправедливостях женской судьбы: прадеду и тут повезло. Может быть, над его, прадедовой, могилой стоит четырехгранный памятник, поставленный болгарами славным героям Шипки. А могила прабабки затерялась...

Он думал о том, что и деда также не обделила судьба: наверное, приятнее лежать в маньчжурском холме, когда об этом холме написаны романы и повести. Когда в музеях толпятся у батальных полотен потомки, а печальные вальсы о маньчжурских холмах звучат по радио. А бабушкина могила исчезла, нигде не видать ни креста, ни камня.

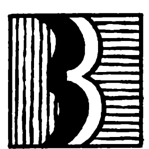
Он погасил сигарету, но вновь закурил: что это? Черт возьми, ведь отец его, отец обставил. Пожалуй, и деда и прадеда... Нигде в мире нет такого грандиозного, такого могучего памятника, как там, на Мамаевом кургане. Он вспомнил, как прошлым летом был в Волгограде, как целый день ходил по Мамаеву кургану. Холм, взявший отца в свои недра, был велик и печален, громадная скульптура, венчавшая вершину, бросала на город исполинскую тень. В зале воинской славы еще шли работы, но он, сын погибшего на Волге сержанта, все же увидел свою фамилию на гранитной стене...

Ушли, все ушли под сень памятников на великих холмах. Ушли деды и прадеды, ушел отец. И ни один не вернулся к зеленому родному холму, который обогнула золотая озерная подкова, в котором лежат их жены и матери. И никто не носит сюда цветы, никто не навещает этих женщин, не утешает их одиночество, которое не кончилось даже в земле.

Он сидел под вербой на зеленом, тихом, знойном холме и думал об этом.

А может быть, придет и его черед? Идти дорогой мужских предков, к чужим неродимым холмам?

КОЛОКОЛЁНА



а окном нашего общежития день и ночь гудят машины. Фыркают громады самосвалы, поют моторами троллейбусы. Иногда ночью я вскакиваю с постели и с тревожно бьющимся сердцем смотрю на космические россыпи городских огней. Мне не спится в этом шуме, и в такие часы я оживляю в памяти картины моей Вологодчины, образы ее людей встают перед глазами, и я до утра толкую то с тем, то с другим.

Однажды в такой бессонный час я вспомнил Параню — старуху, давнишнюю мою знакомую. Жила она у дочки и зятя в соседней с нашей деревне, двенадцать годов подряд нянчила ребятишек.

Помнится, на деревню несколько суток дули упрямые дождливые ветры, дороги раскисли, дома потемнели от дождя. Я зашел в дом к Паране с дворового хода, поднялся по лесенке, сплошь заштукатуренной зеленым коровьим навозом. В наших местах простые люди заходят в дом без стука, чем бы ни занимались в это время хозяева. Я не стал совершенствовать этот порядок и тоже без стука вошел в избу.

На столе стоял, весь в слезных подтеках, самовар. Двое ребятишек сидели на лавках за столом. Они пили чай и были до того смешны своими вымазанными черникой лицами, что я чуть не расхохотался.

— Как тебя зовут? — спросил я у старшего, который придерживал за бока младшего братишку.

— Иголь Алкадьевич Смилнов.

— А его?

— Ленькя!

Ленька забыл про ягоды, открыл рот и, не отрываясь, в оба глаза смотрел на меня.

— Вот что, Игорь Аркадьевич, нате вам с Ленькой по конфете, а где у вас бабушка?

— Колову доит,— ответил Игорь Аркадьевич, не зная, что делать с конфетой.

В избе роем гудели мухи. Самовар уже остыл, но я налил воды в стакан, подкрасил его чаем из чайника и выпил полстакана. За этим занятием и застала меня Параня.

— Ой-ей-ей, здравствуй, батюшко, сколь годов не бывал. Так надолго ли? Денька три еще поживешь? Больно уж мало-то, ну, вот и добро, что зашел старуху проведать, всегда у нас было дружно, еще твой отец — покойная головушка — захаживал, да и с маткой-то, бывало, обо всем переговорим. Где она теперь-то? У дочки? С маленьким перекладывается? Знаю, знаю это событие, сама вон троих выводила...

Все это было сказано за три секунды, и я сразу повеселел.

Параня постарела: губы у нее ввалились, нос стал еще острее, но говорила она все так же хорошо, громко, на весь дом, слова, как и раньше, не придумывала, а они сами у нее сыпались.

— ...А что, батюшко, сыновья? Сыновья и к речам не пристают, совсем забыли, совсем. А обидно, батюшко, так бывает обидно, что и не выговорить, ведь я их обоих на ноги подняла, а хоть бы копейку когда вручил который, дак нет, много годов на матку внимания ни у которого нету. Хоть бы жили они худо, а то у одного хлеба напасено — не приесть, одних катаников накатано восемь пар, другой рыбу ловит, а хоть бы фунтик какой завалящий принес матке, дак нет, не бывало такой причины. Когда младшой-то женился, думаю, пусть, чего уж тревожить, жили сперва почти в курятнике, не надо мне ничего, а ведь теперь-то в хорошем дому, а вроде и не сын, все я у его как сбоку припеку... Чего, андели, подавился?

Она пересадила ребенка с лавки к себе на колени и похлопала его по спине, чтобы он скорее проглотил разжеванный пирог.

— А ты, Игоряшка, ешь тоже, не куксись, бери пример с Левонида. Чего, лягаться? Я вот тебе, дьяволенок, лягну, я вот лягну! Ишь какой разборчивый стал. Не вороти, не вороти рыло-то, а ешь что дают, да понажористей. Особого ресторана для тебя не припасли.

Старший убежал из-за стола с куском в руке, шмыгнул за порог. Параня продолжала рассказывать про свою жизнь:

— А и тут, батюшко, велик ли смак, ежели сама дочка второй месяц в больнице, ревматизмы пошли по ногам, ведь век свой хорошей обутки не нашивала, а и он, Аркадей-то, какой тоже добывальщик, смиреной уж больно, никому насупротив слова не скажет, вот его и пехают в кажинную дыру. Здоровьишко-то у него тоже подзапнулось, ездил в лес, каждый год лес рубят на Украину, вот уж истинно еловые шишки кормят, после того разу и сник, ест худо и с лица спал.

— Что, лес и сейгод продавали?

— Как, батюшко, не продавали, продавали и севогоду.

Она сухой жилистой рукой утерла нос «Левониду», распечатала ему конфету.

— ...Весь удел вырубили под корень. Чего уже бабы, пожилые, песок у бабешек сыплется, и те тащатся сучки обрубать, деньгами платили за это дело. Лошади-то в снегу по самую репицу, возить-то далеко, а народ-то до того обрадел, и печей не топили, все поголовно в лес устремились. Один Паша-хлюст никакого резону не признавал. Галифе-то распустит да и ходит по волости. К нашему-то Аркадью придет это, да как закадят в две-то трубы: хорошему человеку и не продохнуть. Я его пораз и отрешила: «Лучше не ходи, говорю, не порть атмосферу, сам без руля и людей в смущенье приводишь».— «А что, я кагда в Москве был, так денег накапил, буду ли я в калхозе работать».— «Ой, москвич невыделанный, гляди выхолостишься. Полтора-то рубли привез, да и нос в небо! Подожди, говорю, живо без порток набегаешься». Вот, выложила я ему этакую лекцию, гляжу, нафуфырился, как петух под дожжом. «Я гу, не криви губы-то, не велик министр». Здороваться перестал с того мамента. Пораз пошла у лавку за хлебом, а он, Паша-то-хлюст, вусмерть у прилавка-то и на ногах не стоит. «Что, говорю, Павло Трофимович, али севодни престол какой, к земле-то тебя так и гнетет?» — «А вот, говорит, как дам, так у тебя, у старой карги, и копыта на сторону». Ох ты, думаю, сотона, стельная рожа, да меня и свой мужик век не колачивал, а ты меня стращать удумал! «Иди, говорю, красноглазой мухомор, пока я тебе в глаза-то не нахаркала». Смеюсь. Да и в магазине-то все впокатушку. А он пошел с приступка-то да как хрястнется в самую жидель, штаны-то праздничные. «Так тебе, говорю, и надо, не ущемляй старуху».

Параня, громко и непринужденно хохоча, высморкалась в передник. Я закурил, стараясь не проронить ни слова.

— ...Бывало, проспится к обеду да урядником по деревне и идет, а лень-то раньше его родилась, уж до чего на пече долежал, что и на боках-то пролежни, а тараканов-то, поди, всех пересчитал, чисто счетовод, а у дому ни копыла, ни дровины. Вот так, думаю, пролетар! Велика ль и комплекция, а только штанами потряс — глядишь, у жонки вдругорядь брюхо, и носков у башмаков сердешная не видит. Хоть матушку-репку пой. Накопили эдак орду осемьсветную, слепили халупу вроде скворешника и живут, как хранцузы, деньги есть — так ладно, а нет — так и того ладней. А ведь все вызнал, прохвост, всех баб перебрал, кобелина, много этой птицы прошло через евонные руки! Жена безответная, родители у нее были тихие, слова худого никто не слыхивал, а она и еще чище. «Я гу, возьми ты, Олютка, галифе-то евонные да на огороде и вывеси заместо флага, чтобы не ходил, блудня, по всем горизонтам, не позорил твою голову». Молчит только да ревит... Я вдругорядь, помню, увидела его да и говорю: «Павло Трофимович, чево заведешь делать, когда машинка-то откажет работать?» Хохочет, ноги-то расщеперил. «На мой век, говорит,

хлеба хватит, найду какую-нибудь каммерцию!» Вот как увидела я его тогда, а на третий день и говорят, что привезли его на розвальнях мертвым. Ездили оне с мужиками в лесопункт да и напились дорогой, а никто за ним не приглядел, все в дыминушку были, ткнулся да и замерз насовсем. Уж больно, покойная головушка, до чужого-то вина был охоч, от того и сгинул. Ведь семеро, батюшко, осталось, семеро, все мал мала меньше. Вот и мается Олютка одна, как на оводах, а надолго ли ее хватит, бог знает...

Я закурил снова, глядя на улицу. В избе по-прежнему гудели мухи. Дождь кончился, но просветов на небе не было, и лохматые тучи все так же низко над землей торопились куда-то. Проблеяла за домом чья-то овца, прошла под окнами женщина в больших резиновых сапогах, которые хлопали на ее ногах гулкими широкими голенищами.

— Олютка! — окликнула ее из окна бабка Параня.— Не видала хозяина нашего, с утра ушел в кладовую и без обеда мужик?

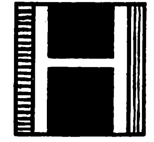
— Видала, бабушка, видала, он вот-вот придет из конторы.

Олютка, хлопая голенищами, скрылась в проулке, а я не стал дожидаться хозяина, собрался домой.

— Ой, батюшко,— заговорила, прощаясь, бабка Параня,— больно уж ты добр-то, да и одежда-то на тебе хорошая, хоть ты заглянул, проведал старуху. Зайди хоть еще разок, когда будешь уезжать-то, всегда у нас с вами было дружно, да матке-то скажи от меня поклон, да и всем-то поклоны. Устарела, скажи, колоколёна, а язык-то все еще колоколит, ведь и тебе-то, наверно, напостыла да все уши опела, колоколёна.

...Долго еще я слышал громкий бабкин голос, колоколит он у меня в ушах и посейчас, призывая меня в ольховый родимый край, туда, где точат тихие грибные дожди и пахнет горьким березовым дымом.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ



е сучи ногами, головой не верти! Вишь, опять глаза вытаращил, весь в отца. Тому-то дураку хоть трава не расти, воротами хлоп да уехал. А и матка не лучше, только и дома что ночевать. Ишь, ишь, глаза-ти забегали, ишь! Вот я тебя, голозадого! Ох и наколочу! Ох и наколочу!

У котика у кота
Была мачеха лиха.
Колотила кота
Поперек живота.

Со кручинушки кот
Да на печку пошел,
Кот на печку пошел,
Трои лапти сплел.
Себе и жене,
Малым детонькам.

Не усни у меня! Ох, сотоненок, вроде опять напруденил. Другой раз на дню — где и копится? Обсушу, а больше не буду, пеленок на тебя, сотоненка, не напасти. Только перепелёнешь, он уж оммочил, нет чтобы под конец. Эк тебя проняло-то! Ну, экой потоп, прости господи. Пореви у меня, пореви-ко.

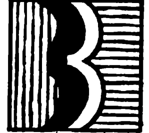
По миру кот ходит,
Кошели волочит;
А у нашего у Витюшка
Матушка добра,
Матушка добра,
Вите титечки дала.
Дитятко, покушай
Да спи, золотой.
Милоё моё,
Крохотаннёнькоё.
Ой, люлю, ой, люлю,
Умоленноё...

Господи, царица небесная, матушка, все утро выревел! Рученьки, ирод, повытряс, ноженьки подкосил! Свалился ты на мою голову, мает всю ночь напролет. День наскрозь свету не вижу, всю истёп. Га-га-га — только и знаешь! Ры-ры-ры — только ведаешь! Глаза бы не глядели на беса, ой, кабы умер-то! Ой, кабы заревелся-то до смерти! Вишь, весь зашелся, брюхо-то напружинил. Нет мочи и сладу найти, господи, господи!.. Ну, иди, иди на руки, иди, супостат. Доканывай меня, грешную, иди. Вот тебе нá, все и прошло. Экого плута родили, ей-богу. Чево? Глазенки-ти, глазенки-ти так и радуются.

Сорока кашу варила,
Детей скликала...

Андели, расхорошенькой, весь в баушку.

НА ВОКЗАЛЕ



имою не то что летом: вокзалы маленьких станций пустые и чистые. Поездов мало, да и останавливаются они не все. На радость уборщице никто не сорит шелуху семечек, народу совсем нету. Зал ожидания небольшой и какой-то совсем домашний, даже с котом. Кот еще не очень стар и не спит, потому и крутится на полу, преследуя собственный хвост. Пашка, парень двухметрового роста,

в черном полупальто и в черных с галошами валенках, угостил кота рыбной головкой, сказал:

— Жук, ну ты и жук!

Пашка попил из бачка воды. Еще раз перечитал поездное расписание. До поезда оставалось больше двух часов. (Пашка едет в район, по делам.) Что делать? И тут как раз вошла маленькая, опрятная, неопределенных лет старушка. Маша Моховка. Она из другого колхоза, Пашка видал ее и раньше. Слыхала про него и она. Поговорить, что ли? Пашка с добродушным покровительством спрашивает:

— Куда поехала-то?

— Да за очками.

— Ну, ну.

— У меня глаза-то вострые были, всю жизнь кружева плела. А нынче фершалица бумажку и выписала. Да и народ говорит, что лучше с очками-то.

— Мало ли чего народ говорит,— важно замечает Пашка.— Ты бы других-то меньше слушала.

— Да ведь как, ясной день! Кабы глаза-то хорошие были. Прежние.

Пашка не находит что возразить, и разговор останавливается. За окном грохочет порожняком товарный поезд, и опять все тихо. Кот спит, растянувшись на деревянном диване. Пашка тоже пытается подремать. Но у него ничего не выходит.

— Ты чего, из «Победы», что ли?

— С Назаровской,— охотно отзывается собеседница.— А родом-то с Ортемьева. Меня мама во мху на болоте родила. По клюкву-то утащилась одна, а домой — на тебе, обедве! — Старушка рассмеялась, а Пашка даже подвинулся ближе:

— Во дают! Нет, сурьезно?

— Я те говорю. В те поры Моховушкой меня и прозвали. А фамиль Кукина. По дедушку. Такой был водохлеб чаепитьевич, мало и хлеба кушал.

— А вино?

— В рот не брал до самой смерти.

— Ну, этому я ни в жизнь не поверю.

— Да что ты, бес малахольный, я разве вру?

— Врешь! — убежденно сказал Пашка. Отодвинувшись на прежнее место, он поднял воротник и закрыл глаза с новым намерением подремать.

На вокзале опять тишина. Но вскоре Пашка, словно чего-то вспомнив, оживленно высовывается из воротника:

— А замужем-то бывала?

— Нет, ясной день, не выхаживала.

— Ну и здря! — Он опять прячет нос в воротник.

Слышно, как за стеной, у дежурного, долго звенит звонок, как дежурный не очень официально переговаривается с сосед-

ней станцией. Снова проходит теперь уже груженный и потому менее шумный товарняк.

— Семьдесят уж годов на белом свете живу.

— Дак чего одна-то делала столько годов?

— А всю жизнь только пела да плакала! Ясной день, а и с детками вон живут, тоже маются. Серафиму-то знаешь, ортемьевскую?

— Ну.

— Дак зять-то в крещенский мороз двери в избе отворил: «Вот,— говорит,— пока не уйдешь, никому не дам затворить». А и у сына хорошего мало. Невестка ругмя ругает. Больно уж много теперешним бабам власти дадено.

— Это точно.

— А мужики-т...?

— Ну а чего — мужики, чего — мужики! Я вот свою тещу знаешь как уважаю!

— Хороший мужик.

— ...ставлю выше жены.

— Ладно, ясной день, ладно и делаешь. Дак вот Серафима-то нонче летом ко мне и пришла. На печь-то закарабкалась. Полежала до паужны да и спрашивает: «Я, Марьюшка, постону?» Я говорю: «Стони, матушка, стони. Как тебе надо, так и стони». Да и постонала всего ничего.

— Умерла?

— Пошто умерла, ушла по ягоды.

— Хм... Вот труперда!

Разговор снова надолго затих. Маша Моховушка решила подзакусить и развязала кошелку. Достала крашенное луковой кожурой яичко, хлебца и соль, завязанную в кончик платка.

— Ну а уж кренделей-то,— говорит,— я там поела. Пока в городу-то жила. Поспи, ясной день, поспи.

Пашка не отзывается из своего высокого воротника. Но старушка продолжает рассказывать:

— А я ночью-то севодни не могла заснуть, под утро уж заснула-то. Чую сквозь дрему-то, второй раз алектор пропел.

— Кто, кто? — очнулся Пашка.

— Петух, говорю!

— Ну это... радио, что ли?

— Пошто радиво!

— Да кто пропел-то?

— Да петух.

— А говоришь, электро.

— Я и говорю, что петух.

— Ну?

— Чего, батюшка, ну?

— Да это... кто пропел-то?

— Да петух.

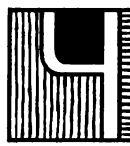
— А ну тебя!.. — Пашка в сердцах отмахнулся: он подумал, что старушка, «это самое», начинает выживать из ума, и решил отступиться. Да и вообще он не очень доверял женщинам. Прошло минут пять. Пашка встал, молча походил. Сел — нога на ногу.

— «Прынц и нищий» читала?

— Чево?

Пашка безнадежно махнул рукой. И вновь тихо на этом маленьком зимнем вокзальчике.

ДИАЛОГ



асов в одиннадцать в воскресенье в городском парке совсем тихо. Никого нет, лишь одна парочка присела на скамью за кустами акаций да какая-то бабушка в ситцевой горошками кофте сидит около танцплощадки.

Другая старуха с суровым видом, седая и толстая, открывает свои «аттракционы» — качели и колесо обозрения. Но покамест ни качаться, ни кататься на колесе доброхотов нет, и старухам хочется поговорить. Понемногу они сближаются, усаживаются:

— Чем врозь-то сидеть...

Перекинувшись двумя-тремя словами, бабки оживляются все больше и больше: от ревматизма и бессонницы разговор переходит к свежим помидорам, от помидоров к невесткам, потом к зятьям и деткам.

— Сама-то ты здешняя? — спрашивает хозяйка аттракционов.

— Нет, милая, не здешняя, из деревни бывала,— говорит бабушка в гороховой кофте.

— А я тут живу всю жизнь. Пенсия да поработаю сколько. Вот и живу, на деток-то не надеюсь.

— И надия на их худая.

— Не любят старух-то, не думают, что и сами такие будут.

— Как не будут, знамо будут. Вот и у меня тоже два сына да и дочка — стали звать, приезжай насовсем да и только.

— Сами приписали-то?

— Сами. А я еще и коров держать дюжа была. Нет, зовут и зовут. Ну, я и срядилась ехать, дом-то в деревне продала за восемь тысяч старыми. А сусед мне и говорит: «Деньги-то ты им не отда-

вай: поди знай, долго ли там наживешь, копейка тебе пригодится». Ну, приехала к Митьке...

— К сыну?

— К сыну, милая. Встретили: «Ой, мамушка, приехала! Продала дом-то?» — «Продала,— говорю,— батюшко, да вот деньги-то потеряла дорогой».— «Дак вот,— говорят,— мама, у нас и жить-то негде, сама видишь. Иди лучше к Ваньке-то». Я ночь ночевала, пошла к Ваньке. Эти тоже рады: «Ой, мама приехала, ой, мама приехала!» — «Вот,— говорю,— ребятушки, приехать-то приехала, да пустая, деньги-то за дом потеряла дорогой». Ночевала опять ночь, а оне и говорят: «Мама, у нас и спать тебе будет негде».— «Да, ладно,— говорю,— я уж и на полу».— «Ну,— говорят,— на полу, а как ходить-то через тебя? Иди к Маньке-то, у ее и комната большая». Это к дочке-то. Я к Маньке перебралась, эта тоже: «Ой, мамушка, дорогая, приехала. Иди, Вова, зови с улицы папу, станем обедать. Скажи: бабушка приехала». Зять на улице костяшками брякает. Пришел, вот я и говорю: «Миленькие, дом продала, а деньги-то потеряла. Видно, в поезде вытащили. Вот,— говорю,— беда-то моя».— «Ну,— зять говорит,— это не беда, это со всеми может быть. Не горюй, бывает оплошка. Давай-ка вот располагайся как дома да будем чай пить». А я и говорю: «Вот, батюшко, спасибо-то на добром слове, не обидел старуху». Вынула из-за пазухи восемь тысяч да и подала ему. Вот и живу с зятем, а не с сыновьями.

— Внуки-то есть?

— Четверо.

— А у меня комната своя. Правда, от горжилотдела, да не выгонят. Одна живу, никуда не пойду.

— Одна?

— Одна. Гостила тоже у сына, потом у зятя два месяца. Зять-то и начал загадки загадывать: «Вот,— говорит,— думаешь, почему петух поет?» Я говорю: «Почему поет, потому и поет, что поет. Петуху больше чего делать».— «Нет,— говорит,— а почему он поет? Потому поет, что он один, нежинатой».

— Ой, ой, гли-ко ты.

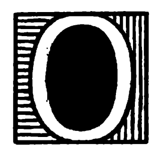
— Много всяких загадок начал загадывать, я и вижу, что все насчет меня. Уехала к сыновьям, а у сыновей невестки — тут уж мне не рады совсем. И дыхнуть-то боишься, и в комнату ихнюю не зайди. Умом-то и думаю: написали бы на двери вывеску — осторожно, злая собака. «Нет уж,— говорю,— бог с вами, буду одна жить».

— Не любят старух-то, хоть ты сгинь.

— Не любят, лучше и не говори.

В это время парень и девушка решили покачаться на качелях, и бабка, кряхтя, заковыляла на свое рабочее место. Парк понемногу наполнялся гуляющими.

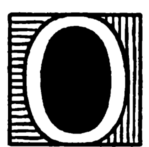
МАНИКЮР


х, уж не утерплю, расскажу, как я в Москву-то слетала! Десять годов сбиралась, не могла удосужиться. А тут не глядя свернулась, откуда что и взялось. Отпуск в конторе начислили. Я рукавицами хлоп — только меня и видели! Мужика с детками, все хозяйство оставила, из-под коров да под самый Кремль! Поехала к брату — он у меня полковник. Моложе меня, а давно на пенсии; делать-то ему нечего — вот обрадел! Я телеграмму-то дать постеснялась. «Ой, ты?! — говорит.— Кабы ты,— говорит,— была с головой, сообщила бы. Я бы,— говорит,— на машине тебя с вокзала увез. Только свистнуло бы!» — «Ну,— говорю,— не велика и баронь, дошла и пешком». Дошла-то дошла, а намаялася. Дорогу-то мне указывают, да по-разному все: один говорит — влево, девушка, другой — вправо, гражданка, третий скажет — тетка, дуй напрямик! На котомку-то поглядят, ой, господи! До чего доходила взад-вперед — уж и в глазах двоится. Вдруг дядечка старенький подошел, спрашивает: «Вам не к Ивану Петровичу? Вон,— говорит,— в этом дому, на второй этаж, шестая квартера. Давно,— говорит,— ждут!» — «Ой, спасибо, гражданин старичок!» Пошла, пошла, пошла, вижу, написано: 2-й этаж. Ой, дай, думаю, пойду до третьего, надежнее. Уж брат-от с невесткой порасстраивались, поругали меня: почему телеграмму не подала? День живу, другой. Меня и на спектакли зовут, меня и везде, а я говорю: «Куда меня, такую растрепу? Лучше уж дома держать, не показывать». Брат мне и говорит: «А вот мы из тебя сейчас такую мадаму сделаем!» Да и повез в главную поликмахтерскую. Завел — господи, царица небесная, куда я попала-то! Бабы сидят, мужики над ними в белых халатах. Ухаживают, как в больнице. Колпаков-то всяких, скляночек-то! Посадили меня, боюсь шевельнуться. Всю обстригли сперва, потом завивать, после давай сушить мою голову. Полдня, считай, зря ухлопали, а брат мне говорит: «Ну, теперь еще маникюр!» Маникюр так и маникюр, одинова погибать. Завели в другую комнату. Руки-то мои оклали в блюдо с теплой водой, видать, отмачивать. Экие-то капарули! Обтерли, кажин ноготок обчистили. Потом стали красить в розовоё. Сижу да и думаю: как я коров-то буду доить? Этакими баскими-то. Да и заревела. Слезы-то из меня как горох, а девушка-то испугалась, а брат-от ждет, а начальство-то прибежало. Что да почему, разве чем недовольны? Вышли на волю-то, поуспокоилась да и говорю брату: «Отправь домой ради Христа, у меня три коровы вот-вот должны отелиться».— «Ладно, отелятся без тебя, поедем теперь в магазин». Кофту купил, да платье, да модные туфли. К вечеру-то наоделась, стою сама не своя. Как поглядела в зеркало-то, милые! Я ли не я? Да и заревела еще пуще. Уж он возил, возил меня, и в ресторан, и по знакомым. Вплоть до самого генерала: вот, познакомьтесь, родная сестра! А родная сестра

слова сказать не может, ступить боится. Надоело-то, еле выжила. Нет, говорю, поеду и поеду домой. Проводили меня, в хороший вагон посадили, гостинцев полнёхонек чемодан. Не надо и гостинцев, поскорей бы домой. Как вышла на своей-то станции, так сердце и зашлось. Стою, гляжу — бежит! Я стою: узнает аль не узнает? Пробежал мимо. Весь поезд обежал, бежит обратно. Уже и народу никого не осталось. Он опять бежит, да опять мимо меня. Ну, думаю, еще разок пробежит, я и окликну. Как увидел, так и растерялся: обнимать аль погодить? «Эк,— говорит,— тебя, и подойти боязно. Только по чемодану и узнал».— «А вот, не все тебе на народе форсить, в другой раз и не так накрашусь! Не отелились коровы-то?» — «Отелились,— говорит,— все три».

ТЕЗКИ

1



Он жил один, почти за городом, в давнишнем доме у пруда, в старинном саду. В жару сад безмолвствовал, только лопались и трещали стручки акаций, а в дождь там словно что-то посапывало, и в тишине сильно пахло корнями. Это был небольшой сад, очень таинственный, без всяких аллей, одни хитрые тропки ныряли под кроны и терялись в зарослях. Толька нечаянно запустил стрелу в этот сад, осторожно пошел искать, но не нашел и, ступая по тропке, вдруг встретил его. От испуга Толька не мог даже пошевельнуться, стал глядеть на свою пуговицу, готовый заплакать. А он сел на камень и закурил сигарету.

— Садись, что ли.

Толька молча продолжал стоять, потом чуть осмелел и взглянул на него. Он был в резиновых сапогах, в пиджаке, но без галстука, то есть совсем не такой, каким видели его в городе, когда он ходил в книжный магазин или в библиотеку. Он зажал в ладони черную с рыжиной бороду и усмехнулся. Это Толька увидел исподлобья.

— Ну, а зовут-то тебя как?

— Петров,— буркнул Толька.

— Хм. А дома тебя как зовут? Толя, да?

Толька удивился и сказал «да».

— Вот видишь, я угадал. Теперь ты угадай, как меня зовут.

Петров чистосердечно сказал:

— Варнак.

Легкая, чуть грустная усмешка скользнула по его желтому лицу и затухла в бороде, но Петров этого не заметил. А он весело прищурился и опять поиграл бородой, говоря:

— Все, брат, наврали тебе. Меня Анатолием Семеновичем зовут, мы с тобой тезки. Наврали тебе, Петров, честное слово, наврали!

Петрову стало весело. В самом деле, и борода казалась не страшная, и глаза, и нос как нос.

— Ты в каком? — снова спросил он Петрова.

— В шестой перевели.

— А Печорина знаешь как зовут?

— Это что в пожарной команде? — догадался Петров.

— Да нет, брат, это вы по литературе должны учить.

— Еще не проходили.

— Ты в четвертой школе? Кто у вас учительница?

— Нина Аркадьевна.

— Ну, а чего ж ты меня испугался?

— Я стрелу искал.

— Какая была стрела, ивовая?

— Ага.— Петров сел на траву.— Наконечника жалко.

— Ну, наконечник это еще полбеды. Я вот другое подумал...

Он стряхнул пепел с сигареты, сделал серьезный вид, поджал губы.

— А что, Ана... Анатолий Семенович?

— Да так, может, еще и ничего.

Петров озадаченно глядел на него. Тогда он пальцем поманил Петрова к себе поближе и шепотом сказал:

— Никому не скажешь?

— Нет! — Мальчик решительно замотал головой.

— Тогда слушай. Тут, понимаешь, много у нас всякого, в саду. Я-то уж знаю. Возьми хоть того же дрозда, вон там у пруда живет. Знаешь, как он поет здорово? Утром ты еще спишь, а он уже на ногах и поет, пока жарко не станет.

«Ну и что?» — подумал Петров и хотел встать, а он заметил скуку на лице мальчика и сказал:

— Если бы дрозд-то один, а то еще и жаба.

Петров глядел удивленно, не замечая того, что рот остался открытым.

— Жаба, конечно, как жаба, прыгает, в осоке ночует. Только ночует днем, а ночью не ночует. Охотится за всякими червяками и очень росу любит. Не нравится ей сухая трава, подавай мокрую...

Петров скептически глядел на него.

— Если б ей только это не нравилось. А то она еще и с дроздом не в ладах, понимаешь?..

Петров понимать понимал. Но в нем смешались две мысли. Одна мысль та, что все это наполовину выдумка, а другая та, что слушать было все равно интересно и уходить не хотелось.

— Как только дрозд запоет, прямо из себя она выходит, глаза пучит, лапами шевелит, не нравится ей, что дрозд поет и весь сад веселит. Ну и что ж, ты думаешь, дрозд на это? А-а-а, не знаешь. А дрозд ничего, поет до жары, хоть бы что ему.

Он снова закурил, в синих глазах скопились искорки, на желтом лице заиграл румянец. Петров слушал и удивлялся.

— Вот ты говоришь, стрела. Плохо будет дрозду, ежели жаба твою стрелу найдет. Если бы дрозд нашел, то ничего. Он бы положил ее на сучки до осени, а осенью стал бы твоей стрелой рябину сшибать. Не веришь? А жаба еще неизвестно, что твоей стрелой сделает. Может быть, пустит прямо в дрозда, когда он запоет завтра утром.

— Не-е! — засмеялся Петров.— Как она пустит, без лука? Что она, человек, что ли?

— А паук-то на что? Знаешь, какую крепкую паутину плетет? Сплетет, закрутит, как веревочку, от сучка до сучка, вот тебе и лук.

Петров опять засмеялся. Видно было, что мальчик не верил в рассказанное, но вдруг заблестели серые с белыми ресницами глаза, и рука нетерпеливо затеребила траву.

— Она еще и карпа не любит.

— Какого карпа? — спросил Петров.

— Зеркального. Он в пруду живет. В него по воскресеньям ласточки смотрятся, как в зеркало. Не веришь? Усядутся на корягу, он подплывет поближе, они и смотрятся, ощипываются. Иначе, думаешь, были бы у них такие грудки белые? А ему что, жалко, что ли. Смотритесь сколько угодно. Жаба раз погляделась в него и с тех пор невзлюбила.

— Карпа? — Петров опять засмеялся, засмеялся и Анатолий Семенович, хлопнул мальчика по спине.

— Думаешь, не правда? Вот приходи завтра, малины пощиплешь и все своими глазами увидишь. Приходи, приходи, Петров.

Он встал, взъерошил Петрову волосы, хотел еще что-то сказать, но не сказал и легко пошел по тропинке.

Петров тоже, только вприскок, побежал домой.

Дома, когда Петров рассказал, где был, бабка взяла его за ухо и повернула, как поворачивают электрический выключатель.

— Не ходи куда не след, не ходи куда не след,— приговаривала она.— Ишь, к Варнаку пошел, к чахоточному. Да и в тюрьме десять годов просидел этот Варнак... Хоть и зря, говорят, по навету...

От жгучей обиды Петров даже не заплакал, не мог сказать ни слова и убежал в сарайку. Не пришел к ужину, и, когда мать стала звать его, обида опять сдавила горло, и он зарылся головой в подушку. Мальчик вздрагивал плечами до тех пор, пока мать с банкой молока не пришла в сарайку и не погладила его по волосам. Но и тогда еще нет-нет да и драло в горле и слезы приливали к глазам.

— А чего она дерется? — сказал Петров, когда мать, утешая его, легла с ним спать в сарайке.

Вскоре он заснул. Ночью ему снился зеленый пруд, и деревья вокруг, и будто бы пучеглазая жаба плавала в этом пруду, держа во

рту потерянную стрелу. Зеркального карпа не было, потом он появился, прилетел и дрозд, начал петь свою песню.

Петров проснулся оттого, что пронзительно кричали в сарайке куры. Матери уже не было. Он старался вспомнить, как поет дрозд, но не мог вспомнить и долго лежал с улыбкой, глядел, как в дырку в крыше бьет прямая полоска от солнца.

Во дворе было уже солнечно, и жара томила кусты крыжовника. Где-то на центральных улицах городка гудели автомобили, грохала по мостовой телега. Петров припомнил вчерашнюю обиду и хотел кувырнуть бабкину кадку с водой, но решил отложить это дело. Бабка развешивала за сарайкой белье. Петрову хотелось на улицу. Вымылся побыстрее, выпил молока в кухне и незаметно подался к воротам. Однако бабка его уследила:

— Гляди не вздумай ходить к Варнаку. Куда лыжи-то навострил?

На улице Петров прежде всего отделался от знакомых мальчишек, вильнул за угол, перебежал пустырь и шмыгнул через разломанный забор. Но это был еще не тот сад. Тот сад был намного дальше, за водоразборной колонкой. Петров крался вдоль сетчатого забора и старался не торопиться. Ага, вот отсюда вчера он запустил стрелу. Вот и тот крапивный пролом. Петров, как и вчера, пролез через этот ход в сад и присел в густых акациях. Было тихо, только шумели вдалеке июльские улицы. Дрозд уже не пел, как ни старался Петров слушать. Может, уши не стали слышать? Петров дотронулся до больного уха, опять с горечью вспомнил бабку и пошел через сад по той же вчерашней тропке. В саду было прохладно. Крапива росла в иных местах выше головы, не уступал ей и конский дягиль, цветущий белыми зонтиками. Вдруг заросли трав и деревьев расступились, и Петров очутился на берегу небольшого пруда.

Пруд будто дремал, в нем отражались небо с облаками и вершины берез и лип. А там, чуть дальше, стоял желтый, словно игрушечный, дом с облупившейся охрой на резьбе, антенной на высоком балконе. Узкая галерейка опоясывала второй этаж в три окна, а первый, полуподвальный, в четыре окна, весь был увит плющами. Железная труба с флюгером-петухом венчала резной князек, деревянные столбы у входа напоминали колонны, которые Петров видел на картинке в учебнике по истории.

Мальчик долго глядел на дом, и на пруд, и на тихие от жары деревья. Ему теперь почти верилось, что в пруду живет зеркальный карп и жаба ночует днем в осоке, и что здесь есть в самом деле веселый дрозд, который каждое утро поет до жары. Мальчик зашел в тень и взглянул на то место пруда, где небо не отражалось и можно было смотреть вглубь. Вода была чистая, а дно не видно. И вдруг Петров испуганно отпрянул от берега, в глубине что-то остро, ясно блеснуло. Через минуту — опять. Мальчик вскочил и побежал к дому, еще издали увидел белую рубашку Анатолия Семеновича.

— Я сейчас карпа видел! — издалека заорал Петров, а Анатолий Семенович разогнулся:

— Надо бы, брат, сначала поздороваться. Карпа, говоришь, видел?

— Ага!

— Ну, правильно. Ласточки как раз только-только с пруда улетели. Он еще не успел домой на дно уплыть.

— А...

— Ты про дрозда? Дрозд тоже уже отпел, надо было тебе пораньше прийти.

— А почему у огурцов усы? — спросил Петров, наблюдая, как Анатолий Семенович обрывает огуречные усы.

— Усы почему? Наверно, потому, что огурец мужского рода.

— Не-е! — взахлеб, торжествующе сказал Петров.— У тыквы тоже усы, а она женского рода! Знаете, какая у нас тыква?

Анатолий Семенович тоже засмеялся.

— Верно! Как это я про тыкву забыл? Ты, пожалуй, прав. Тыква женского рода и тоже с усами.

— А дрозд где сейчас?

— Кто его знает, в саду где-то. У него дел много.

— А жаба?

— Жаба сейчас спит. Ты бы пошел поискал стрелу, пока жаба не проснулась.

Анатолий Семенович сел на скамеечку, как-то странно задышал и вдруг закашлял в большой белый платок, пряча в него все лицо и дергая плечами.

— Иди, иди, поищи...— слабо сказал он между приступами кашля, но мальчик не уходил, испуганный и оробевший, стоял рядом. Желтый высокий лоб Анатолия Семеновича покрылся капельками.

— Вишь, брат, какие дела... Никогда смотри не болей.

Он дышал часто и прерывисто, руки у него дрожали.

— Слышишь? — Анатолий Семенович поднял палец.

— Что? — Петров улыбнулся, у него сразу отлегло от сердца, когда глаза Анатолия Семеновича заиграли, как и раньше.

— Слышишь, как трава растет?

Мальчик прислушался, и сквозь дальний городской шум ему взаправду показалось, что он слышит, как растет и чуть шевелится горячая от солнца трава.

— А Таня говорит, что трава только по ночам растет.

— Какая Таня?

— Я с ней на одной парте сидел, а потом ее Нина Аркадьевна с Тонькой-ябедой посадила, а меня рассадила.

— За что рассадила?

— Нас жених и невеста дразнили.

— Хм...

— Таня говорит, что трава по ночам растет. А почему?

— Ты спроси у нее, у Тани. Она, наверное, знает почему. Слышишь? А может, вы вместе с Таней ко мне придете?

Петров сказал, что, когда начнется школа, Таню он позовет, и они придут сюда вместе. Анатолий Семенович взял его под мышки и подкинул в воздухе.

Потом они долго ходили по саду, ели малину, искали стрелу, но так и не нашли, а через день со второй сменой Петрова отправили в пионерлагерь.

2

Пришла и осень. То и дело брызгали уже холодные дождики. По ночам в городе стало темнее, а днем пахло огурцами и бензиновым дымком, бабкина кадка стояла под застрехой все время полная. Вернувшись из лагеря, Петров начал ходить в школу. Он все собирался сбегать к Анатолию Семеновичу вместе с Таней, но она сидела от него далеко, а в перемены не выходила из класса, и Петров стеснялся с ней разговаривать.

Сегодня он еще ночью, во сне, когда снился веселый дрозд, решил обязательно вместе с Таней сходить к Анатолию Семеновичу. Утром принесли газету, бабка завернула пирог с творогом прямо в эту свежую газету. Петров это сразу заметил и сказал бабке, что ей опять влетит от отца за то, что истратила свежую газету. Бабка испугалась, но газета все равно была испорчена жирным пирогом, и Петров побежал в школу.

Петров немного запоздал на урок, и ему пришлось просить разрешения войти. Тонька-ябеда была дежурная, она встала и нарочно тоненьким голоском начала докладывать:

— Нина Аркадьевна, в классе восемнадцать человек, все пришли с носовыми платками, двое не выполнили домашних заданий. Петров опоздал на две минуты...

Петров украдкой наблюдал за Таней и Тоньку не слушал. Он опять вспомнил, что еще летом обещал Анатолию Семеновичу вместе с Таней прийти в сад слушать дрозда. А почему трава только по ночам растет? Наверно, оттого, что ночью не мешает никто. А стрелу, может, и правда жаба спрятала? Скорей бы уроки, что ли, кончились.

И вдруг ни с того ни с сего Нина Аркадьевна велела всем мальчикам выйти из-за парт и выложить из карманов все, что там есть. Петров выложил носовой платок, рогатку и маленький кусочек мела. Нина Аркадьевна медленно шла между партами, смотрела, что выложено. Дошла очередь и до Петрова.

— Петрофф! Выйди к доске.

Все сели, только Петров стоял у доски.

— Поднимите руки, у кого еще в кармане есть мел! — сказала Нина Аркадьевна.— А ты, Петров, скажи, почему написал в мальчиковой уборной нехорошие слова?

Петрова даже в жар бросило. Никогда никаких слов и нигде он не писал, даже в уборной сегодня не был ни разу. Он чуть не заплакал, покраснел и хотел выбежать из класса.

— Хорошо,— сказала Нина Аркадьевна.— После уроков зайдешь в учительскую. А сейчас начнем урок.

Она вернула ему платок, рогатку положила в портфель и за локоть отвела на место.

— Нина Аркадьевна,— Тонька подняла руку,— а мел и у Иванова, и у Смирнова, я сама видела, как они его в парту прятали.

Петров хоть и не любил Тоньку, но тут обрадовался ее голосу, обида и накипевшие было слезы рассосались где-то в носу. Нина Аркадьевна заставила самостоятельно прочитать былину «Вольга и Микула», Петров читал, но читать было не интересно.

На последнем уроке Петрова вызвали в учительскую допрашивать, но оказалось, что кто-то уже видел, как Смирнов писал в уборной эти проклятые слова. Петрова отпустили, только отругали за рогатку. Он выскочил из учительской и шмыгнул в раздевалку, потому что все равно уже был звонок. В раздевалке он увидел Таню и не нарочно стукнул Тоньку-ябеду портфелем в бок.

— Тили-тили тесто, жених и невеста! — прошипела Тонька и показала язык. Петров хотел стукнуть уже нарочно, но надо было догнать Таню, чтобы вместе сходить к Анатолию Семеновичу. Однако Таня уже ушла. Петров решил, что с Таней сходят к Анатолию Семеновичу вместе в другой раз, а сегодня лучше сбегать одному.

Он подошел к дому с улицы, а не через сад, узнал это место по флюгеру-петуху, что виднелся из-за высоких лип. Первые опавшие листья уже шелестели под башмаками у калитки и у сетчатого забора. Калитка была заперта. Петров постучал, но никто не открывал. Тогда он перелез через забор и подошел к дому. Дверь за деревянными столбами была тоже закрыта, окна почему-то стали без занавесок, и вокруг никого не было. Мальчик обошел дом, постоял у цветника. Но его никто не окликнул. «Куда же уехал Анатолий Семенович?» Петров постоял еще и направился домой через сад. «Наверное, на море уехал,— подумал Петров,— он на море хотел ехать». Теперь сад был совсем не тихий. Он шумел от сентябрьского ветра. Влажные листья падали на грядки. Петров подошел к пруду. «Интересно, будет карп есть пирог с творогом или не будет?» Пирог так и остался цел из-за всех сегодняшних происшествий. Петров развернул газету и начал кидать кусочки пирога в пруд, потом вздохнул, оглянулся. Куда же деть эту газету? Анатолию Семеновичу наверняка не понравится, если бросить ее тут. Он взглянул на смятую бумагу, хотел затолкать пока в карман, но ему бросились в глаза чем-то знакомые слова: «...Варнакова Анатолия Семеновича». Петрова что-то кольнуло от этих слов. «Обком и облисполком с прискорбием извещают о смерти Варнакова Анатолия Семеновича». Петров еще раз перечитал слова в рамочке. Он, ничего не понимая, огляделся вокруг и вдруг увидел свою стрелу.

Она лежала под березой, несколько листков уже упало на нее, наконечник из консервной банки заржавел. Петров поднял стрелу, опять перечитал объявление и внезапно понял, заплакал, побежал... Он не помнил, как перелез через забор и разорвал штаны, как чуть не попал под машину, как почему-то добежал до того дома, где жила Таня. Он знал, что Таня живет в одном доме с учительницей, знал, который подъезд, не знал только, какая квартира. У подъезда он посмотрел на потемневшую дощечку с фамилиями жильцов. Слезы не давали ему читать, но перед цифрой «двадцать» он все же прочел почти стертые, написанные давным-давно слова:

«Варнакова Нина Аркадьевна».

Он не мог понять, почему у Нины Аркадьевны фамилия оказалась Варнакова, хотел бежать вверх по лестнице в двадцатую квартиру, но вдруг увидел Нину Аркадьевну. Она выходила из подъезда деловитая, с крашеными губами, в белых перчатках.

— Петрофф! Тебе кого здесь?

Он повернулся, выронил стрелу и, размазывая по лицу чернильные пятна и слезы, пошел со двора.

Желтый листок сорвался с ветки, покрутился, задержался на петровской фуражке и упал на асфальт. Заморосил дождь, и ивовая стрела мокла около Таниного подъезда.

КОЧ



оч овдовел позапрошлой зимой. Он продал овец и кур, повесил на ворота старинный амбарный замок и уехал к дочери в Ленинград.

Люди поверили: этот насовсем.

Только Лещов — сосед и однофамилец — шел против всех:

— Знаю я его! К весне прикатит. Как тут и был. Возьми любого и каждого.

(У Лещова есть поговорка: «возьми любого и каждого». Он так к ней привык, что употребляет к месту и не к месту.)

— А чего он куриц-то решил? — горячился тракторист Валька. (Это второй сосед Коча по прозвищу Зюзя, да не просто Зюзя, а даже пан Зюзя. В деревне любят смотреть телевизор.)

— Курицы дело плевое, временное,— спокойно возражал Лещов.— Теперь с инкубатора цыплят продают. Бери хоть сто штук.

— Ну и что?

— Вот ежели бы он дом продал, товды бы я и поверил.

Валька, живя со своей обширной семьей в старой тесной

избенке, прицениваіся к ядреному дому Коча. Дом этот стоял посреди деревни «как стопочка», что редко можно было сказать о самом покупателе. Пан Зюзя был почти ежедневно пьян, по-видимому, привык. У него много раз отымали трактор, к чему он тоже привык. Но ведь тем же путем можно привыкнуть и к возврату машины! Что бы ни случилось, дело, в конце концов, завершалось тем, что Валька снова усаживался на трактор.

Валька предлагал Лещову биться об заклад, так был уверен, что Коч не вернется. Лещов отказывался, а зря. Весной Коч действительно прикатил домой. Валькины мечты о покупке у Коча дома и бани развеялись вместе с дымом из этой самой бани. Коч в первый же день отпарил и смыл неприятные ленинградские воспоминания. Придя к Лещову и сидя за самоваром, он рассказывал:

— Климат, климат не тот! Наш климат не сравнить с тамошним. Как в деревню ступил, сразу по-другому чувствую.

Кой черт климат! Наш климат давно сравнялся с ленинградским. Коч знал об этом не хуже «любого и каждого». Говорил бы уж лучше, что не поладил с дочерью, о чем и судачила вся деревня.

Но почему не поладил? Народ любит судачить, не разобравшись. Беда же заключалась в том, что Коч привык жить в просторном доме. Он наверняка упал духом, когда поселился в тесной городской квартире. Там не было не только русской печи, но даже и постоянной кровати. Каждый раз, когда надо было ложиться спать, Кочу ставили железную раскладушку. Так что климат климатом, а основная причина, осознанная Кочом, крылась глубже, то есть в семейных делах. Это Коч знал и никому не рассказывал. Но люди-то все равно говорили. Таким образом, «дезертир Ленинграда» (как тотчас прозвал Коча Валька) словесно оправдывал свое возвращение климатом, на самом деле уехал из-за ссоры с дочерью. Но самая главная причина, даже не осознанная Кочом, была совсем в другом: он узнал, что в Ленинграде людей не хоронят в земле, а сжигают в печах. Это было для него непонятно, непривычно и жутко. Быть сожженным он не хотел, такая перспектива приводила его в ужас, его неудержимо потянуло домой. И Коч удрал обратно в деревню, благо причина для этого была веская: они и впрямь разругались с дочерью.

Лещов же верил Кочу, выслушивая про недостатки ленинградского климата. Во время войны он служил в Ленинграде. Конечно, Лещов, если б даже и запомнил, какой в Ленинграде климат, то давно бы об этом забыл. Но сам факт пребывания в Ленинграде и жестокого брюшного осколочного ранения, после которого Лещов (возьми любого и каждого!) еле выжил, был настолько понятным и достоверным, что Лещов бы поверил сейчас чему угодно, что касается Ленинграда.

— Саша,— Коча зовут Александром Николаевичем.— Саша, ты там на Литейном-то не был?

Коч на Литейном не был. Лещову же хотелось поговорить

именно о Литейном, так как с этим проспектом у него связаны какие-то солдатские, по-видимому, любовные воспоминания.

Просидев у Лещова до ночи, Коч, несмотря на уговоры, ушел в холодный дом ночевать, а утром, еще не зная, что будет сажать, уже перекапывал гряды.

Была весна. Причем, весна победная, юбилейная. Коч тоже был фронтовик, но не любил вспоминать войну. «Чего хорошего? — думал он про себя.— Народу столько прибито. Самого молодого, ядреного...» Медали он все же хранил тщательно и даже брал их с собой, когда ездил к дочери, не в пример тому же Лещову. Тот совсем не следил за этим делом. Внуки, приезжающие гостить на лето, растаскали и растеряли все, и без того немногочисленные, лещовские награды.

В тот день Коч вскопал гряды. Сажать же что-то было не только рано, но и нечего: уезжая к дочери, он отдал по людям весь картофель и лук. В пустом погребе по колено стояла вода... Опять идти занимать? Ведь вот же пришлось занимать даже угли для самовара...

Коч, не раздеваясь, сидел на лавке. В избе после одной топки едва-едва чувствовалось тепло. Пахло плесенью. Дом еще не просох и не пропитался жилым духом. Кочу стало тоскливее, чем в Ленинграде. В это время и зашел к нему Валька. Может быть, тракторист надеялся на выпивку, хотел в трудную минуту поддержать Коча, скорее всего и то, и другое.

Валька прищурил свои водянистые глаза, оглядывая углы:

— Не топил, что ли? Как в погребке.

— Да топил! — оживился Коч.— Мало, видно.

В доме, конечно, было что выпить, нюх пьянчужки не подводил Вальку, но Коч был совсем в другом настроении, а с горя старик никогда не пил. Поэтому Валька вскоре собрался уходить и пригласил Коча к себе.

— Ладно,— сказал Коч.

— Я грядки-то вспашу, когда лошадь освободится.

— Да я вскопаю лопатой,— сказал Коч.

— А знаешь что, Александр Николаевич? — Недовольный Валька уже держался за скобу.— Тебе жениться надо.

— А? — Кочу было приятно услышать такое неожиданное предложение.

— Жениться, говорю, надо! — грубо сказал Валька.

— Да нет, что ты, парень! Не дело не говори.

— Чего не дело, чего не дело! — Валька даже обозлился, хотя злился-то он явно по другой причине.— Самое дело! Тебе сколько?

Коч сказал и покаялся: семьдесят восемь лет тоже не шутка.

— Ну и что? Вон на Кавказе живут до ста пятидесяти.

Валька ушел, хлопнув дверью.

Коч глубоко вздохнул. Потом он переобулся, взял в сенях лопату и пошел в огород вскапывать остальные грядки. За работой

забылась злая Валькина шутка. Но где-то в подсознании (так же как истинная причина возвращения) засела и обосновалась пока еще спорная и непрочная мысль о женитьбе. Вернее, предчувствие этой мысли.

Лето выдалось неустойчивое. В природе все перепуталось, извечные приметы обманывали и не совпадали с давно выверенными предсказаниями. Впрочем, и предсказания метеорологов, передаваемые по телевизору, тоже иной раз обманывали не меньше.

Коч почти ежедневно ходил смотреть телевизор к Лещову.

За лето он вновь обжился. Да и что обживать? Все давным-давно обжито... С весны он посадил огород, кочней полсотни капусты да столько же брюквы, две грядки картошки и грядку луку. Даже про огурцы не забыл, но эти пожелтели и не росли. Все шло не как обычно: и ведро не к месту, и дождь невпопад...

Сенокос выдался вовсе какой-то дурной. То все засохнет от жары, то вдруг накатится холодина, хоть надевай шубу, чтобы сметать стожишко. Коч накосил за лето стогов пять.

— Ну, Александр Николаевич! — подначивал Валька.— Ты процентов на двух коров накосил. А я и на одну не могу.

Валька заливал: корову он держал, и сено начисляли ему бесплатно, как механизатору. Правда, и косить заставляли, но какой из него косец? За лето он дважды прославился. Один раз чуть не задавил человека, в другой еле не утопил трактор.

Итак, Кочу (возьми любого и каждого) полагалось пятнадцать процентов от накошенного в колхоз. Ему не захотелось продавать это сено, поэтому осенью он купил у Лещова молодую суягную овцу. Чин чином привел ее в свой хлев. Но до снегу было еще далеко. Овец выпускали в загородки. Коч только что убрал брюкву, выкопал картофель. Загородка оказалась свободной, но овца не стала ходить. Она сразу начала блеять и бегать вдоль изгороди, стремясь обратно к лещовским овцам. До чего доблеяла, что даже охрипла, а под конец сунула голову промеж двух жердей и еле не удавилась. Коч завел ее в хлев. На языке у него уже скопилось множество нехороших слов, он крякал, держал себя в руках. Разжигая самовар, он зацепил его балахоном и опрокинул, сел к столу и начал плеваться, мысленно ругая себя и весь белый свет: «Дьявольщина. Куда ни ступи, везде неладно. Все ползет, за что ни возьмись. Это разве нармальная жизнь? Нет, не нармальная!»

То, что жизнь, как и погода, пошла «ненармальная», Кочу ясно было и раньше. Но раньше он терпел. Сегодня же терпение кончилось и стало понятно, что так дальше нельзя. Надо было что-то делать. А что делать? Что ни возьми, хоть в кухне, хоть в сенях — все требует женского внимания и догляда.

Коч, сидя в кути, перебирал в уме своих ровесников, с которыми начинал жизнь. И его опять обдало холодом, как тогда в Ленинграде, когда узнал, что людей в больших городах не хоронят, а сжигают в печах, да еще и не дровами, а при помощи электричества.

Никого из ровесников, кроме Лещова, в живых не осталось.

Коч перебирал их одного за другим. Этот убит еще в Финскую, этот погиб тоже. Тот умер уже после большой войны, этот давно, тот не очень давно. Выходило так, что Коч и Лещов заживают чужой век, что вроде бы уже и стыдно эдак-то.

Коч вздохнул и задумался еще глубже. «Вот тебе и вся недолга,— невесело и не спеша рассуждал он.— Никого нет из ровесников. Отшумела жизнь, как трава на ветру. Только почему же так уж больно и скоро-то? Всех подкосило, до единого. Ан, нет, не всех еще... Вот, возьми, Миша Шадрун из Залесья. Этот старше их с Лещовым на два года, а едреный и женился в прошлом году третий раз. Даром что корявый на рожу, а уже двух баб издержал, хоть бы ему что. И сейчас вон в магазин ходит без батога. Красный, хоть прикуривай от него. Подожди-ко, а кого он взял-то?»

Коч стал вспоминать и разволновался еще хуже. В памяти как живой встал отец, Николай Антипьевич, прозванный Кочом за густые волосы. Высокий был старик, прям был всегда душой и телом, не сгорбился и в тридцатом году. Не очень-то хотелось ему идти в колхоз, видно было по всему, но переломил сам себя и сыну не дал повесить голову. Сдали на общий двор всю скотину, весь инвентарь и до самой войны оба с отцом не слезали с почетной красной доски. Да и жили не хуже людей...

А тут, когда немец пошел на Москву, все в колхозе пошло прахом. Коч воевал и не знал, что творилось дома. Письма писали всегда утешительные, чтобы не расстраивать военного человека. Потом, после войны, когда отца уже не было в живых, Коч узнал кой-чего про тыльную жизнь. И про отца в том числе. Рассказывали, что однажды на общем собрании весь колхоз просидел в конторе с вечера до позднего утра. Николай Антипьевич подписался на свою тысячу и хотел, говорят, идти домой, но его попросили подписаться в подписной книге за неграмотную женщину. Старик поднес бумагу к лампе и внимательно разглядел цифры.

— Марютка,— позвал он ту женщину, за которую надо было расписаться.— Ты, я знаю, по письму не грамотная. А считать-то ведь ты умеешь. У тебя сколько трудодней заработано?

— Да больше тысячи.

— Ну вот. А на трудодни по скольку начислено?

Старик обратился теперь не столько к Марютке, сколько к счетоводу и к председателю, но те сидели, не глядя на колхозников. И тут Миша Шадрун ударил по столу ребром своей белой сухой ладони:

— Подписывай и можешь быть свободным.

— Нет, я за таких неграмотных не расписываюсь. Ты, Марюта, где эту тысячу возьмешь?

Бабенка растерялась и молчала, а старик спокойно объяснил:

— У ее вон тысяча трудодней. Ну, пусть выдадут, как в прошлом годе, две с половиной копейки на трудодень. Берем три.

Рассказывают, что Миша Шадрун вскочил, закричал, потом вывел Николая Антипьевича из конторы. Старик даже не успел надеть шубу, рукавицы и шапку. Дело было глубокой осенью. Уже промерзла на первых заморозках сырая, убранная до последнего колоска земля, и журавли давно улетели, уже первая поземка струилась по серым пыльным, жестким глыбам дороги и пахоты. Тем утром не дымились кирпичные трубы и не звякали у речки бадейки. Весь народ был в конторе, хотя после выступления старого Коча и начали расходиться.

Миша Шадрун привел Николая Антипьевича в центр сельсовета и взял понятых. Все подошли к колхозному картофельному погребу. Шадрун выхватил из пробоя замок, распахнул дверку и показал на нее старому Кочу:

— Сюда! — Он на замок закрыл старика в погребе и ушел обратно в контору, где всю ночь шло собрание.

Говорят, что без шапки и шубы Николай Антипьевич быстро начал мерзнуть. Старик руками начал ковырять и выгребать песок из-под нижнего бревна. За полдня он проделал под бревном достаточно большую дыру и, как крот, вылез на свет. Он вернулся домой: шапка, шуба и рукавицы лежали на лавке, их принесла из конторы сноха. Он отмыл руки, попил чаю, затем оделся в эту самую шубу, надел шапку, взял рукавицы, попрощался со всеми, кто был около, и пошел вновь, прямой и неторопливый.

Говорят, у Шадруна побелели глаза, когда Николай Антипьевич сначала вежливо постучался, затем вошел в сельсоветскую комнату, где уполномоченный подбивал итоги подписки. Говорят, Миша Шадрун чуть не взбесился, а Коч стоял перед этим дураком спокойно и прямо. Но когда Шадрун опять взял понятых и привел старика к тому самому погребу и приказал залезать туда же, но не через дверь, а через тот самый лаз, который сделал Николай Антипьевич в земле, тогда, говорят, старик не вытерпел и громко сказал:

— А ты покричи еще! Не боюсь. Нет, не тебя, Шадруна, мне бояться, не в твоем роду живы экие ухари! Чтобы им Антиповы сыновья кланялись!

И вот теперь этот самый Миша Шадрун женился на молодой. Да еще и живет припеваючи, с порядочной пенсией, держит чуть ли не целый двор скотины и каждый день попивает винцо.

Коч даже поднялся от возбуждения с лавки. Чем он хуже хоть того же и Шадруна? Чем? Ладно, держал Шадрун в погребе родного отца, пусть, это было давно. Время было военное. А теперь-то чем он, Коч, провинился, чтобы жить хуже?

Смута в душе росла и росла.

Коч решительно встал, ноги сами принесли его к Вальке.

Пан Зюзя латал над хлевом крышу кой-каким барахлом, где доска, где обрывок толи. При виде Коча сразу же прервал работу и слез на крыльцо:

— Садись. Как живешь?

— Да неважно, парень,— сказал Коч.

— Конешно, одному это тоже не мед! — Валька словно бы знал заранее все мысли Коча.— Возьми любого и каждого...

Коч, занятый этими мыслями, не увидел тайной насмешки в голосе Вальки, не заметил, что тот использовал поговорку Лещова и словно бы подмигивал сам себе, когда то и дело тихо покашливал.

— Я бы на твоем месте, Александр Николаевич, и думать долго не стал.

— Да ведь вот, парень, годы-то... Боязно. Да и люди что скажут...

— А ты гляди на людей! Люди... Все люди как люди, а ты как шиш на блюде,— Валька притворно загорячился, но Коч опять не заметил этого.— Люди! Да если хочешь знать, люди всякие. Многие вон дивятся...

— Чему?

— Иные и прямо говорят...

— Чему дивятся-то? — переспросил Коч.

— А тому, что Коч в таком дому и один!

Если б Валька не назвал его по прозвищу, он, может, и уловил бы, что его разыгрывают. Но — хитер пьянчуга! — Валька как бы от имени всех назвал Коча Кочом, то есть общепринятым прозвищем. И это совсем закрепило Валькину победу.

— Если хочешь знать, вон эта... Евдоша-то... Из Залесья. Совсем еще молодая баба. Денег куры не клюют. Второй год на пенсии.

— Знаю Евдошу. Чего...— Коч подзамялся, но тут же осмелел.— Думаешь, пошла бы?

— Да она... она, знаешь? Ее только поманить. Полетит пулей!

— Да ведь у меня тоже, понимаешь, не к пусту. Есть и сберегательная...

— Ну! А чего? — Валька и сам увлекся, теперь он был в восторге от этой на ходу пришедшей идеи.— Да вот я завтра в Залесье еду. Если хочешь, зайду и поговорю.

— С Евдошей?

— Ну! Завтра за трестой туда.

— В Залесье?

— Да, что ты, Александр Николаевич, как маленький, твержу, твержу.— Валька протянул руку.— Держи!

— Ежели, это...— Коч несмело взял жуткую Валькину жменю.— Не омманешь?

Валька даже отвернулся, и Коч ушел от него в полной решимости и в твердой уверенности. Но дома на него вновь накатилось сомнение. В душе он не доверял пьяницам. Но, вспоминая разговор с Валькой, нельзя было не верить в искренность тракториста. Какой-то червячок неуверенности все-таки остался, и вот, чтобы окончательно придушить этого червячка, Коч двинулся за поддержкой к Лещову. По его плану Лещов должен был оконча-

тельно укрепить начатое дело, развеять все сомнения, а самое главное высказаться насчет Евдоши из деревни Залесье.

Лещов долго слушал Коча. Речь началась издалека, постепенно приблизилась к смыслу, и, наконец, стало понятно, к чему весь разговор.

— Так что, сам понимаешь,— закончил Коч артиллерийскую подготовку и пошел дальше в атаку, но Лещов уже все понял и перебил:

— Да ты что, Саша? С ума сошел? Не смеши людей-то! Старую голову не позорь. Возьми любого и каждого. Ведь ты стыда не оберешься, разнесут по всей РэСэФэСэРе.

— Думаешь?

— Думаю, думаю. Ты мне не говаривал, а я не слыхивал...

С утра солнце еще выглядывало из-за толстых густых туч, которые заслонили небо, теперь же все везде было темно. Дождь моросил в тоскливом безветрии. Глухо было и сумрачно. Тучи давили, казалось, прямо на плечи и не давали дышать.

Коч вышел на улицу и почувствовал, что весь разбит, вдруг заныли в суставах немолодые поскрипевшие за жизнь косточки. Удушливый кашель долго тряс его у лещовской изгороди.

Дома он взял грибную корзину, вставил в скобу ворот еловую палку и ушел в лес.

Валька видел, как он пошел в лес. Он своими глазами это видел и не удивился. Что тут особенного? Человек ушел за рыжиками. Если недалеко, то ничего особенного, не заблудится. Волков нынче нет, медведь один на весь сельский Совет. Валька уехал на тракторе в центр и вернулся ночью нетрезвый. Он направил фары своей «Беларуси» на Кочовы ворота. Батог в скобе торчал по-прежнему. «Нет Коча...— мелькнула тревога в Валькиной голове.— Не пришел из лесу». Хмель все-таки пересилил, и Валька уснул прямо в кабине. Но едва забрезжил рассвет, он очнулся от той же, только за ночь разросшейся тревоги. Взглянул на ворота и ужаснулся. Коча дома не было.

Валька побежал к Лещову:

— Где Коч?

Лещову неоткуда было знать, где Коч. Валька рассказал о вчерашнем разговоре насчет женитьбы. Тогда и Лещов рассказал, как приходил Коч советоваться к нему. Оба испугались: стало ясно, что Коч ушел в лес и не вернулся. Может, нарочно или с расстройства, уйду, мол, да там и умру. Ни Лещов, ни Валька не знали, что делать... Наконец, решили идти искать, Валька сбегал за ружьем, Лещов присвистнул своего пса. Тут же обежали всю деревню и собрали народ, кто мог ходить.

Набралось больше двадцати человек, люди скопились у лещовского колодца, все в резиновых сапогах.

— Он что, точно ушел? — спрашивали Вальку.

— Точно. Видел сам.

— Наверно, по левой дороге направился. У его там места на примете.

— А может, на мой пенник? — возразил Лещов.

— Кто его знает, Коча.

Решили разделиться на три партии и идти сразу по трем дорогам, в том числе и на лещовский пенник.

Дождь моросил, не переставая и усиливаясь. Ветра не было. трава и кусты в лесу были мокрые. Каждая ветка обдавала людей водой. Капли стекали за шиворот, в сапогах тоже быстро захлюпало. Валька вел свою партию все дальше, отошли уже километров семь. Палили из двух ружей, кричали. Прочесывали ельники от тропки до тропки, просматривали полянки и сеновалы.

День быстро шел на убыль. Валька заложил последний патрон и бухнул в мокрое потемневшее небо. Долго слушал. Но выстрел в мокром воздухе прозвучал слабо, везде стояло глухое лесное безветрие, а темнота, казалось, начала наползать еще быстрее.

— Ветролет бы,— вздохнул кто-то.

— Не ветролет, а вертолет! — обозлился Валька.

— Кто тебе его даст?

— А как же! Вот позвоним дома, сразу пошлют из Вологды. Знаешь, как в песне поется: «Молодым дорога, старикам почет».

— Теперя наоборот. Молодым почет, старикам дорога. Вишь ушел, может, верст за тридцать.

Все были расстроены, все промокли до нитки. Устали и проголодались за день немилосердно. Валька первый не выдержал и предложил идти домой.

Все соединились в поле, собирались по одному, по два, злые и мокрые.

— Конешно, ищи его. В болоте Кочей много...— сказал Валька, когда собрались опять у лещовского колодца. Но шутку никто не принял.

Коча было жаль, и ежели он еще не погиб, то требовалось срочно снова идти в лес. Ежели его нет в живых, то надо было сообщать в больницу, в милицию, дочке в Ленинград. И еще чего-то делать. Искать человека. Хоть и мертвого, а искать. Но ведь устали вусмерть и промокли, да и как будешь искать ночью?

Все молчали и почему-то не расходились, никто не хотел первый уйти домой.

— Адрес-то, кто знает, какой? — спросил Валька.

— В Ленинграде-то?

— Может, телеграмму придется посылать.

Адрес у Вальки когда-то был, но как только Коч приехал обратно домой, то он этот адрес выкинул. Валька плюнул. Кто-то посоветовал поискать адрес в доме Коча: где-нибудь в шкапу должен же быть конверт с ленинградским адресом.

— Глядите! — Валька встал.— Иду при свидетелях, может, замок придется ломать.

Замка ломать не пришлось, поскольку его не было, в скобе торчала одна палка, и Валька выбросил ее далеко в крапиву. Он открыл сени, посветил электрическим фонариком дверь и вошел в избу.

Коч еще не успел провести свет, отключенный в то время, когда уезжал к дочке. Валька осветил шкаф со стеклянной дверцей, открыл и начал шарить на полочке. Звякнул стакан, полетела какая-то ложка. И вдруг у Вальки подкосились ноги: с печи, из темноты послышался сильный и долгий всхрап. Стало вновь тихо, но через минуту Валька услышал шорох, кто-то слезал с печки.

— Александр Николаевич, ты? — громко, чтобы подбодрить самого себя, спросил Валька.— Дома, что ли?

— Дома, дома,— отозвался голос Коча.

Вальке хотелось в три колена обматерить Коча, но он сдержался, чтобы узнать, что к чему.

— Ты дома? — снова спросил он.

— Дома. А чево?

— Весь день?

— Весь.— Коч закашлял.

— А вчерась? Ходил ты вчерась по рыжики?

Коч молчал. Никуда он «вчерась» не ходил, он только дошел до прогона, затем спустился к реке, огородами вернулся в деревню и прошел в дом другими воротами. В парадных воротах палка торчала со вчерашнего дня, нетроганая.

— Ну? — ярился Валька.— Будешь отвечать?

Коч молчал в темноте.

— Ты где вчера был? — Валька чуть не схватил Коча за ворот.— Ну?

Коч молчал. Потом он как будто пошевелился на лавке. И Валька услышал:

— А я, значит, задними воротами. Кхе-кхе...

— Ну, я припомню тебе! — Валька вылетел из дома как сумасшедший.— В три Коча мать... Где Лещов?

Валька подбежал к дому Лещова. Люди ожидали его.

— Жених стамоногий! — ругал Валька Коча.— Где, говорю, Лещов?

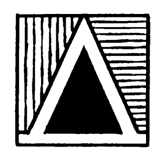
Вальке хотелось скорее увидеть Лещова, чтобы вместе с ним разоблачить Коча перед всеми, осрамить и высмеять в отместку за дождь, мокрые усталые ноги, голод и зря потерянный день.

— Вся деревня! Весь день его ищут, а он на печи поляживает. Ну Коч! Я тебя женю, чертов Кочина! Я вот тебе высватаю, ты у меня еще... Это... где Лещов?

Только сейчас обнаружилось, что Лещова в деревне нет. Он не вернулся из леса, в суматохе никто не заметил этого.

Теперь надо было идти искать Лещова. Надо было опять тащиться на ночь глядя и неизвестно куда...

ПИСЬМО


еревня по случаю сенокоса безлюдна, одни куры, зарываясь в дорожную пыль, подают признаки жизни. Жарко, особенно к полудню, и тихо. Проходя деревенской улицей, слышу оклик из окна летней избы, по-здешнему — передка. Оглядываюсь.

— Батюшко, ты чей?

Я сказал. Женщина внимательно выслушала, восхищенно поцокала языком:

— Экой хороший парень-то.

Я пожал плечами.

— Дак ты грамотный? — спросила она.

— Вроде бы ничего. А что?

— Да написал бы письмо.

Я слегка растерялся от такой просьбы. И спросил в задумчивости:

— Письмо?

— Да.

— Кому письмо-то?

— Да в Архангельск, золовушке.

«Ну, коли золовушке...» — думаю я и, не мешкая, поднимаюсь по лестнице.

Какие только выкрутасы не припасает командировочная судьба!

В доме чисто и очень прохладно, пол застлан красивыми половиками. Женщина пожилая, но довольно еще бодрая, то и дело меня спасибуя, разъясняет, куда сегодня ходила косить и с чем пекла пироги. Потом рассказывает мне про боль в пояснице и про свою корову, которой еще «что на умок придет» и которая еще не каждое пойло пьет, потому что все, и коровы теперь тоже, стали с высшим образованием.

— Самовар поставить, али супу будешь хлебать?

— Да как сказать...

Однако, спохватившись, я решительно отказываюсь от чаю и супу. Но уже поздно, и мне приходится сесть за стол. С трудом обходимся без супу. Губники, то есть пироги с прошлогодними солеными рыжиками, отнюдь меня не разочаровали. И пока я дожевываю пирог, женщина подает мне конверт, школьную тетрадочку и химический карандаш. Я откашливаюсь:

— Так. С чего будем начинать?

— Так ведь уж что, батюшко, пиши с самого начала.

— ?

— Пиши: баню перекатила, корова доит хорошо.

Я в растерянности скребу в затылке.

— Это... самое... Имя-отчество-то у вас как?

— Григорьевна, батюшко, Григорьевна была с первого дня.

— Так ведь надо, Григорьевна, с поклонов, наверно... или как?

— С поклонов, батюшко, знамо с поклонов. Дак ты разве не писывал? Вот мне Минька все пишет, до того у прохвоста ловко выходит, каждое слово как тут и было.

— Какой Минька?

— Да Нюркин, суседкин парень. В шестой уж класс перешел, он мне все и писал письма-ти. А ноне в лагерях вторую неделю. Говорят, и встают по трубе, и спать по трубе укладываются. А Нюрка-то с мужиком развелась, пятый год врозь живут. В леспромхоз ходил в работу, да там с какой-то вербованной девкой и спутался. Говорит, хоть пополам рубите, а эту бабу не оставлю. Вот что делают, мокрохвостки! Раньше ну-ко так-то! Нонешние бабы из-за мужиков ни с чем не считаются. У тебя-то есть семейство?

— Есть.

— А деток-то много ли?

Ах ты боже мой, все ей надо знать! Впрочем, и про себя она ничего не скрывает, наоборот. В каждую свою фразу Григорьевна, выражаясь по-современному, стремится вложить как можно больше информации.

— Ну, хорошо,— перебиваю я, ощущая ответственность.— Я, значит, начну так: «Добрый день либо вечер...»

— Здравствуй, дорогая золовушка,— подхватывает она, в такт покачивая головой,— Людмила Степановна, еще кланяюсь вашей семье, а именно сыну Коле со всем семейством, да дочке Вале с Люсей и Витей, да еёному мужу Павлу Сергеевичу, а брату Естафью перьвой поклон!

— Стоп! — я не совсем уверенно ставил точки и запятые и боялся, что все перепутал.

— Сын Коля,— это ваш или золовушки?

— У меня, батюшко, деток не было, и я с мужиком-то одну недельку жила. Увезли в мокрые страны, когда раскулачивали.

— Значит, Коля — это золовушкин сын?

— Золовушкин.

— Золовушка — это вашего брата жена? — я начинаю постигать родственные хитросплетения.— Евстафия Григорьевича?

— Истинно! Сперва-то она в другую деревню выхаживала, Николай у ее от первого мужа. Хороший был и тот мужчина, худого ничего не скажу, а как война-то вызнялася, он и пошел в главный огонь. А наш Есташка в ту пору молоденький был, только гармонью купил, около Людмилы и запохаживал. Уж так мне нелюбо было; умом-то готова была глаза у ее выцарапать. На сенокосе одинова Людмила-то остановила меня да и говорит: «Вот, девушка, надерико Есташке уши, братику своему. Да хорошенько, чтобы не блудил, не ходил под окошком. Я, говорит, своего мужика с часу на час домой жду, а он меня гармоньей обыгрывает. Пусть, говорит, не стыдит мою голову». Ну, я его и похлестала тогда, ну уж и похлестала!

— Кого?

— Да Есташку-то.

— Но ведь взрослый уж был,— сомневаюсь я,— большой?

— А что, что большой? Рос у отца, отца боялся. А тятя с мамой умерли, я дом в свои руки взяла. Уж я его повозила, бессовестного...

— Перестал?

— Временно остепенился. Ну вот, а у Людмилы мужик с войны приехал, медалей на рубахе — мухе посидеть негде. А ведь что, батюшко, людям рот не заткнешь, сказали, что наш Есташка около Людмилы похаживал. Он, мужик-то, приревновал бабу и ночевать к ней не пошел, уж как она ни убивалась, ни говорила, что не виновата. Вся изревелась. Исколотил он ее один раз, другой, а она, Людмила-то, и не стерпела, я, говорит, всю правду тебе, а ты меня колотишь? Да назло в праздник как пошла под Есташкину игру плясать на улице! Плясала, плясала, потом подхватила Есташку под руку, да... Ох, батюшко, я уж и натерпелась тогда с бесстыжими! Сердце зажала, не стала ввязываться. Людмилин мужик на девке женился, а Есташка день не приходит, другой. Чую от людей — тоже свадьбу сбирают. Уж я тоже поревела тогда, в охотку. Ну, ежели по-хорошему, дак пусть, тоже пришла на свадьбу-то. Как сейчас помню, Есташка напился, а она, Людмила-то, помню, и спела: «По-пустому не гуляла времечко военное, не сказал спасибо дроля за сердечко верное». Стали оне жить по всем законам, а какая уж жизнь? Люди все одно пробирают. Взяли да в Архандельск и уехали.

— Ну, а Валя, это уж от Евстафия дочка? — спрашиваю я. Григорьевна искренне смеется:

— Да и у Вали-то своя дочка, да вот уж и новый сынок родился, Витей назвали. А Валя-то институт закончила; а мужика-то у ей Пашей зовут, местный; их у матки-то было только двое, у Пашиной-то. Один-то по машинам выучился, а другой пошел по партейной линии, комнату свою на май дали. Вот миня-то все и зовут в гости, а какая, батюшко, госьба: летом косить надо, зимой корову на чужие руки оставлять неохота.

— Так...

— Пропиши, что здоровье не больно стало хорошее, вся исхрясталась. А косить бегаю, и что погода ведро, да и баню перекатила. Корова доит дородно...

— ...корова доит дородно. Дальше?

— Посылку получила. Естафей, ты спрашиваешь, дак сказываю, что рыбу весной ловили, Сеня Иванушков поймал десять пудов сороги, еще умерла Таисья — запольная, а Толька Озерков женился на приезжей ветеринарке, а Марья, невестка Василья Потапова, принесла двойню, назвали одного Ангелиной, другого Вова. Самовариха дом продала Осипу, а сама ушла жить к зятю, к Олешке Теплому, да с дочкой не ужилась, разругалася. Срядилась ехать в дом престарелых на даровые харчи. Чего еще-то забыла?

Я сделал передышку.

— Вроде бы все. Напиши еще, батюшко, чтобы ехали в гости, пока корова доит, да может бы, и покосили маленько бы. Написал?

— Написал.

— Теперь остаюся без вас одна на белом свете Полинарья.

Она вздохнула, и я перечитал ей свое сочинение.

— Ничего? — спросил я.

— Ой, добро, батюшко, до того добро, лучше не надо. Кабы еще и адрес-то написал...

За работу принесла она в лукошке и предложила мне десяток яиц. И расстроилась, когда я отказался, и долго охала, ойкала:

— Может, баню тебе затопить?

— Да нет, спасибо.

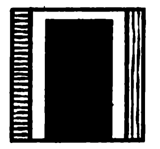
— Тебе, батюшко, спасибо, эк ты меня выручил. Да ты не Акима Ивановича зеть?

— Нет, не Акима.

Я взял рюкзак, распрощался и спустился по лесенке, а она проводила меня и еще долго стояла у крылечка, держа руки под синим передником. И мне было приятно думать, что мое письмо получат скоро в далеком «Архандельске».

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Рассказ бабушки

о нонешней-то поре балясы точить не больно и сподручно, времечко дорогонько. Народ теперь сплошь торопливой, с одного на другое перескакивают. Утром-то иной еще и порточки не застегнул, а ноги уж в сапогах. Сердечной, до вечера так и бегает, остановить некому. Да вот хоть меня возьми, дурочку. Волосьё-то сивоё, а на месте редко сижу̇. Туды-сюды, сарафан только шумит. Бежишь да и думаешь: «Опеть будто ветром из дому-то выдуло. Откуда эдака?» И смех и грех, поздороваться некогда, не то что сон рассказать.

А вот раньше поговорить-то любили. На что, помню, Митя-пастух, только и знал — тёмно да рассвело, язык-то проглотил с малолетства. А и то по деревне утром идет, не торопится, язык-то не действует, дак колотавочки в руках выговаривают:

И родится пригодится,
И умрет не уйдет!

Зимнее дело, темное. Лучины-то нащепаешь копну порядошну. Сидим, пока петух не пробудится, про все переговорим. Не всяка добра лучинка-то, от иной в ноздре, как в трубе. От

еловой-то. И осиновая пропрядывала: эту горечь всем миром уговариваем. Зато от березовой копоти нету, огошек ясный. Наши коклюшки брякают, языки того пуще. «Ой, девоньки, а лучина-то вся!» Ну, вся так и вся, посидим и в потемках. Куфтыри с кружевами в сторону, за песни примемся.

Тут подходит другая пора, стали и с карасином сидеть. Ламп напокупали, абажуров навешали. Светло горит, любой фитанец выписывай. Сидим, не хуже и ранешного. Карасин в лампе кончится — водички дольем: горит да похрипывает. С новомодным огошком канители меньше. Слова переговорим, опять за песни, глядишь, худое время, как куделю, опряли. Только одна война на запятках, другая как тут и была:

Кабы мне бы, кабы мне бы
Дали ероппланию,
Я слетала бы к милому
В самую Ерманию.

Чего не наделаешь, в песнях-то? Вот долго ли, коротко, а пришло новое времечко. Приволокли электричество. Сперва установили свое, местное. Дырок в стенах навертели, столбов наставили, опутали проволокой всю деревню. Ой, мамоньки, включили первый-то раз, глаза сами затвариваются. До того светло, всю бы жизнь в девках сидела, не выхаживала бы! Ну, да уже дело сделано: у этих девок у самих девки.

У нас по машинам Толька с Володей. Два друга, два санапала, все лобогреи в ихних руках, все триеры. На посту дежурят по очереди. Как маленько стемняется, который-нибудь и бежит машику пускать. Выключают ровно в двенадцать часов, не омманывают. Помигают три раза, потом еще упряжку горит; успевайте, крещеные! Ворота запирайте, дела доделывайте.

Толька с Володей за моей Марюткой оба ухлястывают. Я дочке говорю: «Не води ребят за нос, дай одному отбой!» Марютка хохочет: «Один отступится, другой про запас». Я говорю: «Вот погоди, оба отступятся, доиграешься». Один раз огонь включили, явились оба. Я говорю: «Ох, ребята, как нехорошо, машину одну оставили. А ну-ко иная трубочка лопнет? Ведь вам,— говорю,— не рассчитаться с колхозом-то. Машина дорогая, новая, за ей нужен пригляд особенной». Говорят: «За девками тоже нужен пригляд. Чего ей сделается, машине-то? Горючим залита, все смазано. Молотит да молотит».— «Ну,— говорю,— как знаете, ученых учить — только портить». Гасить пошли, оба на Марютку оглядываются. Ладно. Я ворота заперла, мы с Марюткой улеглись при огне. Я на этой кровати, она на той. Вот помигало три раза, погорело, да и потухло. Уснули обе. Сплю я, сплю, сон и привиделся, будто баню топлю. До того жарко натопила, что и сама боюсь. Гляжу на каменку-то, а каменка-то как полыхнет! Ох ти-мнё, осемсветным огнем! Пробудилася, а в избе светлее, чем днем. Ой, унеси водяной, огонь середь ночи включили! Вот стамоногие-то, свет прямо в глаза бьет,

и глаз не открыть. Я на другой бок перевернулась да разожмурилася. На дочкину-то кровать поглядела... Марютка-то... Лешие, с Володей в обнимку лежат. Аль с Толькой? Сейчас, думаю, я их рассортую, ухват у меня близко. Очнулася. Гляжу, парень тутотка, а Марютки нетутка. Так я и села на постеле-то! Глаза-ти протерла, опять гляжу. Новое дело, Марютка тутотка, парня нетутка! Я в одной рубахе да к шестку за ухватом. Пока бегала, свет выключен. Ох, дьяволята, ужотко я до вас доберусь.

Утром обоих машинистов увидела: как дальше думаете? Один говорит — не я; другой говорит — не я. Друг на дружку сваливают. Ужо, говорю, я у Марютки спрошу. Она мне и призналась. Про Володю. Оне, вишь, из избы-то оба вместе, а Володя за кадушку присел. Я, дура старая, ворота-ти заперла да улеглась, будто век не сыпала. Добралась до постели-то. Уснула в такой момент. А Толька-то что? Толька говорит: «Я до трех часов по морозу ходил. Пошел да машину включил,— говорит,— от холоду». Разогрелась машина-то, он возьми да свет и включи. Середь ночи сиянье по всей округе. Тут было всего, да и не со мной одной. Хохочет Толька-то. «Вот,— говорит,— просветленье какое вышло!» Я говорю: «Погоди, прохвост, ужотко я тебе просветлю, в контору нажалуюсь».— «А я,— говорит,— Володи не виноватее».— «А тому,— говорю,— наплюю в пустые глаза».— «Ой, баушка, нехорошо!» Это Толька-то мне. И правда вся, расписалися. Теперь с Володей живем. Он до меня лучше Марютки, я к нему лучше, чем к дочке. Да и машину списали, подвели большие столбы. Государственные. Теперь все время свет, хоть днем, хоть ночью. На ферме, как на вокзале, горит всю ночку. Видно далёко, за десять верст. Не горит, не шает, а зарево. Коровы избаловались, без свету и спать не лягут, вот до чего! Будто солнышко. Коров-то в колхозе много, а девок нет.

МАЛЬЧИКИ

Плачет,— вздохнул Ленька Комлев.— Каждый день только и знает, что плачет».

Учительница Капитолина Ивановна, прозванная ребятами Капушкой, стояла у окна, спиной к классу.

В четвертом «б» шел урок арифметики. Надо было самостоятельно решить задачу про встречные поезда. Ленька переписал условие и подал задачник Ване Серегину на заднюю парту. Ваня Серегин — эвакуированный из Ленинграда. Он жил у Комлевых, поэтому и задачник был на двоих.

Ленька быстро решил задачу, сначала на промокашке. Ему не терпелось узнать ответ. Он повернулся к Ване и по слогам, губами, начал показывать, что ему опять нужен задачник.

— Капитолина Ивановна, Комлев вертится! — послышалось с крайней парты.

Опять эта ябеда — Сонька! Чешется язык-то... Но Капушка даже не обернулась. Она глядела на морозную улицу. Все ребята знали, что она снова плачет, потому что недавно у нее убило на фронте мужа.

Ленька показал Соньке кулачишко, взял задачник и нашел ответ. «Сошлось! — у Леньки сразу стало веселей на душе.— Тютелька в тютельку». Он даже про Соньку забыл. Переписал решение с промокашки на чистовую, в тетрадь, и достал книжку про господина Чечевицына.

За окном школы то и дело грохали поезда. Очень хотелось есть, ноги под партой мерзли. Впереди еще было чтение и чистописание, но все равно у Леньки было отличное настроение. Он читал о том, как два гимназиста хотели бежать в Калифорнию, чтобы добывать золото и сражаться с индейцами. Девочки — сестры одного гимназиста, к которому приехал в гости Чечевицын, подслушали у дверей их разговор. И не доказали об этом родителям, только самая маленькая сестренка сказала: «А у нас вчера чечевицу варили!»

В это время в класс, стуча клюшкой, вошел директор и что-то тихо сказал Капушке.

— Всем сидеть на своих местах! — приказала учительница и ушла вместе с директором. Ребята начали оглядываться и шепотом переговариваться.

«Уколы! — мигом пронеслось в стриженой Ленькиной голове.— Опять уколы!..»

Ох, ничего в жизни не было хуже этих уколов! Ленька заерзал, он сидел за партой один. Сложил в сумку хрестоматию и книжку про Чечевицына. Даже наконечник на ручку забыл надеть. Сейчас бы к дверям и айда в коридор, схватить в раздевалке фуфайку и на улицу.

Только все зря...

Пришла Капушка и встала у дверей сторожить. Она велела девочкам оставить сумки на местах и перейти в третий класс. Всех ребят из третьего уже загоняли сюда. Когда был сосчитан последний из третышей, в класс шагнул директор, а за ним появилась медичка в белом халате. Она разложила на столе иглы и бутылочки. Капушка ушла сторожить девочек, а директор сел за стол и открыл классный журнал:

— Ну, кто самый смелый?

Ребята молчали, кое-кто уже «продавал дрожжи» от страха и холода. Все знали, что первому хуже, медичка-то ведь и сама боится, колет больнее. Бывает, что даже игла лопается и осколок остается прямо в теле. Особенно ежели у кого кожа толстая.

— Значит, нет смелых? — кашлянул директор.— Придется вызывать по журналу...

Ленька держал сумку наизготовке, делая знаки Ване Сереги-

ну. Ежели жили вместе, то и бежать надо вместе. Но Ваня в оба глаза, испуганно глядел на директора.

— Что, Серегин? — сказал директор.— И ты боишься? Не знал, не знал, что и ты трус. А еще из Ленинграда эвакуирован...

Ваня после таких слов решительно скинул пиджачок, начал снимать рубашку и майку. Ленька увидел, как синеватая Ванина кожа покрылась пупырышками, даже чесотка стала почти незаметной. Ваня смело пошел к доске...

— Молодец! — похвалил директор, а Ленька с ужасом за товарища подумал: «Только бы не два кубика...» Теперь Ленька не знал, что и делать, то ли бежать, то ли раздеваться...

Медичка распечатала банку с противной сывороткой. Набрала в шприц этой мутной жидкости, чуть нажала, держа иглу торчком. «Воздух выдавливает!» — подумал Ленька. Он слыхал, что если воздух попадет под кожу, то можно и умереть. Он старался не глядеть на Ваню, но глаза все равно глядели. Медичка намазала йодом под правой лопаткой Вани.

— Тише! Не дрожи! — сказала она и оттянула пальцами кожу. Казалось, Ленька тоже почувствовал пронзительную и страшную боль, которая обожгла сейчас Ваню Серегина. Спину Вани будто схватили щипцами и начали тянуть. Но Ваня даже не успел испугаться, медичка уже мазала укол йодом:

— Следующий!

Ребята с завистью глядели на одевающегося Ваню. И тут Ленька Комлев не выдержал напряжения. Он схватил сумку, пулей вылетел в коридор, сграбастал с вешалки фуфайку и выскочил на мороз.

Сербиянка, сербиянка,
Сербиянка модная,
Сербиянка, ешь картошку,
Не ходи голодная!—

пел Ленька, махая сумкой. Кто такая? Ленька не знал, что это за сербиянка. Она представлялась ему медичкой, которая делает уколы. Эту частушку он услыхал на базаре, где одна тетка каждый день продает картофельные пирожки. Были бы деньги, лопай пирожки каждый день. Конечно, есть и такие ребята, которые воруют, но зато их так и называют: шпана. Ленька шпаной не был и не будет. Лучше уж так, без этих теткиных пирожков. Теперь-то еще ничего. Клава-сестра каждый день приносит хлебную пайку. А вот когда карточку у них вытащили, вот это было да!

Ленька оглянулся, школа осталась далеко. Он очутился у самой железнодорожной линии. А здорово он деру дал! От уколов-то...

Морозило крепко. Поселок весь заиндевел. Над вокзалом отпыхивался маневровый паровозик, клубился белый пар. Мглистое небо краснело с одной стороны. Душа Леньки слегка побаливала: теперь верняком к директору вызовут. Либо турнут на уколы

одного, прямо в больницу. И чтобы заглушить тревогу, он опять спел про сербиянку. На стеклозавод, что ли, сбегать? Ленька подбежал к забору стеклозавода, подобрал из-под ног пустой спичечный коробок. Делать тут было нечего, Клаву и тетю Нину все равно не увидишь, работают до шести. Они выдувают из стекла толстые фляги, говорят, для красноармейцев и партизан. Ленька еще ни разу не видел, как это делается. Он остановился у проходной будки и заглянул в окно. В будке, видимо, было тепло, окошко совсем не замерзло. У окна на скамейке сидел сторож, он завернул в газетку кусок горбушки и спрятал в тулуп.

— Дяденька, дай хлебца!

Сторож поглядел, встал. Хлопнула дверь, и Ленька стремглав отскочил подальше. Сторож стоял в проходе, большой, в тулупе. «Не даст!» — решил Ленька. Но сторож неожиданно подозвал мальчика:

— Иди, иди сюда, пацан!

Ленька подошел. Сторож — это был старый морщинистый дядька — достал вдруг газетку, развернул, осторожно разломил горбушку и подал одну половину Леньке. Ленька, не веря глазам, взял и — бежать от радости.

— Спасибо, дяденька! — издали догадался крикнуть он. Но сторожа уже не было. Пока Ленька раздумывал о том, что надо бы половину принести домой и дать Ване, кусок был съеден. И вот, чтобы не мучила совесть, опять пришлось петь частушку.

Да, но куда сейчас? Ваня, наверное, уже дома. Потому что когда уколы, то всегда последних уроков не бывает. Его, наверно, уже ломает, Ленька знает, каково бывает к вечеру после уколов. Голова так разбаливается, что хуже нельзя. И знобит. Вот его, Леньку, не будет знобить, и спина осталась целая.

Сербиянка, сербиянка...

Ленька подул в замерзшие кулаки, у него не было рукавиц. У железнодорожных пакгаузов сегодня ни одной подводы. Круглый конский помет замерз, стал как каменный. Ленька долго пинал один катыш, оступился и подошел к складу сельхозснаба. Склад стоял на столбах. Маленьким под него вполне можно подлезть, а Ленька знал, где имелась ломаная половица. Прошлый раз там прямо на землю насыпалось льняного жмыху — вот бы и сейчас! Ленька насобирал бы и принес Ване, затопили бы печку, нажарили бы. Нет, сперва бы подмели в комнате, вычистили бы ламповое стекло и зажгли лампу. Клава с тетей Ниной пришли бы с работы и не узнали квартиру: все так чисто, светло и тепло. А они с Ваней спрятались бы за сундук, а после — р-раз. И выскочили бы.

Ленька оглянулся. Нигде никого не было. Только прошумел новый состав и вдалеке стрелочница обметала и чистила от снега свою стрелку. Ленька, замирая от страха, полез под склад. Ничего не было на земле, хоть бы одна крупинка! Ленька, ни о чем не ду-

мая, просунул руку в щель, около сломанной половицы. Там внутри он нащупал что-то твердое и вытащил: «Жмых!» Большая рубчатая плитка спрессованного льняного жмыха еле уместилась в сумку, пришлось вытащить хрестоматию и нести так, Ленька вылез из-под склада и припустил домой.

— Эх, Ванча, не мог убежать! — хлопотал он около своего друга. Ваня даже почернел за это время. Он сидел у холодной чугунной печки в пальто и в шапке. Сидел и дрожал, сидел и дрожал. Губы у него были совсем синие.

— Больно?

— Ихы,— кивнул Ваня.

— Надо бы физкультуру. Раскрутил бы руку-то в воздухе.

Ленька, конечно, понимал, что теперь легко советы давать. У самого-то ничего не болело и температуры не было. Зато болела душа, что-то будет завтра, когда придет в школу.

— П-п-после тебя еще два убежали,— еле выговорил Ваня.

У Леньки отлегло от сердца. Значит, не один! И он принялся наводить порядок в хозяйстве.

— Сичас, сичас! Вот печку затопим, согреешься,— утешал Ленька.— Колобку нажарим, и знай книжку читай!

Ваня, стараясь улыбнуться, стучал зубами.

— Сичас! — Ленька начерпал ковшиком из ведра воды в чайник.— Во морозище! И в ведре ледяшки...

Круглую чугунную печку утром топили, но она остыла. Двери, правда, были обиты коленкором с куделей, но открывались прямо на улицу. Разве дураку какому-нибудь не понятно, отчего такой холод в квартире!

Тетя Нина и Ваня жили в той комнате, Ленька с сестрой в этой. Но все равно ведь ход-то общий. Да и еду Клава готовила вместе с тетей Ниной. В комлевской комнате стоял сундук, стол и Клавкина кровать. Ленька спал на этом сундуке, правда, приставляли еще две табуретки. У Леньки с Клавой хоть сундук и кровать, а у тети Нины один чемодан. Тетя Нина спала вместе с Ваней на полу. Клавка дала им одеяло и матрас, набитый соломой. Они и так еле выехали из Ленинграда, ничего не успели взять. А что и успели, то давно променяли на картошку либо на гороховую муку. И вот теперь у тети Нины тоже ничего не было, уж кто-кто, а Ленька-то знал об этом. Были только одни новые красноармейские рукавицы с пальцем для спускового крючка. Эти рукавицы принес Ванин отец, когда они еще были в Ленинграде, а он воевал там на фронте. Зеленые, мягкие, с теплой байковой подкладкой. Ленька и Ваня, когда не было тети Нины, часто вытаскивали их из чемодана и надевали по очереди. На каждой из них на белой байковой подкладке имелась надпись химическим карандашом: Ник. Сер. Это отец Вани. Николай Серегин. Где вот он тоже? Был под Ленинградом на фронте, а Ваню с тетей Ниной срочно

эвакуировали. Уж сколько раз тетя Нина подавала в розыски! И все пока бесполезно...

Ленька выгреб из-под поддувала золу, открыл трубу. На столе лежала рубчатая, в клетку, плитка льняного колоба. Ленька делал вид, что забыл про нее. Сам же то и дело поглядывал на Ваню: доволен или нет? Но Ваня совсем разболелся.

— Ты подожди, не плачь,— попросил Ленька.— Ляг да и полежи! Печку натопим, знаешь, как тепло будет?

Но Ване было совсем плохо, он дрожал и не мог шевельнуть рукой. Ленька просто не знал, что и делать.

Над сундуком висел плакат, а на плакате был нарисован Гитлер с растопыренными ногами. Штаны-галифе у него лопнули как раз на самой заднице. Ленька и Ваня частенько лучиной тыкали в это место. Подпись на плакате они помнили наизусть:

Гитлер выдумал задачу,
Взять Москву с Баку в придачу.
«Вот я ноги раскорячу,
Уж тогда не быть греху!»
У вояки-раскоряки
Разорвались швы в паху.

«Вот затопим печку, опять потыкаем»,— решил про себя Ленька и уже приготовил спичечный гребешок. Теперь все спички делались гребешками, из тонких дощечек.

— Эх, топить-то и нечем! — сказал вдруг ошарашенный Ленька.

Корзина из-под угля была пустая. Да и дровец имелось на одну растопку.

Ленька не однажды добывал уголь, то с Клавкой, то с Ваней. На подъеме, за станицей составы шли тихо, он хватался за подножку, залезал наверх и скидывал куски антрацита. Внизу Клавка либо Ваня подбирали куски, складывали на санки, а Ленька спрыгивал, пока поезд не набирал ходу. Дома кололи эти куски обухом и топили, угля хватало чуть ли не на неделю.

Сейчас Ленька подрастерялся, но ненадолго...

Санки у них были свои, большие, с драночными бортами.

Вот только без рукавиц-то как? Знал Ленька, каково без рукавиц хвататься за примороженное железо: всю кожу на скобах оставишь. Нет, в такой мороз нечего и думать без рукавиц...

Ленька поглядел на Ваню, которого трясло сейчас еще больше. Что, дескать, делать будем? Не замерзать же тут заживо, пока не придут с работы сестра и мать. А если они и придут, то все равно топить-то ведь нечем.

— Эх, были бы рукавицы...— сказал Ленька и сел расстроенный. И вдруг Ваня пошел в ту комнату и открыл чемодан...

— Я не замараю! — утешал его Ленька.— Вот посмотришь, нисколечко не замараю! Сиди и жди пока. Поездов знаешь сколько? Раз и туда! Раз и обратно!

Двупалые красноармейские перчатки, совсем еще новенькие, были для Леньки великоваты. Но это уж ничего не сделаешь.

Он схватил санки и вытащил их на улицу. В дверь дохнуло новым морозом. Ваня присел спиной к холодной чугунной печке и, стараясь унять озноб, начал ждать.

За переездом Ленька перевел дух. Надо было катиться еще дальше, туда, где начинался подъем. Там тяжелые составы шли и совсем медленно. Можно было легко сцапать подножку и залезть на площадку. Ленька покатился дальше. Вот и граница станции. Но Леньке надо еще дальше, чтобы наскидывать угля да еще успеть и самому спрыгнуть, пока поезд не набрал ходу. Конечно, у вокзала машинист тоже сбавляет ход и можно бы спрыгивать, но там как раз попадешься. Потому что на виду у всего вокзала. Нет, заходить надо еще дальше. Вот и большой деревянный щит с надписью: «Закрой поддувало!» Это для машиниста. Ленька не знал, для чего надо закрывать поддувало. Но уж очень нравилась ему такая надпись. В классе, когда Сонька-ябеда открывала рот, чтоб нажаловаться Капушке, Ленька частенько говорил: «Закрой поддувало!» Конечно, Сонька есть Сонька. Чего с нее спрашивать, если она с первого класса такая ябеда?

Он оставил санки у щита и побежал еще дальше, чтобы сковырнуть первую глыбку поближе к санкам. Отбежал еще и стал ждать. Все-таки хорошо рукам в рукавицах! Вот только когда хвататься за подножку, то надо обязательно без рукавиц, чтобы уж схватиться так схватиться. Ленька снял рукавицы, сунул их под фуфайку. Такой сразу пузатый стал, и самому смешно. Что это долго нет поезда? Вот всегда так. Когда не надо, так идут друг за дружкой, а когда надо — ни одного.

Ленька приплясывал на снегу. Мороз под вечер стал еще крепче, красная заря пробивалась сквозь холодную небесную мглу. Уши прищипывало, пришлось развернуть кубанку и нахлобучить. Прогрохотал от станции длинный порожний состав, но этот был Леньке не нужен. Этот шел на Воркуту, а Ленька ждал с Воркуты и груженый. Груженый-то, он совсем тихо идет, особенно на подъеме. Ленька напряженно глядел на дальний лес, куда уходили столбы с проводами.

«Как провалился! — вслух ругался Ленька.— Того и гляди, уши отвалятся!» А каково Ване-то там? Ленька опять представил, как он привезет полные санки угля и как жарко натопят они с Ваней печку. Они еще успеют натопить, успеют и подмести, и вычистить ламповое стекло. Можно еще и книжку почитать про этого Чечевицына, а тут и тетя Нина с Клавой придут. Даже не узнают обе! Как в квартире по-новому...

Поезд появился вдали как-то совсем неожиданно.

Серый густой дым валил из двух труб, значит, состав тащили два паровоза. Ветер дул с той стороны. Ленька услышал веселый

гудок, отошел от рельсов метра на полтора. Приготовился. Он любил смотреть на поезда. Но сейчас он весь сжался от волнения и холода: «Уцепиться бы! Самое главное — на подножку залезть, а там дело легче пойдет. Вот только который будет вагон с углем? Составы-то всегда сборные, один вагон с лесом, другой с другим каким-нибудь грузом. Прошлый раз даже какие-то пушки везли. И охранник в тулупе стоял. Только бы охранник не заметил, вот что!» Ленька весь напрягся.

Паровоз «Серго Орджоникидзе», с темно-красной звездой на лбу, тяжело пыхтя и сопя, приближался к Леньке. Вот он обдал мальчишку грозным шумом, окатил холодным паром, дохнул запахом дыма и горелого масла. Тут же это все повторил второй. И грохот состава заглушил то, что крикнул из окошечка чумазый веселый помощник...

«СЖД. Тормоз Матросова» — мелькнуло в глазах Леньки. Подножка, другая. Еще вагон, еще, эти совсем без подножек, не уцепишься. Вот! Надо на этот... Раз, два... Раз! Ленька забыл про все на земле и прыгнул, хватаясь за железяку. Повезло, только колено немножко расшиб, заживет, шут с ним. Теперь скорее только... Он огляделся на площадке, заметил колесо ручного тормоза, скобы, ведущие вверх. Быстро надеть рукавицы и вверх. Ура, вагон с верхом полон угля! Ленька подобрался ближе к краю. Сковырнул первый большой кусок, потом сбросил поменьше, сбросил еще, побольше. Ветер хлестал наверху плотнее, обжигал Леньке лицо. Вагон грохотал и качался. Но Ленька не замечал ничего. Вот еще этот да этот! Тот вон еще — и хватит! Это последний, все равно больше не увезти. Эх, нагоним дома жары! И Ваня сразу поправится. А Клавка, Клавка-то довольная будет... Все! Хватит... Теперь опять слезть на площадку и в снег. Хоть как попало, лишь бы спрыгнуть.

Сербиянка, сербиянка...

Ленька распрямился — и ближе к скобам. Скорей! Вот-вот станция. Состав грохотал, вокруг шумел ветреный холод. Вагон мотался и вздрагивал. Ленька быстро лег на брюхо, спустил ноги через край вагона. Валенком нащупал железную скобу. Всё! Спуститься-то теперь да прыгнуть в снег долго ли?..

Лейтенант, сопровождавший важный военный груз, не слышал выстрелов. В одной гимнастерке он вышел из тамбура-тепляка, подъезжали к большой станции. Откинувшись на подножке, он поглядел вдоль состава и бросился вверх к смотровой будке:

— Ты что, ослеп?! Под трибунал захотел? — он тряс за плечо краснолицего от холодного ветра бойца. Тот подправил под шапкой вязаный шерстяной башлык, передернул затвор винтовки:

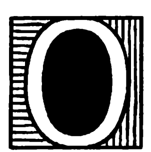
— Ах, гад! Ну, зараза такая...

— Убежал? — лейтенант опять схватил его за плечо.

— Да нет же, товарищ лейтенант! Два раза стрелял, не должон.

— Ну, гляди!! Не миновать нам с тобой штрафной роты!
— Да видел я, товарищ лейтенант, как он в снег сунулся. Ах, зараза такая!.. А я смотрю, лезет... Надо же, пронюхали!
На станции поезд замедлил ход. Лейтенант спрыгнул на снег, побежал к дальнему вагону и лихорадочно осмотрел площадку. Он догнал вагон с тепляком, запрыгнул, пара медалей звякнула на гимнастерке.
— Тебя как звать, Серегин? Закуривай!
— Николай,— хрипло сказал боец, беря папиросу.— Ленинградский родом. Ну, зараза. А я, понимаешь, смотрю, он лезет... диверсант-то...
— А я из-под Киева! — лейтенант разглядывал рукавицу.— Никсер какой-то. Вишь гад, рукавица новая, фамиль немецкая.
Боец, непривычный к папиросам, глухо закашлял.
— Эй, кто тут? Отдать кому следует! — лейтенант бросил рукавицу человеку в полушубке, стоявшему на перроне.— Разберитесь! Да запишите: шестьсот восьмой километр, стрелял рядовой Серегин!
Он выгнулся и крикнул в сторону паровозов:
— Какого черта? Живо! Поехали...
Но помощник машиниста уже подхватил обруч с жезлом. Состав тяжело и медленно набирал новую скорость. Сквозь желтый, удушливо-сладковатый дым краснела заря, а там, на 608-м километре, перепуганный Ленька выкарабкивался из-под снега и тряс, грозил в сторону уходящего поезда голым крохотным кулачишком.

ГРИША ФУНТ


н приходил в деревеньку неожиданно даже для нас, ребятишек. Как снег на голову. Снимал с плеча громадный холщовый мешок со своею таинственною поклажей, садился на траву прямо посреди улицы, переобувался. Долго кряхтел, кашлял, не обращая никакого внимания на ребятню. Но мальчишкам-то было известно, что все это нарочно. Вот соберемся вокруг все, со всей зеленой улицы, из всех заулков, и начнется самое интересное. Что начнется? Мы и сами не знали что, знали только, что что-то наверняка будет. Потому что в деревне опять появился он, то есть костлявый худой Гриша Фунт.
На вид этому Грише было годов семьдесят, но это только на вид, ему едва исполнилось сорок пять. Он вернулся с войны с искалеченной левой рукой и теперь ходил по деревням с паяльником, чтобы прокормить своих кровных, как он говорил.

Черное, вернее, землистое с большим кривым носом лицо его находилось в постоянном движении: он все время то причмокивал, то подмигивал, то плевался, то посвистывал, то морщился, то похохатывал. Даже уши у него способны были двигаться без посторонней помощи, а язык... Про язык и говорить было нечего.

Итак, он садился на траву и приходил в себя после четырехкилометрового, почти всегда голодного перехода, кашлял, отплевывался и вынимал табак и кресало (катюшу). В левой изуродованной руке двумя, теперь уже не поймешь какими, искалеченными пальцами он зажимал кремень и маленький кусочек трута. Ребятишки ждали, смотрели, как он будет высекать огонь. Гриша вдруг тыкал длинным кривым пальцем в голое брюхо какого-нибудь восторженно глазевшего карапуза:

— Мишка, это у тебя чего?

Мальчонка опасливо отстранялся на безопасное место, молчал.

— Ну? — продолжал Гриша.— Аль язык проглотил?

— Да пуп!

— А почему не подписано? Кто тебе поверит, что пуп? Надо, батюшко, подписать. Ну-ко, вот у меня и карандашик есть. Химицской.

Мальчонка подходил с простодушным восторгом ближе и выставлял брюхо вперед. Гриша вынимал из кармана карандаш, потом плевал на пальцы, мазал живот слюной и старательно выводил печатные буквы: ето пуп. Довольный мальчишка с гордостью и еще большим восторгом бежал по деревне, а Гриша просил кого-нибудь принести из избы ножницы. Он ловко показывал фокус с ножницами либо доставал из кармана особым способом сложенный бумажный конвертик. На конвертике был нарисован солдат в высокой фуражке.

— Шел солдатик из похода с девятьсот шестого года! — начинал Гриша, и ребятня обступала его со всех сторон.

— Нёс подковку и часы! — из пазух конвертика один за другим вынимались уголки, и в левой руке солдата оказывались часы, в правой подкова.

— Часы променял на фунт колбасы,— отгибался еще один уголок.

— Подковку променял на сороковку,— отгибался еще один.— Наелся, напился, царем оборотился.

Вместо солдата на развернутом конвертике красовался теперь царь, но всё еще только начиналось. Гриша отгибал углы по складкам, конвертик оставался таким же, а рисунок всё время менялся.

— Надоело быть царем, сделался барином. Надоело быть барином, сделался татарином. Надоело быть татарином, сделался извозчиком,— отгибался очередной угол, и ребятишкам открывалась другая картинка.— Надоело быть извозчиком, сделался перевозчиком.

— Катался, катался, к чертям в плен попался!

Все углы были отогнуты, листок разворачивался окончательно

и детским взорам открывалась последняя, во весь лист картинка: солдат упал из лодки и барахтается в воде, а вокруг кишмя кишат когтистые черти.

— Вот теперь и сложи в обратное направленьё!

Пока ребятишки наперебой начинали складывать этот занятный фокус-конверт, Гриша вынимал из мешка сделанную из ведра треногу-жаровню, большой нелепый паяльник и пару старых напильников. Две-три хозяйки уже стояли над ним, держа в руках то самовар с отвалившимся краном, то котелок с дыркой, то прожженную алюминиевую миску.

— Ой, Григорей, хоть ты пришел-то.

— А куды я деваюсь? Я вашу деревню не обхожу. Чего с самоваром-то?

— Да вот опять крант вывалился, ты и паял.

Гриша внимательно изучал самовар, совал палец в дырку, говорил:

— Нет, матшка, это не я паял. У меня бы не отвалилось.

— Да еще летось прихаживал! Как сичас вижу, у меня того дни сажа в трубе горела. Вспомни-ко!

— Сажа? Горела сажа-то. Забыл, кто на крышу-то лазил. Вроде бы тоже я.

— Это и есть.

— Нет, матшка, не я паял.

И Гриша опять внимательно изучал самовар.

Потом ему приносили углей, он разжигал жаровню и, пока грелся паяльник, шаркал напильником самоварный кран и место, откуда этот кран вывалился. Бережно доставал олово и крохотную бутылочку с драгоценными каплями соляной коричневой кислоты. Где он достал кислоты, никому не известно, но кислота никуда не годилась. Гриша напрасно мазал ею по металлу куриным пером. Олово на большом черном паяльнике совсем не держалось. Гриша сопел и подолгу тыкал паяльником в место пайки. Наконец-то какая-то оловянная капля схватывалась с краном и самоваром, мастер кое-как приляпывал кусочки олова вокруг крана. И подавал изделие терпеливо и почтительно ожидавшей хозяйке:

— На-ко, матшка! Да неси-то помаленьку. Не колони обо что крантом-то. Ежели и потечет, дак не больно много, а ты посудину какую-нибудь подсовывай.

— Ой, спасибо, Григорей!

За работу ему давали кто что мог, он ни от чего не отказывался. Кто тащил пару яиц, кто корзинку картошки. Иные просили сделать в долг, он охотно соглашался, приговаривая:

— Долг не веревка, не сгниет.

Котелки и дырявые миски Гриша клепал свинцом, ведра — если дырка была иголочной — замазывал густой масляной краской.

Пока он пичкался с допотопной посудиной, старухи и бабы стояли над ним, спрятав руки под свои передники, а ребятишки таскали его нелепые железяки.

— Отойди, пазгну! — беззлобно ругался Гришка.— Ишь, рукосуи!

Но никто из ребятишек его не боялся, а тут подходил новый клиент:

— Зубы-ти, Григорей, не рвешь? Третий день болит у золовушки. Не пьет, не ест, не знаем, чего и делать.

— Замуж подет, дак вырву.

— Сиди, страшной.

— А вот, говорю, слушай-ко! Как в округе от зубов-то спасаются. Не слыхала?

— Нет, Григорей, не знаю. Кабы узнать-то.

— А напьются да врукопашную. Друг дружке зубы выбьют, оне и не болят. Самое это верное средство. И денег на лекарство не много идет.

— Ой тебя водяной! Ой, ты, сотона, опять замолол.

Женщина просит у Гриши кислоты, чтобы помазать золовкин зуб. Гриша не даёт, бережет бутылочку как зеницу ока. Он выбирает кого-нибудь из ребят, которые постарше, велит стеречь мастерскую и идет в дом спасать золовку от зубной боли.

Измученная, с завязанной головой женщина готова на всё, только бы помогло. Гриша берет лучинку потоньше, наматывает на кончик немного кудели:

— Отвори рот! Не шевелись!

Прищурившись, он старательно мажет кислотой больной зуб. Женщина с глухим мычанием валится на кровать.

— К утру пройдет,— авторитетно заявляет Гриша.— Должон. И бережно закупоривает бутылочку с кислотой.

Заодно он похлебает какого-нибудь варева. В другом доме долго чинит часы-ходики. Хозяйка не знает, как ему угодить:

— Больно неловко без часов-то, ночью пробудишься, а в избе — как в погребе.

— Пойдут. Сделаю.

Гриша снимает часы со стены, свинчивает ржавые стрелки, снимает циферблат и полчаса разглядывает механизм:

— Таракан, вишь, залез. В самый центр в шестеренки. Вот им и нет ходу-то.

— Чево?

— Смазать, говорю, надо! Есть карасин-то?

Часы смазывают керосином, но они все равно не идут. Гриша цепляет на гирю дополнительный груз, какой-нибудь старый замок или железку. Выслушивает стук, передвигает маятник — всё бесполезно. Стукнув раз с полдесятка, часы отказываются служить, но Гриша тоже упрям и предлагает:

— Нет, не сделать мне на разу! Надо домой, ежели. Дома сделаю.

— Да уж ладно, коли! Отступись!

— Часы да баба — самое ненадежное дело.

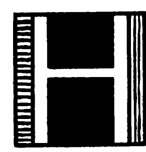
— Это пошто?

И начинался новый разговор, в избе незаметно скапливалась куча народу.

Гриша уходил из деревни уже ночью, иногда ночевал. И так он приходил по нескольку раз в лето, появлялся и зимой, и осенью. Женщины ругали его за отвалившиеся самоварные краны и дыроватые ведра, но когда его долго не было, то ругали за то, что не идет, не показывается.

Однажды он не появлялся ни разу за всё лето. Женщины, обсуждая это дело, сообщали друг дружке, что с Гриши потребовали «патен», что Грише больше не бывать, не хаживать по деревням: он и паяльник будто бы кинул в крапиву. И сразу стало как-то скучно, особенно ребятишкам.

СКАКАЛ КАЗАК

ынче смеркалось рано. Мелькнул конец сентября, будто лисовин махнул огневым хвостом, враз оголились радужные пластушены лесов. Стих листопад. Длинными стали по-сиротски печальные вечера, деревня почернела от холодных дождей.

В такой вечер брел с поля бригадир Степан Михайлович Гудков: на костлявом плече сажень-шагалка, на лысине еще довоенная шапка-ушанка. У шапки одно ухо торчало вверх, другое вниз, длинные завязки трепало ветром, и они щекотали бригадиру небольшие, в два цвета усы.

«Замерз, Сковородник? — мысленно спрашивал бригадир сам себя.— Околел вконец. Ох ты, Сковородник, едрена мать».

У Степана Михайловича было прозвище Сковородник. Теперь, промокший и по старости лет совсем усталый, он бодрился и от этого в шутку обзывал себя по прозвищу: «Ох ты, Сковородник, ох, Сковородник...»

У прогона Степан Михайлович вслух обругал подростков. Они возили сегодня суслоны и оставили ворота в поле открытыми. «Неслухи,— ворчал бригадир.— Лень им закрыть. Утром пройдет скотина, потравы наделает». И вдруг радостно вспомнил, что сегодня весь хлеб свезен под крышу. Потравы не может быть, потому что в поле не осталось ни одного суслона.

И всё же он по привычке закрыл ворота. Дыроватые сапоги пропустили воду, портянка захлюпала, но старику было всё равно радостно. Он нюхал сырой, пахнувший овинным дымом ветер и думал о еще ненамолоченном ворохе восковой ржи, и уже стояли в глазах пружинящие от благодатной тяжести гужи подвод, везущих зерно государству.

Степан Михайлович подошел к своему крыльцу. Он, как

и всегда, по-хозяйски обернулся, ревниво оглядел деревню. Все ли осталось ладно, не горит ли где. Но везде было тихо, никто не кричал «караул». Даже окошки не светились, бабы экономили керосин и, видать, лежали на печках. Наверное, иные уже засыпали от усталости и печного тепла, и, может быть, им опять снились белые довоенные пироги. Вся деревня второй месяц жила на одной картошке...

Степан Михайлович поставил шагалку к стене, с приятной неторопливостью перед близким отдыхом вымыл в канаве сапоги. Высморкался. На завертышек закрыл за собой ворота.

В избе не очень вкусно пахло пареной брюквой. В темноте стучал копытцами забиячливый козленок да крупная осенняя муха звучно шлепалась об оклеенный газетами потолок. Степан Михайлович зажег огонь.

— Жива аль не дождалась, умерла?

— Жива, жива,— отозвалась с печи жена.— Самовар-то еще не студеный. А то слезу, подогрею.

— Ладно, лежи.

Он переобулся в старые валенки, поплескался у рукомойника, потом сел за стол. Похлебал картофельного супцу. Матюкаясь про себя и шевеля усами, съел четвертинку пареной брюквины:

— Три попа мать, ну и лесторан...

— Хи-хи-хи,— послышалось с печки.

— Что, хи-хи-хи? Первую ночку вспомнила? Хи-хи-хи! Наварила леший знает чего да еще и хихикает.

— Так ведь всё жду, когда говядины принесешь. Хоть бы с пудик.

— Я тебе принесу, я вот принесу! — взъелся бригадир и яростно пнул назойливого козленка. Тот улетел далеко к шестку, упал на копытца и тут же подпрыгнул, только еще выше, пинок его развеселил.

Старуха от греха затихла. Вскоре она захрапела, уснула. Степан Михайлович, злясь оттого, что обида на жену проходит, закурил вонючего самосаду. Прижег цигарку от лампы, сложил сальный, бесцветный от времени кисет, закашлялся. Потом взял свежую районную газету. Держа на нижней губе цигарку, открыл очешник. Свету было мало. Он опустил лампу на один пруток пониже, очистил от посудишки конец стола и вытер его жениным платком, который висел на стулике. Довольный местью, пристроился читать.

Сводка Совинформбюро сообщала, что войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, окружили юго-восточнее Белграда большую группировку противника. Авиация Северного флота разгромила крупный конвой. Потоплено два транспорта, один миноносец, восемь кораблей охранения и самоходная баржа.

«Добро,— подумал Степан Михайлович,— добро попало сукам. Наверно, все сразу и захлебнулись». Он опять закашлялся. Удушливо, трубочкой высовывал язык, долго хрипел и отплёвывал-

ся, не выпуская из рук газету. На второй странице сообщалось о почине колхозников Саратовской области. Колхозники одного района из своих запасов сдали в фонд Советской Армии четырнадцать с половиной тысяч пудов зерна.

Степан Михайлович прикинул, сколько это будет мешков, и подивился. Выходило что-то уж очень много мешков. Он поверх очков поглядел на притихшего козленка, козленок с удовольствием жевал старухин платок.

— А ну, кыш спать! Кому говорят!

Козленок только моргал белыми ресницами. Степан Михайлович открыл сундучок с бумагами. Выставил скляночку чернил, вынул большую амбарную книгу. Эту чистую амбарную книгу он еще до войны выпросил у счетовода и каждый вечер записывал в неё приметы, события и погоду.

«В среду 18 октября, 1944 год...» — старательно выводил Степан Михайлович. Перышко «Рондо» в школьной ручке писало как-то боком, свету было мало.

«...бабы картошку не докопали, осталось двенадцать рядков. Суслоны свожены. В поле видел зайца, уже побелел. В этом году снег полетит раньше. Насадили два овина ржи, сушить послал Петуховну. Сегодня загуляла своя корова, гоняли к быку. Славка Костерькина учил мазать тележные колеса. Сирота, отца убило на войне, растет фулиганом. Матку совсем не слушает. Вымерял долгий клон. В ём оказалось восемьдесят две сотки с четвертью, а до войны намеривал без мала гектар. Домой пришел весь мокрой...»

Степан Михайлович писал без запятых, но с точками, почти каждое слово с заглавной буквы. Он задумался, вспоминая, что еще произошло за день. В это время с улицы кто-то сильно застучал в дребезжащую раму.

Степана Михайловича даже и в самый трудный момент войны в армию не взяли, не подошел по возрасту. И вот он всю войну бригадирствовал: «Конешно, с бабами воевать не то что с немцем,— говаривал он.— Хуже намного. Уж кого-кого, а немца-то я знаю, еще с шестнадцатого года. Бывало, сидишь в окопе и точно знаешь, когда начнет обстрел русских позиций. Всегда из тютельки в тютельку, из минуты в минуту начинал, а тут... кто во что горазд, никакого порядку».

Однако старик преувеличивал, порядок в его бригаде держался отменный. Дисциплину бабы соблюдали не только по причине тяжелой военной поры, а еще и из неподдельного уважения к своему бригадиру. Степан Михайлович знал и любил хозяйство. Без мужиков, с одними бабами и стариками Гудков умудрялся вовремя делать все работы и рассчитываться по госпоставкам. Кони в деревне всегда были в теле, и еще ни одна кобыла не скинула жеребенка. Упряжь, хотя и старая, но всегда содержалась в порядке,

крыши на амбарах и гумнах не протекали, овины сушились постоянно сухими дровами, а навоз вывозился в нужную пору. Степан Михайлович знал назубок, сколько гектаров площади в любой пустовине, держал в голове каждый клон пашни со всеми его особенностями, нутром чувствовал любую лужайку сенокоса. Учет велся без сучка и задоринки. Дважды в месяц бригадир с щепетильностью старорежимного приказчика заполнял и носил в контору трудовые книжки, и ни один подросток не мог обидеться, что не записали какой-то работы. В книжках аккуратно стояли даже такие записи, как «гонка кобыл к жеребцу» или «топка бани и варка щей для уполномоченного». Правда, если разобраться, то эта щепетильность была, в общем-то, может, и ни к чему: все равно два последних года на трудодень выдавали всего по шестьдесят граммов зерновых отходов, так называемого шаму, и по восемь копеек деньгами. Те старухи и женщины, что были послабее либо еще до войны прибаливали, умерли. Зато тех, которые выстояли, теперь не брала никакая хворь. Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год брели на работу, потому что жить без работы и совсем не было никакого резону.

За три военных года смерть так или эдак прикоснулась к каждому дому. Если не убило на фронте мужа или сына, то кто-нибудь да умер, а во многих домах случилось и то и другое. И лишь в доме Гудковых все осталось в довоенном виде. Степану Михайловичу было иногда стыдновато от этого перед народом: самого на фронт не взяли, а сыновей не народил, за всю жизнь скопили с женой только двух девок. И вот не живи эти девки почти круглый год то на лесозаготовках, то на сплаве, может, и говорили бы про него, дескать, вот Сковородник живет, война не коснулась его ни с которого боку. Но девки все время жили на лесозаготовках, а это считалось хуже всякой тюрьмы, одних рукавиц не напасешься, не говоря о харчах и обутке.

Степан Михайлович и правда напоминал чем-то сковородник. Длинный, прямой, но со сгорбленной шеей старик, усы под Котовского, только седые и бурые, словно подпаленные на огне. Ноги долгие и сухие. Про такого не скажешь, что вот мужик, полные штаны ног. Наоборот, даже зимние, ватные штаны держались на бригадире, как на жердях. Может быть, сходство со сковородником было и раньше, а может, виновато и само прозвище, ведь если говорят сковородник, то и вспоминается сразу сковородник, а не какая-нибудь там кочерга. Так или не так, а прозвище прилепилось к Гудкову совсем по другой причине. Давно, еще до революции, местная управа учредила для каждого дома в деревне специальные дощечки с изображениями того или иного противопожарного инструмента: топор, лестница, ухват, лопата, багор. Смотря по зажиточности. Такая бирка прибивалась на угол дома, и при любом пожаре дом обязан был представить именно тот инструмент, что изображен на дощечке. Однажды загорелось на околице чье-то гумно, и Степан, тогда еще совсем подросток, выскочил

на пожар с маткиным сковородником вместо положенного ухвата. Событие с пожаром давно забылось, а Гудкова так и зовут до сих пор: «Сковородник». Впрочем, Гудков привык, знал, что его за глаза называют по прозвищу, и не обижался. И лишь когда в глаза, по пьяному или по какому другому делу его обзывали Сковородником, он выкатывал от обиды глаза и шел напролом. Но даже и до войны это случалось очень редко. Одни ребятишки дразнили иногда бригадира...

Вот не так давно эти ухорезы довели Гудкова чуть не до белой горячки. Конфликт получился из-за колхозной брюквы. Степан Михайлович увидел в поле раскиданную ботву и брюквенные огрызки. Сразу догадался: они, мазурики, больше некому. Конечно, если б спросились, он и сам разрешил бы им выдернуть брюквину-другую, ешьте да зря не кидайте. А они выдергали без спросу, иными словами — украли, да еще раскидали напрасно ботву. Он пошел по следам. Ребята, видимо, шли и чистили брюкву ножиками, эти обрезки и привели бригадира прямиком к реке. Степан Михайлович незаметно вывернулся из-за кустов: вся компания сидела вокруг пожога. Брюква была съедена, ребята обжигали ивовые палки.

— Вот вы где, молодцы хорошие! — сказал бригадир грозно.— А ну, говори, кто галанку дергал.

Ребята были все подростки, каждому по двенадцать — четырнадцать, с таких спрос должен быть, как и с больших. Все они молчали да швыркали простуженными носами.

— Кто первый почин сделал? А? Кто у вас коновод?

Степан Михайлович взял за ухо Витьку Воробьева, Витька бежать, а ухо было зажато крепко и парнишка заревел, все разбежались. Удалившись на безопасное расстояние, подростки стали дразнить старика, а вчера весь вечер кидали каменьем по крыше и барабанили в окно батогами. Степан Михайлович дважды в сердцах выбегал с коромыслом на крыльцо, а они разбегались, как воробьи. Сегодня тоже опять барабанят в раму. Первый раз Степан Михайлович стерпел, думал, отступятся. Но в раму заколотили вдругорядь. И тут у старика задергалось левое веко. Он схватил водонос, вне себя выскочил на улицу в одной рубахе. С матом ринулся в темноту:

— А ну-к сунься еще, ну сунься! Я ть ребра-то посчитаю!

Чья-то тень мелькнула в свете окна. Бригадир замахнулся водоносом. Но в самый последний момент остановился, услышав властный мужской окрик:

— Этто что такое! Вы что это, товарищ Гудков! Пьяный?

Степан Михайлович опешил. Бессонов — председатель сельисполкома — привязал к огороду лошадь и, не поздоровавшись, закричал:

— Что это такое, я тебя спрашиваю?

— Обознался, това... товарищ Бессонов, ребятишки... ребятишки...

— А ну дыхни!

Степан Михайлович робко дыхнул. «Сам пьяный, вражина»,— промелькнуло в мыслях.

— Заходите, товарищ Бессонов, ежели... в помещенье...

— Никаких помещений! Я тебе покажу помещенья! Немедленно собери народ! Завтра же пойдешь под арест! — Бессонов потряс указательным пальцем перед самым носом старика.— Разгильдяй! Сколько центнеров отправлено?

Бессонов говорил центнéров, а не цéнтнеров. Не слушая бригадира, он кричал на всю деревню:

— Немедленно собери народ!

Степан Михайлович, не одетый, побежал по деревне собирать баб на собрание. Было около одиннадцати часов ночи.

Собрания в деревне всегда собирались в избе одинокой бабы Петуховны. Изба у нее большая и пустая, ломать нечего, к тому же Петуховна очень любила всякие сборища. Еще и до войны зачастую просто так отдавала избу девкам под игрища. В деревне было много ребят и девок. Приходили гулять из других деревень, народу скоплялось — негде упасть яблоку. Ребята и девки плясали в избе чуть не до утра, щупались в темном коридоре, заводили горюны в дальних углах. Дом находился в полной власти гуляющих. А Петуховна лежала на своей широкой, сбитой из глины печи, положив большую голову на мешок просыхающего зерна. Она бессменно глядела на молодежь своими белыми зоркими глазами, и ничто от нее не ускользало, видела все и радовалась, что видела. Может быть, поэтому на другой же день и знала каждая баба все про свою дочь: с кем переглянулась, какая кого упевала в песнях, кто сидел на коленях. Ребята иногда заводили драки. Мелкие ребятишки шастали по всему дому, а Петуховна только моргала на своей печке. Бояться ей было нечего, дом стоял совершенно пустой.

Степан Михайлович послал сегодня Петуховну сушить овины. К воротам был приставлен только батожок, бригадир велел Поликсенье принести лампу, сам опять пошел за народом. Поликсенья повесила лампу под матицу и ушла до поры. Лампа осветила большую, без перегородок избу Петуховны. Почти посреди этой избы стояла та же печь с овальными краями и пустыми печурками, ровная, серая. Три полена лучины сушились на печном борове. Все четыре стены были гладкие, тесаные, коричневые, только с полдюжины гвоздей, заменявших вешалки, торчало из них. Еще стояли широкие сосновые лавки. Пол чистый, вымытый, подоконники тоже выскоблены, только стекла в рамах еле держались, скрепленные тут и там лучинками. В углу, который служил Петуховне кухней, стоял старинный посудник, над ним приделана была полúца, а на полице лежало пустое деревянное блюдо да три или четыре ложки. У печи стояли два ухвата и висел совок для выгребания

углей. В другом углу, под самым потолком, прикрепленная на гвоздики, висела икона с Егорием на белом коне, а внизу стоял крашеный стол с точеными ножками, да на главном простенке красовался плакат с румяной колхозницей, призывающей, не теряя времени, вступить в ОСОАВИАХИМ.

Бессонов энергично вышагивал по большой этой избе. Хромовые его сапоги ритмично скрипели, тени от широких диагоналевых галифе метались по полу. Макинтош лежал вместе с полевой сумкой на лавке. Диагоналевая же гимнастерка с глухим воротом сидела на Бессонове солидно, левая рука в кожаной перчатке висела на перевязи.

Призванный в армию в начале войны, Бессонов вернулся домой через три месяца. С тех пор рука в перчатке висела на перевязи все время. По сельсовету ходил ехидный слух, что однажды Бессонов дома, напившись пьяным, снял перчатку и ловко оторвал на гармони барыню, причем говорили, что басы, которыми играют левой, рявкали лучше, чем до войны. Еще более зловредные языки трепали и совсем уже несуразное: будто бы правой левую прострелить ума и смекалки много не требуется...

Так или иначе Бессонова боялись все, от мала до велика. В районе он был на хорошем счету, умел первым организовать выполнение госпоставок, налоги вышибал моментально. А о реализации займов и говорить нечего. Старухи пугали Бессоновым плачущих ребятишек:

— Пореви у меня, ишшо пореви! Вон Бессонов едет, так ему и сдам ревуна.

И плач сразу обрывался.

Бессонов мог нагрянуть в любое время суток. Серого, в яблоках, сельсоветского жеребца кормили самолучшим суходольным сеном, животина неутомимо екала селезенкой. Скрипело под сухим задом кавалерийское седло, маячила высокая тулья зеленой фуражки. А когда жеребец стоял в конюшне, то по всем деревням нарочные то и дело везли распоряжения. Повестки со штампом так и сыпались. Бессонов зажимал перчаткой кипу этих бумажек, которую всю ночь напролет писала секретарша. И быстро, быстро чиркал красным карандашом: Бес, Бес, Бес, Бес... Этот бес был с красивым хвостиком, подпись внушала почтение.

...Бабы собрались на собрание в двенадцать часов ночи. Стараясь не взглянуть на белое, в рябинах, лицо Бессонова, робко садились на лавки, шепотом переговаривались между собой.

— Медленно, товарищи, собираетесь, медленно! — изредка произносил Бессонов, сидя за столом Петуховны.

«Товарищи» виновато одергивали юбки, вздыхали. Изба вскоре наполнилась народом, проснулись и тоже пришли все до одного бригадировы ухорезы, не пропускать же такое событие. Они тут же подняли в коридоре возню, и Степан Михайлович прикрикнул:

— А ну тише там, ежели пришли.

Бабы чуть оживились. Заговорили:

— Вишь репа-то сказывается!

— И мой тут. Славко, я вот тебе!

— Выгонить ша́лей [1],— сказал старик Филя с тем расчетом, чтобы услышало начальство.— Еще и курить начнут в коридоре.

— Пусть слушают.

— Начинать бы...

— Вон уж петух чей-то поет.

— Это Костерькин поет,— сказал Филя.— Толку в ем нету, вот и поет. Ему что утро, что вечер.

— Нет, вон и твой, Филя, поет.

— Мой отпел. Ишшо до покрова лишил голосу.

— Товарищи, товарищи! — Степан Михайлович надел очки, на секунду подставил ухо к белому носу Бессонова.

— Начнем собрание бригады номер три. Слово имеет товарищ Бессонов. Слушать всем.

Бабы затихли. Бессонов встал, оглядел собранье. Он всегда начинал тихо, не торопясь, но бабы знали, чем кончаются все его выступления. Начиная тихо, он постепенно усиливал голос, а в конце переходил на мощный крик. Тогда его стеклянные глаза округлялись, тонкий длинный нос белел еще больше и правая рука резко тыкала воздух указательным пальцем. Все было точь-в-точь эдак и в этот раз. Бессонов встал, согнал складки гимнастерки и тихо сказал:

— Товарищи. Наши войска под предводительством товарища Сталина Иосифа Виссарьёновича бьют фашистов по всем направлениям.

Сделал паузу и слегка повысил голос:

— Вся наша социалистическая Родина напрягает сейчас усилия, чтобы помочь фронту. Почин саратовских колхозников подхватили все области. И только наша область, товарищи, отстает! — Голос оратора окреп и стал громче.

Дальше получилось так, что вся область уже подхватила саратовский почин.

— И только наш район, товарищи, по-прежнему плетется в хвосте! — Бессонов первый раз ткнул в воздух указательным пальцем.

После нескольких фраз он повысил голос еще больше:

— И только ваш, товарищи, колхоз тормозит патриотическое начинание и тянет назад весь район!

Голос перешел в настоящий крик, когда Бессонов сказал, что только ваша, товарищи, бригада отстает в сдаче хлеба.

Бабы пристыженно молчали. Выходило так, что это ихняя бригада по всей России стоит на последнем месте по хлебосдаче и что они работают хуже всех во всем государстве. А Бессонов орал все громче, его указательный палец угрожающе тыкал воздух, и у баб от этого мощного крика холодило под сердцем.

---

[1] Шали — от слова шалить.

— Вы! Вы, товарищи, срываете план хлебосдачи, вы поставили помощь фронту под угрозу позорного срыва! Как это, спрашиваю, как это называется? Позор это называется, товарищи! Ваши мужья и братья не жалеют своей крови! Ваши, товарищи! А вы, товарищи, что делаете? Вы в этот ответственный момент, вы ставите своим мужьям и братьям штык в спину! Да, товарищи, предательский штык в спину!

Бессонов резко оборвал крик. Тихо, тихо было в избе, все сидели, не смея шевельнуться, не смея вздохнуть.

— Вот, ты, гражданка! — Бессонов ткнул пальцем в сторону Поликсеньи.— Чем ты конкретно ответила на почин саратовских колхозников? Да, да, я вас спрашиваю!

— Чево? — Поликсенья растерялась, обернулась к бабам, как бы ища у них помощи.

— Конкретно.

— Дак я, батюшко, что. Как люди, так и я. Я пожалуйста...

Но Бессонов уже не глядел на Поликсенью.

— Товарищ Гудков! Сколько подвод зерна готово к отправке?

— Дак ведь сколько,— Степан Михайлович кашлянул,— сколь намолотим вутре, столь и отправим.

— Почему утром? Почему не сейчас?

— Так ведь не молотили еще.

— Предлагаю немедленно идти молотить! Немедленно!

— Так ведь овины-то только сохнут еще. К утру только снопы-то высохнут,— сказал Степан Михайлович.— Сырое зерно и не примут у нас.

— Приказываю немедленно идти молотить! Немедленно. Проверю лично сам. Ясно? — Бессонов энергично надел дождевик.

— Ясно-то оно ясно...— Бригадир задумался.— Ну что, бабоньки, пойдем на гумно?

Бабы зашевелились, задвигались:

— Ежели велят...

— Сырые еще снопы-то...

— Уж чево делать, видно, надо идти.

— У меня дак и карасин в фонаре весь выгорел.

Бессонов, не глядя ни на кого, пошел на выход. Обернулся, по-ястребиному взглянул на бригадира, с расстановкой произнес:

— Под твою ответственность! Лично проверю!

И вышел. Через минуту селезенка жеребца проёкала на дороге, ночной гость исчез в темноте.

— Поехал,— вздохнул Степан Михайлович.— В четвертую бригаду. Вот что, бабы, идите-ко спать! А утром... В обшом знаете сами.

Бабы понимающе опустили головы и тихонько разошлись по домам. Впрочем, отдыхать было уже и некогда, шел третий час ночи. А Петуховна и не приходила из овина. Степан Михайлович по-старому приставил батожок к воротам, пошел домой.

Настоящее имя у Костерьки значилось Людмила. Но никто ее не звал по имени, только и слышалось Костерька да Костерька. До войны у Костерьки была семья пять человек: двое ребят, свекровь да сама с мужиком. Мужика убило на фронте, а свекровь умерла. Осталась Костерька с двумя ребятами. Старший парень Славко кончил три класса. От школы отступился, начал работать на лошадях. Младший ходил во второй класс.

Придя с ночного собрания, Костерька лампу не зажигала, сразу улеглась на печь. Сунула старинные — заплата на заплате — валенки в печь, чтоб попросохли, и сама забралась на печь. Ребята спали за шкапом на подмотьях.

Костерька не могла уснуть и все время думала, чего бы завтра сварить. У нее была еще картошка с одной грядки, с двух других грядок картошку уже съели, а с этой последней грядки картошку было варить боязно. Зима придет — чего тогда есть будешь? Хлеба в избе не видывали уже второй год, питались на подножном корму. Недавно Костерька послала Славку на болото, чтобы надергал моху. Славко принес две корзины моху, она высушила мох в печи, истолкла в ступе, сварила чугун картошки. Из этой моховой муки пополам с картошкой напекла лепешек. Лепешки получились хорошие. Костерька нахвастала бабам, и теперь вся деревня пекла такие лепешки. Лепешки лепешками, а без приварка тоже не проживешь. Грибов нынче не наросло. Половину овцы Костерька сдала в счет госпоставок, другую половину продала на станции, чтобы выкупить облигации. Куриц в хозяйстве не было, коровы тоже, а ребята просят есть каждый день. Правда, Славко постарше, этот уже и не просит, целыми днями дома не бывает, то вон суслоны возит, то льняные снопы.

Костерька вспомнила, как однажды шла из гумна и увидела дым у речки под горкой. Поглядела, а Славко с Поликсенькиным Толькой жгут теплину. Над теплиной на жердинке висел котелок, а из котелка торчит воронья лапа, и вода в котелке булькает. Поликсенья еще днем рассказывала Костерьке, как эту ворону ребята подшибали из рогаток, подшибали, а поймать не сумели, ворона-то попалась тепка́я [1]. Только подбегут, а она и перелетит. Ворону изловил Поликсеньин кот, уже на другой день, а ребята отняли у него ворону, разожгли теплину, котелок из дому приволокли. А Костерька поглядела тогда на них, не сказалась и ушла потихоньку, мол, пусть варят, наедятся, так и ладно. Одним словом, за Славку, за старшего, она уже не очень беспокоилась, этот чем-нибудь да за день брюхо набьет, а не набьет, так ничего с ним не сделается, парень ядреный, весь в отца. Хуже было с младшим...

За такими думами уже перед самым рассветом Костерька уснула. Ее разбудил стук в ворота. Это Поликсенья колотила в воротницу молотилом.

[1] Тепка́я — бойкая, упрямая, жилистая.

Костерька слезла с печи, надела валенки с портянками, наволокла на них большие резиновые калоши. Уже на улице она вспомнила, что забыла надеть передник...

Все бабы ходили молотить в передниках. Степан Михайлович знал, что у каждого передника с левой, то есть внутренней, стороны нашита как бы заплатка, нашита не вся, и получилось из нее что-то вроде кармана. У Костерьки тоже был такой передник, и вот она расстроилась, что забыла его надеть. Возвращаться же домой было совестно.

Бабы пришли на гумно еще затемно, рассвет только-только мельтешил в большом проеме гуменных ворот. Дожидаясь бригадира, все скопились у Петуховны. В овине было тепло, хотя печь уже погасла. Пахло сосновыми чурками, а сверху, с колосников, тянуло волнующим запахом ржаных немолоченых снопов.

— Ну, бабоньки, давайте-ко, будем начинать,— Степан Михайлович заглянул в темноту.— Кто сегодня на верх-то полезет?

— Так ведь опять, поди, мне придется,— сказала Нинка Воробьева. Она вышла из овина, приставила лестницу, проворно забралась на подмост, открыла дверцу. На нее пахнуло хлебным горячим духом, она начала скидывать сухие, теплые снопы на подошву гумна. Костерька и Поликсенья в темноте таскали эти тяжелые от зерна снопы, стлали их двумя рядами, а Петуховна серпом резала перевясла и разбирала снопы.

Бабы настлали два ряда и без передышки взялись за цепы. Петуховна с граблевищем встала в конце ряда, чтобы разбивать, подправлять и подсовывать под удары ржаные стебли:

— Ну, начали, благословясь!

Молотили в четыре цепа. Кашлянув и поправив платок, первая ударила Поликсенья, за ней стукнула Нинка Воробьева, потом не сильно, только чтобы войти в ритм, ударила Костерька. Тотчас же взмахнула цепом Смирнова Марютка, а за ней, уже по-настоящему, ударила опять Поликсенья, и цепы начали ритмично бухать в темноте. После каждых восьми ударов бабы слегка переступали, подвигаясь вдоль ряда, Костерьке приходилось идти взапятки, и один раз она сбилась. Молотило стукнуло по чужому, но она, пропустив один удар, тут же вклинилась в молотьбу. Когда дошли до середины ряда, Петуховна почувствовала, что все удары, кроме Нинкиных, стали слабее, и заподсовывала солому скорее, чтобы хоть как-нибудь дойти до конца. «Ослабли бабоньки,— подумалось ей,— не то что раньше, молотили без отдыху по два посада...»

И правда, к концу ряда бабы совсем выдохлись. У всех, кроме Нинки, которая была моложе всех, тряслись коленки. Остановились. Заойкали:

— Вроде после родов...

— И не говори, девка, так все и дрожит.

— И это кто сбился-то, Людмила, не ты? Согрешила, видать, ночью, нету другой причины...

— Прообнималася...

— Да Бессонов-то не у ее ночевал?

— Ой, бабы, гли-ко, он, пес-то, налетел середь ночи, я только задремала, чую, на собранье загаркивают.

— Говорит, штыком в спину...

— В спину.

— Звирь звирём.

Перекинувшись такими словами, бабы пошли молотить в обратную сторону. Уже совсем рассвело, осеннее в тучах небо посветлело, иные старухи в деревне затопили печи. Дым из труб не хотел идти в небо и кидался на остывшую землю, потом рассеивался, предвещая слякотную погоду.

Костерька упрямо била цепом по снопам. Удобно скользила ручка молотила. С каждым ударом она легко перевертывалась в ладонях Костерьки. Первая усталость прошла. Да и голод притупился, рассосался в груди. Только забота о младшем парнишке нет-нет да шевелилась в сердце, и тогда Костерька еле удерживалась, чтобы не сбиться с такта.

Часам к восьми утра измолотили оба посада. Бабы сгребли солому и сметали ее на перевал. Сгрудили зерно в ворох, теперь надо было веять, а ветру не было.

Степан Михайлович, опять прибежавший к этой поре, присел на корточки, взял на зуб зернышко:

— Ну, что, бабы, за чем остановка-то?

— Так ветру-то нет.

Бригадир пощупал ручку у веялки. Ручка проворачивалась вхолостую. Резьба на валу сносилась, и зерно веяли уже много раз старым способом — на ветру. Делать было нечего, надо ждать ветра. Степан Михайлович открыл вторые ворота гумна, чтобы веять на сквозняке, но в воздухе не чувствовалось даже самого маленького движения.

— Вот, прохвост, мать-перемать! — ругнулся бригадир.— Хоть бы немножко подул!

Бригадир, стоя в воротах, подсвистывал. Он призывал ветер, как в старину. Подошла Поликсенья, тоже хотя и неловко, по-бабьи, но посвистела. Прислушались — воздух не шевельнулся.

— А вот мой свекор особой знал свист. Только посвистит, бывало, сразу и подует.

— Так это какой такой особый?

— Да уж особый. Колено такое знал.

Степан Михайлович не знал этого особого колена, свистел, свистел, выругался и сказал:

— Уснул, видимо, чтоб он подавился...

— Вот сейчас налетит,— сказала Марютка.

— Налетит! — плюнул бригадир.— Налетит, да не он. Хуже всякого урагану...

И правда, Бессонов мог налететь в любую минуту. Степан Михайлович снял с веялки тяжелую ручку, поглядел еще. Нужно было нарезать другую резьбу.

— Ну, вот что, бабы,— сказал он,— идите пока печи топить, может, и подует через часок. А я за мешками сбегаю...

Бригадир закрыл гумно на большой висячий замок и побежал в другой конец деревни, к амбару. Бабы же, оглядываясь, побрели домой. Каждая счастливо ощупывала в кармане передника еле слышную тяжесть двух горстей непровеянной ржи.

Брали они понемногу... Две-три горсти, украдкой высыпанные в карман, делали их счастливыми на весь день, все-таки хлебный дух. Дома выдуют мякину, быстро провернут зерно на ручных жерновах, а кашу сварить полдела. Сто, а то все двести граммов этой непровеянной ржи.

Костерька же сегодня второпях забыла надеть передник. Она, может, и сбивалась в молотьбе из-за этого: приди пустая домой, нечем будет покормить ребятишек. Да и сама она еле волочила опухшие ноги. И вот хотя ноги были у нее раздувшиеся, глянцевитые, но голенища разношенных валенок были до того широки, что в них влезло бы еще по одной ноге. И вот сегодня она успела сыпнуть в эти голенища несколько горстей ржи. Она от волнения и испуга не помнила, сколько сыпнула горстей в голенища, и теперь расстраивалась, не больно ли много, не лишка ли.

Бабы только что отошли от гумна, как вдруг из-за стога показался жеребец в яблоках. Бессонов ехал рысью. Выпрыгивая в седле, он явно правил к бабам.

— Ой, девоньки, ведь сюда! — всплеснула руками Марютка Смирнова. Она, в испуге, первая вытряхнула из передника зерно с мякиной. То же самое сделали Петуховна, Нинка и Поликсенья. Только одна Костерька стояла на дороге ни жива ни мертва. Бабы от страха бегом бросились в сторону. Костерька побежала тоже. Бессонов увидел бегущих и ударил по жеребцу.

— Стой! Стой! — заорал он еще издали, направляясь наперерез бабам, прямо по вязкому жнивью. Он осадил жеребца перед перепуганной Петуховной, повел белым своим носом и сказал:

— А ну пошли!

Бабы покорно пошли на дорогу. Он ехал сзади, и жеребец мотал длинной мордой, грызя удила, лязгая коричневыми зубами.

Бессонов загнал баб опять в избу к Петуховне. Все они рядком уселись на лавке, перепуганные вконец, трясущиеся. Поликсенья шептала что-то вроде «господи, спаси, пронеси». Марютка то и дело вздыхала. Нинка Воробьева теребила конец платка. Одна Петуховна сразу успокоилась, дома, как говорят, и стены помогают. Узнав от баб о ночном собрании, она с сожалением поглядывала на затоптанный пол.

— Так...— Бессонов сел за стол, открыл сумку. Бабы затравленными глазами следили за каждым его движением.

— Так... Что же, товарищи.— Он закурил какую-то толстую

папиросину. В пустой избе пахнуло волнующим, забытым мужским запахом. И, может быть, от этого запаха, напомнившего давние счастливые дни, напомнившего мужика, опору и бабью защиту, а может быть, от чего другого Марютка Смирнова вдруг всхлипнула, сглотнула слезы. За ней в голос заплакала Поликсенья.

— Так, так...— Бессонов вдруг ударил по столу кулаком.— А ну расстегни пуговицы! Встань, гражданка! Да-да, ты, первая! Он подошел к Марютке, пощупал карманы, распахнул полу дырявого Марюткиного казачка. Тем же путем он обыскал всех остальных баб и, ничего не найдя, опять сел за стол. Спросил:

— Почему побежали?

— Так ведь чего, батюшко, напугалися...— улыбаясь, произнесла Поликсенья и вытерла щеку нижним платочком. Бессонов словно бы в раздумье брякал пальцами по столу:

— Можете идти. Я вас не задерживаю.

Бабы торопливо завставали, засморкались. Бессонов глянул на них круглыми своими глазами и застучал по столу.

Костерька ни жива ни мертва пошла к двери. Такая большая показалась ей изба Петуховны. Костерька взялась уже за скобу, как вдруг Бессонов вскочил, подбежал к ней:

— А это что такое? — Он длинным кривым пальцем указал на пол.— Это что такое, спрашиваю!

На полу неровной дорожкой лежали ржаные зерна. Костерька сроду не нашивала хороших, не дырявых валенок...

— Валенки снять! Сбегать за бригадиром! — чуть ли не весело закричал Бессонов.

Степан Михайлович и сам уже прибежал в избу. Посреди пола он увидел заплатанные, растоптанные Костерькины валенки и две грудки зерна. Сама Костерька стояла босиком на полу и выла. Бабы молча стояли у дверей, Бессонов писал за столом акт о краже.

Степан Михайлович вздохнул и, не читая, подписал бумажку, накорябали свои фамилии и бабы. Одна Петуховна не смогла подписать бумагу.

Бессонов велел Костерьке обуться. Потом он вывел ее на улицу, привычным взглядом нащупал первую попавшуюся баню, велел найти караульщика и сам отвел плачущую Костерьку в эту баню. Степан Михайлович послал кого-то из ребятишек за стариком Филей.

— Арестованную не выпускать! — строго сказал Бессонов тщедушному Филе. И Филя с батогом уселся на приступке.

— А ежели ей, товарищ Бессонов, этого, того, ей по нужде понадобится?

Но Бессонов уже не слушал Филю. Он прямо по грядкам, не жалея хромовых сапог, шагал из огорода. Степан Михайлович, печально опустив голову, ступал вслед за начальством. А в бане тонко, по-волчьи подвывала Костерька.

Бессонов уехал, пообещав тут же прислать за арестованной милиционера. Правда, он чуть не арестовал и Степана Михайловича, как он сказал, «за срыв и саботаж». Бессонов долго никак не мог понять, почему зерно до сих пор не провеяно. «То есть как это так, нет ветра? Веять! Немедленно!» — кричал он. Когда же бригадиру удалось доказать, что ветер от него, бригадира, не зависит, Бессонов долго ругался, а после вскочил на лошадь и крикнул: «Отвечаешь своей головой! К двенадцати часам чтобы хлеб был на хлебопункте!» И уехал.

Степан Михайлович плюнул ему вослед. Плюнул и оглянулся, не видел ли кто. «Да неужели когда наша бригада колхоз подводила? — в обиде размышлял Степан Михайлович.— Всю войну шли первыми, все до последнего фунта подчищаем. Ну, а бабы, что бабы? Они вон и так еле ходят, опухли, ладно что мужиков почти всех подчистую на фронте решило. А то приехали бы, не узнали своих баб... А эта Костерька-то. Ну и дура. Хоть бы катанки зашиты были, не было бы никакого греха. А теперь два года дуре дадут. Никакого сомненья, дадут».

...О том, что Костерьке дадут полтора, а то два года, знала вся деревня. Дело это было ясное потому, что в прошлом году уже посадили Омелиху. Посадили за то, что ходила по ночам с ножницами в рожь, стричь колоски.

Степан Михайлович открыл гумно, велел бабам ждать ветра, а сам побежал искать возчиков. По его подсчетам, нужно было подвод шесть, не меньше. Ехать до хлебного пункта не близко, старуху какую в извоз не пошлешь. Но возчиков раз-два и обчелся. Вместе с женщинами изредка ездил с хлебом и дурачок Яша. Если ему запрячь телегу да нагрузить, этот съездит. С Нинкой Воробьевой уже была договоренность. Марютка Смирнова поедет тоже.

Степан Михайлович для верности зашел сперва к Яше. Яшина мать сидела на опрокинутом ведре и доила козу, доила прямо в избе. Яша босиком, в одних портках сидел за столом на собственной пятке и бессмысленно строгал хлебным ножиком какую-то палочку. Сперва бригадир поздоровался, потом подсел к Яше:

— Что, Яша, надо, брат, съездить с мешками-то, выручай.

Яша добродушно и неопределенно хохотнул. Он-то был всегда и на все согласен. Но включилась в разговор его мать, и у бригадира тревожно заныло под ложечкой. Старуха сказала, что он поехал бы, как бы не поехать, да ехать-то ему не в чем.

— Ехать-то не в чем,— как эхо повторил Яша и опять хохотнул без всякой причины. Степан Михайлович поглядел на Яшины сапоги. Они валялись тут же, около Яши, и бригадир взял правый сапог, достал очки. И правда, носок сапога был похож на щучью пасть, даже деревянные гвоздики торчали, как зубы. У второго сапога отвалилась подметка и виднелась береста, подкладываемая сапожником под стельку.

Степан Михайлович вздохнул и пошел к Шурке Голощековой. Эта возила зерно бессменно. В Шуркином доме ворота были от-

крыты. Бригадир особым своим чутьем заранее почувствовал, что чего-то в доме неладно. Пустая корзина лежала в коридоре на боку, тут же валялся березовый веник, видать, подметали крылечко, да так и не подмели до конца.

Степан Михайлович вошел в избу. Шурка лежала посреди пола белая, как бумага, со сжатыми зубами, а ее мать охала около дочки, подкладывала ей под голову какую-то одежку.

— И в рече-то ничего не было, и трубу-то закрыла поздно, господи милостивый,— причитала старуха, не зная что делать.

Шурка была без чувств от угара. Зеленая слюна пенилась на сжатых зубах, глаза были закрыты. Бригадир бросился на полати, хотел найти луковицу, но луковицы не оказалось.

— Луковицу давай! — закричал он старухе.— Да полотенце-то намочи на лоб.

Старуха побежала за печку. Степан Михайлович разрезал луковицу, поднес ее к носу Шурки. Выковырял из ушей уже согревшиеся клюквины, плеснул на лицо водой из ковша. Шурка не очнулась, и тогда бригадир вместе со старухой начали качать легонько тело девки. Шурка очнулась и начала тяжко утробно блевать. Желудок был, видать, пустой, ее просто выворачивало наизнанку. Степан Михайлович велел укрыть девку потеплее, давать нюхать луковицу и ушел: ясно было, что Шурка сегодня не работница.

К Настасье Шиловой надо идти через всю деревню. Переходя дорогу, бригадир щекой ощутил холодок. Легкий ветер шевелил последние сухие листки на черемухах, бабы в гумне, наверное, уже начали веять.

Настасья тоже только что истопила печь, она тут же при бригадире обулась и пошла запрягать.

«Значит, три,— подумал Гудков, ступая на гумно.— Настасья, Нинка да Марютка, три подводы. А где еще-то трех взять?»

Как Степан Михайлович ни прикидывал, как ни вертел, послать было некого: «Костерька в бане сидит, Яша без обутки, Шурка от угару еле жива. Грашка третий день не встает, совсем от голоду ослабла. А у Анютки два нарыва под лопаткой. Ревит голосом. Правда, есть еще Поликсенья, эта еще бродит и мешки бы сама взвесила, ежели потихоньку. Но Поликсенья с малолетства боится лошадей, никуда не езживала».

Степан Михайлович в отчаянии сел на оглоблю телеги, завернул цигарку. Хотел прикурить, но ветер погасил спичку. Бригадиру было и приятно от этого (бабы извеют рожь), и неприятно, испортил спичку. Спички теперь, правда, были в лавке, не то что в прошлом году, хотя и «гребешками», но были. Однако Степан Михайлович, еще с сорок второго привыкший колоть спички пополам, все не мог привыкнуть к тому, что спичек теперь вдоволь, и по привычке жалел каждую. Он затянулся, цыркнул слюной.

Забота, где найти возчика, грызла бригадира. Бессонова Степан Михайлович, конечно, побаивался, этот и в казематку

посадит, хоть бы что, но дело не в нем, не в Бессонове. Хлеб-то ведь все равно везти надо, это Степан Михайлович понимал, понимали и все бабы.

Но ехать было некому.

Старика вывел из задумчивости звук разбитого стекла. Степан Михайлович оглянулся и даже рот не закрыл от возмущения: трое ребятишек кидали камнями в чердачное окошко нежилого, еще до войны покинутого дома. Дом этот принадлежал брату Костерьки Гришке. Гришка как уехал из колхоза в тридцать пятом, так и не было от него ни слуху ни духу. Дом сам по себе перешел в Костерькино владение. Заднюю часть, двор с двумя хлевами и взъезд Костерька уже испилила на дрова, но пятистенок еще стоял ядреный и окна были заколочены. Только наверху чердачное окно с резными столбиками было не забито досками. И вот ребятишки во главе с наследником этого пятистенка Славком самозабвенно кидали в окно камнями.

— А ну, остановите пальбу! — крикнул бригадир, взял ивовый прут и пошел к ребятишкам.— Душегубы! Я вам сейчас дам жару, я вам покажу, как по стеклам палить!

Ребята побежали от бригадира за околицу к церковной колокольне. Степан Михайлович в горячке бросился за ними, надеясь догнать и хоть кого-нибудь огреть прутом по заднице. И вдруг в голове старика мелькнула какая-то мысль, и он остановился. «Ну! — думал он.— Этим жеребцам по десять да по двенадцать, я в ихние годы... Может, и правда их с хлебом послать?»

Степан Михайлович так обрадовался этой спасительной идее, что забыл даже бросить прут. Подошел к колокольне. Ребятишки, подпустив его метров на пятьдесят, шмыгнули под колокольню и полезли наверх. Уж туда-то бригадиру ни за что не забраться.

— Ребята, погодите, не лазайте! — позвал Степан Михайлович.— Чуете, что говорю, остановитесь!

Он подошел к полуразломанной колокольне, со страхом поглядел наверх. Колокольня стояла как бы на трех ногах. Одно основание было совсем разобрано на кирпич, да и остальные три колонны подломаны снизу. Колокольня держалась на них каким-то чудом. Ветхие, без многих ступеней лестницы зигзагами уходили высоко-высоко, и там, вдали, суматошно кричали галки. Степан Михайлович влез на первый пролет, хотел подниматься дальше, да струсил: ступеней не было и сама лестница еле держалась на связях. Ребята забирались все выше и выше. Степан Михайлович спустился на землю, задрал голову. «Еще оборвутся,— подумалось ему,— отвечай тогда за прохвостов».

— Ребята, Славко! — закричал он.— Слезайте, я вам чего-то скажу. Слышь, Славко!

— Да! — послышалось с колокольни.— Опять за уши будешь драть.

— Не буду, вам говорят. Вот я вам и закурить дам!

Наверху затихли, видимо, совещаясь, слезать или не слезать.

— И Тольке дашь? — спросил Славко, имея в виду курево.

— Дам и Тольке,— крикнул бригадир и засмеялся.— Вот прохвосты, все научились курить. Безотцовщина, одно слово...

Ребятишки ловко спустились вниз. Степан Михайлович сидел на кирпичах, с интересом разглядывал «душегубов», готовых в любую секунду дать стрекача. Вон Славко, худой, штанина разорвана до бедра. Сапожонки старые, шапка что воронье гнездо. Толька Воробьев, этот весь в отца-покойника получился, даже уши. Давно ли титьку сосал? Теперь вырос, вытянулся. На чем вырос — неизвестно, коровы в хозяйстве нет всю войну. Аркашка Шилов, Настасьин племянник, сапожонки тоже давнишние, а голенища загнул, для форсу. Митька Гвоздев, этот совсем еще воробей. Все сироты, ни у единого отца нету. Степан Михайлович развернул кисет.

— Ну, закуривайте, ежели посулил! Маткам не скажу.

Закурить осмелился один Костерькин Славко. Но на предложение бригадира съездить на хлебопункт он сразу и категорически замотал головой.

— А вот не поеду, а вот не поеду!

— И ты, Толька, не поедешь?

— Ы! — Толька тоже мотнул головой.

— А ты, Аркадей?

Степан Михайлович хотел было прикрикнуть, припугнуть ребят, но одумался и начал добром убеждать, что ехать надо, что больше послать некого. Но ребята твердо стояли на своем. Бригадир не выдержал. Он завернул матом и пригрозил:

— Ну, ребята, теперь как вы мне, так и я вам. Помяните мое слово!

Искренне обиженный, Степан Михайлович пошел от колокольни. Остановился:

— Значит, все, слово ваше одно. Ну ладно...

И пошел, уже взаправду. Вдруг он услышал веселый голос Костерькина Славка.

— Дядя Степан! Дядя Степан!

Степан Михайлович обернулся.

— А вот спой песню, так поедем!

— Чево? — Степан Михайлович долго соображал. Потом схватил давешний прут.— Песню вам? Я вам сейчас песню спою! Я вам такую песню спою!

Ребята бросились врассыпную...

Степан Михайлович пришел на гумно злой. Бабы уже довеивали рожь, он велел им пришить завязки к мешкам и присел на засек, совсем расстроившийся. «Песню им спой. До чего дело дошло, мать-перемать. Ну, погодите!..»

К по́лдню зерно засыпали в мешки, перевешали гирями на веревочных весах. Запрягли трех лошадей. Нагрузили. На подошве гумна оставалась как раз половина мешков.

Степан Михайлович чуть успокоился. Он велел бабам подождать и пошел опять искать ребятишек. Увидел их на околице,

только уже в другой стороне. Они играли в войну среди стогов, чего-то орали. При виде бригадира Славко высунул язык и заприпрыгивал.

— Стой, ребята, не шараганьтесь! — крикнул им бригадир.— Кому говорят, идите сюда.

Ребятишки не шли.

— А вот спой песню, так поедем! — опять сказал Славко.

— Какую вам надо песню?

— Нам любую! — Славко подошел поближе. За ним приближались и остальные. Степан Михайлович сел на большой полевой камень:

— А не омманете? Съездите?

— Не-е!

Степан Михайлович кашлянул, воровски оглянулся, нет ли кого из больших. Ребята стояли вокруг него, ехидно-простодушные, довольные.

— Ну, ладно...— Степан Михайлович тихо, не глядя на ребят, запел:

Скакал казак через долину,
Чере-е-е-з Маньчжурские поля...

Он не смог вытянуть до конца, удушливо закашлялся, клоня голову в рыжей шапке все ниже и ниже. Уши у шапки тряслись, сопровождая кашель...

— Дядя Степан, дядя Степан!

Но Степан Михайлович отмахнулся, продолжая надрывно кашлять. И тут ребятишки побежали на конюшню за лошадьми.

К вечеру приехал из сельсовета милиционер, приехал на своей лошади. Костерька сидела в бане весь день. Она то и дело выглядывала в притвор дверей и ругалась со стариком Филей, который ее сторожил:

— Сотона! Ишь уселся, дурак лешой, чево уселся-то?

— Закрой помещенье! — Филя оборачивался на ругань и крепче надевал шапку. — Ты, Людмила, меня чего костишь? Я тебе так скажу, я старик подчиненный. Чего скажут, то и делаю. Мне тоже не больно тепло, ты хоть в бане, а я на воле сижу. На самом ветру.

— Был бы мужик жив, небось не стали бы эк, сотоны! — кричала Костерька, не слушая, что говорит Филя.— Ишь, лешой, сидит! Я гу, что был бы мужик живой...

И она опять принималась выть.

...Степан Михайлович помог Славку запрячь лошадь, забил в ось новую чеку. Потом запрягли для Тольки Воробьева и для Аркашки. Кое-как нагрузили мешки. Милиционер привел из бани Костерьку, Филя тоже приковылял к обозу. Костерька с ревом села на Славкову телегу, обоз выехал из деревни. Впереди ехал милиционер, изредка равнодушно оглядывался назад. Костерька при выезде в поле повыла опять, но потом успокоилась, подоткнула юбчонку и крикнула Славку, который сидел на лошади, держась за кобылку седелки:

— Гляди, не свались! Да ворот-то застегни, чтобы не продуло!

Славко не обращал на слова матери никакого внимания. Он хлестал по лошади концом повода и перекликался с дружками, ехавшими сзади и спереди. Один раз он даже привстал на оглоблях и, подражая Бессонову, завыпрыгивал вверх-вниз, словно в седле. Потом он громко дурашливо запел песню:

Скакал казак через долину,
Через Манжурские поля-я-я!..

Бабы-возницы вздыхали на телегах, качали головами:

— Ох, Славко, Славко. Матку-то ведь в тюрьму повез... Молодо-зелено, толку-то в голове нету. Как жить будут, этому тринадцать, тому одиннадцать.

— По миру идти, один путь.

— Да одного в детдом-то возьмут.

— Разве экой санапал будет в детдоме жить?

— Убежит кряду.

— Убежит.

Обоз с хлебом для фронта скрипел осями, телеги ныряли и переваливались в глубоких осенних выбоинах. Фыркали лошади. Сумерки уже мутили окрестные тихие леса. Вскоре скрип осей затих вдалеке.

Тишина, темень.

Вечером Степан Михайлович отвел Петуховну ночевать в дом Костерьки. Опять похлебал такого же, как вчера, супцу, вынул бумаги. Сперва он написал наряды на сделанные за день работы. После, когда старуха улезла на печь, вынул и заветную книгу. Откинувшись, не спеша записал:

«24 октября. В четверьг. День прошел благополучно. Погода стоит без дожжа. Корова наверно обошлась, больше не мыркает. Отправили красный обоз хлеба. На кобыле Шалунье поехала Смирнова, на Рысаке Нинка, Настасья на Брошке. Славко поехал на Зорьке. Толька Шилов на Ломоносе, Аркашке запрягли Рыжуху. Поехало шесть подвод».

Степан Михайлович остановился, подумал и дописал:

«С песнями».

ГОГОЛЕВ



оль есть?

Я только продрал глаза и почти ничего не соображал, спускаясь к реке, чтобы умыться.

— Иди к нам, ухой накормим!

Чертовщина какая-то. Разбудили да еще и фамильярничают...

Вчера летняя ночь настигла меня в дороге. Я решил не ходить

в деревню, заночевать здесь, над рекой, на этом красивом бугре. Кособокий сарай, наполовину заполненный нынешним сеном, вполне мог соперничать с гостиницей районных масштабов. Отсутствие буфета с лихвой окупалось тишиною и чистым воздухом. Я вспомнил, как ночью с некоторой опаской приближался к сараю. Боялся я отнюдь не пьяных бродяг и не змей, которые водились в здешних местах. Гадюки нередко забираются на ночлег в эти сухие, прогретые солнцем сараи, поэтому прежде чем занять даровую гостиницу, я постучал камнем по стене. Днем змеи не переносят стука и уползают. А как они поведут себя ночью?

Смешно говорить, но я боялся больше не настенных змей, а настенных... надписей. К этому виду графомании с недавних пор я почему-то испытываю неодолимое отвращение. В самом деле, кто не знает подобного словотворчества? Кажется, еще Пушкин, правда с подобающим гению добродушием, очень точно определил это явление как: «...Незрелые плоды народного ума».

Дощатые будки на нынешних автобусных остановках и многие другие места вкривь и вкось изукрашены надписями вроде: «Здесь загорали столько-то и такие-то», «Светка, роспеля, целовалась с таким-то», «Кто писал сама такова».

Вчера я при свете луны осмотрел сарай, ничего не обнаружил, зарылся в сено и крепко, словно в детстве, уснул. Жаль, что эти балбесы разбудили слишком рано.

Но откуда у них рыба? Обычно у транзитных шоферов не бывает ничего, кроме хлеба и консервированной салаки. Ездят неделями и питаются в редких придорожных столовых, которые закрываются на обед как раз тогда, когда от голода начинает сосать под ложечкой. Провинциальный шофер предпочитает не останавливаться в больших городах, не желая иметь дел с местным ГАИ. Обычно большею частью питается всухомятку.

Я надул сам себя, делая вид, что никогда не давал себе слова купаться по утрам. Почистил зубы и лениво помылся с ладоней. Комары, падкие на мокрое, облепили лодыжки. Мне показалось, что в сарае кусались другие, более вежливые. У реки они были намного крупнее.

— Да,— согласился пожилой шофер,— комары тут хорошо кушают.

И добавил:

— Племенные, яровизированные.

Мое раздражение сразу пропало. Я взглянул на него с удивлением и любопытством. Он был высок, тучен и лысоват, двигался экономно, несуетливо. От дорожных дождей и ветров, от солнца волосы оказались непонятно какого цвета, лицо потеряло всякую выразительность. Морщинистый лоб, шея, уши, небольшой, и как у нас говорят, «девушкин» нос — все куда-то скрывалось, будто под пеплом. Только глаза светились удивительно ярко, синё, с добродушием, какого я не видел очень давно.

Второй водитель — совсем еще школьник — молча помешивал в котелке деревянной ложкой. Он был не в настроении, непроспавшийся и усталый. По-видимому, дорога оказалась для него нелегкой. Выяснилось, что они гнали машины в лесопункт из капремонта.

— Чего ж вы на сено ко мне не залезли?

— Да не стали беспокоить,— серьезно сказал пожилой.— Кто тебя знает, может, ты там с сударушкой. Подошли, глядим — пиджачок висит. Николаха, чего у тебя рыба-то? Больно долго варишь.

Николаха не отозвался.

Огонь под котелком стал еле заметен, всходило солнце. Большое малиновое полукружье обозначилось над сизым заречным лесом. Небо голубело с каждой минутой. Ветер нарождался за тихим, все еще спящим кустарником, но речной туман не спешил исчезать. Сонная чайка, взлетевшая над излучиной, невразумительно пискнула, свихнулась в сторону и пропала на том берегу.

Впервые я был здесь нынче весной. Какая светлая и доступно-величественная была эта река, несмотря на все человеческие старания сгубить ее! Теперь, когда сплав прошел и черные топляки, не преодолев собственной тяжести, покорно легли на дно, вода опять стала чиста и спокойна. Кругом тишина и безлюдье. Только дорога изредка рычала моторами да высокие холмистые берега хранили следы исчезнувших деревень: торчали кой-где то дом, то сарай, то рябиновый или тополёвый садик, а то и просто какие-то сбитые из еловых жердей полевые ворота. Люди переселились в райцентр, в леспромхоз и на совхозные участки, выросшие около животноводческих комплексов.

— Дураки, такие места побросали,— угадывая мои мысли, сказал шофер.— Чего не жилось?

Молодой с презрительным удивлением посмотрел на товарища.

— Что, Колюха, глядишь?

Тот хмыкнул.

— Вру, что ли?

Не было никакого сомнения в том, что Колюха именно так и думал.

— Ну, тогда давай рыбу хлебать.

Уха, сваренная из сушеных маслят, и впрямь чем-то напоминала подлинную уху. Пожилой шофер (я все еще не знал, как его звать) дунул на ложку и заявил:

— Отъедим и поедем.

Молодой не повел и бровью. Он словно бы из нужды ел «уху». Мол, ничего не поделаешь, приходится есть, поскольку утро. И вообще всем людям положено завтракать, иначе умрешь.

— Ан нет, Коля, отдохнем, не поедем! — передумал старший.— У меня уже мозоль на левом глазу. Сколько, думаешь, за ночь намотали? Километров триста, наверно.

Парень опять ничего не сказал.

— Давно ездите?

Вопрос был глупым, но пожилой, словно бы выручая меня, ответил просто:

— Давно.

Уха, даже из грибов, видимо, сближает самых отдаленных людей. А может, сближало росистое утро, запах травы и дыма, большое теплое солнышко и река-красавица, спокойно и нежно обнявшая наш зеленый бивак.

— ...матушка мне поет: «Отступись, весь дом пропитал мазутой. Сапогов не напасти. В тюрьму охота?» — «Нет, говорю, неохота. Туда и без меня кандидатов хватает». Только трактор получил новый — бэмс! Война. Малешко повоевал. Приезжаю домой, трактор в канаве. Рылом в землю уперся и спит.

— Ранило что ли?

— Трактор-то?

— Да нет... Приехал, говоришь, домой.

— Ранило. Из ляжки полфунта мяса высадили вместе с осколком. А тут весна как раз, надо пахать. Вызывают в МТС: «Принимай тракторную бригаду!» В две смены пахали. А бригада — три колёсника да шесть девок. Хорошие девки, да все скороспелки, в технике ни уха ни рыла. Панька, та, правда, немножко пендрила. Бывало, под машину полезет, застыдится. Юбки хоть и носили не чета нынешним, длинные, а больше и ничего. «Александр Иванович, отойди, не гляди!» Александр Иванович сам уж до ушей покраснел. Отойдешь метров на десять и давай команды давать. На дистанции. То отвинти, это продуй. Другая бежит с ревом, не знает чего делать. По полю-то как заяц, туда-сюда...

— Женился?

— Не успел я в тот раз жениться.

— Почему?

— Панька моя умерла.

Он как бы не услышал моего следующего вопроса. Сложил в котелок ложки и хотел идти к воде, но парень отобрал посуду и пошел сам. Александр Иванович угостил меня крепчайшей «Примой», прищурился:

— Ты не из милиции?

— Нет. А что?

— Да так. Милицию вспомнил. Сохло в ту весну на глазах. Надо бы боронить, а мои керогазы все стоят. Ни один не заводится. Искра бьет, а не берет, керосин-то худой. До этого мы заливали бензин под свечи, заводили кой-как. Этот бензин я в кармане носил, во флакончике. До чего мы докрутили этими ручками, бог ты мой! А трактора — хоть бы один для смеху чихнул. До МТС сорок пять километров. Панька бутыль на спину — пошла. Туда полтора суток, обратно полтора. Пустая пришла, ничего не дали. Я, значит, иду сам. Первым делом на нефтебазу. Директор поглядел как на пленника и говорит: «Не было, нет

и не будет!» Весь день бегал я по организациям, нигде ничего. Вечером захожу к знакомому в военкомат. Витька лейтенант, мне по родне, домой пригласил. Чай сели пить, у меня кусок в горло не лезет. «Ты чего?» — дружок спрашивает. «Бензину бы, говорю, хоть литра три. Трактора стоят, не заводятся».— «Ничего не выйдет,— говорит.— Только у начальника милиции. А к нему не подступишься».— «Где, спрашиваю, живет?» — «Да живет-то,— Витька говорит,— рядом. Сосед...» Я долго не думал, в магазин. Денег было, хоть и немного. Вина принес, зови, говорю. Витька пошел, привел. Начальник, как сейчас вижу, Корчагин по фамилии. Стопку выпил, а за стол ни в какую. Потом все-таки сел. Мы одну бутылку решили... Витька снял со шкапа гармонь. Корчагин голенища подтянул, со стула — фырк! Не усидел, пошел плясать. Витька играл хорошо. Ох, мастер был плясать Корчагин! По полу его как ветром носило.

Напарник Александра Ивановича вернулся с реки и лег на траву. Солнце всходило быстро, становилось жарко. Комары исчезли.

— Ну и как? Дал бензину?

— Сплясал, вызывает меня. Я выходку показал, он, вижу, на меня косится. Плясал-то я не хуже его. Давай, говорит, на спор, кто кого. Ставлю литр, ежели перепляшешь. Я говорю: давай! Только не на литр, а на десять литров! Бензину... Он горячится: «Двадцать! Тебе меня все равно не переплясать».— «Виктор, будь в свидетелях!» Гармонь заиграла, я ремень снял...

Александр Иванович замолк, глядя на освобождающуюся от тумана реку. Я кашлянул и спросил, что было дальше.

— Три часа молотили. Витька уже играть не может, сходил за другим гармонистом. Утолкли и того. Трынкает кой-как, на одних басах — пляшем. Я уж и свету не вижу — пляшем. Под утро уже, гляжу, Корчагин сел на корточки, пальцем по воздуху водит. Я вокруг него, не останавливаюсь. Он за штанину меня ловит. Тут гармонист гармонь кинул на койку. Только тогда я и остановился. Корчагин говорит: «Пиши расписку, твоя взяла. Да не на меня, едрена вошь, пиши на директора нефтебазы!» Я, конечно, этого директора кой-как про себя обматерил, даже язык не действовал. Расписку накорябал, ворона набродила. Утром два бидона бензину несут с нарочным. Я двое суток с этими бидонами до колхоза плюхался. Докостылял. Трактора завели, яровое заборонили. Посеяли. Потом неделю пластом. Да и Корчагин полтора месяца в больнице вылежал. У обоих дураков раны открылись.

— А от чего Панька-то?

— Помню, пригнали первую полуторку. Я как посмотрел на нее, сразу решил: будет моя. Двадцать второй год шоферю и ничего. Машина, она, что жена, внимания требует днем и ночью.

— Ночью-то чего?

— На тормоза надо ставить, вот чего! — прикрикнул на меня

Александр Иванович.— Укатится, не найдешь. Либо товарищи подведут. У меня вон сменщик один был. Только освободился, его — бэмс! ко мне на перевоспитание. У воспитателя у самого образование шесть классов, седьмой коридор. Бывало на ремонте, придет в гараж и сидит. Я говорю, чего сидишь, начинай. Он кувалду возьмет и давай по скату лупить. Искру, говорит, выгоняю, в баллон ушла. У меня на заднем борту надпись: «Не уверен, не обгоняй». Он, черт, приписал мелом еще одно слово. Я не посмотрел, поехал в город за продуктами. Ну и загремел прямиком в ГАИ. Премии на работе как не бывало, за правами ездил четыре раза. Во какой!

Александр Иванович восхищенно засмеялся.

— Уехал?

— Увезли. Ампичмант устроили.

— За что?

— А барак спалил. Начальник лесопункта его выселил. Три дня прошло, он опять по поселку бродит. Мне, говорит, отступать некуда. Пришел ко мне домой: «Гоголев, пусти ночевать!» Я его чаем напоил, матрас с простыней постлал. Он среди ночи выскочил в окно. Убежал к медичке. А медичка без него замуж вышла, уехала. Только новая медичка спирту ему все равно налила. Шельмы, не девки! Он с пьяных глаз полез в пруд купаться, напоролся на какую-то проволоку. Чего не насмотришься у нас в лесопункте! В колхозе теперь намного лучше.

— Чего ж не живешь в колхозе? — Я, по его примеру, тоже перешел на «ты».

— Я бы переехал, не едет жена.

В это время второй шофер проснулся в траве и сонно огляделся:

— Чего мы тут торчим? Надо ехать.

— Успеешь к своей Катьке,— сказал Александр Иванович.

Парень снова ткнулся в траву.

— У меня баба хорошая,— сказал сам себе Александр Иванович.— Вот теща, эта местами. Помню, холостяком был. Купила она мне мотоцикл как раз перед самой свадьбой. Я женился, уехал в командировку. Приезжаю, сарайка пустая. Один кобель. Бурко, спрашиваю, где мотоцикл? Он как взвоет.

— Жена продала?

— Теща. Денежки забрала и в Северодвинск. А с женой нет, пятнадцатый год живем — ни разу конфликтов не было. Да и с тещей у нас дружно.

Он размял новую сигаретину.

— В семьдесят первом в Болгарию ездила.

— Теща-то?

— Да нет, жена. Приходит, помню, домой: «Гоголев, покупаю террористическую путевку! На «Золотые пески», двенадцать дней без дорог». Пожалуйста, говорю. Почему не съездить. Деньги есть. Приехала домой, бабу не узнаю. Все мои трусы на тряпки

изорвала. В баню пойдешь — подает плавки, то голубые, то красные. А я их век не нашивал. Обтянуло все, никакого простору...

— Привык?

— Вроде стал привыкать. Начала за каждым обедом эту самую кислятину ставить. Сухое вино, чтобы по-культурному. Я говорю: какое оно сухое, оно тоже мокрое.

— Тоже привыкнешь, Александр Иванович.

— Нет, парень, к этому-то меня, пожалуй, не приучить. Да и в магазине оно редко. Одна с него водополица.— Он лег в траву.— Вон нынче племянницы гостить приехали. Одной четыре годика, другой два. У нас квартира хоть и порядочная, а спать я все равно в сарайку. Люблю свежий воздух. Девчушки заревели в голос: мы с дядей, мы с дядей! Ну с дядей, так с дядей. Пошли. Уклались, одна с одного боку, другая с другого. Обе почирикали да и уснули сразу. А ночью мне снится сон, будто бы в баню пришел. Вот полощусь, вот окачиваюсь. То слева, то справа, водичка такая теплая. Пробудился, мать честная, с обеих сторон мокрый, хоть выжимай. Вот так добро уделали! Двое-то.

Александр Иванович опять засмеялся и с кряхтением поднялся на ноги. Он походил по пригорку, посмотрел на густо-голубое, в золотых блестках, стремя реки. Сказал:

— Радикулит проклятый. А так все нормально. Живи да радуйся, насколько совесть чиста.

На бугре еще валялись догнивающие остатки срубов и большие подугольные камни. Гоголев задумчиво постоял, потом обошел вокруг моего сарая, зачем-то постучал по стене кулаком. Я вывел его из задумчивости:

— Ну, а что тогда случилось?

— А? — Гоголев обернулся ко мне.— С кем?

— Да с Панькой-то...

— У нее кровь горлом пошла. Такая девка была, из-под трактора не вылезала. А земля весной — сам знаешь...— Гоголев крякнул.— Колька, давай подъем! Поехали.

Он предложил подвезти, но я отказался, автобусная остановка была совсем рядом. Машины взревели. Гоголев пропустил Колю вперед и вырулил на дорогу. Я тоже пошел к сараю за пиджаком.

Всегда как-то грустно расставаться с хорошим ночлегом! Напоследок я мимолетным взглядом окинул внутренние стены сарая. На одном из бревен по высоте моего небольшого роста была топором вырублена звезда и три примечательных буквы: ГАИ.

Ах, Александр Иванович! Ты тоже оставил след своего отрочества. Здесь, в этом сарае...

Первый автобус вынырнул из подорожных берез, и я бегом припустил к остановке. Ведь я тоже должен был ехать дальше. Но синие глаза Гоголева весь день ясно и весело светились в моей памяти.

БУХТИНЫ ВОЛОГОДСКИЕ

ЗАВИРАЛЬНЫЕ В ШЕСТИ ТЕМАХ

Достоверно записаны автором со слов печника Кузьмы Ивановича Барахвостова, ныне колхозного пенсионера, в присутствии его жены Виринеи и без нее.

ПЕРВАЯ ТЕМА

(О том, как Кузьма родился, гулял в холостяках и как наконец женился на Виринее.)

1. ЖДАТЬ ДА ДОГОНЯТЬ — НЕТ ХУЖЕ

Мне на сегодняшний день ровно пятьдесят годов, тютелька в тютельку. Было пожито. Дорога моя долга и не больно ровна, с бухтинами идти веселее. С бухтинами не расстаюсь, иду вдоль своей жизни. Вдоль пройду, потом пойду поперек. Такие мои главные планы. Мне сват Андрей говорит: «Ты, Барахвостов, плут. Плут и жулик, ты себе годов прибавил. У тебя годов стало лишка».— «Нет, говорю, не лишка. У меня все точно подсчитано, ты, сват, не придирайся».

Дело было в шестнадцатом году. Начал я тогда задумываться, родиться мне или погодить? Конечно, можно и так и эдак, два-три года ничего не решают. А все ж таки... Думал, думал, не знаю, что и делать. Посоветоваться, да не с кем. И на белый свет в такое время заявляться не больно приятно: шла первая германская. И родиться охота. Я не хуже других и прочих. Все-таки решил погодить, пока война не кончится. Думаю, нечего там пока и делать: ни хлеба, ни табаку в магазинах нету. Ладно. В семнадцатом году накатилась на матушку-Русь революция. Царя Николая с должности спихнули. Все прежнее начальство прогонили по спине мешалкой. Слышу, мужики землю собираются делить. Ах мать честная, а у меня не у шубы рукав! Матка моя еще в девках, отец неведомо где. В деревне вот-вот землю по едокам разделят, а я еще не родился. Что делать? Как срочно родителей познакомить? Вот, слышу, мой отец приехал с войны домой. Вот на игрище мою матку встретил. Ну, думаю, сейчас дело пойдет. Жду. Ждать да догонять — нет хуже. Девять месяцев ждал, пока не родили.

Меня мамушка рожала,
Вся земелюшка дрожала,
Тятька бегает орет,
Зимогора бог дает!

Все прошло благополучно. Успел. Как раз к земельному переделу. Тогда акушерок и поликлиник не было, бабы про абортаж не слыхивали.

2. НАЧАЛО ЖИЗНИ

С одной стороны, ладно, что и родился, эта забота у меня отпала. А с другой... Вижу — на белом свете дым коромыслом, ничего не поймешь. Бабы стали супротив мужиков, детки против родителей. Хлеба нет, вина вдоволь. Народ от работы отвык, только шумим да ждем братской помощи. От братанов ни слуху ни духу. День рождения прошел благополучно, я уж тебе сказывал. Старухи сослепу пуп на моем брюхе завязали не плотно. Я чихнул, завязка лопнула. Все старушки руками всплеснули: «Ай, какой фулиган!» Хотели вдругорядь завязать, а ниток нету. Побежали, трупёрды, за льном, давай куделю катать. Чтобы ниток напрясть. Тут уж я этих старух и правда чуть не обматюгал. До чего, понимаешь, дело дошло! Человек родился из тьмы, надо пуп завязать, а они только нитки прясть собираются. Я ногами лягаюсь, в уме ругаюсь, язык-то еще почти не действовал: «Сивые дуры! Шоптаницы!» Они куделю скатали, к пряслице привязали. Спорят, кому нитку прясть. Одна говорит: «Я буду». Другая: «Нет, я тоньше пряду». Третьей тоже не терпится. Спорят старушки, а я лежу с незавязанным пупом! Сунуло родиться не вовремя. Заревел. С такого начала еще и не так заорешь. Старушки, пока разобрались, что да как, избу вконец выстудили. Лучина кончилась. Пуп завязывали в полной темноте. Было греха-то.

3. НЕ МНЕ ГОВОРИЛ

Хорошо жить, пока ты Кузька. Только станешь Кузьма Иванович — сразу и кидает в задумчивость. От этой задумчивости приходит затмение жизни. Тут уж опять без бухтины не проживешь. Бухтина душу без вина веселит, сердце примолаживает. Мозгам дает просветление и новый ход. С бухтиной и желудок лучше себя чувствует. Бухтинка иная и маленькая, да удаленькая: умный перед ней душу раскрыл, дураку она сама рот распахивает. Мало ли дураков-то на белом свете? Полоротых-то?

Дураку только скажи, он решетом воду будет носить. Молоко шилом хлебать да еще и прикрякивать.

Вот у меня сват Андрей, этот не такой. Этот ухо держит востро, хвост пистолетом. Бывало, еще ребенками, ходили мы с ним по другоизбам. Особенно к одному сапожнику, слушать бухтины. Сапожник сидит, голенище тачает, сам рассказывает: «Вот, ребятушки, иду я вчерась из бани, гляжу, а лиска по полю попрыгивает. И прямо к церкви. Забежала на колокольню да и давай звонить. Вот бомкает, вот бомкает. Отзвонила, курицу у дьячка свистнула да и в лес. Рыжая!»

От сапожника бежим с Андрюшкой к нему домой. Он еще с порога давай рассказывать, как лиска на колокольне звонила. Матка над ним хохочет:

— Полно, дурак, ведь все неправда. Сапожник тебя обманул.

Андрюшка головой мотнет:

— Не!

— Чего — не?

— Да он не мне говорил-то.

— А кому?

— Да Кузьке!

Это он семи годов такой был, а какой стал в зрелые годы — сам догадайся. Нет, нас со сватом на кривой не объедешь. Не та нация.

4. КАК БЫ НЕ ПЕРЕСОХЛИ

Правда, и со сватом Андреем вышла один раз промашка. В детском возрасте. Летом они с дедушком жили в лесу, косили коровам сено. Свату Андрею сшили первый раз сапоги, научили косить. Вставать надо рано, вместе с солнышком. Роса по утрам что кипяток, иногда и с инеем.

Сват Андрей думает: «Ежели бы не сапоги, все бы ладно. Босиком косить не заставили бы».

Говорит дедушку: «Дедушко, мне новых сапогов жалко. Не буду я их рвать, пусть мамка домой унесет». Дедушко ему говорит: «Хороший парень, обутку бережешь с малолетства. Вот матка с пирогами придет, мы твои сапоги с ней в деревню отправим. А пока ты их повесь на жердку, пусть просыхают».

Утром дедко внучка не будит: какая косьба голопятому? Сват Андрей выспался досыта. Встал, кашу дочиста съел и котелок выскоблил. Весь день ягоды ел, а дедко косил. Вечером поужинали, дедко говорит: «Как бы нам блох в избушке не развести... Давай старое-то сено выкидаем, настелем свежего». За избушкой была накошена крапива. Дедко ее и настелил Андрюшке, в толстую. Уклались ночевать. Сват Андрей ерзает. Сапоги висят, сохнут. «Дедушко, вон у Кузьки в петров день гости ночевали, все в сапогах на сарае спали. Обутые».— «Напились, видно».— «Не! Кузькин божат и вина не пьет, одно сусло, а тоже не разувался».— «Божат?» — «Ыгы».— «Видно, он забыл разуться-то. А ты ноги-то поглубже в сено зарой, оне и не замерзнут».

Полежали еще. Сват Андрей опять:

«Дедушко, а ведь ежели долго сапоги не носить, оне засохнут, с портянками и не обуть».— «А мы их дёготком, дёготком. Оне и отмякнут. Не холодно?» — «Только ведь ноги тереть будут сапоги-то».— «Пожалуй, немножко будут».— «Лучше я их обую, а то они совсем ссохнутся». Дедко говорит: «Завтра и обуешь. Ты у нас парень хороший, вишь как обутку бережешь. Я в твои годы еще и портки на ночь снимал. А как же? Семья большая, портки дело не шуточное».

Утром до солнышка сват Андрей спрыгнул на обе ноги. Сразу

бросился сапоги обувать, засобирался косить. Дедко говорит: «Не ходи! Надо бы еще посушить ночку».— «Нет, дедушко, как бы не пересохли».

5. НОВЫЕ МЕРЫ

Чего я в своей юной жизни не любил, так это дергать лен. Еще пасти молодых телят. Это мне было хуже горькой редьки. Бывало, лен дергаешь, а голова от дурману как колотушка. Руки в занозах, а полоса что великий пост, конца не видать. Поставили меня в пастухи. С телятами — того хуже. Только солнышко встанет, оне хвосты на спину, копыта в небо. Завзлягивали. Пока одного в коллектив восстановишь, другой от стада наяривает, сам не знает куда. За этими сбегаешь — третий сбился с фарватеру. Такое возьмет зло, заревишь и давай их сам разгонять. Бегите, дристуны, по всему лесу, хоть все разбегитесь! Каменьями по ним палю, только бухает. Бегите по всем странам! Все! Оне — ни с места. Наоборот — в кучу сбиваются. Такая натура, все время норовят по-своему. Вижу, надо принимать крутые новые меры. Того же дня барабанку в озеро, сам с пастухов долой. Ушел на другую должность.

6. ОБМАН ЗРЕНИЯ

Со стариками одна беда, а и с молодыми не мед. Особенно с мужским полом. Только с четырех ног сделал перестановку на две, сразу и варзать [1]. На березу залезет сам, обратно слезать — волокут пожарную лестницу. Дикого реву — хоть затыкай уши. Под осень на огородах ставят клепцы, как на зайцев. Еще ничего не созрело, а мы уж идем в поход, чужая репа испокон веку своей слаще. Из ружья по нам палят мелким горохом. На гумне друг у дружки эти горошины лучинками поочередно выковыриваем. Как в санбате. Вон у свата Андрея и сейчас целый стручок в заднице. Из-за этого в баню не ходит. Боится, что от теплой влаги горох разбухнет, а потом пойдут дружные всходы. Милое дело.

Да. Расскажу, как выходил из детского возраста. Я уже трои сапоги измолол, печи класть выучился, а насчет женитьбы не заикнись. Во сне по ночам начал вздрагивать. Стали сниться пожары. Днем девки из головы не выходят, одна особенно.

У тальяночки ремень,
А я о дролечке ревел,
Я еще бы поревел,
Да мне товарищ не велел.

---

[1] Варзать — вологодский глагол, обозначающий какие-либо непотребные действия молодых людей.

Обедать сядем. Матка мясо крошит, болонь, белое сухожилье,— мне: «На, Кузька, перекуси! Перекусишь — на зиму женим». Кусаешь, кусаешь — отступишься. Матка хохочет. Через год отец устраивает экзамент: «Топорище хорошее сделаешь — на зиму женим!» Топорище сделал — оближешь пальчики. А отец помалкивает. Будто ничего и не говаривал. Ладно. На третий год говорит «Вот, Кузька, ежели гвоздь с трех разов загонишь в бревно, на зиму женим». Этот гвоздь и не пикнул. Я его с двух ударов забил в бревно по самую шляпку. Отец говорит: «Нет, брат, рано тебя женить. Ты у нас еще дурак дураком. Такой гвоздь испортил, забил в чурку ни с того ни с сего». Вижу, кругом один обман зрения. Три зимы прошло, женитьбой не пахнет. Стал думать головой. Работа тяжелая. Один раз и говорю тятьке: «Надо бы, тятя, овцу зарезать, пустые шти хлебать неохота». Отец говорит: «Да вот, сынок, сам видишь, овец только остригли, стриженую овцу резать не выгодно». На другой день, гляжу, выходит из хлева. Спрашиваю: «Что, тятя, не подросла шерстка-то?» Поглядел на меня, ничего не сказал. Через два дня лошадь запрягли, поехали свататься.

7. НА ВЗЛЕТЕ ЖИЗНИ

С первого раза дело не вышло, не буду и врать. С одноразки и чихнуть не каждый сумеет, а тут женитьба. Дело темное. Как сватался, это место пропущу, расскажу сразу про первую ночь. Свадьбу приурочили к Первому маю. Для экономии лишних средств. Отплясали, отгуляли, подошло время ложиться спать. Пришла первая ночь с молодой женой, чувствую сам, что оказался на взлете жизни. Постлали нам в горнице. Только я один сапог разул, моя говорит: «Кузя, Кузя, мне надо в женсовет, у нас Бубновское движенье». Кузя молчит. Она дверями хлоп, только сарафан вильнул. Гляжу в одну точку. Не знаю, чего делать — то ли остатний сапог снимать, то ли и первый обуть да за бабой бежать. Пока думал, удула в избу-читальню. Изба-читальня в другой деревне. Я — туда.

Заседание только вошло в силу. Мне говорят: «Ослободи помещенье». Я уперся, не ухожу. Выставили физической силой. Коромысло на крыльце схватил, хлесть по раме. Хряснул, знамо дело, изо всей правды: косяки устояли, рамы вылетели. Весь женсовет сперва визжать, после панику оборолили и той же ночи постановили: «Кузьме Барахвостову, урожденцу такому-то, как злостному алименту, вставить новые рамы. А его несознательную личность отдать под суд».

В суде меня спрашивают: «С каких позиций пазганул по окну?» — «С улицы».— «Нет, спрашивают, какие были первые намеренья? Ежели тебя судить по классовым признакам, дак столько-то, а ежели по фулиганству, дак сидеть намного

меньше». Говорю: «Простите, пожалуйста!» — «Ладно, иди домой».

Домой прихожу, отец ко мне в ноги: «Кузька, говорит, гони, ради Христа!» — «Кого?» — «Как — кого, бабу свою гони! Пока тебя не было, иконы выкидала. Корову доить не пошла, сидит над бумагами. Рот в черниле. Не прогонишь, одна нам с маткой дорога — в петлю!» Я говорю: «Обожди!» — «И ждать нечего. Матка, зови десятского, будем делиться».

Разделились. Полкоровы нам — полкоровы отцу, пол-избы ему — пол-избы мне. Самовар отошел родителям, тулуп — нам. От такой жизни оба с отцом похудели.

Неделю пожили, мерина запрягаю: «Складывай узлы!» Отвез ее обратно, у бани выгрузил. Мне ее стало тогда жаль. А на другой день на гулянке, слышу, поет:

Расставались с дорогим,
Пошла и не заплакала,
Буду с новеньким гулять,
Любовь-то одинакова.

Ладно, думаю. Свез, хорошо и сделал: баба с возу, кобыле легче.

После этого от женитьбы охоту отбило. Начал со сватом Андреем холостяжничать [1]. Было поплясано, по чужим деревням похожено, в овинах поночевано. Есть чего вспомнить.

8. СГИНУЛИ

В гости ходить любил больше всего. И сейчас бы ходил, да больно уж много стало праздников. Внахлестку так и идут, никак не угонишься. Да и здоровье тоже стало не то. Раньше я остановок не признавал, бегал регулярно по всей округе. Конечно, при таком деле и отряховки провертывались, не скажу. Поколачивали. Особенно первое время: смекалки-то, вишь, не было. Помню, только огороды трещат. Колья по твоей спине знай бухают. Отступаешь в поскотину, тюмы [2] считать некогда.

Да. Завел сперва гармонью, потом часы с цепкой. Костюм-тройка у меня был, еще до первого женсовета.

Помню, прихожу на игрище, игрище было у моей милахи. Сидим с ней в коридоре избы. Я на игрище один чужак. Местные, чую, запохаживали на волю, запоглядывали. Чувствую, скоро начнут колотить. У милахина отца было наварено пиво. Слышу, как оно ходит в бочонках ходуном. Я бочонки батареей перед собой расставил, затычки подколотил плотнее. Лампа в избе вдребезги — сейчас пойдут в полный рост. Я бочонок заранее поболтал, держу

[1] Почти то же самое, что и варзать.
[2] Тюмы — удары.

наготове. Пиво в нем гудит, как в атомной бомбе. Подскакивают. «Стой, кричу, лучше не подходи!» Ринулись... Я гвоздиком затычку колупнул. Бух! — человек десять легло грудой. А паники все нет, идут новые. Я другой бочонок. Бух! — с коридора как вымело. Бух, бух! — на лестнице чисто. Я палю, оне отступают. Разбежались. На другой день многих искали всем сельсоветом. Врать не хочу, все почти нашлись, только двух или трех и не нашли. Сгинули. Не мудрено и сгинуть: стекла во всех домах от моей пальбы вышибло.

9. БЫЛА НЕ БЫЛА

Добро холостым гулять, а от женитьбы все одно никуда не уйдешь. Редкий человек от нее отвертится. Есть такая болезнь — гриб. Знаешь, наверно. Как от его не изворачивайся — найдет и температуры нагонит. Нонешной осенью мне сват Андрей говорит: «Я теперь знаю средство, меня нынче ни один гриб не возьмет. Вон за неделю всю деревню перевертело, а я хоть бы что. Хожу да поплевываю». Я его слушаю, сам головой качаю: больно ты, сват, востроглаз. От гриба вздумал отбояриться. «Вон, говорю, идет вторая волна, ужо погляжу, как нос-то у тебя разворотит». Ерепенится: знаю средство, да и только. «Какое?» — спрашиваю. «Ставь, говорит, четвертинку — скажу». Я спорить не стал, выставил: «Ну, говори».— «А чего говорить — сам видишь, давай доставай стопки. Это средство самое верное». Вдруг как чихнет! «Ох, говорит, мать-перемать, надо было скорее, теперь уж не успею! Ну-ко давай, может еще и ничего». Чекушки как не бывало.

Наутро свата духу нет, на другое — не показывается. Слышу, старухи рассказывают последние известия. У свата кашель в оба конца. Думаю, не хвастай, сват, этот гриб слой найдет. Вот так и женитьба.

Мы с отцом высватали невесту в дальней деревне. Девка что картинка. В семье одна она да еще сестра старшая. Сестру замуж никто не взял — косая да и шадрунья. В девках уселась плотно. Мы высватали младшую. Тесть посулил в придачу самовар красный да суягную овцу. Ладно. Мне бы в сельсовете расписаться, да и дело с концом. А моя матка вздумала свадьбу сделать по-прежнему, с венчаньем. Церква тогда стояла еще со стеклами. Попик сперва упирался, потом пошел навстречу. Сходил в сельсовет за ключами. Я костюм надел, запряг мерина. По обычаю, невесту привезли в других санях, сидит фатой завешана.

В церкве темно и хоть волков морозь. Из-за этого хватили с попом лишнего. Иду к венцу, гляжу под ноги, чтобы не оступиться да людей не насмешить. Поп нас окрутил на скорую руку, по-стахановски. Все! Молодых садят в одне сани. Мать честная, как повернул я голову-то, так весь и обмер! Сестра-то сидит не млад-

шая — старшая! Косая! Зовут Виринеей. Я чуть не плачу, а тесть меня по плечу хлопает: «Кузьма Иванович! Я тебе заместо суягной овцы корову стельную! К самовару-то! И не пикнет!» Хотел я его из саней выкинуть, да совестно от народу. Эх, думаю, была не была, мне что корова, что овца! Попробую и с косоглазой жить, может, и ничего. С того дня Вирька да Вирька. Уж много годов с ней маюсь, а пораздумать — так вроде и хорошо... А? Чего? Ты, старушка, не хохочи и нас не подслушивай. Твое дело пятое. Сестры-то, говоришь, не было? Вишь, говорит, что у отца одна была. Здря, Виринея. Никогда не вру, могу и перекреститься перед человеком. Всю жизнь идешь поперек меня, одно спасенье — не обращать внимания.

ВТОРАЯ ТЕМА

(Как пошла у Кузьмы Ивановича семейная жизнь, а также про приработки к основному заработку.)

1. УХВАТЫ НЕ ВИНОВАТЫ

А вот ведь первое время тоже еле с ней совладал. С Виринеей-то. Выбрали ее один раз в члены правления, и начала заноситься. Заговорила на «а». Суп варить перестала. В избе по неделе не метено, ребятишки голодные. Чево? Ребят, говоришь, в ту пору не было? (Не слушай ее, все врет.) Конешно, не было, ежели занялась новым строительством. Значит, на чем я остановился? А ты, старуха, больше нас не перебивай.

Да. Так уж любила на собранья ходить, что и печь иной раз не топила, просто беда. Я уж ее всяко воспитывал и убеждал: «А ежели, говорю, руководство переменится? Что тогда запоешь? Ведь тебе, говорю, тогда не отчихаться». Нет, неймется. На слова никакого внимания. Выручил сват Андрей: «Ты, говорит, Кузьма Иванович, тоже начни ходить. По игрищам». Я так и сделал. Она на собранья, а я к девкам, на игрище. До полуночи домой не являемся, оба-два! Только узнала, сразу все дополнительные нагрузки в сторону. Как отрезало. Я, конечно, человек податливой, тоже сразу остепенился. На игрища ходить перестал. Хоть уж и попривык было к этому делу. Начал налаживать семейную жизнь.

А в семейной жизни что, думаешь, самое основательное? Самое главное — это чтобы брюхо никогда не простаивало. Только у брюха нагрузка кончилась, глянь и пошли перекосы. По всем направленьям, по всем участкам движенья. Это я много разов на себе испытал. Знаю. Досталось мне за свою жизнь с этим брюхом. Бывало, только очухаешься, жонка опять с заявлением: «Кузьма, мука кончилась!» Говорю: «Погляди внимательно!» — «Чего глядеть, все выгляжено. Затворить затворила, замешать нечем». Сижу, затылок скребу. Фунта полтора наскребешь, квашонку замешает. Три дня пройдет, она опять: «Кузьма, хлеб

кончился!» — «Пеки пироги!» Плюнет на мой валенок, уйдет в куфню. Ухваты, слышу, нечередом брякают. Ухваты не виноваты. Надо, думаю, эту канитель прекратить. Разве дело? Перед сенокосом выбрал свободное время. Выпилил три доски, выстрогал начисто. Сколотил из них полочку. Ушки из железа выстриг, повесил на видном месте. Бывало, только мука вся выйдет, я жонке шумлю: «Виринея! Время здря не тяни! Клади зубы на полку!» Слушалась. С этого лета у нас с ней ни лаю, ни ругани. Все конфликты разом отшибло. Живем дружно много годов. Деток вырастили. Кого хошь в деревне спроси, никто Барахвостовых деток не похает.

2. НЕМНОЖКО ПЕРЕТЯНУЛИ

Да, чего я тебе не рассказывал-то? Вишь, при ней-то не посмел, а после забыл. Теперь ушла, проходит до паужна. Вот слушай, как я ей, Вирьке-то, косые глаза выправил. А чево? Не веришь — не верь, дело твое, хозяйское. Могу и не рассказывать. Я не навязываюсь. Чево — ладно, чево — ладно? Вишь, сразу и Кузьма Иванович. Шестой десяток Кузьма Иванович! Я вашего брата всех слушал, не перебивал, пусть и меня послушают.

Дело было так. Помню, до того мне напостыло жить с косоглазой бабой! Лицом в одном направленье, глазами в другом. Кому хошь доведись, нелюбо. Выбрал момент, когда у нее чирей на шею сел. (А моя Виринея чего больше всего любила в молодые годы, дак это глядеть петушиные драки. Бывало, все бросит. Глядит, который которому натюкает. Я уж в эти минуты к ней не касаюсь.)

Подговорил свата Андрея: «Ты, говорю, привяжи к петуховой лапе длинную нитку, а сам сядь за угол. Да и волоки его, петуха-то, в нужную сторону, когда раздерутся-то». Так и сделали. Ну, сам знаешь, петух такое животное — всю жизнь только и норовит в драку. Чтобы своему же товарищу глаз выклюнуть. Первый начал который был на привязи. Налетел что вихорь. Тот сперва растерялся. Тут главное дело, кто первый начнет. Сцепились. Моя бежит, тут как тут. Петухи в азарт входят, безо всякой пощады друг дружку молотят. Виринея глядит. Я свату рукой махаю: мол, давай начинай. Время. Сват петуха потащил. Виринея глядит, все на свете забыла. Драка в сторону, в сторону. Моя всем главным корпусом поворачивается: шеей-то из-за чирья не повернуть. Я ногу подставил, другой ногой уперся. Плечом да кое-как, поднатужился, не даю ей поворачиваться-то. Кричу свату Андрею: «Волоки, мать-перемать!» Он волочет, я Виринею держу. Она не успевает поворачиваться, да и чирей мешает. Ну, глаза-то у ее и пошли сами, поглядом, за дракой-то. Аж хрустнуло чево-то под переносицей. Сват Андрей кричит: «Хватит аль еще?» — «Я откуда знаю, я не доктор! Давай, говорю, еще маленько, на всякий случай». Он волокет, я бабу держу изо всей силы, глаза

на лице выправляем. Как часовую стрелку переводим. «Стой, кричу, наверно, хватит, как бы не перетянуть лишка!» Сват петуха отпустил, драка сразу кончилась. Поглядели на Виринею-то: мать честная, совсем баба другая! Правда, немножко перетянули. Раньше направо косоглазила, теперь стала налево. А все равно с прежней не идет ни в какое сравнение.

3. НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Конешно, у нас с ней тоже были разногласия. Редко, но бывали, врать не буду. Она хоть и ударилась одно время в политику, а на пользу это ей не пошло. Как была несознательная, так и осталась. Теперь уж не выправишь, это тебе не глаза. Надо было раньше.

Главная стычка вышла, когда вступали в колхоз. У нас в деревне все мужики за один вечер записались в колхоз. Мы все сорок хозяйств на собранье за полчаса ликвидировали. Установили одно большое и наиобщее. Собранье в полном разгаре. Дошли до дров. Обобществлять единоличные дрова или нет? Моя с собранья убежала. Я проголосовал и за дрова, чтобы не семь раз по месту, чтобы до утра здря не сидеть. Домой идем прямо и гордо. На крылечко шагнул — моя ворота на крюк. Не пускает. Я к окошку — она на печь. Я опять к воротам — все как и раньше. Высунулась: «Неси леший! Ночевай в любом доме, для чего и колхоз!» Я говорю: «Виринея! Ты, говорю, подумай сама, что делаешь! Ну, ладно дрова общие, зато скоро чай будешь пить внакладку. Эко дело дрова! Нарубим!» Слышу, примолкла. Я приободрился, говорю: «Коров будешь доить воздухом!» Молчит. «Я на электрической вспашке». Чувствую, что слушает, а ворота не отпирает. Я свою агитацию двигаю дальше: «Нам бы только до весны продержаться, а там пойдет пожар по всем странам. По хлебным». Слышу, половица скрипнула. «Будешь ходить в розовой кофте». Идет, отпирает. На всякий пожарный случай добавляю: «Ребят родишь, растить не придется. Всех на государство сдадим, сами...» Не надо было этого говорить! Договорить не успел, ногу в притвор сунуть не успел, ворота опять хлоп. Слышу прежнюю реплику: «Неси леший! Домой не являйся! Я свои дрова на горбу по снегу таскала. Иди от избы!» Ну, думаю, все дело пропало, второй раз не откроет.

Ночевать пошел к свату Андрею. Сват Андрей сидит на крылечке. Время четвертый час ночи. «Чево?» — говорю. «Да вот... вышел на свежий воздух».— «Меня, говорю, тоже это... Тоже вот покурить вышел!»

Устроили коллективный перекур на свежем воздухе.

4. СДЕЛЬНАЯ

Началась общеколхозная жизнь. Мою Виринею поставили в передовые доярки. Дали шестнадцать стельных коров. Я — на подвозе силосной массы. Только, бывало, подъезжаю к строенью, сразу кричу: «Виринея! Принимай груз!» Она уже бежит навстречу, от восторгу вся розовая. Навильники у нее только мелькают. Ущипнуть не успеешь, ведра уже брякают у реки. Сапоги иной раз не на ту ногу обует да весь день так и бегает. В стенгазете ее хвалят, на слет везут в тарантасе. К моему прискорбью, спать перебралась на ферму. Я как адъютант за ней следом. Дом на замке круглые сутки. Все бы ладно, да сват Андрей подсатанивает: «Ты, Кузьма, только не отелись, гляди. Дело ночное, ошибиться недолго». Терплю. Трудодни нам с Виринеей не идут, а валят гужом. Накопилось под самую тысячу. Конешно, почету много, а толку наплакал кот. Говорю Виринее: «Пшеничников не пекла с прошлогодней масленицы! Юбка на заднице держится святым духом — разве ладно?» — «Не твое дело, выхожу на большую дорогу!» Я и говорю: «Хорошо. Выходи. А мне надо платить налог, хозяйство записано на меня. Буду искать другой слой». Лошадь и сбрую передаю другому, складываю инструмент в котомку. Иду по деревням класть печи. В людях кормят как на убой, почету не меньше. Никто меня не торопит, под локоть не тычет. Утром чаю попью, фартук надену. Глину разведу теплой водой — осталась в самоваре. Кладу кирпичи да попеваю: «Во саду при долине». Сват Андрей мне завидует: «Тебе, Барахвостов, что, тебе полдела. Харч даровой, квартера готовая, возьми в помощники?» — «Иди». Он говорит: «Я бы пошел, да правленье не отпускает. Вставай, говорят, в пожарники, и точка».— «Встал?» — «Пока нет, ждут фуражку». Ладно. Живем дальше.

Один раз я в колхозном овине сложил хорошую печь. На совесть, по последнему слову техники. Печь — что фабрика. Жаркая, не дымная. Работает как часы, простоит сто годов без ремонта. Рассчитались со мной по самой высокой графе, деньги наличными. Шесть овинов хлеба высушили, вдруг является сват Андрей. В фуражке. Спрашивает бригадира: «Топится?» — «Как в аптеке».— «Разломать!» — «Почему?» — «Не разговаривать, даю сроку четыре часа!» — «Хорошая печь».— «Разломать! В противопожарном отношенье». Печь потушили, оглоблями разворотили. Зовут опять меня: «Барахвостов, клади!» Я склал, приходит сват Андрей, дает команду: «Разломать! Дым идет не туда. По инструкции дым должен идти в левую сторону. У вас дым прямо вверх шпарит!» Оне ломают, я кладу. Дело идет без остановки. Работаем. Сват на окладе, у меня сдельная. Говорю свату: «Долго таким свистоплясом жить будем?» — «Да тоже, говорит, поднадоело. А чего делать?» — «Не ломать. Остановиться».— «Я, говорит, уж обращался к высшим инстанциям. Выполняй, говорят, приказ и не рассуждай. Фуражка вам зря, что ли,

выдана?» Я свату Андрею говорю в задумчивости: «Фуражка, оно конешно. Фуражка-то ладно, ты в ней как поручик. А я вон печи класть совсем разучился. Был печник как печник, стал неведомо кто».

5. СВАТ ХУДОМУ НЕ НАУЧИТ

Да, право слово, совсем я разучился. В новой конторе склал печь, вышла очень угарная. Заседанье правления назначат — все члены через полчаса синие. От звону в ушах дребезжат стекла. Решенья принимают не те, бумаги путают. Все шишки на Барахвостова: «Ты уморил!» Я говорю: «Ребятушки, извините, пожалуйста, сам не знаю, как получилось».— «Откуда в ушах звон?» — «Не знаю».— «Мы тебя, так-перетак! Видать, захотел на даровые харчи!» Я мастерком об пол: «Кладите сами!»

Недоимок у Барахвостова нет, налоги платил первым. Одно худо — в чужих людях. Домой придешь — корова не доена, Виринея на ферме, ребятишек сбираешь, как пастух, по всей деревне. Один раз сел доить корову сам, своими личными руками. Корова от непривычки и возмущения без остановки машет хвостом. То по носу, то по глазам. Животное — что с нее взять? Я свата Андрея увидел, на жизнь жалуюсь: «Нет никакой силы-возможности! Доить пойдешь — корова хвостом машет. Все глаза выхлестала».— «Ты вот что,— сват говорит,— ты к хвосту-то кирпич привязывай, да потяжелее. Хвост-от у нее огнетет, она и не будет махать». Сват Андрей худому не научит. Вечером пошел доить, сделал все точь-в-точь. Кирпич привязал, начал чиркать. Как она даст мне по голове-то! Кирпичом-то! Поверишь — нет, а я полетел, будто шти пролил. Лежу на назьму в бессознательном виде, сам думаю: «Не надо было свата слушать, надо было думать своей головой».

6. ВЫВЕРНУЛАСЬ

Я уже тебе говорил, что печи-то я сперва клал дородно. По всей окружности жилых деревень печи в домах стоят мои. Только себе не мог удосужиться сложить хорошую печь, топили по-черному. Дым идет под потолок, в спецдыру. Эта дыра называется чилисник. Бывало, замешкаешься, вовремя не закроешь — беда! Вся память, какая есть, вместе с теплом вылетает, остаешься при своих интересах. Со мной случалось такое дело много раз. Убей, ничего не помню, что было еще. В те годы. Помню только один случай. Как мы с Виринеей чуть-чуть не остались под открытым небом. При всех-то ребятишках. Летом забыли закрыть чилисник. А как раз поднялась гроза, пазгает во все стороны. Молния в чилисник-то и залетела. Залетела с огнем, изба у меня враз загорелась. Огонь от грозы гасят коровьим моло-

ком, знаешь сам. Простой воде этот огонь не под силу. У нас в ту пору коровы не было, только коза. Кричу свату Андрею: «Как думаешь, от козы погодится молоко огонь тушить?» Сват за ухом поскреб: «Ежели не больно жирное, так сойдет!» Ладно. Запрягаю, еду в поскотину, пастуху ставлю пол-литра. Так и так, животное требуется дома. Козу пулей привожу домой. Подоили, пожар в избе потушили. Еще бы немножко, крыша бы занялась. Видишь, как матица-то обгорела? Не видно, заклеила Виринея бумагой. Моя Виринея меня же и ругает, а я спрашиваю: «А чем корова лучше козы? Ведь будь тогда в нашем хозяйстве корова, разве бы я успел в телеге ее домой привезти? Да не в жизнь! Эдакую-то тушу. Сидели бы, говорю, без квартеры, на чужих бы подворьях с ребятишками маялись». Баба есть женщина, женщиной она и останется. Недовольна. Говорит: «Чем козу держать, так лучше никого не держать. Молока доит по фунту, да и то козлом от него так и разит». От молока-то. «Почему я не слышу?» — «Потому, говорит, что куришь, вот и не слышишь». Вишь как вывернулась. Вышла из положенья.

7. НЕРВЫ СДАЛИ

Конешно, с одной стороны, коза — животина очень экономная. С другой стороны, и Виринею тоже можно понять. Как человека. Уж больно эти козы любят блудить. Чуть что, и несут на них жалобы. Лезут везде, и особо туда, куда нельзя. Куда льзя, туда никогда и не лезут. Что за скотина?! Помню, только сядешь почитать (я уже тогда сидел в бригадирах), только сядешь, выберешь время, глядь, уж бегут: «Кузьма Иванович, твоя коза озимь щиплет!» Была бы озимь своя, наплевать. А озимь колхозная, коза своя. Да ведь еще и бригадир-то ты! Ну ладно. Это было после, а я говорю, как было до этого. Думаешь, почему мы козу завели? А потому, что с коровой совсем согрешили. Не стало никакого терпенья, нервы сдали. Всем была корова добра и доила по пуду. Бывало, подойдет ко крылечку, все понимает, только не говорит. Пока отдельно пасли, все шло хорошо. Как только стали пасти всех коров вместе, начала портиться. Избаловалась, дисциплины не признает. Бодаться выучилась, рога то и дело ломает. Скакать привыкла чуть не до князька. Начала перенимать худые привычки. Бывало, только подоишь (хвост я к ноге привязывал, обходился после без кирпича), только подоишь — молока полный подойник. А она, шалава, что делает? Она заднюю ногу поднимет да в подойник-то и обмакнет. Еще и побулькает в молоке-то. Ногой-то. Вот до чего дело дошло! «Нет, девушка! — думаю.— Так у меня ты скоро отвертишься. Первую партию вон уж на мясопоставку угонили». Все! Решенье мое твердое. Заодно и от молокопоставки ослободят. Эту сгонили на государство, купили другую. О двух сосках. Бородатую.

8. НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

После этого у нас с Виринеей что ни день, то арабский конфликт. Почала меня точить: «Все люди как люди, одне мы с козой маемся».— «Виринея! Поимей совесть, не говори не дело».— «Чево — не дело, чево — не дело?» Молчу. Ругается. Составляю план своих действий. Складу-ка я ей новую печь! Может, и остановится. Печь сделал на совесть. Первый день вроде поуспокоилась, на второй совсем хорошо. На третий — хуже прежнего, начала точить с новой силой. А к этому времю все тараканы от свата Андрея перебежали к нам на квартеру. Как узнали, что печь у меня новая, теплая, так один по-за одному к нам. Худа без добра не бывает. Жена на полатях ночует. Я внизу за печью. Как только начинает меня точить, я потихоньку да помаленьку валенки обую, да во двери, да прямиком к свату Андрею. Дома Виринея меня точит. Тараканы за печкой усами шевелят, шабаркаются. Она и думает, что это я живой, точит и точит. А меня нет. Она точит. Все тараканы через неделю обратно! Утром возвращаюсь от свата, гляжу — рыжие бегут. На прежнюю квартеру. Кто где, прямо по снегу. Друг дружку перегоняют, толкаются. Я кричу: «Чего мало погостили?» Домой прихожу — изба чистехонькая.

Что-то, паря, у меня худые пошли бухтинки-то. Нескладные. Про тараканов вроде не все сказал. А чего — вспомнить никак не могу. Памяти мало стало. Говорил я тебе, что память-то у меня вместе с угаром вышла? С тараканами делов было больше, это я хорошо помню. Вот только забыл в точности, какие случаи. Ну ладно, шут с ними. С тараканами-то.

9. ПОШЛИ КАК НОВЕНЬКИЕ

Про войну не буду и сказывать. Все равно никто не поверит. Ведь что за народ нынче! Бухтины гнешь — уши развесили. Верят. Начнешь правду сказывать — никто не слушает. Вот и тебя взять. Чего ухмыляешься-то? Правда, она что ость в глазу. Сидишь втемную, зажмуря глаз,— не больно. Как только глаз откроешь — колется, хоть ревом реви. Так и сидим, никому глаза открывать неохота.

На войне я до самой Праги шел цел-невредим, на Праге вышла оплошка. Шарахнуло. Домой отпустили — ноги разные, одна короче другой. На пять сантиметров. Иду со станции с клюшкой, переваливаюсь. Сел покурить. Мать честная! Гляжу — сват Андрей. Тоже вроде меня, ступает на трех ногах. «Здорово, сват!» — «Здорово!» — «Тебя куда?» — «В левую. А тебя?» — «Сам видишь, заехало в правую». Сели, поразговаривали. Сиди не сиди, а домой надо. Пошли. Оба хромые, ничего у нас не подается. У его левая нога короче, у меня правая. «Сват,

говорю, а ведь нам эдак домой к ночи не попасть».— «Не попасть». Идем дальше. Сват говорит: «Знаешь чего?» — «Чего?» — «А давай ногами менять. Я тебе свою окороченную, ты мне свою длинную. Мы потому тихо идем, что ноги разные у обоих». Я подумал, подумал, махнул рукой: «Давай!» Сменялись. Я ему свою ядреную, он мне свою хромую. У обоих хромоты как не бывало. Костыли и клюшки полетели в канаву. И пошли мы как новенькие. «Ну, говорю, и голова у тебя, сват! Еще хитрей стала, после войны-то. А у меня, говорю, вроде и остатный умишко из головы выдуло. Ведь мог бы сменяться еще в поезде, мало ли нашего брата, хромоногих-то».

Домой пришли как раз к самоварам.

10. НЕ В СТРОКУ ЛЫКО

В мирные дни у нас с Виринеей пошла на свет свежая ребятня. Откуда, дружок, что и взялось! Иной год по два-три. Первое время я в сельсовет ходил, записывал каждого четко и ясно. После и записывать отступился, принимаю на домашний учет. Один раз оглянулся назад-то, так меня в жар и кинуло. «Виринея, говорю, остановись! Остановись, Виринея! Я за себя не ручаюсь, могу умереть в любой момент. Дело не молодое». От моих указаний никакого толку. Все идет по прежнему графику. Пробую убедить с позиции силы — для себя еще хуже. Против меня все права, все уложенья кодекса. Ну!.. Шесть пишем да семь в уме, не знаю, что и делать. Сват Андрей придет, начнет пересчитывать: «Первый, второй, третий... Стой, Барахвостов, одного нет! Не знаю только, девки аль парня». Отвечаю: «Посчитай еще, с утра были все на месте. У меня с этим делом строго».— «Одного нету».— «Должен быть, возьми глаза в руки. Ты, говорю, всю жизнь живешь по своей арифметике».— «Это по какой?» — «А по такой! У тебя вон всего двое, да и те довоенного образца. А ведь харчи-то были не чета нонешним». Тут уж свату Андрею крыть нечем. Соглашается. «Пожалуй, говорит, правда. Ты, Кузьма Иванович, молодец. А вот ведь медаль-то выдали одной Виринее, разве ладно? Уж ежели она мать-героиня, дак и отца не надо бы обижать». Я, конешно, умом-то с ним соглашаюсь, а сам не уступаю. «Нет, сват, не правильные твои слова. Может, говорю, мущина-то был в этом деле не один, а с помощниками. Откуда правительству знать? Есть, говорю, и такие, любители на чужом горбу в рай заехать. А уж насчет медалей-то я знаю много всего кое-чего».

Да. Перед сватом-то я, конешно, свою марку держу. А как дойдет дело до зимы... Ох, товарищ, это прямо беда! Без бухтин, говорю, не в строку лыко. Лето-то еще ничего; босиком да на подножном корму — вроде и ничего. А как полетят белые мухи... Ну, ешкин нос, вспоминать неохота, шабаш! Шабаш, паря, шабаш! Виринея! Ставь-ко, матушка, самовар, жареной воды выпьем.

Три раза с утра пили? Ничего, попьем и четыре. Неси пироги! Все до последнего! Из шкапа, из печи, из погребца и с повети — все харчи волоки! Хоть теперь поедим.

ТРЕТЬЯ ТЕМА

(На ту же тему, что и вторая.)

1. БЕЗ МЯСА НЕ ЖИВАЛ

Кто скажет, что Барахвостов худой мужик? Нету таких в нашей деревне и не будет. Может, где в других деревнях и есть, а в нашей нету. Нет, Барахвостов мужик не худой. И спорить нечего. Хвастаться не люблю. Ежели желаешь, расскажу лесные бухтины. До этого шли полевые, теперь пойдут лесные. Лес — первый друг каждого человека. Вот и у меня тоже вскорости началась новая лесная эпоха. Осенью дело, сижу подшиваю валенки. В избе — несметный содом. Штурм Бе́рлина. Мои гвардейцы шумят, пищат на разные голоса. Все шубы вывернуты, табуретки кверху ногами. Вдруг слышу новый голос. Спрашиваю: «Виринея, а это кто?» — «Ох, этот кабы сдох!» Сама ведро схватила да в хлев. Я зову: «Кабысдох, Кабысдох, а ну-ко беги поближе!» Не выходит. «Ребята, волоки!» Мои санапалы рады стараться. Выволокли из-за печки нового зверя. Гляжу — лапы ухватом, глаза разные. Одно ухо висит мертвым капиталом. «Откуда? — говорю.— Чей будешь?» Мои мазурики кричат: «Ничей! Ничей!» Спрашиваю своих штрафников: «Кабысдох аль Ничей, говори точней!» Зашумели: «Кабысдох! Кабысдох!» — «Ну вот, так сразу и говори». А он хвостом мелет, лапами топотит. Породы, конешно, не разобрать, а глаза вострые. «Чем, спрашиваю, кормиться будем?» Молчит. Ладно, говорю. Сделаем на первый случай ошейник. К лету, смотрю, вырос. Ростом не больно велик, а слово чувствует. Восторгу и лаю лишковато, зато свой. Собака в доме есть — ружья нет. Покупаю в сельмаге берданку. Кабысдох проворнее час от часу. Научился обчищать соседские лошники [1]. Подкладыши оставлял, а свежие яйца волокет домой. Правда, без внутренностей. Сват Андрей по деревне жалуется: «Яишницы не хлебал с Октябрьской. Для чего шесть кур держу?»

Терпи, сват, еще не то будет! Бери пример с меня, покупай берданку. Утром, бывало, только свистну, Кабысдох тут. До лесу идем нога в ногу. Дальше — я вперед, он обратно в деревню. «Кабысдох, Кабысдох, кричу, ты что? Разве дело — бросать хозяина?» Шпарит домой, не оглядывается. По лесу хожу один.

Врать не хочу, спервоначалу ходил зря. Домой носил одни грибы. Лесная сноровка появилась намного позже.

---

[1] Лошник — место, где по утрам одна за другой садятся домашние куры, чтобы снести очередное яйцо.

Птица или там зверь, оне ведь что? Оне тебе тоже не лыком шиты. Одне летают, другие бегают. Так я, дружок, приноровился тетер-то привязывать к пенькам. Веревочек изо льна насучил. Пойдешь напривязываешь, оне и пасутся вокруг пеньков. Клюют ягоды. А на другой день ходишь да только постреливаешь. С подходу, не торопясь. Верное дело. Припасу не много шло, и устанешь не шибко. Без мяса не живал.

2. ПОВЕЗЛО

А сват Андрей и тут позавидовал. Купил ружье четырнадцатого калибру. С рук. В лес идем вместе со сватом. Мой Кабысдох увидел, что нас двое, осмелился тоже.

Пришли в лес. Кабысдох у пенька справил свое дело, обнюхался. Я говорю: «Кабысдох! Пора жить по-сурьезному. Ищи!» Хвостом вильнул и сидит. Глядит прямо в нос хозяину. «Ну чего? Сказано — ищи!» Тявкнул, подпрыгнул и опять сидит. Глядит. Сват Андрей встал и говорит: «Пустое дело. Ничего ему не внушить».— «Как так?» — «А так. Не понимает ни уха ни рыла». Котомку за плечи, пошел сват в своем направленье. Я сижу на валежнике. Закурил табаку: «Ну, что, говорю, станем делать? Так и будем жить зимогором? Нет, брат, я тебя кормить не намерен...»

Вдруг — заяц. Через кочки и лядины перемахивает и прямо на нас. Мой Кабысдох на зайца никакого вниманья. Сидит, будто и дело не его. «Беги, говорю, хоть поздоровайся! С зайцем-то!» Хвостом виляет, глазами мигает. «Ну, думаю, ты и дурак! Только тебе и дела, что воровать яйца. Больше ты ни на что и не гож. Иди домой! Иди, иди и не останавливайся!» Я ружье на кочку положил, за зайцем побежал сам. Ноги-то были не то что теперешние. Гоню его, косого, гоню и чувствую, что все пары́ сейчас кончатся. Кислороду в обрез. Остановился, кричу зайцу-то: «Давай, паря, отдохнем, больше не могу!» Отдохнули маленько, оба отпышкались. При моей семье много сидеть некогда. Встал. «Посидели, кричу, и хватит! Время дорого, надо бежать!» Побежали. Заяц от меня кругами, а я приноровился да пошел напрямую. Не заметил, как обогнал. Гляжу — нет зайца-то. Оглянулся, а он сзади меня, шпарит по моему следу. И тут — что ты думаешь? — тут мой Кабысдох увидел такое дело и на меня! С лаем!

Вот ведь, сучий сын, скотина! Облаял по всем правилам. Гонит меня и гонит, чуть не за пятки меня. Я впереди бегу, кобель за мной, а заяц идет по нашему следу. Вот так, думаю, охота! Хорошо хоть снегу нет! (Дело было по чернотропу). Ну да рассуждать головой — не тот момент. Бегу. Заяц за мной, и мой же кобель меня травит. Что делать? Пошел я тоже кругами, начал след запутывать. Кое-как да кое-как со следа Кабысдоха сбил. Очухался в какой-то болотине. Притих. Еле отдышался, а после выбирался

полдня. Из болотины-то. Пошел за ружьем. Встречаю свата Андрея. Ну, думаю, теперь не сгину. Рассказал ему, как было дело. Сват сперва не поверил. После вместе со мной охает: «Ну, Барахвостов, тебе еще повезло! Заяц, видать, молоденький, не больно проворный. Им, говорит, надо было тебя гонить-то не к болоту, а ближе к поскотине. Там бы тебе и капут, на ровном-то месте».

Вот, брат, какие судьба иной раз повороты делает. И самому дивно. Мой Кабысдох домой явился раньше меня, будто ничего и не было. На таких собачаров и надеяться нечего. Только хлеб едят, да в глаза глядят, да хвостом юлят. Сами того и гляди обманут.

3. КУПИМ НОВУЮ

Вот ведь не поверишь, а все равно расскажу. Был у меня один знакомый медведь. Истинно говорю. Каких только знакомых у меня не было, за жизнь-то. Этот был самый памятный. В какой мы с ним дружбе жили! Гостились одно время. Самостоятельный был, покойная головушка, век не забыть. Не веришь? Э, брат, в нашем лесу и не то можно увидеть. Бывают и почище события. Люди говорят: «Ты, Барахвостов, весь изоврался. Вомелы [1]. Ни одному твоему слову верить нельзя, у тебя что ни слово, то и бухтина». Хорошо, говорю. Согласен. Я тоже не святой, иной раз немножко прибавишь и от себя. Промашки бывают, не скажу. Число, бывает, перепутаешь, за имена тоже не ручаюсь. А в основном и главном — сущая правда. Бывало...

Да. Так вот, насчет медведя. Осенью ходил я на лабаза [2]. Один. Мой Кабысдох заболел, объелся пареной брюквой. Одну зарю сижу, другую. Сидишь, сидишь да и про медведя забудешь. Птичек слушаешь. Помню, с лабазов слез, пошел домой с песнями. Чекушку ополовинил. Иду по пустоши, пою. Вдруг — навстречу медведь. «Стой! — кричу.— Шаг влево, шаг вправо считается побег!» Он поглядел да как начал в меня плевать! Я одной рукой вытираюсь, другой наставляю ружье. Ружье оказалось незаряжённым. Медведь меня маленько помял, отступился. Вспотел. Ружье за дуло схватил да как даст о березу! Берданка вдребезги. Сам пошел в лес. Я сижу на дороге, в траве щупаю. Оборвал, охломон, все пуговицы. Кричу ему: «Стой, не ходи! Давай посидим в открытую!» Не слушает, идет все дальше, только треск стоит. Я опять: «Воротись! — говорю.— У меня есть малень-

---

[1] Вомелы — очень сильно, иногда сверх всякой меры и своих же возможностей.

[2] Лабаз — стог или дерево, куда от страху залезают охотники, карауляющие медведя. Обычно зверь не приходит, либо они накрепко засыпают и спят до утра. Бывают, однако, и такие случаи, когда дело заканчивается кровопролитием.

ко, вроде не вся пролилась». Слышу — сучки трещать перестали. Видать, сделал остановку. «Ей-богу, немножко осталось!» Слышу — идет обратно. Подошел, сел задним местом около меня. Все еще глядит в сторону. Я ему чекушку подал, он выпил прямо из горлышка. Лапой машет, от хлеба отказывается: мол, хорошо и так, без закуски. Я остаток допил, спрашиваю: «Вот ты всю зиму спишь, не кушаешь. Хлеба тебе не надо. Как это у тебя ловко выходит? Мне бы со своими так выучиться». Лапой, как человек, отмахнулся: мол, завидовать нечему, всю зиму крючком. Тоже не сладко. «Не куришь?» — спрашиваю. Мордой мотает отрицательно. Я опять за свое: «Открой секрет. Семья, говорю, большая, на всю зиму завалились бы, любо-дорого». Он встал, подошел к березе. Собрал от ружья все щепочки. Дуло там, накладку. Вижу — щепочку к щепочке прикладывает. Говорю: «Шут с ней, наплюнь! Купим новую». От дороги подальше отошли, сидели до темной поры, в магазин бегал два или три раза.

4. МИША-ХЫЩНИК

С этим медведем одно расстройство. Трезвый, медведь как медведь. Муху не обидит, не то что там корову или теленка. А как выпьет... Сам знаешь, останавливаться не умеем. Сперва вроде немножко, чуть разговеешься, после черепяшечку дернешь дополнительно. Ну, а потом пошло-поехало. Все тормоза отказывают, от восторга души поим всех подряд. Сами принимаем всякие новые образы. Шапки теряем. Говорим все, что надо и не надо. После каемся.

Тот медведь пил всю осень, до самого снегу. Берлогу искать не стал, от зимней спячки наотрез отказался. «Миша, говорю, подумай ты головой! Войди в чувство, остановись! Вон у тебя уж и глаза посинели, глядят не в ту сторону. Похудел весь, морда опухла. Долго ли до греха? Попадешь в больницу. Либо и совсем на дороге замерзнешь». Рыло вниз опустит, молчит. Соглашается. А что толку? Люди пошли совсем бессовестные, спаивают медведя нарошно. Сушняку воз наломает [1] — ему стопочку для начала. А после, с пьяным-то, делай что хочешь. Дрова ломает, считай, бесплатно. Ну, зиму он кое-как перекантовался, дожили до весны. Он подрядился в пастухи за сорок трудодней в месяц, на своих харчах. Сперва коровы его боялись, убегали в деревню. После попривыкли, дело пошло. Я ему барабанку выстрогал да две колотавочки. Барабанить выучился дородно. Бывало, по лесу идешь, слушаешь. Любо сердцу. Лето пропас чин чином. А зимой-то что медведю делать? Зимой ему положено спать. Этого спать отучили.

Отчетный год у нас все время после Нового году. Пошел,

[1] Несомненно, этот сюжет позаимствован Барахвостовым у писателя Константина Коничева.

сердешный, по миру собирать милостыни. В избу зайдет, у дверей встанет, кое-как перекрестится. Сперва по своему колхозу ходил, потом вышла бумага, чтобы всех нищих ловить и сдавать в сельсовет. Чтобы не тунеядствовали и всяких слухов по народу не разносили. Он и ударился в другую округу. Да так и пропал, больше я его не видал. Говорят, видели где-то на волоку. Потом прошел слух, что он спать лег да уснул чередом в берлоге. А будто бы из центра прикатили охотники-любители. Окружили его со всех сторон. Шестнадцать лбов. С огнестрельным вооружением, и все на одного медведя. В газете была заметка «Уничтожили хыщника». Это Мишка-то хыщник? Уж я, грешный человек, тогда и поматюкался...

5. УХА

Говорят: рыба да рябки, потеряй деньки. Что верно, то верно. Пока в этом деле найдешь слой, проходит большое количество дней. Всякая рыба имеет свою линию судьбы и свой подчерк жизни. Взять тех же ершей. Нынче их прозвали по-новому — хунвейбины. Раньше эту шпану тоже называли двояко. Лезут везде, куда не сунься. Большие их тысячи и мельёны шастают по самому дну. Едят чужую икру и зародышей. Все скользкие и колючие. Иной раз пролежит на воздухе целый день. Все, думаю, этот сдох навек. В воду опустишь, а он и мертвый щеперит перья. Отмокнет и пошел ныром в самую глубь. Воскрес, каналья! А ведь много часов лежал на свежем воздухе. Другой бы давно протух, этот стал еще настойчивее.

Сорога — та против ерша не устоит по всем пунктам. Хоть и хитра, а глупое место, клюет по-дамски. И хочется и колется. Червяка отщипывает по кусочку. С виду блестит, а телом слаба. Сорогу по клеву узнать очень просто, как и окуня. Этот фулиган и дурак. Налетает без разговору. Крючок заглатывает в самое нутро брюха и летит дальше. В это время его волокут наверх.

Так вот, братец, я хоть и сделал себе хорошую уду, а ловил по своему новому способу. Как? А так. Пока с удой-то сидишь, борода вырастает на полвершка. Весь итог — котелок ухи. Так я сократил все привычные сроки. Наша река летом пересыхает. Остаются глубокие рыбные омута. Я каменья к берегу накатаю, огонь растоплю до самого неба. Каменья эти все докрасна накалю, потом колышком в омут знай спихиваю. Пару, жару, конешно, много. Каменья-то шипят, по дну разаются. Ну, да ничего, терплю. Омут с рыбой за полчаса вскипятишь, за народом в деревню сбегаешь. Хлебают да крякают. Меня нахваливают: «Ай да Кузьма Иванович! Ай да Барахвостов! Вишь опять что для народа придумал!» Бывало, целое лето кормишь всю деревню. Коллектив для меня на первом месте. Ели уху ежедневным образом, еще и оставалось. Остатки, правда, съедали сами, сразу же. Кабы рыбнадзор не такой строгий, варили бы уху до сегоднего лета.

6. ВОЛЧЬЯ ПОДКОРМКА

Народ меня всегда уважал. Большой и маленький. Которое — за бухтины, которое — так. Один сват всю жизнь упрямится, на людях моего авторитету не признает. Двое сойдемся — нет мужика обходительнее. А при народе глаза в землю. Не глядит, только пышкает, вроде бы обижается. А на что обижаться-то? Я не виноват, что у меня голова по-другому устроена. Как погляжу — сразу вижу, чего делать.

Бывало, в наши колхозные угодья пришли откуда-то волки. Напустились — беда! Что ни день, то овцы нет. А то и двух. Никакого от них спасу, патрашат[1] как супостаты. Руководство — ко мне: «Барахвостов, выручай! Не знаем, что делать. Ежедень по две головы списываем, государству убыток!» — «Дайте подумать».— «Чего думать? Думать некогда».— «Ладно. Срочно соберите артельное собранье!»

Собрались все в одну избу. Беру первое слово: «Безобразничают? Да, безобразничают. Зорят? Да, зорят. Вопрос: почему зорят? Потому зорят, что жрать хочут. Бескормица. В поскотине зверю что есть? Нечего. По голове в день списываем».

Предлагаю установить для волков подкормку. Резать по четыре ярушки в день и выдавать волкам бесплатно. Сказал, сел, носовым платком лоб вытер. Вижу, проголосовали единогласно. Только сват воздержался. Решили — записали. Стали каждый день резать по четыре овцы и возить в лес. Волки буянить враз перестали. В лесу стало спокойно. До того стало спокойно, что и мой Кабысдох осмелел, бегал до ближней речки. Нет, что ни говори, без меня бы пропали. В колхозе-то. Намаялись бы.

7. ЛЮБО-ДОРОГО

В каждый прорыв — Барахвостова. Бывало, чаю сядешь попить — бегут. Посылали больше ребятишек: «Дядя Кузя, зовут!» — «Кто?» — «Требуют».— «Да куда требуют-то?» — «В контору». Все бросаю, иду. В конторе накурено не больно и мало. Дым ходит поэтапно, от пола до потолка. Здороваются об ручку. Стул подставляют, воды из графина наливают. «Так и так, Кузьма Иванович, вожжей нет».— «Чево?» — «В район выехать — вожжей нету».— «Дайте подумать». А чего думать? Была бы смекалка — додумались бы и сами. Прошу выделить рабочую силу, трех жонок. Утром до свету иду с жонками в лес, обирать с кустов паутину. Паутины насобираем, бечевок из ее напрядем. Из бечевок навьем веревок. Поезжай куда хошь, любо-дорого!

Приходит из центра директива насчет поголовья. План поголовья не выполняем из года в год. Что делать? Зовут Барахво-

---

[1] Патрашить — то же самое, что и варзать.

стова. Говорю: «Ладно. Выручу». Опять же в лес. Лосей назаманиваю, открываю лосиную ферму. Дополнительно. Доим, сдаем на мясо. Планы во все годы перевыполняем. Только и стоит: рога у лосей опилить! Сену — экономия, грубым кормам — само собой. Коровам стало нечего делать, телиться разучились.

Весна подходит. Удобренья выкупить — денег нет. В кассе — безвоздушное пространство. Тырк-мырк, опять к Барахвостову. Я деревню поднимаю. Берем ведра, фляги и топоры. Лес — под боком. Берез наподрубаем, соку нагоним. Срочно везем во флягах в райцентр. Открыли свой ларек с вывеской «Березовое ситро» колхоза такого-то. Меня — главным директором. Утром замок открою, Кабысдоха от скобы отвяжу, фартук надену. Начинаю торговать. Сорок две копейки кружка. Мужики с похмелья пьют, прихваливают. Крику этого: «Без очереди не выдавать!» Милиция конная. Толкаются. Казенные напитки никто не берет. Жалобы в типографию. Дело доходит до Москвы. Раз — и прикрыли! Говорят, перебиваем дорогу общей торговле. Ну, да не больно и обидно. Ситро все кончилось. Последнюю флягу распотчевал начальству, денежки пересчитал и домой! Только меня и видали.

Деньги сдавал в кассу все, до копеечки. За хорошую работу колхоз выдал премию. Берданку и патронташ.

ЧЕТВЕРТАЯ ТЕМА

(О том, как Кузьму Ивановича выбрали в бригадиры и чем все это кончилось.)

1. ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

Наша деревня часто оставалась без бригадира. Регулярно. Почему? Установить трудно. Причины были всякие и разные. Этот в леспромхоз уедет, этот сопьется. Многих переводили на повышенье, другие умирали совсем. Снимали и за непочтенье родителей. Сперва руководство переходило из рук в руки. Потом дожили до тупика: в бригадиры выбирать некого. Собираем общее бригадное. Бабы разнесли тайну колхозного правленья задолго до собранья: Барахвостова в бригадиры! Чувствую и сам, что гроза поворачивает на меня.

Первая попытка. Я что делаю? Я на собранье не иду, забираюсь в пустой погреб. Знаю такой закон: без наличия личности голосовать не имеют права. Сижу. Собранье тоже сидит, ждет Барахвостова. Час сидим, два сидим. Три сидим. Я начал задремывать. Летом в погребе прохладное дело. Тихо и сухо. Вдруг приходят прямо на дом. Виринея хоть и подговорена заранее, а все равно тревожно. Слышу разговор: «Где хозяин?» — «Сама не знаю, с утра мужика нет! Видно, на охоту уполз».— «А почему берданка, колхозная премия, на гвоздю?» Баба подрастерялась. (Где дак оне уж больно

востры.) Народ к ней с приступом: «Подавай мужика!» — «В избе дак нету».— «Как — нет? Берданка тут, и он тут. Вон и фуражка тоже тут!» — «Где?» — «Да вон фуражка-то, вон!» Я не стерпел, кричу: «Мать-перемать, эта не та фуражка! Эта фуражка праздничная, а та фуражка вот эта. На мне которая! У Барахвостова, слава богу, фуражек хватает!»

Не надо было сказываться! Из погреба подняли на руках: «Кузьма, мы тебя выбрали в бригадиры!» — «Не имеете права».— «Кузьма Иванович, единогласно!» — «Выношу самоотвод, голосованье не действительно».— «Принимай бригаду!» Вижу — не выкрутиться. Попался. «А кто печи класть будет?» — спрашиваю. «Печи класть можно по совместительству». Все. Аргу́менты кончились. На лавку сел, голову вот так руками зажал. Что делать? В минуту опасности? Делаю последние легкие вздохи: «Товарищи колхозники, меня на эту должность нельзя».— «Почему?» — «У меня болезнь, приве́з из Германии, после войны. Не хотел говорить, сами вынудили». Притихли. «Какая болезнь-то?» — «Нельзя мне с коллективом, болезнь заразительная».— «Как螺 названье?» — «Названье, говорю, этот... эта... ну, хавос. Хавос сердца».— «Хавос?» — «Да. Передается через карандаши и бумаги».

Вижу — подействовало! Расписал все по порядку, где и как эту болезнь подхватил, как вся наука много лет против нее действует и ничего сделать не может. Повздыхали бабы да и отступились. В бригадиры выбрали свата Андрея.

2. ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ

Сват не глупей меня, долго не насидел. Сняли за провал весенне-кукурузной кампании. Выплывает вторично моя многострадальная кандидатура. С хавосом теперь дело не выгорело, потребовали справку от местной медицины. (Кто свата округ пальца обведет, тот трех дней не проживет.) Увидел меня и говорит: «Нынче ты, Барахвостов, не отлытаешь. Хватит тебе дезертировать-то. Выберем. Погляжу, чего запоешь».

Махнул я на все рукой. Принял должность по акту, говорю на собранье: «Вот что, бабы и граждане! Ежели поставили, дак у меня чтобы слушаться и пустяками не заниматься! Будем поднимать бригаду!»

В каждом деле надо находить главное звено и центр притяженья: первым делом завел документацию. Толку мало. Установил штрафовальную таблицу и распорядок дня. Сдвигов нет. Организовал наглядную — никаких перемен к лучшему! Что за притча? Иду на риск и принимаю такое решение: постепенно все рабочее поголовье людей перевести на должности. Ежели человек на должности, у него другая ответственность и новый угол подхода. Решаю: всех людей до сенокоса перевести в началь-

ство, другого выхода нет. Сказано — сделано. Перестройка заняла меньше трех недель, всю деревню быстро перевел на новую систему практики. Рядовых колхозников нет ни одной души. Смотрю — народ не узнать! Шкала материального уровня сразу шагнула вверх: сельпо не успевает завозить лисапеды. Избы подрубаем, крыши перекрываем. Ребят рассылаем по институтам, самым грудным — детские ясли. На каждого члена семьи — сберегательная. Очень хорошо пошла жизнь в деревне моей бригады. Люди со мной и раньше здоровались, теперь от теплых слов нет отбою. Идешь по делам. Останавливают прямо на улице: «Кузьма Иванович, благодарим!» — «Не моя, товарищи, заслуга, не моя». Один сват мной недоволен. Глядит быком. «Так-то, говорит, и я бы мог, дело не хитрое».— «Не бы, говорю, да не кабы, так на шестке росли бы грибы. Тебе-то, сват, кто мешал головой думать?» Свату сказать нечего. Окурок в землю затопчет, пойдет домой.

3. НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Конешно, личная жизнь в бригаде пошла лучше, не скажу. Колхозники-то мной довольны. А как быть с верхним начальством? Продукцию-то давать мы совсем перестали, планы подъема висят в мертвом воздухе. Ее благородие, королева, на полвершка из земли вылезет, дальше хоть тащи ее за уши.

А все ж таки я тебе скажу честно. Бригада все время держала первое место. Переходящий вымпел из рук не выпускали: три года лежал в моем шкапу. Каким способом? Очень просто. В соревнованье голова нужнее всего. Я, бывало, наряд сделаю, баб распределю. Сам иду по соседским бригадам. Под видом неотложного дела. Соседские пашут, ты — к ним. Товарищи, дайте закурить! Где одна цигарка, там и две; где две, там третьей не миновать. Стекаются. Пока курим, я какую-нибудь жиденькую бухтинку и расскажу. Народу станет больше, я бухтинку поволожнее. Все скопятся, пускаю тяжелую артиллерию. Лошади дремлют, плуги в земле. Народ слушает. Я заливаю бухтины, одна другой чище. Люди на лужке то в покатушку, то сидят смирно, от изумленья шеи вытянули. Как журавли. А мне это и надо, бригада не моя. Лошади дремлют, плуги в борозде. Весенний день год кормит.

Солнышко за полдень, а я еще не почал с картинками. Лошади оглядываются, солнышко к земле. День долой, соседушки пальцем не ворохнули. Вечером схватишься да бежать: «Ох, так-перетак, засиделся! Извините, пожалуйста!» Утром наряд сделаешь, идешь в противоположную сторону. Так и ходишь все вёшное.

Мои бабы — худо ли хорошо — понемножку тюкают, шабаркаются. Суседи сидят, мои бухтины внимательно слушают. Бригада Барахвостова вырывается вперед.

Передовики в любой кампании. Грамот навыдавали — обоев покупать не надо. Картин живописи тоже не требуется. Не изба, а музейная редкость.

4. ПОШЛА, МАТУШКА!

Ни у кого не растет, у меня королева первый сорт. Барахвостов найдет слой. В любом невыгодном положенье.

Что делали? Э, брат, много кое-чего делали. Было делов с ней, мокрохвосткой, врать не хочу. С кукурузой-то.

Первая беда налетела в виде грачей. Жрут королеву, носами из земли выковыривают. Пускаю в ход своего Кабысдоха. Этот знает, что делать. В поле день и ночь мерзнуть не будет ни за какие деньги. Заприметил двух грачей, самых старых и самых важных. Кабысдох на одного лает, а другому сам лапами помогает королеву из земли выгребать. Один грач при помощи Кабысдоха голодный как волк, другой ходит по пашне сытый. Разодрались. Грачи-то. За одного заступились одне, за другого другие. Пошла в поле катавасия, Кабысдох дело сделал. Ах, молодец кобель! Хоть и жулик! Грачи разделились на две партии. Вижу, клюют день и ночь друг дружку. Этим не до королевы. Зону стычки перенесли в лесные угодья. Крик, шум — только перья летят! Кормятся чем попало, а борьбу не останавливают. Кукуруза на два вершка выросла, дальше заупрямилася.

Даю бабам приказ: «Поливать парным молоком! Два раза в сутки, утром и вечером!» Тепла, вижу, ей очень мало. Колышек на меже вбили, солнышко на веревочку привязали. Оно по небу туда-сюда, на ночь не закатывается. Пошла королева-то! Пошла и пошла, матушка, будто что прорвалось. Я говорю: «Бабы, нервов не ослаблять. На успехи не обращать вниманья, поход продолжаем!» Веревка один раз обгорела, солнышко оторвалось. Еле изловили, навязали на проволоку [1]. Ветер не тот подул, холодный, северный. Я — всю бригаду к ветряной мельнице. «Бабы, крути! За шестерни, за колеса! Разгоняй!» Чтобы крылья вертелись, воздух гонили в другую сторону. Королева растет по десять сантиметров в сутки. Период молочной и восковой спелости проскочили без остановки. Ох, я тебе скажу, намаялся я в ту пору! Ночами не спал, бородой оброс хуже тебя. Штаны в гашнике Виринея ушивает каждую декаду. Еле зимы дождался. Очухался, в баню сходил. Себя в порядок привел. Со сватом чекушку выпили, сват говорит: «Эх, как она тебя! Повытрясла. Похудел, что новобранец, выбегался».

5. ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Только пришел в чувство — телеграмма. «Товарищ Барахвостов! Точка. Поскольку ваша бригада заняла первое место. Точка.

[1] Как выяснилось, Кузьма Иванович еще до войны действительно читал гоголевскую «Ночь перед рождеством», хотя и забыл все начисто. По всей вероятности, идея пойманного солнца навеяна Барахвостову скорее новейшими достижениями науки и техники, чем прежними впечатлениями.

Направляем шефскую группу тридцать человек женщин. Именно лично вам. Обеспечить ночлегом. Точка».

Сперва-то приосанился. А как одумался... Обеспечить ночлегом. Да я и с одной Виринеей намаялся. А тут тридцать штук. Да еще городские, шефские.

Ну ладно, стали готовиться к шефской помощи. Двух баранов зарезали, вымыли и протопили нежилой дом. Постелей настлали, ждем. Шефки приехали под вечер. Все намазанные. Краска в основном и главном трех сортов: черная, красная и белая пудра. Багаж не приметил, а тоже вроде одне мазила. Спать не ложатся, поют песни. Всю ночь пропели, утром улеглись. Надо будить кормить, не знаешь, как приступиться. Ребятишки к ним в окно заглядывают. Бабы судачат. Некоторые мущины начали появляться в бритом виде. Ну! Теперь жди помощи. До этого, худо-бедно, лен стлали, теперь все, вижу, останавливается. Захожу в избу.

«Дяденька, сюда нельзя!» — «Не дяденька, а бригадир. Барахвостов Кузьма Иванович!» — «Кузьма Иванович, к нам так заходить нельзя. Мы, может, раздетые!» — «Хорошо, не буду. Только, говорю, вот вам мое вступительное слово. Ежели спать будете до обеда, дак и варите суп сами. Молоко тоже будет не свежее». Зашушукали: «А что мы будем делать?» — «Делать будем расстилку льна».— «Кузьма Иванович, лучше мы вам покажем концерт!» — «Дело ваше, можете показывать что хотите. На то вы и шефы».

Того же дня открывают репетицию. «Дамочки! — говорю.— Гастроль-то гастролью, а этот, лен-то, тоже надо бы... Под августовские росы».— «Кузьма Иванович, вы отстали от жизни, теперь месяц октябрь! Такого-то числа приходите на тематический вечер».

Что станешь делать? Вся деревня только и говорит про тематический вечер. Бабы кое-кто поднимают мелкую панику. Мужики заходили в начищенных сапогах. Пошли всякие мутные слухи. Производство встало. Шефы до обеда по три снопа расстелют, с обеда на репетицию. Я — матюгом. Оне на меня: «Фу, как некультурно! Вас, Кузьма Иванович, надо на десять суток». Тут уж мне сила воли отказывает. Говорю категорически: «Гражданочки! Объявляю два вегетарьянских дня, мясо кончилось! Супу не будет, кислого молока вдоволь!» На мои слова никаких возгласов. Даже не оборачиваются. Ладно. Два дня не кормлю, держу на одном кислом молоке. На третий всех ставлю на обмолот и сушку гороха. Вегетарьянских-то. Вечером намечен концерт, гляжу, ходят многие боком. Иная и совсем стороной. Разговору и щебету стало не слышно, тематический вечер отменили. Уехали на другой день. Дисциплина в бригаде восстановилась полностью в прежнем виде.

6. ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ

Командированных ездило одно время очень большое количество. И все разные. Не успеешь приноровиться к одному, приезжает другой. С новым характером и другими привычками жизни.

Все-таки великое дело практика! Какие ни разные, а их всего-навсего три главных категории. Погоди не перебивай, все расскажу сам.

Значит, так. Первый разряд — это уполномоченный угрюмый, второй — веселый неженатый, третий — рыбак. К веселому я быстро приноровился. Сразу видно, что надо делать. Либо сам самовар ставишь да Виринею в лавку, либо устраиваешь на ночлег к определенной доярке. С веселым дело ясное. Ладили. А вот угрюмого я раскусил не сразу. Помаялся. Тут, я тебе скажу, главное дело — не торопись. Дай человеку войти в свое русло, чтобы заговорил, не молчал. А уж как заговорил — не зевай! Где поддакивай, а где и поднеткивай, чтобы он говорил, говорил, не останавливался. Потому что какая ни на есть угрюмость, а когда человек говорит, то не так опасно. Строгость из его выходит словесной речью, как простуда в бане. Во-вторых, со слов узнаешь его судьбу, а зависимо от судьбы ведешь план разговора. На ходу прикидываешь: «Так. Пуговицы на пальте нет. Значит, либо совсем овдовел, либо жена попалась мадама. На часы часто глядит — этот долго не вытерпит, в командировку послали силой. Соленого-копченого не ест — болезнь желудка. Не забыть сходить к свату за медом». Ну, одно, другое, глядишь, находим личный контакт. Мужик отмяк, не хуже иного и веселого.

С рыбаком, с тем проще простого. Вспоминают, зачем приехали, в последний момент либо не вспоминают совсем. Командировки отмечать забывают. Правда, рыбак, он тоже не сразу мне позиции сдал. Разный он тоже, рыбак-то. Один любит мурмышку, другой — острогу. Третьему подавай готовую тройную уху. Четвертый уду насадит да и ходит весь день по берегу, ищет всякие коренья и загогулины. Кому что. У тебя-то какая специальность? Ну, ну, мне не жалко. Записывай.

7. ПОСЛЕДНЕЕ СРЕДСТВО

Чем тема кончилась? Тема кончилась сама по себе, как и положено. На бригадирской должности сижу три годовых сезона. Починаю четвертый, чувствую: умру. Здоровья совсем не стало, что ни день — полное расстройство нервов. Внешнее-то питание, правда, наладилось, да поздно. Желудок внутрь не принимает. От курева весь почернел. Левая нога начала дрыгать. Все. Надо уходить в срочном порядке. Пишу заявление. Резолюция — отказать! Пишу второе — отказать, обязать работать. Потом и заявленья отстали принимать: у нас, мол, кадры на дороге не валяются. Решил

идти напролом — начал выпивать. Это средство тоже не действует. Ругать ругают, с должности не снимают. Я — в панику: что делать? Принимаю последнее средство. Всю организаторскую работу заваливаю, все делаю наоборот. Регулярно выступаю против общих мероприятий. Вызывают в район. С женой простился, иду. «Товарищ Барахвостов?» — «Так точно, он самый!» — «Так вот, товарищ Барахвостов, решили мы тебя направить на курсы. Для повышения вашей квалификации. После курсов даем более высокую должность».

У меня волосье на лысине — дыбом: «Ребята, отпустите, ради Христа!» — «Разговоры отставить, через два дня выехать на курсы!» — «Товарищи, мне не справиться!» — «Поможем, товарищ Барахвостов, поможем». Пришлось ехать. Моя Виринея уж и поревела тогда. Я говорю: «Не плачь, Вирька, все равно убегу!» Что ты! Разве убежишь?

После курсов дали мне новую должность. Я хоть и ерепенился, да слободы не получил. А тут и сам стал привыкать, понемногу вхожу во вкус новой жизни. Покупаю галстук и пыжиковую шапку. Записываюсь в общество «Урожай». Получаю квартеру, меняю походку. Разучиваю кой-какие иностранные фразы. Через шесть месяцев переводят в область, через год Барахвостов в центре. Своя машина. Ладно. Тут как раз свободное место в объединенных нациях: «Товарищ Барахвостов, выручайте, решили выдвинуть вас!» Еду на пароходе в Америку, принимаю дела. Нога перестала дрыгать, лысина обросла. Вылечили. В космос, правда, летал только два раза. В районе Венеры. Перевели на пенсию.

ПЯТАЯ ТЕМА

(Самая темная.)

1. МЕСТОВ НЕТ

Пока я в отлучке был, сват Андрей умер. Завернуло, сказывают, в одночасье, только его и видели. Мой кобель Кабысдох жив, а свата нет. Виринея, та совсем оглохла. Жизнь пошла под уклон. Поговорить не с кем, контору колхоза перевели в другую деревню. Барахвостов дурак, что ли, жить в такой обстановке? Принимаю решенье: николин день отгулять, вино не торопясь выпить да и умереть. Затягивать, думаю, нечего, так и так не отвертишься. Все сделал по плану, умер честь честью. Как уж там меня хоронили — это не в курсе. Моя Виринея, может, и поревела недолго. Не знаю и врать не хочу.

Началась самая темная тема. На третий день прихожу на тот свет. Не пускают. Стучусь. Высунулась чья-то круглая голова: «Кто ломится?» — «Я».— «Кто такой?» — «Барахвостов. Кузьма

Иванович. Умер третьего дня».— «Местов нет!» Хорошо, что курева было вдоволь. Не надо было, думаю, связываться, жил бы да жил. Людям канители наделал, сам, как шпана, под забором ночую. Ну ладно, прохожу на ту сторону, спрашиваю: «Так, значит, меня куда: в рай или в ад теперече?» — «Вы что, с того света?» — «Так точно».— «Газеты, гражданин, надо читать: ни ада, ни рая давно нету. Произошло слиянье ведомств».— «Неужели теперь все вместе?» — «Да».— «Лучше или хуже?» — «Смотря с какой стороны рассматривать. Теперь все равны, все грешники в правах восстановлены».— «Грешить, значит, можно?» — «Дело ваше. Мы к этому не касаемся. Анализы все сданы?»

Дурак я, дурак, вишь, разговорился! Накликал беды на свою шею. Надо было поскорее идти, да и дело с концом, а я приостановился. Свата Андрея того дня так и не нашел. Пришлось проходить все анализы. Было делов-то.

2. НОМЕР СВАТА АНДРЕЯ

Люди там все поголовно ничего не делают. Чаю не пьют. Шуров-муров — ни-ни, только одно сиденье с мыслями. Сидит, глаза закрытые. Подойдешь к нему — вроде бы спит. Один раз осмелился. Спрашиваю: «Гражданин, скажите, пожалуйста, о чем думаете?» Отвечает: «Как это о чем? Думаю, о чем завтра думать. Сначала идут простые мысли. После с развитием головы начинаются мысли об этих мыслях, потом мысли всеобщие. Из всех всеобщих приходит одна наиобщая, самая верхняя. От ее начинаешь все сначала, в том же направлении».— «А дальше? — спрашиваю.— Потом-то чего?» Поглядел как на дурачка, разговаривать не пожелал. Ладно, иду дальше. Сидит другой. Задаю прежний вопрос: «А вы, гражданин, тоже в том же направленье?» — «Нет,— отвечает,— я уже обратно».— «В смысле?» — «В смысле наиобщего смысла к всеобщему, от всеобщего к общему».

Ничего я не понял, рукой махнул. «Мне бы, говорю, гражданин, дров поколоть — где есть возможность?» Глаза выпучил, не понимает. «Дров, говорю, поколоть бы». Задумался, после спрашивает: «Номер?» — «Что — номер?» — отступаю на всякий случай на два шага назад. «Номер вашей души?» — «Пока нахожусь без номера». Он только хмыкнул. «Тут, говорит, и с номерами-то и то не можешь доступиться, а он без номера захотел. Хитер больно. Знаем вашего брата, свежих-то. Так и норовят без очереди».— «Ну, говорю, тогда помогите, пожалуйста, найти свата Андрея».— «Я, говорит, и есть сват Андрей. А ты Барахвостов, что ли? Давай проходи дальше, не мешай думать».

Вот так, думаю, номер!

3. ПЕРЕКУР

Маленько отошел от него, гляжу. По штанам вроде бы он, по обличью совсем другой. Ой, да что там обличье! Тут обличье у всех одинаковое. Подхожу опять потихоньку: «Сват, а сват?» Не откликается. Обращаюсь в полный голос: «Остановись хоть ненадолго, поговорим!» И не пошевелился сват. Ну, думаю, дело понятное. Бывает. Я когда в объединенных нациях служил, дак тоже не больно-то с земляками разговаривал. Хоть сват, хоть брат, проходи, не вникай. Почтительно посидел, потом говорю: «Сват, сколько годов жили в одном колхозе. Моя девка за твоим парнем, как-никак родня. Давай поговорим!» Нет, молчит. Что, думаю, с человеком время-то делает! В свате Андрее нету свата, остался только Андрей с номером! «Может, закуришь?» — кричу. Смотрю, сват враз очнулся. Цигарку-то еле завернул, руки с непривычки трясутся. «Вот-вот, говорю, перекури. Остановись думать-то». Закурил сват, воровски оглянулся и говорит: «Ты, Барахвостов, только потише. Не шуми. Давно с дому-то?» — «Шестой день. Умер по собственному желанью».— «Ну и дурак! Я бы на твоем месте жил бы да жил».— «Дак в чем, говорю, дело? Давай убежим обратно, да и вся недолга».— «Нельзя, Барахвостов».— «Почему нельзя, все льзя».— «Назад нельзя отступать. Надо вперед. Не для того думаем».— «Откуда знаешь, что вперед, может, назад. Ты, говорю, как хошь, а я обратно». Отсыпал ему табаку, адрес записал да бегом от его. В сторону проходной.

Ох, маткин берег, так и знал, что обратно не пустят! Подбегаю я к проходной-то, а меня за рукав: «Куда?» Я совсем растерялся, говорю: «Так и так, надо сбегать обратно, забыл дома эту... как ее. Постельную принадлежность».— «Никаких принадлежностей, думать можно в сидячем виде!» [1]

ШЕСТАЯ ТЕМА

(Последняя. Как Кузьма Иванович живет в настоящее время и о его планах на будущее.)

1. РАЗОШЛИСЬ ПОДОБРУ

Обратно-то прибыл, а дома тоже не признают. «Ты, говорят, умер, значит, тебя и нет». Из всех списков похерили. Пенсию списали на второй день после похорон. Кабысдох ушел жить на молочнотоварную ферму. Виринея нашла нового старика. «Ребята,

---

[1] На этом месте по вине автора пятая тема обрывается. Какими путями удалось Кузьме Ивановичу уйти обратно — неизвестно. Автору стоило многих трудов, чтобы подбить его на продолжение бухтин, но Барахвостов так и не стал завершать пятую тему. Надо заметить, что последующие бухтины записаны по памяти и автор не ручается за их стенографическую точность.

говорю, как так?» — «Ничего не знаем, с покойником не разговариваем».— «Войдите в положенье, со всяким может случиться!»

Ну, потихоньку-помаленьку пенсию воротили. Хотя и не сразу, а стали носить. С Виринеей дело было много труднее. И старик-то, прохвост он эдакий, знакомый, вместе под Ленинградом служили! Я говорю: «Ты, мать-перемать, уж больно скор! Не мог погодить, сразу и прибрал к рукам».— «А жалко, говорит, так бери! Не больно-то я и обзарился».— «Это, спрашиваю, как так? Не больно обзарился. Это что, в самом деле? Сейчас же откажись от своих слов! Я оскорбленья личности не потерплю, моя Виринея не хуже других!» — «Глухая и забытоха. Самовар без воды поставила, вконец распаяла. За самовар плати, получай свою Виринею. Какая была, такая и есть, ничего от нее не убыло».— «И платить, говорю, не буду, и разговаривать не имею желанья».

Кабы старая сударушка
Была не по душе,
Не ходил бы ночи темные,
Не спал бы в шалаше!

2. ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕРЕПИСКА

Один раз сидим, пьем чай с баранками. Вдруг почта приносит пакет. Под сургучами, боюсь распечатывать. Екнуло сердце — оттуда! Ох, не везет, только успел наладить личную жизнь. Распечатал, читаю смысл:

«Гражданину Барахвостову. В срочном порядке предлагаем явиться. Как сбежавшему. Явка строго обязательна, обжалованью не подлежит». Число разобрал, подпись не разбирается. Первая мысль — не надо было распечатывать! Послать бы обратно, будто и дело не мое. Ох, дурак, дурак! Тырк-мырк, не знаю, чего делать. Первый раз в жизни опростоволосился. По избе бегаю. Советуюсь со своей половиной: «Виринея, что будем заводить? Как быть?» Виринея конфету распечатала: «А требуют, так надо идти!» Ох, мать честная, такое меня зло взяло! Чуть стол не перевернул. «Ты что, говорю, так-перетак, видать, пондравилось? В чужой-то деревне!» — «Да я что, я пожалуйста. Я ничего и не сказала».

Не сказала... Знаем вашего брата, только и норовят в сторону. Я маленько поуспокоился, сам с собой думаю: «А не пойду, да и все. Будь что будет». Через неделю приходит вторая депеша. Я — из дому ни ногой.

Начинается односторонняя переписка. Депеши ихние прикалываю на гвоздик, сам стараюсь не обращать вниманья. Целое лето так и тянулось, письмо за письмом: «Гражданин Барахвостов, даем сто восьмое серьезное предупрежденье!» Нет уж, молодцы хорошие! Я вам больше не ходок. Дураков ищите в другом сельсовете.

Подают в розыски. За мою голову назначают большую сумму валюты. Вижу, дело худо. Чего-то надо делать.

Ныне после уборочной покупаю новый бумажный костюм, еду в гости. К зятьям и к невесткам. Отступились. А я уже было думал: придется менять фамилию. Самое это последнее дело.

3. УХОЖУ В СЕБЯ

Когда уезжал, дак говорю Виринее: «Гляди, Виринея, чтобы все ладно было. Ежели и в этот раз не устоишь, домой не жди. Все чемоданы с гостинцами оставлю при себе, сам женюсь на городской. Такую еще отхвачу, и коготки лаковые». А что? Я — Барахвостов, натуры у меня хватит. Из деревни пошел, ни на кого не гляжу. Народ вперед забегает: «Кузьма Иванович, счастливо! Кузьма Иванович, поклон сказывай!» Первый раз в жизни горжусь, поехал в гости. Детки выросли, можно и пофорсить. В поезде меня то и дело культурно спрашивают: «А ваше имя-отчество?» — «Кузьма Иванович Барахвостов, оттуда-то».— «Здоровье, простите, как? Не жалуетесь?» — «Зубы подводят, а в остальном хорошо. Имею, правда, фронтовое раненье ноги, к погоде побаливает».— «Выпить не желаете ли?» — «Благодарственное спасибо, не потребляю».

Сидим, едем. Не доезжая до города, вижу скопленье домиков, стоят рядами, вроде пасеки. Спрашиваю: «Простите, это для чего? Кого откармливают?» — «Нет, это фанерные дачи, народ выезжает на выходной».— «Понятно».

А самому ничего не понятно.

С вокзала прямо по адресу. К одной невестке, к другой. Все чернявые, крашеные, юбки чуть не до пупа. Глядеть неловко, отвожу свои взгляды в левую сторону.

Живу. Каждый день по два раза посылают на кулинарную куфню. К вечеру ноги как чугунные. Разуюсь, сижу под водопроводом. Сапоги убирают в уборную. Курить не дают. Перешел к зятю, от зятя к другой невестке. Эта тоже начала воспитывать: «Вы, папаша, совсем темная личность. Культуры не знаете». Слова говорю не так, думаю не так, ступаю не так — все поголовно меня учат!

Хорошо, буду учиться городскому обхожденью и пониманью. Я понятливый. Выучился, поумнел — опять не ладно: «Вы, папаша, больно много знать стали!»

Не любят ни такого, ни этакого. За что не любят? Мало знаю — ругают, много — боятся. Чувствую, всю дорогу меня переделывают. Да надо мной же еще и хихикают. Ухожу от греха сам в себя. Им опять не ладно! Опять недовольны: «Вы, папаша, совсем бессовестный, мы вам добра хотим, вы — сами в себя». Думаю своей головой: «Это вам же лучше, что ухожу сам в себя! Вам же, дурочки, надежнее! А ну-ко бы я начал наоборот, из себя выходить? Что бы тогда было? А неизвестно, чего было бы...»

4. РАЗЖИЛСЯ

Обидней всего — назвали бессовестным. Ночами не сплю. Может, и правда мало во мне совести-то? Надо, думаю, разжиться. Деньжонки еще оставались, да и от Виринеи получил перевод. Пятнадцать рублей. Беру хозяйственную сумку, иду на рынок. Протолкался до обеда. В этой толкучке ни у кого совести нет. Зашел в комиссионный — говорят: была, да всю продали. Еще на той неделе. Ладно. Может, из-под полы где достану? Поспрашивал, ни у кого нет. Старушка какая-то посоветовала: «Садись вот на такой-то автобус, доедешь до последней остановки. Спрашивай в деревянных домах».

Поехал, стучусь в первом дому. Выходит гражданин, тапочки на босу ногу: «Была, говорит, да всю продал. Еще до праздника. Деньги были очень нужны». Брюхо почесал, дверями хлопнул. Я — в другой дом. Так и так, в цене не постою. «Пожалуйста, говорят, можем продать сколько надо. Только деньги сразу». Я обрадовался. «Конешно! Конешно!» — «Давай посудину!» Рассчитался честь честью, прихожу на квартеру. К невестке. Та и вниманья не обращает да еще потом ехидничает: «Ишь, какой совестливый стал папаша-то!»

Домой приехал — сумку в погреб. Лежит третий год.

5. ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ

Съездил не зря, потому что понял цель жизни. Основную. Какая цель та? Как тебе сказать... Не каждый, пожалуй, поймет. Я, конешно, не про тебя, а так, в общем. Жить научил зятев сусед. Последние-то дни меня уж и ночевать не пускали. «Иди, говорят, куда хошь, со своей совестью. И глаза не мозоль». Ночевать где-то надо. Я к зятеву суседу, мужик вроде душевный. Утром пробудились — хлеба нет. Чай пить не с чем. «Иди, говорит, дедушко, сдай бутылки». Я бутылки сдал, купил батонов. Он говорит: «Здря! Надо было на эти деньги купить вина. Жить не умеешь, дедко. Я, говорит, все время так. Бутылки сдам, на эти деньги куплю вина. Чтобы бутылок еще больше, чтобы еще больше сдать. Вот уж десять годов ничего не делаю». Я подумал, а ведь и правда!

Домой приехал, попробовал новый способ. Получилось. Веселая пошла жизнь! Пенсию не трогаю, все до копеечки идет на книжку. Пять бутылок сдам, а шесть покупаю. Выпьешь их, у тебя уж не пять, а шесть. Шесть сдашь, покупаешь семь. Дело прибыльное. Пей, сдавай, покупай, опять сдавай — ходишь все время веселый. Заботушки никакой. На давленье со стороны не обращаешь вниманья. Мужики увидели такое дело, все перешли на мой способ. «Вот, говорят, Барахвостов, тебе спасибо! Научил, как жить».— «То-то, говорю, всегда берите с меня пример, со мной

не пропадешь. Выхаживал и не из таких положений». С этого дня нашу деревню не узнать, баб с мужиками не узнать, детишков не узнать. Даже петухи поют по-новому.

6. ПРОПАЛА БУХТИНА

Ах ты господи... Вишь ты, что получилось. Вот беда-то! Не успел на сарай сходить, ее уже нет. Пропала. Да нет, не Виринея. Куда Виринея денется? Кабы уехала на недельку — перекрестился бы локтем. Чево? Никуда не поедешь? Знамо, не поедешь, такую старую и в багаж не примут, не то что своим ходом. А надо бы тебя отправить-то. Хоть на недельку. К невесткам-то. Ладно уж, сиди дома. Хм... Так это куда она подевалась, только что тут была. Чево, чево? Да бухтина! Бухтину хорошую потерял, найти не могу. Только на минуту и отлучился на волю. Ты-то не видел? Ну-ко погляди под ногами-то. Под лавкой. Нету? Хм... Виринея, а ты чего расселась, давай тоже ищи. Бухтина не иголка, должна быть. В шкапу-то глядела? За печкой? Ах, мать-перемать, ты что? Останови реплики, помогай искать. Глаза не видят — на ощупь ищи. Должна где-то рядом быть. Ну? Нету? Чево — отстань, чево — отстань! Не отстану. Хм... Нет, видать, эту бухтину не найти.

Надо придумывать новую. Жаль, бухтинка-то была хорошая. Ядреная. Ну да никуда не девается. Ах вот она, мокрохвостка! Все время на языке вертелась. Апп! Цуп-цуп-цуп... Стой-стой-ст-ст... Попалася! А, вот теперь не ускочишь. Слушай дальше.

7. ЛИСТКИ ПЕРЕПУТАЛ

В тот-то раз я умирал сам, по своей воле. А тут вдруг почувствовал: скоро придется помирать принудительно. Совсем, братец, разные темы. Утром погляжу на численник, на календарь-то. Оторву вчерашний листок — дня как не бывало. Чувствую, осталось еще деньков считанное количество... Листочки как будто сами и сыплются. Я их в берестяную пестерку складываю, сам думаю: «А на хрена было и канитель заводить! Ежели все равно умирать...»

Один раз утром еле-еле встал. Листок оторвал да и полетел: голова закружилась, ноги подкосились. Вижу, приходит конец взаправду. Сегодня умру, как пить дать, умру. Тут уж обратно не убежать. Все. Лежу на кровати в туманном сознанье, воздуху все меньше и меньше. В последний момент вспомнил, что я Барахвостов. Вспомнил, до календаря на карачках дополз, встал. Листок-то оторвал от численника, а после... после взял да обратно и приклеил! В этот день не умер, на другой день приклеил позавчерашний листок. Опять день выжил. Начал приклеивать

обратные числа. Начал жить в обратном направленье. Как утро, так листок и приклею. Пошел взад. Обратно к молодому возрасту. Вот уж и от пенсии отказали, говорят, стал молодой. Вышел из старого возраста. Работу стали давать опять потяжельше. Обжился. Чай пью самосильно. Кадушки делаю. Как думаешь, дальше-то пятиться? Уж больно заманчиво. Праздников стало много. Вон сегодня Первый май. А ну, Виринея, подавай новый костюм! Чево? Еще до Восьмого марта неделя? Ну, это я, видать, листки перепутал. А ты не трогай больше мою пестерочку. Ищи для наперстков другую посуду.

8. ДЕЛО ЗАГЛОХЛО

Еще думаю выписать посылкой один особый корень. Говорят, растет где-то в Китае, около самого Маодзедуна. Слышь, Виринея! Он, прохвост Маодзедун-ог, думаешь, почему долго живет? И ребятишки у него все еще копятся. Корень, корень ему помогает! На вид вроде нашей редьки, и витаминов в нем очень много. Еще думаю делать физкультурные телодвиженья, а зимой заместо бани лазать голышом в прорубь. Возьму пешню, пошире распешаю и каждый день по два раза. Утром и вечером. Говорят, очень помогает.

А что? Барахвостов не сгузает [1]. Вот худо только, не стало в колхозе работы по моей специальности. Русских печек осталось считанные единицы. Мерзнут, как воробьи в крещенье, а печи подай новомодные. Старых конструкций стыдятся. Холодно, и полежать, когда заболеешь, негде.

Зато в передовиках. Печнику стало делать нечего, поневоле начнешь бухтины выдумывать. А меня еще до войны многие писатели за бухтины вином поили. Такой был мастак завирального дела. Оне у меня бухтины записывали, а грамотки посылали в Москву. Когда я первый раз умер, дак в Москве-то схватились за голову: «Ах! Ох! Как оконфузились! Почему Барахвостова проспали, не устеклили? Надо было его в больницу повалить, все ревматизмы вылечить». Дурачки! Где вы раньше-то были? Ну, постановили послать следом за мной натодельного человека, чтобы там, кровь из носу, меня найти и все бухтины, какие при мне остались, записать на блокнот. Уж и командировку ему выписали. А я — возьми да воскресни.

У них весь интерес к бухтинам сразу пропал, все дело заглохло. Видать, ждут, когда умру взаправду.

---

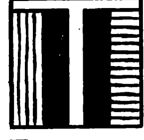
[1] Сгузать — слово чисто вологодское, означающее понятие чисто человеческое. Сгузать — значит струсить, испугаться, побояться, немного отступить и т. д. В народе не видят в этом действии ничего зазорного или недостойного.

Вот так и живу. Той зимой тоже приезжал один вроде тебя. В боярской шапке, ботиночки востроносые. По морозу бежит, бабы сказывали, прискакивает. Заходит в избу. «Гражданин Барахвостов здесь живет?» — «Здесь».— «Имя, отчество?» — «С утра был Кузьма Иванович».— «Кузьма Иванович, мы к вам по важному делу». Слезаю с печи, мою у рукомойника руки. Здороваюсь. Виринея поставила самовар, хлеба нарезала. Сидел всю ночь, записывал. На второй день — продолженье. Неделю прожил, уехал. А я уж привык рассказывать-то. Зимой вечера долгие, начал рассказывать бухтины своим мужикам. Вдруг бумага — из области: «Прекратить разбазаривание бухтин! Барахвостова остановить!» Прибывает из района нарочный, берут десятского. Приходят ко мне на квартеру: «Товарищ Барахвостов!» — «Я за него».— «Приказано все бухтины у вас описать, принять под расписку».— «Что вы, ребята!» — «Не разводи частную собственность!» Делать нечего — сдал. Какие были в наличности. По вечерам сижу дома. А ночью, как назло, бухтины из меня так и лезут. Рассказать бы, да некому. Моя Виринея совсем оглохла. Уснешь, а оне вместе с храпом так и норовят на волю из меня выскочить. Пробудишься, проглотишь: сиди в нутре, не пришло время! Сон собьется, сходишь на двор.

Ты-то от какой организации? Тоже по бухтинам — вижу и сам. Хорошее дело. Только у нас в Вологодской области, может, и почище меня есть, да не сказываются. Бухтинники-то. Ну да ладно, я тоже могу намолоть три короба [1]. Слабо? А, ешкин нос, ничего не слабо! Керосину бы только надо в лампу долить да жонку из дому выманить. Не даст поговорить на просторе!

РЫБАЦКАЯ БАЙКА

(Современный вариант сказки про Ерша Ершовича, сына Щетинникова, услышанный недалеко от Вологды, на Кубенском озере во время бесклевья.)



Ты вот ездишь, а про Ерша не знаешь. Думаешь, почему одни ерши клюют? Потому что хорошую рыбу выжили. Раньше лещей в озере было невпроворот. Такие ляпки гуляли — по лопате. Жили и в ус не дули. На беду, в реке Уфтюге зародился один Ершишко. Плут такой — из воды выходит сухим. Голова большая, брюхо

[1] Кроме представленных читателю бухтин, намеренно выпущены значительные непристойности в виде так называемых баек и пригоножек, которые, кстати, не имеют самостоятельного значения и рассказаны К. И. Барахвостовым как бы попутно и для разгону.

круглое. Он фулиганил сперва возле берега. Осмелел и давай шастать по всей Уфтюге. Ребятишек наплодил видимо-невидимо. Жонку, дак эту всю измолол. Говорит: «Сам дивлюсь, что такое? Только штанами потряс — опять маленькой!» Ладно. А такую компанию прокормить, надо и руками поработать, не одной головой. Ерш физического труда недолюбливал. Что делать? Манатки сложил, избушку на клюшку. Со всей оравой подался к лещам на озеро. «Корысти,— думает,— не добьюсь, а шуму наделаю». Явился.

— Здравствуйтё!

— Здравствуйтё. Проходитё.

— Покушать чего нет ли?

— Пожалуста.

Бедного человека как не накормить? Ерш Ершович со всей семьей хорошо поел. Отпышкался, говорит:

— Товарищи лещи, спасибо за суп, за щи, ночевать нельзя ли? Я на одну ночь.

— Ночуй, места хватит.

Ерш ночь ночевал, утром выходит в озеро. Забыл, что на одну ночь просился, руки в брюки, озеро оглядел. Увидел Рака, подскакивает:

— Почему назад пятитесь?

— А ты кто такой? Рыло вытри, потом указывай.

— Я тебя привлеку!

— Привлекальщик... Я век прожил, рыбу не насмешил.

Ерш наскакивает с другой стороны:

— Какая ты рыба, ты и на рыбу непохож!

— Дурак.

— Я тебе обломаю усы-то!

— Мало каши ел.

Разругались в первый же день.

Рак не стал связываться: задом, задом да в нору. В норе одумался, стало тоскливо. Карася увидел, на Ерша жалуется:

— Ерш Новожил меня обругал ни за что ни про что.

Карась говорит:

— Я ему, килуну, морду начищу. Он у меня пощеперится, узнает, как плавники распускать, костистая рожа!

Ерш эти слова услышал, выныривает:

— Где-то что-то кто-то сказал! Прошу повторить!

— Ну, сопливое рыло...

Ерш дрожмя дрожит, а марку держит:

— Только и знаешь пузыри из грязи пускать! Мало вашего брата в сметане-то жарили.

— Ах ты голодранец! Ты у меня доругаешься, я тебе уши-то оборву.

— Мозгляк! Заморыш! — хорохорится Ерш.— Выходи один на один! Мне жизнь не дорога, кто кого!

— Давай!

— ...вот только домой сбегаю, радио выключу!

Карась Ерша ждал до обеда. Не дождался. Драки не было. На другой день рыба сгрудилась. Слушают. Ерш шумит на все озеро, как он Карасю оплеух навешал.

— Будет знать!

Ударился к Устью, полы нараспашку, ругается. Тут навстречу плывет Окунь. Ерш и на того:

— Остолоп, сырые глаза! Глистобрюхой!

Окунь глаза выпучил, не знает, что и подумать. Очнулся да и давай Ерша почем зря трепать. Трепка получилась дородная, еле-еле Ерш ноги унес. Ночь переспал, опять за свое:

— Все ваше озеро — не озеро! Лужа поганая, одне колы! Культуры не знаете, только бы брюхо набить. Оболмоты!

— Чего ругаисся? — Сорога включилась.

— Марш! Тебя буду спрашивать.

— Нахал. Я Налиму с Язем пожалуюсь.

— Видал я твоих налимов!

Сорога плюнула да в сторону от греха.

Тут Язь выплыл на шум, начал Ерша стыдить:

— Ты чего, Новожил, шумишь? Сейчас же извинись перед Сорогой — она женщина.

— Женщина! Хорошая бы женщина молчала, а она, красноглазая, знаешь, что говорит? Нет, ты не знаешь, что она говорит!

— Чего говорит?

— А то и говорит, что Окунь у тебя бабу отбил, а Налим в этом деле сводничал.

— Это точно?

— Провалиться на этом месте! «Этого,— говорит,— Язя давно обманывают, а он дурак полоротый! Дальше носа ничего не видит».

Язь — ныром вглубь. Ударился искать Окуня. В это время Налим свое имя учуял, из-под коряги всплыл:

— В чем дело, Щетинников?

— А ни в чем! Вон Сорога говорит, что Язь у тебя бабу отбил, а Окунь сводничал.

Налим так и взвился:

— Я этому Язю жабры выдерну!

Запахло в озере смертоубийством. Вся вода сбунтилась, не найти чистого места. Муть со дна поднялась, ничего не видать. Налим с Окунем напились до зела, пазгаются. Карась на Сорогу, Сорога на Карася.

Рак с Язем сцепились, друг дружку волочат, все озеро пошло ходуном. Одна Щука стоит на месте, на бузу не обращает вниманья. Ерш совсем обнаглел, налетает и на ее:

— Обжора, лягух приела! Обжора, лягух приела!

— Что?

— Думаешь, зубы востры, дак и испугались тебя? Белое брюхо, косорылая! Лягух приела!

Щука, много не говоря, на Ерша ракетой. Он от ее, она за им. Ерш Щуку заманил в сеть. Ячея была крупная: сам проскочил, Щука запуталась. Только ее и видели.

Вот что за неделю наделал!

Месяц живет, год. Сыновей женил, дочек замуж повыпихивал. Начал и лещей крошить. Сперва по одному в Пучкаса вытурил, потом вытесняет в мох, в болото. Пикнуть боятся, а кто и заикнется:

— Товарищ Щетинников, пусти на струю! Который день в стоялой воде, надо и совесть иметь. Пришел невесть откуда и хозяйничаешь. Озеро наше было испокон веку.

— Это кто пришел? Это про какую ты совесть говоришь? Это с какого ты голоса поешь?

Так прищучит, что иной и не рад, что из моху вылез. А тут вроде бы и попривыкли. А Ерш их же, лещей, за это срамит:

— Вам бы только в болоте сидеть. Тупорылые, одна темнота. Учишь вас, учишь, а толку нету.

Лещева артель духом упала, стали чахнуть. Которые поумнее собрались на собранье, воровски от Ерша. Послали заявление рыбе Нельме на Белое озеро: «Три года хорошо не едали, хорошей воды не пивали. Белого света от Ерша не видим, совсем нас мало осталось. Нас Ерш Новожил бьет и колет, бока меж ребрами порет, рыбонадзором кажин день стращает. Рыба Нельма, выручи! Наведи, пожалуйста, архивные справки. Кубенское озеро наше испокон веку. Ершишко Щетинников пришел с чадами на одну ночь с Уфтюги да зажился и озеро у нас, лещей, хитростью отнял, а мы, лещи, сироты несчастные, остались с таком. Матушка рыба Нельма, не дай сгинуть, приведи Ерша под присягу закона!»

Нарочный с заявлением прет в Белое озеро день и ночь. Вода бурлит как от катера. Через шлюзы зайцем на пароходах, потом опять шпарит своим ходом. Денег на командировку собрать не догадались. Добрался до Белого озера, сошло сто потов.

Рыба Нельма лежит в ростяг. Керосину в канаве назобалась, вся угорела. Нарочный к ней:

— Бюллетенишь или болеешь?

— Болею.

— Срочное дело!

— Без меня разбирайтесь, и так еле жива.

— Сига отпусти!

— Ну вот! Будет он из-за Ерша суды разводить.

— Терпенья не стало, отпусти самого!

— Ладно, уговорили. Пусть идет.

Рыба Сиг говорит:

— Отступитесь, ребятушки, лучше не связываться.

— Нет никакого терпенья!

Уговорили-таки Сига, собрал он народный суд. Ерша вызвали, а тот на дыбы:

— Меня судить не имеете права!

— Это почему?

— А потому, что окончание на «у»! Это подкоп власти.

Ему вслух зачитали лещевскую грамоту. Спрашивают:

— Ты почему лещей обижаешь? Они на озере старожилы, а ты, новожил, их в Пучкаса загонил и выселил.

— Нет, я старожил.

— А какие есть доку́менты?

— Документы все сгорели. Все сгорело. У меня однех ковров сколько было. Два телевизора.

Тут слово взяла малая Нельмушка:

— Всё врет! В озере не живал, да и в Уфтюгу-то приплыл из душного ручья. Его и в реку-то не надо пускать, не то что в озеро!

— Ах ты, потаскуха, чего говоришь? Не слушайте ее!

Рыба Сиг голос повысил:

— Гражданин Щетинников, вы где находитесь? Ведите себя прилично.

— Я ее, потаскуху, сгною в болоте, я в Москву напишу...

— Вишь, гражданин судья, что он выделывает! — это Судак вступился.

Ерш на него:

— А ты чего, полоротый? Твое какое пятое дело?

В зале шум. Встает белозерский Налим:

— Вывести! Судить заочно.

— Ах ты, лягушачья порода, зимний бабник, вяленица!

— Гражданин Щетинников, не выражайтесь!

— Нет, выражу́сь! Вас тут как сельдей в бочке, а я один. Подавайте защитника! Я на чистую воду вас выведу, я в рыбнадзор заявлю, я...

Дали Ершу десять суток да и отступились. Всех одолел. Срок отсидел, говорят: «Сматывай удочки!»

Ерш из казематки выскакивает:

— Остаюсь тут! В Белом озере!

Рыба Нельма схватилась за голову...

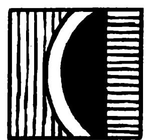
Ерш полетел по озеру, как новенькой. У половины домов стекла выхлестал:

— Судить вздумали! Я на ваш суд... с высокой колокольни! Я сам кого хошь упеку! Никого не боюсь, в три попа!..

Тсс. Тащи его, стерву, вроде клюет. Ну вот, опять того же калиберу.

УТРОМ В СУББОТУ

(Из записной книжки)



тояла зима, распечатали новый год. Вот так всегда: глянешь на календарь и вздрогнешь. Будто окатили тебя голого ледяной водой. Год промахнул, как по щеке смазал, а что сделано? Долги самому себе растут, как поленница под руками хорошего дровосека.

Той зимой прижало меня к стенке и самое срочное, совсем неотложное дело.

Я лихорадочно начал прикидывать, куда бы смотаться? Хотя бы на неделю. В Переделкино? В Комарово? Но литфондовские путевки, во-первых, кусаются, во-вторых, их надо заказывать за год; в-третьих, меня тошнит от бесконечного литературного трепу.

Знакомые люди предложили поехать на озеро Кубенское, в деревню Пéски. Вологодские охотники устроили там свое становище. Дом с паровым отоплением и совсем пустой, живи сколько хочешь. Я не стал долго раздумывать. В тот же день, под вечер, приехал в Пески.

Отпустил машину, встал на дороге и стою как дурак. Такая тишина, что звенит в ушах. Ни самолетного гула, ни рыканья мотовозов, которые всю ночь молотят на Вологде-первой. Ни этих диких магнитофонных джазов, ни постоянного телевизорного бурчания в соседних квартирах.

Снег мерцал под луной, воздух был чистый, густой, холодный. Уборщица подала мне ключ от дома, показала комнату. Я остался один, все мои обязанности заключались в том, чтобы изредка подкладывать в печь полено-другое. О чем еще мечтать? Я сходил в деревню и запасся продуктами в маленьком местном магазинчике.

Не спеша разложил свои бумаги. Предвкушая хороший сон, устроил одинокое чаепитие. Было радостно оттого, что завтра я займусь, наконец, делом. Это будет счастливое утро в субботу, тихое, солнечное, снежное утро. Сейчас я усну в спокойном и приподнятом настроении.

Но стоило мне забраться под одеяло, как морозное крыльцо заскрипело от множества ног. Пришлось открывать. В дом ввалилась шумная компания, приехавшая из Вологды. Охотники? Кой черт, охотники! Никто не имел никакого отношения ни к охоте, ни к рыбной ловле, хотя тотчас начались грандиозные приготовления к ухе. Зазвенели коньячные и водочные бутылки. Появился на столе замороженный аршинный судак, выловленный на каком-то городском складе в честь столичного гостя. После обильного ужина пошли «чапаевские» анекдоты, затем в доме послышались набившие оскомину «Подмосковные вечера».

Все мои планы рухнули с шумом. Ни о какой работе не могло быть и речи.

Утром я пошел по деревне, чтобы хоть чем-нибудь скрасить эту нелепую, сразу ставшую тягостной поездку. Зашел в магазин за куревом и спросил, кто в деревне всех старше?

— Да Сиверков,— весело ответила продавщица.— Зовут Иваном.

— Ходит?

— Сиверков-то? Бегает.

Вечером я без труда нашел дом Сиверкова. Зашел. Но пожилой дядечка, который долго сажал меня пить чай, оказался не Иваном, а сыном Ивана. Он показал мне, как идти к «дедку», то есть к его отцу — Ивану Павловичу Сиверкову.

Дедко жил в небольшом, но совсем новом домке, похожем на избушку. Но все же это была не избушка, а домок. Он стоял веселый, глядя в ночной озерный простор своими небольшими, освещенными электричеством, окнами. Дым белел над трубой.

Дедко открыл ворота. Впустил меня в тепло, затем усадил на лавку.

— Партейный? — спросил он.

— Да.

— А я-то дурак.

Так мы познакомились.

Он сидел на кровати, курил вонючую сигарету, какой-то вроде бы «Дымок». Одновременно колол короткие дровяные чурочки и тут же подкладывал в печку. Я спросил, сколько ему лет. Оказалось, что пошел девяносто четвертый.

Иван Павлович был глуховат, мне приходилось громко говорить каждую фразу. Но ведь в таких случаях намного приятнее слушать, чем говорить. Вскоре я забыл про все свои неудачи. Нет худа без добра! Я не без тщеславия вдруг обнаружил, что старик был похожим на одного моего литературного героя... Поэтому встреча была приятна вдвойне.

Домок был небольшой, новый, теплый. Косяки, стены, двери и потолок еще не успели почернеть. Печка с плитой грела хорошо. В углу размещался стол, заставленный немытой посудой, у кровати стоял сундучок с кой-какими инструментами и пачками того же «Дымка». Старик периодически брал топорик и колол дровца на деревянном обрубке, не вставая с кровати. Обут он был в валенки, одет в засаленные штаны с заплатами на коленях, в сатиновую, кажется, синего цвета, рубаху и пиджачок неопределенного фасона.

Иван Павлович говорил со мной, как со старым знакомым. Меня смущало сначала то, что он хоть и умеренно, и всегда к месту, но употреблял матерные слова. Но и к этому как-то привыкаешь...

— Родился-то я тощоват. Худенькой был, морной. А бабу взял хорошую, очень матерую. Иной раз сам ее побаивался.

— Чего ж такую взял? Поменьше бы выбрал.

— А пахала больно добро!

— Сам-то не пахал, что ли?

— Ходил, носил ей завтрекать.

Было непонятно, шутит он или говорит всерьез, но разбираться мне было некогда.

— Я-то что,— продолжал он.— Сам женился, меня не приневаливали. А вон Харитон-то Иванович...

— Кто, кто?

— Да Харитон Иванович, совдат.

...Мне было странно слышать о Харитоне Ивановиче, солдате николаевского времени, потому что рассказывали о нем так, как будто я его видал или, по крайней мере, слышал о нем. Словно все это произошло на днях.

— Двадцать пять годов прослужил Харитон Иванович. Пришел домой, а ему от начальства приказ: «Женись!» Харитон Иванович говорит: «Какой из меня жених?» — «Нет, женись. Вот эту бери». Припасли уж с другим робенком. «Не буду».— «Нет, будешь».— «Нет».— «Ах, вот как?» Вызвали в волость: «Дать ему двадцать горячих!» Виц нарубили. Начальник из избы попросил всех выйти, спрашивает: «У тебя, Харитон Иванович, голос-то хороший?» — «Добр голос-то»,— говорит Харитон. «Дак ты реви, как медведь, а я тебя хлестну не шибко». Харитон на скамью лег и порток не снял. Хлестнули разок, он и взревел. Тут другой начальник, с уезда, в избу заходит: «Хватит, хватит ему». Я тогда мал был. А женили Харитона Ивановича, все одно.— Дедко подкинул в печку.— Теперь-то лучше, розгами не дерут. У нас, помню, барин был очень хороший, конфеты народу на праздники покупал. А другой — сука. До того злой, что и с народом не здоровается. Мужики и задумали: как барина уничтожить? Весной пахали, он идет. Сел за куст. Все время за этот куст ходил, сидел подолгу. Пища хорошая. Ну, а тут только сел, его раз! С заду бухнули из ружья. Посередь поля яму вырыли, закидали. Потом запахали и заборонили ровненько.

Иван Павлович помолчал.

— Вот есть такая книга: «Самое мудрое слово». Не читывал?

— Нет.

— А я-то ее в руках держал,— Иван Павлович даже причмокнул с досады, дескать, близко локоть, да не укусишь.— Держал, держал я эту книгу. Все в ней точно прописано, что есть и что будет. Может, она и сейчас где-то близко лежит. Да никто не знает, где.

— Библия, что ли?

— Нет, не библия! Библию я знаю, это другая, не библия.

Он вновь помолчал. И пристально поглядел на меня:

— Ты в невидимую силу веришь?

— Да не очень.

— Есть! — он бросил топорик на пол, под ноги.— Вот мы с Анкой, сестрой, робетешками были. Послали нас за рыбой. К пирогам надо успеть, к рыбникам. Идем с озера, корзина тяжелая. Устали. Маленькие еще. Давай, говорю, посидим. Сели около деревни. Солнышко вот-вот подымется. Глядим, выходит к пруду баба.

Разболокается. Стала голая. Заходит в пруд. Мы глядим, нас-то она не видит. Лобок оммочила, постояла маленько и бульк с головой в воду! Только круги пошли. Мы с Анкой глядим. Нет и нет бабы. Не выныривает. «Ведь утонула?» — «Утонула». Солнышко из лесу выкурнуло, а бабы нету. Мы сидим, ждем. «Ой, рыбу-то надо к пирогам!» Побежали. Дома рассказываем: утонула баба, видели сами! Чья? А это, говорят, Домна-ворожея. В ночь на иванов день траву ищет. Днем пошли в эту деревню — баба живехонька. Сами видели — утонула. Вот. А ты говоришь...

Я ничего и не говорил, стараясь быть равнодушнее. Чтобы не сбить старика, поглядел в ночное оконце. Снег желтел под луной, темнели молодые недвижные елки. Призрачная даль озера чуялась далеко-далеко, на многие километры.

— А то еще другая ворожея. У одной семьи украли одежу. Все унесли, до нитки. Робята в совдатах служат, а всю ихнюю одежу унесли. Отца с маткой расквелили — расслезили, нет одежи. Хозяйка и пошла к ворожее. Так и так, укажи, кто унес. Ворожея говорит: «Вот, матушка, иди по всем домам. Иди да говори: ночевали здорово, здравствуйте, все ли ладно?» Хозяйка так и сделала. Везде на ответ слова одинакие: «Слава богу, все ладно». А в одном дому говорят: «Все бы ладно, да бабу в больницу увезли». Пошла она в больницу к той бабе и говорит: «Пока чужое в чулане, домой не бывать. Не выхаживать!» Та из больницы выпросилась. Обратно все сама принесла.— Иван Павлович опять закурил.— У мамки, помню, рубель из кошелька потерялся. «Ванька, ты взял, больше некому!» — «Не брал».— «Отдай, кому говорят!» — «Не брал!» — «Вот сичас вицу возьму!» А я уж был порядочный, не боялся. Отца на войне убило, рос вольницей. Попробуй, думаю, тронь, я как дам, так и вица улетит. Анка, сестра, ей меня жаль, эдак парня костят. А матку того жальчее. Рубля-то нет. Мамка плачет: «Ванька, лешой, последней рупь уволок!» Анка меня за сарай вывела: «На, возьми у меня рупь, отдай мамке». Я говорю: «Давай, я отдам, долго, что ли?» Она рубель подала: «Только скажи, ты взял?» — «Не брал».— «Отдай рупь обратно!» Я отдал, потом оне на меня обе: «Вот ужо пойдем на праздник за озеро, там ворожея скажет. Ты взял, больше некому». А мне что? Пойдем, я за озером не бывал. Хоть погляжу, какие там дома да потолки. Как на корёжках катаются. Масленица. Пришли за озеро, я рад, место новое. И забыл, пошто привели. А меня сразу к ворожее. Она на каменной плите лежит уж сорок годов. И без пролежей, ховки [1] сама показывала. Ей надо сести, она за ремень на руках приздымается. Ремень сыромятной к потолоку прибит. Меня увидела, говорит: «Ой, ой, экого маленького да в такую даль. А и денежки-то нашлися!» Мы домой пришли, мамка руками всплеснула: «Ой, Ванька, прости меня, грешную! Рубель-то, овчину когда делали, отдала. Забыла». Вот, думаю!..

---

[1] Ховки — суставы.

Иван Павлович, словно комара, пришлепнул ладонью к колену смачное непечатное выражение. И тут же рассказал историю ворожеи, которая пролежала сорок лет на плите:

— В девках она была очень красивая. Друг у ее был, сбиралась за него замуж. Ей говорят: «Он уж с другой девкой венчается».— «Я его из-под венца уведу!» Побежала к церкве, а далеко, через лес. Бежу, говорит, по дороге, сама не своя, вдруг елка поперек дороги хлесть! Еле перелезла, опять бегу, а с другой стороны другая елка хлесть поперек. Лес так и валится, то слева, то справа. Прибежала к церкве, а оне уж на коней садятся, обвенчались. Заплакала. Пошла к баушке. Баушка говорит: «Не плачь, милая! Ты другая невеста. Будешь ведать тайную силу, будешь людям судьбу говорить».

— А мужики были колдуны?

— Нет, у нас не было. Мужикам это дело не далось, только баушкам. Вот и сичас у однех корова стельная из лесу не пришла. Облазили всю поскотину, искали двое суток — нет коровы. Сходи, мужику советуют, к баушке. Денег не пожалей. Да денег-то нет, говорит. Взял двадцать копеек, пошел, так и так. «Скажу»,— баушка говорит. «Сколько надо-то?» — «А сколько есть».— «Да вот только двухгривенной».— «Ну, да и хватит. По какому теленку корова-то?» — «По первому, первотелок».— «Вот, найди такого человека, чтобы первой родился. Хоть старик, хоть ребенок, только чтоб у матки первой. С ним и поди в поскотину». Он нашел такого. Только завор [1] перешли, корова стоит. И теленочек. Весь лужок вытоптан. Стояли не один день. Сколько разов проходил и не видел. Закрывало, вишь. А тут сразу открыло.

Я спросил:

— А почему мужикам колдовство не дается?

— Дак ведь баба в любом деле мужика хитрей! — Иван Павлович опять употребил нецензурное выражение.— Вот один с бабой-то хорошо жил. А она и занемогла. Пошла в больницу: «У меня ниже пупа так вьет, так вьет». Дохтур ее осмотрел, отвечает: «Все ладно, только с мужиком не спи».— «Долго ли?» — «С годик». Пришла домой, мужик спрашивает: «Ну, чево?» — «Да вот, спать вместе нельзя».— «Сколько время?» — «Да довгонько».— «Ишь мать-перемать. Ну, да ладно». Легли спать. А оба в самолучших годах. Мужик вертится с боку на бок. Баба спрашивает: «Чево не спишь-то?» — «Да чево. Знаешь сама».— «Вот, унеси водяной. Терпи уж». Утих. Потом опять заворочался, как на клопах. А баба уж усыпать стала, спрашивает: «Чево?» — «Нет спасу. Как нарошно».— «Ой, тебя лешой! На вот рупь, иди. Найдешь, дак и ладно».— «Да где?» — «Вон к Машке иди, она ночевать пускает». Мужик рупь взял, катаники обул. Пошел к Машке. В ворота кулаком стукает. Та вышла в сени: «Кто крещеный?» — «Да я!» — «Чего надо?» — «Да вот, так и так. И денег дала».— «Сколько

---

[1] Завор — проезд в лесной изгороди, закладываемый жердями.

денег-то?» — «Рупь тольки».— «Ну, ладно, ночуй». Утром пришел домой, жена спрашивает: «Каково ночевал-то?» — «Все ладно».— «И деньги взяла?» — «Взяла».— «От сотона!»...

Иван Павлович снова подкинул в печку, я откашлялся.

Разговор хоть и был интересный, но явно пошел не в ту сторону, и я спросил у него про его солдатскую службу. Он рассказал, как воевал с «австрийцем», как вернулся домой, а дома была такая голодуха, что люди ходили «по батогу в каждой руке». Дело было, как раз когда «лопнула» царская власть.

— Сестра моя, Анка, с робенком. Поп на робенка молитвы не дал, она ему, вишь, бревна не привезла. Ей как привезти, ежели и лошади нет? Пришел поп в дом, она урезок хлеба заняла у суседей. Подала. Он говорит: «Ты что мне даешь? Я не нищий». В печи кошка варилась. Она говорит: «Вот, батюшко, кошку варю. Ись нечего».— «Век бы тебе кошек варить». Дверями хлопнул. Ну, думаю, я его когда-нибудь потрясу. У меня ружье было. И сичас есть. Заприметил, что поп сидит, на озере удит. Сусед мой тоже пошел на озеро, а поп ему кричит: «Не подходи!» Я ружье за плечи, собаку свистнул. Пошел к попу. Он увидел, говорит: «Подходи, подходи, Иван Павлович! Поудь рядом со мной». На шиша мне твои ерши! У меня вон собака, сичас зайца выгоним. Подошел к попу, говорю: «Хотел я тебя, батюшко, в озере оммочить. Да вот бог отвел, согрешить не дал. А кабы ты сказал мне такие слова, как и суседу, я бы уж оммочил». А то, помню, послали на лесозаготовку. Колхозы начались, думали, всего на нидилю. А оно воно как. Я норму вырубил и вывез к воде. Домой приехал, надо скоро пахать. Только соху направил, мне говорят: «Мы тебя назначили строить мостик». Пошел в исполком, как так? — «Строить! Не разговаривать». И мужик-то знакомый. Ну, думаю, я тебя из ружья дуну. Подстерегу. После одумался, ведь живая душа. Дело на третий день праздника, пошел к нему домой. Нету. Заходит: «Тебе кто на квартеру разрешил заходить?» Я смолчал и говорю: «Да вот так и так. Замени, дело такое, пахать больше некому. Говорю, овцу заколю, мяса тебе принесу». Он подумал и говорит: «Больно у тебя баба шибка. По народу сразу пойдет». Я говорю: «Моя баба народу не боится, это верно. А меня еще побаивается».— «Ладно, приноси». А овца у меня сдохла. Мы самогонку на праздник гонили с евонным свояком. Пойдешь, говорю, скажи: «Мяса хватит». Он пришел, говорит ему: «Мяса хватит!» Сразу от меня отступились, поехал пахать.

— В колхоз-то вступил?

— Вступил. Послали раз на овин снопы сушить. С однем стариком. На два гумна. Его на одно, меня на другое. Хорошо. Я ночь просушил. Дров спалил целую клетку. Утром пришли молотить, а и овин не насажен. Ладно, пойдем на то гумно. Пришли, а там печь холоднехонька. Старик-от поумнее меня, с вечера наверх слазал. Доглядел сперва, да и ушел домой. А я-то, дурак, всю ночь сушил. Дымом глаза выело.

— Ну, не все время ведь такие были порядки.

— Чево?

— Не все же время такая неразбериха была? — мне пришлось кричать, чтобы Иван Павлович услышал.

— Так, так. Одно время и в колхозе хорошо жили. А после войны опять худенько. А то кукурузу ету. Либо на силос мода пошла. Траву-то силосовали одинова, семь человек. Яму набили, надо закрывать, умяли трактором. Посчитали друг дружку — только шесть. Где семой? Давай искать. Траву разгребли, он пьяный спит. Засилосовали. Хорошо, что лежал скрайчику, трактор не раздавил. А ты говоришь порядки. Осоки-то вон на озере. Сто голов можно бы прокормить, а косить не дают. Я плюнул, пойду, думаю, покошу себе, все одно пропадет осока. Накосил два стожка. Сусед идет, говорит: «Ничего не выйдет, отымут». Ну, уж отымут, так и отымут. Пусть. И верно, описали. Бирки навесили на стожики-то. А я зимой на чунках [1] поехал, думаю, все одно увезу. Бирки ихние — в снег. Сено перевозил домой, жду, когда ко мне меры примут. В конторе говорят: «Сено по озеру совхозное кто косил?» Всех перебрали, записали. Сусед говорит: «Сиверков тоже косил». И меня туды, в список. Вызывают в контору. Вот, распишись, получи деньги. Дак вот порядки. Я думал, оштрафуют, а тут денег на вино дали. Какие это... порядки?

Иван Павлович замолчал. Я почувствовал, что надо уже уходить, была полночь. Он расколотил кочергой догорающую головешку, собираясь закрыть трубу.

— Угару-то не боишься?

— Печка добра, угару не копит. Не умру. Мне бы только до весны-то дожить. До токов. Как на тока выйду, так кряду и оживу. У меня и ружье есть.

Я подивился: старик совсем глухой, а собирается на тетеревиные тока...

— Придешь ишшо? — спросил Иван Павлович.— Я тебе про урядника расскажу.

— Приду. Приеду еще.

— Когды?

— А утром в субботу.

— В ту?

— В ту.

— Приезжай, приезжай! Всю нидилю ждать буду.

Он закрыл за мной скрипучие от мороза ворота. Луна светила высоко в небе. Бескрайняя снежная даль Кубенского озера терялась в ее призрачном свете. Стояли вокруг темные елки. Деревня Пески давно спала.

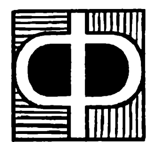
Переночевав, я уехал в Вологду с твердым решением приехать сюда утром в следующую субботу. Но дела помешали приехать. Я отложил поездку на третью, затем на четвертую субботу. Потом

[1] Чунки — санки, салазки.

совсем закрутился. Приехал в Пески через полтора года. Но Иван Павлович не смог рассказать мне про урядника. Теперь он лежал в земле, на веселой горушке, рядом с деревней.

В его домике жили то ли изыскатели, то ли какие-то исследователи Кубенского синего озера.

РАССКАЗЫ О ВСЯКОЙ ЖИВНОСТИ



едя живет в большом деревенском доме вдвоем с женой. Зовут жену Еленой, а он почему-то все время величает Егоровной. Хотя Егоровне всего сорок лет, и она даже не помышляет о пенсии — работает дояркой. Федя же возит почту. Детей у них нет.

Каждое утро он выносит на крыльцо седло и почтовую сумку, затем идет за лошадью и седлает. Потом долго пьет чай. Только после всего этого едет в центр, как он называет деревню, в которой почтовое отделение.

Федя очень любит животных. Кого только нет в доме! Две кошки живут в комнатах, и обе весьма чистоплотные. В большом хлеву обычно помещается корова Поляна и теленочек. Две гусыни и гусь ночуют в загородке между хлевами, пять кур и один петух живут зимой в хлеву, а летом на верхнем сарае. Держат Федя с Еленой еще поросенка, правда, не каждый год, и всегда называют его одинаково: Кузей. Но самый умный среди всей этой многочисленной живности это, конечно же, пес Валдай.

Так вот, Федя ежедневно ездит через лес за семь километров, чтобы привезти в эти края письма, газеты и переводы. Для этого колхоз выделил ему коня по кличке Верный. Федя сам ухаживает за ним. Не ставить же из-за одного Верного специального конюха?

В деревне когда-то была конюшня на сто двадцать лошадей. Теперь половина конюшни развалилась. Вторую, еще не разрушенную, половину занимал один Верный. Скучно жить одному во всей конюшне, особенно зимой, когда такой собачий холод да еще почти без еды! Сена Верному, как и другим лошадям, которые стоят на центральной усадьбе, из-за плохого сенокоса нынче выделили мало. В зимнем рационе всего пять кило в сутки. Овса же, так обожаемого всеми лошадьми, нет и в помине. Но что значат пять кило сена для такого большого коня?

Обо всем этом я узнал, заехав сюда случайно. С Федей мы познакомились, как он говорит, «на базе рыбной ловли». База эта была главной, но, разумеется, не единственной. Я ночевал у Феди и зажился на несколько дней. А потом довольно часто приезжал в эти края.

ОДНАЖДЫ ВЕСНОЙ

В понедельник у Верного был выходной. В этот день почтовое отделение не работало. Сена в кормушке нет. Верный погрыз доску в стойле и подошел к окошку. Он даже пошатывался от голода. Окошко в конюшне длинное и узенькое. Вчера Федя выставил раму, говоря:

— Сена нет, так пусть хоть на свежем воздухе...

Верный повернул голову и просунул ее на улицу.

А на улице — весна, снегу как не бывало. Но ведь и тра́вы тоже нет! Верный шумно вздохнул и поглядел вдоль деревни. Ребята бежали в школу и вдруг видят: из окна конюшни торчит большая лошадиная голова. «Верный! Верный!» — закричали. Конь навострил уши. Ребята подошли ближе и по очереди стали дотягиваться, чтобы погладить. Верный тихо заржал и начал шлепать большой мягкой губой.

— Наверно, есть хочет! — сказал один из мальчиков, доставая из портфеля кусок воложного [1] пирога. Он предложил пирог коню. Верный неторопливо, но жадно сжевал этот кусок. Потом съел второй кусок, третий, четвертый... Ребята скормили ему все свои школьные завтраки, припасенные дома.

— Ленька, а ты чего? Давай, нечего жадничать.

Совсем маленький мальчик насупился и чуть не заплакал.

— У меня только яйцо,— сказал он и тихо добавил: — И две конфеты...

— Ну и что?

Ленька открыл полевую, видимо, еще отцовскую сумку. Яйцо, сваренное вкрутую, быстро очистили. Верный съел и яйцо. Правда, раскрошил половину. Конфет было, конечно, жалко. Но все равно распечатали. Верный съел и конфеты. Больше ни у кого не было ничего съестного. Ребята побежали. Школа была далеко, в другой деревне. Они боялись, что опоздают. Верный долго смотрел им вслед.

Так он научился есть конфеты и яйца. Особенно повезло Верному через неделю, Первого мая, когда ребята получили в школе подарки.

А тут скоро и травка пошла, свежая и такая зеленая. Не чета соломе! И Верный понемногу стал опять поправляться.

КУРЬЕР

Федя возил почту третий год. Зимой в санях, летом в седле. Слева к седлу он приторачивал почтовую сумку с письмами и газетами, справа обычно торчала какая-нибудь посылка. Что говорить, не очень-то надежный был почтальон! Иногда он отдавал письмо

---

[1] Воложный — маслянистый.

соседу, сосед передавал другому соседу. И письмо долго ходило по рукам, попадая куда нужно месяца через два. Не зря дедко Остахов, который жил на отшибе в конце деревни, называл Федю «кульером».

Зато газеты и переводы Федя развозил очень тщательно. Верный сам знал, когда к какому дому нужно сворачивать. Федя, не слезая с седла, совал газету в скобу ворот и ехал дальше. Он частенько боялся слезать, потому что залезть обратно в седло иногда просто не мог. В седле же он сидел в такие дни очень прочно. Федя рассказывал: «Один раз ехал да кепку с головы обронил. Ох, думаю, не буду слезать, завтра все равно обратно поеду. На другой день гляжу, кепочка-то лежит. Никуда не девалася».

Все же однажды Верный притопал домой без почтальона. Сумка, приторочённая к седлу, держалась крепко, и Верный на всем пути во всех деревнях ни разу не ошибся. Он по очереди подходил ко всем домам, где выписывали газеты. Люди, которые были дома, выходили и брали из сумки нужную им газету. Верный зашел даже к дедку Остахову, который выписывал «Сельскую жизнь». Конь встал у крылечка и простоял ровно столько, сколько стоял всегда. Однако дедко Остахов не посмел без спросу взять из сумки газету. Верный постоял у крыльца и пошел дальше, а дедко глядел и качал головой, глядел и качал:

— До чего наука дошла!

Федя пришел домой только через два дня. С почтальонов его сразу сняли и поставили в кладовщики. На Верном же стали возить с фермы навоз, но все равно еще долго называли курьером.

ВЕРНЫЙ И МАЛЬКА

Малька — это такая злющая собачонка, что хуже уже некуда. Сама маленькая, ножки что спички и очень кривые, а злости больше, чем у тигра. Она жила у одинокой пенсионерки Лидии. Бывало, к Лидии никто не ходил гулять, даже по праздникам. Собачка всегда облает гостя, а то еще и за ногу тяпнет. Прямо до крови. Лидия уже говорит с посетителями, уже, кажется, ясно, что злиться нельзя, а Малька все рычит и рычит из-под лавки. Откуда столько злости бралось?

Однажды я наблюдал за Верным. Он усердно щипал траву и никому не мешал. Потом лег и начал кататься по земле, дрыгая своими большими ногами. Копыта так и мелькали в воздухе. Видимо, он линял и спина сильно чесалась — с таким удовольствием катался мерин по травке. И вдруг ни с того ни с сего — Малька. С яростным, переходящим на визг лаем она бросилась на Верного. Верный вскочил на все свои четыре копыта. Он широко расставил передние ноги, наклонил голову и недоуменно замер. Что, мол, такое? Откуда столько шуму? А Малька наглела все больше и больше. Она подскакивала к морде коня и готова была вцепиться.

Верный терпел, терпел, да как фыркнет! Малька даже отлетела в сторону. Верный бросился за ней, она от него.

С того дня ему не стало от Мальки житья. Раньше Верный ходил пить воду, когда захочется. Теперь стало совсем не то. Дорога на речку шла мимо дома Лидии. Малька каждый раз бросалась и лаяла на него, но всегда держалась на безопасном расстоянии. Верный наверняка ее не боялся, но кому же приятно слушать заливистый лай и полусумасшедший визг? И мерин бежал под горку к воде, от греха подальше. Малька принимала это за доказательство своей силы, она злобно преследовала его до середины спуска. Затем возвращалась к своему исходному рубежу и стихала. Верный, как мне казалось, без всякого аппетита пил воду и возвращался наверх, в деревню. А Малька опять яростно налетала на мерина.

Неизвестно, чем кончилось бы все это безобразие, если б дорога не просохла и через деревню не стали ходить машины. Малька неожиданно отступилась от Верного и начала с еще большей яростью преследовать автомобили. Особенно не любила она велосипеды и «газики».

МАЛЬКА ПРОВИНИЛАСЬ

Как-то зимой, по снегу, я пошел к Лидии за молоком и услышал, как в доме ругалась хозяйка. «Что такое? — подумалось мне.— Кого это Лидия так честит?»

— Кривоногая! Шельма! — слышался за дверью голос Лидии.— Чего уши-то выставила? Ох, блудня! Ну, погоди! Не стыдно тебе в глаза-то глядеть, батявке? Не стыдно?

Я вошел в комнату. Лидия поздоровалась со мной и продолжала ругаться:

— Ремень-то бы взять да и нахлестать! Либо совсем на волю выставить, бессовестную!

Оказывается, Лидия ругала Мальку. За то, что та принесла двух щенят. Малька с недоумением глядела в глаза хозяйке, виновато мотала хвостом и не понимала, за что ее так ругают. Я поглядел под лавку: там в старой шапке-ушанке беспомощно барахтались два крохотных кутенка. Малька едва не вцепилась мне в нос.

— Сиди! — осадила ее Лидия.— Сиди, никто не возьмет твоих шаромыжников! Кому-то нужны...

Лидия ругала Мальку два дня, а на третий сказала:

— Ладно, пускай живут.

Потом я слышал, что одного щененка забрал тракторист, который часто проезжал через деревню. Второго Лидия отнесла за реку в соседнюю деревню, а взамен принесла рыжего молодого кота. Не знаю уж, как отнеслась ко всему этому Малька, наверно, не очень-то ей было приятно. Лидия, во всяком случае, была довольна.

Деревня, где я жил, размещалась на горке, а на другой стороне

засыпанной снегом речки, тоже на горке, стоит другая, соседняя деревня. Летом через речку ходили по лаве. Лава — это два стесанных бревна, перекинутые с одного берега на другой. Тропка на ту сторону оставалась прежняя, люди и зимой ходили по лаве, хотя можно было и по льду, напрямик. Я каждый день катался тут на лыжах. Однажды смотрю, по тропке из соседней заречной деревни бежит Малька. Одна-одинешенька. Бежит домой деловито, ни на что не оглядывается. Кривые ножки так и мелькают на белом снегу. На следующий день — опять. Я удивился: куда это она бегает? Да еще каждый день и всегда в одно и то же время. Спросил у Лидии:

— Куда это Малька каждый день бегает?

— Да кормить! — весело пояснила Лидия.— Изо дня в день так и бегает, ничем не остановить. Уж я ее и в избе запирала, все впустую. Только отвернешься — готово дело. Была да нет, побежала кормить свое дитятко.

Вот так, думаю, Малька! Какая верная оказалась мамаша. Каждый день за два километра в чужую деревню, несмотря ни на какие опасности, бегает кормить своего сынка. Не каждая так может.

ЕЩЕ ПРО МАЛЬКУ

Так Малька и бегала ежедневно в ту деревню. Она ни разу не забыла свою обязанность. Между тем, со всех сторон наступала весна. Снег таял, и речка сначала потемнела, потом разлилась. Малька все бегала по лаве на ту сторону. Теперь, если и захочешь не по лаве, то не проберешься на тот берег.

Как-то утром я пошел за водой, смотрю, за ночь река разлилась, вода подступала к баням. Широкое водное плесо заполнило всю низину. Федя уже ездил на лодке, приглядывая места, где можно поставить верши. Весело свистели прилетевшие ночью долговязые кулики. Постой, а где же лава? Я взглянул на то место, где обрывалась тропка, и обомлел. Бревен-то не было. Ночью их подняло водой и унесло. Все. Связь с тем берегом оборвалась, подумалось мне, проехать можно только на Фединой лодке. А как же Малька?

Малька была легка на помине. Я видел, как она подбежала к воде, сунулась туда-сюда. Везде одна вода и лав не было. Малька ступила в воду и вдруг поплыла. Такая маленькая беспомощная собачка не испугалась широкой быстрой реки и холодной воды! Я с волнением глядел, что будет дальше. А что дальше? Малька, видимо, изо всех сил плыла наперерез струям, но ее несло все быстрее. Сил у нее было немного, а течение сильное, и вот ее несло по реке. Когда Мальку проносило мимо меня, я бросил ей какую-то дощечку. Но все напрасно. Малька стремилась на тот берег. Я видел, как она, выбиваясь из сил, с головой окунулась в воду. И закри-

чал Феде, чтобы он выловил Мальку. Федя и сам видел, к чему идет дело. Он поставил лодку поперек течения и подправил ее веслом, чтобы поймать собачонку.

— Ой, дура, куда сунулась,— приговаривал он.— Ну, матушка, давай, давай сюда!

Он бросил весло в лодку и рукой выхватил Мальку из ледяной воды. Наверное, еще немного бы и она захлебнулась, потому что была еле жива.

— Матушка! — уговаривал ее Федя.— Да разве дело? Его, дурака, еще и кормить! Ведь большой уж, обормот, а ты все бегаешь.

Федя причалил к берегу и выпустил дрожащую от холода и ставшую совсем крохотной Мальку.

— Беги, беги домой! — сказал он и обернулся ко мне.— Что значит животное.

И мы оба подивились Малькиной материнской верности.

ТУНЕЯДЕЦ

Я занялся тетеревиной охотой и долго не видел Мальку. Каково же было мое удивление, когда однажды я зашел к Лидии и увидел очень странную и неожиданную картину! Крохотная тщедушная Малька лежала на полу на тряпичной подстилке и кормила большого рыжего кота. Она даже зарычала на меня, дескать, ходят тут всякие. А кот даже не пошевелился. Сосал и жмурился от удовольствия. Она была меньше кота примерно раза в полтора. И вот кормила своим молоком этого рыжего верзилу и увальня. Я зашел с другой стороны — точно! Не было никакой ошибки. Рыжий даже причмокивал. Малька покормила его и вспрыгнула на свои тоненькие кривые ножки. А он даже не повернулся на другой бок и уснул.

«Ну, лежебока! — мысленно возмущался я. — Тунеядец несчастный!» Я даже возненавидел этого кота, хотел ногой разбудить лентяя, но тут в избу вошла Лидия.

— Он что, давно так? — спросил я.

— Да сразу. Худой был, сухой, а теперь вон лощеный какой. Уж я его и ругала, и колотила. Привык, видно.

Ничего себе, привык! У Мальки еле-еле душа в теле, а он привык. Так-то и дурак может...

Я ничего больше не сказал и ушел, злой на кота. И совсем не зря, потому что этот кот, как позже выяснилось, и впрямь получился совсем непутевый. Никакое воспитание на него уже не действовало, как говорится, что смолоду не вколочено, под старость не наверстать. Но я вернусь к нему после, а пока расскажу про других собак, живущих в деревне.

ВАЛДАЙ

Федин Валдай — громадный пес, не чета Лидииной Мальке. Темно-серый, с патлатою сединой на ляжках. Лает Валдай совсем редко, лишь в самых крайних случаях. Как это ни удивительно, Федя, при всей его любви к животным, весьма редко кормит собаку. Валдай почти всегда голоден. Обстоятельство это ничуть не мешает величайшей собачьей преданности своему хозяину, а так же их обоюдной любви. Отношения такие сложились между ними давно, прочно, не мне было их менять. Но уж так получилось, что однажды я стал виновником ссоры, возникшей между Валдаем и Федей.

Обычно голодный Валдай часами лежал на пригорке около дороги напротив Фединого дома. Он гордо и независимо поглядывал на проходившие по дороге машины и тракторы, зевал, потом клал голову на вытянутые передние лапы и спал.

Я часто наблюдал за ним из окна. Вот он встал, сладко потянулся, поглядел в одну сторону улицы, в другую. Нигде никого, только поют петухи. Валдай подошел к дому напротив. У крыльца висел умывальник. Валдай подошел и, нюхая, ткнул носом в шишечку умывальника. Полилось. Валдаю обрызгало нос, он фыркнул и сконфуженно отошел. Мне стало смешно. В благодарность за это я выкинул в окошко полпряника. Валдай съел и поглядел на меня, дожидаясь чего-нибудь еще. Я бросил ему корку черного хлеба, он обнюхал ее и отошел недовольный: дескать, чего ты меня угощаешь такой ерундой?

Так я приучил его сидеть под окном и ждать угощения. Федя, съездив за почтой, частенько заходил к моим хозяевам побеседовать, оставляя пса за дверями. Валдай скулил и просился к нам.

Однажды я пропустил пса в комнату и дал ему кружок колбасы. Валдай сглотнул колбасу одним махом и вильнул хвостом, прося еще.

— А ну марш из помещения! — закричал Федя.— Крохобор.

И вдруг пес сверкнул белками глаз и зарычал, да с такой злостью, что даже Федя опешил.

— Ишь, не пондравилось. Пшел! Кому говорят!

Пес, может быть впервые, не послушался, и жестокий пинок отбросил Валдая к дверям. Неизвестно, что было бы дальше, если б я не остановил Федю...

Валдай с неделю сердился на него, даже не хотел ночевать в доме. Но потом они опять помирились.

Иногда Федя ходил в лес, на озеро. Он выносил из сеней весло и корзину для рыбы, и тут Валдай вскакивал со своего пригорка, начинал радостно визжать и прыгать вокруг Феди.

— Валдай? В лес! В лес!

Пес прыгал еще выше, стараясь лизнуть Федю в щеку. Так был рад. Он устремлялся в поле, возвращался, визжал и прыгал, бежал опять. Так любил ходить в лес, что весь менялся, вся сонная лень одним махом слетала с него. В такие дни он сразу становился веселым, стремительным и шумным.

ВАЛДАЙ И ВАЛЕТКО

Третий собачий персонаж в деревне был маленький веселый Валетко. Песик этот, непонятно какой породы и масти, состоял на содержании у дедка Остахова. Надо сразу сказать, что Федя с дедком жил «в контрах», как он сам выражался. Они хоть и здоровались, но за глаза постоянно клеймили друг дружку. Началось это давно, из-за какого-то пустяка, позднее вражда разрослась, укрепилась. И длится уже несколько лет. Вероятно, им и самим все это давно надоело, каждому втайне хотелось помириться. Но все что-то мешало.

Когда у дедка Остахова объявился Валетко, Федя сказал:

— Волкодав! Такого не прокормить. Загрызет всю деревню.

И в тот же день начал натравливать Валдая на остаховского песика. Но, ко всеобщему удивлению, Валдай не стал в тот день трепать маленького Валетка. А после, не в пример своим хозяевам, два этих пса даже подружились, и Федя не стал мешать этому.

Бывало, Валдай лежит на лужке, а Валетко до того на него долает, что кажется, и у человека терпение бы лопнуло. Валдай же только снисходительно взглянет на шалуна, и хоть бы что. Хулиганистый Валетко так разойдется, так осмелеет, что даже дернет Валдая за ухо. Если получалось не больно, то Валдай стряхнет шалуна и все. Если же Валетко хватал его больно, то Валдай оскалит большие желтые клыки:

— Р-р-р-р!

Схватит Валетку за загривок и тряхнет раза два-три посильнее. Валетко сразу приходил в чувство и переставал безобразничать. Но спустя какое-то время опять начинал хулиганить и опять Валдай терпеливо сносил нахальство.

Однажды по деревне бежал громадный незнакомый пес — больше Валдая. Валетко по своей глупости залаял и начал наскакивать на него. Валдай молча лежал на своем пригорке. Чужой пес грозно рявкнул, схватил Валетку и начал его рвать. Поднялся храп и страшный визг. Наверное, пес растерзал бы Валетку в одну минуту, если бы не подмога. Валдай стремительно вскинулся с пригорка и бросился на чужака. Освобожденный из пасти Валетко, изрядно искусанный, откатился в сторону, а пес и Валдай сцепились между собой. Драка была дикая и страшная. Чужой пес был сильнее Валдая. Но недаром говорится, что дома помогают и стены. Валдай взял верх и долго преследовал чужака. После этого чужой пес уже никогда не показывался на улице, он стороной обходил нашу деревню. Дедко Остахов после этого случая запохаживал к Феде смотреть телевизор. Один раз принес поллитровую банку меду от своих ульев. Федя не отпустил дедка домой, пока не всучил ему полрешета свежей сороги.

Так неожиданно помирились дедко и Федя.

ВАЛДАЙ И КУЗЯ

Я уже говорил, что почти ежегодно Федя покупал на колхозной свиноферме поросенка и всякий раз называл его одинаково: Кузя. Животное долго содержалось в хлеву, но ведь надо ж когда-то и на улицу, пусть ты и Кузя! И вот этот момент был всегда весьма интересным.

В этот раз очередной Кузя был уже довольно большой. Федя на руках вынес его на улицу. Чистый, вымытый, Кузя взглянул на белый свет и от восторга припустил вдоль деревни. Федя воротил его обратно. Кузя порыл пятачком дерн и припустил в другую сторону. У Феди хватило терпения еще раз приправить Кузю к дому. Валдай лежал на пригорке и спокойно наблюдал за всем этим.

Под горкой, недалеко от Фединого дома, был скотный двор. Жидкий коровий навоз всю зиму и весну вывозили прямо на лужок недалеко от двора. К весне получилась большая жидкая навозная лепеха. Сверху от ветра и солнышка она покрывалась коркой. И вот тут и получился у Феди конфликт с Кузей. Стоило Феде увернуться за угол, как Кузя со всех ног опять бросился на простор. Поросенок галопом достиг навозных пределов и... на ходу, нежно, одним боком привалился к навозной гуще. Затем побежал дальше.

Надо было видеть, что тут поднялось!

Федя, нецензурно выражаясь, бросился за поросенком. Кузя отбежал еще дальше.

— Ну, погоди! — кричал Федя.— Дай только до Октябрьской дожить, опалю гада живьем!

Видя, что все равно не догнать, Федя решил воздействовать на животное лаской:

— Кузя, Кузя, Кузя! Беги, батюшко, сюда, Кузя, Кузя!

Поросенок остановился и с таким же восторгом повернул обратно домой. Один бок у него был чистый, белоснежный, другой, черный от навоза, лоснился, как вороново крыло. Такой цветовой контраст вверг Федю в злое отчаяние, он уже принес палку, чтобы отхлестать Кузю, но поросенок, словно догадываясь, припустил вдоль деревни.

С трудом удалось Феде поймать животное. Он схватил Кузю за ногу и волоком потащил на речку. Мыть. Кузя верещал. Федя вымыл его, на руках принес домой и закрыл в хлеву.

Так неудачно закончилась первая Кузина прогулка.

Федя продержал его в помещении несколько дней, никуда не пускал. Наконец, выпустил вновь, и опять Кузя устроил все точь-в-точь так, как и раньше! Опять чистенький, белоснежный, бросился он к навозной гуще и залез в нее теперь уже весь, по уши.

Не буду описывать, что творил после этого Федя. Несколько раз он вытаскивал Кузю из навозной гущи, лупил его палкой и отмывал в речке. Но через полчаса вымытый поросенок снова был похож на арапа.

Федя был в полном отчаянии. Ему надоело мыть поросенка. Через несколько дней он махнул на Кузю рукой:

— Только бы до Октябрьской дожить!

В тот же день Федя выпустил Кузю на улицу и тут же исчез, чтобы не расстраивать больше нервы. Валдай лежал, как всегда, на пригорке. Я видел из своего окна, как поросенок припустил было вдоль деревни, но вдруг Валдай с лаем бросился за Кузей. Кузя повернул к дому, Валдай опять улегся на свой пригорок. Но Кузе, видимо, не терпелось вновь испробовать навозную ванну, он порыл пятачком дерн и припустил в другую сторону, прямиком к скотному двору. Что такое? Я не поверил своим глазам. Ай да Валдай! Пес быстро обогнал поросенка, с лаем встал на пути. И Кузе волей-неволей пришлось повернуть.

С тех пор Федя мог спокойно выпускать Кузю на улицу. Валдай хорошо освоил то, что от него требуется, он тщательно следил за поведением Кузи.

Федя принял все это как должное и ничем не поощрил умного пса. Впрочем, Валдай, вероятно, и не ждал благодарности. Для всех все это оказалось в порядке вещей.

ВАЛДАЙ В КЛУБЕ И ДОМА

Клуб размещался не в нашей деревне, но дедко Остахов ходил туда регулярно. Смотрел почти все кинофильмы, не пропускал никакие мероприятия. Остаховский Валетко ни на шаг не отставал от хозяина. Дедко в магазин — и Валетко в магазин, дедко в клуб и Валетко туда. Но так поступал не один Валетко.

Бывало, перед началом сеанса в зрительном зале набиралось полно собачонок. Из разных мест. Их не пускают, но они все равно проскочат. Только выгонит заведующая непрошеных зрителей, они снова набираются под шумок. Укладываются у хозяйских ног, и никак их не выгонишь. Кто-то из шутников пустил однажды такой слух: с завтрашнего-де числа хозяевам собачонок придется покупать по два билета: один взрослый, на себя, другой детский, на собачонку. Некоторые женщины поверили этому вздорному слуху и стали оставлять собачонок дома. Но ненадолго. Вскоре все снова стало по-прежнему.

Каких только смешных случаев не было с собаками во время демонстрации фильмов! То завоет иная, то залает не к месту. То раздерутся. Однажды жена Феди, Егоровна, пришла смотреть кино «Зигзаг удачи». Это была комедия, как говорилось в афише. Вместе с Егоровной в зал явился и Валдай. Я тоже сдуру приперся смотреть этот зигзаг. Уже с первых кадров навалилась тоска. Но уходить одному было неудобно, и я наблюдал в темноте за Валдаем. Он посмотрел минуты две на экран и улегся около сцены. Полежал на боку. Опять встал, подошел ко мне, положил на колени большую голову. В зале была тишина, на экране тоже образовалась какая-то

пауза. И вдруг Валдай так глубоко, так шумно и тяжко вздохнул, что многие оглянулись. Потом Валдай подошел к двери, встал на задние лапы, а передними оперся на дверь. Дверь открылась, Валдай не спеша вышел из зала в коридор, затем на улицу. Радуясь случаю, я вышел за ним следом и свистом предложил ему идти домой. Но Валдай не пошел. Он улегся на деревянном клубном крыльце и стал ждать Егоровну, которая вместе с дедком Остаховым и Валетком досматривала «Зигзаг удачи»...

Если Валдай как бы игнорировал кино, то телепередачи он просто презирал. Может быть потому, что, купив телевизор, Федя стал меньше уделять ему внимания, и пес ревновал хозяина к этой страшной машине. По вечерам, за самоваром, Федя с Егоровной включали телевизор. Кошка Муська лежала на белоснежном покрывале кровати и глядела на экран. Она любила смотреть передачи. Но Валдай, как только включали телевизор, сразу прижимал уши, вставал и, поглядев на Федю, шел к двери. Это значило, что он желает уйти. Особенно раздражала Валдая эстрадная музыка.

Федя же почему-то сразу невзлюбил всех дирижеров:

— Этот дурак, с тоненьким-то батожком... чего машет здря, долгие полы?

Но песни и пляски Федя любил, еще любил, когда кто-нибудь приезжал или уезжал. Программу «Время» он смотрел от корки до корки. Кошка Муська тоже. В противоположность псу, она внимательно следила за тем, что происходило на экране, и иногда до того возбуждалась, что даже садилась на покрывале. В чем дело? Я всегда удивлялся такому разному поведению животных, такому удивительно непохожему их восприятию телевизора.

ПОЗОРНЫЙ СЛУЧАЙ

Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал? Мое уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым приездом в эту деревню. Валдай ни перед кем не лебезил и не заискивал, как Валетко. Ни на кого не кидался зря, не драл горло, как Лидиина Малька. Он просто уважал себя и других и никого не боялся.

Но все же однажды он испортил свою репутацию. Причем не только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. Он проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого позорного случая.

Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка. Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне, неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. Как раз по деревне бежал Валдай. Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он подбежал. Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина, выгнулась. Валдай добродушно глядел на нас. Кошка

прыгнула из окна на крышу крылечка. Потом на изгородь. Валдай дважды несильно тявкнул, мол, в чем дело? Кошка шипела. Ее хвост распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. И вдруг, не долго думая, она бросилась сверху на Валдая. Он отскочил, она ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. Они с рычанием и визгом сцепились в клубок. «Ну, кошке сейчас капут! — подумалось мне.— Разорвет...» Человек пять мальчишек восторженно наблюдали за дракой с улицы. Наконец, кошка сиганула опять на изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. Разозленный Валдай лаял на нее снизу. Откуда столько ненависти у этой кошки к Валдаю? Поединок только начался. Валдай лаял, она шипела и выгибалась. Потом как сиганет на него, как зарычит! Я опомниться не успел: Валдай бросился от нее наутек... Она преследовала его, эта маленькая кошчонка. И такого верзилу! Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай улепетывал от нее, к восторгу ребят. Такого еще никто не видел...

К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства. Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка Остахова. Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил Фединого пса. Тем и кончилось. Представляете, что было бы, если б случилось наоборот: то есть, если бы дедко заступился за свою кошку, а Федя за своего пса? Наверное, соседи бы поссорились тогда на вечные веки. И все бы из-за меня: ведь это я присвистнул Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.

КОТ РЫЖКО

С котами и кошками в деревне всяких случаев тоже было немало. Очень интересны эти животные и даже какие-то странные. (Вообще я считаю, что самые умные, прирученные человеком животные — это собаки и лошади, а самые глупые — овечки и курицы.)

Расскажу теперь про кота, который так нахально, не имея на это никаких прав, сосал Малькино молоко. Лидия покаялась десять раз, что принесла его жить к себе домой. Почему? Во-первых, дома он жил совсем редко, все время где-то шатался. Во-вторых, если и жил, то безобразничал. Кто, например, научил его таскать цыплят? Вместо того, чтоб ловить мышей, он ловил цыплят. И все это до глубины души возмущало всю деревню. Женщины ругали его шпаной и прохвостом, ребятишки кидали камнями, а Федя много раз просил у меня ружье, чтобы кота застрелить. Я не давал под разными предлогами. Не очень-то я верил тому, что говорят про кота, пока сам не убедился в правоте этих рассказов.

Как-то я наблюдал за одной синичкой. Смотрю, кот притаился в траве и ждет удобного момента. Ничего не скажешь, красив! Он был яркий, как огонь, очень рыжий, даже оранжевый, с белым брюшком. Синичка слетела на крыльцо и запрыгала, поминутно дрыгая хвостиком. Рыжий крался к ней. Вытянув шею, он бесшумно передвигался в траве. Иногда, чтобы переступить, долго держал в воздухе лапу — так был осторожен. Синичка, ничего не подозревая, поскакивала на ступеньке, а мне так и хотелось ее спугнуть. Но неужели, думаю, она такая дурочка? Когда между нею и котом оставалось метра два и когда Рыжий напрягся для прыжка, я бросил в синичку кепкой. Она улетела, я подошел к коту. Он не прыгнул, не удрал. Он зажмурился и с прижатыми ушами замер в траве. Очень может быть, что он притворился мертвым или просто в отчаянии ждал очередной порки. Он не открыл глаз, когда я взял его за шиворот. Не пошевелился, так и висел в воздухе с прижатыми ушами. Я положил его на землю, плюнул и отошел. Только тогда он сиганул за угол.

Синицу или воробья изловить не так-то и просто. Может быть, поэтому он и стал воровать у наседок беспомощных глупых цыплят, навлекая на себя всеобщее возмущение.

После случая с синицей я долго кота не видел. Однажды я ходил в лес, километра за три от деревни. Присел на пенек отдохнуть и покурить, вдруг в густых кустах можжевельника, росшего на полянах, мелькнуло что-то оранжевое, яркое. «Лиса! — сразу сообразил я.— Мышек, что ли, ловит? Или птичек?» Я затаился, смотрю — опять кто-то ярко-оранжевый подскочил в воздухе и исчез. Нет, это надо же! Вместо лисы оказался Лидиин кот. Но что он делал в лесу, так далеко от деревни? И где же он тут ночует?

— Кис, кис,— позвал я.— Иди сюда, Рыжко!

Кот долго не показывался из кустов. Потом все же вышел, поглядел на меня, подошел и начал... мурлыкать. Мурлыкать и тереться о мое голенище. Я дал ему головку от окуня, запеченного в пироге. Он неторопливо съел. Когда я позвал его домой, он охотно побежал следом за мной.

— Хватит шататься,— на ходу рассуждал я.— Домой пойдем, ночевать надо дома. Чего тебе в лесу ночевать?

Оглянувшись, я увидел, что кота не было. Обманул.

А может, просто удрал, не желая возвращаться в деревню, где уже так много нагрешил и набезобразничал.

ПРО НАСЕДКУ

Федя был прогрессист, хоть и не любил дирижеров. Он быстро воспринимал и внедрял у себя в хозяйстве все новое и передовое, как пишут в районных газетах, которые одно время возил вместе с письмами и посылками. Что например? Например, он недавно

провел в баню электричество. Посадил у дома хорошие культурные саженцы. Ну и так далее. Он хоть и ругал инкубаторских цыплят фезеошниками, но покупал их ежегодно. Домашних наседок не признавал.

В то лето одна из куриц, словно нарочно, не захотела нестись в положенном месте. Она то и дело заводила гнездо то под полом сарая, то где-нибудь в глухой крапиве, собираясь выпарить своих собственных цыплят. Делала это как бы назло инкубатору. Федя каждый раз ее выслеживал и отбирал яйца. Однажды настойчивая наседка, не долго думая, уселась парить в общем гнезде, в котором неслись прочие куры. На трех или четырех яйцах. Федя не знал, что и делать. Курам надо было нестись ежедневно, а гнездо занято. Федя решил выкупать курицу в речке, чтобы охладить пыл и «сбавить температуру». Он так и сделал. Я видел, как он макал курицу в реке, стараясь, однако, чтобы она не захлебнулась. После он посадил ее под кадку, чтобы окончательно отбить у нее охоту своевольничать. Но не будешь же все время держать куру под кадкой! Пришлось-таки ее выпустить. Она, как рассудил Федя, «сразу же образумилась и отказалась от своих планов». Федя был доволен, его жена Егоровна тоже.

Надо же было так случиться! Федя даже глаза выпучил от удивления, когда в один прекрасный день из-под сарая с чивиликаньем объявилась орава желтых цыплят. Пока Федя воспитывал наседку, другая кура не теряла времени зря.

Не в пример инкубаторским, цыплята оказались шустрые, бойкие. Они не разбегались в разные стороны, ничем не болели. Федя сначала сердился, потом перестал и был доволен. Он говорил:

— Вишь, и растут быстрей, и бегают намного проворней. Местные. А с той шпаной толку не дашь, одна морока.

И все-таки на следующий год он опять принес инкубаторских.

СТРЕЛЬБА

Из района в колхоз цыплят привозили большими партиями ежегодно. Федя купил их пятнадцать штук. Разместил около русской печки в загородке, накормил вареными раскрошенными яйцами и творогом. В первый же день цыплят прохватил почему-то жестокий понос. Трое погибли.

— Солнышка, солнышка им не хватает! — объяснил Федя. — Мне и в конторе сказали, когда выписывал.

На следующий день было тепло, солнечно. Федя сложил двенадцать своих питомцев в корзину и вынес на улицу. Но после этого сдохло еще два. Осталось десять штук.

— У, гнилые! — ругался Федя.— Детдомовские, чего с них возьмешь? Да еще неизвестно, может, одни петухи.

Когда цыплята подросли, их осталось восемь штук. Они гуляли на улице, чивиликали, но то и дело разбегались в разные стороны.

Феде приходилось искать их и собирать в одно место. Однажды исчез один, на другой день еще один. Федя прибежал ко мне за ружьем:

— Это он, прохиндей! Кот таскает! Ну, я ему лапы выдергаю. Дробь? Картечь нужна, дробь его не возьмет.

— Картечи нет.

— Пуля, оно бы лучше.

Скрепя сердце, я дал Феде ружье и патрон, заряженный самой мелкой дробью. Он бы все равно ведь нашел другое ружье. Федю я знал.

Рыжего я не видел ни разу после нашей встречи в лесу. Но говорили, что он снова в деревне. У меня болела душа, неужели Федя пристрелит кота? Втайне я надеялся, что Федя промажет, либо ружье даст осечку (штырьки патронов были совсем сношенные, осечки получались частенько). Я так и уснул в ту ночь с чувством жестокой вины перед Рыжком.

Ранним утром меня разбудил выстрел. Нет, не произошло осечки. Я вскочил, быстро оделся и выбежал к Фединому дому. Федя стоял в одних трусах и в майке, с ружьем в одной руке, с камнем в другой. И ругался так, что я еще ни разу ни слыхивал.

— Ну, что? — подскочил я.— Кот?

— Зараза! — Федя метнул камнем в огород. Рыжко мелькнул в траве, прыгнул и большими скачками удалился за бани.

Я облегченно вздохнул: жив! Федя, чуть успокоившись, рассказал, как было дело.

Он (то есть Федя) проснулся на восходе, чтобы узнать, сколько времени. Случайно взглянул с повети в огород, увидел Рыжка и побежал в комнату за ружьем. Прицелился прямо из окна и пальнул с очень близкого расстояния. «Попал же! — убеждал меня Федя.— Как не попасть! Да ему, гаду, что дробь? Ему эта дробь хоть бы хны, вот кабы первый номер! Ну, все равно будет помнить, зараза, не покажется больше».

Но в тот же день исчез еще один цыпленок, и осталось их всего пять. А через два дня только три. Тогда Федя взял выходной и целый день караулил вора.

Оказалось, что цыплят таскала ворона.

ПРО ВОРОН

Мы с Федей долго охотились за бесстыжей воровкой: она была хитра и коварна. Наконец, Федя все же укокал ее из моего ружья. Но было уже поздно. У Феди остался всего один цыпленок. Правда, к этому времени он изрядно подрос. И стало понятно любому, даже дураку, что это петух.

Так неудачно завершилась попытка Феди увеличить куриное поголовье.

Федя взял убитую им ворону и привязал ее за лапу к длинному тонкому шесту. Шест воткнул в грядку.

На огороде росла картошка, от цыплят осталось лишь горькое воспоминание. Для чего было пугать ворон? Наверное, Федя сделал это, чтобы как-нибудь отомстить противному вороньему племени.

В самом деле, до чего же они хитры и неуязвимы. Я не раз дивился проницательному нахальству ворон. Они, как бы шутя, не однажды надували меня.

Несомненно, эти умные птицы делили, так сказать, сферу своего влияния. В каждой деревне жила определенная группа. По способу пропитания их вполне можно отнести к домашней живности, как, например, голубей или кур. Но ведь куры не расклевывают у голубей яиц, а голуби не воруют у кур цыплят. Вороны же, пользуясь всеми преимуществами существования вблизи человеческого жилья, иногда просто вредят.

Свежий пример — воровство цыплят.

Было хорошо заметно, что вороны жили по деревням определенными группами.

Если в нашу деревню прилетали вороны из другого населенного пункта, местные поднимали гвалт. Чужаки с шумом выпроваживались. Это, впрочем, отнюдь не мешало в ненастные дни всем воронам объединяться в одну общую стаю. Вообще же эти странные птицы недолюбливали друг друга и частенько клевались между собой. Нередко одна у другой прямо из-под носа тащила добычу.

Вороны прекрасно разбираются что к чему. У Феди на чердаке я нашел точный деревянный макет винтовки. (Федя в годы войны руководил местным всевобучем.) Когда я выходил с настоящим ружьем, вороны, после двукратного предупреждающего крика одной из них, улетали далеко в поле. Для опыта я взял как-то Федин макет и вышел на улицу. Ни одна из них даже не подумала улететь! Я дважды повторил этот опыт и окончательно убедился: самая хитрая и умная птица в деревне — это ворона. Еще я заметил, что маленьких, не способных бросать камни детей вороны никогда не боялись.

ЗАЙЦЫ

В этой деревне жило два мальчика — маленький и большой. Не буду называть их по именам и фамилиям. Им это совсем ни к чему, да и рассказы эти не о людях, а о животных.

Мальчики были как мальчики, они ежедневно занимались своими делами. То врозь, то вместе бегали на речку, катали по дороге какие-то громадные чугунные шестеренки. Ходили собирать щавель. Мало ли дел? Со мной они почему-то стеснялись разговаривать.

— Ты кобылу-то разнуздал? — услышал я, проходя однажды мимо дома, где жил маленький.

— Не-е,— ответил большой.— Лягается.

Я видел, как маленький «разнуздал кобылу» и поставил ее в стойло. Оба начали рвать траву, чтобы накормить кобылу, которую изображал поломанный, когда-то заводной танк. Из палочек, частоколом воткнутых в лужок, была сделана загородка. Накормили, поставили и убежали.

В тот день Федя принес откуда-то пару кроликов. Потерпев неудачу с цыплятами, он решил развести кроликов. Раньше он занимался этим делом, и вот опять притащил одну пару откуда-то. Сделал из досок загородку, посадил их туда и позвал ребятишек:

— Идите зайцев глядеть!

На улице оказался один маленький мальчик. Он подошел, заглянул:

— Зайцы?

— Ага,— подтвердил Федя.— Вот только что за уши изловил. Вон за гумном.

— А чего они едят?

— Капустку. Ну, пока капустка не выросла, и травку едят.

— А почему один белый, а другой не белый?

— Так этот вот днем родился, а тот ночью.

Федя нарвал сочной травы, бросил в загородку. «Зайцы» действительно начали жевать травинки. Это привело в восторг голопятого зрителя: сомнений не было, в загородке были живые настоящие зайцы.

— Одного дам,— твердо сказал Федя.— Только скажи отцу, что надо барана взамен. Как только пригонит барана, сразу и берите.

В тот же вечер от дома, где жил маленький, раздался ужасный рев: мальчик просил у отца барана.

Никто не мог убедить его в том, что это не зайцы. Чтобы успокоить его, ему посулили барана на завтра. И он уснул, а утром, едва проснувшись, опять прибежал глядеть на зайцев. Уже вместе с большим.

Так он и засыпал каждый день с ревом, и отец каждый раз обещал ему барана, чтобы обменять утром на зайца. А утром все начиналось сначала...

Наконец, когда появился приплод, Федя сжалился не только над маленьким мальчиком, но и над большим. Однажды он вытащил за уши двух крольчат, подал ребятам:

— Нате! Ежели убегут, я не отвечаю.

К осени кроликов в деревне развелось столько, что их даже не считали. Они питались травой и действительно были очень похожи на зайцев.

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНЬЯ

Гусей своих Федя не любил и ругал ужасно. Было за что! Каждое утро они так противно и громко кричали, что хоть зажимай уши. Причем, ведь ни с того ни с сего.

— Ну, вы и скотинка,— задумчиво разглядывал их Федя.— Ну, вот ты, скажи, чего горло дерешь?

В ответ раздавался новый противный скрипучий крик. Федя безнадежно махал рукой и уходил. Гуси правились на речку, переваливаясь с боку на бок. Купались, плескались и снова гуськом ступали домой. Их было четверо: гусак и три гусыни. Гусак шипел на меня, когда я приходил к Феде. Он по-змеиному вытягивал шею и шипел, норовя ущипнуть. И щипал, разумеется. Особенно незнакомых прохожих. Феде было за что не любить гусей.

Даже Валдай, не желая с ними связываться, обычно уходил от них прочь, а корова при их виде так сердилась, что бросалась на них с рогами. Дело дошло до того, что однажды она кинулась на гусыню, прижала ее рогами к земле и измяла до полусмерти.

После того, как расплодились кролики, Федя решил, как он выражался, гусей «ликвидировать». Тракторист из одной дальней деревни возил Феде лес для ремонта дома. И почему-то обзарился на гусей. Не знаю уж на каких условиях, но Федя продал ему крикливых птиц. Проезжая однажды деревней, тракторист остановил машину. Федя посадил всех гусей в большой плетеный пестерь, в котором носят сено скоту. Пестерь завязали сверху холщовой подстилкой и привязали к прицепу, сзади трактора. Машина тронулась с грохотом. Федя, стоя на дороге, произнес:

— Ну, счастливого плаванья! Избавился от бесов.

Через два дня тракторист завез попутно Федин пестерь с подстилкой.

— Ну, как там птички-то? — спросил Федя тракториста.

— Нормально, живут,— сказал тракторист и уехал дальше.

Федя отнес пестерь в сени, взял там ведра, водонос и пошел за водой. Позже он рассказывал мне, что его даже в пот бросило: по реке, прямиком к Фединой бане, важно плыли четыре гуся. Вот тебе и счастливого плаванья!

Федя пришел домой без воды... Как он ни заворачивал гусей, как ни стегал их лозиной, они не хотели плыть обратно.

— За три километра против течения! — дивился он.— Нет, а молодцы, помнят родной дом! И хозяина помнят.

К вечеру, когда тракторист проезжал обратно, Федя из окошка помахал ему:

— Остановись-ко!

— Чего? — Трактор остановился.

— А гусей не надо ли дополнительно? У меня еще есть! Нет, ты зайди, зайди...

Федя вдоволь похохотал над покупателем, которого едва уговорили забрать гусей. Их погрузили опять в тот самый пестерь и приторочили к гидравлическому прицепу.

За лето они приплывали к Феде еще два раза, Федю любили не только все животные, но и птицы. Несмотря ни на что.

ЗАПЛАТКИН

Был у Феди кот по кличке Заплаткин. Федя рассказал мне историю его происхождения. Года два назад кошка окотилась под печкой, тайно от Феди. Федя взял клюку и начал по одному выгребать потомство, намереваясь всех утопить. «Только выволоку,— рассказывал он,— а матка его за шкирку и обратно. Так и не мог сосчитать». Когда малыши подросли, они начали сами выбегать из-под печи, чтобы поиграть на полу. Но и тогда Федя не мог углядеть, сколько их, то ли пять, то ли четыре. Таких веселых не захотелось Феде губить. Он, по мере спроса, по одному отдавал их нуждающимся. Всех отправил по разным бригадам, остался один, весь пестрый, словно в заплатках. Федя прозвал его Заплаткиным и оставил себе.

Заплаткин вырос, от матери совсем отступился и очень подружился с Валдаем. Бывало, Федя правится с озера, его еще далеко в поле встречает Заплаткин. Мяучит и просит рыбку. Федя садился на кочку и давал Заплаткину маленькую сорожку. Кот не спеша съедал сорожку, и оба шли домой. Валдай шумно догонял их уже у самого дома.

Порой Заплаткин до крови дрался с другими котами (например, с Лидииным Рыжком, о котором я уже говорил). Правое ухо у Заплаткина было разорвано в такой драке, да так и зажило. Оно похоже было на кошелек. Около глаза имелся изрядный шрам. После очередной потасовки Федя стыдил кота:

— Опять поддался? Ох, ты! Ворона! Столька нет, дак и не берись, не втягивайся.

Смущенный Заплаткин жмурился и по очереди прижимал свои драные уши. Он словно бы отмахивался: мол, и так тяжело, а тут еще читают нотацию.

Как-то я ходил на реку, смотрю, в густой огородной траве осторожно крадется Заплаткин. Он даже не обратил на меня внимания, нашел какую-то травку и лениво начал ее жевать. «Заболел,— сразу подумал я.— Лекарство ищет». И я не ошибся, кот действительно захворал. На другой день я зашел к Феде по какому-то делу и вижу: Федя держит кота в коленях и сует ему что-то в рот, приговаривая: «Ну, батюшко, давай, давай бери». «Чем ты его потчуешь?» — спросил я. «Да вот, слабительное,— отвечал Федя.— Не берет, выплевывает. Может, аспирином попробовать?» Федя развернул другое лекарство. Он разломил пополам таблетку аспирина и сунул Заплаткину в пасть. Кот вырвался и убежал в коридор. Его начало там рвать.

Вскоре бедный Заплаткин ушел куда-то из дому и больше не появился. Его нашли мертвым далеко от деревни, в поле. Один Валдай жалел своего друга и не однажды начинал выть, видимо, вспоминая кота. Но и Валдай скоро успокоился. Что делать? Заплаткина было уже не вернуть.

КОНФЛИКТ

Я убежден, что некоторые коровы, собаки и кошки перенимают характер своих хозяев. Многие становятся похожими на тех людей, у которых живут. Так часто бывало. Взять хотя бы частных коров. Если хозяйка хитрая, злая, то и корова у нее со временем становится очень на нее похожей: бодается, норовит насолить пастуху. Если хозяйка спокойная, рассудительная, то и корова не бегает понапрасну.

Собачка Малька, например. Она наверняка подражает своей хозяйке — Лидии. Обе ругливые, не очень уживчивые.

Некоторые животные терпеть не могут пьяниц, потому что хозяйка их не выносит. Другие, наоборот, не только терпят фамильярности пьяных мужчин, но даже как-то жалеют выпивох, если хозяйка относится к подобным людям жалеючи и терпимо.

Не таков Федин Валдай. Я уже говорил, что пес этот имеет свой характер и свой резон. Федя рассказал мне такой случай.

Как-то зимой Федя вернулся «в квартиру», как он говорил, то есть домой, в очень плохом виде. С Федей это бывает. В ту ночь он был очень сердит и ни с того ни с сего пнул Валдая. Если бы было за что, Валдай, может быть, и стерпел бы, не огрызнулся. Но ведь пес ни в чем не был виновен, поэтому рыкнул на хозяина. Феде это не понравилось, он ударил собаку второй раз, и тут Валдай зарычал страшно и схватил хозяина за руку.

Чем кончился этот конфликт — неясно. Федя, вероятно, не остался в долгу. По его словам, пес бросился прямо к горлу... Егоровна кое-как угомонила обоих, Федя уснул. Под утро он проснулся от какого-то страха, открыл глаза и боится пошевелиться. Больная, укушенная собакой рука свесилась с кровати, а Валдай осторожно зализывал рану.

После этого случая Федя никогда не бил пса. Таких конфликтов между ними больше не было.

ПОГОНЯ

Было рано, солнечное спокойное утро вдруг огласилось шумом и свистом птичьей стаи. Я выскочил на крыльцо — никого. Вдруг свист и шум снова приблизились. И тут я увидел большого ястреба, который стремглав, низко над землей, метнулся между домами. Ласточки, стрижи и синицы дружной стаей преследовали серого хищника. В чем дело? Что он натворил? Видать, не зря всполошились птицы. Особенно неистовствовали стрижи и касатки, они носились вокруг ястреба, готовые растерзать его. Он, не зная куда деваться, вильнул в другой проулок, они все за ним. Даже несколько галок затесалось в стаю, они кричали и преследовали обидчика. Два воробья тоже хорохорились сзади. Они, летая за стаей, отчаянно

чирикали и пушили хвосты. «А вы-то чего? — подумалось мне.— Вишь, тоже туда же, в драку».

Мне даже стало жаль ястреба, так много на одного... Он, бедняга, метнулся под навес, птицы — за ним. Он в поле — погоня так и наседает. И все это со свистом, криком и шумом. Ястреб взмыл, наконец, высоко в небо, но погоня не отставала, тогда он стремительно полетел в поле, к лесу. Все исчезло вдали. Стало тихо. Вдруг Федин петух выбежал на середину улицы и с угрожающим кокотом вытянул шею. Осмелел задним числом, ему явно не терпелось что-то предпринять, чем-то проявить себя в этой птичьей заварухе. Так и стоял посреди улицы, кокотал, стараясь быть как можно грознее. Валдай глядел на него с таким видом, как будто хотел спросить: где раньше-то был? Нет, брат, куда уж тебе на ястреба!

ПЕТУХ

Частенько я наблюдал за этим воинственным петухом, потому что он настоящий красавец. Красная борода его то и дело тряслась около моего жилья. Он будил меня глубокой ночью. Я улыбался ему во сне, а утром он поднимал меня уже взаправду.

Замешкается где-нибудь на задворках, очнется — глядь, а кур-то нет. Остался один. Оглянется по всем сторонам — никого. Встрепенется, раздвинет крылья и что есть духу пустится в конец улицы. Там тоже ни одной. Обратно прибежит — пусто. Остановится, споет и долго прислушивается. Никаких результатов. До того допоется, что даже осипнет.

А куры спокойно возятся в пыли за углом, в двух петушиных шагах...

Либо поведет кур в чей-нибудь картофель и долго кокочет, если выгонят. Мол, что это за безобразие? Почему такая несправедливость? И столько в его кокоте искреннего возмущения, что даже смешно. Впрочем, петушиное возмущение очень недолговечно. Тут же забывает обиду, гордо вскидывает голову, выгибает роскошную шею и самозабвенно поет на весь белый свет.

КУРЫ БЕГУТ ДОМОЙ

Поскольку речь зашла о петухе, то надо поговорить и о курах. Впрочем, рассказывать о них совсем нечего. Может быть, я и ошибаюсь, но во всей домашней живности глупее курицы никого нет. Я уж говорил, что в глупости не уступают им только бараны и овцы. Остальная живность не в счет.

Итак, с курами, не считая наседок, почти не бывает интересных событий. Поэтому я расскажу давнишний случай. Дело было чуть ли не в первый мой приезд сюда. Тогда в деревне еще имелась колхозная птицеферма.

Самым занятным было то, что куриное поголовье на ферме никак не поддавалось учету. Попробуйте-ка сосчитать кур, когда они всей кучей клюют что-нибудь! Задача эта непосильная даже современной счетной машине. А что говорить о какой-нибудь старенькой неграмотной птичнице?

Помню, что продуктивность на ферме была низкая. Учету поддавались одни петухи, которые, кстати, примечательны еще тем, что никогда не позволяют скандалить курам между собой. Сами дерутся почем зря, но стоит каким-нибудь двум несушкам повздорить, петух тут как тут. Встанет промеж дерущихся кур и баста. Иную, самую неуемную, и тюкнет. Я всегда поражался подобному домострою. Еще удивляет в иных петухах излишняя заботливость о своих подопечных. Найдет петух какого-нибудь жалкого червячишку и давай бормотать, давай крутиться вокруг него. Сам хоть какой голодный, а ни за что не съест. Всех созовет. Куры сбегутся, а и клевать-то, собственно, нечего.

Но вернемся к птицеферме. Она была огорожена частоколом. Днем куры ходили в этой загородке. На ночь птичница загоняла их в горницы колхозного дома, запирала на висячий замок. Дом был большой, остался от раскулаченных. Сначала в нем размещался детсад, после контора колхоза. Когда колхоз укрупнили, дом долгое время пустовал. Наконец, сделали птицеферму.

Кто только не перебывал на должности птичницы! Почти все женщины деревни, которые теперь уже умерли. Последними птичницами были знакомая нам Лидия и бабушка Марья — одна за другой. Марья уже и тогда была старушкой. Лидия же считалась в то время еще молодой. Однажды Лидию поставили птичницей. Как выяснилось позже, она вздумала обменять трех своих старых кур на колхозных молодок. Что и сделала. Тайком отнесла своих зажиревших старуток на птицеферму, а взамен принесла домой молодок. Вскоре ее поставили бригадиршей, а птичницей стала бабушка Марья. У бабушки тоже имелись свои личные куры, которые почти ослепли. Она тоже решила заменить их на ферме. Бабушка выбрала себе взамен тоже трех, но самых матерых и жирных. Она наивно предполагала, что чем больше курица, тем она лучше. Она тайком притащила птиц домой. Надо же было тому случиться: новые куры бабушки Марьи без колебаний направились к дому Лидии. Ни та ни другая не ожидали такого конфуза. Три злополучных старутки, не подозревая, в какой стыд ввергли нового бригадира, благополучно вернулись домой. Лидия сделала вид, что куры ей не принадлежат. Но они ни за что не хотели ночевать у бабушки Марьи! Бабушка искренне недоумевала.

Не знаю, чем кончилось это событие, но о нем до сих пор вспоминают в деревне.

Птицеферму вскоре после того случая колхоз ликвидировал.

СВОЕ БЕРЕМ

Дедко Остахов совсем расстроился. Такой опытный пчеловод, а тут оплошал! Ему даже стыдно было мне рассказывать про этот случай.

Однажды к ним приехали из города гости — дочка и двое внучат. Дедку захотелось угостить ребятишек свежим медом. Он решил покачать немного, хотя срок для этого еще не пришел. К полудню он развел дымарь, вымыл чистой водой медогонку. Надел сетку и вынул из каждого улья по рамке.

Меду, как и следовало ожидать, оказалось мало. Но дедко Остахов — упрямый старик. Что задумает, обязательно сделает. Он занес рамки в сарайчик, срезал специальным ножом воск, покрывающий соты, и приготовился качать. Только хотел вставить рамку в медогонку, вдруг как громыхнет за деревней! Дедко Остахов аж присел от неожиданности. У него было сено в валках, а тут загремело. Пойдет дождь — пропадут все труды.

И дедко Остахов схватил грабли, кинулся в поле загребать сено. Однако гром только попугал сенокосников. Дождя в тот день не было. Дедко благополучно сметал стог, а под вечер вернулся домой, намереваясь выкачать мед.

Он зашел в сарайчик, потрогал одну рамку и всплеснул руками. Соты были легкими, как пух. Меду не было ни в одной ячее. В чем дело? Рамки, что ли, подменили? В соседней деревне один пенсионер, старый учитель, тоже держал пчел. Дедко уже хотел было бежать к учителю, да подумал: нет, не тот это человек, чтобы чужой мед воровать. И правильно подумал.

Я возвращался домой с купания. У дедкова дома меня больно ужалила остаховская пчела. Дедко Остахов посоветовал мне потереть больное место сырой землей и сказал:

— А гляди-ко я-то как опростоволосился! Так и надо старому дураку. Вздумал качать не вовремя.

— А что? — спросил я.

— Всё украли. До капельки!

— Кто?

— Да мои же пчелы! Свое, сказали, берем. На-ко вот, облизнись.

И дедко Остахов пнул сапогом в пустую медогонку.

Пока он метал стог, видимо, одна какая-то пчелка-разведчица залетела в открытый сарайчик. Соты распечатаны, чего лететь далеко? Тем более взяток в это лето был не ахти какой. И вот, одна за другой, пчелы начали воровать у дедка свой же мед. Они украли все, дочиста, и оставили старика с носом.

— С ними не шути! — рассказывал мне дедко.— Вот август придет, они трутней начнут выселять. Всех бездельников из дому вон. Трутни-то обратно лезут, а пчелки их не пускают. Шабаш! Хватит, говорят, этих тунеядцев кормить. Вот бы и у людей так!

Мы долго еще говорили с дедком о пчелах.

ХОРЬ

В бытность свою Федя имел дело с хорем. Впрочем, с чем он не имел дела? Разве что с домовым, да и то потому, что не верил ни в какие тайные силы. Хоря, как и галку, трудно отнести к домашней живности. Но сам-то хорь думал, видать, иначе. Он жил в Федином доме как полноправный член хозяйства, ничуть не считаясь с установленными порядками. За год он придушил трех Фединых кур... А позже и совсем обнаглел.

Федя рассказывал мне, как он воевал с этим хорем.

В клетушке для гусей из-под стены неожиданно появилась нора. Среди ночи гуси подняли, как говорится, ужасный хай, но на первый раз все обошлось. Федя вылил в нору ведро воды, намереваясь утопить нахального кровопийцу. Не тут-то было! Хорь и не собирался сдаваться. Тогда Федя расставил под стеной, с улицы, капканчики. Из этого ничего не вышло, в капкан угодил сначала петух, а потом и «Заплаткин-покойничек», как выражался Федя. Хорошо, что капканы были кротовые, не очень сильные. Пришлось их убрать. У Феди был кое-какой опыт борьбы с крысами, он решил применить его в поединке с хорем. Набил бутылочного стекла, вместе с постным маслом намял осколки в хлебные шарики. Шарики подкинул в хорьковые норы. Ничего путного из этого тоже не получилось. Вероятно, хорь не родился вегетарианцем. Что было делать? Зверек оказался хитрее Феди. Это-то больше всего и злило хозяина. Погибших кур Федя ничуть не жалел. Но вот, когда хорь сделал покушение на гусыню, Федя рассердился всерьез.

Хорь ночью напал на гусыню. По-видимому, он поволок ее в нору. Но поскольку всю гусыню тащить было не под силу, то он отгрыз у нее левую лапу. И уволок. Искалеченную гусыню пришлось скоропостижно «ликвидировать».

Федя был вне себя. Он взял выходной. (В серьезных случаях жизни он всегда брал выходные.) Первым делом он хорошо изучил все фортификационные сооружения хоря. Несколько нор из-под стены вели далеко в огород. Не жалея зацветающих огурцов, Федя начал копать. Копал, копал и докопался-таки до хорькова гнезда!

Хоря в гнезде, разумеется, не было. Но после того, как Федя разгреб и уничтожил хорьково жилье, зверек больше не появлялся. Видимо, он покинул пределы Фединой «оседлости», как называют здесь дом и приусадебный участок.

ВЫРУЧИЛ

Всю жизнь бабушка Марья держала корову. Но оттого, что косить разрешалось только за проценты, ей, как и многим другим старухам, пришлось сдать животину в колхоз. Кто от этого выиграл — неизвестно. Скорее всего, никто. Ведь все равно бабушка

Марья сдавала молоко государству и теленок тоже шел государству, а трава, особенно в лесу, пропадает зря.

Так или иначе частный сектор бабушки Марьи был полностью ликвидирован. Но человеку, всю свою жизнь связавшему со скотиной, очень трудно привыкать жить одному. И поэтому бабушка завела овцу и козу. На другое лето бабушка выпускала в поле уже целую ораву, в числе которой был не только баран, но и козел.

Сена на эту ораву потребовалось не меньше, чем на корову. Поэтому бабушка овец оставила, а коз продала. Вот только на козла никак не находилось покупателя. Резать было жалко. Так и шло дело, как в песенке: «Жил-был у бабушки серенький козлик». Какой, к черту, козлик! Это был уже настоящий козел, вонючий и такой приставала, что один ужас. Оттянет губу и лезет ко всем по очереди. Его лупили за нехорошее поведение проезжие трактористы. (Хотя, если разобраться по совести, от них-то пахло не лучше. Горючим и всякой гарью.) И вот нынче, жалея козла, бабушка Марья перестала выпускать его на свежий воздух. Она запирала его в старой зимней избе и кормила пыльным прошлогодним сеном. Козел чихал и не ел. Тогда бабушка наводила ему в ведре вкусного пойла. Вот это другое дело, как бы говорил козел и, причмокивая, махал хвостом. Бабушка разговаривала с ним, как с человеком: «Экой ты плут, откуда навязался на мою голову?»

В сенокос она бродила понемногу косить. Козел, оставаясь один, блеял взаперти на разные голоса. Федя, встретив однажды старуху, спросил:

— Ты чего, телевизор, что ли, купила?

— Полно,— замахалась бабка.— Какой от меня телевизор.

— А я думал, купила. Весь день поет. Ведь никому и на трубе так не выиграть, как он, бедняга, выводит.

— Да чего делать-то? Исколотили всего.

— Выпускай! — коротко посоветовал Федя.— Я выручу.

Бабушка Марья недоверчиво покачала головой:

— Да как выручишь-то?

— А это уж мое дело, как.

И бабка выпустила козла. Говорят, что все гениальные мысли очень просты. Не зря говорят. Федя поступил просто. Он начал учить козла бодаться. Надел мотоциклетную каску, встал на четвереньки и под смех ребятишек боднул козла. По вечерам они с козлом устраивали на лужке тренировки. Козел оказался способным учеником. На третий день он понял, что от него требуется.

Федя решил больше не рисковать своей головой и начал ставить на торец широкую доску, прикрываясь ею, как щитом, дразнил:

— Ну, душной, давай!..

Козел несильно стучал в доску рогами. Вскоре он научился бить с разбегу, и Федя едва удерживал доску. Однажды козел вышиб защиту и разбежался еще, чтобы ударить прямо по Феде. Феде пришлось бежать, он еле успел захлопнуть ворота.

С этого дня ни один тракторист даже пальцем не смел тронуть козла. Но бабушка Марья попала в другую беду. Козел начал бодать всех подряд. Ей пришлось снова заточить козла в старую избу.

ДУШНОЙ

Покупателя на него все еще не находилось. Бабушка как бы смирилась с этим и терпела. У козла даже не было клички. По одному этому можно судить, как он жил. Обычно у всех домашних животных, кроме овец, баранов и петухов, есть имена. Козла же бабушки Марьи не звали никак, даже просто — козел. Федя, правда, называл его, но весьма оскорбительно — Душной. То есть вонючий, с дурным запахом. Душной так Душной. Бабушка незаметно для себя тоже стала его так называть. Он по-прежнему целыми днями сидел взаперти. Если раньше бабка не пускала его на улицу из боязни, что его обидят, теперь наоборот. Боялась, что кого-нибудь обидит он сам.

Но легко ли летом сидеть взаперти! Ничего нет хуже, хоть бы для козла. Однажды, когда бабка на весь день ушла в поле, ему каким-то способом удалось выйти на волю, но только внутри дома. То ли бабушка худо приперла дверь, то ли совсем припереть забыла. Одним словом, Душной проник, видимо, вначале в коридор, затем на верхние сени. Дом, однако, был закрыт снаружи: последние годы в деревнях появились замки. (Еще два года тому назад ворота здешних домов люди не запирали, втыкали в скобы лишь палочки или батожки.)

Дом у бабушки Марьи высоченный, драночная крыша крутая, широкая. Козел, видимо, долго бродил внутри, теряя надежду выбраться на улицу. И все-таки он глотнул в тот день свежего воздуху...

Федя, придя на обед, первым увидел эту картину: Душной ходил по крыше. Головокружительная высота, видимо, смущала его, он то и дело жалобно блеял. Можно было себе представить, что от него осталось бы, если бы он свихнулся с князька!

Федя забил тревогу. Пришел дедко Остахов, покачал головой:

— Экой касманавт!

Лидия с женой Феди — Егоровной — ахали и охали. Но все рассуждали пока не о спасении козла, а о том, как он залез на крышу. Будто это было так важно!

Наконец, шутник Федя предложил:

— Может, за ружьем сбегать?..

Шутки шутками, но делать что-то надо. Лестница необходимой длины имелась только у дедка Остахова. Мы с Федей сходили за ней. Приставили к дому, но лестницы хватило лишь до карниза.

Тем временем с поля вернулась бабушка Марья. Она вначале испугалась, а спустя несколько минут заругала козла:

— А леший с ним. Хоть бы свалился да шею сломал!

Но это была минутная слабость бабушки Марьи. Она тотчас заохала от расстройства.

Но что предпринять?

Надо было лезть наверх, ловить козла и спускать его вниз по веревке. Никому не хотелось этого делать, мне тоже.

— А как залез, так и пусть слезает! — сказал дедко Остахов.

Это было, конечно, резонно. Но даже сама бабка не знала, через какую дыру козел залез на крышу. Дыр, видимо, было много. Бабушка завела меня на сарай, показала все, как есть. Козел, вероятно, забрался вначале на чердак по лестнице, затем по двум доскам, лежащим на балках, пришел на потолок чулана, затем опять же по доске пробрался в другой конец дома, где светлело небольшое отверстие. И все это на трехметровой высоте над настилом сарая. Как он не брякнулся еще тут — непонятно. Я подивился его упрямству и вышел на улицу.

Федя уже сбегал домой за веревкой. Он влез по лестнице на крышу сарая, затем на крышу самого дома.

— Батюшко, батюшко...— приговаривал Федя.— У, дурак, Душной!

Козел увернулся.

Все мы, как говорится, с замиранием сердца следили за ними снизу.

Федя был смел и находчив. Он сделал из веревки петлю наподобие ковбойского лассо, которые показывают в кино. И с перворазки накинул козлу на рога...

Козел потерял равновесие и покатился с крутой крыши. Федя тоже едва удержался, но успел укрепиться, держась за круглую чугунную трубу. Козел не докатился до края крыши, веревка напряглась и задержала его.

— Ну, теперь буду спускать! — закричал Федя и начал осторожно травить веревку. Козел завизжал...

Я ручаюсь, что за последнюю пятилетку в деревне не было подобного зрелища. Федя травил веревку, женщины внизу замерли, козел жалобно заблеял, заюлил ногами, когда бултыхнулся с крыши и повис на рогах.

— Принимай! — орал Федя сверху, но было боязно подходить.

Федя травил веревку большими порциями, спуская груз к земле. Душной благополучно коснулся задними копытами твердого грунта. Федя слез с крыши. Все успокоилось. Мы хотели нести лестницу обратно к дому дедка Остахова, но решили передохнуть. Бабка еле сняла веревочную петлю с козлиных рогов.

— Ох, Душной бес,— ругалась она,— беги, дьявол, бегай теперь.

И она повернулась к нам, сматывая веревку. Потом наклонилась, чтобы поднять Федину упавшую кепку. Все произошло опять же, как говорится, в считанные секунды. Козел, отступив

чуть назад, наклонил рогатую голову и сильно боднул бабку в зад. Бабка Марья полетела в крапиву...

— Ну, Душной! — заключил Федя всю эту сцену.— Теперь-то тебе не миновать мясозаготовки!

И мы с дедком Остаховым понесли лестницу к его дому.

ШЕФ-ПОВАР

Федя говаривал как-то: «Теперь и коровы-то все с высшим образованием». Как и всегда, он, конечно, преувеличивал. Но в этих словах доля правды все же была. Коровы, по сравнению с прежними временами, действительно очень избаловались. Они уже не хотят пастись в лесных угодьях, как это было в здешних местах испокон веку. Под пастбище отведены самолучшие поля, для коров ежегодно строятся помещения, похожие на дворцы. Механизация — полная. Не хватает разве что кондиционированного воздуха. Свет горит круглые сутки. Говорят, что коровы уже не могут жевать жвачку в темноте, а солому почти не едят. Это — колхозные. Если же говорить о личных, то о соломе и речи не может быть. Во-первых, где ее взять, солому? Во-вторых, животное сильно подкармливают печеным сельповским хлебом. Почему так получается? Потому что весной, к примеру, кило печеного хлеба дешевле, чем кило хорошего сена, хотя многие гектары лесных покосов ежегодно уходят под снег.

Федя говорит, что теперь коня и мужика ни во что не ставят, все вниманье бабе да корове. Называет такие порядки «колесией» и добавляет: «Наверное, скоро переставление света».

Когда жены нет дома, он сам доит свою корову Поляну. Но прежде чем взять подойник, он кидает фуражку в угол и надевает старый платок Егоровны. Поляна никак не дается доить, если придешь в фуражке. Небритый и черный от загара, да еще без двух передних зубов, Федя похож в этом платке на бабу-ягу.

— Вот бы тебя так сфотографировать,— говорю я.

— И не говори! — отзывается Федя, усаживаясь под корову.— Матушка, матушка... Куды, зараза такая, стерьва! Юбку, что ли, еще надеть?

Поляна оглядывается на зычную Федину ругань. Она укоризненно смотрит, словно бы говоря: «Как некультурно, постыдился бы приезжих людей».

— Матушка, матушка,— снова подкрадывается Федя.

Так повторяется раза два или три. Наконец, корова подоена. Пес Валдай глядит на Федю с сочувствием. Кузя вопит в хлеву, требуя есть. Кошка Муська терпеливо ждет молочка. Мычит теленок, блеющие овцы бегают где-то рядом.

У Феди неожиданно сдают нервы.

— Никого не буду кормить! — заявляет он.— Ждите большуху. Вишь, нашли шеф-повара...

ГЛУПЫЙ ТЕТЕРЕВ

Бывают с птицами и животными совсем странные происшествия. Однажды в мае среди бела дня на Федину березу ни с того ни с сего прилетел здоровенный тетерев. Сел и сидит. (Сам я не был тогда в деревне, мне рассказали об этом.) Сидит и глядит на деревенскую жизнь с высоты.

Первой увидела его Лидия. Она сказала бабушке Марье, а бабушка разболтала Фединой жене Егоровне. Так и дошло до самого Феди.

Федя взглянул на березу — и впрямь! Сидит на вершине самый настоящий тетерев. Федя, не долго думая, побежал в соседнюю деревню за ружьем. Километр туда, километр обратно. Да ведь надо еще и ружье выпросить, договориться! И тетерев все это время сидел на березе, словно бы поджидая Федю с ружьем.

Ну, конечно, и досиделся. Федя сшиб его с первого выстрела, ощипал и целую неделю хлебал и нахваливал суп. Зачем надо было лететь этому косачу в деревню? Непонятно. Да еще, как дураку, так долго сидеть на березе. Если б хозяина, у которого Федя выпросил ружье, не было дома, если б он ушел, например, в магазин или на какую работу, тетерев и сегодня бы был жив.

ГАЛКИ И ОВЦЫ

Овцы ходили в поле без пастуха, они щипали траву. Я видел, как прилетели две бойкие галки. Одна уселась на спину овце и давай тюкать носом прямо в шерсть. Овца даже как будто была рада непрошеной гостье.

«Пух дергает на гнездо,— подумал я.— Ну и ну!»

Но ведь все нормальные птицы вьют гнезда весной. Что это за галка, которая вздумала устраиваться с жильем под осень? Вторая галка села на барана, но тому это не понравилось или было не до галок. Тогда она села на другую овцу.

Позже местный ветеринар сказал мне, что галки вылавливают в овечьей шерсти личинок. Вот, оказывается, почему овечкам нравились визиты этих в общем-то неприятных сварливых птиц!

ПРО БАРАНОВ

Я говорил уже, что Федя человек прогрессивный и очень любит всякую технику. Он выписал по почте машинку для стрижки овец и быстро научился ею орудовать. Когда он остриг овец бабушки Марьи, ему не стало отбоя от просителей.

— Да вы что? — отказывается Федя.— Разве у меня парикмахерская?

Но все-таки стриг. Вытаскивал из под шкафа длинный

резиновый шнур, включал вилку в телевизионную розетку и через окно подавал машинку на улицу.

В тот же вечер Лидия притащила под окно своего все еще не стриженного барана. Баран упирался и не хотел идти, он хрипел и по-дурацки блеял. Лидия то тащила его за рога, то ехала на нем чуть не верхом. Зигзагами.

Федя критически оглядел барана:

— Мало его остричь. Его бы обрить надо, вишь, до чего упрям.

— Да ведь замерзнет,— возразила Лидия.

Федя обкорнал барана за пять минут. Стриженый баран всем показался тощим и маленьким.

Я держал его за рога, пока Лидия складывала шерсть в старую наволочку.

— Да отпусти ты его, отпусти,— сказала Лидия,— овец-то еще не застала.

Я отпустил барана. Он отбежал на дорогу. И встал, хрипло блея. Он как будто недоумевал, привыкая к новому, «раздетому» состоянию.

— А хватит и пофорсил! — сказал Федя.

В это время я увидел дедка Остахова, который тащил за рога другого барана.

— Лидия! — окликнул дедко.— Опять твой баран с моими овцами! На, забирай.

Лидия всплеснула руками. Дедко действительно тащил ее барана, она остригла по ошибке остаховского...

Федя хохотал на траве. Дедко Остахов сокрушенно разглядывал своего стриженого, все еще не отпуская чужого лохматого.

— Дак на, шерстку-то,— Лидия несмело подавала дедку наволочку с шерстью.

— Да на што мне шерсть? Я овчину хотел выделать... Ну, может, к зиме и вырастет... Шут с ним.

И дедко из рук в руки передал Лидии ее нестриженого барана. Сам взял наволочку. Лидия сокрушенно потащила домой своего барана. Федя предлагал остричь и этого, но она наотрез отказалась.

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ

Ферму, на которой работала жена Феди, перевели в другую деревню, в четырех километрах от дома. Каждый день Егоровна поднималась глубокой ночью. Днем она появлялась дома часа на два-три, затем бежала на дневную дойку. Потом вновь приходила домой на час-полтора и опять торопилась, теперь уж на вечернюю дойку. Вечером приходила часов в десять.

И так каждый день, из месяца в месяц. (Понятно, почему

Феде приходилось зачастую доить свою корову и быть шеф-поваром.)

Я высчитал, что Егоровна проходила в день в среднем 24 километра только туда-сюда. Следовательно, за 10 дней у нее получалось 240 километров. Наконец, кому-то пришло в голову, что так дальше нельзя. И вот председатель разрешил Егоровне ездить на ферму на Верном. Федя научил жену седлать коня и забираться в седло.

Егоровне сразу стало легче.

Верный, не в пример корове Поляне, смирно стоял, пока Егоровна седлала его и забиралась наверх. Егоровне отнюдь не приходилось надевать Федину фуражку, чтобы оседлать мерина. Почему же Феде приходилось надевать платок Егоровны, когда он доил корову? Я долго думал над этой несправедливостью. И ни до чего не додумался, кроме как до нового, еще более сложного вопроса: почему, собственно, мужчина Федя должен доить корову, а женщина Егоровна ездить в седле? В здешних местах испокон веку все было наоборот: мужчины делали мужское дело, женщины — женское. Вот как меняются времена!

РОМА

Однажды ранним утром я пробудился от странного низкого звука. Вроде бы ревел двигатель пролетающего реактивного самолета. Но звук то и дело прерывался. Нет, на самолет не похоже. Машины тоже так не рычат, даже когда буксуют.

Этот рев приближался. Я выбежал за угол и порядком струхнул: громадный бык шел напрямик. В нем была добрая тонна весу. Он даже не взглянул на меня, с низким печальным и угрожающим ревом прошел мимо. Изредка он останавливался, клонил большую рогатую голову и скреб землю копытом. Из-под копыта далеко назад летели дерновые клочья. Он уходил все дальше и дальше, по дороге к центральной усадьбе.

В тот день я не узнал о нем ничего. Но на следующее утро все повторилось точь-в-точь. По деревне снова прошел бык. Что такое? Второй? На третье утро — опять то же самое. Непонятно. Сколько же всех быков на ферме? Егоровна рассказала мне, в чем было дело.

Быка, по кличке Рома, перегнали недавно с центральной усадьбы на ферму Егоровны. Когда его выпустили утром со двора, он не захотел ходить в новом стаде. Несмотря на все старания пастуха, он пошел домой, обратно на свою центральную ферму. Оглашая деревню печальным угрожающим ревом, Рома прошел километров пять и остановился у дорожной развилки. То ли оттого, что не знал, какую дорогу выбрать, то ли из-за оводов, бык не решился идти дальше и замешкался. Конные пастухи догнали его и возвратили, куда положено.

Однако на следующее утро он снова пошел туда, где привык. Его неудержимо влекло к знакомому стаду, в родные места. Но, по-видимому, он забыл дорогу домой, потому что каждый раз останавливался у развилки. Так повторялось много раз. Наконец, пастухам надоело ездить и они махнули на Рому рукой. Неприкаянный, одинокий, бык бродил около деревень, тоскуя по дому. Иногда он останавливался и подолгу стоял на одном месте. Что таилось в этой большой голове? В печальных круглых, отливающих синевой темных глазах сквозило что-то нездешнее и тоскливое. Но иногда глаза Ромы наливались кровью, и он с ревом начинал отбрасывать землю копытом. Теперь на него никто не обращал внимания. Рому даже не пытались загонять во двор. Он ночевал где придется, то в поле, то в старом гумне. Видя, что никому не нужен, бык перестал даже реветь. Целыми часами он стоял в поле или бесцельно бродил у стогов.

В один прекрасный день в деревню с руганью прибежала Лидия. Оказывается, бык перекувырнул сметанный ею стог сена. После этого Рома перекувырнул еще несколько стогов. Я сам видел однажды, как Рома бродил около стога, потом вдруг подцепил стог под самое основание. Стожар был крепкий, стог качнулся, но не упал. Я был далеко и закричал. Хотел бежать с палкой, чтобы отогнать Рому от стога. Но струсил, да было уже и поздно. Рома уперся ногами в землю, зарылся рогами в сено, и на моих глазах стог повалился набок. Что значили какие-то четыре-пять центнеров для такой туши?

После этого его уже не выпускали из стойла. Все перевернутые стога пришлось переметывать. Так отомстил людям этот бык за то, что перевели на чужбину.

ПОСЛЕДНЯЯ СИНИЧКА

Сидел я за столом в горнице и не заметил, как потемнело в воздухе. Взглянул в окно и вижу: на проводе, совсем рядом, сидит синичка. Сидит и вытягивает головку то влево, то вправо. При этом ее тоненький клювик открывался и закрывался. Что это она делает? Я подошел к окну и забыл про синицу: сверху медленно летели снежинки. Вот почему потемнело на улице. Лето кончилось. Пришло время уезжать из этой деревни.

Синичка все поворачивала головку то туда, то сюда. Я пригляделся и увидел, что она ловит ртом снежинки. Ах, лентяйка! Ей не хотелось лететь на реку. Она утоляла жажду снежинками. Никогда такого не видел. А, может, она принимала снежинки за мошкару и ловила. Не зря ведь говорят про первый снежок: «Полетели белые мухи».

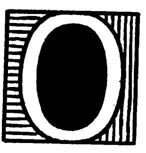
Эта синичка была последней из всей деревенской живности, с которой я познакомился в это лето. Ночью Федя проводил

меня за околицу на автобус. Мне не хотелось покидать эти места.

Конечно, я далеко не все рассказал о здешних животных, зверях и птицах. О них можно было бы еще много рассказывать, но я боюсь, что уже наскучил читателю.

МОЗДОКСКИЙ БАЗАР

(Очерк)



сенью прошлого года судьба во второй раз забросила меня в город Моздок. Сюда из Минвод ходит междугородный автобус, ходит мягко, стремительно; шины его издают шелестящий звук и словно стелются по асфальту. И если по всему Северному Кавказу дороги именно такие, то и впрямь напрасно я родился в Вологодской области...

Машина с полупустым салоном мчалась через осеннюю степь, еще теплую, мягкую, но уже утратившую вальяжно-заносчивый и богатый облик летней поры. Изредка с горизонта наплывали резко очерченные высокие тополя. Я долго не мог сообразить, что это как раз те самые пирамидальные тополя, которые знакомы с давних времен по «Железному потоку» Серафимовича. Почему-то всего больше запомнилось это слово — пирамидальные. Но тополя выглядели не пирамидальными, а скорее челнокообразными, и степь не казалась такой широкой и романтической. В ее облике скорее ощущалась усталость и то тихое сельское умиротворение, которое свойственно осенью и нашему северному пейзажу.

Стелились за окном те же, что и у нас, сельские улицы, только длинные, и везде была та же атмосфера какого-то отраженного покоя и созерцательности. Только дома здесь в основном кирпичные, с длинными, выложенными из камней, оградами, с высокими, зачастую железными воротами.

Мелькали мусульманские кладбища с каменными столбиками надгробий, коровы здешней породы — бурые — поднимали на шум добрые широкие морды, взбрыкивали в проулках телята, индюшки — птицы нелепые, но заносчивые — ходили на своих длинных ногах почти у каждой ограды. И сквозь бензинную гарь чуялся приятный, не горький запах повсюду тлеющих осенних костров. Как будто все было так же, как и у нас на Севере.

Автобус пришел в город под вечер. Я сделал свои дела, переночевал, а утром отправился на базар... Потому что тот, кто не видел здешний базар, тот, считай, не видел и Северного Кавказа...

Моздок — это административный центр одного из районов

Северной Осетии. Этот район через узенький перешеек (разделяющий Чечено-Ингушскую и Кабардино-Балкарскую АССР) словно бы стекает с предгорий и широко разливается по Северо-Кавказской степи. Для райцентра город довольно большой, с несколькими кинотеатрами, музыкальной и прочими школами, пивным заводом, великолепной больницей и множеством других учреждений, которые здесь выглядят внушительнее, как-то солиднее, чем в других, известных мне райцентрах.

В прошлый приезд мне показали здесь старую почтовую станцию, где когда-то пили чай и меняли лошадей Михаил Юрьевич Лермонтов и многие славные его современники. Небольшое здание стояло почти без крыши и должно было вот-вот окончательно разрушиться. Интересно, живо ли оно еще?

Но у меня не было времени узнавать. Было восемь утра, и я спешил увидеть Моздокский базар. Для этого надо выходить к парку, в конец главной улицы города — улицы Кирова, где останавливаются местные автобусы. («Моздок — Пятая сотня» — гласило название одного из маршрутов. Но имеет ли это какое-либо отношение к военной терминологии терских казаков, сказать не могу.)

Здесь, около памятника С. М. Кирову, в глаза сразу же бросились архитектурные изменения. Угловое здание надстроили и сделали наверху ресторан. Широкие стеклянные проемы надстройки и хорошо видимая внутренняя планировка делали ресторан похожим на аквариум. Вечером это сходство, вероятно, намного усиливается. На глухой торцовой стене ресторана была выложена громадная мозаика, изображавшая джигита в высокой бараньей шапке, в бурке, гордо восседавшего на вздыбившемся коне. Размеры мозаики и стиль исполнения довольно отчетливо выявляли настроение монументалиста. Автор мозаики, видимо, совсем отчаялся, наблюдая окончательную потерю Моздоком национального своеобразия. Ведь русские, армяне, евреи, украинцы, азербайджанцы, кумыки, грузины, цыгане, татары, корейцы, ингуши, ногаи, лезгины, чеченцы, кабардинцы — все это пестрое население, кочующее через Моздок и живущее в нем оседло, по-видимому, отнюдь не содействовало возрождению и сохранению национальных осетинских традиций.

Но... вернемся к базару.

Моздокский базар описать очень трудно. Его надо смотреть своими глазами, слушать своими ушами и ногами по нему надо ходить своими же. Слегка, может, и поторговать чем-нибудь, только тогда поймешь кое-что, да и то не все. Потому что это стихия, а стихия, как известно, изучению поддается с трудом, да и то не всегда. Что можно, к примеру, понять в движении морской воды во время хотя бы пятибалльного шторма? Вгонять все это в определенную систему, искать закономерности — дело, может быть, интересное, увлекательное только для специалистов. Так и этот базар.

В базарной, если можно так выразиться, натуре сплавились самые разнообразные аспекты и свойства. Есть в ней и вполне понятная заинтересованность земледельца во взаимном обмене, есть и жажда прохвоста из чисто спортивного интереса любыми путями объегорить кого-нибудь и не важно кого. Имеется добротная совесть оседлого частника и циничное нахальство кочующего проходимца, нередко представляющего целую торговосамодеятельную фирму. Старческое скопидомство одинокого пенсионера и бесшабашие равнодушного к торговле юноши. Мудрая бережливость многосемейной хозяйки и скупость глупой женщины, которая из ложно понимаемой экономии покупает завалящий товар. Все тут есть, в этой натуре! Здесь, на базаре, все нации и все народности чувствуют себя равноправными как нигде и никогда. Но худо тому, кто придет сюда не по соображению выгоды и торговли! Дух бескорыстия распространяется на базаре мгновенно. Тебя тут же заметят и подвергнут единодушному, молчаливому остракизму. На тебя будут глядеть так, как будто бы ты — самый свежий выходец из преисподни, либо как на жалкого дурака, не понимающего своей же выгоды, то есть с искренним состраданием. И если ты и найдешь в себе силы спокойно проигнорировать все эти внешние штучки, все равно ты вскоре ощутишь такое одиночество, такую никчемность, что это тебя вышибет с базара, и пройдет много времени, прежде чем вернется к тебе твоя прежняя уверенность в себе. Разумеется, если она была у тебя до этого.

Впервые я побывал на Моздокском базаре в сорокаградусную июльскую жару шестьдесят шестого года. Вероятно, эта непривычная жара в сочетании с грандиозной, совершенно для меня неожиданной стихией торговли и подействовали на меня оглупляюще. Я толкался в базарной толпе подобно лунатику, ощущая себя не изнутри, а как бы со стороны. Был сам не свой в буквальном смысле. С каждой минутой хождения по базару это отчуждение моего «я» все усиливалось.

После двух стаканов сухого вина, которым торговали в ларьке колхоза «Ленинский путь», я несколько взбодрился, но ненадолго...

Базар обволакивал, поглощал, впитывал в себя и переваривал без всяких отходов. Я понял: сопротивляться бессмысленно... Шатаясь в толкучке, я смутно чувствовал, как базарная стихия незаметно подмывает все мои, казалось бы, крепчайшие социально-нравственные устои. Открылось что-то широкое, ничем не ограниченное... Я с изумлением ощущал, что из меня мог получиться кто угодно, вплоть до контрабандиста. «А что? — думалось мне.— Ничего не боюсь!» Так странно подействовал на меня воскресный Моздокский базар с его белым и красным сухим вином, с его удивительным изобилием. Здесь торговали, видимо, всем, что рожала и что носила на себе земля Северного Кавказа. И не только Северного. Живность, к примеру, тут была

вся, начиная от самого молодого и безрассудного цыпленка с розовой, просвечивающей сквозь первое оперение кожицей до громадного, облезлого, с отвисшей губой верблюда. Верблюд стоял у кирпичной стены неподвижно и глядел куда-то за горизонт, не скрывая, как мне показалось, своего ехидно-мудрого презрения ко всему белому свету. Ткани и шкуры, одежда и обувь — поношенные и наиновейшие — все это имелось здесь также в избытке, а в скобяном ряду можно было купить все, от булавки до мотоцикла. Помню, я, как в тумане, поспешил вырваться из базарного плена. Тут только стало слышно, что сквозь гул базара пробивается какой-то другой, ровный и отрешенный шум — это был шум Терека. Я решил выкупаться; горячий пот стекал по спине, легкая летняя одежда не успевала его впитывать.

Терек — стремительная река. Но глядя на него первый раз, испытываешь разочарование: после лермонтовских стихов он кажется совсем не таким, каким хотелось бы. И все же, слушая его тревожно-усыпляющий шум, хотя и с некоторым усилием, но можно, наверно, представить охоту толстовского Оленина, услышать песни и ругань дяди Ерошки. А глядя на заречный лиственный лес, испытываешь странное ожидание: кажется, что вот-вот где-то там мелькнет лохматая шапка абрека и раздастся хлопок ружейного выстрела, блеснет на солнце клинок шашки, послышится песня прекрасной горянки. Но ничего подобного ни на том берегу, ни на этом не было и духу. Только невдалеке три старика увлеченно играли в карты в тени дерева.

Вода в Тереке оказалась похожей по цвету и температуре на кофе с молоком, которым потчуют в московских столовых. Я в этом убедился сам. Больше того, попробовал эту воду чуть ли не на вкус. И вот как это было. Я вздумал переплыть на другой берег. Но он был пустынным и жарким. Я поднялся метров на триста по течению и поплыл обратно. В воде было все же не так жарко, я плыл с удовольствием. В эти минуты как-то забылось, что летом вода в Тереке особенно стремительна. Тающие в горах ледники посылают Тереку свои чистые, но постепенно мутнеющие подкрепления. Река во многих местах за короткое время значительно меняет русло, перемывая с одного места на другое массы песка, размывая глинистые берега. Еще сто тридцать лет тому назад Терек в стихах Лермонтова обращался к старому Каспию:

Я сынам твоим в забаву
Разорил родной Дарьял
И валунов им на славу
Стадо целое пригнал.

И вот по такой воде плыть было очень приятно, но неожиданно я обнаружил, что за какую-то минуту-две меня унесло не меньше как на полкилометра. Я прибавил ходу, стараясь приблизиться к берегу, но меня несло все дальше. Мною овладел легкий испуг. Я поплыл наперерез, но берег не приблизился. Тогда я поплыл

изо всех сил и вдруг почувствовал, как мои мышцы стремительно ослабли. Началась сердечная спазма, похожая на ту, какие испытывают больные грудной жабой. Я почувствовал, что начинаю тонуть. Меня охватил ужас, причем не обычный, а какой-то другой, плотский, что ли. Но даже сквозь него, сквозь протестующий вопль моего тела, хоть и слабо, но пробивалось обычное пищание иронии, издевки над собой: «Что, достукался, покоритель Кавказа... Теперь ты не выкрутишься». Однако что-то протестовало во мне сквозь ужас, вероятно, без ведома сознания, заставило себя сделать то, что надо, то есть успокоиться и думать. Сознание в свою очередь быстро сориентировалось в обстановке, прикинуло, что и как, и молниеносно пришло к выводу: «Надо отдохнуть. Не двигаясь, переждать, скопить силы и подплыть к берегу». Я лег на спину, слегка шевеля ногами, чтобы только-только держаться на воде. Меня несло и несло, все дальше, к самому мосту. Потом я снова поплыл к берегу. Но Терек, словно забавляясь, то приближал, то вновь относил меня от берега. Не помню, как мне наконец удалось ухватиться за какую-то спасительную прибрежную ветку...

Я долго отлеживался на берегу, размышляя о том, что получается, когда по глупости или зазнайству торопишь события, либо когда берешься за непосильное дело. Три старика даже не взглянули на меня: мало ли кто плавает в Тереке? Они молча, сосредоточенно глядели в свои карты. Может быть, они тоже думали, что вся жизнь — это одна сплошная игра?

С тех пор дома, в прохладной Вологде, мне часто снились три этих старика, снился шум стремительного Терека, чуть не утопившего меня. Моздокский базар все время тревожил мою память.

Сейчас, вспоминая все это, я обошел длинную кирпичную стену, опоясавшую обширную площадь базара. На берегу Терека было совсем пустынно. Лишь какой-то упрямый рыбак торчал на мутной излучине со своими удочками. Дымила тлеющая листва и мусор: запах гари, а также ядреная свежесть воздуха усиливали ощущение осени. Шум же реки, наоборот, навевал весенние ощущения, вызывая в душе какие-то странные чувства...

Я вошел на базар через неофициальный вход, как бы с тыла, не желая привлекать внимания к своей персоне. Однако наивность такого приема обнаружилась тотчас же:

— Дяденька, дай денежку!

Девочка-цыганка лет четырнадцати обращалась именно ко мне, и деться было некуда. Она держала одной рукой маленького братишку, одетого, вернее, обутого, в вельветовые штаны, другую руку, ладошкой вверх, протянула ко мне. Я слегка растерялся: она глядела прямо в глаза со всей настойчивостью и решительностью ребенка, дерзнувшего на нахальство и готового к любым результатам.

— А зачем тебе?

В ее чудесных громадных глазах презрительной скукой отразилась банальность моего вопроса, и я почувствовал, что вот-вот покраснею. Но выражение превосходства в ее глазах моментально сменилось выражением фальшивой наивности, и она игриво ответила:

— На мороженое.

— А сколько стоит мороженое?

Тут я вспомнил гоголевского Ивана Ивановича, который спрашивал у старушки-нищенки: «Гм! Разве мясо лучше хлеба?» И устыдился. Поспешно дал девочке двугривенный. Она забежала вперед и, продолжая сеанс гипноза, снова уставилась мне в глаза:

— А ему?

Потом она попросила на братишку, который дома, потом на сестренку...

Ах ты, боже мой! Сколько же было в ней энергичной неподдельной уверенности в праве на мои монеты, которые одна за другой исчезали где-то в складках обширной и пестрой юбки. В ней, видимо, росло не ожидаемое мной чувство благодарности, а легкое презрение и желание выжать из меня все возможное. Она просила и просила монеты, а я давал и давал, в надежде, что в ней вот-вот пробудится чувство стыда. Неизвестно, чем бы кончился наш психологический турнир, если б монеты не кончились. «Все,— я вывернул карманы плаща.— Ничего нет больше». Она сначала недоверчиво, как бы с укоризной покачала красивой черной головкой, но убедившись в моей искренности, сразу как-то изменилась. Глаза у нее потухли, забыв сказать спасибо, девочка поволокла братишку дальше...

Базар шумел умеренным шумом, и снова я оказался в одиночестве. Вернее, по соседству с лиловоносым дядечкой, торговавшим зерном. Покупатели шли стороной, но он, казалось, не очень огорчался, глядя, как торгуют другие. Торговля же, и довольно оживленная, шла тут и там. Пожилой кореец в очень старой, но чистой свежепростиранной спецовке торговал капустою, молча, не торопясь отпускал кочаны. Старая осетинка продавала капусту прямо с машины, множество людей перетаптывалось у несчетных мешков с красным и белым картофелем. Стояло с полдюжины запряженных в тележки ишаков. И вообще было такое ощущение, что продающих здесь больше, чем покупающих.

Шуму, однако, имелось уже в достатке. Особенно около одной тетки, торговавшей баклажанами, яблоками и поздними помидорами. Тут же, только другие тетки, продавали лук, свеклу, морковь, перец и еще что-то южное, мне, северянину, неизвестное. Может быть, из-за того, что все мои предки всегда считали зерно, хлеб основой всей жизни, я ревниво следил за дядькой. Пять-шесть мешков с кукурузным и еще каким-то зерном как солдаты стояли около него, а сам он показался мне удивительно живописным. Одет он был в толстополый пиджак неопределенного покроя — обшир-

ный и серый. Под этим пиджаком имелся другой пиджачок, тоже серый, а под пиджачком гимнастерка с отложным воротом, какие выдают нашим солдатам на крайнем юге. Из-под гимнастерки виднелась полосатая, не больно чистая ситцевая рубашка. Штаны, заправленные в огромные сапоги, отличались шириной и размерами: из каждой штанины могла бы получиться хорошая юбка. На голове дядечка носил диагоналевую фуражку. Этот колоссальный дядька, видимо, по случаю приезда на базар выбрился, но это сделало его лицо еще более колоритным. Нос на этом лице был совершенно неподражаем, как по размерам и форме, так и по колеру. Толстый, пористый, похожий на большую картофелину, сросшуюся с маленькой, лилового с фиолетовым отливом цвета.

Дядька, потея, громоздился около своих никого не привлекающих мешков. Большие, по голове двухмесячного младенца кулаки его то и дело тыкались в мешочные завязки, но, как я уже говорил, покупатели шли мимо. Я обрадовался, когда к дядьке подошел какой-то покупатель. Он, не глядя на дядьку, сунул руку в мешок. По-хозяйски, придирчиво понюхал зерно, взял на зуб. И вдруг с возмущением бросил зерно на землю. Громко закричал:

— Зачем испортил? Сырой был, сухой стал!

Дядька не ожидал такого оборота дела. Он по-детски огляделся, ища защиты: мол, видит бог, зерно не испорчено. Какие-то доводы и возражения медленно рождались в его ошарашенной голове. Он хотел что-то сказать, зачем-то переставил с места на место пятипудовый мешок. Но покупатель уже уходил дальше, к двум женщинам, которые тоже продавали зерно. Взял, понюхал и опять громко выкрикнул:

— Зачем испортил? Совсем плохо пахнет! Свинья будит кушать, петух не будит!

— Сам ты петух! — женщины подняли такой крик, что покупатель поспешно удалился. Он сделал по базару большую дугу, издалека слушая потревоженных женщин. Потом подошел к чьим-то стоящим без присмотра мешкам. Потоптался, похрустел суставами пальцев. И вдруг закричал на весь базар:

— А ну каму хороший зерно, каму дешевый зерно!

Можно было бы подивиться быстроте, с какой единственный покупатель зерна обернулся тоже продавцом. Только дивиться на Моздокском базаре некогда. Внимание поминутно отвлекается новыми сценами. Вот молодой офицер с красивой супругою только что приобрел куль картошки и спешит удалиться. Он явно стесняется этого недостойного воинского звания занятия, старается изобразить на лице брезгливую надменность, но по молодости лет у него ничего не выходит. Супруга же его, при всем своем изяществе, чувствует себя словно рыба в воде и всерьез торгуется. Лейтенант нервничает. А рядом два старичка занимаются куплей-продажей с искренним удовольствием. Один из них, русский, под-

выпивший, покупает у другого картофель, но, кажется, ему больше хочется поговорить, чем сделать дело:

— Мелка, мелка, ну, брат, ты погляди, что продаешь? Ты какой нации?

— Очень крупный картошка, я осетин.

— А внизу-то! Ты, может, только сверху покрупнее положил, а внизу у тебя опять мелкая.

— Внизу тоже крупный. Ай, товарищ какой нехороший, долго ждешь.

— Нет, а ты врешь, что ты осетин, ты, наверное, лезгин. Я лезгина сразу вижу, вот я в Алма-Ате жил с одним лезгином, давай насыпай! Жил в Алма-Ате?

— Алма-Ата жил, Махачкала жил, Прохладный жил. Нальчик жил? Нальчик не жил.

— Ну, вот, я говорю, что ты лезгин.

— Лезгин, лезгин, честное слово, лезгин.

Старички хлопают друг дружку по лопаткам, покупатель, забыв про картошку, тянет продавца выпить вина в колхозном ларьке. Возвращаются они быстро, вытирают усы, энергичнее объясняются в дружеских чувствах. Наконец распрощались.

— Водитель, а где у меня водитель?

«Водитель», уже другой старичок, осетин, подогнал ишака с тележкой. Оба грузят крупный картофель на тележку и отправляются к винному ларьку. Ишак, предоставленный самому себе, сперва мирно и целомудренно стоял в толпе, но безделье и скука еще никого и никогда не приводили к хорошему. Следуя зову природы, при всем честном народе он принимает весьма неприличный облик. Скребет по земле кованым копытцем и орет.

Ишакам вторят «Победы», изредка пылящие меж рядами. Тарахтят мотоциклы, кричит, кудахчет, пищит и крякает живность в птичьем ряду. Но крики ишаков покрывают весь этот шум. Вообще, здесь ишаки, видимо, совсем не безуспешно конкурируют с «Победами» и мотоциклами. Дожидаясь работы, они стоят на базаре с младенческими выражениями на своих долгоухих мордах либо терпеливо везут тяжелые возы. При виде этой картины вас не покидает ощущение того, что они везут больше, чем положено. Представьте себе окованную телегу, упряжь, многопудовую поклажу плюс здоровенного, больше самого ишака, возницу. Все это ишак тянет подчас в гору, и кажется, что он вот-вот упадет и сдохнет. (Но когда я выражал это опасение, надо мной просто смеялись.)

В это время сквозь базарный гул я вдруг услышал музыкальные звуки и пошел на них. Стеклянная будка с надписью: «Звукозапись», похожая на те, в которых продают мороженое либо табак, стояла на самом виду, невдалеке от крытых базарных павильонов. Динамик издавал что-то очень оригинальное, я никогда не слышал этой песни. Оказывается, здесь продавали пленку с записями песен. Молодой симпатичный парень крутил радиолу. На затаскан-

ном листке были отпечатаны названия песен. «Лада, Цыган, Мароз, Негр, Маздок»... Стоп! Песня про Моздок. Я попросил поставить: надо же купить что-то на память о Моздоке. В репродукторе послышался довольно приятный, сопровождаемый аккордами гитары голос. Пелось по-русски, но с таким акцентом, что я не разобрал ни одного куплета. Попросил поставить пленку еще раз:

Среди гор обширного Кавказа
Город мой любимый процветал,
Славился своею красотою,
Чем-то он Париж напоминал.
В лучах весеннего рассвета
Город просыпался и вставал,
И все спешили на работу,
Кто-то тихо напевал.

Дальше шел припев, но его слова я разобрал лишь дома, в Вологде, для чего пришлось ставить пленку раз десять. Вот он, этот припев:

О город мой, Моздок родной,
Везде и всюду народ простой,
Здесь песни любят и пьют вино
И все проводят досуг в кино.

— Беру. А кто исполняет?

Однако парень не ответил. Он взял рубль, аккуратно завернул пленку в газету и подал мне. Но я снова спросил его, кто поет. Он рассердился:

— Кто пает, кто пает! Чилавек пает!

— Кто, какой человек?

— Не важно.

— Нет, важно. Я хочу знать, купил на память.

— Артист пает, самадеятельность.

— Какой артист?

— Ну, я паю, под гитару паю.

Мне не хотелось уходить, и я осмелился задать еще один вопрос:

— А слова чьи?

— Слова тоже мои.

— А вы бы какого-нибудь поэта нашли, он бы вам слова написал.

— Где их найдешь? Нет паэта, сам сделал.— И добавил дружелюбно: — Два месяца писал.

Совершив покупку, ты уже не чувствуешь себя изгоем на этом удивительном базаре. У меня тоже как-то отлегло от сердца, и опять, как и в первый приезд, появилась уверенность. Поистине многое доступно человеку в этом городе «среди гор обширного Кавказа», где «песни любят и пьют вино и все проводят досуг в кино». Хотя утверждение насчет кино мне показалось не очень убе-

дительным. Многие из моздокцев проводили субботний досуг здесь, на базаре. Это был какой-то Вавилон, разумеется, после столпотворения, а не «до», какая-то, говоря стихами Пушкина, «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний...». А если вспомнишь еще и Лермонтова, то «...все промелькнули перед нами, все побывали тут!». Разобраться, кто здесь, было невозможно. Впрочем, это тут никому и не требуется — разбираться. И если кто-то хочет узнать, с кем он имеет дело, то спрашивает об этом напрямую. Правда, многие из торговцев не называют свою подлинную национальность, а обязательно смачно врут, и на этой основе частенько получаются довольно забавные сцены. Надо обладать умом и незаурядной смекалкой, чтобы не попасть впросак при таких разговорах. Обычно выигрывает тот, кто в разговоры о своей национальности не ввязывается. Впрочем, когда сюжет развивается очень уж драматично и развязка бывает неловкой, никто друг на друга всерьез не обижается, все оборачивается шуткой.

Торгуют, в основном, мужчины. Может быть, по этой причине почти все они болтливы, словно женщины, впрочем, в этих местах женщины, например осетинки, болтливостью вовсе и не отличаются. Все здесь перепутано. Безошибочно можно было узнать лишь цыган. Этот удивительный и бесшабашный народ какими-то путями все еще умудряется избежать национального нивелирования. Выделяются и корейцы, одетые опрятно, а порой довольно изящно и скромно; нельзя ни с кем перепутать и стариков-осетин, одетых главным образом в бараньи шапки и фуфайки. Некоторые из них были обуты в бурки с начесом, эти старики то и дело въезжали и выезжали на своих ишаках. Еще можно было узнать грузин в группе очень шикарно, даже богато одетых людей — людей чисто выбритых и в обширных кепках. Держались они особняком, прошли по рядам всего дважды, видимо, брезгуя субботним базаром и приберегая свои силы на завтра. Остальных я не мог разобрать: толпа была пестра и живописна, хотя почти все были похожи друг на друга и говорили по-русски.

Между тем шум на базаре сделался ровным и постоянным, как шум Терека. Торговля картофелем и овощами шла на убыль, зерно было продано всеми, кроме дядечки с фиолетовым носом.

Высокий казачина-старик, с кнутом, в лопоухой шапке, в громадном гремящем брезентовом дождевике, рассуждал о чем-то со стариком-осетином, у которого тоже имелся кнут. Оба слегка возбудились у ларька и теперь слушают друг друга, с нетерпением дожидаясь своей очереди говорить. Вероятно, почти все люди говорить любят больше, чем слушать. Не успел белобородый закончить свою мысль, как его собеседник, воспользовавшись маленькой паузой, заговорил сам, и тому пришлось долго слушать. Позднее роли меняются. Их ишаки стоят неподалеку и словно сигналят друг другу, перемахиваются лопастями ушей. Ишаки понюхали друг друга и отвернулись, а их хозяева все никак не наговорятся.

В птичьем ряду стоит гвалт: голосят гуси, куры, петухи, утки, индюшки, ноги у них связаны бечевками, все они или лежат на земле, или их на руках держат продавцы. Многие из птиц уже куплены, их, держа за ноги, носят вниз головой, и шею им приходится выгибать, чтобы не тащиться головой по земле. Иные трепыхаются, но слабо, так как ожирели. Вот и громадного, огненно-бурого петуха купили, затолкали в сетку и носят по базару, так как хозяйке надо купить еще чего-то. Петух высунул голову в ячею, уперся в сетку растопыренными, прижатыми к животу лапами и недоуменно молчит. Глаз его периодами закрывается веком снизу вверх, будто петух пробует умереть. Тетка, только что сбыв индеек, не стесняясь, подсчитывает финансы; другая тетка монотонно, не веря сама себе, хвалит своих курят; рядом молчаливый мужчина волоком, словно мешки, стаскивает в одно место дюжину расползающихся индеек. Тут же покупают гусей. Покупатель обычно берет птицу за связанные лапы и встряхивает в воздухе, прикидывая, сколько в ней будет весу. Потом сосредоточенно щупают зачем-то в птичьем заду, дуют и глядят туда же, видимо, узнавая упитанность. Точь-в-точь так покупает гуся модная миловидная дамочка: контраст между ее интеллигентным обликом и тем, как она дует гусю в розовый зад, ни у кого не вызывает улыбки. Гусь ей не понравился, и она уходит, оттопырив мизинец и покачивая бедрами. Но около гуся появляется другая покупательница, эта действует еще решительнее:

— Та вин же весь синий!

— Бирошь — бири, не бирошь — иди! — сказал хозяин гуся и отодвинул птицу подальше.

Человек с красной повязкой в зеркально начищенных сапогах и в новеньких бежевых галифе с достоинством ходит у базарных ворот, вероятно, следя за тем, чтобы все вновь прибывшие платили пошлину.

В это время из толпы ко мне подошел веселый, небритый, беззубый дядечка. Это был живой персонаж из стейнбековской повести «Квартал Тортилья-Флэт». Чтобы привлечь мое внимание, он поколотил по моему плечу кнутовищем:

— Такой молодой, такой небритый! Не здешний, да? Точно, у нас таких нет, я сразу вижу! Север, да? Вологда? Ну, а как там Вологда? Это Сибирь, да? А фрукты есть? А как же вы без фруктов? Мясо есть? А что разводят? А какой заработок?

Я не успевал отвечать на его вопросы, да он не очень и ждал моих ответов, весело улыбался, не глядя на меня и следя за толпой.

— Твой ишак? — спросил я, а дядька утвердительно похлопал ишака по заду. Дядька, видимо, опять хотел завалить меня вопросами насчет Вологды, но к нам подошел парень лет двадцати пяти. Парень с тоской оглянулся:

— Ну, вот, все...

— Что, а? Плохо, да? — дядька встрепенулся. Они, видимо, были хорошо знакомы.

— Все...— парень тоскливо сплюнул.
— Что? Нехорошо, да?
— Конец света.
— Нет, точно?
— Звонили из Москвы. Завтра последний день.

Дядька плюнул и начал укладывать на тележку какие-то мешки и корзины. Парень не унимался.

— Нечего разъезжать! Молись аллаху, время дорого.

— Люблю я его! — дядька стукнул парня кнутовищем.— Веселый!

Сказав, что он еврей и сроду магометанином не бывал, веселый дядька уехал, а мы с парнем разговорились о Моздокском базаре. Парень был водителем автотележки. Он рассказал, что сегодня уехал с работы, чтобы подработать на базаре, отвезти-привезти поклажу, что, мол, он делает это каждую субботу и что эти старики с ишаками ничуть не мешают механизации, работы хватает всем. Еще он объяснил мне некоторые подробности базара и некоторые способы добывания того, чем здесь торгуют.

— Сегодня, это что. Вот завтра будет базар так базар! Одного-двух зарежут, это уж точно.

— Неужели?

— Я тебе говорю! А вон хоть бы и этот старик. С кинжалом ездит! Тут иначе нельзя. Как ночь, так и пошли...

Парень убежал выполнять заказ, я тоже удалился с базара. Не хватало еще поножовщины. Впрочем, парень, вероятно, заливал, как заливал он насчет конца света.

Ночью я почти не спал, вспоминал и переваривал обилие впечатлений, полученных на субботнем Моздокском торжище. Вот это торжок! Но, кроме вчерашнего парня, мне говорили многие, что в субботу, это не базар, а настоящий базар будет в воскресенье. Представить, что будет в воскресенье, я не мог, не мог и заснуть. За окном, начиная часов с двух пополуночи, зашумели, глухо зафыркали машины, затрещали мотоциклы. Я забылся на час-полтора, потом встал и вышел на улицу. Было темно, туманно и пыльно, город еще спал. Но странным сном спал Моздок. В темноте не светилось ни одно окно, а кругом были всякие звуки, чувствовалось движение и деятельность...

Вспомнилась сказка из «Тысячи и одной ночи», где говорилось о том, как все жители в определенный час уходят из города, дома пустеют, и город словно вымирает. Потому что в этот час приходят в город скопища обезьян, и они командуют в нем до определенного времени.

Сквозь туман были не видны багровые отсветы гигантских газовых факелов, которые день и ночь горят в предгорьях, по дороге к Орджоникидзе. Но, все равно, кругом было как-то смутно, тревожно. Пахло пылью и дымом, запах его тянуло по улицам. Мо-

жет быть, где-то в степи горела солома или таяли вчерашние лиственные костры. Машины рычали всюду, по всем улицам, по всем подъездам к базару. Дальше, вдоль Терека и за ним, в черном тумане мерцали все новые и новые фары. Лучи от них то вырывались из темноты вверх, сполохом, то пробивали в вязком ночном тумане двойные желтые дыры.

Они метались, сопровождаемые рычанием моторов, скрежетом передач и тормозным визгом. Все это оттенялось слабым, призрачным шумом реки. А город уже спал, не обращая внимания на звуки надвигающегося базара.

Я прошел к центру и поразился еще больше: всюду стояли и фырчали груженые автомашины. Шоферы и сопровождающие ждали, когда откроют ворота, курили, перекрикивались, а кое-где еще на дальних подступах к базару уже завязывались, намечались крупные и мелкие сделки, покупатели и продавцы сговаривались, нащупывая что-то, бродили, бегали, прикидывали. Кто-то норовил объехать кого-то и прорваться к воротам без очереди, у кого-то не заводилась машина, вот две машины сцепились бортами, там полетел на землю какой-то ящик... Но ворота все еще не открывали. Лавируя между кузовов и колес, я вышел из этой толкучки на улицу, где двигалась пешая публика. Люди приценивались к товару прямо на ходу. Женщина держит на поводу двух громадных баранов, просит по шестьдесят рублей за каждого, а молодой парень подходит к ней то с одной стороны, то с другой, уговаривает сбавить цену. Она медленно движется сквозь толпу, к базару, толкает, волокет глупых баранов, а парень кружит вокруг нее, как спутник, и торгуется. Они исчезли в толпе, а я с трудом пробился к другим воротам. Здесь было меньше машин, у стены лежали груды мешков, груженных неизвестно чем, какие-то женщины сидели на сложенных конвертами овечьих шкурах, горел у ворот костер. Большая группа цыган копошилась около огня. Видимо, тут и ночевали.

В воротах метался вчерашний джигит в бежевых галифе. Он останавливал машины и кричал: «Так! У вас что?» Залезал в кузов, щупал, и машина катила дальше, в темень базарной площади. Было все еще темно. Я прошел в ворота, свернул влево и вдруг споткнулся о что-то живое, чуть не упал и отскочил с омерзением: боров, а может, и свинья, громадной лепешкой расплылся на дороге. Животное изредка густо похрюкивало, оно не могло даже встать от ожирения, и потому хозяин оставил свинью, а сам подался куда-то. Я обошел эту гору мяса и осторожно направился дальше, где было посветлее. Мужчины сновали с озабоченным видом. Скрипуче кричала пернатая живность, мычали телята. И уже кое-кто из торговцев, пробуя голос, выкрикивал название товара. Я направился к этим торговцам.

Они расположились на обширной площадке базара тремя или четырьмя рядами. Раскладывали товар на каких-то подстилках, газетах и бумагах, пригнетая уголки этих подстилок камешками.

Чего тут только не было! Глаз выхватывал из темноты то топор и какие-то железяки, то контуры сапога либо фуражки, то виднелся белый гипсовый Трезор, то школьная форма... Барахла всякого была несметная сила.

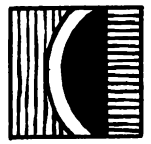
Моздок все еще спал. Минул четвертый час по московскому времени. Гудки машин, треск мотоциклов, мычание, ржание, блеяние, кряканье, визг, кудахтанье — все это смешалось с руганью, восклицаниями и говором сотен людей. И все сливалось в один слитный, ничему, кроме себя, не подчиняющийся шум.

Я стоял совершенно завороженный, пытаясь обнаружить в толпе вчерашних знакомых. Но обнаружить кого-либо в такой толпе мудрено, к тому же им, само собой, было не до меня. И если сейчас, в темноте, стоит такое столпотворение, что же будет, когда рассветет? Но я боялся опоздать в Минводы на самолет, поэтому, не дождавшись рассвета, поспешил к автобусной станции.

А машины все шли и шли...

ЗА ДАЛЬНИМ МЕРИДИАНОМ

(Очерк)



игнал боевой тревоги врезался в мозг и подкинул меня на подвесной койке. Он не стих и тогда, когда я очумело спрыгнул вниз; с пронизывающей настойчивостью он будил и будил затуманенное сном сознание. Над головой прокатился тяжелый грохот матросских ботинок. Я быстро оделся, хотел выбежать из каюты, но вспомнил, что мне лучше сидеть и никому не мешать. Как я догадывался, это было все, что от меня требовалось. Правда, с молчаливого разрешения командира я мог наблюдать и ходить по всему кораблю, мне никто не запрещал этого. Но сейчас я не хотел быть наблюдателем. Роль гостя, то есть человека лишнего и ненужного на военном корабле, тоже меня не устраивала. И я не знал, что делать...

Плафон освещал бортовой скос каюты с иллюминатором, неумело задраенным мною. Стол и две подвесные койки. Репродукция картины популярного русского пейзажиста, шкафчик с необходимыми туалетными принадлежностями и мемуарная книга — вот и все, что учило сейчас меня дорожить уютом.

За бортом глухо шумели океанские волны. Где-то подо мной что-то надрывно гудело, что-то вздрагивало, Легкая, еле заметная бортовая качка порождала ощущение неестественности. Интересно, а как бы я выдержал настоящую, притом килевую качку? На таком корабле при четырехбалльном ветре даже в океане этого не узнать. Но я вдруг почувствовал самоуверенность: ведь говорят,

что даже адмиралу Нельсону ставили на мостик специальное деревянное ведерко. По шуму воды за бортом, по частоте ритмических вздрагиваний и по каким-то неосознанным ощущениям я догадался, что корабль идет на предельной скорости. И я вдруг почувствовал физическую близость грандиозной океанской стихии. Подо мной и вокруг меня, всюду была мятущаяся вода, океанская, непостижимая, не подвластная ничему бездна. Безбрежная, тревожно-непонятная, ничем не обузданная, существующая помимо человека, независимая стихия. Размеры ее не умещались в пределах человеческих представлений, это подавляло и унижало.

Но как же я очутился за тридевять земель от близкого сердцу мира, над этой бездной среди океана?

В раннем возрасте мир, окружающий нас, кажется не только удивительно гармоничным, но и образным. Помнится, глядя на глобус, я думал, что Земля в самом деле оплетена меридианами. Эдакие прочные толстые стальные струны, протянутые по странам и океанам, сходятся на полюсах, образуя прочные узлы. И я терялся в догадках, что же делают, когда такая струна вдруг отвяжется или лопнет?

С годами один за другим лопаются меридианы наших детских наивных представлений. Но даже будучи школьником, читая Арсеньева, я нет-нет да и представлял старого гольда Дерсу в таком виде: он бредет по Уссурийской тайге и, отмахиваясь от комаров, ворчливо перешагивает через стальную, оплетенную корнями струну... Может быть, тогда и зародилась мечта побывать на Дальнем Востоке, увидеть зеленые перепады Сихотэ-Алинского хребта, услышать шум океана.

По-разному сбываются у людей мечты. Однажды, полушутя и не веря в успех, я попросил военную комиссию Союза писателей дать мне командировку на Тихоокеанский военный флот. Написал заявление и, забыв обо всем, уехал в свою Тимониху. Теплое, тихое вологодское лето настроило меня на рабочий лад. Между делом я бродил по лесам и удил на озере окуней, а самое главное, ходил с ружьем на лабаза в надежде перехитрить медведя.

Небольшое овсяное поле было за речкой на возвышенности, рядом с маленькой деревушкой. Сосны стояли прямо в хлебах, как на картине Шишкина. Я приходил сюда еще при солнышке, устраивался поудобнее на средних мутовках, проверял заряженные жаканами патроны и затихал. В течение многих часов нельзя было не только курить, но и шевелиться. В первую ночь медведь не пришел, во вторую я слышал только, как треснул невдалеке сухой сучок.

Очень осторожным был этот зверь! Утром на следующий день я увидел на влажной лесной дороге его свежий след: я не терял надежды на удачу.

Но сколько всего было кругом, не считая медведя! Я залезал

по мутовкам на сосну, держа в зубах ремень двустволки. Усаживался и замирал, растворялся в родном, ласковом, окружающем меня мире. Был теплый август, может быть, конец июля, но почему-то не было ни комаров, ни мошки, ничто не тревожило меня на этой теплой сосне, которая не шевелила ни единой иголочкой, но жила. Жила полнокровно, с большим достоинством: я все время ощущал это достоинство и полнокровие. Солнце золотилось в иглах, нагревало оранжево-медные ветки и наконец медленно опускалось за лес. Я видел, как внизу в речной пойме зарождался туман, слушал, как вокруг одна за другой стихали и устраивались на ночлег птички. В деревне до поздней поры медленно затихала жизнь, слышно было далеко и очень отчетливо: как стучит телега с молочными флягами, как лают собаки и как женщины кличут домой разыгравшихся ребятишек. Видно было тоже очень далеко и отчетливо. Заря за лесом, меняя золотистые, оранжевые и бордовые тона, незаметно переходила в глубокое, несмотря на сумерки, лазурно-синее небо, зеленоватые мелкие звездочки незаметно зажигались на противоположной от нее стороне. Но странные эти сумерки как будто еще более прозрачным делали воздух — незаметный для дыхания и пахнущий сеном, росою и ароматами поздних цветов. Помнится, я сидел на сосне так тихо, что лесная синица, не заметив меня, слетела к самому моему уху. Она попищала, поприпрыгивала и угомонилась, видимо решив ночевать именно тут и нигде более. Я начал тихо поворачивать голову и увидел сонную бусинку ее глазка, который сморенно затягивался пленкой нижнего века. Но ей пришлось улететь, а мне пришлось переменить положение. Ночь понемногу затемнила даже ярко желтеющие овсяные полосы, медведь снова надул меня.

Я тихо слез на землю, а через десять минут крепко заснул на чердаке под овчинным одеялом. Я знал, был уверен, что мой медведь все равно придет на овес, рано или поздно, но придет. И я спал тогда счастливо и крепко.

Утром же меня срочно вызвали в Вологду. Мне хотелось работать и ходить на медведя, мне никуда не хотелось ехать... В Вологде я попробовал хлопотать об отмене поездки, дело дошло даже до канцелярии военного министра. Но уже через восемь дней я оказался за сто тридцатым меридианом. За несколько тысяч километров от моего медведя. Очнулся лейтенантом Тихоокеанского флота в фуражке с белоснежным чехлом, которая была мне слегка маловата. Она стягивала вверх кожу на лбу, отчего я выглядел пучеглазым и забывал иногда приветствовать старших по званию...

Уже на Ярославском вокзале в Москве ощущается далекое дыхание океана. Оно сказывается в особой, сдержанной простоте пассажиров-дальневосточников, выделяющихся неторопливой деловитостью, а также искренностью прощальных слов. Влади-

востокский поезд можно узнать и по обилию белых фуражек: моряки возвращаются из отпусков, уезжают на службу после учебы. Многие пассажиры, как и я, ехали за сто тридцатый меридиан впервые. Во всяком случае, тот молоденький симпатичный лейтенант, почти мальчик, ехал на восток явно впервые. Он был в безукоризненно свежей форме морского летчика и с кортиком. Возбуждение и неопытность помешали ему заметить, как многозначительно и насмешливо переглянулись два офицера — два его соседа по вагону. Наверное, прослужив на флоте несколько лет, узнав цену книжной романтике, они увидели в нем свою же юность и с доброй снисходительностью простили ему его новенький кортик. (Еще не доехав до Урала, молоденький лейтенант спрятал оружие в чемодан.)

«Россия», стуча колесами, стремительно увозит нас на Дальний Восток. Нужно забыть на время о существовании звенящих ИЛов и ТУ; взять железнодорожный билет и выдержать семидневное путешествие. Иначе никогда не увидишь, как велика, как бескрайна и грандиозна наша страна. Не почувствуешь свою причастность к ней в полную меру. Впрочем, ощущение грандиозности, чувство физической бескрайности Родины приходит еще до Урала...

Мы перевалили Уральский хребет глубокой ночью: за окном спокойно мерцали редкие огни рабочих поселков. По-видимому, для этих городов и поселков-тружеников совсем ни к чему богатая столичная иллюминация.

Поезд очень долго вырывался из хвойных объятий, пока утром однажды тайгу не сменили ясные лесостепи, с березовыми прозрачными рощицами, ровными полями и скирдами обмолоченных злаков. Березовые колки тянулись за поездом долго и настойчиво, пока не показались вдали призрачно-серебристые горы.

И я вспомнил тогда, что эти грандиозные расстояния похитили у меня пять часов жизни. Странно, но это было действительно так: если не возвращаться обратно, то я проживу в этом мире на несколько часов меньше. Парадокс времени толкает людей к философским раздумьям, но жизнь всегда интереснее отвлеченных понятий. Наш поезд остановился и долго стоял в преддверии Байкальского моря. Невдалеке, на одном из поворотов встречный грузовой поезд сошел с рельсов: мы ждали, пока рабочие не подняли паровоз домкратами и не водрузили его на место. Полотно дороги лежало в глубоких скалистых выемках, казалось, что громадные каменные глыбы, висящие над дорогой, держатся чудом и вот-вот обрушатся. Но даты, изображенные на скалах, говорили о том, что глыбы десятки лет неподвижно висят над дорогой.

Люди самоутверждаются по-всякому, в том числе и подобным образом: большие несколько прямолинейные надписи, изображения инициалов и восклицательных знаков были, вероятно, следами строителей и туристов,— вспоминались строчки из блоковского «Соловьиного сада»:

Я ломаю слоистые скалы...

Скалы были действительно слоисты, мне, равнинному северному жителю, была не понятна раньше эта строка.

Говорят, что в Байкал впадает более трехсот речек и рек. Чистые, словно детские слезы, эти реки питают пронзительную голубизну Байкальского моря. Поезд несколько часов бежал по голубым прибрежным извивам, пересекая эти прозрачные речки.

Долго, очень долго шел мой поезд. Пространства Сибири и Забайкалья будят противоречивые чувства, в душе почему-то тревожно оттого, что еще пустуют эти безбрежные и богатые земли. Но природа своей могучей полой вновь отгораживает тебя от этих раздумий...

Рыже-зеленые, округлые, словно облизанные веками холмы Бурятии, бесконечные гряды холмов, зеленое Приамурье — непостижимое богатство ландшафтов, разнообразие всех поясов, всех климатов. Еще на станции Ерофей Павлович был иней и холод, а уже в Хабаровске тот же Ерофей Павлович стоял на теплой, несмотря на раннее утро, площади, и люди ходили в одних костюмах. Могучий и добрый казак, мой земляк Ерофей Хабаров стоял на каменном постаменте. На нем была шуба с борами, он как бы улыбался в густую бороду. Я поздоровался со знаменитым устюжским землепроходцем и сразу же попрощался: мой поезд спешил дальше, к самому морю. Приближался сто тридцатый меридиан, но стога, стоявшие на полянах вдоль дороги, были точь-в-точь такие, как на моей родине.

В гостинице «Приморье» мест не оказалось, ночевать пустили с великим трудом. Я подписал хитрую бумагу, обязывающую покинуть «Приморье» до девяти утра. Гостиница «Челюскин», по-видимому, соревновалась в гостеприимстве с «Приморьем», ее администраторша отослала меня в другую гостиницу с не менее романтическим названием: «Золотой рог». Но и в «Золотом роге» мест не было, он вежливо боднул меня, выпроваживая на улицу.

И все же Владивосток изумительный город. Наверное, надо совсем утонуть в будничной текучке, чтобы не замечать этих светлых улиц, то взмывающих высоко на холмы, то спадающих вновь к заливам и бухтам, этих мощных, обросших лесами сопок, этих шумных причалов, где шлепаются сине-зеленые волны. Однажды, получив обмундировку для моей двухмесячной службы и при помощи флотской газеты устроившись на ночлег к морякам-подводникам, я вышел к Амурскому заливу. И то ли от мягкого тугого ветра, то ли от восторга перед всей этой красотой, у меня перехватило дыхание. Веселый город выбежал на высокий каменный берег и затих, словно из уважения к морскому шуму. Море посылало к берегу бессчетные свои волны. Белые яхты с косыми треугольными парусами, кренясь, на галсах пробивались навстре-

чу ветру, другие бесшумно неслись в обратную сторону. Цепи сопок неясно обозначились в сиреневой дымке. В зеленых волнах лениво качались нерестящиеся медузы с изображениями двух перекрещивающихся восьмерок. Мальчишки, не боясь ожогов, ныряли с пирса прямо к медузам. Около спортивной станции «Водник», где торчали свинцовые кили перевернутых яхт, я увидел пожилую чету: он жилистый и тощий, как Дон-Кихот, она с бурым лицом — могучая и дебелая. Оба, игриво и добродушно подшучивая друг над другом, полезли в воду. Где-то недалеко, вторя морскому прибою, вздыхал набитый болельщиками стадион, футболисты местной команды «Луч» играли со своими дублерами. Здесь, на краю России, все было так же, как в Москве или в Вологде. «Козел! Верблюд!» — кричал мальчишка лет десяти, как видно заядлый болельщик. Другой ругал дублеров «дубами», но дублеры все равно выиграли, и мальчишки, не дожидаясь конца матча, с возмущением покинули стадион.

Я тоже вышел с ними и еще раз прошел вдоль залива. Солнце, усталое от собственной ярости, скатывалось за дальние сопки, ветер стихал. А пожилая чета была все еще на прежнем месте. Они в обнимку сидели на деревянном настиле и очень красиво пели какую-то не знакомую мне украинскую песню. Прибой с шипением омывал их до пояса. И столько доброты, доверия и верности друг другу было в их песне, что я опять с горечью вспомнил одну женщину, ехавшую, видимо, из отпуска, в нашем вагоне.

Она производила довольно приятное впечатление. Светло-синие глаза и черные волосы, книга стихов в руках и вполне уместные реплики в разговоре о театре. И если б не излишняя полнота да еле различимые морщинки у глаз, ей можно было бы дать не более тридцати. Наверное, тот молоденький лейтенант, уезжавший из Москвы в парадной форме и с кортиком, не замечал этих морщинок, ведь мы склонны замечать только те физические недостатки, которые есть у нас самих. А на лице лейтенанта не ночевала еще ни одна тень или морщина. Вероятно, женщине с поезда больше всего и импонировало это, в общем-то не такое уж и плохое обстоятельство. Большую часть совместного пути она провела с лейтенантом в вагоне-ресторане. Лейтенант сошел с поезда чуть позже ее и наверняка совсем без денег. Но я до сих пор не понял, кто же из них и за кем ухаживал больше? Было приятно наблюдать их милое, стремительно развивающееся знакомство, я даже не испытывал чувства неловкости, связанного с нескромностью этого наблюдения. Люди нравятся друг другу, им приятно быть вместе — что тут плохого? Но на полустанке, где за полночь сошла эта синеглазая женщина, поезд ожидала группа военных. Среди них был и ее муж, высокий офицер в зеленой фуражке пограничника. Я не различил, сколько звездочек было на погонах высокого офицера с усталым лицом, не видел и того, какие были глаза у его жены, вернувшейся из московского отпуска. Друзья офицера бережно подхватили ее чемоданы.

Верность, а что это такое? Люди испокон веку презирали предателей, и нет ничего страшнее такого презрения. Есть солдатская верность Родине и народу, вскормившему нас. Есть материнская верность, о которой даже никто не говорит, так она естественна сама по себе. Есть верность сыновья, нежная и, может быть, чуть застенчивая; есть благородная и немногословная верность в мужской дружбе. Но есть и еще одна верность — верность в любви. Ее высокое постоянство необходимо людям как хлеб и как воздух. Без этой верности рушится все на свете, она утраивает сопротивляемость человека невзгодам, верность делает нас сильнее, чем мы есть на самом деле. Но среди непреходящих человеческих ценностей это понятие, может быть, самое беззащитное. Даже неопытный демагог может легко поставить его под сомнение. Однажды снисходительно назовет верность в любви устарелым, косным человеческим свойством. И вот мы, боясь оказаться несовременными, уже ступаем по фальшивому следу. Ступаем с необъяснимой поспешностью, бездумно, отрекаясь от собственных ценностей, иначе от самих же себя. Разве не так разрушались и разрушаются и другие ничем не заменимые человеческие ценности? Вероятно, самое главное в этом нечистоплотном деле — это поставить истину под сомнение. Ведь, посеяв сомнение, можно уже спорить, можно полемизировать, а там... Там еще не известно, чья возьмет. Не менее удачный способ подобного разрушения и в том, чтобы поставить в один логический ряд разновеликие ценности, компрометируя подлинные и возвышая фальшивые. Я думал об этом, уезжая в автобусе на одну из военных баз.

Суровость морской, тем более военной службы ощущается еще на берегу, вдалеке от боевых кораблей. Я смотрел на все глазами непосвященного и то и дело ловил себя на чувстве глубокого уважения к труду моряков, к их нелегкой службе, полной не мнимых, а явных опасностей. Море спокойно плескалось и мерцало в живописной, окруженной зелеными сопками бухте. Силуэты кораблей были недвижимы в этом мерцании. Их крутые, серо-стального цвета бока растворялись в сиренево-солнечной мгле. Мичман, у которого я спросил, как пройти по нужному мне адресу, ничего не ответил: здесь не принято изъясняться с незнакомыми личностями. Я нашел контрольно-пропускной пункт части по собственной интуиции и остановился у автоматического шлагбаума. Матрос, вооруженный пистолетом, знакомится с моими документами, звонит куда-то и пропускает. Затем короткая беседа с дежурным офицером и опять проверка документов. Перед выходом на корабль она повторяется еще раз.

Наверное, я выглядел смешно на этом громадном военном корабле. Чистейшая палуба была пустынна, лишь изредка, козырнув на флаг, проходил матрос или офицер, здесь не было ни тесноты, представлявшейся мне раньше, ни толкучки. Ракетные уста-

новки громоздились надо мной, таинственные и грозные. Грозные даже в своем молчании. Где-то в их нутре, а может быть, в трюмах, дремала невиданная энергия, способная в любую минуту послушно проснуться. Задраены двери и люки с медными табличками. Было тихо, только где-то в железном чреве корабля сопела машина турбинного двигателя: корабль словно отдыхал после большого похода.

Но он и впрямь отдыхал после длительного и сложного похода. Экипаж выполнял боевую задачу в дальних незнакомых широтах. Вдали от Родины, во время жестокого шторма погиб один из матросов. Замполит большого ракетного корабля — совсем еще молодой офицер — рассказал мне о том, как команда похоронила матроса, похоронила в океане, по морскому обычаю, с воинскими почестями. Потому что верность погибшим — это особая верность: она никогда уже и ни у кого не может вызвать сомнения.

В моей каюте, хозяин которой в отпуске, светло и уютно. Я слышу, как журчит в шпигате вода и как мерно жужжит вентилятор. Выхожу наверх: внимание привлек матросский хохот. На флоте далеко не всех развозят на белом катере, существует еще бак, иногда ют корабля, где отведено место для курения. Обычно здесь и стоит «фитиль», то есть большая урна, около которой собираются в редкие свободные минуты матросы, слушают неистощимых заливал, вспоминают далекую, ставшую уже призрачной гражданку. Я угодил на одно из традиционных морских действ. Происходила так называемая продажа нулевого шпангоута. Смысл этой церемонии в том, что служащие последние месяцы передают право перехода за нулевой шпангоут младшим, тем, кто служит по третьему году. Эти-то младшие и выкупали сегодня вечером нулевой шпангоут, выкупали двумя ящиками печенья. И я поспел как раз к печенью... Однако флотский юмор был вовсе не в том, чтобы съесть два ящика печенья, я убедился в этом очень скоро. Еще до того, как спустился задом по отвесному трапу, я леер перекрестил в трос. Шуток по этому поводу было ровно столько, сколько необходимо, и я понял, что здешний народ не только весел, но и воспитан.

Вечером в мою каюту зашел матрос, он застенчиво сказал, что пишет стихи. Стихи были о любви и о доме, о службе и о матросской жизни. «И только чайки грусть матроса понимают...» — читал мне Саша, корабельный машинист, он же и корабельный поэт. Может быть, и не только чайки. Но вот Людмилка, которая живет в городе Сальске и которая вышла замуж на втором году Сашиной службы, вряд ли что-нибудь понимает. Поговорить бы с этой Людмилкой...

Саше пора было на вахту, и он ушел, а я долго глядел, как мигают сигнальщики на соседних кораблях. И почему-то вновь ощутил сердечную горечь. Я знаю сейчас, что женская верность

нужна моряку, как нужна их верность родимой земле. И не об этой Людмилке, не о той синеглазой, с поезда, сложены морские песни, не в их честь названы в океанах бухты и острова.

Ночью я впервые в жизни увидел, как швартуется большой военный корабль. В парной темени неожиданно ярко обозначились огни крейсера. Стальная громада быстро приближалась к бетонному пирсу, вот уже ясно слышны подаваемые по мегафону команды. Стремительно прибежали и выстроились на пирсе две группы матросов, которые будут принимать швартовы. Вспыхивают прожекторы. Команды командира сменяются каждую секунду. «Правый средний вперед!» — «Есть правый средний вперед!» Левый малый назад, самый малый назад, правый малый назад, стоп правый... Голос командира напряжен, как напряжены сейчас и зрение, и слух, и то шестое профессиональное чувство, которому нет покамест названия. Сколько же нужно сноровки, умения, выдержки, как надо чувствовать малейшее движение железной громадины, чтобы она послушно отреагировала на приказ с мостика? А приказ один — пришвартоваться... Соединить тысячи тонн металла, этот грандиозный монолит, обладающий невообразимой силой инерции, с бетонным монолитом причальной стенки. В лучах прожекторов стремительно и бесшумно, словно призраки, мелькают фигуры матросов. Они быстро выбирают швартовы — этих многотонных стальных змиев. Бурлит в ночи океанская вода, от кормы нарастают и уходят в бухту ее валы. Но вот затихает тревожно ноющий гул винтов и широкий шум кормовых бурунов. Борт громадного крейсера коснулся бетонного пирса. Коснулся нежно и незаметно, как мать касается спящего младенца, поправляя ему одеяло...

«Варяг» замер у пирса. Да, это был «Варяг», воспетый народом, не сдавшийся на милость врагу, погибший и снова воскресший крейсер русского флота. Воскресший в своем новом обличье. Я с волнением ступаю на его борт, дивлюсь долголетней славе и причудливой, порою трагической судьбе корабля...

В начале мая тысяча девятьсот первого года в Кронштадте пришвартовался четырехтрубный крейсер, построенный в Филадельфии по заказу русского адмиралтейства. Это был двухмачтовый корабль водоизмещением в шесть с половиной тысяч тонн, вооруженный двенадцатью стапятидесятидвух-, таким же количеством семидесятипяти- и восемью сорокасемимиллиметровыми орудиями. Пушечное вооружение дополнялось двумя пулеметами и шестью торпедными аппаратами. Тридцать котлов давали жизнь двум паровым машинам мощностью в десять тысяч лошадиных сил каждая.

Командир корабля капитан первого ранга Бэр и старший офи-

цер Крафт, вероятно, не отличались широтой характера: насаждая бездумную дисциплину, они с педантичным упорством муштровали команду. Командир кронштадтского порта адмирал Степан Осипович Макаров не раз пытался облегчить судьбу людей, одетых в холщовые матросские робы. Однако у Бэра была невидимая рука где-то в придворных недосягаемых сферах, и адмирал ничего не мог сделать.

В августе 1901 года «Варяг» вышел из Кронштадта, чтобы пополнить немногочисленную Тихоокеанскую эскадру. После полугодового через три океана плавания крейсер прибыл в Порт-Артур. Здесь ненавистный матросам Бэр был наконец смещен, и в конце декабря 1902 года командиром «Варяга» стал Всеволод Федорович Руднев — капитан первого ранга и потомственный моряк, всю свою жизнь посвятивший русскому военному флоту.

В исторической справке, выпущенной политуправлением флота и любезно подаренной мне заместителем командира, говорилось: «В декабре 1903 года Руднев был вызван на флагманский броненосец «Петропавловск», где получил приказ от командующего эскадрой адмирала Старка идти в корейский порт Чемульпо для охраны русской дипломатической миссии.

Японское командование торопилось окончательно захватить Корею и превратить ее в плацдарм для своей агрессии против Маньчжурии и России.

В Чемульпо «Варяг» прибыл 12 января 1904 года, где стояли английские, американские, французские, итальянские, японские и русские военные корабли. 18 января в порт пришла канонерская лодка «Кореец» под командованием капитана второго ранга Григория Павловича Беляева. Находившиеся в Чемульпо русские корабли, крейсер «Боярин» и канлодка «Гиляк» были вскоре отосланы Рудневым в Порт-Артур с дипломатической почтой и донесениями о приготовлениях японцев к высадке десанта в Чемульпо. Руднев понимал, что посылка новейшего корабля, каким был «Варяг», на роль охранника русского посольства в Корее представляла серьезную ошибку, так как это было распылением сил флота. Кроме того, в случае войны с Японией из отдаленного порта Чемульпо будет невозможно прорваться в Порт-Артур...»

Далее авторы справки сообщают:

«Известие о начале войны с Японией Руднев получил от командира английского крейсера «Тальбот», являвшегося старшим на рейде среди иностранных кораблей. Командир «Варяга» развил бурную деятельность, пытаясь избежать смертельной ловушки, каковой теперь оказался Чемульпо. Он лично ездил к русскому посланнику в Сеул, пытаясь добиться согласия на немедленный уход в Порт-Артур, но получил отказ. Через некоторое время из Чемульпо была отправлена канлодка «Кореец» с задачей пройти до главной базы, но японские корабли, уже закрывшие выход в море, принудили «Кореец» вернуться в Чемульпо, атаковав его торпедами в нейтральных водах.

9 февраля 1904 года на крейсере «Тальбот» состоялось совещание командиров иностранных военных кораблей, где Рудневу был вручен ультиматум японского адмирала Уриу — до 12 часов «Варягу» и «Корейцу» выйти в море, в случае отказа японский флот откроет по ним огонь прямо в порту. На совещании Руднев заявил, что русские корабли примут этот бой с превосходящими силами и не подвергнут опасности иностранные корабли. Он просил сопровождать русские корабли до выхода из нейтральных вод, на что получил отказ от командиров английского и американского кораблей. Командир английского крейсера «Тальбот» нанес предательский удар в спину русским морякам. Он, сразу же после совещания, известил японцев о намерениях Руднева и заявил, что если русские не решатся выйти в море из порта, то иностранные корабли переменят места якорей стоянки, чтобы не мешать японцам расстрелять «Варяга» и «Корейца» в порту.

Вернувшись на «Варяг», командир объявил экипажу о своем решении, которое было встречено единодушным одобрением. В случае неудачи прорыва мичману Черниловскому-Соколу поручалось взорвать артиллерийский погреб...

Обед был роздан команде в 10 час. 45 мин., и в 11 час. 20 мин. «Варяг» и «Кореец» снялись с якоря и двинулись на выход из Чемульпо. Французские, итальянские, английские и американские матросы понимали, что русские корабли идут на верную гибель, и восхищались их храбростью. Командиры иностранных кораблей были выстроены на палубе, а часть матросов, нарушив строй, взобралась на мачты и надстройки. С берега русских провожали толпы корейцев — жителей Чемульпо. С кораблей доносились прощальные приветствия, на итальянском крейсере «Эльба» оркестр играл русский гимн. Два русских корабля шли навстречу японской эскадре, состоявшей из 14 боевых кораблей. Силы были слишком неравными. На предложение о сдаче на милость победителя Руднев приказал не отвечать.

В 11 час. 45 мин. с дистанции в 45 кабельтовых японские корабли открыли огонь, сосредоточив его на «Варяге», шедшем головным. Через две минуты по приказу Руднева русские корабли дали первый ответный залп. Ожесточение боя с каждой минутой нарастало, все чаще и чаще рвались снаряды на палубе и во внутренних помещениях корабля, который шел узким фарватером, исключавшим возможность маневрирования.

Снаряды врага разрушили ходовой мостик, трубы, надстройки, затопило 3-е котельное отделение. «Варяг» накренился на левый борт, перестал слушаться руля и управлялся только машинами. Руднев, раненный в голову, с залитым кровью лицом продолжал командовать кораблем...»

Крейсер не сдался на милость врагу. В 18 часов 10 минут 9 февраля 1904 года, потеряв управление, он скрылся под водой... Он был потоплен по приказу Руднева. Он выпустил по врагу 1105 снарядов. В этом бою был убит командир японского флагманско-

го крейсера «Асама». Крейсеры «Асама» и «Чиода» ушли на длительный ремонт, крейсер «Такачихо» затонул на пути в порт Сасебо. Был потоплен японский миноносец, получили повреждение многие корабли японской эскадры...

Из этой маленькой брошюрки я впервые узнал и о последующей, не менее удивительной судьбе «Варяга». Оказывается, в 1905 году японцы подняли его со дна, а после ремонта и установки орудий присвоили ему имя «Сойя». В 1916 году «Варягу» было возвращено его имя, русское правительство в числе других кораблей выкупило его у Японии. Как сообщает историческая справка, «...к моменту прибытия покупаемых кораблей во Владивосток на рейде бухты «Золотой Рог» стоял русский минный заградитель «Монтугай» с трюмами, загруженными слитками чистого золота. Весь день 21 марта 1916 года и всю ночь 22 марта шла перегрузка русского золота на японские крейсеры «Ниссин» и «Касуга». Только после этой работы состоялось подписание протокола о сдаче и приемке кораблей. В полдень 22 марта японские флаги на «Варяге», «Пересвете» и «Полтаве» были спущены, японские команды сошли на свои крейсеры, которые немедленно покинули Владивосток. 25 марта 1916 года на «Варяге» был торжественно поднят андреевский флаг. 18 июня 1916 года в 16 часов «Варяг» снялся с якоря в «Золотом Роге» и совместно с «Чесмой» вышел в дальний поход через восемь морей и три океана и 11 ноября 1916 года в 16 часов 20 минут вошел на рейд Александровска (ныне г. Полярный). С 13 декабря 1916 года по 25 февраля 1917 года крейсер находился в составе флотилии Северного Ледовитого океана. 25 февраля 1917 года «Варяг» вышел в Англию для капитального ремонта и через несколько дней прибыл в Ливерпуль».

Но, как сообщают авторы брошюры, англичане затянули ремонт, сославшись на недостаток рабочих. Фактически же это произошло из-за политического положения в России, они не знали, кто будет платить за ремонт крейсера. Когда весть об Октябрьской революции дошла до «Варяга», матросы подняли на корабле красный флаг. Англичане арестовали экипаж, свезли на берег и посадили под охрану, а «Варяг» был почему-то объявлен собственностью военно-морского флота Великобритании...

Далее авторы справки пишут, что «дальнейшая судьба крейсера долго оставалась загадочной». Наиболее распространенной была версия, придуманная англичанами, о том, что «Варяг» был потоплен в 1918 году немецкой подводной лодкой в Ирландском море. Правду о «Варяге» сообщил немецкий морской журнал «Шиффбау» в № 18 за 1925 год в статье «Спасательные работы на крейсере «Варяг» в Шотландии» (автор О. Мерсман). Захваченный после Октябрьской революции англичанами корабль впоследствии был сдан на слом и по пути к месту слома в 550 метрах от шотландского берега наскочил на камни. Автор статьи замечает, что «корабль был хорошо застрахован». Заклинившись

носовой частью в скалах, корабль сидел почти на ровном киле с небольшим дифферентом на корму. Лишь через пять лет после аварии, когда корабль перешел к другому владельцу, была сделана попытка снять его с камней, чтобы разобрать на ближайшей верфи. Однако состояние корпуса не позволило сделать этого, и крейсер был разобран на металлолом на месте аварии.

Но «Варяг» жил, я слышал сейчас биение его неумирающего, так много пережившего сердца. Сидя в удобной двухместной каюте, я с захватывающим интересом перечитывал историю легендарного корабля, пока в репродукторе не раздалась команда задраить переборки.

Помнится, меня никто не тревожил вчера: я был гостем на борту крейсера. А утром вестовой помог мне отыскать двери кают-компании. Офицеры вежливо предоставили мне гостевое место за общим столом. По флотской традиции никто не приступал к завтраку до появления командира, но командир не заставил себя ждать. Было как-то не по себе оттого, что я наблюдал все это со стороны, что я как бы не касаюсь общего, окружающего меня дела. Вскоре труба заиграла большой сбор. «Корабль к бою и походу изготовить!» Эта команда тоже не касалась меня, я был на «Варяге» гостем...

После завтрака командир одной из БЧ снабдил меня теплой меховой курткой, я поднялся наверх к командирской рубке.

«По местам стоять, со швартовых сниматься!»

В клочковатом рассветном тумане быстро, словно под проявителем, прояснялись очертания соседних кораблей. «Варяг», сдерживая свою силу, выходил в море. «Захождение с левого борта!» — снова раздается по радио голос из рубки, и я слышу, как труба соседнего корабля играет нам традиционный привет, привет уходящему в море кораблю. Море серо-стального цвета, словно невыспавшееся, ветер влажный, берега в сером перемежающемся тумане. Приближаются разведенные катерами буи противолодочной сети, на «Варяге» снова звучит сигнал боевой тревоги. Сколько же раз прозвучит он во время похода? «Варяг» идет со скоростью 8—10 узлов. Но вот исчезают в дымке пустынные сопки, и корабль, наращивая и высвобождая свою мощь, все стремительнее и туже разрезает перекаты океанских валов, все напряженнее свист вентиляционных устройств и утробный гул многотонных гребных винтов.

На посту гидроакустиков тонко поют приборы, бегут зеленые синусоиды, мерцают экраны осциллографов. Нащупав подводную цель, гидроакустики ни на секунду не выпускают ее из-под контроля приборов. Бип — боевой информационный пост — при помощи счетно-решающих устройств моментально обрабатывает поступающие к нему сигналы и тут же посылает их в боевую рубку. Крутятся без устали антенны локаторов — глаза и уши ракетно-

го крейсера. С самолета в горящий перемещающийся в волнах буй летит торпеда, вторая, вновь и вновь самолет заходит над кораблем. Вдали, еле видимая, носом уходит в морскую пучину подводная лодка. Управляемый по радио катер-мишень, не видимый без бинокля, зигзагами ходит где-то далеко-далеко. Гремят оглушительные залпы орудий, на «Варяге» идут боевые учения.

Океан катит свои валы-исполины. Дробятся вороха бисерных брызг, и солнце, пронизывая их, рождает мимолетную радугу. Бегут валы, а за кормой кипят и клокочут зеленые нестихающие буруны.

«Варяг» идет дальше...

Он шел «дальше» весь день и всю ночь, я не успевал закреплять в сознании свои ощущения. Где-то сейчас мой медведь? Мне становится стыдно, что я хотел убить моего медведя. Теперь я никогда не смогу убить медведя... Еще совсем недавно я сидел на теплой вечерней сосне, слушал беззаботных лесных свистулек и мычанье коров...

Легкое головокружение от бортовой качки вывело меня из забытья. Я думал, что еще день, надел куртку, вышел на бак. И замер, оцепенел: всюду была ночь, морская серая мгла. Безлюдный корабль стремился куда-то в океанской ночи. Чернели силуэты надпалубных сооружений, кругом было темно. Но вот я увидел большую оранжевую луну.

Океан тускло мерцал в ее прозрачном ядовитом свете. Громадные неисчислимые валы лениво и мощно катились из мрачной дали и качали корабль. Сейчас он был совершенно пустынным. Словно летучий голландец, несся он по темным безбрежным океанским стихиям. Было в нем что-то загадочное, непонятное: нигде нет людей, а он, этот железный гигант, раздвигая пучины, идет и идет в темноте. Горело лишь несколько сигнальных огней, да на мачтах крутились антенны. Кругом была ночь, исчезла даже луна, кругом властвовала демоническая стихия, а пустынный крейсер шел и шел, стремился куда-то, летел по неведомому мне курсу. Что-то рокотало, гудело, свистело, и все было таинственно, непонятно: и ночь, и грозная безбрежная эта вода, и этот безлюдный, несущийся в темноте гигант. Куда мы идем? Я не знал, где восток и где запад, не знал, чем может все это кончиться и кончится ли вообще. Всюду была ночь, темень и бесконечно-тягостный океан. И вдруг в этой тревожной темени, в этом железном гуле и тягостно-необъятном шуме воды по-домашнему щелкнул невидимый репродуктор. Кто-то хрипловатым от усталости, но не теряющим иронически-добродушного оттенка голосом произнес:

— Первой боевой смене пить чай.

И все сразу встало на свои места: в сердце и в океане...

СОДЕРЖАНИЕ

Белов В. И.

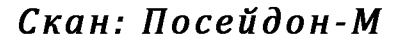
Б43 Повести и рассказы / Предисл. В. Меньшикова.— М.: Худож. лит., 1984.— 543 с., портр.

В книге лауреата Государственной премии СССР Василия Белова собраны наиболее известные советскому и зарубежному читателю повести и рассказы, в которых ярко раскрывается самобытный русский характер.

Цикл «Воспитание по доктору Споку» посвящен вопросам нравственной чистоты современного человека, социалистической морали и семейных отношений.

Б $\frac{4702010200-341}{028(01)-84}$ 44-84 **ББК 84Р7 Р2**







Скан: Посейдон-М





Обработка:Prizrachyy_Putnik

Василий Иванович Белов

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

Редактор **Н. Новикова**

Художественный редактор **С. Данилов**

Технический редактор **Л. Коротеева**

Корректоры **Т. Медведева, Т. Сидорова**

ИБ № 3589

Сдано в набор 6.01.84. Подписано в печать А13924 от 24.08.84. Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Бумага книжно-журнальная офсетная № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 34 + 1 вкл. = 34,06. Усл. кр.-отт. 34,12. Уч.-изд. л. 37,09 + 1 вкл. = 37,16. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-1593. Заказ 4197. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882. ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва. И-473, Краснопролетарская, 16.

2 р. 50 к.